This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES

Ивану Ивановичу Орлову
на добрую память
отъ В. Поваляшинова

Солнечная-Гора
18 21/I 87 г.

Николай Ивановичъ

Пироговъ

Пирогов, Н. И.

М
Пи-5

СОЧИНЕНІЯ

Н. И. ПИРОГОВА

ТОМЪ ПЕРВЫЙ

Съ портретомъ автора и двумя видами: 1) домъ въ с. Вишня;
2) церковь на могилѣ Н. И. Пирогова.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 2 лин., 7.

1887.

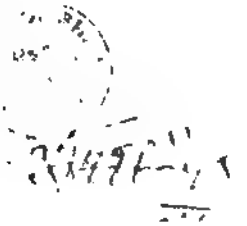
Ивану Ивановичу Орлову
на добрую память
отъ В. Поваляшинова

Солнечная-Гора
18 21/I 87 г.

Николай Ивановичъ

Пироговъ

LB675
P632
1887
v.1



-56
-65

Въ составъ настоящаго собранія сочиненій Николая Ивановича Пирогова входятъ только тѣ изъ нихъ, которыя имѣютъ, по преимуществу, общественное значеніе и представляютъ всеобщій интересъ.

Первый томъ занятъ весь «Дневникомъ стараго врача, писаннымъ — по словамъ покойнаго автора — исключительно для самого себя, но не безъ задней мысли, что, можетъ быть, когда-нибудь прочтетъ и кто другой». Можно думать, что этотъ послѣдній трудъ покойнаго въ его мысляхъ связывался съ однимъ изъ первыхъ его общественно-литературныхъ произведеній, конца 50-хъ годовъ, такъ какъ онъ своему «Дневнику» далъ еще другое заглавіе, подъ которымъ онъ,

...офскіе этюды,

...рача», сверхъ

...ная его часть

...о исторіи вре-

...годы жизни —

...; — послѣднія

...ятъ въ руко-

...ій, которыми

...ча: строчки

КНИГА ИМЕЕТ:

Печатн. листов	Выпуск	В перепл. един. соедин. №№ вып.	Таблиц	Карт	Иллюстр.	Служебн. №№	№№ списка и порядковый	1953 г.
33						3	418/2	

Зак. 828

LB675
P632
1887
v.1

1300

100

14

Въ составъ настоящаго собранія сочиненій Николая Ивановича Пирогова входятъ только тѣ изъ нихъ, которыя имѣютъ, по преимуществу, общественное значеніе и представляютъ всеобщій интересъ.

Первый томъ занятъ весь «Дневникомъ стараго врача, писаннымъ — по словамъ покойнаго автора — исключительно для самого себя, но не безъ задней мысли, что, можетъ быть, когда-нибудь прочтетъ и кто другой». Можно думать, что этотъ послѣдній трудъ покойнаго въ его мысляхъ связывался съ однимъ изъ первыхъ его общественно-литературныхъ произведеній, конца 50-хъ годовъ, такъ какъ онъ своему «Дневнику» далъ еще другое заглавіе, подъ которымъ онъ, лѣтъ за двадцать предъ тѣмъ, писалъ свои философскіе этюды, а именно: «Вопросы жизни». Но въ «Дневникѣ врача», сверхъ тэмъ философскихъ и общественныхъ, значительная его часть посвящена автобіографіи и соприкасавшейся съ нею исторіи времени автора. Дневникъ веденъ въ самые послѣдніе годы жизни — отъ 5-го ноября 1879 г. до 22-го октября 1881 г.; — послѣднія страницы, писанныя почти наканунѣ смерти, носятъ въ рукописи всѣ признаки тѣхъ предсмертныхъ страданій, которыми заключилась тяжкая болѣзнь Николая Ивановича: строчки

идутъ неровно, слова не всегда дописаны и мѣстами рукопись разбирается съ трудомъ. Относясь, по описываемому въ немъ времени, ко всей эпохѣ жизни автора, дневникъ начинается потому воспоминаніями о его дѣтствѣ и школѣ, въ 20-хъ годахъ нынѣшняго вѣка, и заключается началомъ сороковыхъ годовъ, когда только-что открылась дѣятельность Николая Ивановича въ Петербургѣ; послѣдняя фраза дневника осталась даже недописанною.

Въ 1884 г., копія «Дневника», вмѣстѣ съ подлинникомъ, была доставлена вдовою, Александрой Антоновною Пироговой, и сыновьями покойнаго въ редакцію «Русской Старины», гдѣ и была напечатана въ первый разъ съ нѣкоторыми выпусками, указанными издателемъ журнала. Настоящее изданіе сдѣлано по печатному тексту, но при этомъ былъ принятъ въ соображеніе и оригиналъ, вслѣдствіе чего «Дневникъ» снова получилъ ту внѣшнюю форму, какую онъ имѣлъ въ рукописи, а именно, онъ не дѣлится ни на части, ни на главы, какъ то было сдѣлано редакціею въ журнальномъ изданіи, и въ отношеніи содержанія нѣсколько дополненъ. Изъ того же журнальнаго изданія заимствованъ одинъ изъ портретовъ Николая Ивановича и два вида—помѣщаемые въ первомъ томѣ.

Второй томъ будетъ содержать въ себѣ «Вопросы жизни», —упомянутый выше философскій этюдъ конца пятидесятыхъ годовъ,—различныя статьи и изслѣдованія въ области педагогіи и собраніе циркуляровъ Н. И. Пирогова, изданныхъ имъ при отправленіи должности попечителя кіевскаго учебнаго округа; эти циркуляры обращали на себя большое вниманіе въ свое время, въ началѣ 60-хъ годовъ, и, можно сказать, во многихъ отношеніяхъ не утратили своего значенія и по настоящее время.

С.-Петербургъ,
5-го октября 1886 г.

ВОПРОСЫ ЖИЗНИ

ДНЕВНИКЪ СТАРАГО ВРАЧА,

писанный исключительно для самого себя, но не безъ задней мысли, что, можетъ быть, когда-нибудь прочтетъ и кто другой.

---

5 НОЯБРЯ 1879 — 22 ОКТЯБРЯ 1881.

5 ноября 1879.

Отчего такъ мало автобіографій? Отчего къ нимъ недовѣріе?—Вѣрно, всѣ согласятся со мною, что нѣтъ предмета болѣе достойнаго вниманія, какъ знакомство съ внутреннимъ бытомъ каждаго мыслящаго человѣка, даже и ничѣмъ не отличавшагося на общественномъ поприщѣ.

Какой глубокій интересъ заключается для каждаго изъ насъ въ сравненіи собственнаго міровоззрѣнія съ взглядами, руководившими другого, намъ подобнаго, на пути жизни. Этого, конечно, никто и не отвергаетъ; но издавна принято узнавать о другихъ чрезъ другихъ. Вѣрится болѣе тому, что́ говорятъ о какой-либо личности другіе или ея собственныя дѣйствія. И это юридически вѣрно. Для обнаруженія юридической, т.-е. внѣшней, правды — и нѣтъ иного средства. И современный врачъ при діагнозѣ руководствуется не разсказами больного, а объективными признаками, тѣмъ, что́ самъ видитъ, слышитъ и осязаетъ.

Да кромѣ недовѣрія къ автобіографіямъ, есть, я думаю, и другія причины, почему онѣ мало въ ходу. Мало охотниковъ писать свои автобіографіи. Однимъ цѣлую жизнь некогда; другимъ вовсе не интересно, а иногда и зазорно оглядѣться на свою жизнь, не хочется вспомнить прошлаго; иные—и изъ самыхъ мыслящихъ—полагаютъ, что, послѣ изданныхъ ими твореній, имъ писать о себѣ болѣе не нужно; есть и такіе, которымъ дѣйствительно писать о себѣ нечего: все будетъ передано другими; наконецъ, многихъ удерживаетъ страхъ и разнаго рода соображенія. Разумѣется, въ наше скептическое время довѣріе къ открытой исповѣди еще болѣе утратилось, чѣмъ во времена Ж.-Ж. Руссо. Съ недовѣрчивою улыбкою читаются теперь его смѣлыя слова (которыми я нѣкогда вос-

хищался): „Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra, je viendrai ce livre à la main devant le Souverain-Juge, et je dirai: voilà ce que je fais, ce que je fus, ce que je pensais“. Но автобіографіи въ наше время и нѣтъ надобности быть исповѣдью предъ Верховнымъ Судьею; а Ему, Всевѣдущему, нѣтъ надобности въ нашей исповѣди. Современная автобіографія не должна быть однако же чѣмъ-то въ родѣ юридическаго акта, писаннаго въ защиту или обвиненіе самого себя предъ судомъ общественнымъ. Не одна внѣшняя правда, а раскрытіе правды внутренней предъ самимъ собою—и вовсе не съ цѣлью оправдать или осудить себя—должно быть назначеніемъ автобіографіи мыслящаго человѣка. Онъ не посторонняго читателя, а прежде всего — собственное сознаніе долженъ ознакомить съ самимъ собою; это значитъ,—автобіографъ долженъ уяснить себѣ разборомъ своихъ дѣйствій ихъ мотивы и цѣли, иногда глубоко скрываемые въ тайникѣ души и долго непонятные не только для другихъ, но и для самого себя.

Но вотъ вопросъ: можетъ ли автобіографъ говорить правду о своихъ, для него прошлыхъ, мотивахъ? Можетъ ли онъ справедливо оцѣнить, что руководило нѣкогда его дѣйствіями? Можетъ ли онъ навѣрное сказать, что его міровоззрѣніе было именно такое, какъ онъ пишетъ, а не другое въ данную минуту его бытія?

Я полагаю, что эти вопросы рѣшаются различно, смотря по характеру, способностямъ и вообще смотря по индивидуальности писателя. Для увѣреннаго въ себѣ безъ тщеславія существуетъ и непоколебимая увѣренность, что именно такое, какъ онъ пишетъ, а не иное было его воззрѣніе, когда онъ совершалъ то или другое дѣло. Если же я самъ увѣренъ, что онъ говоритъ правду безъ притворства, то больше отъ человѣка нельзя и требовать. Неужели же тотъ, кто хочетъ знать мотивы моихъ дѣйствій и мое міровоззрѣніе того времени, когда я дѣйствовалъ, повѣритъ болѣе другимъ или самому себѣ, нежели мнѣ? Онъ, или кто другой, можетъ судить о внутреннемъ механизмѣ моихъ дѣлъ только по этимъ же самымъ дѣламъ или по свидѣтельствамъ постороннихъ мнѣ лицъ; а сужденія по нашимъ дѣламъ и постороннимъ свидѣтельствамъ о скры-

томъ внутреннемъ механизмѣ дѣлъ требуютъ извѣстной соотвѣтственности и не признаютъ противорѣчій, хотя всякій изъ насъ знаетъ по опыту, что наши дѣйствія зачастую противорѣчатъ нашимъ собственнымъ міровоззрѣніямъ, вѣрованіямъ и убѣжденіямъ. Весьма часто также случается, что наши грандіозныя дѣла вызываются на свѣтъ весьма слабыми мотивами, и наоборотъ; поэтому и соотвѣтственность не можетъ еще быть порукою за внутреннюю правду.

Критическій анализъ собственныхъ дѣйствій и ихъ мотивовъ, столь трудный для насъ самихъ, неужели доступнѣе для другихъ, вовсе незнакомыхъ съ нашимъ внутреннимъ бытомъ?

Правда, иногда посторонній намъ сердцевѣдъ вѣрнѣе насъ самихъ можетъ угадать, почему мы въ данномъ случаѣ поступили такъ или иначе; правда, что мы не судьи самимъ себѣ; но открыть невѣдомый для насъ самихъ мотивъ нашего дѣйствія можно только въ двухъ случаяхъ: во-первыхъ, когда мы сами скрытничаемъ или притворяемся предъ нашимъ собственнымъ *я;* во-вторыхъ, когда мы сдѣлали что-либо въ минуту забвенія или увлеченія, не справившись, что̀ дѣлалось въ эту минуту внутри насъ, не заглянувъ въ себя. Если же принципъ: никто не можетъ быть собственнымъ судьею—и вѣренъ, то онъ относится только до правды внѣшней,—юридической; судебный слѣдователь и прокуроръ, конечно, могутъ изобличить притворщика и лгуна легче, чѣмъ это сдѣлалъ бы онъ самъ. Но для внутренней правды нѣтъ другихъ болѣе вѣрныхъ и компетентныхъ судей, чѣмъ мы сами, когда мы не притворщики и не лгуны. Все, слѣдовательно, сводится на то, кто такой тотъ, кто обнаруживаетъ свой внутренній бытъ; сужденіе объ этомъ, по малой мѣрѣ, такъ же трудно, какъ и сужденіе о посторонних лицахъ, взявшихъ на себя обязанность обнаружить внутреннюю сторону какого-либо дѣятеля. Даже и тогда, если онъ завѣдомо былъ иногда лгуномъ и притворщикомъ, еще не доказано, что онъ былъ всегда такимъ. Есть случаи въ нашей богатой противорѣчіями жизни, что именно лгунъ и притворщикъ, въ извѣстные моменты бытія, дѣлается болѣе способнымъ сказать о себѣ слово правды, чѣмъ другіе, знавшіе его только извнѣ. Въ этомъ не болѣе противорѣчія, какъ и въ томъ, что подлецъ иногда способенъ бываетъ на честнѣйшее

дѣло, а честнѣйшій человѣкъ дѣлаетъ иногда крупную подлость.

Для кого и для чего пишу я все это?

По совѣсти—въ эту минуту только для самого себя, изъ какой-то внутренней потребности, хотя и безъ намѣренія скрывать то, что пишу, отъ другихъ. Пришедъ на мысль писать о себѣ для себя и рѣшившись не издавать въ свѣтъ о себѣ ничего при моей жизни, я не прочь, чтобы мои записки обо мнѣ читались, когда меня не будетъ на свѣтѣ, и другими. Это—говорю положа руку на сердце—вовсе не потому, чтобы я боялся при жизни быть критикованнымъ, осмѣяннымъ или вовсе нечитаннымъ. Хотя я не мало самолюбивъ и небезразлично отношусь къ похвалѣ, но самое самолюбіе все-таки болѣе внутреннее, чѣмъ внѣшнее. Притомъ я—эгоистическій самоѣдъ, и потому опасаюсь самого себя, чтобы описаніе моего внутренняго быта во всеуслышаніе не было принято мною самимъ за тщеславіе, желаніе рисоваться и оригинальничать, а все это, въ свою очередь, не повредило бы внутренней правдѣ, которую я желалъ бы сохранить въ наичистѣйшемъ видѣ въ моихъ запискахъ. Я, какъ самоѣдъ, знаю однако же, что нельзя быть совершенно откровеннымъ съ самимъ собою, даже когда живешь въ себѣ, такъ-сказать, на-распашку. Иногда, ни съ того ни съ сего, приходятъ мысли до того низкія и подлыя, что при первомъ своемъ появленіи изъ тайника души невольно бросаютъ въ краску,—иногда даже чувствуешь, какъ будто эти мысли не твои, а другого—самаго низкаго существа, живущаго въ тебѣ. Апостолъ Павелъ уже давно замѣтилъ, что не хочешь дѣлать зло, а дѣлаешь его нехотя. Великая правда! И еще чаще замѣчаемъ это на мысли: не хочешь мыслить мерзко, а мыслишь,—и бѣда, если въ началѣ не убережешься, не подмѣтишь самого себя и въ пору не остановишься.

Итакъ, я, какъ и другіе, не могу, при всемъ желаніи, выворотить свой внутренній бытъ наружу предъ собою, сдѣлать это начисто, ни въ прошедшемъ, ни въ настоящемъ. Въ прошедшемъ я, конечно, не могу предъ собою поручиться, что мое міровоззрѣніе въ такое-то время было именно то самое, какимъ оно мнѣ кажется теперь. Въ настоящемъ—не могу ручаться, чтобы мнѣ удалось схватить главную черту, главную

суть моего настоящаго міровоззрѣнія. Это дѣло не легкое. Надо прослѣдить красную нить чрезъ путаницу переплетенныхъ между собою сомнѣній и противорѣчій, возникающихъ всякій разъ, какъ только захочешь сдѣлать для себя руководную нить болѣе ясною.

И вотъ я, для самого себя и съ самимъ собою, хочу разсмотрѣть мою жизнь, подвести итоги моимъ стремленіямъ и міровоззрѣніямъ (во множественномъ,—ихъ было нѣсколько) и разобрать мотивы моихъ дѣйствій. Стой, однако же! на первыхъ же порахъ! Не притворничаю ли съ самимъ собою? Точно ли хочу писать только для себя? Если я и рѣшилъ, чтобы писанное о себѣ осталось при моей жизни необнародованнымъ, то развѣ я не желалъ бы, чтобы оно прочиталось когда-нибудь и другими, хоть бы, напримѣръ, моими дѣтьми и знакомыми? Жена же, вѣрно, уже прочтетъ. Если же я этого не хочу, то значитъ все-таки даю себѣ поводъ, хотя предъ самыми близкими людьми, да все-таки порисоваться и что-нибудь скрыть или подрумянить. Самоѣду это сейчасъ же приходитъ на мысль. И это хорошо, что приходитъ на мысль. Какъ только это имѣется въ виду, то есть надежда и на достаточное противодѣйствіе. Вѣдь самоѣдство не допуститъ меня, чтобы я не слѣдилъ за собою во время моей работы съ самимъ собою; слѣдя же, подмѣчу; а подмѣтивъ, остановлюсь и не дамъ простору притворству и скрытности. Впрочемъ я заранѣе знаю, что цинически откровеннымъ я и предъ самимъ собою не хочу быть. Чистоплотность нужна не на показъ только. Циническіе поступки въ жизни лучше оставить, не трогая и не подвергая анализу,—это лучше для самого себя; иначе попадешь въ ретирады души и оттуда напустишь вони и въ то, что искренно хотѣлось бы оставить чистымъ, какъ оно есть на самомъ дѣлѣ. У насъ у всѣхъ на днѣ души довольно грязи; если, опустившись на это дно, ее взбаламутишь, то потомъ самъ не отличишь чистаго отъ грязнаго. Но, разумѣется, если цинизмъ и душевная нечисть были мотивами какого-либо дѣйствія, повліявшаго на всю жизнь, то по неволѣ не минуешь заглянуть и въ ретирады.

Но способенъ ли я писать о себѣ—для себя?

Опять вопросъ—что̀ нужно для этого?

Главное—откровенность съ самимъ собою.

Навѣрное я могу сказать про себя только то, что я не скрытенъ съ собою; вѣдь есть люди, скрытничающіе болѣе съ собою, чѣмъ съ другими; я не принадлежу къ нимъ, хотя и со мною случалось, что я открывался себѣ только послѣ того, какъ былъ откровененъ съ другими; случалось, что, сообщая откровенно другимъ что-либо вслухъ, начинаешь какъ будто лучше понимать, что́ дѣлается внутри тебя самого. Иногда только тогда узнаешь хорошенько, что̀ дѣлается у тебя, когда разговоришься о себѣ съ другимъ. Иногда стыдишься себѣ признаться въ томъ, что́ на душѣ, пока случайно какъ будто (хотя и вовсе не случайно), разскажешь другому вдругъ съ какою-то циническою откровенностью,—вслухъ, что̀ скрывалъ отъ себя.

Записки, которыя веду теперь о себѣ, замѣняютъ, въ такомъ случаѣ неоткровенности съ самимъ собою, сообщеніе или разговоръ съ другимъ; бумага замѣняетъ другое лицо; къ запискѣ, хотя и собственной, относишься объективнѣе, чѣмъ къ мысленной бесѣдѣ съ собою. Пиша, дѣлаешься смѣлѣе съ собою и притомъ не даешь мысли распускаться въ разныя стороны и бродить; мысль при записываніи превращается въ нитку и ловче тянется изъ мозга, чѣмъ при размышленіи, безъ письма.

Итакъ я надѣюсь, ведя мои записки, быть не менѣе, а гораздо болѣе откровеннымъ съ собою, чѣмъ въ задушевныхъ изліяніяхъ съ другими, хотя бы и съ самыми близкими къ сердцу людьми.

Второе условіе, чтобы быть истиннымъ автобіографомъ для самого себя, это—хорошая память. Для безпамятнаго, хотя бы остроумнаго и здравомыслящаго человѣка, его прошедшее почти не существуетъ. Такая личность можетъ быть весьма глубокомысленная и даже геніальная, но едва ли она можетъ быть неодносторонняя, и уже во всякомъ случаѣ ясныя и живыя ощущенія прошлыхъ впечатлѣній безъ памяти невозможны. Но память, какъ я думаю, есть двухъ родовъ: одна—общая, болѣе идеальная и міровая, другая — частная и болѣе техническая, какъ память музыкальная, память цвѣтовъ, чиселъ, и т. п. Первая (общая) хотя и отвергалась иными, но она-то именно

и удерживаетъ различнаго рода впечатлѣнія, получаемыя въ теченіе всей жизни, и событія, пережитыя каждымъ изъ насъ. Глубокомысленный и геніальный человѣкъ можетъ имѣть очень развитую спеціальную память, не обладая почти вовсе общею памятью.

Моя память общая и въ прежніе года была острая. Теперь же, въ старости, какъ и у другихъ, яснѣе представляется мнѣ многое прошлое, нетолько какъ событіе, но и какъ ощущеніе, совершавшееся во мнѣ самомъ, и я почти увѣренъ, что не ошибаюсь, описывая, что̀ и ка̀къ я чувствовалъ и мыслилъ въ разные періоды моей жизни. Но память для прошлыхъ ощущеній и составившихся изъ нихъ убѣжденій, мыслей и взглядовъ, можетъ быть, и не есть та, которую я называю общею памятью. Она можетъ быть также, какъ и память звуковъ, цвѣтовъ и т. п., спеціальная, такъ-сказать техническая, и не всякій одаренъ ею; память собственныхъ ощущеній требуетъ сверхъ того еще и культуры. Такая культура именно и рождаетъ въ насъ самоѣдство. Къ этому, т.-е. къ развитію самоѣдства, необходимо еще и вниманіе, сосредоточенное на собственныя ощущенія и ихъ дальнѣйшее развитіе. Вообще, запоминается хорошо только то, на что обращено вниманіе. Внимательность—необходимый аттрибутъ памяти. Но и вниманіе, и память, не всегда сознательны; первое, впрочемъ, рѣдко не сознательно, тогда какъ память, именно спеціальная (техническая), нерѣдко, и даже зачастую, дѣйствуетъ для насъ безсознательно. Мы многое запоминаемъ и многому внимаемъ невольно и незамѣтно для насъ самихъ. Нерѣдко, вспомнивъ что-нибудь, удивляешься, когда успѣлъ это припомнить.

Какъ остаются въ мозгу почти цѣлую жизнь нѣкоторыя ощущенія и воспоминанія не только о прошлыхъ событіяхъ, но еще и воспоминанія объ ощущеніяхъ, испытанныхъ нами при давно прошедшихъ событіяхъ,—трудно себѣ представить. Мозгъ, какъ и всѣ органы, подверженъ постоянной смѣнѣ вещества; атомы его тканей постоянно замѣняются новыми, и нужно предположить, что атомы его, замѣняясь при смѣнѣ вещества другими новыми, передаютъ имъ тѣ самыя колебанія, которымъ они подвергались при ощущеніи различныхъ впечат-

лѣній. И вотъ мягкая мозговая мякоть ребенка, оплотнѣваясь и измѣняясь въ ея физическихъ свойствахъ, продолжаетъ задерживать отпечатки самыхъ раннихъ ощущеній и впечатлѣній и передаетъ эти ощущенія нашему сознанію въ старости еще живѣе и яснѣе, чѣмъ прежде, въ зрѣломъ возрастѣ. Не говоритъ ли это въ пользу моего взгляда (нѣсколько мистическаго), что атомистическія колебанія (которыя необходимо предположить при ощущеніяхъ) совершаются не въ однихъ видимыхъ и подверженныхъ измѣненіямъ клѣточкахъ мозговой ткани, а въ чемъ-то еще другомъ, болѣе тонкомъ, эѳирномъ элементѣ, проникающемъ чрезъ всѣ атомы и не подверженномъ органическимъ измѣненіямъ.

Замѣчательны также и безсознательныя ощущенія, остающіяся и не остающіяся въ памяти. Нашъ внутренній бытъ составленъ весь изъ постоянныхъ, сознательно и безсознательно для насъ безпрестанно колеблющихъ и волнующихъ насъ ощущеній, приносимыхъ къ намъ извнѣ и изнутри насъ. Съ самаго начала нашего бытія до конца жизни всѣ органы и ткани приносятъ къ намъ и удерживаютъ въ насъ цѣлую массу ощущеній, получая впечатлѣнія то извнѣ, то изъ собственнаго своего существа. Мы не ощущаемъ нашихъ органовъ; мы, смотря на предметъ, не думаемъ о глазѣ; никто въ нормальномъ состояніи ничего не знаетъ о своей печени и даже о безпрестанно движущемся сердцѣ; но ни одинъ органъ не можетъ не приносить отъ себя ощущеній въ общій организмъ, составленный изъ этихъ органовъ. Ни одинъ органъ, какъ часть цѣлаго, не можетъ не напоминать безпрестанно о своемъ присутствіи этому цѣлому. И вотъ, эта вереница ощущеній, извнѣ и изнутри, безъ сомнѣнія извѣстнымъ образомъ регулированныхъ, и потому скажу лучше—сводъ (ensemble) ощущеній и есть наше *я*, въ теченіе всего нашего земного бытія. Что такое наше *я* безъ этихъ ощущеній—этого мы не можемъ себѣ представить; но и не можемъ не допустить возможности существованія ощущающаго начала безъ ощущеній. Одно *я* основано на опытѣ, другое—на логикѣ; есть и третье, основанное на вѣрованіи. Декартово: cogito, ergo sum можетъ быть безъ ошибки замѣнено: sentio, ergo sum; ибо слово: „ощущаю наше *я*“—можно сказать и не мысля. „Я есмь“ не есть продуктъ мышленія,

а ощущенія, т.-е. чувства, — не мысли, — что существую. Правда, младенецъ, дѣлающій первый вздохъ, вышедъ на свѣтъ, не говоритъ еще: я существую, хотя, безъ сомнѣнія, ощущаетъ, вбирая въ себя впервые воздухъ, нѣчто для него новое; но болѣе сознательное чувство существованія, приходящее къ ребенку постепенно, безъ сомнѣнія, не есть продуктъ мышленія, а болѣе регулированное и окрѣпшее ощущеніе, приносимое извнѣ и изнутри его органами.

Декартово *я* мышленія есть нѣчто другое; но гораздо прежде, чѣмъ произнесется нами это осмысленное и продуманное я: я есмь, мы уже успѣваемъ добраться посредствомъ однихъ ощущеній и представленій (но не мышленія) до нашего самоощущенія и выразить его. Дѣло въ томъ, что сознаніе нашего *я* приходитъ къ намъ безсознательно; мы до этого сознанія вовсе не додумываемся. Сознаніе бытія собственной личности не есть достояніе одной человѣческой натуры; оно обще намъ со всѣми животными; какъ бы животное могло защищать себя, отыскивать пищу, вести борьбу за существованіе, если бы въ немъ не было сознанія своей личности? Но полное уясненіе себѣ своего *я* словомъ: sum, есмь, — конечно, можетъ проявиться только въ такомъ существѣ, какъ человѣкъ, т.-е. одаренномъ словомъ и способностью производить въ умѣ членораздѣльные звуки и комбинировать ихъ въ умѣ же въ слова. Эти двѣ способности и мысль — одно и то же; безъ слова нѣтъ мысли, безъ мысли нѣтъ слова. Ощущеніе и представленіе превращаются въ мозгу въ мысль только посредствомъ членораздѣльныхъ звуковъ слова. Нѣтъ надобности, чтобы способность комбинировать изъ ощущеній слова была непремѣнно соединена съ способностью говорить, т.-е. произносить слова. Глухо-нѣмой мыслитъ по своему и можетъ понимать другихъ, не имѣя способности произносить слова; онъ замѣняетъ ихъ въ головѣ непремѣнно подобными же членораздѣльнымъ звукамъ знаками; а ощущеніе, необходимое для возбужденія этой способности къ дѣйствію, доставляется ему, конечно, не органомъ слуха, а зрѣнія и другими. Но, кромѣ органовъ чувствъ, и у насъ, и у животныхъ сознаніе не только личнаго бытія, но и ощущеніе всего пріятнаго и непріятнаго, аффекты и страсти — возбуждаются всѣми другими органами. Ансамбль (ensemble) ощущеній, доставляе-

мыхъ всѣми нашими органами (сообщающимися и не сообщающимися съ внѣшнимъ міромъ, съ нашимъ *не-я*) и есть наше бытіе, сущность котораго, какъ и всего другого на свѣтѣ, намъ неизвѣстна.

Въ книгахъ старинныхъ анатомовъ находимъ это высказаннымъ чрезвычайно пластически:

Cor ardet, loquitur pulmo, fel promovet ira,
Splen rudere facit, cogit amare jecur.

Въ наше время, когда наблюденія доказываютъ, что дѣйствія органовъ чувствъ и особливо глаза нельзя иначе объяснить, какъ принявъ безсознательное (инстинктивное) мышленіе, нельзя болѣе сомнѣваться и въ томъ, что мы доходимъ до вполнѣ сознательнаго грамматическаго я есмь не иначе, какъ путемъ еще задолго ему предшествующаго безсознательнаго мышленія. Но и это вполнѣ сознательное мышленіе имѣетъ свою безсознательную логику, требующую непремѣнно, роковымъ образомъ, чтобы мы мыслили такъ, а не иначе, и притомъ, къ нашему счастью, съ полнымъ внутреннимъ убѣжденіемъ, что мысль наша свободна. Она дѣйствительно свободна только у лишенныхъ ума, да и у нихъ эта свобода—другими словами: ерунда мышленія—вѣроятно въ зависимости отъ разныхъ не нормальныхъ ощущеній собственнаго бытія, приносимыхъ болѣзнью органовъ.

Но стараться убѣдить себя и другихъ, что наши мысль и воля дѣйствительно несвободны, есть также своего рода безуміе.

Противъ дѣйствительности ощущеній ничего не подѣлаешь; если мы всѣ галлюцинируемъ, то галлюцинаціи для насъ уже не существуетъ; кто будетъ тогда разувѣрять насъ, что мы обманываемся? Да еще есть возможность разубѣдиться, когда у всѣхъ насъ галлюцинируетъ только одинъ органъ чувствъ: другіе нормальные органы могутъ поправить ошибку. Но что подѣлаешь, когда у всѣхъ и всѣ ощущенія приводятъ къ убѣжденію, что ихъ мысли и воля свободны, когда на этомъ уже успѣли образоваться всѣ основы жизни? Упорствовать въ убѣжденіи себя и всѣхъ въ противномъ поведетъ въ этомъ случаѣ убѣждающаго мудреца къ тому, что собственныя его мысль и воля сдѣлаются дѣйствительно до того свободными, что онъ бу-

детъ готовъ къ поступленію въ домъ умалишенныхъ. Только съ ненормальными ощущеніями мы еще можемъ кое-какъ, да и то съ трудомъ, бороться; съ нормальными же, какъ бы они намъ ни казались безсмысленными, борьба—пагубна.

Между молодежью въ послѣднее время встрѣчались и такія личности, которыя никакъ не хотѣли и настолько закабалить мысль, чтобы остановиться на дважды-два—четыре. „Мысль моя свободна“, утверждали они: „я хочу—приму, хочу—нѣтъ какую ни на есть математическую аксіому“. Этимъ лицамъ и въ голову никогда не приходило, что распущенность мысли и воли есть страшный недугъ, отъ развитія котораго въ себѣ долженъ беречься каждый изъ насъ, кто не хочетъ покончить съ собою самоубійствомъ или домомъ умалишенныхъ. Каждый настолько долженъ быть свободенъ, чтобы избрать для себя то или другое міровоззрѣніе, но, избравъ, долженъ на немъ остановиться по крайней мѣрѣ до той поры, пока замѣнитъ его другимъ, новымъ.

Установленіе извѣстнаго modus vivendi необходимо не только для согласія семействъ, обществъ и народовъ, но и для согласія съ самимъ собою; а этого можно достигнуть только извѣстнымъ и болѣе или менѣе опредѣленнымъ міровоззрѣніемъ.

Не думаю, что кому-нибудь изъ мыслящихъ людей удалось въ теченіе цѣлой жизни руководствоваться однимъ и тѣмъ же міровоззрѣніемъ; но полагаю, что вся умственная наша жизнь въ концѣ концовъ сводится на выработку, хотя бы для домашняго обихода, какого-либо воззрѣнія на міръ, жизнь и себя самого. Эта постоянная работа, правда, мѣшаетъ установленію status quo, но все-таки, не прерываясь, тянется красною нитью чрезъ цѣлую жизнь и не перестаетъ руководить, какъ и управлять болѣе или менѣе нашими дѣйствіями. Колебанія и сомнѣнія при этой разработкѣ, конечно, неизбѣжны, но они далеко не тѣ, которыя обременяютъ человѣка, считающаго для себя остановку на чемъ-нибудь опредѣленномъ нарушеніемъ свободы мысли и воли.

Разсматривая мою жизнь, я опишу нѣсколько міровоззрѣній, которымъ я слѣдовалъ, останавливаясь на нихъ болѣе

или менѣе продолжительное время; полагаю, что мнѣ удастся также выяснить для себя и то, почему я принималъ ихъ и слѣдовалъ имъ; теперь же постараюсь уяснить себѣ то міровоззрѣніе, на которомъ я, какъ кажется, уже окончательно остановился; приведу покуда только часть моего настоящаго міровоззрѣнія, относящагося до моего взгляда на основы нашего бытія.

Остановиться мыслію на вѣчно движущихся и вѣчно существовавшихъ атомахъ я не могу теперь, хотя и могъ прежде. Мой умъ впадаетъ въ безъисходное положеніе въ обоихъ случаяхъ, т.-е. когда онъ хочетъ себѣ представить эти атомы безконечно дѣлимыми и безформенными, или же ограниченными и имѣющими извѣстный видъ. Безконечно-дѣлимое, движущееся и безформенное само по себѣ какъ-то случайно дѣлается ограниченнымъ, оформленнымъ и спокойнымъ: это такъ несовмѣстимо въ моемъ умѣ, что я не могу на немъ остановиться. Мнѣ невозможно также остановиться на атомахъ, размельченныхъ въ какіе-то крупинки, шарики, математическія точки, и т. п. Если вся вселенная переполнена этими непроницаемыми, т. е. сохраняющими главное свойство вещества, атомами,—и между тѣмъ они должны находиться въ безпрестанномъ движеніи, то гдѣ же, въ чемъ и какъ совершается ихъ движеніе? Мой слабый умъ, производя свой анализъ вещества, дѣля и разлагая его атомы, никакъ не можетъ на нихъ остановиться и незамѣтно, невольно переходитъ отъ нихъ, въ концѣ концовъ, къ чему-то другому, имѣющему всѣ отрицательныя свойства матеріи; мой умственный анализъ роковымъ образомъ приходитъ къ необходимости принять внѣ атомовъ нѣчто проницаемое и все и всюду проникающее, недѣлимое, безформенное, вѣчно движущееся и именно этими своими свойствами сообщающее, движущее, скопляющее, разсѣевающее атомы, образующее тѣмъ формы вещества и, само проникая въ нихъ и чрезъ нихъ, принимающее (такъ-сказать, укладываясь въ нихъ) на себя, хотя бы и временно, тотъ или другой видъ, смотря по тому, въ какую и чрезъ какую форму матеріи оно проникаетъ.

Перенося мой анализъ на органическія вещества и на самого себя, я невольно спрашиваю себя: откуда могла взяться

способность органическаго міра ощущать и сознавать свое бытіе? Основные его атомы, какъ бы я ихъ себѣ ни представлялъ, останутся для меня все-таки безконечно дѣлимыми, непроницаемыми, и т. п., то-есть имѣющими такія свойства, которыя не объясняютъ мнѣ ихъ способности ощущать и сознавать себя; необходимо будетъ допустить, что отъ вѣка вѣковъ существуютъ и атомы, одаренные этими свойствами и своимъ скопленіемъ въ одно цѣлое образующіе чувствующіе и сознающіе свое существованіе организмы. Мой умъ не допускаетъ, чтобы одна группировка атомовъ въ извѣстныя формы (какъ, напримѣръ, мозговыя клѣточки) могла ихъ сдѣлать, eo ipso, способными ощущать, хотѣть и сознавать, если бы въ нихъ не была вложена способность къ ощущенію и сознанію.

Вотъ это начало,—этотъ-то элементъ чувства, воли и сознанія, самый основной бытія,—начало, безъ котораго міръ не существовалъ бы для насъ, мой умственный анализъ и отыскиваетъ за предѣлами атомовъ,—въ томъ, что̀ онъ по необходимости признаетъ существующимъ внѣ ихъ и имѣющимъ отрицательныя, т.-е. противоположныя атомистическимъ, свойства, безъ которыхъ и положительныя свойства матеріи для насъ были бы несуществующими.

Это отвлеченное, какъ и самые атомы, произведеніе умственнаго анализа, основанное на природной способности ума переносить свои функціи внѣ себя, должно содержать въ себѣ и самое главное отрицательное свойство вещественныхъ атомовъ —самостоятельное жизненное начало съ его главнымъ аттрибутомъ: способностью къ ощущенію и самосознанію, не такимъ, конечно, которымъ одарены мы.

Я представляю себѣ,—нѣтъ, это не представленіе, а грёза, —и вотъ мнѣ грезится безпредѣльный, безпрерывно зыблющійся и текущій океанъ жизни, безформенный, вмѣщающій въ себѣ всю вселенную, проникающій всѣ ея атомы, безпрерывно группирующій ихъ, снова разлагающій ихъ сочетанія и агрегаты и приспособляющій ихъ къ различнымъ цѣлямъ бытія.

Къ какому бы разряду моихъ ограниченныхъ представленій я ни отнесъ этотъ источникъ ощущенія и ощущающаго себя бытія—къ разряду ли силъ, или безконечно утонченнаго вещества—онъ для меня все-таки представляетъ нѣчто независимое

и отличное отъ той матеріи, которая извѣстна намъ по своимъ чувственнымъ (подлежащимъ чувственному изслѣдованію) свойствамъ. У меня нѣтъ другихъ средствъ къ изслѣдованію этого источника ощущенія и моего сознательнаго бытія, какъ полученная мною изъ этого же источника способность ощущенія. А разслѣдовать и познать что-либо вполнѣ мы можемъ только тогда, когда станемъ выше познаваемаго. Но свойство нашего ума искать цѣли и цѣлесообразности не можетъ не видѣть цѣлесообразности въ проявленіяхъ жизни. Нѣтъ ничего цѣлесообразнаго, придуманнаго нашимъ умомъ, что̀ не обрѣталось бы готовымъ, такъ-сказать, въ окружающемъ насъ мірѣ. Напрасно говорятъ, что организмъ нашъ есть машина;—наоборотъ, каждая придуманная нами машина есть не что другое, какъ сколокъ съ существующихъ уже въ природѣ и въ нашемъ организмѣ приборовъ и снарядовъ.

Все органическое въ природѣ тѣмъ и поразительно для насъ, что въ немъ начало или сила жизни приспособила всѣ механическіе и химическіе процессы къ извѣстнымъ цѣлямъ бытія. Если же умъ нашъ не можетъ не найти цѣлесообразности въ проявленіяхъ жизни и творчества различныхъ типовъ по опредѣленнымъ формамъ, то этотъ же умъ не можетъ въ этомъ не видѣть самого себя,—то-есть, видѣть разумное; и вотъ нашъ умъ по необходимости долженъ принять безпредѣльный и вѣчный разумъ, управляющій океаномъ жизни.

21 ноября 1879.

Я началъ писать мои записки 5-го ноября 1879 года, и сегодня, 21-го ноября, опять принимаюсь, послѣ промежутка въ нѣсколько дней.

Пишу для себя и не прочитаю, до поры до времени, писаннаго. Поэтому найдется не мало повтореній, недомолвокъ; найдутся и противорѣчія, и непослѣдовательности. Если я начну исправлять все это, то это было бы знакомъ, что я пишу для другихъ.

Я признаюсь самъ себѣ, что ‘вовсе не желаю сохранять навсегда мои записки подъ спудомъ; тѣ однако же лица, которымъ когда-нибудь будетъ интересно познакомиться съ моимъ

внутреннимъ бытомъ, не побрезгаютъ и моими повтореніями; они вѣрно захотятъ узнать меня такимъ, каковъ я есть, съ моими противорѣчіями и непослѣдовательностями.

И вотъ, я сегодня повторяю себѣ мое теперешнее міровоззрѣніе. Повторяя, можетъ быть, удастся уяснить его себѣ какъ можно болѣе.

Спрашиваю себя: что́ собственно заставляетъ меня не остановиться съ моимъ міровоззрѣніемъ на атомахъ вещества, какъ на чемъ-то законченномъ, вѣчномъ, безпредѣльномъ, самостоятельномъ, слѣдовательно абсолютномъ и не допускающемъ существованія ничего другого?

Атомы вещества,—это такое же отвлеченное начало, какъ и предполагаемое мною жизненное міровое начало. Для чего допускать два отвлеченія, когда можно остановиться на одномъ? Почему не принять, что атомы вещества всегда существовали и всегда, вмѣстѣ съ другими свойствами матеріи, были способны ощущать и сознавать себя? Гдѣ и кѣмъ найдено въ мірѣ ощущеніе и сознаніе безъ присутствія вещества? Кто изъ насъ сознавалъ себя и мыслилъ безъ мозга? Почему матерія при другихъ свойствахъ не могла бы ощущать, сознавать себя и мыслить? Не потому ли только мы не можемъ допустить это, что мы, по нашему невѣдѣнію, неопытности и близорукости сужденія, слишкомъ, и притомъ произвольно, ограничили наши понятія о свойствахъ вещества, — и, сдѣлавъ это, принудили себя допустить существованіе какого-то, нами же выдуманнаго, духовнаго (психическаго) начала?

Да, такъ спрашивалъ я себя нѣкогда и отвѣчалъ положительно на всѣ эти вопросы.

Неоспоримый фактъ: нѣтъ сознанія и мысли безъ мозга; и умозаключенія по извѣстному и общепринятому шаблону: cum hoc, ergo propter hoc—казались мнѣ до того естественными и непреложными, что не допускали во мнѣ и тѣни сомнѣнія.

Но тотъ же самый умъ, признававшій прежде безъ всякаго сомнѣнія мыслящіе и сознающіе себя мозговые атомы, впослѣдствіи началъ усматривать себя самого не только въ себѣ, но и во всей міровой жизни. Тогда умъ мой не могъ не усмотрѣть, что главныя его проявленія—мышленіе и творчество, согласныя съ законами цѣлесообразности и причинности, ясно

обнаруживаются и во всей міровой жизни безъ участія мозговой мякоти. Не странно ли, что мысль, выходящая изъ мозга, находитъ себя тамъ, гдѣ ни одинъ индивидуальный мозгъ (не открытъ нашими чувствами)?

Вотъ это-то открытіе собственнымъ своимъ мозговымъ мышленіемъ мышленія мірового, общаго и согласнаго съ его законами причинности и цѣлесообразности творчества вселенной—и есть то, почему умъ мой не могъ остановиться на атомахъ ощущающихъ, сознающихъ себя, мыслящихъ и дѣйствующихъ только посредствомъ себя же, безъ участія другого, высшаго начала сознанія и мысли. Способность творчества нашего ума и свойственное ей стремленіе сообразоваться въ своихъ твореніяхъ съ предначертанными планами и цѣлями не могутъ не различать въ каждомъ изъ своихъ дѣлъ мысль и цѣль отъ средствъ и матеріала, служащихъ для исполненія мысли и цѣли.

Цѣль и мысль, пойманныя, такъ-сказать, въ сѣть матеріала, — на полотно въ краскахъ живописца, въ мраморъ зодчаго, на бумагу въ условные знаки и слова поэта,—живутъ потомъ цѣлые вѣка своею жизнію, заставляя и полотно, и мраморъ, и бумагу сообщать изъ рода въ родъ содержимое въ нихъ творчество. Мысль, проникая въ грубый матеріалъ, дѣлаетъ его своимъ органомъ, способнымъ рождать и развивать новыя мысли въ зрителяхъ и читателяхъ.

Если это неоспоримый фактъ, то для меня не менѣе неоспоримо и то, что высшая міровая мысль, избравшая своимъ органомъ вселенную, проникая и группируя атомы въ извѣстную форму, сдѣлала и мой мозгъ органомъ мышленія. Дѣйствительно, его ни съ чѣмъ нельзя лучше сравнить, какъ съ музыкальнымъ органомъ, струны и клавиши котораго приводятся въ постоянное колебаніе извнѣ; а кто-то, ощущая ихъ, присматриваясь, прислушиваясь къ нимъ, самъ приводя и клавиши, и струны въ движеніе, составляетъ изъ этихъ колебаній гармоническое цѣлое. Этотъ кто-то, приводя мой органъ въ униссонъ съ міровою гармоніею, дѣлается моимъ *я*; тогда законы цѣлесообразности и причинности дѣйствій міровой идеи дѣлаются и законами моего *я*, и я обрѣтаю ихъ въ самомъ себѣ, перенося ихъ проявленія извнѣ въ себя и изъ себя въ природу.

Ощущеніе, сознаніе, мысль—процессы, не мыслимые безъ колебаній атомовъ, составляющихъ наше общее чувствилище—не могутъ состоять изъ однихъ только колебаній и движеній, не достигающихъ до чего-нибудь, что къ нимъ относилось бы такъ же, какъ глазъ къ свѣтовымъ и ухо къ звуковымъ колебаніямъ, то-есть, воспринимало бы эти колебанія и превращало бы ихъ въ нѣчто другое и сообщало бы ихъ, дѣйствуя отъ себя, внѣшнему міру. Не самыя ли эти колебанія атомовъ органа—и суть нашего *я*? Принять это, значило бы для меня принять въ веществѣ такое невещественное и отвлеченное свойство, которое не имѣетъ никакихъ чувственныхъ отношеній къ матеріи, обладающей этимъ свойствомъ. Теплота, свѣтъ, электричество, какъ эффекты колебанія частицъ, всѣ имѣютъ прямыя и непосредственныя отношенія къ нашимъ чувствамъ и способность дѣйствовать своими колебаніями непосредственно на сцѣпленіе и сродство атомовъ; а самое чувство и мысль, отыскивающія въ природѣ и свѣтъ, и теплоту, и электричество, чисто субъективныя по своей натурѣ, дѣлаются объектомъ не прямо, а посредствомъ другихъ силъ, дѣйствуя на вещества.

Жизнь, сила, движеніе и мысль—для меня понятія, такъ неразрывно связанныя между собою, что я ни одного изъ нихъ не могу себѣ представить безъ другого. Въ жизни есть движеніе, сила и мысль; въ мысли—движеніе и сила, а въ силѣ—движеніе и мысль. Этому ассоціированному представленію о жизни недостаетъ почвы, которую мы привыкли имѣть подъ ногами; въ немъ нѣтъ ничего конкретнаго и объективнаго. Но представленіе объ общей міровой жизни и не можетъ у насъ быть конкретнымъ или чисто фактическимъ; это фикція, но неизбѣжная, неотвратимая для насъ, потому что эта жизнь существуетъ, и мы существуемъ, мыслимъ и дѣйствуемъ въ ея непостижимомъ для насъ, по своей громадности, круговоротѣ. Но вѣдь и наши объективныя разслѣдованія, намъ кажущіяся имѣющими самую твердую почву, въ сущности не что́ другое, какъ разслѣдованіе нашей субъективной мысли; иначе они были бы безсмысленны и не заслуживали бы названія разслѣдованій. Правда, въ нихъ (въ этихъ изслѣдованіяхъ) мысль наша находитъ себѣ постоянно матеріальную подкладку или канву,

на которой она выдѣлываетъ для себя узоры изъ располагаемаго ею веществennаго матеріала.

При изслѣдованіи отвлеченнаго понятія о міровой жизни мы не въ силахъ сладить съ громоздкимъ веществомъ, которымъ она располагаетъ для своихъ проявленій, а изслѣдованіе частныхъ ея проявленій дѣлаетъ наше представленіе о міровой жизни отрывочнымъ, одностороннимъ и часто ложнымъ. Одно только неоспоримо для каждаго безпристрастнаго и неблизорукаго наблюдателя,—это цѣлесообразность, причинность, планъ и мысль во всякомъ проявленіи міровой жизни. Это значитъ не что другое, какъ совпаденіе нашей мысли, нашихъ стремленій къ отысканію цѣлей и причинъ—съ тѣмъ, что мы находимъ въ міровой жизни.

И въ меня невольно вселяется убѣжденіе, что мозгъ мой и весь я самъ есть только органъ мысли міровой жизни, какъ картины, статуи, зданія суть органы и хранилища мысли художника.

Для веществennаго проявленія міровой мысли и понадобился приборъ, составленный по опредѣленному плану изъ группированныхъ извѣстнымъ образомъ атомовъ, — это мой организмъ; а міровое сознаніе сдѣлалось моимъ индивидуальнымъ, посредствомъ особеннаго механизма, заключающагося въ нервныхъ центрахъ. Какъ это сдѣлалось—конечно, ни я, ни кто другой не знаемъ. Но то для меня несомнѣнно, что сознаніе мое, моя мысль и присущее моему уму стремленіе къ отысканію цѣлей и причинъ не можетъ быть чѣмъ-то отрывочнымъ, единичнымъ, не имѣющимъ связи съ міровою жизнію и чѣмъ-то законченнымъ и заканчивающимъ мірозданіе, то-есть не имѣющимъ ничего выше себя.

Наконецъ, самый отчаянный эмпиризмъ, не признающій, не желающій знать ничего, кромѣ фактовъ и чувственныхъ впечатлѣній, въ концѣ концовъ, все-таки руководится отвлеченіемъ, то-есть мыслью; кромѣ того, что безъ нея не обходится ни одно чувственное впечатлѣніе (основанное на безсознательной логикѣ); одни чувственныя впечатлѣнія безъ сознательной руководящей мысли пригодны развѣ для одного эмпирика-эпикурейца, но никакъ не эмпирика-наблюдателя и изслѣдователя.

Все въ мыслящемъ мірѣ сводится къ отвлеченію; всѣ наши представленія и понятія, какъ бы они ни основывались на фактахъ и чувственномъ опытѣ, дѣлаются чистыми отвлеченіями, какъ скоро мы подвергнемъ ихъ умственному анализу; а не подвергать—не въ нашей волѣ. Этотъ-то разъѣдающій анализъ и превращаетъ вещество въ силу. Все, что считается свойствомъ вещества, умственнымъ анализомъ превращается въ нѣчто существующее внѣ подверженнаго нашимъ чувствамъ вещества, то-есть опять-таки въ силу или вещество, противоположное веществу.

Атомы, принимаемые умственнымъ анализомъ за основу матеріи, превращаются имъ или въ математическія, то-есть невещественныя, точки, или центры, притягивающіе къ себѣ другіе атомы, или же въ безконечно малыя, то-есть безконечно дѣлимыя величины.

И въ томъ, и въ другомъ случаѣ вещество перестаетъ быть тѣмъ, чѣмъ оно намъ кажется; теряетъ свое чувственное (подверженное нашимъ чувствамъ) существованіе; другими словами, —дѣлается силою, и потому именно силою, что, разложивъ его на атомы, намъ нельзя уже представить его спокойнымъ и бездѣйствующимъ; допустивъ же дѣйствіе, мы этимъ и придадимъ ему самый главный аттрибутъ силы (—дѣйствіе). А чтобы оставить за веществомъ его самыя характерныя свойства, намъ нужно положить предѣлъ разлагающему его умственному анализу;— такъ, если бы мы, продливъ нашъ анализъ безпредѣльно, допустили безконечную дѣлимость матеріи, то превратили бы ее, какъ я сказалъ, въ силу, или въ нѣчто неуловимое, не подверженное нашимъ чувствамъ, и тѣмъ лишили бы ее другихъ ея главныхъ свойствъ—непроницаемости и тяжести. Ограничить же умственный анализъ, не доведя его до конца, значитъ принять за вещество не послѣдній продуктъ анализа—атомы, а только скопленіе или скученіе ихъ, и въ такомъ случаѣ нужно будетъ допустить возможность образованія вещества изъ скопленія силы. И я не вижу логической невозможности принять этотъ конечный результатъ моего умственнаго анализа матеріи. Правда, я не знаю, что̀ такое сила безъ проявленія ея въ веществѣ; но въ веществѣ, подвергнутомъ умственному анализу, я ничего не вижу, кромѣ проявленія силы, и всѣ свойства ве-

щества въ моихъ глазахъ—проявленія силы; такъ, вещество сдѣлалось бы такимъ же проницаемымъ, если бы частицы его (то-есть скученіе атомовъ) не удерживались притягательною, атомистическою силою; безъ этой первобытной силы не было бы ни малѣйшихъ вещественныхъ частицъ, и безпредѣльно раздѣленная матерія исчезла бы изъ нашего чувственнаго міра. Но сила, обнаруживавшаяся моимъ чувствамъ въ свойствахъ и движеніяхъ матеріи, могла бы существовать, и не скопленная въ видѣ атомистическихъ частицъ. Насколько бы она осталась, послѣ разсѣянія матеріи, вещественною,—разумѣя подъ этимъ словомъ не то́, насколько бы она осталась чувственною (подверженною чувствамъ), а то́ лишь, насколько она осталась бы уловимою нашею мозговою мыслію,—этого я не знаю; но, убѣжденный, что сверхъ моей мозговой мысли существуетъ еще другая, высшая міровая, я вѣрю, что сила продолжала бы существовать и дѣйствовать въ этой міровой мысли. Мысль же эта и дѣйствующая чрезъ нее сила,—это міровая жизнь.

Да, жизнь,—это для меня понятіе коллективное. Это я уже сказалъ: жизнь—это осмысленная, безгранично-дѣйствующая сила, управляющая всѣми свойствами вещества (то-есть его силами), стремясь при томъ непрерывно къ достиженію извѣстной цѣли: осуществленію и поддержкѣ бытія.

Простое эмпирическое опредѣленіе жизни, данное Биша и другими, также довольно вѣрно: по этому опредѣленію жизнь сводится на собраніе отправленій,—ensemble des fonctions,—противодѣйствующихъ смерти,—qui resistent à la mort.

Дѣйствительно, въ живомъ организмѣ, какъ и во всемъ живомъ мірѣ, всѣ отправленія, всѣ функціи направлены къ тому, чтобы сохранить бытіе и противодѣйствовать разрушенію; ошибка или лучше недомолвка этого опредѣленія—только въ томъ, что не отправленія организма сами по себѣ стремятся и болѣе или менѣе достигаютъ этой цѣли, а другое, руководящее ихъ начало,—осмысленное,—то-есть стремящееся къ цѣли и дѣлающее всѣ функціи организма цѣлесообразными,—сила жизни.

Всѣ механическія дѣйствія органическихъ снарядовъ и приборовъ, всѣ химическіе процессы, весь процессъ развитія въ организмѣ, все цѣлесообразно, вездѣ мысль, планъ и стремленіе осуществить, сохранить и поддержать бытіе. Механизмъ

устройства органовъ, химизмъ различныхъ функцій, и т. п., все это чѣмъ болѣе разслѣдуется и чѣмъ болѣе подвергается чувственному анализу, тѣмъ яснѣе обнаруживаются въ замысловатости устройства цѣлесообразность и причинность; но то, что направляетъ механическіе и химическіе процессы организма къ цѣли, то остается и останется для насъ сущимъ и первобытнымъ, хотя и сокровеннымъ для чувственнаго представленія.

2 декабря 1879 г.

Прошло опять нѣсколько дней, въ которые я не бесѣдовалъ съ собою. Найду-ли опять нить, не прочитавъ записаннаго прежде—нужды нѣтъ; я не претендую на званіе философа и пишу для себя.

Что́ для моего склада ума, наклоннаго къ эмпиризму и въ немъ окрѣпшаго, казалось прежде абсурдомъ,—это мысль безъ органа мышленія.

Да, мозговая мысль немыслима безъ мозга.

Но вѣдь и міровая—не есть ли одинъ только продуктъ мозговой? Гдѣ органъ мышленія для міровой мысли? Гдѣ ея проявленія безъ мозговой мысли? Въ томъ-то и дѣло,—отвѣчу на это,—что то же самое чувство, которое убѣждаетъ насъ въ нашемъ бытіи, неразлучно съ этимъ убѣжденіемъ и вселяетъ въ насъ и другое—о существованіи міра, то-есть, о проявленіяхъ міровой мысли. И тотъ же самый умъ, который убѣждается въ цѣлесообразности нашихъ жизненныхъ функцій, видитъ и цѣлесообразность въ бытіи другихъ міровыхъ функцій; другими словами, нашъ же собственный умъ, какъ бы онъ настроенъ (эмпиризмомъ или идеализмомъ) ни былъ, не можетъ не замѣтить присутствія мысли внѣ себя; точно такъ же, какъ не можетъ не убѣдиться въ присутствіи вещества въ нашемъ организмѣ и внѣ его. Одно изъ двухъ: онъ (нашъ умъ) долженъ принять—или все существующее одна внѣ его иллюзія, или существованіе міра,—нашего *не-я*,—такъ же непреложно, какъ и собственное бытіе. Чтобы не помѣшаться и не угодить въ домъ умалишенныхъ, необходимо принять послѣднее, какъ непреложную истину, то-есть такую же, какъ наше собственное ощущеніе бытія. Принявъ же это, неминуемо нужно

признать и существованіе—кромѣ нашей мозговой мысли—другой, высшей, міровой. Постоянное ея проявленіе въ окружающей насъ вселенной тѣмъ непреложнѣе для насъ, что все проявляющееся въ нашемъ умѣ; все изобрѣтаемое имъ, все, наконецъ, до чего мы только можемъ додуматься,—уже есть существующее, есть готовое въ проявленіяхъ міровой мысли...

Усталъ немного послѣ 2-хъ часовой прогулки по снѣгу при 9^0 Реомюра; но, отдыхая, продолжаю разборъ моего міровоззрѣнія. Мнѣ самому любопытно знать, насколько я смогу сдѣлать его себѣ яснымъ и законченнымъ.

Да, уму, воспитавшему себя на эмпиризмѣ, гораздо легче себя представить простою функціею мозга. Въ практической жизни эмпирическій умъ можетъ, нисколько не затрудняясь, остановиться на такомъ взглядѣ, повидимому безупречномъ и основанномъ на безспорныхъ фактахъ. Неминуемымъ слѣдствіемъ этого взгляда должно быть то, что міровая цѣлесообразность и творчество по опредѣленному плану суть произведенія нашего ума, функціи нашего же мозга. А принявъ это, нужно будетъ допустить и другое слѣдствіе,—то именно, что самъ мозгъ, находящій посредствомъ своей функціи (ума) планъ и цѣлесообразность въ міровомъ устройствѣ, дѣлаетъ это только потому, что онъ уже такъ устроенъ, что атомы, составляющіе мозгъ, подъ вліяніемъ внѣшнихъ условій и случайно, такъ, а не иначе сложились. Нужно будетъ допустить, что могло бы быть и иначе. Выйдетъ что-то странное: если цѣлесообразность и планъ навязаны вселенной моимъ мозгомъ, а онъ самъ, какъ и все въ мірѣ, продуктъ случайнаго сочетанія атомовъ, отъ извѣстной формы группировки и состава которыхъ произошло то, что воздѣйствіе на нихъ внѣшняго міра производитъ и чувство, и мышленіе; если, говорю, допустить все это, какъ ultimum refugium ума, то все, что я отношу къ творчеству міровой мысли и жизни, должно быть дѣломъ случая. Случайно, — ибо нѣтъ начала, дѣйствовавшаго самостоятельно, цѣлесообразно и разумно,—случайно, говорю, при безчисленномъ множествѣ разныхъ формъ и составовъ, въ которые группировались, посредствомъ собственныхъ своихъ свойствъ, атомы вещества, состоялась и группировка атомовъ мозга; сна-

чала, конечно, въ иномъ первобытномъ видѣ, а потомъ, измѣняясь и осложняясь подъ вліяніемъ внѣшнихъ условій, образовался и нынѣ дѣйствующій органъ ощущенія и мышленія.

И такъ, случай — вотъ творческое начало; отъ сочетанія его дѣйствій съ воздѣйствіемъ внѣшнихъ, также происшедшихъ когда-то отъ случая, силъ, произошелъ тотъ бастардъ, который мы называемъ міромъ.

Въ такомъ міровоззрѣніи необходимо, прежде всего, остановиться на случаѣ, какъ самой мощной силѣ; но о случаѣ я скажу мой взглядъ при случаѣ, потомъ,—полагая, что онъ мнѣ столько же знакомъ и незнакомъ, сколько и другимъ особамъ, приписывающимъ ему такое первостепенное значеніе.

Есть, однако же, въ этомъ крайнемъ взглядѣ доля правды.

Изслѣдуя природу хотя бы самымъ эмпирическимъ способомъ, то-есть довѣряя только однимъ чрезъ внѣшнее чувство добытымъ фактамъ, мы все-таки, собственно, ничего другого не дѣлаемъ, какъ только переносимъ наше мышленіе и вообще всѣ наши умственныя способности на внѣшній міръ; и, наоборотъ, мы не можемъ иначе изслѣдовать наше собственное я, какъ сдѣлавъ его внѣшнимъ объектомъ, то-есть перенося его внѣ насъ. Но, принимая это какъ неоспоримый фактъ, я, при моемъ воззрѣніи, не могу не принять въ то же время, что открываемая моимъ мышленіемъ цѣлесообразность мірового устройства была бы чѣмъ-то ему произвольно или непроизвольно мною навязаннымъ, чѣмъ-то не вполнѣ дѣйствительнымъ, то-есть столько же непреложнымъ, какъ и мое собственное бытіе.

Но всего болѣе и яснѣе обнаруживается различіе моего міровоззрѣнія отъ эмпирическаго въ томъ, что уму, принимающему себя за одну органическую функцію мозга, кажется какимъ-то нелѣпымъ абсурдомъ другое, противоположное убѣжденіе въ существованіи другого, первобытнаго, разумнаго, жизненнаго начала, — не функціоннаго и не органическаго, — которое, не завися отъ группировки атомовъ и дѣйствія атомистическихъ силъ,—само организуетъ и приводитъ въ дѣйствіе атомистическія силы; орудіемъ же или органомъ его проявленій служитъ вселенная. Мозговой умъ нашъ и находитъ себя, то-есть свойственное ему стремленіе къ цѣлесообразности и

творчеству,—внѣ себя, только потому, что онъ самъ есть не что́ иное, какъ проявленіе высшаго мірового ума.

3 декабря 1879.

Также послѣ долгой прогулки въ прекрасный зимній день, на чистѣйшемъ и, вѣроятно, озонированномъ воздухѣ.

Такому органическому (мозговому) уму, какъ нашъ, конечно, трудно себѣ вообразить другой, да еще высшій умъ безъ органической почвы; а для современнаго склада нашего ума такое воззрѣніе неминуемо должно казаться нелѣпымъ. Въ наше время не одни дипломаты мирятся всего скорѣе съ совершившимся и существующимъ уже фактомъ; и дѣйствительно въ житейской практикѣ всего удобнѣе остановиться на томъ, что́ видимо и осязаемо; а при разслѣдованіи причинъ и слѣдствій—держаться извѣстнаго всѣмъ по опыту cum et post hoc, ergo propter hoc; какъ ни обветшалъ этотъ лозунгъ, какъ онъ ни преслѣдуется логикою, но въ сущности онъ неизбѣженъ въ эмпиризмѣ. Испытывая что-либо и опровергая или подтверждая одинъ опытъ другимъ, мы все-таки ничего другого не дѣлаемъ съ нашими эмпирическими или индуктивными умозаключеніями, какъ замѣняемъ одно cum et propter hoc другимъ.

Да, въ практической жизни и въ эмпиризмѣ нельзя уходить слишкомъ далеко; но гдѣ остановиться?

Вотъ вопросъ, рѣшаемый не иначе, какъ индивидуально различнымъ складомъ ума у каждаго изъ насъ. Но какъ бы мы ни старались ограничиться одними фактами и чисто индуктивными умозаключеніями, все-таки приходится почти на каждомъ шагу считаться съ отвлеченными представленіями и понятіями. Безъ отвлеченія не существуетъ и ни одно умозаключеніе, какъ бы оно индуктивно ни было. Пространство—фактъ, время—фактъ, движеніе—фактъ, жизнь—фактъ, и въ то же время и пространство, и время, и движеніе, и жизнь—самыя крупныя и первостепеннѣйшія отвлеченія.

Каждый ребенокъ мѣряетъ пространство и можетъ довольно легко и правильно судить о немъ, пока оно подвергается тремъ измѣреніямъ; но о пространствѣ вообще, безмѣрномъ и безграничномъ, и весьма дѣльные умы еще не совсѣмъ увѣрены, сколькими измѣреніями оно способно мѣриться,—и математики

толкуютъ о возможности четвертаго, — найдутъ, можетъ быть, необходимымъ или возможнымъ и пятое.

Вѣроятно, нашъ мозговой умъ доходитъ до всѣхъ этихъ отвлеченныхъ понятій о пространствѣ, времени, и т. п., путемъ эмпирическимъ, чрезъ ощущеніе наружными чувствами. Но то не эмпиризмъ, когда мы, всегда и вездѣ видящіе и ощущающіе границы пространства, начинаемъ помышлять и о безграничномъ. Кантовы ли это какія-то категоріи или ящики въ конторкѣ нашего мозгового ума, или другой какой-то скрытый его механизмъ; но присутствіе отвлеченія въ такихъ фактическихъ истинахъ, каковы пространство и время,—такой же фактъ. Мы роковымъ образомъ, неминуемо, не видя и не ощущая неизмѣримаго и безграничнаго, признаемъ фактическое его существованіе;—вотъ не-фактъ существуетъ такъ же фактически, какъ и фактъ; и въ существованіи безграничнаго и безмѣрнаго мы гораздо болѣе убѣждены, чѣмъ былъ убѣжденъ Колумбъ въ существованіи Америки до ея открытія. Разница только въ томъ, что мы нашу Америку никогда не откроемъ такъ, какъ онъ свою.

4 декабря 1879.

Вмѣсто вчерашнихъ 15^0 сегодня 3^0, съ сильнымъ западнымъ вѣтромъ, такъ что гулялъ не болѣе одного часу.

Нужно замѣтить, что наши понятія о пространствѣ, времени и жизни совершенно отличны отъ обыкновенныхъ обобщеній, какъ, напримѣръ, понятіе о человѣкѣ. Въ обобщеніи „человѣкъ“ мы понимаемъ не болѣе какъ свойства, несомнѣнно характеризующія человѣческія особи.

Но въ понятіи о пространствѣ исчезаютъ всѣ свойства отдѣльныхъ пространствъ, какъ-то: ихъ измѣреніе, форма, содержимое и пр.; намъ (по крайней мѣрѣ мнѣ), при размышленіи о пространствѣ, сдается, что всѣ извѣстные намъ по чувственнымъ представленіямъ пространства и предметы заключаются въ чемъ-то иномъ—неизмѣримомъ, безформенномъ, безграничномъ.

То же самое находимъ и въ понятіи о времени: фактически мы судимъ о немъ только по движенію въ пространствѣ; но сверхъ этого фактическаго опредѣленія времени мы сознаемъ

еще, что и безъ движенія, то-есть безъ средства къ измѣренію времени въ пространствѣ, существуетъ наше *я* въ настоящемъ, подобно тому, какъ оно существовало въ прошедшемъ, и что это же самое настоящее и прошедшее существуютъ не для нашего одного *я*, а должны существовать и безъ него.

Понятіе о мѣрѣ пространства и времени, невольно сопровождающее мысль о самомъ пространствѣ и самомъ времени, намъ служитъ не къ уясненію нашего понятія, а къ убѣжденію насъ въ томъ, что измѣряемое въ пространствѣ и времени не есть еще самое пространство и самое время.

Понятіе о жизни также не есть одно обобщеніе.

Оно относится, по моему, къ той же категоріи, какъ и понятіе о пространствѣ и времени.

Первый толчокъ къ образованію въ нашемъ умѣ понятій объ этихъ трехъ иксахъ даетъ намъ ощущеніе нашего бытія. Это ощущеніе, конечно, фактъ, но какой? Можно ли его причислить къ категоріи фактовъ, добываемыхъ нашими внѣшними чувствами и основанныхъ именно на этомъ главнѣйшемъ фактѣ—на ощущеніи бытія, безъ котораго для насъ все другое немыслимо? Это фактъ, sui generis, выходящій изъ ряду вонъ.

Какъ проявляется чувство бытія въ животныхъ—это тайна, такъ же не разрѣшимая, какъ и проявленіе нашихъ понятій о пространствѣ и времени. Первымъ толчкомъ служатъ, конечно, дѣйствія внѣшняго міра на наши чувства, но только толчкомъ, а самая суть и ощущенія бытія, и понятій о времени и пространствѣ—скрываются глубоко въ существѣ самого жизненнаго начала.

Возьмемъ для примѣра моментъ рожденія на свѣтъ теплокровнаго животнаго. Что̀ заставляетъ его ощутить свое бытіе первымъ вдыханіемъ воздуха, издать первый звукъ жизни?

Рефлексъ отъ прикосновенія воздуха къ его периферическимъ нервамъ или отъ внезапнаго измѣненія въ кровообращеніи новорожденнаго.

Значитъ, машина такъ устроена, что прикосновеніе внѣшняго міра къ периферическимъ нервамъ неминуемо должно отразиться на ту пружину, находящуюся въ продолговатомъ мозгѣ, которая приводитъ въ движеніе дыхательный приборъ, заставляя его потянуть въ себя наружный воздухъ; а это первое

вдыханіе, въ свою очередь, должно отразиться на чемъ-то ощущающемъ самого себя и отличающемъ себя отъ внѣшняго міра. Но связь-то именно этого чего-то съ механизмомъ животной машины и есть иксъ, потому не разрѣшимый, что для фактическаго его разрѣшенія необходимо бы было не только подмѣтить на себѣ или другомъ животномъ, но и прочувствовать эту связь перваго вдыханія съ ощущеніемъ бытія. Да и такое невозможное наблюденіе было бы еще недостаточно. Ощущая, нельзя сдѣдить за ощущеніемъ, не измѣняя и не нарушая его. Мы всякій день видимъ, какъ родятся люди и животныя, какъ выводятся цыплята изъ яицъ, и мы такъ привыкли къ жизни, что можемъ думать, будто мы сами даемъ жизнь другимъ существамъ (такъ думаютъ, пожалуй, и многіе);— не мудрено поэтому, что жизнь намъ кажется вовсе не тайною, а простымъ, обыденнымъ дѣломъ.

Жизнь и бытіе едва-ли не кажутся многимъ изъ насъ однимъ и тѣмъ же.

И нельзя не согласиться, что различіе между живымъ и неживымъ неуловимо на окраинахъ жизни. Наше понятіе о жизни, какъ о цѣломъ, прежде всего основано на нашемъ собственномъ ощущеніи бытія и присущемъ этому ощущенію чувствѣ мощи или силы жизни;—мы, прежде чѣмъ опытъ научаетъ насъ разузнавать жизнь по ея рѣзкимъ проявленіямъ, невольно склонны принимать эти же ощущенія жизни (болѣе или менѣе) во всемъ насъ окружающемъ и, конечно, всего болѣе въ томъ, что обнаруживаетъ движеніе, то-есть силу и мощь. Я полагаю, что ребенокъ, прежде чѣмъ онъ дойдетъ опытомъ отличать свое *я* отъ окружающаго его *не-я*, принимаетъ все его окружающее въ такой же степени живымъ, какъ и онъ самъ.

Живя, наблюдая и учась, мы, наконецъ, научаемся отличать болѣе или менѣе раціонально проявленіе жизни отъ простого бытія; но и тогда мы узнаемъ не болѣе и не менѣе, какъ механизмъ организмовъ, управляемый тѣми-же силами, которыми управляется и бытіе: тяготѣніемъ, сцѣпленіемъ и сродствомъ атомовъ, электричествомъ, теплотою, и т. п.; а начало, цѣлесообразно направляющее эти силы и механизмъ къ сохраненію организма, индивидуальности и ихъ опредѣленныхъ по

предначертанному плану отношеній къ внѣшнему міру, остается для насъ невѣдомымъ и, говоря языкомъ юристовъ, неподлежащимъ обсужденію (разслѣдованію) по существу, а только по формѣ.

Одинъ нашъ мозговой умъ неминуемо убѣждается въ существованіи этого начала жизни, находя въ немъ самого себя, то-есть разумное стремленіе къ цѣли, самобытности, творчеству по опредѣленному плану. Нашъ умъ, находя въ самыхъ разнообразнѣйшихъ проявленіяхъ жизни свои собственныя существеннѣйшія стремленія въ неизмѣримо высшемъ размѣрѣ, не можетъ не признать первобытнаго и самостоятельнаго бытія высшаго начала, дѣйствующаго по тѣмъ же, какъ и онъ самъ, законамъ цѣлесообразности и творчества. Бытіе этого начала поэтому же самому должно быть для нашего ума независимымъ отъ управляемой имъ матеріи и такъ же точно первобытно и независимо отъ частныхъ его вещественныхъ проявленій (проявленій въ веществѣ), какъ пространства и время независимы отъ частныхъ пространствъ и частей времени.

Какъ пространство и время, такъ и жизненное начало, въ нихъ существующее, должны быть, по требованію нашего же ума, первобытны, безпредѣльны, безформенны. И самобытное, безформенное начало жизни творитъ въ безграничныхъ и также первобытныхъ пространствѣ и времени всѣ возможныя формы вещества, направляя всѣ другія силы къ борьбѣ за существованіе въ оформленномъ и оживленномъ веществѣ.

Но какъ бы ни соотвѣтствовало требованіямъ нашего ума убѣжденіе въ необходимости существованія внѣ вещества первобытнаго и самобытнаго жизненнаго начала, управляющаго атомами и присущими имъ силами, мы, конечно, никогда не будемъ въ состояніи составить себѣ о немъ ясное понятіе. Всегда и неизбѣжно сомнѣніе найдетъ мѣсто въ нашемъ умѣ, и чѣмъ болѣе опытъ и наблюденіе знакомятъ насъ съ устройствомъ и механизмомъ функцій органовъ, необходимыхъ для жизни, тѣмъ болѣе правдоподобнымъ будетъ казаться намъ самая жизнь не чѣмъ инымъ, какъ отправленіемъ (функціею) этихъ органовъ; а наши понятія о самобытности и цѣлесообразности дѣйствій жизненнаго начала будутъ казаться намъ

одними воображательными отвлеченіями нашего же ума, не существующими фактически.

Дѣйствительно, наша умственная дѣятельность, получивъ однажды извѣстное направленіе, не легко отклоняется отъ него, и тѣмъ труднѣе, чѣмъ болѣе она удовлетворится результатами своихъ изслѣдованій, въ принятомъ ею направленіи. Не мудрено, что именно тѣ результаты, въ достиженіи которыхъ участвовали по преимуществу наши внѣшнія чувства, и наиболѣе должны казаться намъ ясными и удовлетворительными. Но, къ сожалѣнію, именно при индуктивномъ или фактическомъ способѣ разслѣдованія мы обыкновенно упускаемъ изъ виду, что наши чувственныя разслѣдованія имѣютъ значеніе не сами по себѣ, а по тѣмъ заключеніямъ, которыя мы выводимъ — сознательно и безсознательно — изъ видѣннаго, слышаннаго и вообще прочувствованнаго нами. Заключенія же эти, также какъ и другіе логическіе выводы, все-таки не что иное, какъ отвлеченія,—и также сознательныя и безсознательныя.

Умъ нашъ по необходимости во всякомъ фактѣ и во всей вселенной усматриваетъ только самого себя, внѣ себя; это онъ дѣлаетъ и при индукціи, и при дедукціи: и тамъ, гдѣ онъ судитъ по даннымъ, пріобрѣтеннымъ чувствами, и тамъ, гдѣ онъ судитъ по представленіямъ фантазіи.

Не перенося себя внѣ себя, мы не имѣемъ другого способа умствованія. Мы, не перенося нашего *я* внѣ насъ, не можемъ убѣдиться умственно и въ существованіи міра, ибо ощущенія чувственныя существующаго внѣ свойственны всѣмъ животнымъ и, можетъ быть, и всѣмъ органическимъ тѣламъ,—ощущенія безсознательныя или сознаваемыя, такъ сказать, per contactum, —конечно, не то, что мы называемъ убѣжденіемъ.

Умъ нашъ, перенося себя внѣ себя и усматривая здѣсь себя самого, то-есть свойственныя ему одному стремленія, какъ творчество, цѣлесообразность, соотвѣтственность причинъ и слѣдствій, не можетъ однако же не придти къ заключенію, что все это, имъ усматриваемое внѣ себя, дѣйствительно существуетъ, также какъ и онъ самъ, то-есть всѣ стремленія, находимыя имъ въ себѣ, и все узнаваемое и творимое имъ— существуютъ уже внѣ его. Онъ ничего не изобрѣлъ такого, что бы не было предварительно имъ открыто внѣ себя,—въ

окружающемъ его мірѣ и въ себѣ самомъ, какъ частичкѣ этого внѣшняго міра [1]).

16 декабря 1879 года.

15° R.; отличный воздухъ; немного N. E.; солнечный день; снѣгу выпало вчера и третьяго-дня порядочно съ мятелью. Предшествовавшіе два-три листа писалъ между 7 и 16 декабря урывками, при погодѣ, переходившей почти въ оттепель, между 0+2°—3° R. Занятъ былъ въ это время больными, операціями и продажею пшеницы (по 1 руб. 50 коп. за пудъ). Хотя снѣгъ выпалъ въ началѣ ноября (8—13) на талую землю, но, по изслѣдованіямъ на этихъ дняхъ, она замерзла на 3—4″ и только въ низменностяхъ, подъ глубокимъ снѣгомъ, еще стоитъ талая; всходы, однако же, и тутъ еще зелены и не подмокли.

Да, нашъ мозговой умъ, изслѣдующій свой genesis дедуктивнымъ способомъ, скоро и легко,—слишкомъ скоро и слишкомъ легко, я полагаю,—убѣждается, что онъ есть не что другое, какъ функція мозга. Разсматривая свой главный аттрибутъ—мышленіе, нашъ умъ убѣждается при этомъ, что оно есть коллективная способность, и потому должно быть функціею различныхъ частей и различныхъ гистологическихъ элементовъ мозга.

Въ процессѣ мышленія принимаютъ участіе: 1) способность—сознательная и несознательная—ощущать и воспринимать впечатлѣнія (perceptio); 2) сознаніе этихъ впечатлѣній,—хотя и не всегда, такъ какъ и при безсознательныхъ ощущеніяхъ можно еще и мыслить безсознательно; 3) способность удерживать впечатлѣнія (память), также не всегда сознательная; 4) способность (которую я бы назвалъ понятливостью) сочетать, ассоціировать, группировать въ извѣстномъ порядкѣ задержанныя памятью ощущенія и составлять изъ нихъ понятія; а для этого, въ свою очередь, необходимо еще и 5) conditio sine qua non мышленія—способность означать знаками или перемѣ-

---

[1]) Здѣсь въ подлинникѣ (Рукоп., л. 17, стр. 3) на полѣ нѣсколько строкъ, неизвѣстно куда относящихся и разобранныхъ такимъ образомъ: „Но цѣли выше въ жизни. Ноги ходятъ. Что за функціи, убивающія свой органъ произвольно“.

щать въ фонетическіе и мимическіе знаки (членораздѣльные звуки и слова) ощущаемыя впечатлѣнія, передающія ихъ въ этомъ новомъ видѣ и памяти. Комбинація, группировка и ассоціація впечатлѣній, безъ превращенія ихъ въ фонетическіе и мимическіе знаки, хотя и возможны, но отношенія тогда этой способности къ сознанію для насъ непостижимы, и мы называемъ такую группировку и ассоціацію безсознательными или инстинктивными. Мы должны признаться однако же, что названіемъ нисколько не объясняемъ себѣ отношеній и роли сознанія въ этомъ случаѣ. 6) Напослѣдокъ вѣнецъ въ процессѣ нашего мышленія составляютъ стремленіе и способность его различать причину и слѣдствія, цѣль и средства (законы причинности и цѣлесообразности), находить связь между ними, предполагать въ каждомъ дѣйствіи цѣль и стремленіе къ ея достиженію, словомъ—стремленіе и способность къ творчеству. И все это въ процессѣ нашего мышленія соединено съ чувствомъ свободы, воли и произвола.

Всѣмъ намъ кажется, что мы свободны мыслить такъ или иначе и какъ хотимъ; но съ другой стороны всякій изъ насъ чувствуетъ и знаетъ, что этой кажущейся свободѣ положенъ предѣлъ, вышедъ изъ котораго, мышленіе дѣлается безуміемъ. Это потому, что мышленіе наше подлежитъ законамъ высшаго мірового мышленія. Между тѣмъ мозговой умъ нашъ, не знающій иного мышленія, кромѣ своего, и убѣжденный опытомъ въ зависимости его отъ мозга, при разсматриваніи внѣшняго міра можетъ дойти до такой иллюзіи, что въ немъ нѣтъ никакой иной мысли, кромѣ нашей собственной. Да если бы мы не были увѣрены въ бытіи внѣшняго міра такъ же твердо, какъ и въ своемъ собственномъ, то все, что наше разслѣдованіе открываетъ въ немъ цѣлесообразнымъ и какъ бы намѣренно и независимо отъ насъ устроеннымъ, мы могли бы, пожалуй, принять за произведеніе одного нашего ума и нашей фантазіи.

И вотъ мы находимъ себя запертыми въ волшебный кругъ; съ одной стороны мы фактически не знаемъ другого ума, кромѣ своего органическаго; съ другой стороны этотъ же самый умъ указываетъ намъ на внѣшнія произведенія творчества, несомнѣнно свидѣтельствующія о существованіи другого ума съ

аттрибутами не только сходными, но и несравненно болѣе превышающими творчество нашего. И вотъ рождается невольно вопросъ: дѣйствительно ли мы не могли бы иначе ходить, какъ съ помощью ногъ, или же мы только ходимъ, потому что у насъ есть ноги? дѣйствительно ли только при посредствѣ мозга мы могли бы мыслить, или же мы мыслимъ только потому, что есть мозгъ? Видя неисчерпаемое множество средствъ, съ которыми въ окружающей насъ вселенной достигаются извѣстныя цѣли, можемъ ли мы утверждать, что умъ могъ и долженъ былъ быть единственно только функціею мозга? Развѣ пчела, муравей и т. п. животныя и безъ помощи мозга позвоночныхъ животныхъ не представляютъ намъ примѣровъ удивительной сообразительности, стремленія къ цѣли и даже творчества. И что́ это за странная функція, держащая въ зависимости отъ себя существованіе своего органа? Выстрѣлъ изъ револьвера, направленный этою функціею,—и ея органъ разрушенъ. Что́ за безпримѣрная функція, способная разсматривать и анализировать себя и свой органъ, какъ объектъ, какъ нѣчто внѣшнее? Не потому ли умъ нашъ и находитъ себя, т.-е. мысль и цѣлесообразное творчество, внѣ себя, что онъ самъ есть проявленіе того же самаго высшаго, мірового, жизненнаго начала, которое присутствуетъ и проявляется во всей вселенной. Міровая мысль, присущая этому началу, совпадаетъ, такъ-сказать, съ нашею мозговою мыслію, служащею ея проявленіемъ, и потому тѣ же стремленія и сходные аттрибуты находимъ мы въ той и другой. Совпаденіе свидѣтельствуетъ объ одномъ и томъ же источникѣ, но различіе неизмѣримо велико, несравненно болѣе велико, чѣмъ мы, напримѣръ, полагаемъ между особью и родомъ или племенемъ. Наша мысль есть, дѣйствительно, только индивидуальная, и именно потому, что она—мозговая, органическ ая.Другая же мысль, проявляющаяся въ жизненномъ началѣ всей вселенной, именно потому, что она міровая, и не можетъ быть органическою. А нашъ, хотя бы и общечеловѣческій, но все-таки индивидуальный умъ, и именно по причинѣ своей индивидуальности, а слѣдовательно органичности и ограниченности, и не можетъ возвыситься до пониманія тѣхъ высшихъ цѣлей творчества, которыя присущи только уму неорганическому и неограниченному—міровому. А потому

и жизненное начало, какъ одно изъ проявленій этого ума, для насъ останется навсегда тайною. Ignorabimus.

17 декабря 1879.

Морозъ 25^0—R.; но тихо, ясно и превосходно на воздухѣ. Въ персичной (оранжереѣ), подъ стеклами и ставнями, прикрытыми навозомъ, 12^0—R.

Вселенная, жизнь, сила, пространство и время,—все это—какъ бы ихъ назвать?—назову: отвлеченные факты. Названіе, пожалуй, абсурдное, но оно вмѣщаетъ въ себѣ именно два противорѣчія, и потому, мнѣ кажется, выражаетъ то, что я хочу сказать. Наше понятіе о жизни, силѣ, пространствѣ, времени и о вселенной основано, по моему, прежде всего на ощущеніи, слѣдовательно на фактѣ. Ощущая сознательно (а безсознательное ощущеніе жизни хотя и существуетъ несомнѣнно, но я его не знаю и судить о немъ не могу), мы вмѣстѣ съ тѣмъ ощущаемъ и силу (мощь), и пространство, и время, и міръ, т.-е. наше *не-я*. Ощущая все это, мы сначала не анализируемъ нашего ощущенія и принимаемъ все d'emblée, за одинъ и тотъ же фактъ; несмотря однако же на отсутствіе анализа, мы все-таки сознаемъ (не знаю какъ: сознательно или безсознательно?!) и приходимъ даже къ твердому убѣжденію, что, кромѣ того ограниченнаго пространства, которое мы сами занимаемъ, и даже кромѣ видимой нами границы горизонта, существуетъ еще пространство, а за нимъ еще и еще. Такъ и для времени, и для силы, и для жизни мы въ нашемъ ощущеніи не находимъ опредѣленныхъ границъ. Мы не помнимъ начала этого ощущенія, не знаемъ его и конца. Только фантазія и долговременный опытъ, показывающій начало и конецъ различныхъ предметовъ и различныхъ дѣйствій, приводятъ насъ къ иллюзорнымъ убѣжденіямъ, заставляющимъ насъ думать, что есть конецъ свѣта, конецъ жизни, и т. п. Ощущеніе же, какъ фактъ, переживаемый нами, убѣждаетъ насъ въ противномъ, т.-е. въ существованіи безпредѣльнаго и безграничнаго. Въ ощущеніи, выражаемомъ нами звукомъ или словомъ: „я есмь“, заключаются и „я былъ“, и „я буду“.

Мы живо чувствуемъ, что настоящее—иллюзія, что мы живемъ только въ прошедшемъ, безпрерывно переходящемъ въ будущее. И когда мы хотимъ нѣсколько оріентироваться въ нашихъ ощущеніяхъ жизни, силы, пространства, времени и вещества, то-есть довести эти ощущенія до степени понятія, то мы не поступаемъ такъ, какъ при другихъ нашихъ обобщеніяхъ. Понятіе, складывающееся у насъ объ ощущеніяхъ жизни, силы, времени, пространства и вещества, не есть квинтъ-эссенція свойствъ отдѣльныхъ предметовъ или особей, какъ наши другія отвлеченныя обобщенія. Нѣтъ; это отвлеченный фактъ, выведенный изъ ощущенія чего-то безпредѣльнаго и безграничнаго, противорѣчащій тому, что мы называемъ дѣйствительнымъ фактомъ, т.-е. такимъ, который по своей ограниченности подлежитъ повѣркѣ внѣшнихъ чувствъ или вообще какой-либо внѣшней (документальной, какъ, напримѣръ, историческіе факты) повѣркѣ.

Что бы мы ни говорили о неизбѣжности смерти, но жизнь, даже наша собственная, представляется намъ какъ бы безконечною; по крайней мѣрѣ конца ея—пока мы не приблизились къ смерти старостью или болѣзнью—мы себѣ ясно представить не можемъ.

Какъ бы мы ни были знакомы по опыту съ свойствами матеріи, мы убѣждаемся, что всѣ наши знанія этихъ свойствъ недостаточны для опредѣленнаго понятія о веществѣ или, другими словами, для его ограниченія. Какъ бы ни казалась намъ сила нераздѣльною отъ вещества, мы все-таки не можемъ ее понять какъ свойство матеріи, а принуждены допустить ея самостоятельное безпредѣльное бытіе, какъ и самаго вещества, въ безграничномъ пространствѣ и времени. Да если бы удалось намъ, какъ удалось астрономамъ, опредѣлить, хотя бы приблизительно, границы и мѣры того, что намъ кажется или нами ощущается безпредѣльнымъ и безграничнымъ, то и тогда бы, какъ и въ астрономіи, вышли бы такія цифры и числа, представить себѣ которыя наглядно и фактически мы будемъ не въ состояніи; что̀ толку, если бы получились милліарды милліардовъ?—представленія наши о нашихъ числахъ будутъ такъ же неопредѣленны, какъ и о безграничномъ и безпредѣльномъ.

25 декабря 1879.

Рождество Христово. Не писалъ дневника нѣсколько дней, но зато на моихъ утреннихъ прогулкахъ по имѣнію старался привести въ порядокъ и ясность для себя мои понятія о началѣ жизни.

Я долженъ привести себѣ въ ясность—насколько я матеріалистъ; эта кличка мнѣ не по-нутру, какъ Гессенъ-Кассельскому герцогу, который никакъ не могъ терпѣть, чтобы его гессенскаго профессора Либиха считали матеріалистомъ. „Sein Vater war Materialist (т.-е. аптекарь), nicht er“, говорилъ герцогъ обвинителямъ Либиха въ матеріализмѣ.

Но что́ за дѣло до клички? Главное—сдѣлать для себя яснымъ свое міровоззрѣніе. Если я только не слукавлю предъ Богомъ и моей собственной совѣстью, излагая мое міровоззрѣніе, то дѣла нѣтъ—буду ли я матеріалистъ или глупецъ въ отношеніи къ другимъ.

Я измѣнилъ себѣ и прочиталъ написанное нѣсколько дней назадъ. Прочитавъ, вижу, что къ понятіямъ о безпредѣльномъ, къ которымъ я отношу пространство, время, силу и жизнь, я отнесъ и понятіе о веществѣ. Откровенно сознаюсь, что вещество мнѣ кажется такимъ же безпредѣльнымъ, какъ пространство, время, сила и жизнь. Мнѣ кажется, то-есть, моему воображенію не представляется невозможнымъ, что вещество могло бы перейти въ силу, и сила—въ вещество. Сила должна быть безформенна, но и матерія въ крайнихъ ея предѣлахъ едва ли мыслима съ сохраненіемъ формы. И жизненное начало, какъ сила, какъ нѣчто безпредѣльное и безформенное въ моемъ представленіи, должно имѣть свойства силы, переходить въ матеріальные атомы, подобно тому, какъ допускается возможность перехода туманныхъ пятенъ мірового эѳира въ небесныя тѣла. Сравненіе, правда, самое грубое. Тутъ переходъ вещества въ вещество, слѣдовательно—одно видоизмѣненіе. А переходъ силы въ вещество!—Это что́? Ахинея? Но вѣдь сила не ничто,—и, разсматриваемая мышленіемъ отдѣльно отъ вещества, она есть нѣчто отличное отъ матеріи, хотя бы только и отрицательными свойствами. Только одно понятіе о Богѣ, или—у атеистовъ—понятіе о мірѣ (ихъ Богѣ), можетъ быть понятіемъ безъ отрицанія; все другое на свѣтѣ, понимаемое или представляе-

мое нами, должно имѣть и собственное свое отрицаніе въ нашемъ умѣ.

Понятіе о безпредѣльномъ пространствѣ имѣетъ свое отрицаніе въ измѣряемыхъ и оформленныхъ предметахъ; понятіе о безконечности времени отрицается часами и минутами; для жизни служитъ отрицаніемъ смерть; даже для уясненія одного изъ свойствъ Божеской натуры—добра—сдѣлался необходимымъ дьяволъ. Потому и понятіе о веществѣ вызвало въ умѣ представленіе о противоположномъ началѣ—силѣ; безъ нея, безъ ея антагонистическихъ веществу аттрибутовъ, самое вещество съ его инерціею и другими свойствами было бы немыслимо. Но отрицательное (то-есть, не матеріальное) свойство силы можно и—для болѣе яснаго представленія—нужно перевести въ положительное, принявъ за исходную точку главный аттрибутъ силы—дѣйствіе и движеніе. И дѣйствительно, съ моимъ представленіемъ безграничнаго пространства и времени соединяется и представленіе о движеніи; время—это отвлеченное движеніе въ пространствѣ, то-есть, сила, дѣйствующая въ пространствѣ и своимъ дѣйствіемъ приводящая себя въ вещество. Могу ли я требовать, чтобы представленія мои о такихъ отвлеченныхъ предметахъ были ясны и отчетливы, какъ чувственные факты?—вѣдь и о самыхъ наглядныхъ вещахъ нерѣдко имѣешь одно смутное представленіе. Слѣдуетъ ли изъ того, что́ мнѣ представляется неяснымъ, заключить, что это темное представленіе ложно и безсмысленно? Не бываютъ ли, напротивъ, именно галлюцинаціи, то-есть призраки, весьма ясны и неоспоримы для галлюцинирующихъ? Извѣстно, что, при неясности представленій, мы прибѣгаемъ къ сравненіямъ.

И вотъ мнѣ кажется, что въ моемъ понятіи жизненное начало ни съ чѣмъ не можетъ быть такъ сравнено, какъ съ свѣтомъ. Источникъ свѣта хотя и извѣстенъ намъ фактически, но разстояніе его отъ насъ такъ далеко и дѣйствія его на насъ и все окружающее насъ такъ многочисленны и разнообразны, что мы въ обыкновенной жизни называемъ, безъ дальнѣйшаго размышленія, свойствами тѣлъ—свойства свѣта. Мы говоримъ и думаемъ, что тотъ или другой цвѣтъ принадлежитъ не солнечнымъ лучамъ, а тому или другому тѣлу, хотя это тѣло потому только цвѣтное, что атомы его задерживаютъ,

отражаютъ или преломляютъ лучи свѣта. Лучи же свѣта могутъ достигать до насъ и быть видимыми нами, можетъ быть, цѣлые вѣка послѣ того, какъ источникъ ихъ свѣта уже давно погасъ. Колебанія свѣтового эѳира,—чего-то непохожаго на вещество, способнаго проникать чрезъ вещества, непроницаемыя для всякой другой матеріи, и вмѣстѣ съ тѣмъ сообщающаго имъ новыя свойства,—мнѣ кажутся подходящими для сравненія съ дѣйствіями жизненнаго начала.

26-го декабря 1879.

Бесѣда съ самимъ собою заманчива. Какъ я ни убѣжденъ, что мнѣ не удастся уяснить себѣ вполнѣ мое міровоззрѣніе, но самая попытка уясненія заключаетъ уже въ себѣ какую-то прелесть.

Погода все время измѣняется: NW и NNW, иногда переходящіе SO. Температура между -5^0—6^0 и $+2^0$ R.

Да, мозгъ представляется мнѣ подобнымъ стеклянной призмѣ, имѣющей свойство разлагать лучъ свѣта и преломлять его. Если бы я не боялся насмѣшки надъ самимъ собою за фантазерство, я бы назвалъ мозгъ призмою мірового ума; воспринимать и пропускать чрезъ себя колебанія или дѣйствія этой міровой силы—было бы функціею мозга, если бы сравненіе мое было вѣрно. Но, ставя себя на точку зрѣнія матеріалиста-эмпирика, я вижу непроходимую пропасть между моимъ сравненіемъ и тѣмъ воззрѣніемъ, къ которому неминуемо приводитъ,—на первыхъ порахъ и, такъ-сказать, сгоряча,—скептицизмъ эмпиріи. Не говоря уже о томъ, что comparaison n'est pas raison, есть ли—спрашивается—для эмпирика хотя малѣйшій смыслъ въ употребленныхъ мною выраженіяхъ, какъ: колебанія силы, міровой умъ безъ мірового мозга, сила безъ вещества, жизненное начало внѣ организма? что это, съ точки зрѣнія эмпирика, какъ не идеологическій наборъ словъ?

Да, согласенъ, помирить чистый эмпиризмъ съ существованіемъ силы внѣ матеріи, мысли внѣ мозга, жизненнаго начала внѣ органическихъ тѣлъ—немыслимо. Это contradictio in adjecto. И тѣ чистые эмпирики, которые, останавливаясь на фак-

тахъ, не идутъ далѣе своихъ непосредственныхъ (прямыхъ или ближайшихъ) умозаключеній изъ этихъ фактовъ, совершенно правы въ моихъ глазахъ,—я самъ былъ и даже есмь такой; но какъ скоро переступается ими эта граница волшебнаго круга, какъ скоро они берутся за разрѣшеніе таинственнаго икса, то тутъ выводы эмпиризма оказываются нисколько не осмысленнѣе идеологическихъ предположеній. Не забудемъ однако же, что то́, что́ мы называемъ смысломъ, не есть непоколебимое и безусловно вѣрное мѣрило истины. Хотя законы мышленія всегда были и будутъ одни и тѣ же, дважды два всегда будетъ четыре, но осмысленными и безсмысленными намъ кажутся не всегда и не всѣмъ одни и тѣ же предметы. То, что считалось безспорнымъ и очевиднымъ лѣтъ сто тому назадъ, то можетъ быть безсмысленнымъ для живущихъ въ концѣ XIX вѣка. Смыслъ мѣняется не отъ одного процентнаго содержанія знанія въ нашемъ умѣ, а часто и отъ психическихъ повѣтрій и другихъ внѣшнихъ условій, къ которымъ надо отнести и моду. Мода же является также въ видѣ повѣтрія. Вообще нашъ смыслъ, а вмѣстѣ съ нимъ всѣ наши міровоззрѣнія подчиняются закону періодичности, играющей въ нашей, какъ и всей міровой жизни, важную роль. Старое и забытое является въ извѣстные періоды снова на свѣтъ, но, конечно, всегда въ иномъ видѣ; новыя скопившіяся пріобрѣтенія опыта вызываютъ на свѣтъ забытое и придаютъ ему свѣжесть и новую силу. Ново то только, что хорошо забыто,—это изреченіе скептика имѣетъ свою долю правды. Періодическое и вѣковое господство различныхъ противоположныхъ одна другой доктринъ въ наукахъ и въ міровоззрѣніяхъ различныхъ націй доказываетъ намъ наглядно, насколько мы можемъ довѣрять нашему смыслу. Современный эмпиризмъ есть также своего рода доктрина, хотя послѣдователи ея и желали бы не быть доктринерами. Всякая же доктрина, хотя бы и претендующая на однѣ чисто фактическія основы, какъ это дѣлаетъ эмпиризмъ,—всегда односторонняя; иначе она не господствовала бы, не слѣдовала бы одному и тому же направленію, считая его непогрѣшимымъ, и признавала бы достоинство и другихъ убѣжденій, основанныхъ не на однихъ только чисто чувственныхъ

фактахъ. Безсмысленнымъ называется то, что противорѣчитъ нашимъ убѣжденіямъ,—именно убѣжденіямъ, а не знаніямъ, ибо убѣжденія вліяютъ на насъ сильнѣе знанія.

28-е декабря 1879.

Мятель и вьюга при сильномъ NW цѣлую ночь и продолжается теперь при $+1^0$ R.; все вокругъ занесено снѣгомъ, нельзя высунуть носа, и я принужденъ остаться безъ моей утренней прогулки. Попробую писать, — что-то зыйдетъ.

Если смыслъ нашъ зависимъ отъ нашихъ современныхъ убѣжденій,—а они, въ свою очередь, преходящи и не всегда, по своей силѣ и упорству, соотвѣтствуютъ нашимъ знаніямъ,—то ни одна господствующая доктрина, ни одно умственное направленіе не должно смотрѣть свысока на другія, имъ противорѣчащія, доктрины и направленія; а умы безпристрастные, не увлекающіеся и не довѣрчивые, не должны пугаться насмѣшекъ, разныхъ кличекъ и обвиненій въ отсталости, нераціональности и безсмыслін. Кто пережилъ уже кое-что на своемъ вѣку, тотъ вспомнитъ, съ какимъ пренебреженіемъ относились въ двадцатыхъ-тридцатыхъ годахъ нашего столѣтія гегельянцы и натурфилософы къ скромнымъ и приниженнымъ (въ то время) эмпирикамъ, платящимъ теперь, въ свою очередь, прежнимъ мудрецамъ тою же монетою. Всего вѣрнѣе и надежнѣе, конечно, было бы остановиться на позитивизмѣ, оставить въ покоѣ неизъяснимое, принявъ за аксіому, что существуютъ предметы, не подлежащіе нашему знанію. Но это воззрѣніе на практикѣ дѣлается, подобно другимъ, доктриною, какъ скоро оно будетъ проводиться послѣдовательно и обязательно для его послѣдователей. Доктринерство же—я сказалъ,—всегда односторонне и узко. Можно ли требовать отъ каждаго ума, чтобы онъ обязался не затрогивать тотъ или другой предметъ размышленія; чтобы онъ остановился именно тамъ, гдѣ ему назначаетъ остановиться другой умъ! Дѣйствительно, какъ кажется, утверждаетъ позитивизмъ, въ жизни человѣчества замѣчается извѣстная послѣдовательность въ направленіи мышленія и міровоззрѣніяхъ, соотвѣтствующая степени знаній, пріобрѣтаемыхъ жизнью чело-

вѣчества. Но эта послѣдовательность не уничтожаетъ возможности періодичныхъ возвратовъ того или другого изъ предшествовавшихъ направленій, такъ какъ уму нашему не суждено окончательно убѣждаться въ непреложности истины принятаго имъ направленія. Временныя наши убѣжденія, хотя и всегда сильнѣе нашихъ знаній, но еще менѣе прочны, чѣмъ самыя знанія, пріобрѣтенныя однимъ опытомъ. Поэтому, какъ бы ни было позитивно направленіе современныхъ умовъ, нельзя отвергать наклонность къ возврату другого противопозитивнаго (позитивному) направленія, хотя бы въ отличномъ отъ прежняго видѣ. И вотъ я, не оспаривая достоинствъ позитивизма и его пригодности для многихъ высокихъ умовъ, считаю его, однако же, для моего собственнаго ума непригоднымъ, и чтобы я могъ сдѣлаться позитивистомъ—я долженъ бы изнасиловать себя.

Какъ бы размышленіе и опытъ ни убѣждали меня, что я не въ состояніи выйти изъ очерченнаго вокругъ меня волшебнаго круга, что я не могу разрѣшить ни одной изъ занимающихъ меня проблемъ—я не могу осилить мои влеченія и не заниматься тѣмъ, что я считаю вопросами моей жизни. Но я съ тѣмъ вмѣстѣ не доктринеръ. Стараться осмыслить произведеніе фантазіи въ разрѣшеніи этихъ вопросовъ для меня не значитъ отказаться вовсе отъ эмпиріи или пренебрегать ею, считать ея выработанные уже наукою и опытомъ методы ложными или малозначащими и не признавать ея заслугъ. Нѣтъ, я одинъ изъ тѣхъ, которые еще въ концѣ двадцатыхъ годовъ нашего столѣтія, едва сошедъ съ студенской скамьи, уже почуяли вѣяніе времени и съ жаромъ предавались эмпирическому направленію науки, несмотря на то, что вокругъ ихъ еще простирались дебри натуральной и гегелевской философіи. Прослуживъ вѣрою и правдою этому (тогда еще новому) направленію моей науки слишкомъ пятьдесятъ лѣтъ, я убѣдился, однако же, что для человѣка съ моимъ складомъ ума невозможно оставаться по всѣмъ занимающимъ меня вопросамъ жизни въ этомъ одномъ направленіи, или, другими словами, сдѣлаться позитивистомъ и сказать себѣ: „стой! ни шагу далѣе“!

Вотъ я при такомъ убѣжденіи и дозволяю моей фантазіи, при помощи моихъ, какихъ ни на есть, знаній, доказывать, — конечно, мнѣ же самому,—что raison d'être всего подвластнаго

чувствамъ, опыту и наблюденію скрыто за кулисами эмпирической сцены и потому и подвластно лишь ей одной (фантазіи), да размышленію, да и то въ самыхъ ограниченныхъ размѣрахъ. Не бывъ отъявленнымъ позитивистомъ, я не могу искоренить въ себѣ желанія заглянуть за кулисы, и не только изъ одного любопытства, но и съ (утилитарною) цѣлью ограниченія слишкомъ назойливыхъ претензій опыта на самовластіе и вмѣшательство въ рѣшеніе вопросовъ, касающихся того закулиснаго резондэтра.

И такъ, начну съ того, на чемъ остановился, и что должно казаться, съ перваго взгляда, безсмысленнымъ.

29 декабря 1879.

Мятель утихла, небольшой NO—5° R. Послѣ утренней прогулки.

„In's Innere der Natur dringt kein geschaffener Geist". Это великая, глубоко продуманная мысль великаго естествоиспытателя. Да, какъ бы глубоко ни проникали внутрь организма опытъ и наблюденіе, внутрь самой натуры имъ входъ запрещенъ. Научный прогрессъ дѣлаетъ опытъ и наблюденіе болѣе утонченными, изощряетъ чувства наблюдателя, помогаетъ замѣнять какъ можно лучше одно чувство другимъ, какъ, напримѣръ, зрѣніемъ—осязаніе; раскрываетъ механизмъ и химизмъ органической фабрики [1]); но то, что̀ заправляетъ ею, что̀ направляетъ дѣйствующія въ ней силы къ охранѣ и поддержанію бытія въ извѣстномъ, опредѣленномъ заранѣе (типичномъ), видѣ, какъ en gros, во всей органической массѣ, такъ и въ частностяхъ,—въ каждой особи, въ каждомъ органѣ, въ каждой ткани, —это неподсудно изысканіямъ и неизъяснимо; хотя игнорировать это начало или силу—назовите какъ угодно—мы не можемъ, если бы и хотѣли. Наша мысль и фантазія не могутъ не стремиться привести въ какую-либо связь проявленіе этого мірового начала съ нашимъ собственнымъ *я*. Мы и мыслимъ потому, что находимъ мысль во всемъ окружающемъ насъ.

---

[1]) Здѣсь въ подлинникѣ, на полѣ, неизвѣстно куда относящіяся слова: „Что живетъ? Поддержаніе цѣли бытія. Зерно и ферменты".

Безъ участія мысли и фантазіи не состоялся бы ни одинъ опытъ и всякій фактъ былъ бы безсмысленнымъ. Наши мысль и фантазія, какъ причина, производящая и опытъ, и наблюденіе, не могутъ, однако же, по особенности своей натуры, ограничиться этими двумя способами знанія. Умъ, употребивъ опытъ и наблюденіе, то-есть направивъ и заставивъ дѣйствовать извѣстнымъ образомъ наши чувства, потомъ разсматриваетъ съ разныхъ сторонъ, связываетъ и даетъ новое направленіе собраннымъ чувствами впечатлѣніямъ, и всегда не иначе, какъ съ участіемъ фантазіи.

30 декабря 1879.

Снѣгу навалило въ эти два дня (третьяго дня и вчера) мѣстами въ человѣческій ростъ.—10° R.

Мнѣ хочется доказать себѣ, что умственный мой процессъ въ настоящее время, когда я стараюсь уяснить себѣ мое міровоззрѣніе, дѣйствуетъ, въ сущности, тѣмъ же способомъ, какъ и въ то время, когда я ничего другого не хотѣлъ знать, кромѣ фактовъ, и ничего другого не бралъ въ основу моихъ сужденій, кромѣ фактовъ. Мнѣ кажется, что рѣзкое различіе, дѣлаемое между сужденіями a priori и a posteriori, или между дедуктивнымъ и индуктивнымъ способами, есть чисто доктринерское, и справедливо развѣ въ крайностяхъ, похожихъ на безуміе. Въ сущности, апріористъ, также какъ и эмпирикъ, беруть за исходную точку своихъ сужденій фактъ—factum, нѣчто для нихъ обоихъ неопровержимое и пріобрѣтенное первоначально чувствами и опытомъ; различіе только въ томъ, что апріористъ даетъ впослѣдствіи другое значеніе факту и опыту, и въ пріобрѣтеніи своихъ знаній (которыя безъ опыта невозможны) не ограничивается одними впечатлѣніями, доставляемыми ему внѣшними чувствами. У него играютъ болѣе важную роль не столько непосредственныя чувственныя впечатлѣнія, сколько заключенія, сложившіяся въ умѣ и фантазіи изъ этихъ впечатлѣній. Но такъ называемый раціональный эмпиризмъ, къ послѣдователямъ котораго я отношу и себя, также не довольствуется однимъ собираніемъ приносимыхъ чувствами впечатлѣній. Изобрѣтая различные способы наблюденія и опыта, контролируя одинъ опытъ другимъ, раціональный эмпирикъ неминуемо пускаетъ

въ ходъ фантазію, и умозаключенія его почти никогда не могутъ удержаться въ непосредственной (прямой) связи съ чувственными впечатлѣніями, доставляемыми прямо опытомъ и наблюденіями. Всегда есть пробѣлъ между умозаключеніемъ и чувственнымъ фактомъ, и, чтобы уменьшить, сколько можно, этотъ пробѣлъ—у насъ нѣтъ другого средства, какъ повтореніе или скопленіе однородныхъ фактовъ; а это средство подвергаетъ насъ заблужденіямъ, которыя нерѣдко вреднѣе увлеченій фантазіи, потому что обманываютъ насъ своею кажущеюся точностью.

Вообще, мнѣ кажется слишкомъ школьнымъ и тотъ анализъ нашего мышленія, которымъ мы обыкновенно руководствуемся. Мы принимаемъ ощущенія, внимательность (percеptio), память, ассоціацію идей, свойство означать ощущенія членораздѣльными звуками, сужденіе, фантазію за совершенно отдѣльно и какъ бы независимо другъ отъ друга дѣйствующія способности. Это, конечно, необходимо для уясненія себѣ умственнаго процесса. Но вполнѣ независимыя одна отъ другой функціи этихъ способностей я считаю невозможными въ нормальномъ состояніи. Правда, одна изъ нихъ можетъ быть сильнѣе развита, чѣмъ другая, и потому функція одной изъ этихъ способностей можетъ быть для насъ замѣтнѣе другой, но безъ ощущенія немыслима; мышленіе, безъ внимательности и (безъ) памяти ощущаемое, было бы однимъ эфемернымъ и безслѣднымъ возбужденіемъ; а безъ фантазіи не можетъ обойтись и самый точный математическій пріемъ мышленія. Правда, въ пользу сепаратизма и локализаціи нашихъ психическихъ способностей говоритъ тотъ неоспоримый фактъ, что при полномъ почти недостаткѣ одной изъ нихъ другія продолжаютъ еще дѣйствовать. Самая способность ощущенія нѣкоторыми физіологами, посаженная въ зрительные бугры мозга, еще подраздѣляется и локализируется на нѣсколько другихъ категорій; такъ, зрительное ощущеніе должно имѣть отдѣльное мѣсто въ мозгу отъ ощущенія слухового и т. п., и весьма вѣроятно, что различныя ощущенія, приносимыя внѣшними чувствами, сосредоточиваются въ различныхъ порціяхъ мозга. Но то, что въ насъ ощущаетъ, то ощущающее начало есть нѣчто нераздѣльное, цѣлое и едва ли когда въ теченіе жизни измѣняемое; его

нельзя локализировать въ той или другой порціи мозга и врядъ ли можно назвать и самый мозгъ единственнымъ его мѣстопребываніемъ. Намъ, конечно, кажется, что, сосредоточивая наше вниманіе на какой-либо предметъ, смотря, напримѣръ, на него въ микроскопъ или телескопъ, мы только смотримъ и превращаемся, такъ-сказать, всецѣло въ одно зрѣніе. Но, вникнувъ глубже въ этотъ процессъ сосредоточеннаго зрѣнія, мы убѣдимся, во-первыхъ, что обращать вниманіе на что-либо, значитъ внимать самого себя, то-есть направлять то ощущаемое начало, называемое *я*, на впечатлѣніе, приносимое тѣмъ или другимъ органомъ чувства, смотрѣть этимъ *я* въ глазъ, слушать имъ же въ ухо и, воспринимая въ себя эти впечатлѣнія, въ то же время судить о нихъ, представлять ихъ себѣ въ томъ или другомъ видѣ, сравнивать съ прежними ощущеніями, принимаемыми нѣкогда тѣми же чувствами; а все это необходимо требуетъ, чтобы наше *я* безпрестанно приводило въ дѣйствіе то ту, то другую умственную способность и въ одно и то же время.

Хотя въ чувственныхъ ощущеніяхъ, какъ, напримѣръ, между слухомъ и зрѣніемъ, можно опредѣлить краткіе промежутки времени, отдѣляющіе эти ощущенія, если мы смотримъ и слушаемъ (какъ астрономы) въ одно и то же время; но едва ли мы найдемъ средство уловить промежутки, отдѣляющіе ощущеніе, приносимое глазомъ, отъ того процесса, который совершается въ то же самое время нашимъ *я* и который (процессъ) называется теперь безсознательнымъ мышленіемъ, — названіе, по моему, нелѣпое, хотя и означающее дѣйствительно особый психическій процессъ; мнѣ кажется, что его лучше признать безъимяннымъ или неудобоназываемымъ, чѣмъ давать ему безсмысленное прозвище.

Вотъ это quasi-безсознательное мышленіе, сопровождающее всѣ наши чувственныя ощущенія, въ самый моментъ ихъ проявленія, и есть самое характеристическое свойство нераздѣльности и цѣльности нашего *я*.

Какъ бы ни были отдѣльно локализированы наши чувства зрѣнія, слуха, осязанія, наша память, воображеніе, способность говорить, мыслить, хотѣть, наше *я* есть въ одно и то же время и нѣчто отдѣльное отъ нихъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ вмѣщающее

всѣ эти чувства и способности въ себѣ. Наше *я* играетъ, какъ будто, на клавишахъ тѣхъ органовъ, функціямъ которыхъ эмпиризмъ приписываетъ зрѣніе, слухъ, память, слово и пр.; —и, выражая своею игрою эти функціи, наше *я* само участвуетъ въ нихъ, какъ нераздѣльное цѣлое, связывая ихъ и проявляя ими свое бытіе.

5 января 1880.

Съ новаго 1880 года по 5-е января морозы въ—10^0—16^0 R. Бури утихли. Ясно и безвѣтренно. Вчера и сегодня иней на деревьяхъ.

6 января 1880.

Ясный зимній день съ густымъ инеемъ на деревьяхъ. Утромъ 11^0. Послѣ хорошей утренней прогулки.

Прогуливаясь, я вспомнилъ, что слишкомъ односторонне въ моемъ дневникѣ отнесся къ знаменитому: cogito, ergo sum, утверждая, что его нужно бы было замѣнить: sentio, ergo sum. Обращая себя всего на какой-либо предметъ, превращаясь, какъ говорится, въ зрѣніе или слухъ, наше *я*, устремленное такимъ образомъ во внѣшній міръ,—въ свое *не-я*, продолжаетъ—незамѣтно, можетъ быть (при сильномъ сосредоточеніи вниманія на внѣшній предметъ),—ощущать свое бытіе; и это ощущеніе сопровождаетъ его съ колыбели, съ того момента, когда оно начало отличать отъ себя свое *не-я*, вплоть до могилы; и даже при потери сознанія, въ бреду, во снѣ, это ощущеніе не можетъ не продолжаться, хотя бы и въ измѣненномъ видѣ. Но, кромѣ этого, не всегда для насъ замѣтнаго, ощущенія нашего бытія, незамѣтнымъ оно можетъ сдѣлаться,—какъ и всѣ другія наши ощущенія,—чрезъ привычку къ бытію; наше *я* возводится изъ простого ощущенія на степень мысли въ томъ случаѣ, когда оно, воспринимая внѣшнія (міровыя) и органическія (приносимыя органами) впечатлѣнія, приводитъ ихъ въ связь съ ощущеніемъ въ себѣ присутствія своихъ умственныхъ способностей: вниманія, памяти, воображенія, слова и мысли.

Тогда наше *я* дѣлается вполнѣ сознательнымъ, осмысленнымъ и прочувствованнымъ. Кондильякъ утверждалъ, что человѣкъ безъ внѣшнихъ чувствъ—статуя. Это неправда; дыханіе и безъ содѣйствія внѣшнихъ чувствъ должно ему сообщить ощущеніе бытія, поддерживая связь съ внѣшнимъ міромъ. Ощущеніе бытія непремѣнно существовало бы и тогда, но было ли бы оно безъ содѣйствія внѣшнихъ чувствъ сознательнымъ и осмысленнымъ—это вопросъ. Сознаніе въ себѣ памяти, мысли, воображенія, безъ сомнѣнія, возбуждается и поддерживается внѣшними и органическими чувствами; но нѣтъ причины, мнѣ кажется, отвергать возможность этого сознанія и при отсутствіи внѣшнихъ и органическихъ чувствъ.

Я отвлекся и зашелъ слишкомъ далеко, желая себѣ доказать, что хотя я до моего міровоззрѣнія дошелъ не настоящимъ раціонально-эмпирическимъ (индукціоннымъ) способомъ, но, тѣмъ не менѣе, я считаю мое міровоззрѣніе для меня равносильнымъ факту.

10 января 1880.

Продолжаются холода въ 16^0—12^0 R. Сегодня 7^0 и снѣгъ. Привезли елки и посадили. Мельница (новая) на Людвиговкѣ въ ходу.

Да, равносильнымъ факту—фактическимъ—по силѣ убѣжденія я считаю мое воззрѣніе. Что такое фактъ? Если держаться буквальнаго смысла, то это то, что́ сдѣлано,—factum, что́ совершено (поэтому fait accompli—плеоназмъ). Въ этомъ смыслѣ фактъ долженъ быть чувственнымъ. И дѣйствительно, если самое наше бытіе есть ощущеніе, то въ насъ нѣтъ ничего, что́ бы не зависѣло первоначально отъ впечатлѣній, приносимыхъ ощущеніями.

Все обнаруживаемое въ насъ бытіемъ обнаруживается посредствомъ ощущеній, т.-е. посредствомъ связи съ внѣшнимъ міромъ. Тѣмъ не менѣе, слѣдствія и продукты впечатлѣній различны до крайности. Одни изъ нихъ способны возбуждать въ насъ одно чувство бытія, другіе возбуждаютъ безсознательное мышленіе и разнаго рода рефлексы; но есть и такой родъ впечатлѣній, можетъ быть вѣрнѣе—представленій, которыя, не

смотря на первоначальное ихъ происхожденіе отъ чувственныхъ ощущеній, приводятъ въ дѣйствіе исключительно сознательныя наши умственныя способности: память, мышленіе и фантазію (воображеніе, способность сочетать и творить новыя представленія). Хотя мы помнимъ, мыслимъ и воображаемъ при каждомъ дѣйствіи нашихъ органовъ чувствъ, но этотъ чувственный и обыкновенно безсознательный процессъ воспоминанія, мышленія и представленія (воображенія) прекращается, какъ скоро то или другое чувство перестаетъ дѣйствовать; другой же, рѣзко отличающійся отъ этого, процессъ воспоминанія, мышленія и воображенія, всегда сознательный, совершается и безъ непосредственной помощи чувствъ.

Итакъ, всякій фактъ долженъ быть произведеніемъ внѣшнихъ, на насъ дѣйствующихъ, впечатлѣній и нашихъ чувственныхъ ощущеній, между тѣмъ какъ наши внутреннія ощущенія, присутствующія въ насъ и безъ прямого содѣйствія внѣшнихъ впечатлѣній, могутъ не только представлять намъ факты съ различныхъ точекъ зрѣнія, но и открывать намъ истины. Фактъ хотя и считается какъ бы за истину, но никто не называетъ математическія аксіомы фактами. Почему? Казалось бы, такой фактъ, какъ солнце на небѣ, такъ же точно истиненъ и неопровержимъ, какъ и всякая математическая аксіома. Да, есть дѣйствительно истинные факты и фактическія истины; но фактъ все-таки не истина, и истина—не фактъ. Солнце на небѣ потому истинный фактъ, что всякій можетъ его повѣрить чувствами; но такая математическая (астрономическая) истина, что солнце и сегодня, и завтра, и цѣлые годы взойдетъ и зайдетъ въ извѣстномъ опредѣленномъ мѣстѣ на горизонтѣ, не требуетъ вовсе чувственной повѣрки; это основано и не на одной теоріи вѣроятности, а на знаніи и соображеніи, при участіи и всѣхъ другихъ умственныхъ способностей (памяти, фантазіи); основа этого знанія, правда, также фактическая; не видавъ никогда солнца и звѣздъ, намъ не пришло бы на умъ и все устройство нашей планетной системы; но математическія вычисленія до того различны отъ чувственныхъ наблюденій, что могутъ опредѣлить a priori мѣсто для планетъ, еще не открытыхъ наблюденіями. Математическая аксіома, что двѣ величины,

равныя порознь третьей, равны между собою, хотя и наглядна, т. е. можетъ быть объяснена чувственнымъ опытомъ, но, въ сущности, она основана на соображеніи, а не на опытѣ; чтобы понять ее, нѣтъ надобности имѣть предъ глазами извѣстныя величины. Фактъ уже и тѣмъ отличается отъ истины, что свойства его различны, а неизвѣстная намъ сущность истины всегда одна и та же. Только тотъ фактъ, который есть, былъ и будетъ, былъ бы истиною. Но такого мы не знаемъ; если же убѣждаемся въ необходимости или возможности и не-фактическаго существованія того, что всегда было и будетъ, то это убѣжденіе и есть для насъ истина, хотя очевидно не-фактическая. Очевидно также, что для убѣжденія въ такой истинѣ намъ недостаточно одного разсудка,—необходимо еще мощное содѣйствіе фантазіи.

Все высокое и прекрасное въ нашей жизни, наукѣ и искусствѣ создано умомъ съ помощью фантазіи, и многое—фантазіею при помощи ума. Можно смѣло утверждать, что ни Коперникъ, ни Ньютонъ, безъ помощи фантазіи, не пріобрѣли бы того значенія въ наукѣ, которымъ они пользуются. Между тѣмъ нерѣдко и въ жизни, и въ наукѣ, и даже въ искусствѣ слышатся возгласы противъ фантазіи, и не только противъ ея увлеченій, но и противъ самой нормальной ея функціи. Для современнаго реалиста и естествоиспытателя нѣтъ большаго упрека, какъ то, что онъ фантазируетъ. Но, въ дѣйствительности, только тотъ изъ реалистовъ и эмпириковъ заслуживаетъ упрека въ непослѣдовательности, кто хотя на одинъ шагъ отступаетъ отъ указаній чувственнаго опыта, направляемаго и руководимаго умомъ и фантазіею. Вообще, доктрина, отдѣляющая искусственными перегородками функціи нашихъ умственныхъ способностей одну отъ другой, приводитъ къ тому, что мы и во всѣхъ нашихъ произведеніяхъ стремимся такъ же рѣзко отличать проявленія каждой изъ нихъ, какъ будто бы можно было умствовать, не воображая, и воображать безъ размышленія. Стоитъ только вспомнить, что самую простую выкладку чиселъ намъ нельзя сдѣлать, не приводя въ дѣйствіе и нашу память, и воображеніе, и разсудокъ, хотя намъ и кажется, что все наше *я* какъ бы погрузилось въ числа при выкладкѣ.

14-го января (1880 г.).

Всѣ эти дни морозъ въ 10^0—13^0 R.; только вчера сильная мятель при NW и—4^0 R.; сегодня все еще вѣтрено (NW) при—8^0—9^0 R., но ясно, и много навѣяло снѣгу.

Все еще хочу себѣ доказать, что я не долженъ считать мое міровоззрѣніе однимъ продуктомъ досужей фантазіи, потому только, что оно не основано на прямомъ и непосредственномъ опытѣ. Не мнѣ, посвятившему всю жизнь, и именно самую лучшую часть жизни, раціональному эмпиризму, не мнѣ—говорю—отвергать значеніе опыта; но и не мнѣ сомнѣваться въ значеніи словъ перваго Ипократова афоризма: „experientia fallax, judicium difficile“.

Когда лѣта не располагаютъ уже къ увлеченію, то начинаешь понимать, какъ легко можно увлечься не одними мечтами, но и тѣмъ, что такъ трезво, точно и положительно, какъ опытъ и фактъ. Есть вещи на свѣтѣ, къ которымъ и такое надежное средство, какъ опытъ, непримѣнимо, а между тѣмъ эти вещи—это вопросы жизни, безъ разрѣшенія которыхъ для себя, хотя бы приблизительно, умирать не хочется; а къ жизни обращаешься невольно съ упрекомъ, такъ хорошо прочувствованнымъ поэтомъ:

Даръ напрасный, даръ случайный,
Жизнь, на что ты мнѣ дана?

Да, оргія, грубѣйшія средства самозабвенія и, наконецъ, самоубійство, неминуемо сгубятъ желающаго опытомъ разрѣшить загадку жизни. Правда, крѣпкіе, здоровые, положительные умы могутъ жить и прекрасно дѣйствовать, отбросивъ въ сторону всякую попытку къ разрѣшенію томительнаго вопроса жизни. Но горе той личности, которая возмечтаетъ о себѣ, что она-то и есть именно esprit fort, не нуждающійся въ разрѣшеніи подобныхъ вопросовъ. Аскетъ Филаретъ прекрасно, съ своей точки зрѣнія, возражалъ Пушкину на его упрекъ жизни, и именно потому прекрасно, что онъ (Филаретъ) уяснилъ себѣ не опытомъ жизненную проблему; и какъ бы это уясненіе ни было односторонне, оно мощнѣе, а главное—человѣчнѣе безсильнаго ропота на жизнь, что не раскрываетъ предъ нами своей тайны такъ, какъ бы мы этого хотѣли. А

мы хотѣли бы, чтобы это было такъ же наглядно и осязательно, какъ ея чувственныя и индивидуальныя проявленія.

Я полагаю, что всѣ мы, послѣдователи Веруламскаго Бэкона, придаемъ слишкомъ большое значеніе предложенному имъ (индуктивному) способу изслѣдованія. Этотъ способъ вовсе не какое-нибудь новое открытіе особой дѣятельности нашего ума. Въ обыкновенной жизни всѣ всегда и до Бэкона изъискивали и изслѣдовали индуктивнымъ способомъ; но никто, я полагаю, и ни самъ Бэконъ не считалъ этого способа единственно возможнымъ для открытія истины. Главная заслуга Бэкона это: noli jurare in verba magistri. Теперь же и это перестало быть заслугою, такъ какъ въ наше время не найдется ни одного ученика въ школѣ, которому бы понадобилось повторить это правило. Средневѣковая вѣра въ авторитеты замѣнена теперь извѣріемъ;—мы всѣ извѣрились въ себя самихъ; дѣти наши, сидя на школьныхъ скамьяхъ, глядя на учителей, уже успѣваютъ извѣриться. Это нельзя не признать слѣдствіемъ односторонняго упражненія ума по индуктивному способу; но избави насъ Богъ отъ такого дедуктивнаго, которымъ учились jurare in verba magistri!

Такъ вотъ я опять хочу толковать о томъ, что если мы желаемъ сдѣлать наше міровоззрѣніе вліятельнымъ въ нашемъ нравственномъ бытѣ, — а это именно для меня сдѣлалось необходимостью,—то мы не должны основывать его на однихъ положительныхъ, чисто фактическихъ и чувственныхъ, данныхъ. Мы не должны ослѣплять себя кажущеюся основательностью тамъ, гдѣ идетъ дѣло объ одномъ представленіи или—вѣрнѣе—только о возможности представленія и о его уясненіи для себя; тутъ нельзя требовать ничего другого, какъ только того, чтобы въ этомъ представленіи не было явныхъ противорѣчій и чтобы оно было какъ можно менѣе несообразно, то-есть сообразовалось бы, сколько можно, съ нашими фактическими знаніями и не заключало бы въ себѣ болѣе противорѣчій, чѣмъ самыя эти знанія.

15-го января (1880 г.).

Вчера вечеромъ я ѣхалъ съ полевого тока. Было морозно и ясно. Я сидѣлъ въ саняхъ спиною къ заходящему солнцу.

Поля, покрытыя гладкою, какъ скатерть, снѣжною пеленою, освѣщались нѣжно-розовымъ, переходящимъ въ свѣтло-фіолетовый, свѣтомъ; полная, еще блѣдно-серебристая, луна поднималась изъ-за лѣса на зеленовато-голубомъ фонѣ. Игра и переливы цвѣтовъ изъ зеленоватаго въ палевый и свѣтло-голубой на горизонтѣ, и изъ розоваго въ блѣдно-фіолетовый, со множествомъ блестокъ на снѣгу, такъ обворожали меня, мнѣ дышалось студенымъ воздухомъ такъ легко и привольно, что я невольно началъ пародировать упрекъ жизни Пушкина и про себя шепталъ съ навернувшимися на глазахъ слезами:

Не случайный, не напрасный,
Даръ чудесный и прекрасный,
Съ тайной цѣлью данъ ты мнѣ!

Потомъ я перемѣнилъ этотъ экспромтъ такъ:

Не случайный, не напрасный,
Даръ таинственный, прекрасный,
Жизнь, ты съ цѣлью мнѣ дана!

И оттого что никто не могъ разгадать тебя, чудный даръ жизни, неужели мы должны упрекать тебя въ нелѣпой случайности, должны опошлять тебя, играть и не дорожить тобою! Насъ беретъ зло, что не хватаетъ силы раскрыть тайну дара, и мы со зла готовы хоть сейчасъ утверждать, что ни секрета, ни цѣли тутъ вовсе нѣтъ, что ларчикъ жизни открывается просто per vaginam, закрывается также легко—землею.

Мы привыкли съ самой колыбели къ жизни, и смотримъ потому на жизнь и на свѣтъ какъ на обыкновенныя, вседневныя вещи; это, конечно, наше счастье, хотя легкомысленное и пошленькое счастье. Но что́ было бы со всѣми нами, если бы умъ нашъ постоянно вникалъ и вдумывался въ самую суть насъ самихъ и всего окружающаго насъ? На каждомъ шагу мы встрѣчались бы лицомъ къ лицу съ непроницаемою, тяготѣющею надъ нами, тайною; на каждомъ шагу недоумѣніе и сомнѣніе отягчали бы наше раздумье. Что́ это за странное плаваніе и круженіе въ безпредѣльномъ пространствѣ тяготѣющихъ другъ къ другу шаровидныхъ массъ? Что̀ это за непонятное существованіе безчисленныхъ міровъ, составленныхъ изъ однихъ и тѣхъ же вещественныхъ атомовъ и отдѣленныхъ на

вѣки одинъ отъ другого едва вообразимыми, по своей громадности, пространствами? Что значитъ эта безконечная разновидность формъ? А сцѣпленіе, тяготѣніе, сродство, постоянная вибрація атомовъ—развѣ всѣ эти обыденныя для насъ явленія—не тайны, скрытыя подъ научными именами? А эти такъ называемыя простыя тѣла, эти неразлагающіеся элементы, скопленные въ огромныхъ планетныхъ массахъ, развѣ они дѣйствительно—первобытные элементы? Откуда взялись бы они, откуда взялась бы планетная жизнь, если бы другіе, намъ невѣдомые, первобытные элементы не содержались въ общемъ, для насъ недостигаемомъ источникѣ — эѳирномъ хаосѣ? Что онъ такое, этотъ источникъ и вмѣстилище невѣдомыхъ началъ?

Что удивительнаго, если въ каждомъ изъ насъ, окруженныхъ со всѣхъ сторонъ и съ колыбели до могилы міровыми тайнами, существуетъ склонность къ мистицизму; если одни изъ насъ, при извѣстномъ настроеніи, дѣлаются легко мистиками и начинаютъ видѣть и находить сокровенныя тайны тамъ, гдѣ другіе, кружась безъ оглядки и устали въ водоворотѣ жизни,—все находятъ простымъ и яснымъ? И можно ли требовать отъ обитателей земли, одаренныхъ способностью живо представлять себѣ неосязаемое, чтобы они оставались всегда въ будничномъ настроеніи духа и мирились съ злобою дня, когда судьба, давъ имъ стремленіе къ предвидѣнію и силу воображенія, не дозволила отдаляться отъ земного жилища далѣе окружающей его воздушной оболочки, да и для пытавшихся подняться—превращаетъ небесную лазурь въ черную ночь?! Но если каждый листокъ, каждое сѣмячко, каждый кристалликъ напоминаютъ намъ о существованіи внѣ насъ и въ насъ самихъ таинственной лабораторіи, въ которой все неустанно само работаетъ для себя и для окружающаго, съ цѣлью и мыслью, то наше собственное сознаніе составляетъ для насъ еще болѣе сокровенную и вмѣстѣ съ тѣмъ самую безпокойную тайну. Есть, однако-же, и еще болѣе завѣтная, но уже происходящая изъ нашего же сознанія: это—истина. Не безъ насмѣшки сдѣлалъ свой назойливый вопросъ римскій проконсулъ. Можетъ быть, именно за это и не послѣдовало отвѣта свыше. Да, истины не узнаешь, любопытствуя, что́ она за штука.

Разумѣется, я не говорю о такъ называемыхъ научныхъ

истинахъ. Эти всѣ—и историческія, и естественно-историческія, и математическія, и юридическія—не болѣе какъ или истинные факты, или правильныя умозаключенія, добытыя логическимъ анализомъ и синтезомъ; или же формулы, диктуемыя жизнью, нравами и потребностями общества. Такихъ истинъ много. Но есть истина—одна, цѣльная, высшая, служащая основаніемъ всего нашего нравственнаго быта. Напрасно утверждаютъ такіе историки, какъ Бокль и съ нимъ бо́льшая часть новаго поколѣнія, что человѣчество обязано преимущественно развитію научныхъ истинъ въ обществѣ, а нравственныя нисколько будто-бы не содѣйствовали его преуспѣянію, то-есть прогрессу, счастью и благосостоянію. Я полагаю, напротивъ, что единство и цѣльность настоящей истины выступаютъ все болѣе и болѣе съ прогрессомъ человѣчества, хотя и трудно рѣшить, насколько оно въ общемъ итогѣ сдѣлалось лучше. Дѣйствительно, истина должна быть только одна: она—внѣ насъ и вмѣстѣ въ насъ самихъ, въ нашемъ сознаніи; конечно, не такъ ясная для насъ, какъ солнце, но, какъ свѣтовая волна далекаго солнца, освѣщаетъ нашъ нравственный бытъ. Что́ было бы этическое наше, или нравственное, начало, если бы вѣчная и цѣльная истина не служила ему основою? Безъ нея, безъ этой основы, не существовали бы для насъ и научныя истины, ибо не существовало бы въ насъ нравственнаго стремленія къ открытію истины. Каждый изъ насъ, самый закоснѣлый въ преступленіяхъ, невольно стремится найти въ себѣ истину, и ищетъ предъ собою и предъ другими оправданія своихъ поступковъ. Правда, мы при этихъ оправданіяхъ запутываемся во лжи, стремяся не быть, а казаться; но это не доказательство противнаго, не доказательство тому, что въ насъ нѣтъ произвольнаго стремленія къ правдѣ. Все это:—и казаться, а не быть, и зданіе лжи, сооружаемое нами для оправданія нашихъ дѣйствій,—есть только искаженное стремленіе къ правдѣ, слѣдуя которому, мы все болѣе и болѣе удаляемся отъ правды, и это потому только, что попали на ложный путь. Наконецъ, доходитъ до того, что для насъ дѣлается и совсѣмъ невозможнымъ отличить правду отъ лжи. Тогда-то и рождается насмѣшливый вопросъ римскаго проконсула: что́ такое истина, какъ ее узнать, какъ отличить, гдѣ она? И какъ, въ самомъ

дѣлѣ, понять идеальнѣйшій изъ идеаловъ! Истина! Вѣдь это абсолютъ, это Богъ! Мы и не должны смѣть когда-нибудь ее постигнуть.

Но невозможность достиженія не есть отрицаніе стремленія къ ней. Это стремленіе, данное намъ свыше, есть наше драгоцѣннѣйшее достояніе. Глубоко затаено въ насъ если не убѣжденіе, то чувство, напоминающее намъ, что безъ стремленія къ правдѣ нѣтъ полнаго счастія. Посмотрите, какъ это влеченіе, заглушенное страстями, бѣдствіями, тѣмъ, что называется судьбою и случаемъ, и ложнымъ направленіемъ, проявляется въ другомъ видѣ, не имѣющемъ, повидимому, ничего общаго съ влеченіемъ къ основѣ нашего нравственнаго бытія. Увлеченіе въ преслѣдованіи цѣлей, основанныхъ на неправдѣ, не уничтожаетъ еще въ насъ стремленія къ открытію истинныхъ фактовъ или научныхъ истинъ, и вотъ, удовлетворяя съ этой одной стороны наше стремленіе къ правдѣ, мы именно поэтому и не заботимся иногда удовлетворить вполнѣ другой, высшей его стороны. Точно также великіе, но безнравственные геніи, завоеватели и государи, попирая ногами правду, легко убѣждаютъ себя въ правотѣ своихъ дѣйствій, потому что у нихъ стремленіе къ истинѣ находитъ удовлетвореніе въ достигаемыхъ ими грандіозныхъ результатахъ; а результаты эти, дѣйствительно, содѣйствуютъ къ открытію и распространенію различныхъ фактическихъ истинъ. Все это иллюзіи, неразлучныя съ нашимъ существованіемъ. Истина такъ свѣтла, что безъ иллюзій одно только стремленіе къ ней ослѣпило бы уже насъ; поэтому ложь сдѣлалась неизбѣжною для насъ при непреодолимомъ влеченіи къ истинѣ. Не зная, что́ она такое, но неудержимо стремясь къ ней по присущему намъ всѣмъ влеченію, мы, къ счастью и несчастью нашему, должны жить постоянно въ иллюзіи и смѣнѣ галлюцинацій. Эта неизбѣжность служитъ намъ смягчающимъ обстоятельствомъ передъ судомъ совѣсти; но она не уничтожаетъ еще въ насъ окончательно способности приходить въ себя и разузнавать наши иллюзіи и галлюцинаціи. Галлюцинируя до чертиковъ, было бы отвратительно, нелѣпо полагать, что вовсе нѣтъ этой единой, общей и цѣльной истины; что только пріобрѣтенные чувствами факты и выведенныя изъ нихъ умозаключенія суть истины; всякая

же другая правда есть понятіе относительное и временно обязательное pro domo sua. Думая такъ, мы превратили бы наши иллюзіи изъ ширмъ, охраняющихъ насъ отъ нестерпимаго свѣта истины, въ темную, непроглядную ночь.

Все это писано до 29-го января (1880 г.). Въ эти дни разгулялся мой кишечный катарръ не на шутку. Все полнолуніе стояла ровная, тихая, ясная погода съ -10^0-12^0 R. утромъ и ночью, и до $0+1$—среди дня. Солнце уже порядочно грѣетъ. Это самая опасная вещь для меня и, я думаю, для всѣхъ, страдающихъ кишечнымъ катарромъ: на прогулкахъ на солнцѣ легко приходишь въ испарину, а въ тѣни остужаешься также скоро. Впрочемъ съ 25—26 января барометръ опустился, стоитъ иней, туманъ и отъ — 5 до $+2^0$ R.

28 января 1880.

Катарръ мой нѣсколько улегся. Послѣ моего любимаго раствора соляно-кислаго хинина въ мятной водѣ (принявъ его до 10 гранъ) чувствую себя не худо, и послѣ прогулки по комнатѣ пришелъ въ легкую испарину.

Сегодня небо безоблачно, до 10^0 R. мороза, тихо.

Какое-то dolce far niente. Въ ушахъ шумъ, но не отъ одного хинина, а только имъ усиленный обычный мой шумъ, вовсе не докучливый, — какъ будто слышишь отдаленный вечерній гулъ съ улицъ большого города. Въ головѣ калейдоскопъ мыслей, in statu nascente; одна быстро смѣняетъ другую; прошедшее мѣняется настоящимъ безъ остановки. Вниманію не удается поймать и фиксировать ни одной мысли, а между тѣмъ дѣйствуютъ и вниманіе, и мышленіе, и фантазія, и память,—всѣ въ одно и то же время. Значитъ, у меня, какъ и у всѣхъ, я думаю, и въ здоровомъ, и въ ненормальномъ состояніи, — ни одна изъ этихъ способностей не дѣйствуетъ порознь; мое *я* теперь играетъ какъ по клавишамъ, слегка дотрогиваясь то до памяти, то до воображенія, то до разсудка. Только въ настоящую минуту мое *я*, дотрогиваясь до каждаго изъ этихъ своихъ клавишей, слабо извлекаетъ изъ нихъ и неясные, хотя и не вовсе несвязные тоны. Такое состояніе имѣетъ свою прелесть; это именно и есть dolce far niente нашего *я*.

Пробѣгая записанное въ послѣдніе дни, вижу, что заговорилъ объ иллюзіяхъ. Да, эти ширмы, какъ я ихъ назвалъ,— наши талисманы. Человѣкъ, слѣдящій за собою, легко пойметъ, какую услугу онѣ ему оказываютъ, и, зорко наблюдая за собою, не дозволитъ имъ слишкомъ затемнять путь, указываемый присущимъ ему — и потому непреодолимымъ — влеченіемъ къ истинѣ.

30-го января 1880.

На дворѣ idem. Свѣтло, тихо; температура утромъ. —12° R.; на солнцѣ въ серединѣ дня—до 0 и выше.

Все разъясняется, все дѣлается понятно,—умѣй только хорошо обращаться съ фактомъ, умѣй зорко наблюдать, изощряй чувства, научись правильно наблюдать; тогда исчезнутъ предъ тобою чудеса и мистеріи природы, и устройство вселенной сдѣлается такимъ же обыденнымъ фактомъ, какимъ сдѣлалось теперь для насъ все то, что прежде считалось недоступнымъ и сокровеннымъ. Такое убѣжденіе съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе проникаетъ въ сознаніе не только передовыхъ людей, жрецовъ науки, но и цѣлыхъ массъ. И это есть одна изъ главныхъ современныхъ наиболѣе благодѣтельныхъ и полезнѣйшихъ иллюзій. Эта иллюзія полезна уже и тѣмъ, что направляетъ всѣ наши умственныя силы на предметы, подлежащіе самому точному чувственному анализу и изслѣдованію, не давая увлекаться тѣмъ, что навсегда для насъ должно остаться заповѣдною тайною. Чѣмъ спеціальнѣе, чѣмъ ограниченнѣе предметъ нашего изслѣдованія, тѣмъ болѣе надежды на точный и ясный результатъ, тѣмъ сильнѣе иллюзія и тѣмъ спокойнѣе и отраднѣе чувствуетъ себя посвятившій все свое вниманіе и время изслѣдованію. Углубившись и посвятивъ цѣлую жизнь занятіямъ по этому способу разслѣдованія, мы, наконецъ, приходимъ и къ тому убѣжденію, что на сценѣ нашихъ дѣйствій нѣтъ ничего закулиснаго, и кажущееся скрытымъ за кулисами существуетъ только для того, кто не хочетъ или не умѣетъ зорко взглянуть. А между тѣмъ, если подумаешь и разберешь, не увлекаясь ни поразительнымъ величіемъ разныхъ открытій, ни громадностью добытыхъ эмпири-

ческимъ разслѣдованіемъ результатовъ, въ чемъ состоитъ вся суть пріобрѣтенныхъ нами этимъ способомъ знаній, то не трудно убѣдиться, что мы узнаемъ исключительно одну внѣшнюю сторону окружающаго насъ міра и насъ самихъ.

Однихъ изъ насъ исключительно занимаетъ механизмъ явленій, устройство, составъ и дѣйствіе различныхъ приборовъ и снарядовъ жизни и ея формы; другіе занимаются прикладною, и потому также только внѣшнею, стороною жизни. Этимъ способомъ наши знанія и понятія о міровой жизни несомнѣнно обогащаются; внѣшняя ея сторона подвергается разсмотрѣнію съ разныхъ сторонъ; но остается также, какъ и прежде, какъ и всегда, несомнѣннымъ, что in's Innere der Natur dringt kein geschaffener Geist. Вотъ это-то тяжелое для нашего сотвореннаго духа сознаніе мы и притупляемъ благодѣтельною иллюзіею, приковывающею все наше вниманіе къ внѣшней сторонѣ міровой жизни.

Кому изъ людей, занятыхъ изслѣдованіемъ фактическихъ истинъ и практическою жизнію, придетъ въ голову размышлять о сущности вещей? Кто изъ людей, занятыхъ практическимъ дѣломъ, повѣритъ, что эта сущность вовсе не то, что передается намъ чувствами? Все кажется простымъ тому, кто привыкъ просто смотрѣть на все. Да научнаго изслѣдователя и интересуетъ всего болѣе вопросъ: **какъ**, а не **почему**? Мы видимъ, что листъ растетъ, наблюдаемъ, какъ онъ растетъ, узнаемъ устройство и составъ клѣтокъ, слѣдимъ шагъ за шагомъ за раздѣленіемъ и размноженіемъ клѣтокъ; весь **механизмъ** растительнаго процесса открывается намъ какъ на ладони. Но что̀ заставляетъ расти именно такъ, а не иначе? Что заставляетъ растеніе и животное принимать тотъ или другой характерный видъ? Отчего сѣмя и яйцо заключаютъ въ себѣ зародышъ именно того же типа и вида, отъ котораго они произошли? Что̀ привлекаетъ и роднитъ щелочь съ кислотою? Что̀ сцѣпляетъ атомы? Что̀ заставляетъ притягиваться одно тѣло къ другому? Отчего мышечное движеніе переходитъ въ теплоту, а теплота — въ движеніе? Отчего сотрясеніе атомовъ возбуждаетъ въ насъ ощущеніе теплоты? Всѣ эти и тысячи другихъ вопросовъ, не разрѣшимыхъ по нашему незнанію сущности вещей, показываютъ, что мы окружены тайнами; и если

всѣ эти тайны не считаются нами за чудеса, то потому только, что мы съ ними встрѣчаемся на каждомъ шагу. Мы называемъ ихъ не чудесами, а явленіями, основанными на естественныхъ законахъ, не зная, откуда взялись они. Встрѣчая же что-нибудь, хотя и гораздо менѣе чудесное, но не ежедневное и не обычное, мы не задумываемся тотчасъ же сомнѣваться и не вѣрить, или же слишкомъ вѣрить и считать его за чудо. Таковы наши иллюзіи — и слава Богу! Безъ нихъ нестерпимо было бы жить въ этомъ таинственномъ мірѣ, окруженными заколдованнымъ кругомъ, изъ котораго нѣтъ выхода.

8-го февраля 1880.

Всѣ эти дни, при новолуніи, послѣ 2-хъ-дневной небольшой оттепели (при $0+2^0$) начались такъ называемые срѣтенскіе морозы въ $25—30^0$ и продолжаются теперь. Солнце на лѣто, зима на морозъ. Ѣздилъ къ больному въ Кишиневъ: въ одномъ вагонѣ было натоплено до $+18^0$ R., а когда ѣхалъ назадъ, то въ курьерскомъ поѣздѣ доходило до $—2—3^0$.

Но такъ ли все это? Не иллюзія ли, въ свою очередь, то, что будто есть еще какая-то невѣдомая и неподлежащая разслѣдованію сущность вещей? Не есть-ли эта сущность именно то только, что намъ дѣлается извѣстнымъ посредствомъ опыта и наблюденія? Не устроены ли и не приноровлены ли наши чувства отъ природы именно къ тому, чтобы мы узнавали вещи такими, какими они въ сущности должны быть? Sensus nos fallunt—не есть-ли только одно asylum ignorantiae? Нужно только умѣть дѣйствовать чувствами, пріучить и изощрить ихъ; нужно умѣть правильно истолковывать и уяснять себѣ доставляемыя чувствами ощущенія, и чувства насъ никогда не обманутъ.

Въ этихъ возраженіяхъ есть доля правды; но только доля.

Во-первыхъ, мы судимъ о нашихъ чувствахъ и доставляемыхъ ими результатахъ не иначе какъ субъективно и индивидуально. Повѣрка основана только на круговой порукѣ. Судьями чувственной правды и неправды остаются все тѣ же чувства. Что́ сегодня казалось всѣмъ неоспоримымъ по чувственному опыту, то завтра этимъ же опытомъ можетъ быть опровергнуто.

Есть граница изощренія чувствъ, и чѣмъ болѣе изощряется одно чувство, тѣмъ легче ошибка, тѣмъ невозможнѣе повѣрка его другимъ чувствомъ. Наконецъ, какъ бы чувства мои ни были изощрены и приноровлены, все-таки для меня останется неразрѣшеннымъ вопросъ: что́ такое наблюдаемый мною предметъ безъ меня? Я узнаю каждый предметъ только по производимому имъ на меня впечатлѣнію и ощущенію. А ощущеніе безъ моего *я* для меня немыслимо. Между тѣмъ для меня остается несомнѣннымъ, что каждый изслѣдованный мною предметъ можетъ и будетъ существовать и безъ меня. Что́ же онъ тогда такое? Но сверхъ этого, очевидно, неразрѣшимаго вопроса, сущность вещей,—das Ding an (und) für sich selbst,--должна быть для насъ чѣмъ-то другимъ, а не тѣмъ, что передаютъ наши чувства, еще и потому, что всѣ наши чувственныя и умственныя представленія о вещахъ,—какъ бы эти представленія ни были отчетливы и ясны, — никогда не дадутъ намъ всесторонняго понятія даже о самой внѣшней сторонѣ изслѣдуемаго нами предмета. Да если бы мы могли проникнуть въ сущность предметовъ, хотя бы съ одной ихъ чувственной стороны, мы знали бы, что́ такое сила и что́ такое матерія; а еслибы мы могли себѣ представить вещи какъ онѣ есть сами по себѣ, безъ помощи нашихъ чувствъ,—т.-е. не только такими, какими онѣ намъ кажутся, — то мы поняли бы и тайну творенія, и мистеріи творчества. Для насъ же не только это недостижимо, но и то невозможно, чтобы каждый предметъ подвергнуть анализу всѣхъ нашихъ чувствъ; миріады вещей еще намъ неизвѣстны; миріады останутся навсегда и вовсе неизвѣстными; а представленія наши о тѣхъ предметахъ, которые можно еще открыть и изслѣдовать искусственнымъ изощреніемъ чувствъ,--какъ бы они ни казались намъ ясными, —все-таки не болѣе какъ призраки, туманныя картины и отголоски, нерѣдко увлекающіе умъ въ непроходимый лабиринтъ предположеній и иллюзій.

Вторая благодѣтельная для насъ иллюзія есть наше непоколебимое убѣжденіе въ свободѣ нашей воли, мысли и совѣсти. Безъ этого дорогого для насъ убѣжденія нравственная жизнь была бы невозможною, да и проявленія физической жизни встрѣчали бы безпрестанно препятствія въ насъ же са-

михъ. Не легко разубѣдить себя въ томъ, что я не могу не хотѣть, чего желаю, не могу не желать того, что свойственно желать моимъ душевнымъ и умственнымъ способностямъ. Мысль моя не можетъ проявляться внѣ извѣстныхъ и опредѣленныхъ законовъ мышленія, не рискуя превратиться въ безсмыслiе. Моя совѣсть требуетъ отъ меня только того, что я считаю совѣстнымъ (нравственнымъ); а если поступаю вопреки исповѣдуемыхъ мною законовъ совѣсти, то потому, что она сдѣлалась у меня не-свободною. Впрочемъ можно утверждать только то, что ни воля, ни мысль, ни совѣсть человѣка не произвольны, но свободны въ границахъ, опредѣленныхъ извѣстными органическими и психическими законами. Произволъ и свобода — конечно, не равнозначащія слова. Такъ точно не равнозначащи воля и желаніе. Я хочу и желаю — два разныя понятія. Но ни желанія, ни хотѣнія наши не могутъ быть произвольными, хотя и кажутся намъ такими. Я желаю въ эту минуту чего-нибудь, потому что внутреннія мои или органическія (доставляемыя органами) ощущенія и всѣ предшествовавшія обстоятельства и условія заставляютъ меня желать именно этого, а не чего-нибудь другого; я могу перемѣнить мое желаніе или заставить его молчать, но только когда моя воля еще не ослабла подъ игомъ разныхъ желаній и другихъ ненормальныхъ условій. Воля должна быть, въ нормальномъ состояніи, всегда сильнѣе желаній. Воля всегда дѣятельна и управляетъ дѣйствіями. Поэтому-то я могу желать что-либо доброе, и въ то же время хотѣть что либо худое. Только чисто физическія препятствія могутъ воспрепятствовать дѣйствіямъ сильной или нормальной воли. Въ ней, дѣйствительно, есть склонность къ произволу; но все-таки и воля не можетъ быть непропорціональна по своей силѣ съ органическою энергіей нашего *я*. Я могу желать поднять мою руку, но моя воля и слѣдующее за ней дѣйствіе ограничены способностью передавать мою волю рукѣ, и если она парализована, то, при всемъ моемъ желаніи ее поднять, дѣятельнаго хотѣнья не будетъ. Мнѣ, можетъ быть, еще не разъ придется въ моемъ дневникѣ затрогивать этотъ жгучій вопросъ.

Третья иллюзія нашей психической жизни, не менѣе благо-

творная двухъ первыхъ, зависитъ отъ непослѣдовательности нашего ума и фантазіи.

Чистый разумъ, т.-е. взятый въ отдѣльности отъ другихъ психическихъ способностей, конечно, не можетъ быть непослѣдовательнымъ. Но мы не можемъ умствовать такъ, чтобы дѣйствовалъ одинъ чистый разумъ; умствуя, мы въ то же время внимаемъ, помнимъ, воображаемъ, желаемъ и нерѣдко еще (въ практической жизни) волнуемся и увлекаемся тою или другою страстью. Поэтому умъ нашъ, послѣдовательный по принципу, на практикѣ почти всегда непослѣдователенъ. И это наше счастье и наше несчастье.

И вотъ, умъ нашъ, въ силу присущей ему послѣдовательности, при каждомъ міровоззрѣніи непремѣнно долженъ придти къ принятію безконечнаго и безграничнаго, что́ бы онъ ни разсматривалъ: пространство ли, время ли, движеніе ли, силу, вещество, — всегда онъ долженъ, наконецъ, дойти до безконечности, неограниченности, вѣчности, хотя и никогда не можетъ составить себѣ объ этихъ аттрибутахъ какого-либо опредѣленнаго и яснаго понятія. И никакая сила умствующей фантазіи не можетъ представить намъ какой-либо обликъ той безконечности, до предѣловъ которой умъ нашъ доходитъ роковымъ образомъ съ присущею ему послѣдовательностью. Это неоспоримое существованіе безконечнаго, безпредѣльнаго и вѣчнаго начала, до котораго нашъ умъ и фантазія роковымъ образомъ достигаютъ, разсматривая конечное, ограниченное и временное, не есть одинъ чувству подлежащій фактъ, но стоитъ выше всякаго факта, ибо оно есть непремѣнный постулатъ чистаго разума, переносимый имъ же и въ область фантазіи. Между тѣмъ, и разумъ, и умствующая фантазія въ практической жизни безпрестанно заняты созерцаніемъ различныхъ видоизмѣненій всего окружающаго насъ, и эти-то безпрестанныя измѣненія въ пространствѣ, времени, движеніи, силѣ и веществѣ постоянно и противорѣчатъ послѣдовательнымъ заключеніямъ чистаго разума и заставляютъ насъ вездѣ и во всемъ насъ окружающемъ находить одно лишь временное, ограниченное и опредѣленное. Вотъ это и есть иллюзія, приносящая намъ счастье и несчастье; но вообще болѣе благотворная потому, что она заставляетъ насъ сосредоточивать всѣ наши

умственныя силы на разслѣдованіи измѣненій, совершающихся внѣ насъ въ безграничномъ пространствѣ и времени. Безъ этой вынужденной непослѣдовательности ума и безъ этой вносимой ею иллюзіи дѣятельность нашего ума и фантазіи терялась бы для насъ, погруженная въ безплодное созерцаніе не доступной безконечности.

12 февраля 1880.

Съ 9-го по 12-е февраля 1880 г., послѣ 3-хъ-дневной оттепели (съ + 4 R. и болѣе) снова морозъ въ 7° R. (12 Ф.), а 13-го и 14-го февраля, наступила ясная, прелестная погода съ — 4°, при совершенномъ безвѣтріи.

Дышется легко, и дышалось бы еще легче, если бы не событіе 5-го февраля, дошедшее до насъ съ своими ужасающими подробностями только 9—10-го февраля.

Я не вѣрю, чтобы русская наша доморощенная молодежь— насколько я ее знаю — въ состояніи была, безъ опытныхъ руководителей, дѣйствовать съ такою дьявольски-энергическою выдержкою. Это ни прежде, ни теперь не въ нашемъ духѣ. На это мастера романскіе народы, а изъ славянскаго племени развѣ одни поляки, искусившіеся въ заговорахъ.

События послѣдняго времени доказываютъ существованіе плотно организованной и притомъ дѣйствующей послѣдовательно подпольной организаціи, располагающей средствами и преслѣдующей извѣстный планъ. Гдѣ точка опоры? Вотъ вопросъ; едва ли въ одномъ нашемъ обществѣ, т.-е. въ нѣкоторыхъ его слояхъ; едва-ли главные руководители съ ихъ подпольными пружинами не находятся внѣ нашего общества; для него это что-то уже слишкомъ забористое и слишкомъ злодемонски устроенное. Нашъ домашній демонъ не такъ золъ и въ своемъ злѣ не такъ энергиченъ и послѣдователенъ. Тутъ кроется организація въ родѣ той, которая учреждена была у итальянскихъ карбонаріевъ и въ польскомъ жондѣ. Это не наше, — или же наше новое поколѣніе чертовски измѣнилось въ послѣдніе періоды нашего развитія.

Между тѣмъ я замѣтилъ, что это ужасное событіе, заставившее меня и жену долго призадуматься и какъ-то внутренно

взгрустнуть, повидимому, не произвело въ окружающихъ насъ людяхъ того потрясающаго впечатлѣнія, котораго нужно бы было ожидать. Евреи, правда, болтали разныя нелѣпости; но въ народѣ, крестьянахъ, не слышно было толковъ и не замѣтно было живого участія. Вотъ это-то безучастіе, близкое къ равнодушію, и досадно, и печально. Но кого винить? Общество сверху до низу пріучено вѣками къ индифферентизму, и вотъ, при начавшемся его развитіи, къ которому его толкнула высшая власть, эта поскудная наша безразличность начала исчезать прежде всего въ поколѣніи недозрѣломъ и притомъ, еще на бѣду, замѣнилась какою-то злою мономаніею. Надо же было случиться, чтобы царствованіе добраго государя, успѣвшаго уже въ 25 лѣтъ сдѣлать свое имя безсмертнымъ въ исторіи развитія Россіи, открыло широкое поприще для гибельнаго зла и неслыханныхъ преступленій и изступленій мысли!

Но не значитъ ли это, что въ теченіе многихъ лѣтъ скоплялся въ тайникахъ общества матеріалъ, способный, при первомъ же дуновеніи свободы, воспламеняться и причинять разрушеніе?

Почему при первой зарѣ новой жизни народа не появились на Божій свѣтъ равные этому злу по силѣ, но противоположные по стремленію общественные элементы? Вотъ вопросъ.

Едва-ли онъ не рѣшается тѣмъ, что не было достаточно приложено усилія къ трезвому анализу разныхъ стремленій и поддержкѣ тѣхъ, на внутренній антагонизмъ которыхъ, въ борьбѣ со зломъ, можно бы было опереться. Стричь подъ одинъ гребень—это извѣстная замашка неразвитыхъ, неопытныхъ и грубыхъ лицъ и обществъ. Искусство анализировать, умѣнье отыскать въ каждой особи хорошую сторону и воспользоваться ею не только при случаѣ, а потомъ швырнуть въ сторону или заковать въ цѣпи,—все это, я знаю, не легко; но безъ этого нельзя и ожидать ничего путнаго, и лучше не вливать вина новаго въ мѣхи старые.

Есть періоды въ исторіи народовъ, когда неминуемо, роковымъ образомъ они призываются логикою фактовъ къ новой жизни, и правительства волею и неволею должны бываютъ

отступать отъ консерватизма. Если правители не подстерегли, такъ сказать, благопріятнаго момента для реформъ и нововведеній, и вынуждены были обстоятельствами дать ихъ не въ пору, пропустивъ время, то всѣ вредные, перезрѣвшіе и недозрѣвшіе элементы общества приходятъ легко въ броженіе; и результатъ отъ нововведеній, какъ бы они благотворны ни были, получается неожиданно плохой. Въ здоровомъ народномъ и государственномъ организмѣ эти худыя слѣдствія не могутъ быть долговременны. Броженіе уляжется, и все сново заживетъ уже обновленною жизнію.

Всѣ реформы нынѣшняго (1880 г.) царствованія, по моему мнѣнію, къ сожалѣнію опоздали. Эманципація должна бы была совершиться задолго до 1848 года, когда въ Европѣ все было тихо, и соціализмъ не поднималъ еще головы, а финансы наши были въ хорошемъ состояніи; у насъ царствовала тишь и гладь, да Божья благодать; всѣ сословія покорствовали одной твердой волѣ, первенствовавшей и на всемъ континентѣ. Вмѣсто того—освобожденіе крѣпостныхъ, а потомъ и другія, необходимо слѣдовавшія за этимъ актомъ, реформы пришлись въ самую неблагопріятную пору: съ одной стороны, несчастная война, обнаружившая страшную неурядицу и злоупотребленія администраціи (военной и гражданской); позорный миръ; съ другой стороны, общее внутреннее глухое и затаенное недовольство во всѣхъ почти слояхъ общества отъ тяжелыхъ и стѣснительныхъ мѣръ, слѣдовавшихъ послѣ революцій въ Европѣ 1848 года; сильно разстроенные войною финансы; польское возстаніе; усиленная агитація эмигрантовъ, возбуждавшая сочувствіе во всей молодежи и даже въ правительственныхъ лицахъ. Можно ли найти болѣе опасное время для одной изъ радикальнѣйшихъ реформъ государства? И между тѣмъ ее нельзя уже было откладывать, она уже и то была запоздавшая. И вотъ, по необходимости, сорвана Соломонова печать съ стклянки съ закупоренными дýхами; они вылетѣли не вовремя и не влѣзаютъ, по приказанію волшебника, опять въ стклянку. Мало того, эти дýхи—и между ними, конечно, много было и злыхъ — временно оказались нужными. При ихъ помощи нѣкоторые изъ сдѣлавшихся почему-то — не почему-то, а по успѣху—знаменитыми, эманципировали крестьянъ въ за-

падныхъ губерніяхъ, въ смутное время польскаго возстанія; да эти дýхи, несомнѣнно, и теперь еще (1880 г.) бродятъ въ этихъ провинціяхъ въ видѣ разныхъ субалтерновъ премудрой администраціи. Теорія высшей администраціи, конечно, была остроумна: воспользоваться свободными силами, хотя и неблагонадежными, а потомъ уволить ихъ въ безсрочный отпускъ. Вѣдь святые и на чортѣ верхомъ ѣздили. Но на практикѣ оказалось, что новѣйшіе дýхи упорнѣе и несговорчивѣе чорта старыхъ временъ; лишь только ихъ пустили въ ходъ, они и сами пустили корни. Обо всемъ этомъ я хотѣлъ-было— и буду—говорить впослѣдствіи, при случаѣ; но не удержался и теперь; отвратительно гнусное событіе 5-го февраля (1880 г.) вывело меня изъ колеи, и я по-неволѣ заговорилъ не у мѣста. Возвращусь поскорѣе къ моему свѣтлому и утѣшительному міровоззрѣнію.

Дѣйствительно ли, однако, все такъ, какъ я думаю?

Не иллюзія ли именно то, что непостижимо для насъ: безпредѣльность, безконечность и вѣчность? Начало и конецъ, рожденіе и смерть мы встрѣчаемъ и сознаемъ на каждомъ шагу. Все наше существованіе на землѣ—въ безпрерывной зависимости отъ вещей, опредѣленныхъ, конечныхъ и временныхъ. Наши главныя средства къ познанію вещей—чувства—устроены исключительно для опредѣленія и измѣренія границъ пространства, времени и движенія. Гдѣ же тутъ иллюзія? Да, самое лучшее для насъ не сознавать тутъ иллюзіи и, не сознавая ея, дѣйствовать; это практично, и убѣждать себя, что мы дѣйствуемъ, живя въ мірѣ иллюзій, ни къ чему не ведетъ, или же ведетъ скорѣе къ худу, чѣмъ къ добру. Все это такъ; но мнѣ стоитъ только поднять глаза кверху, посмотрѣть на небо,—и безпредѣльность дѣлается неопровержимымъ фактомъ; стóитъ только подумать о мірозданіи и содержимомъ въ немъ веществѣ и силѣ,—и мысль о вѣчномъ, неизмѣнномъ началѣ невольно является и поражаетъ своею бездонною глубиною. Если же безграничное и вѣчное есть не только постулатъ разума, но и самый громадный фактъ, то какъ согласить существованіе ограниченнаго и временнаго съ этимъ фактомъ? Тутъ-то и кроется иллюзія; ограниченными, опредѣленными и

временными кажутся намъ одни лишь проявленія безграничнаго и вѣчнаго начала, да и въ нихъ ограничены и временны одни только видоизмѣненія. Проявленія эти, по причинѣ вѣчнаго движенія и безпрерывнаго перехода силъ и вещества однихъ въ другія, не могутъ быть постоянно одними и тѣми же. Вселенная — это громадный, вѣчно вращающійся калейдоскопъ; фигуры безпрерывно измѣняются, но движущая его мысль и сила вѣчны и неизмѣнны.

Итакъ, мой умъ и фантазія, по моему, никогда не разлучные, убѣждаютъ меня въ существованіи безконечнаго и вѣчнаго начала. Безъ фантазіи и умъ Коперника и Ньютона не далъ бы намъ міровоззрѣнія, сдѣлавшагося достояніемъ всего образованнаго міра. Ничто великое въ мірѣ не обходилось безъ содѣйствія фантазіи. Къ ней же, къ умствующей фантазіи, нужно обратиться и за рѣшеніемъ неразрѣшимаго вопроса объ отношеніи вещества къ этому безгранично вѣчному вселенскому началу.

И я утверждаю, что въ умственномъ анализѣ, вспомоществуемомъ фантазіею, вещество улетучивается, такъ сказать, и вмѣсто его атомовъ въ воображеніи остается сила. Что̀ она такое—мы также не знаемъ, какъ не знаемъ и что̀ такое основные атомы вещества. Одно только для меня неоспоримо, что и эта воображаемая основная сила, и эти воображаемые основные атомы не имѣютъ и не могутъ имѣть тѣхъ же чувственныхъ свойствъ, которыя опытъ, наблюденіе и наука открываютъ въ окружающей насъ вселенной. Эта основная сила и основное вещество—такое же отвлеченіе, какъ и міровая мысль и начало жизни; но отвлеченіе, проявляющееся въ умѣ, непроизвольно и неминуемо при размышленіи и воображеніи; умъ непроизвольно—скажу, пожалуй: безсознательно (хотя это, повидимому, нелѣпость)—находитъ самого себя и свойственное ему стремленіе къ цѣли и плану внѣ себя. Это его свойство. Но онъ обладаетъ этимъ свойствомъ именно потому, что оно существуетъ и внѣ его, въ цѣлой вселенной; потому, другими словами, что онъ самъ есть только одно проявленіе другого, высшаго, мірового ума.

16 февраля 1880.

Уже четыре дня стоитъ утрами морозъ въ 4—2° R., въ срединѣ дня до 0° R., ясно; вчера былъ утромъ снѣгъ. Подъ снѣжнымъ покровомъ земля подъ посѣвами оказалась при пробѣ (на дняхъ) замерзшею на нѣсколько дюймовъ, несмотря на глубокій (мѣстами въ одинъ аршинъ) снѣжный слой и несмотря на то, что снѣгъ выпалъ осенью на талую землю; онъ не сходилъ однакоже ни разу зимой до сихъ поръ. Погода стоитъ, повидимому, отличная для ходьбы, но вѣроломная. Дуетъ такъ называемый здѣсь марецъ, пронзительный съ юго-запада и сѣверо-запада вѣтеръ (S, W, N, W), при начинающейся веснѣ; онъ проникаетъ до костей, несмотря на то, что S и W, а солнце между тѣмъ уже сильно грѣетъ.

Я въ 1860 году схватилъ сильную болѣзнь въ эту пору (въ концѣ февраля) съ перемежающимся тифомъ. Поэтому я страшно боюсь февральскаго вѣроломства; не знаешь, какъ одѣться, выходя пѣшкомъ изъ дому; въ шубѣ на солнцѣ какъ разъ вспотѣешь, а тутъ гдѣ-нибудь на поворотѣ прохватитъ марецъ. Недаромъ его боятся и посѣвы; бѣда, если они откроются изъ-подъ снѣга въ то время, когда дуетъ марецъ; въ прошломъ году на посѣвы, подвергшіеся въ февралѣ вѣтрамъ, страшно было смотрѣть; зелень вся пропала и поля почернѣли вскорѣ послѣ того, какъ вышли изъ-подъ снѣга; потомъ только поправились немного отъ выпавшаго мокраго снѣга.

Я все толкую въ моемъ міровоззрѣніи о міровомъ умѣ, о міровой мысли. Да гдѣ же міровой мозгъ? Мысль безъ мозга и безъ словъ! Развѣ это не абсурдъ въ устахъ врача? Но пчела, муравей—думаютъ же безъ мозга, и все животное царство развѣ не мыслитъ безъ словъ? Вольно намъ называть мыслію только одну человѣческую, мозговую, словесную и человѣчески-сознательную мысль! А она для меня есть только проявленіе общей мысли, распространенной всюду, творящей и управляющей всѣмъ. Самъ мозгъ и само слово, считаемое нами за органъ и условіе мысли, суть произведенія этой міровой мысли,—и, конечно, не случайныя. Если для неизвѣстной намъ цѣли было необходимо устройство организмовъ, то, конечно, творческая мысль должна же была найти для выраженія себя со-

знаніемъ и словомъ какой-либо субстратъ, наиболѣе приспособленный къ цѣли, и этимъ субстратомъ для человѣка и высшихъ животныхъ оказался мозгъ. Почему для человѣческаго мышленія понадобились именно не другія, а мозговыя извилины, клѣтки, узлы и волокна—мы не знаемъ, точно также какъ не знаемъ, почему нужно было твореніе существующихъ, а не иныхъ какихъ животныхъ типовъ; мы не можемъ этого знать именно потому, что и устройство нашего органа мышленія, и твореніе типовъ суть произведенія высшей, міровой, для насъ по однимъ только ея проявленіямъ доступной, мысли. Открывая на каждомъ шагу внѣ насъ мысль несознательную, въ нашемъ смыслѣ, мы невольно привыкаемъ считать ее за свою собственную, человѣчески-сознательную.

Между тѣмъ мы достовѣрно теперь знаемъ, что въ нашихъ дѣйствіяхъ, и преимущественно въ дѣятельности органа зрѣнія, значительно участвуетъ безсознательное мышленіе; безъ него мы не могли бы ощущать и представлять себѣ видимые нами предметы такими именно, какъ они намъ кажутся. Мы разсуждаемъ, считаемъ, воображаемъ, помнимъ и хотимъ, во многихъ случаяхъ, безсознательно; безъ сомнѣнія, можно и чувствовать безсознательно, какъ это показываютъ рефлексы, или же тотчасъ же забывать моментъ ощущенія при самомъ его началѣ. Мнѣ кажется, наступила пора, когда мы должны уже различать сознаніе нашего *я* отъ другихъ психическихъ актовъ, каковы ощущеніе, мышленіе, воля и воображеніе, не говоря уже о томъ, что степени самаго сознанія могутъ быть весьма различны. Я полагаю, что мозгъ есть исключительный органъ индивидуальнаго сознанія; мышленіе же наше зависитъ отъ мозга настолько, насколько онъ есть органъ слова и ощущеній, приносимыхъ различными органами. Но ни мозгъ, ни другіе органы себя самихъ не ощущаютъ сознательно. Откуда же берется въ немъ сознаніе нашего *я*? Что за странное превращеніе разныхъ внѣшнихъ и внутреннихъ ощущеній, приносимыхъ къ нечувствующему самого себя мозгу въ чувства нашей личности! Не приносится ли и оно къ намъ извнѣ,—я хочу сказать:—не сообщается ли это сознаніе организму извнѣ вмѣстѣ съ элементами-носителями жизненнаго начала?

Начало жизни, жизненная сила, духъ бытія,—назовемъ какъ угодно,—конечно, не имѣетъ своего *я*; оно не можетъ имѣть индивидуально-человѣческаго сознанія; оно—общее; но, направляя силы и элементы къ формированію организмовъ, это организующее начало жизни дѣлается самоощущающимъ, самосознающимъ, племеннымъ или личнымъ. И въ каждой животной особи, кромѣ сознанія (болѣе или менѣе яснаго) личности, существуетъ еще сознаніе племенное, а въ людяхъ, кромѣ племенного *я*, есть еще и общечеловѣческое. Эти различные виды сознанія, органомъ которыхъ служатъ преимущественно нервные центры, въ моихъ глазахъ, не что́ другое, какъ олицетвореніе міровой мысли, совершаемое жизненною силою. Это, по моему мнѣнію, не пустая фраза. Я въ правѣ такъ думать потому, во-первыхъ, что другого объясненія происхожденію нашего *я* я не знаю; во-вторыхъ, въ существованіи жизненнаго начала (силы) нельзя сомнѣваться; ибо нужно же принять иксъ, управляющій веществомъ въ организмѣ и физическими силами, направляющій ихъ къ извѣстной опредѣленной цѣли, къ поддержанію существованія и самосохраненію организма; въ-третьихъ, наконецъ, вещество, управляемое и направляемое жизненнымъ началомъ, организуется по общему опредѣленному плану въ извѣстные типы; а это не значитъ ли, что организованіе типовъ и формъ представляетъ собою выраженіе и олицетвореніе творческой міровой мысли? Но такъ какъ эта мысль не есть и, по существу своему, не можетъ быть индивидуальная, то она, конечно, не нуждается въ особомъ органѣ, каковъ нашъ мозгъ, предназначенномъ исключительно для индивидуальности. Вмѣстѣ съ этимъ, для выраженія міровой мысли не было надобности ни въ ощущеніяхъ, ни въ словахъ, необходимыхъ для нашего индивидуальнаго мышленія.

Вообще, мы не въ правѣ утверждать, что такой-то или такой-то органъ устроенъ именно съ тою цѣлью и для той функціи, которыя ему приписываютъ наши опыты, наблюденія и наука. Мы не можемъ утверждать, что наши ноги даны намъ, чтобы ходить, мозгъ—чтобы мыслить. Нѣтъ, мы ходимъ, потому что у насъ есть ноги, и мыслимъ, потому что имѣемъ голову. Утверждать же, что мы имѣемъ голову, чтобы мыслить, значитъ—полагать, что творческая сила жизни не имѣла никакого

другого средства, кромѣ избраннаго ею къ достиженію своей цѣли. Мы должны помнить, что мы не знаемъ, почему творческая мысль олицетворилась сознательно въ типѣ и формѣ человѣка, а не иномъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ мы не въ правѣ утверждать, что человѣкомъ и закончилось это олицетвореніе, доведенное въ немъ до самосознанія; у насъ нѣтъ никакой причины отвергать возможность существованія организмовъ, снабженныхъ такими свойствами, которыя олицетворенію міровой мысли придали бы недостижимое для нашего самосознанія совершенство.

17—18 февраля 1880.

Оба дня тепло до 4—6° R. при S. и SW., вчера (17) болѣе пронзительномъ, сегодня слабомъ. Ясно. На солнцѣ таетъ, но общей оттепели нѣтъ, хотя снѣгъ уже и проваливается подъ ногами.

Я знаю, что мое міровоззрѣніе не имѣетъ той фактической подкладки, которая въ наше время требуется отъ всякаго серьезнаго размышленія. Но въ томъ-то и бѣда, что нужно или вовсе отказаться отъ всякаго міровоззрѣнія, или же принять въ основаніе одни слишкомъ общіе и потому слишкомъ близкіе къ отвлеченію факты. Мнѣ не суждено быть позитивистомъ; я не въ силахъ приказать моей мысли: не ходи туда, гдѣ можно заблудиться. И я по-неволѣ основываюсь въ моемъ міровоззрѣніи на томъ, что̀ мнѣ кажется внѣ всякаго сомнѣнія, хотя бы это было болѣе отвлеченіе, чѣмъ фактъ. Мнѣ кажутся такого рода отвлеченія такъ же несомнѣнными, какъ мое собственное существованіе; къ нимъ я отношу: міровую цѣлесообразность; общій планъ творенія; міровую мысль; силу, не зависимую отъ вещества; вещество, при умственномъ анализѣ, превращающееся въ нѣчто неуловимое чувствами,—то-есть, также силу; начало (силу) жизни, проникающее вещество, но независимое ни отъ него, ни отъ физическихъ силъ, а цѣлесообразно направляющее эти силы къ самосохраненію вещества, возведеннаго этимъ же началомъ на степень организмовъ и особей. Принимая все это за неоспоримыя истины, могъ ли я принять иное міровоззрѣніе? Будетъ ли наукою когда-нибудь

несомнѣнно доказано, что высшіе животные типы, формы и мы сами развились, подъ вліяніемъ внѣшнихъ условій и силъ, изъ низшихъ формъ, а эти, въ свою очередь, изъ первобытной органической протоплазмы,—мое воззрѣніе отъ этого не измѣнится; такъ ли, иначе ли развилась животная жизнь на землѣ, принципъ цѣлесообразности въ творчествѣ отъ этого ничего не теряетъ, и присутствіе міровой мысли и жизненнаго начала во вселенной не сдѣлается сомнительнымъ.

Я не могу убѣдиться,—хотя мое собственное убѣжденіе и не могу подтвердить фактами,—чтобы во всей вселенной нашъ мозгъ былъ единственнымъ органомъ мышленія; чтобы все въ мірѣ, кромѣ нашей мысли, было безумно и безсмысленно, и чтобы она одна придавала міросозданію смыслъ и разумную цѣлесообразность. При такомъ одностороннемъ воззрѣніи мнѣ чрезвычайно страннымъ кажется значеніе нашего мозга; выходитъ такъ, что въ цѣлой вселенной онъ одинъ, ощущая внѣшнія впечатлѣнія и не ощущая самого себя, служитъ мѣстомъ проявленія какого-то *я*, вовсе не признающаго своей солидарности съ мѣстомъ своего происхожденія и какъ будто ему посторонняго. Поэтому мнѣ сдается не болѣе и не менѣе правдоподобнымъ другое предположеніе, что это пресмутное и странное наше *я* заносится въ мозгъ и развивается тамъ вмѣстѣ съ ощущеніями отъ приносимыхъ въ него внѣшнихъ впечатлѣній; другими словами—ставится вопросъ: не приносится ли наше *я* извнѣ и не есть ли оно именно міровая мысль, встрѣчающая въ мозгѣ аппаратъ, искусно сработанный ad hoc силою жизни и назначенный ею для олицетворенія и обособленія міроваго ума? Въ такомъ случаѣ, мозгъ былъ бы искусно сплетенною сѣтью для удержанія и проявленія въ личномъ видѣ этого вселенскаго разума.

Во всякомъ случаѣ это, повидимому, фантастическое предположеніе мнѣ кажется все-таки болѣе вѣроятнымъ, чѣмъ то, вышедшее изъ школы чистокровныхъ матеріалистовъ, по которому наша мысль приводится въ зависимость отъ мозгового фосфора. Сколько бы я ни ѣлъ рыбы и гороху (по совѣту Молешотта), никогда я не соглашусь отдать мое *я* въ крѣпостную зависимость отъ продукта, случайно полученнаго алхиміею изъ мочи. Если намъ суждено въ нашихъ міровоззрѣ-

ніяхъ подвергаться постоянно иллюзіямъ, то моя иллюзія по крайней мѣрѣ утѣшительна. Она мнѣ представляетъ вселенную разумною и дѣятельность дѣйствующихъ въ ней силъ цѣлесообразною и осмысленною, а мое *я*—не продуктомъ химическихъ и гистологическихъ элементовъ, а олицетвореніемъ общаго, вселенскаго разума, который я представляю себѣ свободно-дѣйствующимъ по тѣмъ же законамъ, которые начертаны имъ и для моего разума, но не стѣсненнымъ нашею человѣчески-сознательною индивидуальностью.

19 февраля 1880.

Отличная погода при — 1° R. (утромъ ясно и тихо для дня двадцатипятилѣтія).

25 лѣтъ тому назадъ, я встрѣчалъ этотъ день въ Севастополѣ. Тогдашнія занятія на перевязочномъ пунктѣ и моя болѣзнь (тифоидъ) не позволили ясно сохраниться произведенному на насъ впечатлѣнію извѣстіемъ о новомъ вступленіи на престолъ. Я помню только о какомъ-то безгласномъ изумленіи при полученіи извѣстія о кончинѣ императора Николая. Мы почти ничего не знали о его болѣзни. Передъ неожиданнымъ отъѣздомъ великихъ князей (Николая и Михаила) изъ Севастополя, разнесся слухъ о болѣзни императрицы, и никому изъ насъ и въ голову не приходило, что насъ ожидало такое важное событіе. О какихъ-либо предстоящихъ перемѣнахъ съ восшествіемъ на престолъ новаго государя тогда некогда было помышлять. У всѣхъ одно было на умѣ—настоящее, весьма неприглядное. Непріятель приближался своими осадными работами; предстояли новыя битвы и кровопролитія; всѣ были увѣрены, что, несмотря на перемѣну правленія, до мира еще далеко. Газетъ мы тогда почти не читали; онѣ приходили Богъ знаетъ когда, да и читать было некогда.

25 лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ. Многое великое совершилось, много хорошаго. Многое перемѣнилось къ лучшему; но юбилей омраченъ новымъ Севастополемъ, также доморощеннымъ и также не безъ внѣшняго вліянія, тревожащимъ Россію. Уже давно появившаяся въ цивилизованномъ мірѣ болѣзнь, именуемая мірскою печалью или болью, „Weltschmerz“, развилась и у насъ. Но наши мірскіе печальники, еще рѣшительнѣе за-

падныхъ, не задумались прибѣгнуть тотчасъ же къ самымъ печальнымъ мѣрамъ для излеченія своей болѣзни; но объ этомъ поговорю послѣ.

На другой или на третій день послѣ призыва къ присягѣ новому государю, я пошелъ зачѣмъ-то къ нашему госпитальному аптекарю въ Севастополѣ, и встрѣтилъ его на дорогѣ возвращающимся съ почты съ какимъ-то ящикомъ. Я полюбопытствовалъ узнать и зашелъ въ аптеку; при раскрытіи посылки оказалось, что это была атомистическая аптечка лейбъ-медика Мандта, предназначавшаяся для всѣхъ военныхъ госпиталей и, по высочайшему повелѣнію, разосланная по всей Россіи; этою аптекою, а слѣдовательно и атомистическимъ способомъ леченія д-ра Мандта, должны были, по волѣ покойнаго государя (Николая I), замѣниться прежнія аптеки и прежніе способы леченія въ военныхъ госпиталяхъ.

Какъ только ящикъ былъ открытъ, нашъ аптекарь, тертый нѣмецъ, посмотрѣвъ на содержимое, прехладнокровно помоталъ головою и, закрывъ ящикъ, сказалъ: „опоздалъ“. Только потомъ я понялъ, въ чемъ дѣло. Приказъ отъ военно-медицинскаго вѣдомства объ этомъ нововведеніи былъ, вѣроятно, уже извѣстенъ аптекарю, и онъ, получивъ эту курьёзную посылку прежняго режима уже при новомъ, тотчасъ же сообразилъ, какая ей предстоитъ будущность.

20—21 февраля 1880.

Продолжается ясная погода съ небольшимъ марецомъ SW; на солнцѣ 0^0 +5 R.; ночью морозцы въ 2^0—4^0 R.

Да гдѣ же моя автобіографія? Но вѣдь я ее пишу для себя, и потому мнѣ всего важнѣе уяснить себѣ самому, что́ такое я, и потомъ уже прослѣдить, насколько и какимъ образомъ фактическая жизнь способствовала сдѣлать изъ меня то, что́ я теперь, то-есть какими путями пришелъ я къ моему теперешнему (1880 г.) міровоззрѣнію и къ моимъ теперешнимъ религіознымъ и нравственнымъ убѣжденіямъ. Поэтому мнѣ необходимо сначала уяснить самому себѣ, какъ я смотрю на окружающій меня міръ, какимъ я кажусь себѣ, за кого я самъ себя считаю, во что́ я вѣрю, въ чемъ сомнѣваюсь, что́

люблю и что̀ ненавижу. Все мое прошедшее, все пережитое мною для меня интересно, однако-же, настолько, сколько оно можетъ разъяснить мнѣ весь процессъ развитія моего міровоззрѣнія, моихъ религіозныхъ убѣжденій и всего моего нравственнаго быта. Но, чтобы добиться этого результата въ исторіи моей жизни, я долженъ не только припомнить себѣ все давнопрошедшее время, а еще и стараться быть на каждомъ шагу откровеннымъ съ собою. И то, и другое не такъ легко.

Я велъ когда-то, 18-лѣтнимъ юношею, нѣкоторое время (около года) дневникъ. У жены сохранилось изъ него нѣсколько листковъ. Но изъ него я немногое могъ бы извлечь для моей цѣли. Я узналъ бы, напримѣръ, что въ ту пору я не думалъ прожить долѣе 30 лѣтъ, а потомъ,—говорилъ я тогда въ дневникѣ,—въ 18 лѣтъ (и при томъ вовсе не рисуясь)! — „пора костямъ и на мѣсто“. Изъ этого я могу заключить только,— это, впрочемъ, я и безъ дневника ясно помню, — что нерѣдко въ тѣ поры я бывалъ въ мрачномъ настроеніи духа. Память давно-прошедшаго, какъ извѣстно, у стариковъ хороша, а у меня она хорошо сохранилась и о недавно-прошедшемъ. Поэтому въ моей исторіи прошедшаго я не найду большого препятствія къ раскрытію процесса броженія и переворотовъ, совершившихся въ теченіе жизни въ моемъ нравственномъ и умственномъ бытѣ. Но труднѣе будетъ для меня рѣшить, насколько я могу быть вполнѣ откровеннымъ съ собою. Это не такъ легко, какъ кажется. Есть случаи въ жизни, главные и скрытые мотивы которыхъ невозможно иначе объяснить, какъ при полной откровенности съ самимъ собою; а между тѣмъ именно въ такихъ случаяхъ никакъ не рѣшишь, дѣйствительно ли ты откровененъ съ собою, или нѣтъ. Есть мотивы, до того глубоко сидящіе въ тайникахъ нашего *я*, что ихъ никакъ не вытащишь на поверхность души, сколько бы этого ни желалъ: вмѣсто нихъ появляются другіе, на видъ болѣе приглядные; но, хватаясь и выставляя ихъ, чувствуешь, что тамъ гдѣ-то, въ глубинѣ, сидитъ, упершись и притаившись, другой мотивъ, неясный и, главное, нимало не похожій на всплывшій. И это дѣлается совсѣмъ не въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ благоразуміе и осторожность не дозволяютъ быть откровеннымъ съ другими. Нѣтъ, я утверждаю, что несравненно труднѣе откровенность

съ самимъ собою,—можетъ быть, потому, что она обыкновенно требуется не ежедневно, не въ дюжинныхъ обстоятельствахъ, а въ болѣе или менѣе критическихъ и серьезныхъ. Случается и то, что дѣйствительно не можешь рѣшить, что́ было причиною того или другого совершоннаго тобою поступка, и еще труднѣе—почему ты тогда, при этомъ поступкѣ, такъ, а не иначе думалъ. Самый анализъ и разбирательство дѣйствій своего собственнаго *я* требуютъ много опытности и упражненія. Едва-ли тотъ, кто много упражнялся въ анализѣ поступковъ, чувствъ и мыслей другого, пріобрѣтаетъ этимъ же самымъ упражненіемъ и способность анализировать безупречно себя самого.

Вообще для меня остается еще открытымъ вопросъ—нормально ли анализировать себя? Человѣкъ, что называется, цѣльный, кажется, живетъ, мыслитъ, дѣйствуетъ безъ разбирательства своего *я*. Онъ такъ устроенъ и самъ такъ устроился, что его мысли и дѣйствія, по его собственному убѣжденію, должны быть именно тѣми, какими они есть, а не иными. Психическій процессъ въ такомъ человѣкѣ можно сравнить съ заведеннымъ, однажды на все время его существованія, часовымъ механизмомъ. Маятникъ ходитъ ровно, мѣрно и правильно. Раскрывать и разсматривать этотъ механизмъ нѣтъ никакой надобности. Самоѣдство же — другого свойства. Это продуктъ едва-ли не патологическій, хотя на немъ и основано глубокомысленное правило мудрецовъ о познаніи (конечно, посредствомъ наблюденія и изученія) самого себя,—извѣстное: „гнѳби сеавтонъ“.

Руководясь этимъ правиломъ, нужно проститься съ дорогою цѣльностью души; расщепленіе и двойственность дѣлаются неизбѣжны; борьба наблюдаемаго и наблюдающаго началъ неизбѣжна, когда наше *я* дѣлается въ одно и то же время субъектомъ и объектомъ. Вотъ и я упрекаю себя въ этой двойственности, хотя она играла, можетъ быть, немаловажную роль въ моемъ самовоспитаніи и самообладаніи; безъ этой двойственности, то-есть безъ наблюденія и анализа самого себя, я былъ бы, можетъ быть, гораздо хуже, чѣмъ какимъ я считаю себя въ настоящее время. Но большею помѣхою была она иногда для моей практической дѣятельности и способствовала къ развитію духа противорѣчія и оппозиціи. Этотъ оппозиціонный

духъ проявлялся такъ же сильно въ анализѣ мнѣній и дѣйствій моихъ собственныхъ, какъ и постороннихъ.

Я съ давнихъ поръ не могу ни на что смотрѣть и ни въ чемъ убѣждаться съ одной стороны; непроизвольно, при каждомъ новомъ для меня предметѣ, я тотчасъ же заглядываю на него со стороны противоположной той, съ которой смотрю. Не даромъ я косилъ однимъ глазомъ (лѣвымъ) съ рожденія. Эта разносторонность во взглядѣ на предметъ, приносящая свою долю пользы, вредна дѣйствію, лишая его мѣткости, быстроты и сосредоточенности. Я это испыталъ, къ сожалѣнію, не разъ въ жизни; зато она предохраняла меня отъ вредныхъ увлеченій, выставляя мнѣ тотчасъ же на видъ худую сторону того, что меня манило къ увлеченію. Несомнѣнную пользу доставила мнѣ разносторонность въ хроническихъ случаяхъ, когда было довольно времени для начала дѣйствія взвѣсить и оцѣнить обсуждаемый предметъ съ противоположныхъ точекъ зрѣнія.

Странно и непонятно свойство дѣлиться нашего *я*. Впрочемъ не знаю навѣрное—дѣйствительно ли наше личное *я*, или что́ другое въ насъ имѣетъ это странное свойство. Знаю только по опыту, что различное настроеніе (веселое, тоскливое) у меня весьма рѣдко овладѣвало вполнѣ мною; почти всегда было такъ, что какъ будто одно мое *я* веселится, а другое въ то же время тоскуетъ и разбираетъ (анализируетъ) причину веселья перваго. Въ порывахъ же страсти и увлеченія все зависѣло отъ ихъ степени; увлекающееся *я* быстро представляло свои мотивы; другое, удерживающее, такъ же быстро приводило свои, и увлеченіе одолѣвало и приводило въ дѣйствіе только когда его мотивы представлялись какому-то еще третьему *я* болѣе основательными и болѣе сильными. Для психолога все это, конечно, вздоръ. *Я* у каждой особи одно—цѣльное и нераздѣльное. Ощущеніе: какъ будто во мнѣ дѣйствуютъ два или нѣсколько противоположныхъ *я*—есть какая-то иллюзія. Съ той поры, когда мы начинаемъ себя помнить, и до конца дней, всѣ мы отчетливо сознаемъ свое цѣльное и единичное *я*, какъ бы мы въ теченіе жизни ни измѣнялись въ характерѣ, привычкахъ, образѣ жизни, и проч. Мы чувствуемъ перемѣны съ собою, но въ то же время сознаемъ, что эти перемѣны не сдѣлали насъ не нами.

22—27 февраля 1880.

Температура мѣнялась эти дни отъ —5 до+6° R. 22-го—25-го мороза почти не было; разъ пошелъ снѣгъ съ мятелью, но скоро пересталъ. 25-го—26-го сильный марецъ NNW и температура понизилась отъ 0° до—5° R. Было ясно и солнечно. Сегодня вѣтеръ NW тише и днемъ+2—3° R. Ночью было 0°. Ясно. Все время возимъ навозъ; десять слишкомъ морговъ уже унавожено. Пшеницу, проданную по 1½ рубля за пудъ, увозятъ, но по-малу.

Да, наше *я* цѣльно, нераздѣльно и тождественно въ теченіе всей нашей жизни. Только умалишенные, и то не всѣ, вѣроятно, не сознаютъ тождества настоящаго своего *я* съ прежнимъ. Откуда же иллюзія, представляющая намъ, что мы можемъ въ одно и то же время чувствовать и мыслить не только различно, но и противоположно, противодѣйствуя однимъ чувствомъ другому и изгоняя одну мысль другою?

Во-первыхъ, мы обманываемся во времени; между однимъ ощущеніемъ и другимъ, одною мыслью и другою всегда есть промежутокъ времени между этими актами, какъ бы коротокъ ни былъ и какъ бы ничтожнымъ намъ ни казался.

Во-вторыхъ, иллюзія зависитъ отъ того, что наше *я* способно въ одно и то же время прикасаться, такъ сказать, къ нѣсколькимъ органамъ, имѣющимъ различныя функціи, да и само оно, наше *я*, какъ бы соткано изъ различныхъ ощущеній.

Что́ же оно такое, это пресловутое *я*? Личное мѣстоименіе? Или также одна иллюзія?—Я полагаю нужно сдѣлать различіе между двумя видами *я*. Одинъ его видъ есть не болѣе какъ ощущеніе личнаго бытія, свойственное каждой животной особи. Въ другомъ видѣ, вмѣстѣ съ этимъ ощущеніемъ, существуетъ еще и болѣе или менѣе ясное понятіе о немъ, т.-е. о своей личности. Вотъ это-то сознательное пониманіе присущаго намъ ощущенія бытія, т.-е. своей личности, и есть наше человѣческое *я*, выражаемое словомъ—мѣстоименіемъ личнымъ: у взрослыхъ—въ первомъ, у дѣтей—въ третьемъ лицѣ. И животныя выражаютъ звуками ощущеніе своего бытія; но у нихъ оно выражается всегда вмѣстѣ съ какимъ-либо позывомъ, чувствомъ удовольствія или боли.

Наше *я*, въ его отношеніяхъ къ разнымъ психическимъ способностямъ, можно сравнить съ музыкантомъ, играющимъ въ одно и то же время на нѣсколькихъ инструментахъ; прикасаясь къ нимъ посредствомъ разныхъ тѣлодвиженій, онъ умѣетъ разыгрывать мелодическіе концерты. Такъ и наше *я*, сотканное изъ различнѣйшихъ ощущеній, обладаетъ способностью легко прикасаться, въ одно и то же время, къ элементамъ разныхъ частей мозга и возбуждать психическія функціи, приводя дѣятельность этихъ органовъ въ унисонъ, а иногда и причиняя нестерпимую для самого себя и для другихъ какофонію. Какъ бы ни были локализированы различныя психическія функціи по разнымъ частямъ мозга, ощущеніе и пониманіе бытія, т.-е. наше *я*, не можетъ быть локализированнымъ. Чтобы разыграть, не нарушая законовъ гармоніи, какую-либо мысленную тэму, оно должно коснуться въ одно и то же время и органическихъ элементовъ, сохраняющихъ на себѣ отпечатки внѣшнихъ впечатлѣній (т.-е. памяти), и мозговыхъ извилинъ, служащихъ органомъ слова, и не найденныхъ еще локализаторами органовъ фантазіи и разсудка. Это необходимо потому, что мы не можемъ мыслить и разсуждать, не приводя въ то же время въ дѣйствіе нашу память, наше соображеніе и воображеніе. Этою способностію нашего *я* приводить одновременно или попеременно, съ самыми краткими промежутками, не нарушая своей цѣлости (не раздѣляясь), разные органы ощущеній и различныя психическія способности, объясняю я себѣ и кажущуюся намъ его двойственность, такъ хорошо выраженную въ одномъ посланіи апостола Павла. Не только между желаніемъ (волею) и дѣйствіемъ,—какъ замѣчаетъ апостолъ,—но и между первоначальными зародышами нашихъ мыслей, чувствъ, желаній, не трудно подмѣтить у себя противорѣчіе и двойственность.

Еще недавно, на дняхъ, я былъ въ худомъ настроеніи духа (послѣ сильнаго припадка кишечнаго катарра), и, злясь, не переставалъ, однако-же, наблюдать, что въ то же время, какъ злоба и неудовольствіе на нѣкоторыхъ особъ подступали у меня къ сердцу, въ зародышѣ мысли уже заключалось ихъ извиненіе; я былъ готовъ одновременно и ругать, и извинять ихъ, съ упрекомъ себѣ въ несправедливости. Не значило ли это, что мое *я* проникало въ омутъ грязныхъ ощущеній, приноси-

мыхъ разстроеннымъ органомъ (кишечнымъ каналомъ) въ мое воображеніе, но не такъ глубоко, чтобы потонуть въ немъ, оставивъ память (съ нѣкоторыми пріятными воспоминаніями) и разсудокъ въ полномъ бездѣйствіи.

Что такое наше *я* безъ ощущеній (оно, какъ я сказалъ, изъ нихъ соткано)—ignoro et ignorato. Мы, врачи и натуралисты, посвятившіе себя съ раннихъ лѣтъ фактическимъ изслѣдованіямъ живыхъ и мертвыхъ организмовъ и органовъ, такъ привыкаемъ къ находящейся безпрестанно предъ нами и въ нашихъ рукахъ, связанной съ органическими элементами жизни, что невольно смотримъ на нее какъ на слѣдствіе, а не какъ на причину. Уколомъ одного пункта въ продолговатомъ мозгу мы мгновенно прекращаемъ самую полную силъ и здоровья жизнь. Можно ли же осуждать насъ, если мы заключаемъ, что жизнь, подобно часовому механизму, останавливается съ поврежденіемъ пружины? Не естественно ли заключеніе, что наша жизнь есть не болѣе какъ регулированное органическимъ механизмомъ движеніе? Ключъ къ этому механизму—въ томъ пунктѣ продолговатаго мозга, который потому и долженъ называться жизненнымъ узломъ—nœud vital. Съ выходомъ нашимъ на свѣтъ, онъ заводитъ машину; первое проявленіе механизма есть дыхательное движеніе. Если мы не желаемъ назвать внѣшнимъ міромъ для человѣческаго зародыша заключавшую его девять мѣсяцевъ матку, то первое сообщеніе его съ внѣшнимъ міромъ состоитъ въ движеніи грудного ящика. Что же можетъ быть послѣ этого для насъ наше *я* безъ ощущеній и безъ связи съ приносящими и принимающими ощущенія органами? Развѣ посвятившимъ себя изученію органической природы не доказываютъ тщательныя изслѣдованія, что въ органическомъ мірѣ дѣйствуютъ тѣ же самые силы и законы, какъ и въ неорганическомъ, и не въ правѣ ли мы заключить изъ этого, что все, что мы наблюдаемъ въ животномъ организмѣ, относится также, какъ и въ неорганическихъ тѣлахъ, къ свойствамъ и функціямъ вещественныхъ элементовъ, составляющихъ его части и органы?

29-го февраля—1-го марта (1880 г.).

Послѣ оттепели, мѣнявшейся съ ночными небольшими морозами, вдругъ при новолуніи (28-го февраля) начинается студеный NW, и вчера (29-го) температура понижается до—7° R. съ ужасною мятелью (это былъ ураганъ, шедшій, по газетнымъ извѣстіямъ, съ востока и свирѣпствовавшій въ степныхъ восточныхъ губерніяхъ), а сегодня хотя и ясно, но морозъ въ 10° R. при сильномъ холодномъ NW. Слава Богу, что поля наши съ посѣвами еще покрыты снѣгомъ; но куда дѣвается этотъ снѣгъ? Настоящихъ оттепелей еще не было; ни разу не текли съ горъ потоки, температура не возвышалась ни разу болѣе +6° R., и то только днемъ, а снѣгъ, что называется, изнываетъ видимо; уже мѣстами на дорогахъ и на зяблѣ (вспаханная съ осени стырня) его вовсе нѣтъ; земля подъ нимъ отмерзаетъ только по временамъ, и то не болѣе, какъ на 2″; слѣдовательно, глубоко проникать въ землю тающій снѣгъ не можетъ; большихъ лужъ и ручьевъ не видно; испаряться снѣгъ при ясной солнечной, но прохладной погодѣ едва ли могъ сильно; онъ былъ рыхлъ и при малѣйшей оттепели проваливался; вѣроятно, онъ теперь сплюснулся и слой его оплотнѣлъ.

Интересно и для любопытства, и для кармана, что́ будетъ нынѣшнею весною со всходами озими? Соки въ деревьяхъ еще незамѣтно чтобы тронулись, и потому еще можно надѣяться, что поздній морозъ не повредитъ имъ много.

Да, научному эмпирику, при индуктивномъ методѣ изслѣдованія, трудно избѣгнуть иллюзіи, представляющей ему невозможнымъ существованіе сознательной мыслящей жизни внѣ организма и безъ возбуждающихъ ощущенія органовъ. А между тѣмъ эта иллюзія основана хотя на привлекательномъ и, повидимому, безспорномъ, но поверхностномъ и одностороннемъ взглядѣ на индивидуальныя проявленія жизни.

Живущее въ насъ, ощущающее и понимающее ощущеніе, начало не можетъ быть само органомъ, то-есть объектомъ; оно, по существу своему, не можетъ быть субъектомъ,—то-есть существомъ отдѣльнымъ отъ органа, конечно, не въ смыслѣ грубо-вещественномъ—и, конечно, не имѣетъ извѣстныхъ намъ

и подверженныхъ нашимъ чувствамъ свойствъ существъ органическихъ. Оно, тѣсно связанное съ органическими элементами,—безъ чего чувственныя его проявленія были бы для насъ невозможны,—съ разрушеніемъ этой связи перестаетъ быть объектомъ, то-есть предметомъ чувственнаго изслѣдованія. Но удастся ли кому-либо представить себѣ возможность ощущенія: понимать ясно ощущаемое (то-есть мыслить), не сознавая въ то же время себя самого, то-есть не бывъ субъектомъ (для себя). Нарушая или прекращая связь этого субъективнаго, ощущающаго и сознающаго себя начала съ органическими элементами, мы уничтожаемъ только объективно-индивидуальное проявленіе его, а слѣдовательно и жизни, но не самое жизненное начало. Насколько же это начало и послѣ разрыва органической связи можетъ еще сохранять свой индивидуализмъ,—свой индивидуальный, такъ сказать, обликъ,—это другой, не менѣе, по своему содержанію, глубокій вопросъ. О немъ потомъ приведу мое личное воззрѣніе.

Въ современной наукѣ установилось, однако-же, воззрѣніе, противорѣчащее, повидимому, тому, что ощущеніе и мышленіе должны быть всегда сознательны. Дѣйствительно, нельзя не принять, судя по многимъ фактамъ, въ извѣстныхъ случаяхъ безсознательныхъ ощущеній и размышленій. Уловить существенное различіе между этими видами ощущеній и мыслей и сознательными не всегда возможно. Вотъ факты. Вѣрно, организмъ зародыша ощущаетъ безсознательно: бо́льшая часть рефлексовъ основаны на безсознательномъ ощущеніи, переносимомъ на двигательные нервы. Внутренніе органы, безъ сомнѣнія, передаютъ отъ себя разнаго рода ощущенія; но они безсознательны и обнаруживаются обыкновенно одними рефлексами. Впечатлѣнія, приносимыя намъ чувствами, и особливо зрѣніемъ, изъ внѣшняго міра, производятъ въ насъ правильныя представленія о предметахъ не иначе, какъ съ помощью безсознательнаго мышленія, пріобрѣтаемаго опытомъ. Многія движенія тѣла совершаются также безсознательно. Но во всѣхъ этихъ явленіяхъ подъ именемъ безсознательнаго ощущенія и мышленія нужно понимать, во-первыхъ, одну лишь органическую воспріимчивость или способность тканей къ возбужденію;

ее, можетъ быть, приличнѣе было бы назвать ощутительностью, безъ которой ткань не могла бы ни возбуждаться стимуломъ, ни передавать его центрамъ для возбужденія рефлекса; во-вторыхъ, цѣлый рядъ органическихъ ощущеній (идущихъ отъ внутреннихъ органовъ), хотя и не сознается нами ясно и отчетливо, какъ сознаются внѣшнія впечатлѣнія, приносимыя чувствами, но все-таки дѣйствуютъ на сознаніе косвенно, возбуждая то фантазію, то позывы, то проявленія страстей и другія неопредѣленныя напоминанія о себѣ; поэтому вполнѣ безсознательными нельзя назвать эти ощущенія: въ-третьихъ, наконецъ, многія и вполнѣ сознательныя ощущенія иногда такъ кратковременны, что тотчасъ же исчезаютъ изъ круга нашей сознательной дѣятельности и не удерживаются памятью; а иногда, при вниманіи одностороннемъ и сосредоточенномъ на одномъ предметѣ, или вовсе не замѣчаются, или только по временамъ доходятъ до нашего сознанія; напримѣръ, позывъ на мочу и на низъ, при усиленныхъ умственныхъ и другихъ занятіяхъ, долго не сознается или же сознается только временно, несмотря на растяженіе пузыря и прямой кишки.

Что же касается до безсознательнаго мышленія, безъ котораго нельзя бы было объяснить многія явленія въ функціяхъ нашихъ чувствъ, напримѣръ, оцѣнку разстояній глазомъ, правильное представленіе о предметѣ, видимомъ съ разныхъ сторонъ двумя глазами, перспективу, и т. п., то и тутъ, во многихъ случаяхъ, кажущаяся намъ безсознательность есть только слѣдствіе привычки и опыта; что было въ началѣ жизни узнано нами постепенно сознательнымъ опытомъ, то впослѣдствіи, сдѣлавшись намъ извѣстнымъ и привычнымъ, кажется безсознательнымъ, и мы пользуемся потомъ плодами этого знанія, не сознавая, что обладаемъ имъ посредствомъ долгаго опыта. Нѣтъ ничего мудренаго, если при этомъ сужденіе, сдѣлавшееся для насъ обычнымъ и вседневнымъ, потомъ не принимается нами вовсе за сужденіе и кажется чѣмъ-то очевиднымъ, наглядным, не требующимъ ни малѣйшаго проявленія мысли. Дважды два—четыре нами не считается уже обыкновенно за сужденіе; это кажется намъ такъ же очевиднымъ, какъ стоящій передъ нами столъ или стулъ, правильное представленіе о которомъ требовало отъ насъ нѣкогда также изученія, какъ

и дважды два—четыре. Сверхъ этого, надо знать, что мысли, какъ и ощущенія, вполнѣ сознательныя, остаются иногда такими весьма недолго; иногда проблески мыслей въ нашемъ сознаніи до того кратки, что ихъ, безъ преувеличенія, можно сравнить съ блескомъ молніи; но, несмотря на свою быстротечность, многія изъ нихъ, хотя и незамѣченныя, остаются въ памяти, побуждая насъ къ дѣйствіямъ; въ такомъ случаѣ, и мотивирующія ихъ мысли могутъ казаться намъ безсознательными. Иногда же вниманіе, погруженное въ занятіе какимъ-либо предметомъ, вовсе не замѣчаетъ ни совершающихся дѣйствій, ни руководящихъ ими мыслей, хотя бы и тѣ, и другія и не были вовсе безсознательными. Вообще, для точнаго рѣшенія вопроса о сознательности и безсознательности нашихъ ощущеній, мыслей и сужденій необходимо умѣніе превращать свое субъективное *я* въ объектъ постояннаго и непрерывнаго наблюденія этого же самаго субъекта имъ же самимъ.

Но такая напряженная и односторонняя дѣятельность нашего вниманія надъ тѣмъ, что̀ есть сознательнаго и безсознательнаго въ насъ, очевидно ненормальна, такъ что и результаты такого наблюденія не могутъ считаться ни достовѣрными, ни удобными для контроля. Разсказываютъ, что Іог. Мюллеръ едва не сошелъ съ ума отъ усиленнаго наблюденія надъ собою: онъ хотѣлъ уловить у себя моментъ перехода отъ бдѣнія ко сну, то-есть поймать у себя переходъ сознанія въ безсознательность. Мы не можемъ выйти изъ заколдованнаго круга, при всѣхъ нашихъ усиліяхъ опредѣлить точнѣе наше субъективное индивидуальное бытіе. Въ общихъ чертахъ оно тождественно для всего человѣчества, имѣетъ многія общія черты и съ субъективизмомъ другихъ животныхъ. Но это сходство проявляется объективно только тремя путями: голосомъ (звукомъ), словомъ (членораздѣльными звуками) и движеніемъ (прямымъ и рефлективнымъ). Всѣ наши опыты и наблюденія надъ проявленіемъ субъективнаго индивидуальнаго бытія человѣка и животныхъ не имѣютъ другихъ критеріевъ. Но если всѣ они, несмотря на пріобрѣтенныя, посредствомъ ихъ, вѣскія знанія, ненадежны, сомнительны, двурѣчивы, то еще менѣе прочны тѣ наши свѣденія, которыя мы пріобрѣли чисто субъективными наблюденіями.

1—3 марта (1880 г.).

Все время холодный NW; морозъ въ 4 — 5°. Сегодня (3 марта) теплѣе и тише (—1°).

Сегодня случайно услыхалъ объ одной человѣческой низости, свойственной исключительно халуйству. Максимъ, съ дѣтства почти оставленный отцомъ-солдатомъ въ дворовыхъ, обязанный намъ своимъ, относительно порядочнымъ, состояніемъ (тысячи въ двѣ), купившій на деньги, пріобрѣтенныя у насъ, домъ и землю, оказался такимъ злымъ и коварнымъ, что, лаская въ моемъ присутствіи моего кота Мошку и зная, что я его люблю, бьетъ его на-пропалую за глазами только за то, что ему, коту, а не ему, Максиму, достаются кости отъ жаркого за обѣдомъ

Притворство съ жестокостью и зависть къ животному, — вотъ до чего низводитъ человѣка халуйство, и безъ всякаго глубокаго мотива! Притворство безъ нужды! Я не терплю ласкательствъ—это онъ, Максимъ, знаетъ: жестокость страсти — холодная, насмѣшливая и безцѣльная. Зависть безъ причины; онъ сытъ и отъ своего, и отъ нашего стола; да и къ кому же зависть—къ кошкѣ! Низко до тошноты и тѣмъ тошнѣе, что въ такихъ проявленіяхъ видишь униженіе общаго всѣмъ намъ человѣческаго достоинства, о которомъ такъ много говорится и для поддержанія котораго такъ мало дѣлается.

Не въ правѣ ли же я былъ заключать изъ сказаннаго, что въ отношеніи нашей субъективной индивидуальности мы, дѣйствительно, стоимъ въ заколдованномъ кругу. Съ одной стороны, объективные критеріи для ея разслѣдованія (голосъ, слово, движеніе) ненадежны, неясны и двусмысленны; а съ другой стороны, субъективные ненормальны до того, что, употребляя наше сознаніе и мысль для изслѣдованія сознанія же и мысли, мы рискуемъ потерять и то, и другое. Въ самомъ дѣлѣ, кто поручится за ясность и нормальность мышленія у наблюдателя, направляющаго безпрерывно все вниманіе и мышленіе на то, напримѣръ, чтобы прослѣдить начало и прохожденіе мысли въ сознаніи; кто поручится, что подмѣченное совершилось въ наблюдаемомъ, а не въ наблюдающемъ? А кто поручится также за правильное пониманіе нами субъективныхъ

явленій, обнаруживающихся такими объективными признаками, какъ звуки, издаваемые животнымъ при ощущеніи боли, движенія, называемыя рефлексами, и объясненія разнаго рода ощущеній словами?

Если и при такомъ наблюденіи самого себя въ нормальномъ состояніи трудно и иногда невозможно отличить безсознательное ощущеніе отъ сознательнаго, то при объективныхъ изслѣдованіяхъ (какъ, напримѣръ, при вивисекціяхъ и опытахъ надъ анестэзированными хлороформомъ) еще гораздо труднѣе различить сознательное отъ безсознательнаго. При вивисекціяхъ и при наблюденіяхъ надъ человѣкомъ больнымъ или приведеннымъ различными агенціями въ ненормальное состояніе, субъективный элементъ жизни подвергается отъ разстройства его нормальной связи съ органическими элементами такимъ колебаніямъ и сотрясеніямъ, которыя не могутъ не вліять ненормально и на его объективныя проявленія. Поэтому сужденія о натурѣ и особенностяхъ субъективно-индивидуальнаго бытія, основанныя на опытахъ и наблюденіяхъ надъ животными и больными людьми, должно дѣлать крайне осмотрительно и не съ тою легкостью, которая такъ удивляетъ меня въ результатахъ, получаемыхъ современными вивисекторами и наблюдателями. Еще гораздо труднѣе, ненормальнѣе и сомнительнѣе дѣло, когда мы беремся судить о нашемъ *я*, другими словами — о нашемъ лично сознательномъ ощущеніи бытія, мысли и вообще о присутствіи въ насъ субъективнаго начала со всѣми его (психическими) свойствами. Въ этомъ случаѣ,—если правильно мое сравненіе нашего *я* съ музыкантомъ, играющимъ одновременно на нѣсколькихъ инструментахъ, — оно, наше *я*, начинаетъ играть, не бывъ виртуозомъ, на одномъ изъ нихъ исключительно и дѣлаетъ, конечно, fiasco. Наше субъективное существо, по натурѣ своей, не можетъ и не должно быть одностороннимъ и чрезмѣрно сосредоточеннымъ; ни одна изъ нашихъ субъективныхъ способностей не должна быть излишне культивирована на счетъ другой, и особливо въ томъ случаѣ, когда отъ природы развита у насъ одна способность на счетъ другой; тутъ-то именно всего болѣе должно избѣгать односторонней культуры. Въ противномъ случаѣ, намъ предстоитъ одно изъ двухъ: или мы изумимъ свѣтъ нашимъ глубокомысліемъ и

геніальностью, или превратимся въ односторонних, узкихъ и близорукихъ мономановъ. Первое встрѣчается весьма рѣдко; второе—весьма часто и гораздо чаще, чѣмъ это признаютъ психіатры. Есть, впрочемъ, еще одинъ исходъ — спеціализмъ, въ наше время завоевывающій себѣ все болѣе и болѣе почвы во всѣхъ областяхъ знанія. Но тѣ изъ спеціалистовъ, которые отличились своими истинными заслугами, вовсе не были односторонними культиваторами одной какой-либо изъ своихъ умственныхъ способностей, прежде чѣмъ избрали свою спеціальность. Только этому разностороннему предварительному развитію своихъ способностей они и обязаны успѣхомъ въ культурѣ избраннаго ими предмета; только этимъ способомъ они, расширивъ свой кругозоръ, съумѣли найти новые пути и посмотрѣть на дѣло новымъ взглядомъ.

4-го марта (1880 г.).

Морозъ 7^0 ночью, днемъ 1^0. Марецъ WN.

Сегодня отправилъ письмо къ Николаю Христіановичу Б.... въ отвѣтъ на его письмо, въ которомъ онъ писалъ, что идетъ въ отставку, такъ какъ по новому университетскому уставу, ожидаемому вскорѣ, ректорамъ нечего будетъ дѣлать, кромѣ полученія прибавки жалованья.

Мой отвѣтъ,—не буквальный. Я читалъ гдѣ-то и когда-то, что новое на свѣтѣ есть не что иное, какъ хорошо забытое старое. Я читалъ также въ какомъ-то кіевскомъ календарѣ, что у насъ ежегодно бываютъ возвраты зимы весною и лѣтомъ, а возвраты болѣзней мнѣ извѣстны давно по опыту. Нѣтъ ничего мудренаго, что и въ университетской жизни встрѣчаются возвраты къ старому, забытому и прожитому. Но нынче, видно, считается за новое и вовсе еще незабытое старое, а возвраты зимъ и болѣзней встрѣчаются не только въ природѣ, но и въ университетскомъ мірѣ. Старики, какъ извѣстно, всегда хвалятъ старину и предпочитаютъ ее новизнѣ. Только всѣ наши университетскіе старожилы, за исключеніемъ гг. Каткова, Любимова и Георгіевскаго, вѣрно, не вспоминаютъ добромъ незабытаго еще стараго. Это обстоятельство, казалось бы, должно было обратить на себя вниманіе новаторовъ, стремящихся возобновить старое. Почему это не сдѣлано — объ-

ясняется именно тѣмъ вліяніемъ этихъ исключительныхъ личностей, успѣвшихъ побѣдить въ себѣ предразсудокъ противъ отжившаго. Это не должно удивлять насъ...

Возвраты зимы весною и лѣтомъ наносятъ вредъ земледѣльцамъ; возвраты болѣзней опасны для больныхъ; съ стихійными, однако-же, силами ничего не подѣлаешь; зато умъ, данный намъ Богомъ для цѣлесообразныхъ дѣйствій, казалось бы, долженъ былъ не на шутку и не разъ призадуматься, придавая возврату худого и худо-забытаго стараго значеніе благодѣтельной новизны. Въ такомъ случаѣ вамъ, конечно, ничего не остается, какъ уступить свое мѣсто (ректорство) другимъ и предоставить имъ вливать это новое вино въ такого же рода новые мѣхи.

5—6 марта (1880 г.).

Мятель и мятель. Вчера (5-го) до $+2^0$ R., а сегодня ночью (на 6-е) морозъ въ 20^0; ясно, солнечно, тихо.

Вчера (5-го) фельдшеръ Уримъ дѣлалъ при мнѣ судебное вскрытіе—кота Мошки. Мой любимецъ прекратилъ въ мукахъ свое кратковременное существованіе. Подозрѣніе въ побояхъ, какъ причинѣ смерти, падало, по словамъ дѣвочки Терезы, на коварнаго Максима. Онъ вошелъ въ амбицію и уже, по своей ограниченности, сейчасъ же заговорилъ объ отставкѣ, безъ сомнѣнія, для него вовсе не желательной. Надо было убѣдиться, нѣтъ ли вещественныхъ признаковъ травматизма на трупѣ. Вскрытіе не обнаружило ни малѣйшихъ слѣдовъ не только травматизма, но и вообще какого ни на есть органическаго измѣненія, за исключеніемъ небольшихъ розовыхъ пятенъ на слизистой (оболочкѣ) желудка. Къ микроскопу, впрочемъ, для болѣе точныхъ доказательствъ, мы не прибѣгали.

Итакъ, мой Мошка, какъ подобаетъ каждому вѣрноподданному, „божьею волею помре“, сирѣчь, неизвѣстно почему, для чего и отъ чего.

Бѣдное мое животное, ты въ нашемъ домашнемъ уединеніи доставляло намъ нерѣдко удовольствіе то своими прыжками и кувырканіемъ, то степеннымъ своимъ и задумчивымъ видомъ, сидя возлѣ насъ на столѣ, то разлегшись во всю длину и по-

грузясь въ самый спокойный сонъ праведныхъ. А какъ была хороша твоя поза, когда ты, съ сосредоточеннымъ вниманіемъ, сидѣлъ на порогѣ двери у подпольной щелки и караулилъ мышонка! Какъ нѣжна, шелковиста, тепла и пріятна на ощупь гладившей руки была твоя тигристая шкурка! Дай же запишу отъ скуки на память, за доставленныя намъ твоимъ существованіемъ забаву и разсѣяніе, исторію твоей жизни, болѣзни и смерти, мой бѣдный Мошка!

Однажды на садовомъ балконѣ къ нашему завтраку явилась невзрачная, малорослая и худощавая сѣрая съ черными полосками кошка и, къ моему удивленію, тотчасъ же начала брать пищу изъ рукъ; вскорѣ осмѣлилась она и вскочить на мои колѣни. Визиты ея продолжались ежедневно въ обѣденное время, и затѣмъ она исчезала, по всѣмъ вѣроятіямъ, на близь лежащемъ току. Чрезъ нѣсколько времени она начала являться уже въ сопровожденіи цѣлыхъ шести котятъ, всѣхъ почти одной масти. Сначала она оставляла ихъ въ отдаленіи отъ балкона, а потомъ, мало-по-малу, всѣ шестеро, не безъ страха и трепета, однако-же, начали вскакивать и на балконъ; брали куски мяса, положенные вдали отъ стола, потомъ стали съ каждымъ днемъ подходить ближе и смѣлѣе; но только одному или, вѣрнѣе, одной изъ шести достало, наконецъ, смѣлости приблизиться къ намъ настолько, чтобы брать пищу прямо изъ рукъ; а еще одинъ изъ котятъ, хотя и приближался также, какъ эта, но никогда не рѣшался брать кусокъ ртомъ, а вырывалъ его изъ рукъ съ артистическою ловкостью своею маленькою лапою; всѣ остальные не могли преодолѣть своей боязни, а можетъ быть и своего отвращенія къ нашему человѣческому достоинству; вѣроятно, въ наказаніе за это судьба лишила ихъ чести быть намъ сподручными, развлекать насъ и беречь нашу провизію отъ мышей. Поэтому дальнѣйшая судьба этихъ пятерыхъ существъ мнѣ осталась неизвѣстною,—одного изъ нихъ, кажется, нашли загрызеннымъ собаками.

И вотъ, въ теченіе какихъ-нибудь 5 — 6 мѣсяцевъ, статистика смертности кошекъ обогатилась новыми пятью смертями; изъ этого, правда, весьма недостаточнаго, статистическаго

матеріала я заключаю, что цифра смертности малолѣтнихъ кошекъ развѣ немногимъ чѣмъ ниже смертности крестьянскихъ дѣтей, даже и въ тѣ періоды времени, когда они свободны отъ дифтерита. Какъ бы то ни было, но достовѣрно то, что къ концу зимы 1878 и къ началу 1879 г. осталось въ живыхъ изъ 7 кошачьихъ личностей (одной матери и шести дѣтенышей) только одна, именно та ласковая, заблаговременно преодолѣвшая свое отвращеніе къ осязанію нашей руки, а затѣмъ и научившаяся съ похвальною ловкостью прыгать на колѣни, пріятно мурлыкать, выгибать спину и довольно непринужденно ласкаться.

Слѣдствіемъ этой заслуживающей уваженія дѣятельности было торжественное наименованіе ея Машкою, такъ какъ эта личность оказалась женскаго рода; а вмѣстѣ съ этимъ наименованіемъ и матеріальная поддержка ласковаго ея организма питательною пищею, теплымъ помѣщеніемъ въ сутэренѣ и нѣкоторыя другія льготы и дусёры. Эта-то особа и была родительницею моего любимца.

Исторія его рожденія не безъинтерсна въ слѣдующихъ двухъ отношеніяхъ: во-первыхъ, родительница его, несмотря на данныя ей нами великодушно всѣ права и преимущества домашняго животнаго, не вполнѣ, какъ видно, покинула обычаи своей покойной матери (бабушки моего любимца, также называвшейся Машкою, хотя и не вполнѣ сочувствовавшей этому названію), и потому, почувствовавъ себя на-сносяхъ, въ концѣ февраля 1879 г., начала удаляться отъ дома, искать уединенія, не соотвѣтствовавшаго ея общительной натурѣ, и затѣмъ произвела на свѣтъ, гдѣ-то подъ клунею въ саду, нѣсколько существъ, число которыхъ я статистически опредѣлить не въ состояніи, такъ какъ, за исключеніемъ одного, они всѣ сдѣлались, въ самомъ нѣжномъ возрастѣ, жертвою сильнаго ливня и бури, свирѣпствовавшей у насъ въ маѣ 1879 г.; одного же, оставшагося едва въ живыхъ, злополучная мать перенесла въ зубахъ изъ сада въ нашъ сутэренъ.

Малютка этотъ возбуждалъ общее сочувствіе драматизмомъ своей судьбы; когда же я услышалъ, что легкомысленная мать перестала его кормить вскорѣ послѣ его переселенія въ сутэренъ, то сочувствіе мое перешло въ глубокое состраданіе къ

участи несчастнаго, и я задумалъ сдѣлать его наслѣдникомъ злополучнаго Васьки, нашего прежняго любимца, преждевременно погибшаго, два года тому назадъ, въ бурную ночь, зимою, отъ зубовъ ненавистныхъ ему собакъ.

Когда крошечное животное, предоставленное вѣтренною матерью, обрѣтавшеюся съ новымъ избранникомъ любви гдѣ-то въ бѣгахъ, было принесено ко мнѣ, то оно, нисколько не стѣсняясь и не пугаясь, какъ это дѣлали его покойные дяди и тетки, тотчасъ же залѣзло ко мнѣ въ широкій рукавъ пальто и пробралось почти до самаго плеча; затѣмъ, несмотря на свой ранній возрастъ, начало съ аппетитомъ и безъ разбора кушать все, что ему предлагалось, съ видимымъ наслажденіемъ грѣться на солнцѣ, заигрывать лапочками, словомъ — вести себя такъ наивно и непринужденно, какъ будто бы оно уже давно было домашнимъ членомъ нашего общества. Видя это и считая мать его безъ вѣсти пропавшею, мы порѣшили сдѣлать малютку законною ея наслѣдницею и передать ей то же самое высокое женское имя, такъ компрометтированное и незаслуженно носившееся ея заблудшеюся матерью. Такимъ образомъ и росло это милое животное подъ именемъ Машки, сдѣлавшись вскорѣ нашею общею любимицею; оно было необычайно живого и подвижного характера; съ ранняго утра цѣлые часы проводило въ бѣганьи, прыганьи и кувырканьи съ пробкою, бумажкою, веревочкою, кисточкою,—со всѣмъ, что только ей попадалось въ лапки; аппетитъ имѣла превосходный и, несмотря на преждевременную отвычку отъ материнскаго молока, вырастала на мясной пищѣ не по днямъ, а по часамъ. Лѣтомъ, поутру ежедневно я забавлялся съ моей Машкою, сидя на балконѣ; у меня въ рукѣ лежалъ конецъ шнурка, привязаннаго къ комку бумаги и продѣтаго чрезъ ручку дверного ключа; бумага отъ дерганія шнурка поднималась и опускалась, а Машка скакала, прыгала, ловила бумажный комокъ, и когда удавалось ей поймать, то съ какимъ-то неистовствомъ и остервенѣніемъ теребила его зубами и лапами, катаясь по полу и царапаясь изо всѣхъ силъ объ захваченную бумагу задними лапами.

Надо признаться, что Машка не получила никакого воспитанія и росла у насъ какъ дитя природы. Не знаю, былъ ли

для насъ всѣхъ полъ этой милой крошки совершенно безразличенъ, или же всѣ мы были не довольно любознательны, но то—фактъ, что только чрезъ два мѣсяца мы, къ нашему удивленію и—не скрою—даже радости, узнали отъ нашего женскаго персонала, почему-то интересовавшагося этимъ предметомъ, истину относительно настоящаго пола нашего любимца. Онъ оказался не кошкою, а котомъ. Что было дѣлать? Не оставлять же коту женское прозвище? А между тѣмъ онъ уже привыкъ къ нему и тотчасъ же являлся на зовъ, когда кликали: Машка, Машка. Вотъ я и придумалъ—прости, Господи, мое согрѣшеніе—перемѣнить имя Машка на созвучное ему—Мошку, тѣмъ болѣе, что нашъ подраставшій котикъ своею юркостью и смѣтливостью имѣлъ нѣкоторое, хотя и отдаленное, сходство со знакомыми мнѣ жидками, носящими отъ рожденія это же самое великое имя пророка Мойше, бесѣдовавшаго съ Іеговою, но, къ стыду нашему, искаженное и превращенное старинными польскими помѣщиками въ презрительную кличку—Мошка.

Итакъ, судьба моего Мошки, дѣйствительно, драматична, если возьмемъ въ соображеніе, что онъ, чудесно спасенный отъ пагубнаго ливня, въ самомъ раннемъ младенчествѣ былъ перенесенъ въ среду людей, былъ оставленъ жестокою матерью на произволъ судьбы и, наконецъ, бывъ отъ роду котомъ, ошибочно признавался долгое время за кошку и носилъ незаслуженно женское имя. Навѣрное на роду ему было написано не наслаждаться цѣльною и нормальною кошачьею жизнью.

Едва мой Мошка былъ всѣми признанъ безспорно за кота и началъ этимъ возбуждать къ себѣ еще болѣе мое сочувствіе, какъ, откуда ни возьмись, явилась внезапно его заблудшая мать въ сопровожденіи своего временнаго супруга, бывшаго прежде ея роднымъ братомъ, и начала сближаться съ брошеннымъ ею предательски сыномъ. Мошка съ перваго же появленія своей матери началъ какъ-то странно на нее посматривать, не дичился, однако-же, и не ссорился, а чрезъ нѣсколько времени, къ нашему удивленію, принялся сосать ее съ такою ревностью, какъ будто бы онъ никогда не переставалъ кормиться материнскимъ молокомъ. Между тѣмъ аппетитъ его и къ мясной прежней пищѣ нисколько не ослабѣвалъ; такимъ образомъ онъ питался за двухъ, быстро росъ, толстѣлъ, игралъ

тепе́рь уже не одинъ, а вдвоемъ съ Машкою, дѣлая изумительныя и самыя забавныя тѣлодвиженія, выгибая горбомъ спину до-нельзя, обхватывая крѣпко во время игры передними лапами шею матери, а задними отталкивая ее отъ себя съ неистовою яростью. Несмотря однако-же на казавшееся цвѣтущимъ здоровье и силу, несмотря и на веселое расположеніе духа, у моего несчастнаго Мошки незамѣтно развилась какая-то странная болѣзнь, наблюдавшаяся мною и у щенятъ. Это спазмодическое удушье, появлявшееся періодически, внезапно, безъ всякой видимой причины, во время спокойствія и сна. Животное, послѣ веселой игры, спокойно спавшее на колѣняхъ или на кровати, вдругъ принималось съ хрипомъ втягивать въ себя воздухъ, поднимая голову кверху и неподвижно устремивъ взоръ. Пароксизмъ этой астмы продолжался нѣсколько секундъ, но былъ нерѣдко такъ жестокъ, что грозилъ внезапнымъ задушеніемъ. По окончаніи, животное опять укладывалось спокойно, какъ будто ни въ чемъ не бывало. Наружныхъ признаковъ никакихъ не замѣчалось; иногда, однакоже, подчелюстныя железы казались намъ нѣсколько припухшими. Въ промежуткѣ пароксизмовъ ничто не указывало на разстроенное здоровье.

Наступилъ и февраль 1880 года. Какъ извѣстно, это мѣсяцъ любви для кошекъ, и мой Мошка, по необыкновенному стеченію обстоятельствъ, еще такъ недавно сосавшій грудь Машки, началъ оказывать ей нѣкоторые знаки привязанности, вовсе не дѣтской. Онъ заигрывалъ съ нею вовсе не по прежнему, и вскорѣ началъ въ отсутствіи ея грустить, меланхолически мяукать и проситься внизъ въ сутэренные подвалы, обитаемые Машкой и другими кошками. Иногда исчезалъ мой Мошка уже и по цѣлымъ днямъ, являлся къ намъ на верхъ усталый и голодный и, съ жадностью поѣвъ, ложился спать, проводя время во снѣ до самаго вечера, т.-е. до времени самаго удобнаго какъ для людскихъ, такъ и для кошачьихъ rendez-vous. Но подвальныя кошки, по свидѣтельству нашей почтенной Лорхенъ (домоправительницы), ежедневно посѣщавшей сутэрены, почему-то не любили его; наружность его, немало представительная и чрезвычайно красивая на нашъ взглядъ, казалось бы, не могла не нравиться и прекрасному полу ко-

шачьяго племени; съ большей вѣроятностію можно предположить, что спазмодическая астма была причиною его неудачъ въ любовныхъ поискахъ; не трудно, въ самомъ дѣлѣ, себѣ представить ужасъ и негодованіе вѣтренныхъ кокотокъ кошачьей расы, когда кокодесъ, ухаживающій за ними, внезапно и въ самомъ разгарѣ волокитства, терялъ духъ, вытягивалъ шею, странно хрипѣлъ и еле-еле жилъ: какъ ни коротки были эти пароксизмы удушья, но они не могли не дать повода къ бѣгству устрашенныхъ вѣтренницъ, не отличающихся особеннымъ присутствіемъ духа. Несмотря на всѣ описанныя перемѣны въ образѣ жизни и въ нравственномъ бытѣ моего Мошки, я, основываясь на опытѣ, зная, какъ молодость, въ особенности кошачья, легко увлекается, какъ первое появленіе половыхъ отправленій переворачиваетъ все въ организмѣ верхъ дномъ, не очень заботился о послѣдствіяхъ. Весна, располагающая всѣхъ къ любви, а кошачью шкуру еще и къ линянію, по справедливости можетъ считаться самымъ критическимъ и вѣроломнымъ временемъ года, и я съ нетерпѣніемъ ожидалъ ея окончанія. Но въ книгѣ судебъ вѣрно значилось, что Мошка не переживетъ и первой половины весны. Онъ опасно захворалъ, но не прежнею своею болѣзнью—спазмодическимъ удушіемъ, а повидимому новою—рвотою,—и чрезъ двое сутокъ его не стало на свѣтѣ.

И вотъ, во время его опасной болѣзни, распространились между моими домашними зловѣщіе слухи о нанесенныхъ будтобы ему побояхъ на заднемъ крыльцѣ Максимомъ, яко-бы завидовавшимъ, что не ему, Максиму, достаются отъ обѣда кости жаренаго рябчика и нѣкоторые другіе объѣденные деликатесы. Мы повѣрили этимъ слухамъ, зная по многимъ наблюденіямъ вѣроломство Максима и его жестокое обращеніе съ животными въ наше отсутствіе. Поэтому вскрытіе трупа Мошки было для меня интересно не только въ научномъ, но и въ нравственно-судебномъ отношеніяхъ. Несмотря, однако-же, на все желаніе открыть истинную причину быстротечной болѣзни и смерти моего любимца, наука не обогатилась послѣ его вскрытія никакимъ новымъ пріобрѣтеніемъ; только одинъ Максимъ пріобрѣлъ снова довѣріе и нравственно выигралъ; сильные побои, стучаніе Мошкиною головою о-земь, какъ утверждала до-

носчица, оказались во всякомъ случаѣ клеветою; ни малѣйшихъ признаковъ травматическаго поврежденія, и—увы! также точно и ни малѣйшихъ микроскопическихъ признаковъ болѣзненнаго состоянія. Остается все сложить на нервную систему и обвинить верхній гортанный нервъ и весь блуждающій нервъ Мошки въ причиненіи ему насилія, гораздо болѣе пагубнаго, чѣмъ травматизмъ, переносимый кошками, какъ извѣстно, весьма хорошо. А почему же именно эти нервы? Потому что, по наблюденію нѣкоторыхъ современныхъ физіологовъ, раздраженія верхняго гортаннаго нерва могутъ останавливать или задерживать дыхательный актъ, а главный стволъ этой гортанной вѣтви — блуждающій нервъ — вліяетъ и на отправленіе желудка.

Итакъ мой милый Мошка погибъ — вѣроятно вслѣдствіе ненормальнаго питанія мясною вареною пищею вмѣстѣ съ материнскимъ молокомъ, — отъ разстройства нервной системы, усиленнаго еще abusu in venere и нравственнымъ униженіемъ, причиненнымъ его кошачьему достоинству легкомысленными насмѣшками прекраснаго пола.

Но какая бы ни была причина смерти этого невиннаго существа, и родившагося, и умершаго, повидимому,—но только повидимому,—безцѣльно и безпричинно, потеря была для меня съ женою не безразлична. Жена плакала; мнѣ же только взгрустнулось, и даже менѣе, чѣмъ когда я — три года тому назадъ—лишился моей собачонки Ляды; про нее, про ея выразительные, какъ-то человѣчески глядѣвшіе на меня глазки (съ незакрытыми бѣлками); я и теперь еще вспоминаю со вздохомъ,—и признаться ли самому себѣ—съ грустью, болѣе щемящею, чѣмъ когда вспоминаю о нѣкоторыхъ знакомыхъ, близкихъ мнѣ, умершихъ людяхъ. Это святотатство, это уродство чувствъ, это постыдное чувство для человѣческаго достоинства!—Пусть такъ; но что же дѣлать, если въ привязанности Лядки ко мнѣ я не находилъ ни малѣйшаго лицемѣрства, ни вѣроломства, а и то, и другое встрѣчалъ въ отношеніяхъ ко мнѣ самыхъ близкихъ людей.

Надо обдумать нѣсколько—отчего мы такъ привязываемся къ животнымъ?

Но прежде, чѣмъ найду время къ этому обдумыванію, замѣчу, что между 6-мъ и 13-мъ марта (1880 г.) произошло нѣсколько неожиданныхъ событій.

Во-первыхъ, неожиданно то, что температура и погода idem per idem до ужаса однообразна: Морозы по ночамъ до 10^0; въ теченіе дня до —7 и —5^0; раза два шелъ снѣгъ съ мятелью; вѣтеръ тотъ же холодный, пронзительный NW; но солнце грѣетъ днемъ такъ, что мѣховой воротникъ нагрѣвается какъ будто на печи. Такой дружной, суровой и продолжительной зимы здѣсь я еще не встрѣчалъ. Однажды, въ 1868 г., лежалъ снѣгъ также долго (до 20-го марта), но не было такого холода и вѣтра. Вода отъ морозовъ въ прудѣ сбыла; и на мельницѣ въ Людвиговкѣ дѣйствуетъ одно колесо. Снѣгъ между тѣмъ понемногу и нечувствительно продолжаетъ исчезать, несмотря на снѣжныя мятели. Что́-то будетъ съ всходами озими, съ деревьями въ саду? Да кто знаетъ—чего не знаетъ! Живи, не зная, терпи и все таки по-неволѣ думай и гадай о будущемъ!

Во-вторыхъ, 9-го марта я получилъ 16 поздравительныхъ телеграммъ. Съ чего-то взяли въ Москвѣ (исключительно), Казани, Кіевѣ, Воронежѣ и Вюрцбургѣ, что 9-го марта—день моего 50-лѣтняго юбилея. Я, благодаря нижайше, замѣтилъ въ отвѣтной телеграммѣ въ Москву, что вѣроятно поводомъ къ этимъ неожиданнымъ привѣтствіямъ послужило то, что я въ 1828 г. получилъ въ Москвѣ степень лекаря (но въ такомъ случаѣ желающіе должны бы были поздравлять два года тому назадъ). Служба же моя считается съ 1831 года, а докторскій дипломъ мнѣ данъ въ Дерптѣ 30-го ноября 1832 г.

Вчера и сегодня, марта 20-го—21-го, NW прекратился. Небольшой, но прохладный вѣтеръ съ SW; днемъ +2 до 3^0 R., а ночью отъ 0 до —3^0.

Да, откуда же привязанность и даже чуть ли не любовь къ животнымъ? Къ какимъ животнымъ привязывается человѣкъ исключительно? Къ собакѣ, кошкѣ, лошади и пѣвчимъ птицамъ. Изъ нихъ—къ лошади привязанность не чистосердечная, а связанная съ пользою, приносимою этимъ животнымъ, и его

значительною цѣнностью; говорятъ, что арабъ любитъ коня какъ друга, но и эта дружба, вѣрно, не безкорыстная: конь необходимъ для существованія кочевника и дѣлается его alter ego. Пожалуй, про нѣкоторыя собачьи расы (сибирскія, лягавыя, овчарки, гончія) можно сказать то же: ихъ держатъ и къ нимъ привязываются люди изъ разсчета, да и привязанность къ кошкѣ началась, вѣроятно, съ того же: какъ было не воспользоваться ихъ спеціальностью—искусствомъ ловить мышей? Но вѣдь люди и женятся бо́льшею частью по разсчету,—напримѣръ, изъ двадцати милліоновъ нашихъ крестьянъ вѣрно 19.999,000 женятся для того, чтобы имѣть въ домѣ бабу для печи, хлѣва, ребятъ; этотъ способъ женитьбы не препятствуетъ, однако-же, а прямо способствуетъ, въ большинствѣ случаевъ, развитію привязанности и даже любви. И такъ же, какъ между людьми существуетъ и привязанность чистосердечная, такъ и въ привязанности къ животнымъ, — всего чаще къ собакамъ, кошкамъ и пѣвчимъ птицамъ, особливо воспитаннымъ и вскормленнымъ съ самаго рожденія дома,—замѣчается искренняя сердечность, похожая на ту, которую человѣкъ оказываетъ дѣтямъ. Безъ сомнѣнія, она зависитъ, какъ и привязанность къ дѣтямъ, отчасти отъ чувства своего собственнаго превосходства, снисходительности и жалости къ существамъ слабѣйшимъ и менѣе развитымъ; но, конечно, это не одно.

Въ чувствѣ нашей привязанности къ животнымъ, я полагаю, играетъ важную роль представленіе, которое мы имѣемъ о животномъ. Въ этомъ представленіи есть нѣчто странное. Я гдѣ-то читалъ, что Гегель признавалъ въ безмолвіи животныхъ нѣчто мистическое. Я вполнѣ раздѣляю этотъ взглядъ философа. Всякій изъ насъ не можетъ не видѣть въ животномъ сходства съ собою, и вмѣстѣ съ тѣмъ не можетъ ясно понять причину огромнаго различія, лежащаго пропастью между нами и животными. Организаціи животныхъ, также какъ и нашей, предписано высшимъ начальствомъ чувствовать, а слѣдовательно наслаждаться и страдать; суждено также и бороться съ стихійными силами, а по ученію Дарвина—даже и совершенствоваться; измѣняясь и переходя изъ низшихъ формъ и типовъ въ высшіе. И, несмотря на это, тождество основныхъ и самыхъ существенныхъ свойствъ животной и нашей организа-

ціи, — все-таки пропасть. Ни животное меня не понимаетъ, ни я—животнаго, то-есть его субъективную сторону не могу вполнѣ понять, и по-неволѣ сужу о ней только по себѣ (то-есть по своей субъективности). Гегель правъ: существо, дѣйствующее во многихъ отношеніяхъ совершенно сходно со мною, обнаруживающее ясно чувства, страсти и даже мысль, нѣмо; оно смотритъ на меня, ласкаетъ, зоветъ, ищетъ меня, проситъ у меня пищи, и все молча; невольно представляется—незнакомымъ съ функціею Рейлеваго островка и даже съ его присутствіемъ или отсутствіемъ въ мозгѣ животныхъ,—невольно, говорю, думается такимъ особамъ, что тутъ что-то неладно, что животное вѣрно скрытничаетъ, содержитъ отъ насъ въ тайнѣ свои мысли, короче — поступаетъ какъ нѣмой карликъ въ волшебныхъ сказкахъ...

Вотъ и Благовѣщеніе, 25-е марта (1880 г.), а весны нѣтъ, какъ нѣтъ; туманъ, вѣтеръ не очень сильный, но перескакивающій съ юга то на востокъ, то на западъ, а тепла не приноситъ. Ночью все 0^0 и -3^0. Днемъ отъ $+5$ до $+6^0$.

22-го декабря 1880.

Я убѣдился, что не могу вести дневника; вотъ прошло полгода и болѣе, какъ я ничего не могъ или не хотѣлъ вписывать въ мой дневникъ. Теперь начну писать не по днямъ, а когда попало; остается еще много, много невысказаннаго—и успѣю ли еще, доживу ли, чтобы это многое записать? Читать что̀ записано не стану, а на чемъ остановился при наступленіи весны—хорошо не помню. Кажется, на жизнеописаніи моихъ кошекъ и собакъ и разсужденіи о томъ, почему привязываемся къ животнымъ.

Вотъ и теперь я было рѣшился не заводить снова возлѣ себя ни кошки, ни собаки, а между тѣмъ какой-то жидокъ принесъ весною щенка, не то лягаваго, не то левретку, и мы, я и жена, снова привязались; это, вѣроятно, оттого, что нѣтъ въ домѣ маленькихъ внучатъ, и вмѣсто внучки — Мимишка, сучка, и спитъ, и ѣстъ, и гуляетъ съ нами,—и странно, что у меня пропала боязнь; я прежде страшно возставалъ противъ

этой привязанности къ маленькимъ собачонкамъ, зная изъ практики о многихъ случаяхъ водобоязни отъ укушенія именно маленькими собачками; теперь еще живо помню, какъ однажды, лѣтъ 30 тому назадъ, при посѣщеніи Обуховской больницы въ С.-Петербургѣ, д-ръ Мейеръ мнѣ показывалъ больного, одержимаго, по его мнѣнію, такъ называемою произвольною водобоязнью (hidrophobia spontanea); подошедъ къ этому больному, сидѣвшему спокойно на кровати, я какъ-то инстинктивно указалъ пальцемъ на едва замѣтный у него значокъ на лбу, и вдругъ вижу, что бѣднякъ страшно поблѣднѣлъ, скорчился, зарыдалъ и тутъ-же признался, что нѣсколько недѣль тому назадъ его оцарапала на лбу маленькая собачка, съ которою онъ игралъ. Вскорѣ припадки водобоязни усилились, и онъ умеръ.

Странно, говорю, что теперь у меня прошла эта боязнь маленькихъ собакъ. А основаніемъ привязанности къ домашнимъ животнымъ, я думаю, служитъ замѣченная Гегелемъ мистичность животнаго. Когда видишь передъ собою живое существо, дѣйствующее во многихъ отношеніяхъ подобно намъ, обнаруживающее не только чувства наслажденія или досады и боли, а между тѣмъ безсловесное какъ будто потому только, что скрываетъ свои чувства и мысль,—то невольно подозрѣваешь въ немъ присутствіе нашего (*я*), какъ будто мистифицированнаго; но особливо глаза: глаза домашнихъ и плотоядныхъ и травоядныхъ—мистичны; они говорятъ безъ словъ; у моей Лядки виднѣлись даже бѣлки между вѣкъ и придавали глазамъ какое-то человѣческое выраженіе, — это, я полагаю, рѣдкость,—и скрытые вѣками бѣлки обыкновенно считаются характернымъ признакомъ животныхъ глазъ, отличающимъ ихъ отъ человѣческихъ.

Я читалъ въ одномъ альманахѣ сравненіе—съ утилитарной, эстетической и нравственной сторонъ—между лошадью и собакою: и ту, и другую считаютъ лучшими, и можно, пожалуй, сказать—единственными друзьями человѣка; но авторъ статьи, нѣмецъ, отдавалъ преимущество лошади и укорялъ собаку въ низости и лакействѣ; она слишкомъ ласкова, ползаетъ, унижается предъ сильнымъ. Въ этомъ есть доля правды; когда маленькая собачка встрѣтится съ большою, злою, она тотчасъ

же пассуетъ, ложится на спину и складываетъ лапки, а передъ домашнею маленькою собачонкою, пользующеюся фаворомъ господъ, я видѣлъ не разъ, какъ увивались и ползали большія собаки, принадлежавшія тѣмъ же господамъ. Но все-таки лошадь можетъ быть развѣ въ аравійскихъ степяхъ такимъ вѣрнымъ другомъ своего господина, какъ собака; и ласки, и привязанность собачьи не у всѣхъ собакъ унизительны; глаза выражаютъ ясно, чего желаетъ собака: зоветъ ли гулять, чуетъ ли чужака,— все, все въ ней намекаетъ на что-то, какъ будто взятое у человѣка.

Лѣтъ 30 тому назадъ, я все, что говорю теперь, счелъ бы пустою фразеологіею; и я считалъ всякую жалость къ страданіямъ собаки при вивисекціяхъ, и еще болѣе привязанность къ животному, одною нелѣпою сантиментальностью. Но время все измѣняетъ, и я, нѣкогда безъ всякаго страданія къ мукамъ (хлорофома тогда еще не знали) дѣлавшій ежедневно десятки вивисекцій, теперь не рѣшился бы и съ хлороформомъ рѣзать собаку изъ научнаго любопытства; теперь мнѣ сдѣлалось очень вѣроятнымъ, чему я прежде не хотѣлъ вѣрить,—что Галлеръ въ старости хандрилъ и приписывалъ свою хандру множеству сдѣланныхъ имъ вивисекцій; если не ошибаюсь, это разсказываетъ Циммерманъ въ своей книгѣ „Ueber die Einsamkeit“.

Особливо тяжело мнѣ вспоминать о тѣхъ вивисекціяхъ и операціяхъ, въ которыхъ я, по незнанію, неопытности, легкомыслію, или Богъ знаетъ почему, заставлялъ животныхъ мучиться понапрасну. Да, самая ѣдкая хандра есть та, которая наводитъ воспоминанія о насиліяхъ, нанесенныхъ нѣкогда чужому или собственному чувству. Какъ бы равнодушно мы ни насиловали чувство другого, никогда не можемъ быть увѣрены, чтобы это насиліе не отразилось рано или поздно на нашемъ собственномъ чувствѣ. Когда моя Лядка околѣвала въ страданіяхъ, устремивъ на меня свои глазенки, стоная, и, несмотря на муки, выражала мнѣ привѣтъ легкими движеніями хвоста,— во мнѣ, съ жалостью къ любимой собачонкѣ, пробудились воспоминанія о мученьяхъ, причиненныхъ мною лѣтъ 30 и 40 тому назадъ цѣлымъ сотнямъ подобныхъ Лядкѣ животныхъ, и мнѣ стало невыносимо тяжело на душѣ.

Еще тяжелѣе бываетъ мнѣ, когда находитъ на меня воспоминаніе объ оперированномъ, также лѣтъ 40 тому назадъ, старикѣ; только однажды въ моей практикѣ я такъ грубо ошибся при изслѣдованіи больного, что, сдѣлавъ литотомію, не нашелъ камня. Это случилось именно у робкаго, богобоязненнаго старика; раздосадованный на свою оплошность, я былъ такъ неделикатенъ, что измученнаго больного нѣсколько разъ послалъ къ чорту.

— „Какъ это вы Бога не боитесь“,—произнесъ онъ томнымъ, умоляющимъ голосомъ,—„и призываете нечистаго, злого духа, когда только имя Господне могло бы облегчить мои страданія!“

Какой урокъ въ этихъ словахъ страдальца! — я ихъ какъ будто и теперь еще слышу.

Да, и мнѣ приходится, вспоминая прошедшее, нерѣдко относиться охая къ жизни и повторять слышанное однажды восклицаніе стараго капитана, страдавшаго непроходимою стриктурою и свищами мочевого канала; измученный тщетными позывами на мочу, трясясь и всхлипывая, онъ съ разстановкою выкрикивалъ:

— „Охъ, охъ, ты жизнь-матушка!“

3-го января 1881.

Но, наконецъ, пора уяснить себѣ и другія міровоззрѣнія. Прошло уже полгода съ тѣхъ поръ, какъ я выяснилъ себѣ только одну изъ нихъ. Это было прошлою зимою, а лѣтомъ я не могу писать. Лѣто старику приноситъ такое наслажденіе, что и не думаешь вникать въ себя; зеленыя поля, цвѣтущія розы, листва, все—въ свободное отъ практическихъ и мелочныхъ занятій время—тянетъ къ себѣ, наружу, и не пускаетъ сосредоточиваться въ себѣ. Ребенкомъ я слыхалъ, что мой дѣдушка Иванъ Михеичъ зимою тосковалъ и жаловался дѣтямъ: „отъ-дѣтки, вѣрно Михеичу ужъ зеленой травы не топтать“, но какъ только наступала весна, 100-лѣтній старикъ снова оживлялся и цѣлые дни топталъ зеленую траву.

Но я хочу не только уяснить себѣ со всѣхъ сторонъ мое міровоззрѣніе,—мнѣ хочется изъ архива моей памяти вытащить

всѣ документы для исторіи развитія моихъ убѣжденій: какъ они, послѣ разныхъ метаморфозъ, сложились и сдѣлались настоящими. Мнѣ кажется, что теперь, въ настоящее время, разныя стороны моего міровоззрѣнія сдѣлались гораздо отчетливѣе и яснѣе для меня, чѣмъ это было прежде. Можетъ быть это иллюзія, миражъ, но почему же прежде, какъ ни казался я себѣ убѣжденнымъ въ томъ или другомъ воззрѣніи, я все-таки не былъ увѣренъ, что останусь навсегда при немъ? теперь же, напротивъ, я вполнѣ увѣренъ, что воззрѣнія мои на жизнь и міръ останутся такими, какъ есть, до послѣдняго вздоха. Я думаю, что, переживъ разные фазисы моего міровоззрѣнія, я, наконецъ, убѣдился, что не доживу ни до какого новаго ихъ метаморфоза. И эта увѣренность чрезвычайно успокоительна; чувствуешь что-то прочное въ себѣ: измѣняйся, сколько хочешь, окружающее меня, я не измѣнюсь! А что́ если и это миражъ? то-есть, если и самая твердая увѣренность—иллюзія? Если окружающее сильнѣе ея?

Но можетъ ли быть, чтобы иллюзія, возбудившая такую твердую увѣренность, какъ мою, не была сильнѣе окружающаго? Это противорѣчило бы историческимъ фактамъ, доказывающимъ противное. Мало ли что́ мы считаемъ теперь въ исторіи цѣлыхъ поколѣній за галлюцинацію, фанатизмъ и т. п., а между тѣмъ подъ вліяніемъ этихъ иллюзій народы жили цѣлые вѣка, проливали за нихъ потоки крови и умирали съ ними. Такъ пусть будетъ и съ моею иллюзіею, если она для другихъ кажется такою, а для меня останется твердымъ и неизмѣннымъ убѣжденіемъ до конца жизни.

Начну ab ovo.

Мнѣ сказали, что я родился 13-го ноября 1810 г. Жаль, что самъ не помню. Не помню и того, когда началъ себя помнить; но помню, что долго еще вспоминалъ или грезилъ какую-то огромную звѣзду, чрезвычайно свѣтлую. Что́ это такое было? Дѣтская ли галлюцинація, слѣдствіе слышанныхъ въ ребячествѣ длинныхъ разсказовъ о кометѣ 1812-го года, или оставшееся въ мозгу впечатлѣніе дѣйствительно видѣнной мною

въ то время, двухлѣтнимъ ребенкомъ, кометы 1812-го года, во время нашего бѣгства изъ Москвы во Владиміръ, — не знаю.

Помню и еще какую-то странную грезу нити, сначала очень тонкой, потомъ все болѣе и болѣе толстѣвшей и очень свѣтлой; она представлялась не то во снѣ, не то въ просонкахъ и была чѣмъ-то тревожнымъ, заставлявшимъ бояться и плакать: что-то подобное я слыхалъ потомъ и о грезахъ другихъ дѣтей. Но воспоминанія моего 6-ти—8-ми-лѣтняго дѣтства уже гораздо живѣе.

Мой родительскій домъ, сгорѣвшій во время нашествія французовъ въ Москву, потомъ снова выстроенный, стоялъ въ приходѣ Троицы въ Сыромятникахъ. О времени моихъ воспоминаній, то-есть о возрастѣ, къ которому относятся первыя мои воспоминанія, я сужу изъ того, что живо помню еще и теперь бѣличье одѣяльце моей кровати, любимую мою кошку Машку, безъ которой я не могъ заснуть, бѣлыя розы, приносившіяся моей нянькою изъ сосѣдняго сада Ярцевой и при моемъ пробужденіи стоявшія уже въ стаканѣ воды возлѣ моей кровати; мнѣ было тогда навѣрное не болѣе 7-ми лѣтъ; по крайней мѣрѣ года 4 отдѣляютъ эти воспоминанія отъ другихъ, уже совершенно ясныхъ, относящихся къ моему десятилѣтнему возрасту.

О смерти Наполеона я помню уже весьма отчетливо тогдашніе разсказы.

Каррикатуры на французовъ, выходившія въ 1815—1817 годахъ, расходившіяся тогда по всѣмъ домамъ, я какъ теперь вижу.

Я знаю отъ моихъ родителей—я научился русской грамотѣ почти самоучкою, когда мнѣ было 6 лѣтъ, и я хорошо помню, что учился именно по каррикатурамъ, изданнымъ въ видѣ картъ въ алфавитномъ порядкѣ. Первая буква *А* представляла глухого мужика и бѣгущихъ отъ него въ крайнемъ безпорядкѣ французскихъ солдатъ съ подписью:

Ась, право глухъ, Мусье, что мучить старика,
Коль надобно чего, спросите казака.

Буква *Б*. Наполеонъ, скачущій въ саняхъ съ Даву и Понятовскимъ на запяткахъ, съ надписью:

*Б*ѣда, гони скорѣй съ грабителемъ московскимъ,
Чтобъ въ сѣти не попасть съ Даву и Понятовскимъ.

В. Французскіе солдаты раздираютъ на части пойманную ворону, и одинъ изъ нихъ, изнуренный голодомъ, держитъ лапку, а другой, валяясь на землѣ, лижетъ изъ пустого котла. Надпись:

*В*орона какъ вкусна, нельзя ли ножку дать,
А мнѣ изъ котлика хоть жижи полизать.

Можетъ быть, я живо помню эти карты и потому, что ихъ видѣлъ потомъ, когда мнѣ было болѣе 6-ти лѣтъ; но то, что помню почти исключительно три первыя *А*, *Б*, *В* — показываетъ, что на память мою онѣ подѣйствовали всего сильнѣе, когда я учился грамотѣ, то-есть когда мнѣ было 6 лѣтъ. Правда, я помню и еще одну изъ этихъ картъ съ буквою *Щ* и подписью:

*Щ*астье за Галломъ, уставъ брести пѣшкомъ,
Рѣшилось въ станъ русскій скакать съ казакомъ.

Но это потому, что долго, долго задумывался на ней, не умѣя себѣ объяснить, почему какой-то французъ въ мундирѣ, увозимый въ каретѣ казакомъ и при томъ желающій выпрыгнуть изъ кареты, именуется „щастьемъ“? Какое же это счастье для насъ? думалось мнѣ.

Это ученье грамотѣ по каррикатурнымъ картинкамъ врядъ ли одобрится педагогами. И въ самомъ дѣлѣ, эти первыя каррикатурныя впечатлѣнія развили во мнѣ склонность къ насмѣшкѣ и свойство подмѣчать въ людяхъ скорѣе смѣшную и худую сторону, чѣмъ хорошую. Зато эти каррикатуры надъ кичливымъ, грознымъ и побѣжденнымъ Наполеономъ, вмѣстѣ съ другими изображеніями его бѣгства и нашихъ побѣдъ, развили во мнѣ рано любовь къ славѣ моего отечества. Въ дѣтяхъ, какъ я вижу, это первый и самый удобный путь къ развитію настоящей любви къ отечеству.

Такъ было, по крайней мѣрѣ, у меня, и я отъ 17-ти до 30-ти лѣтъ, окруженный чуждою мнѣ народностью въ Дерптѣ, среди которой жилъ, учился и училъ, не потерялъ однако-же нисколько привязанности и любви къ отчизнѣ, а потерять въ ту пору было легко: жилось въ отчизнѣ не очень весело и не такъ привольно, какъ хотѣлось жить въ 20 лѣтъ. Не ро-

дись я въ эпоху русской славы и искренняго народнаго патріотизма, какою были годы моего дѣтства, едва-ли бы изъ меня не вышелъ космополитъ; я такъ думаю потому, что у меня очень рано развилась, вмѣстѣ съ глубокимъ сочувствіемъ къ родинѣ, какая-то непреодолимая брезгливость къ національному хвастовству, ухарству и шовинизму.

Начиная съ десяти лѣтъ моей жизни, я уже помню отчетливо. И дѣтство мое до 13-ти—14-ти лѣтъ оставило по себѣ самыя пріятныя воспоминанія.

Отецъ мой служилъ казначеемъ въ московскомъ провіантскомъ депо; я какъ теперь вижу его одѣтымъ, въ торжественные дни, въ мундиръ съ золотыми петлицами на воротникѣ и обшлагахъ, въ бѣлыхъ штанахъ, большихъ ботфортахъ съ длинными шпорами; онъ имѣлъ уже маіорскій чинъ, былъ, какъ я слыхалъ, отличный счетоводъ, ѣздилъ въ собственномъ экипажѣ и любилъ, какъ всѣ москвичи, гостепріимство. У отца было насъ четырнадцать человѣкъ дѣтей,—шутка сказать!—и изъ четырнадцати, во время моего дѣтства, оставалось на-лицо шесть: трое сыновей и столько же дочерей. „Малъ бѣхъ въ братіи моей и юнѣйшій въ домѣ отца моего“. И изъ насъ шестерыхъ умеръ еще одинъ, не достигнувъ пятнадцати-лѣтняго возраста,—мой старшій братъ Амосъ.

Кто хочетъ заняться исторіею развитія своего міровоззрѣнія, тотъ долженъ воспоминаніями изъ своего дѣтства разрѣшить нѣсколько весьма трудныхъ для разрѣшенія вопросовъ.

Во-первыхъ, какъ ему вообще жилось въ то время? Потомъ, какія преимущественно впечатлѣнія оставили глубокіе слѣды въ его памяти? Какія занятія и какія забавы нравились ему всего болѣе? Какимъ наказаніямъ онъ подвергался, часто ли, и какія наказанія всего сильнѣе на него дѣйствовали? Какіе разсказы, книги, поступки старшихъ и происшествія его интересовали и волновали? Что́ болѣе завлекало его вниманіе: окружающая его природа или общество людей?

Въ старости всѣ эти воспоминанія дѣлаются яснѣе; старикъ вспоминаетъ давно прошедшее: дѣлало ли на него такое впечатлѣніе, какимъ онъ его представляетъ себѣ теперь?

Роясь въ архивѣ своей памяти на старости лѣтъ, насъ поражаетъ, прежде всего, необъяснимое тождество и цѣльность нашего *я*. Мы ясно ощущаемъ, что мы уже не тѣ, чѣмъ мы были въ дѣтствѣ, и въ то же время мы не менѣе ясно ощущаемъ, что наше *я* осталось въ насъ или при насъ съ того самаго момента, какъ мы начали себя помнить, до сегодня, и знаемъ навѣрное, что оно же останется и до послѣдняго вздоха, если только не умремъ въ безпамятствѣ или въ домѣ умалишенныхъ.

Странно, удивительно странно это ощущеніе тождества нашего *я* въ разныхъ, едва похожихъ одинъ на другой, порътретахъ, съ разными противоположными чувствами, убѣжденіями и взглядами на себя, на жизнь, на все окружающее. Да вѣдь *я*—это одно личное мѣстоименіе, — откуда же ему взяться у ребенка, напримѣръ, не знающаго грамматики, или у безграмотнаго взрослаго? Смѣшно, не правда ли, нонсенсъ, абсурдъ? Самоощущеніе бытія,—и какъ такое, оно должно неминуемо въ насъ быть отъ колыбели до могилы, а какъ и чѣмъ оно о себѣ даетъ знать себѣ же самому и другимъ — личнымъ ли мѣстоименіемъ, или другимъ какимъ условнымъ знакомъ, это ни на іоту не перемѣняетъ сущности дѣла. Ребячье *я* даетъ о себѣ знать и другимъ въ третьемъ лицѣ личнаго мѣстоименія, поставляя себя, вѣроятно, внѣ себя, а глухо-нѣмой отъ рожденія, вѣроятно, имѣетъ для себя другой какой условный знакъ или ноту.

Дѣтство, какъ я сказалъ, оставило у меня, до тринадцатилѣтняго возраста, одни пріятныя впечатлѣнія. Уже, конечно, не можетъ быть, чтобы я до тринадцати лѣтъ ничего другого не чувствовалъ, кромѣ пріятностей жизни,—не плакалъ, не болѣлъ; но отчего же непріятное исчезло изъ памяти, а осталось одно только общее пріятное воспоминаніе? Положимъ, старикамъ всегда прошедшее кажется лучшимъ, чѣмъ настоящее. Но не всѣ же вспоминаютъ отрадно о своемъ дѣтствѣ, какъ бы жизнь въ этомъ возрастѣ ни была для нихъ плохою. Нѣтъ, вспоминая обстановку и другія условія, при которыхъ проходила жизнь въ моемъ дѣтствѣ, я полагаю, что дѣйстви-

тельно ея наслажденія затмили въ моей памяти всѣ другія мимолетныя непріятности.

Родители любили насъ горячо; отецъ былъ отличный семьянинъ; я страстно любилъ мою мать, и теперь еще помню, какъ я, любуясь ея темнокраснымъ, цвѣта массака, платьемъ, ея чепцомъ и двумя локонами, висѣвшими изъ-подъ чепца, считалъ ее красавицею, съ жаромъ цѣловалъ ея тонкія руки, вязавшія для меня чулки; сестры были гораздо старше меня и относились ко мнѣ также съ большою любовью; старшій братъ былъ на службѣ, средній, тремя — четырьмя годами старше меня, жилъ со мною дружно.

Средства къ жизни были болѣе, чѣмъ достаточны; отецъ, сверхъ порядочнаго по тому времени жалованья, занимался еще веденіемъ частныхъ дѣлъ, бывъ, какъ кажется, хорошимъ законовѣдомъ. Вновь выстроенный домъ нашъ у Троицы, въ Сыромятникахъ, былъ просторный и веселый, съ небольшимъ, но хорошенькимъ садомъ, цвѣтниками, дорожками. Отецъ, любитель живописи и сада, разукрашалъ стѣны комнатъ и даже печки фресками какого-то доморощеннаго живописца Арсенія Алексѣевича, а садъ — бесѣдочками и разными садовыми играми. Помню еще живо изображеніе лѣта и осени на печкахъ въ видѣ двухъ дамъ съ разными аттрибутами этихъ двухъ временъ года; помню изображенія разноцвѣтныхъ птицъ, летавшихъ по потолкамъ комнатъ, и турецкихъ палатокъ на стѣнахъ спальни сестеръ.

Помню и игры въ саду въ кегли, въ крючки и кольца, цвѣты съ капельками утренней росы на лепесткахъ... живо, живо, какъ будто вижу ихъ теперь.

Итакъ, жизнь моя ребенкомъ до тринадцати лѣтъ была весела и привольна, а потому и не могла не оставить одни пріятныя воспоминанія.

Ученье и школа до этого возраста также не были мнѣ въ тягость. Я уже сказалъ, какъ я легко и почти играючи научился читать; послѣ того чтеніе дѣтскихъ книгъ было для меня истиннымъ наслажденіемъ; я помню, съ какимъ восторгомъ я ждалъ подарка отъ отца книгою: „Зрѣлище вселенной“, „Золотое зеркало для дѣтей“, „Дѣтскій вертоградъ“,

„Дѣтскій магнитъ“, „Пальпаевы (sic) и Эзоповы басни“, и все съ картинками, читались и прочитывались по нѣскольку разъ, и все съ аппетитомъ, какъ лакомства.

Но всего болѣе занимало меня „Дѣтское чтеніе“ Карамзина въ 10 или 12 частяхъ; славная книга, — чего въ ней не было! и діалоги, и драмы, и сказки, — прелесть! потому прелесть, что это чтеніе меня, семи—восьми-лѣтняго ребенка, прельстило знакомствомъ съ Альфонсомъ и Далаидою или чудесами природы, съ почтенною г-жею Добролюбовою, съ старикомъ Яковомъ и его чернымъ пѣтухомъ, обнаружившимъ воришку и лгунишку Подшивалова; да такъ прельстило, что 60 слишкомъ лѣтъ эти фиктивныя личности не изгладились изъ памяти. Я не помню подробностей разсказовъ, но что-то общее чрезвычайно пріятное и занимательное осталось отъ нихъ до сихъ поръ въ моемъ воспоминаніи.

Нѣсколько лѣтъ позже я прочелъ „Донкихота“ въ сокращенномъ переводѣ съ французскаго; помню еще, что и отецъ читывалъ его намъ; читалъ потомъ и неизбѣжнаго „Робинзона“, и волшебныя сказки; но эффектъ чтенія всѣхъ этихъ книгъ не можетъ сравниться съ тѣмъ, которое произвело на меня „Дѣтское чтеніе“, и подарокъ его намъ отцомъ въ новый годъ я считаю самымъ лучшимъ въ моей жизни.

Такъ нѣкоторыя впечатлѣнія почему-то дѣлаются неизгладимыми и выдѣляются ярко на фонѣ памяти. Сколько разъ атомы моего мозга замѣнялись, чрезъ обмѣнъ веществъ, новыми, и всякій разъ передавали этимъ новымъ прежнія впечатлѣнія, то-есть прежнія свои сотрясенія.

Изъ рисунковъ читанныхъ книгъ остались у меня въ памяти, кромѣ каррикатурныхъ фигуръ, по которымъ я учился азбукѣ, всего болѣе изображенія животныхъ, растеній и разныхъ національныхъ типовъ изъ „Зрѣлища вселенной“, „Дѣтскаго музея“ и Палласова „Путешествія по Россіи“, бережно сохранявшагося у отца въ двухъ большихъ томахъ въ кожаномъ переплетѣ; изъ него всего отчетливѣе помню Лопаря, Самоѣда и нагую Чукотскую бабу. Очень рано попались мнѣ также въ руки отцовскій же Курганова „Письмовникъ“, изъ коего на всю жизнь остались въ памяти разные смѣшные

анекдоты, остроты и прибаутки; помню и еще одну книгу: „Повѣсти Коцебу“, и особливо одну изъ нихъ: „Плащъ и парикъ“. Басни Крылова во время моего перваго дѣтства не были еще въ ходу; къ намъ приходилъ какой-то знакомый господинъ, читавшій ихъ очень хорошо; дѣтей не заставляли еще заучивать ихъ ex officio, и я proprio motu выучилъ наизустъ „Квартетъ“, мнѣ очень нравившійся,—и особливо съ басомъ Мишенька,—„Демьянову уху“, „Тришкинъ кафтанъ“; какъ видно, нравились мнѣ наиболѣе юмористическія.

Изъ другихъ стихотвореній я довольно рано, когда былъ еще лѣтъ девяти, познакомился съ „Людмилою и Свѣтланою“ Жуковскаго, декламировалъ, къ большому удовольствію домашнихъ слушателей, съ нѣкотораго рода паѳосомъ и разными жестами; нѣсколько позже узналъ и старика съ щетинистой брадой, блестящими глазами; но страшно боялся встрѣчи съ нимъ въ темной комнатѣ, и бѣгомъ, зажмуря глаза, проходилъ чрезъ нее.

Первый романъ, попавшійся мнѣ въ руки на 12-мъ году моей жизни, былъ „Фанфанъ и Лолотта“, Дюкре-Дюмениля, и я помню, что не одна фабула романа завлекла меня, а образъ Лолотты. Должно быть, заговорили рано развившіеся половые инстинкты.

Первый учитель данъ былъ мнѣ на девятомъ году жизни; до того времени я былъ самоучка при помощи матери и сестеръ, весьма ограниченной, впрочемъ, по собственному ихъ признанію.

Странно, что я помню довольно ясно занятія грамотою и чтеніемъ, но совсѣмъ не помню, когда и какъ научился писать.

Къ чести нашей домашней педагогіи я долженъ сказать, что занятія съ первымъ моимъ учителемъ начались съ отечественнаго языка; звуковъ иностраннаго языка я почти не слыхалъ до восьми лѣтъ; какъ въ-просонкахъ вспоминаю только напѣвъ какой-то нѣмецкой пѣсни, и мнѣ сказывали сестры, что одинъ, вхожій въ нашъ домъ, нѣмецъ иногда бралъ меня на руки и нянчилъ, припѣвая что-то по своему.

Появленіе въ домѣ перваго учителя совпадаетъ у меня съ воспоминаніемъ о рожденіи въ Москвѣ нашего нынѣшняго го-

сударя (Александра Николаевича), а это воспоминаніе совпадаетъ, въ свою очередь, съ другимъ, а именно — съ путешествіемъ всей семьи къ Троицѣ (т.-е. въ Троицко-Сергіевскую лавру), во время котораго, при ночлегѣ въ селѣ Большихъ Мытищахъ, что-то говорилось о кормилицѣ новорожденнаго.

Судя по этому нужно думать, что мои первыя занятія съ учителемъ начались въ 1818 году. Я помню довольно живо молодого, красиваго человѣка, какъ мнѣ сказывали потомъ— студента, и помню не столько весь его обликъ, сколько однѣ румяныя щеки и улыбку на лицѣ. Вѣроятно, этотъ господинъ, назначенный мнѣ въ учители, былъ не семинаристъ. Это я заключаю изъ того, что онъ очень любилъ накрахмаленное бѣлье, а объ этой склонности я узналъ отъ моей старой няни, нерѣдко сѣтовавшей на большой расходъ крахмала, и дѣйствительно, его румяныя щеки представляются мнѣ и до сихъ поръ не иначе, какъ въ связи съ туго накрахмаленными, стоячими воротничками рубашки. Но есть основаніе думать, что семинарское образованіе не было чуждо моему наставнику: это его склонность къ сочиненію поздравительныхъ рацей; одну изъ нихъ онъ заставилъ меня выучить для поздравленія отца съ днемъ Рождества Христова; первое четверостишіе я еще и теперь помню.

Зарею утренней, румяной,
Лишь только показался

(это, кажется, моя позднѣйшая поправка; въ текстѣ было: „разливался“)

Въ одеждѣ солнечной, багряной
Направилъ ангелъ свой полетъ.

Кромѣ воспоминаній о щекахъ, улыбкѣ, воротничкахъ и этихъ стихахъ моего перваго учителя, мнѣ остались почему-то памятны и его бѣлые, съ тоненькими синенькими полосками, панталоны. Всѣ эти аттрибуты у меня какъ-то слились въ памяти съ понятіемъ о частяхъ рѣчи, полученнымъ мною въ первый разъ отъ обладателя щекъ, улыбки, воротничковъ, панталонъ и сочинителя первой же и едва-ли не единственной произнесенной мною рацеи. Отъ него же я научился и латинской грамотѣ.

Помню и второго моего учителя, также студента, но не университетскаго, а московской медико-хирургической академіи, низенькаго и невзрачнаго; при немъ я уже читалъ и переводилъ что-то изъ латинской хрестоматіи Кошанскаго; отъ этихъ переводовъ уцѣлѣло въ памяти только одно: Universum (или universus mundus — хорошо не помню) distribuitur in duas partes: coelum et terram.

На урокахъ, мнѣ кажется, онъ занимался со мною болѣе разговорами и словесными, а не письменными, переводами, тогда какъ первый учитель заставлялъ меня дѣлать тетрадки и писàть разборы частей рѣчи. Почему—спрашивается—я помню, по прошествіи 62-хъ лѣтъ, еще довольно ясно читанное и слышанное, и забылъ, когда выучился писать, и почти все, что писалъ; забылъ также, когда и какъ выучился ходить и бѣгать? Не значитъ ли это—пріобрѣтенное въ дѣтствѣ слухомъ и зрѣніемъ гораздо прочнѣе напечатлѣлось въ памяти, чѣмъ доставленное ей осязаніемъ? Осязаніе служитъ только повѣрочнымъ чувствомъ для впечатлѣній, прежде всего вступающихъ въ мозгъ чрезъ два его главныя и настежъ открытыя окна: глазъ и ухо.

Причины, почему отъ впечатлѣній дѣтства остается тотъ или другой отрывокъ, часто ничѣмъ не замѣчательный и вовсе не характерный, такъ разнообразны, что никто не возьмется опредѣлить ихъ. Но сила впечатлѣнія, безъ сомнѣнія, зависитъ отъ того—въ какой степени было напряжено вниманіе въ самый моментъ впечатлѣнія: какъ бы сильнымъ ни казалось впечатлѣніе извнѣ, оно пройдетъ безслѣдно для того, кто не обратилъ на него вниманія. Это—такая банальная истина, что не стоило бы о ней распространяться; къ сожалѣнію, однако-же, немногіе родители и педагоги примѣняютъ ее такъ, какъ она этого заслуживаетъ, и заботятся болѣе о свойствахъ и степени внѣшнихъ впечатлѣній: это легче и проще; усиливать стимулъ — думаютъ—достаточно, чтобы усилить вниманіе ребенка.

Между тѣмъ мы видимъ, что нерѣдко самыя ничтожныя впечатлѣнія остаются въ памяти на цѣлую жизнь, тогда какъ, повидимому, очень сильныя—исчезаютъ изъ памяти безслѣдно, и это потому, что мы не умѣли или не могли сосредоточить на нихъ вниманіе того, для кого необходимо было это сдѣлать.

По моему, не тотъ хорошій наставникъ, кто, обладая знаніями, излагаетъ отчетливо и добросовѣстно свой предметъ ученику, а тотъ, кто умѣетъ хорошо обращаться съ вниматедьностію своихъ учениковъ. Упражненіе вниманія—вотъ настоящая задача школы и воспитанія. Преподаваніе наше не только не всегда сосредоточиваетъ, но, напротивъ, еще отвлекаетъ и развлекаетъ внимательность; такъ же дѣйствуетъ и глупое воспитаніе.

По мѣрѣ того, какъ крѣпнетъ мягкій, студенистый дѣтскій мозгъ, онъ дѣлается болѣе способнымъ къ удержанію внѣшнихъ впечатлѣній; развитіе внимательности, вѣроятно, соотвѣтствуетъ, въ извѣстной степени, развитію способности въ мозговой ткани къ удержанію впечатлѣній; но, несмотря на это, способность внимать остается все-таки чѣмъ-то отдѣльнымъ отъ способности удерживать впечатлѣнія. Память и внимательность не идутъ рука объ руку. Несмотря на всѣ усилія мнемонистики, мы немногимъ можемъ содѣйствовать къ развитію памяти; тогда какъ въ рукахъ умнаго воспитателя есть много средствъ къ развитію внимательности ребенка.

Правда, эти средства все-таки не болѣе какъ внѣшнія; но, распорядившись искусно, мы можемъ съ ними проникнуть и внутрь. Наглядность въ соединеніи съ словомъ—вотъ эти средства, разумѣя подъ именемъ наглядности все дѣйствующее на внѣшнія чувства. Другихъ средствъ нѣтъ и быть не можетъ. Искусство состоитъ въ гармоническомъ сочетаніи обоихъ и правильномъ взглядѣ на индивидуальность дитяти. Вещь не легкая; и такъ какъ это не легко и для большинства невозможно, то главную роль въ нашемъ воспитаніи и играетъ жизнь, а не воспитатели и не школа. Горе намъ отъ глупыхъ и неумѣлыхъ воспитателей, но еще горшее горе отъ односторонняхъ, вбившихъ себѣ въ голову, что на одной только наглядности или только на словѣ можно основать все школьное воспитаніе.

Наглядность, имѣя главною цѣлью воздѣйствіе на внѣшнія чувства, можетъ оставить внимательность ребенка къ своимъ болѣе глубокимъ внутреннимъ ощущеніямъ и движеніямъ нетронутою или мало-развитою. Слово, проникая также извнѣ, дѣйствуетъ своими членораздѣльными звуками на самую главную, самую существенную способность человѣка—пѣть по

этимъ врожденнымъ потамъ, то-есть мыслить. Конечно, молча никто не будетъ учить и наглядностью; но внимательность ребенка, при одномъ наглядномъ ученіи, обратится исключительно на внѣшніе предметы, смыслъ и значеніе которыхъ для него легче постигнуть, чѣмъ смыслъ слова; мышленіе его дѣлается болѣе, такъ сказать, объективнымъ, связаннымъ съ представленіями формы предметовъ, а не внутреннимъ ихъ значеніемъ и смысломъ.

Внѣшнія чувства наши очеловѣчиваются при помощи опыта и мышленія. Но логика чувствъ своеобразна; она основана на какомъ-то механизмѣ, дѣйствующемъ при сознаніи нами бытія, но не дающемъ о себѣ знать этому сознанію. Поэтому логика нашихъ чувствъ не нуждается въ словесномъ и основанномъ на членораздѣльныхъ знакахъ мышленіи; тѣмъ не менѣе развитіе ея совпадаетъ съ развитіемъ этого мышленія.

Въ то время, какъ ребенокъ дѣлается словеснымъ животнымъ и дѣятельность его внѣшнихъ чувствъ дѣлается отчетливѣе для него и для другихъ, съ этимъ вмѣстѣ усиливается и внимательность. Итакъ, самовоспитаніе ребенка основано на наглядности, то-есть на упражненіи внѣшнихъ чувствъ. Воспитателямъ же приходится только продолжать и направлять это самовоспитаніе, и главное—не упускать ничего, на первыхъ же порахъ, для развитія внимательности ребенка, не давая ей ни разсѣваться слишкомъ скоро, ни сосредоточиваться односторонне. Но какъ только сознательное и словесное мышленіе ребенка дастъ о себѣ знать воспитателю, онъ обязанъ какъ можно скорѣе воспользоваться этимъ даромъ и употребить его въ дѣло; да, въ дѣло, а не на бездѣлье.

Должно помнить, что даръ слова есть единственное и неоцѣненное средство проникать внутрь, гораздо глубже, чѣмъ посредствомъ однихъ внѣшнихъ чувствъ. Но для достиженія этой цѣли необходимо воспитателю орудовать даромъ слова такъ, чтобы онъ употреблялся имъ не для одного только осмысленія пріобрѣтаемаго наглядностію матеріала, а также и для воздѣйствія на другія, болѣе глубокія, влеченія души, скрывающіяся подъ наплывомъ внѣшнихъ ощущеній. И съ этой стороны необходимо развитіе внимательности, но, конечно, болѣе осто-

рожное и постепенное. Что развитіе дара слова, чрезъ обученіе грамотѣ, можетъ начаться, безъ всякаго вреда для ребенка, очень рано и въ уровень съ наглядным ученіемъ, доказательствомъ тому служатъ многіе примѣры. Я научился грамотѣ, играючи, когда мнѣ было шесть лѣтъ; мой младшій сынъ выучился по складнымъ буквамъ, безъ всякой другой помощи, шестилѣтнимъ ребенкомъ. Быстро и легко достигнутый успѣхъ объясняется, я думаю, тѣмъ, что внимательность наша была случайно обращена на предметы, сразу заинтересовавшіе нашу дѣтскую индивидуальность, а къ этимъ предметамъ очень кстати были приноровлены азбучные знаки.

Меня, то-есть мой индивидуальный складъ, и мою только-что развивавшуюся индивидуальнаго склада душу заинтересовали каррикатурныя изображенія прогнанныхъ изъ Москвы французовъ, о которыхъ разсказы я безпрестанно слышалъ. Эти занятные для меня разсказы, въ связи съ дѣтскою склонностью къ юмору, обратили мою внимательность и на загадочные знаки азбуки, стоявшіе во главѣ каррикатуръ. Звуки словъ, начинавшихся этими знаками, были знакомые уху: А—Ась, Б—Бѣда, В—Ворона, и дѣло пошло скоро на ладъ.

Шестилѣтняго моего сына, болѣе склоннаго къ отвлеченію, вѣроятно заинтересовали мистическія (для него) фигуры большихъ литеръ складной азбуки и ихъ таинственная (для него) связь съ представляемыми ими звуками. Вѣрно, безсознательно интересна была для внимательности ребенка фигура, скрывавшая въ себѣ звукъ.

Безъ сомнѣнія, индивидуальность играетъ тутъ главную роль. Всегда найдется средство задѣть ту ея струнку, сотрясеніе которой могло бы разбудить внимательность, а занявъ ее, можно будетъ приноровить и обученіе грамотѣ, и дѣйствіе слова къ обратившему на себя внимательность предмету.

Не одна наглядность,—и слово интересуетъ дѣтей; какъ слово, и раннее обученіе грамотѣ я считаю необходимымъ дѣломъ для культурнаго общества. Евреи, какъ древній, много испытавшій народъ, знаютъ это по опыту; пятилѣтнихъ дѣтей они сажаютъ за грамоту, да еще за какую,—не чета нашей, усвоиваемой теперь по звуковому и другимъ новѣйшимъ способамъ. Еврей употребляетъ грамоту именно для воздѣйствія

на затаенныя, еще неразвитыя, стремленія души къ высшему началу. Этимъ держится еврейство, и его способъ обученія дѣтей, несмотря на его отсталость и грубость пріемовъ, имѣетъ важное значеніе въ жизни.

Наблюдавъ развитіе дѣтей въ еврейскихъ школахъ, я не замѣтилъ, чтобы ихъ способъ обученія много препятствовалъ дѣйствію наглядности; за исключеніемъ нѣкоторыхъ индивидуальностей, склонныхъ чрезъ мѣру къ отвлеченіямъ и религіозному фанатизму, бо́льшая часть еврейскихъ дѣтей легко пріобрѣтаютъ все то, что дается наглядным обученіемъ; но религіозное настроеніе, сообщенное раннимъ воздѣйствіемъ слова, ихъ не оставляетъ на цѣлую жизнь, и несмотря на ихъ семитическіе инстинкты и внѣшній, тяготѣющій на нихъ, гнетъ.

Но если еврейскій меламдъ, съ его незатѣйливыми средствами, такъ умѣетъ сосредоточивать внимательность пяти—шестилѣтнихъ ребятъ на изученіи мертваго для насъ языка, то, значитъ, искусство это нетрудное.

Почему же оно у насъ не процвѣтаетъ, а если и прогрессируетъ, то черепашьимъ ходомъ?

Не говоря уже о томъ давнемъ времени, когда я самъ учился,—не болѣе какъ двадцать лѣтъ назадъ, я, бывъ попечителемъ двухъ учебныхъ округовъ, ужасался, видѣвъ, какъ мало знакомы были учители и весь оффиціальный персоналъ нашихъ школъ съ этою главною отраслію въ педагогіи. Въ это замѣчательное время наши педагоги вспомнили о Песталоцци и Дистервегѣ и возлагали большія надежды на наглядное обученіе, думая найти въ наглядности талисманъ для культуры дѣтской внимательности. И я самъ не былъ свободенъ отъ этого увлеченія. Но опытъ не оправдалъ розовыхъ надеждъ.

Теперь я убѣдился, что ни наглядность, ни слово, сами по себѣ, безъ умѣнія съ ними обращаться какъ надо и безъ другихъ условій, ничего путнаго не сдѣлаютъ. Я убѣдился еще въ томъ,—и это главное,—что односторонность въ культурѣ внимательности у народа, какъ нашъ, еще недавно выступившаго на поприще образованія, никуда не годится.

Одностороннему меламду это дѣло удается, несмотря на

грубѣйшіе пріемы, потому что у евреевъ, какъ у народа древняго, есть традиція образованія, да къ тому же еще грамота и религія въ понятіи еврея—неразлучны. Западные народы могутъ также быть односторонними въ образованіи, и опять потому же, что имѣютъ преданія и традиціи. У насъ же ихъ нѣтъ, и мы живемъ и начинаемъ учиться во время, вовсе не благопріятное для дѣйствія и силы традицій.

Вся жизнь моя сложилась бы другимъ образомъ, еслибы при моемъ воспитаніи съумѣли развить и хорошо направить мою внимательность. Недостатка въ этой способности у меня не было; была, и не въ малой степени, и разносторонность ума, но и то, и другое были такъ мало культивированы, что я легко дѣлался односторонникомъ, не умѣя обращаться съ моею внимательностью и направлять ее какъ слѣдуетъ.

Вообще, мнѣ кажется, на эту замѣчательную психическую способность мало обращаютъ вниманія. Можно обладать прекрасно устроенными отъ природы органами чувствъ; эти органы могутъ быть очень чуткими къ принятію впечатлѣній, могутъ отлично удерживать впечатлѣнія, а потому и отлично содѣйствовать внимательности; но если она сама будетъ неразвита и заглушена безпорядочнымъ и, выражаясь по-нѣмецки, тумультуарнымъ наплывомъ впечатлѣній, въ дѣтскомъ возрастѣ, то ничего путнаго не выйдетъ,—развѣ самъ Богъ поможетъ, наконецъ, человѣку, уже болѣе или менѣе взрослому, углубиться въ себя и понять, чего ему недостаетъ для самовоспитанія.

Съ матеріальной точки зрѣнія, внимательность есть особое состояніе напряженія тѣхъ элементовъ мозга, которыми воспринимаются приносимыя органами чувства впечатлѣнія. Въ самый моментъ дѣйствія это напряженіе не можетъ не быть одностороннимъ; но культурою (упражненіемъ) его можно сдѣлать менѣе одностороннимъ.

Такъ, астрономъ, во время наблюденія за прохожденіемъ звѣздъ, можетъ сосредоточить свою внимательность на впечатлѣнія зрительныя и слуховыя въ одно и то же время, смотря въ телескопъ и прислушиваясь къ колебаніямъ маятника. Но, сверхъ этой чувственной внимательности, есть еще и другая, какъ кажется, отличная отъ первой: внимательность къ болѣе

глубокимъ психическимъ процессамъ; внимательность къ собственному своему *я*, то-есть, къ своей мысли, волѣ, влеченіямъ и т. п. Культура этой способности ведетъ къ тому, что наше *я*, слѣдя за самимъ собою, дѣлаетъ изъ себя и для себя же нѣчто внѣшнее, объективное.

Кто хочетъ помочь ребенку сдѣлаться человѣкомъ, тотъ не долженъ упускать изъ виду эти два направленія внимательности; но въ этомъ дѣлѣ представляется воспитателю необыкновенная трудность; при культурѣ внимательности необходимо умѣнье индивидуализировать. Слишкомъ скорое и неосторожное развитіе, напримѣръ, внутренней (такъ назову ее) внимательности у нѣкоторыхъ (склонныхъ) отъ природы къ отвлеченію (т.-е. къ внутренней, психической жизни) дѣтей сдѣлаетъ изъ нихъ легко непрактичныхъ самоѣдовъ. Непомѣрное развитіе чувственной внимательности, при хорошемъ природномъ устройствѣ чувствъ, сдѣлаетъ ихъ легко грубыми сенсуалистами и поклонниками чувственной красоты.

Чѣмъ ранѣе начнетъ развиваться внимательность, тѣмъ лучше для культурнаго человѣка. На первое время достаточно, если мы останемся благоразумными наблюдателями этого развитія и не будемъ надоѣдать натурѣ нашими выдумками.

Довольно раннее обученіе грамотѣ при пособіи наглядности я считаю самымъ надежнымъ средствомъ къ правильному развитію внимательности. При этомъ способѣ нельзя опасаться односторонняго развитія; при немъ участвуютъ къ возбужденію внимательности и глазъ, и ухо, и осязаніе, и самое слово. Только впечатлѣнія, пріобрѣтенныя этимъ путемъ въ раннемъ дѣтствѣ, и остаются въ насъ цѣльными и связными; красною нитью тянутся они чрезъ всю жизнь.

Что́, въ самомъ дѣлѣ, связнаго осталось въ архивѣ моей памяти отъ шести-восьмилѣтняго возраста? Грамота, которой я учился по картинкамъ, и самыя картинки (каррикатуры); читая теперь какую-нибудь книгу, мнѣ стоитъ только хоть немножко отвлечься въ прошедшее, и „*А*—Ась, право глухъ Мусье“, сейчасъ вынырнетъ откуда-то, какъ изъ омута. Всѣ прочія воспоминанія моего дѣтства въ этомъ возрастѣ (шести-

восьми лѣтъ) или туманны и призрачны, или же отрывочны и сомнительны.

Я различаю, однако-же, довольно отчетливо мои самыя раннія воспоминанія отъ другихъ позднѣйшихъ (напримѣръ, изъ тринадцатилѣтняго возраста). Я не сомнѣваюсь, напримѣръ, что удержавшееся весьма ясно представленіе моей матери еще моложавою женщиною въ красномъ массакá цвѣта платьѣ, въ чепцѣ, съ двумя темнорусыми пуклями на лбу, осталось у меня въ памяти отъ восьмилѣтняго возраста.

Моя мать, какъ я слышалъ отъ нея, вышла замужъ пятнадцати лѣтъ, имѣла 14 дѣтей; я былъ предпослѣднимъ (послѣдній ребенокъ умеръ вскорѣ послѣ рожденія); слѣдовательно ей не могло быть болѣе 36 лѣтъ, когда мнѣ было 8; потомъ же, когда я ходилъ въ школу двѣнадцатилѣтнимъ мальчикомъ, я уже ее помню не такою; утрата двухъ взрослыхъ дѣтей и невзгоды жизни, стрясшіяся надъ нею въ теченіе этого времени, сильно измѣнили ея наружность; она постарѣла, и образъ ея сливается уже въ моей памяти съ другимъ, позднѣйшимъ, такъ что теперь мать моя представляется мнѣ въ двухъ, совершенно различныхъ одинъ отъ другого, видахъ; то—какъ моложавая, смотрящая на меня съ любовью, женщина, въ темнокрасномъ капотѣ, чепцѣ и пукляхъ; то—какъ старушка съ сморщеннымъ лицомъ, согнутымъ туловищемъ и туманнымъ взглядомъ, почти такая же, какою она была въ послѣднее время своей жизни, тридцать лѣтъ тому назадъ, хотя я навѣрное знаю, что между этими двумя видами остался у меня въ памяти еще и третій, несходный ни съ однимъ изъ нихъ, но такъ туманный и блѣдный, что я не могу его облечь въ ясное представленіе.

Образы другихъ близкихъ мнѣ лицъ сохранились въ памяти только по однимъ позднѣйшимъ представленіямъ. Образъ отца остался въ памяти такимъ, какъ я его помню, бывъ уже студентомъ (17-ти лѣтъ), незадолго до его смерти. Мою старую няньку и старую служанку я помню также только въ томъ видѣ, въ какомъ онѣ мнѣ представлялись, когда я былъ уже взрослый (отъ 25 до 30 лѣтъ).

Отрывочныхъ и очень раннихъ воспоминаній (изъ шести-

восьмилѣтняго возраста), весьма отчетливо еще сохранившихся въ архивѣ 70-лѣтней моей памати, я насчитываю не болѣе семи или восьми. Предметы ихъ ничего не имѣютъ общаго между собою; только бѣлыя розы въ стаканѣ воды, бѣличье одѣяло и сѣрая кошка Машка связаны въ моемъ представленіи, и это, безъ сомнѣнія, потому, что я ихъ всегда видалъ вмѣстѣ, возлѣ меня, открывъ глаза при пробужденіи отъ сна.

По всѣмъ соображеніямъ, ни розы, ни одѣяло, ни сѣрая Машка не были при мнѣ, когда мнѣ, еще маленькому (не болѣе десяти лѣтъ) мальчику, нянька напоминала о нихъ, какъ о чемъ-то давно прошедшемъ: „а помнишь-ли (и эти слова я также живо помню) твою Машку, которую ты такъ бережно закутывалъ твоимъ бѣличьимъ одѣяломъ, когда ложился спать?“

Помню еще отцовскую саблю въ мѣдныхъ ножнахъ, дѣдушкинъ рыжеватый парикъ, длинный колодезный насосъ, упавшій при вставливаніи въ садовый колодезь и разбившій окно въ комнатѣ, гдѣ я сидѣлъ, и, наконецъ, бѣлые стоячіе воротнички и панталоны моего перваго учителя. Есть и еще одно воспоминаніе, относящееся приблизительно къ тому же времени; это появленіе въ домѣ крѣпостной семьи, состоявшей изъ мужа, жены и грудного ребенка. Памятна именно новость появленія, то-есть памятно сознаніе, что прежде ихъ не было, а тутъ они откуда-то явились, и явился откуда-то кривой Иванъ, смотрѣвшій однимъ только блестящимъ глазомъ, а другой былъ бѣлый какъ мѣлъ.

Всѣ другія, не менѣе ясныя, воспоминанія остались, вѣрно, отъ позднѣйшаго времени.

Я оставался вмѣстѣ съ семьею въ томъ домѣ, размалеванныя стѣны котораго, фасадъ и садикъ помню еще такъ живо, до 14-лѣтняго возраста, и потому самыя раннія воспоминанія о немъ сливаются съ поздними. Но сабля, парикъ, воротнички и панталоны—одни уже не были на виду и спрятаны въ старый хламъ, другіе выбыли вмѣстѣ съ ихъ обладателемъ, жившимъ у насъ, какъ я слышалъ, не болѣе одного года.

Что́ же заставило именно эти отрывочныя, но ясныя представленія остаться такъ долго въ памяти? Почему они не стушевались въ хламѣ другихъ впечатлѣній, безпрестанно дѣйствовавшихъ на мой дѣтскій мозгъ? Вопросъ, конечно, нераз-

рѣшимый. Придется перенестись въ себя чрезъ пропасть времени. За такой сальто-морталэ можно, пожалуй, считать старика выжившимъ изъ ума. Но что́ за бѣда, если и провалишься въ безднѣ самого себя!

Нѣкоторыя впечатлѣнія ранняго дѣтства остаются на цѣлую жизнь, очевидно, отъ сильныхъ сотрясеній всего дѣтскаго организма, а также чрезъ частые разсказы о выдающихся случаяхъ въ обыденной жизни.

Вломившаяся въ окно комнаты, въ которой я сидѣлъ, огромная бадья колодезнаго насоса не могла не навести на меня страхъ и ужасъ—и вотъ, въ памяти осталось навсегда представленіе торчащей чрезъ разломанное окно балки, потрясшей своимъ появленіемъ въ комнатѣ съ трескомъ и стукомъ не только внѣшнія чувства, но и все мое тѣло.

Такъ и во многихъ другихъ воспоминаніяхъ давнопрошедшаго повторенные о нихъ разсказы, безъ сомнѣнія, много содѣйствуютъ къ удержанію его въ памяти, чѣмъ оно само по себѣ. Впечатлѣнія, повторявшіяся неоднократно и въ извѣстные моменты жизни, какъ, напримѣръ, впечатлѣнія, произведенныя на меня бѣлыми розами, при пробужденіи отъ сна, и бѣлыми воротничками съ розовыми щеками учителя во время первыхъ моихъ уроковъ, также не могли не остаться въ памяти долѣе другихъ. Разсказы, волнующіе дѣтскія страсти, наводящіе ужасъ и т. п., такъ сильно дѣйствуютъ на воображеніе ребенка, что слышанное впослѣдствіи представляется ему видѣннымъ; это понятно, потому что подтверждается примѣрами и изъ жизни взрослаго человѣка; но гораздо интереснѣе и поучительнѣе наблюденіе, доказывающее, что и одно возбужденіе разсказомъ дѣтской внимательности приводитъ къ тому же результату.

Это дѣлаетъ мощь слова наглядным и убѣждаетъ, что слово можетъ еще замѣнить наглядность, но одна наглядность никогда не замѣнитъ слова. Наглядное, одно, само по себѣ, безъ помощи слова, хотя и можетъ глубоко врѣзаться въ память ребенка, но всегда останется чѣмъ-то отрывочнымъ и несвязнымъ, тогда какъ впечатлѣніе, произведенное словомъ, будетъ болѣе цѣльное и связное.

Я говорилъ уже объ отцовской саблѣ и дѣдушкиномъ парикѣ. Оба эти предмета оставались у меня въ памяти слишкомъ шестьдесятъ лѣтъ потому только, что съ ними связаны два разсказа.

Разсматривая мѣдныя ножны, я внимательно слушалъ трогательное для меня повѣствованіе моей няньки о томъ, какъ отецъ, во время нашего бѣгства изъ Москвы въ 1812-мъ году, спасъ этою саблею крестьянку, везшую молоко; на нее напалъ какой-то буйный ратникъ (ополченный) и грабилъ уже ее, когда отецъ мой, замѣтивъ это, выскочилъ изъ повозки, пригрозилъ саблею и прогналъ грабителя; въ знакъ благодарности за спасеніе я получилъ кружку молока. Сабля была тяжела, и я только смотрѣлъ на нее, а не надѣвалъ. Но рыжеватый дѣдушкинъ парикъ я надѣвалъ на себя, слушая разсказы о томъ, какъ дѣдушка, Иванъ Михеевичъ, входя въ церковь, всегда снималъ свой парикъ и, обнажая свою плѣшивую, какъ кулакъ, голову, приводилъ въ соблазнъ „предстоящихъ (по выраженію мѣстнаго священника, упрекавшаго дѣдушку за это) людей въ храмѣ Божіемъ“. Не слышь я этихъ разсказовъ,—вѣрно, и сабля, и парикъ давно исчезли бы изъ памяти. И кривой, бѣлый какъ мѣлъ, глазъ крѣпостного Ивана также изгладился бы непремѣнно изъ моей памяти,—мало ли такихъ кривыхъ я видѣлъ на свѣтѣ,—еслибы не явился къ намъ въ домъ однажды какой-то шарлатанъ изъ Сибири, наговорившій Ивану о чудесахъ своего искусства; онъ началъ приставать съ мольбами къ матушкѣ о дозволеніи возвратить ему глазъ; шарлатанъ, любопытные разсказы котораго объ ѣздѣ на собакахъ въ Якутскѣ я также припоминаю, началъ впускать въ бѣлый глазъ какіе-то бѣлые порошки; глазъ раскраснѣлся, шарлатана прогнали, а Иванъ остался, по-прежнему, кривымъ, да въ добавокъ еще и осмѣяннымъ. Я былъ зрителемъ, но гораздо болѣе слушателемъ этой драмы.

Слышанное въ раннемъ, то-есть слово, такъ сильно дѣйствуетъ, что впечатлѣнія, производимыя имъ на воображеніе и память ребенка, легко превращаются въ наглядные образы. Изъ однихъ разсказовъ о моемъ дѣдушкѣ, умершемъ, когда мнѣ было не болѣе 4-хъ лѣтъ, составился въ моемъ вообра-

женіи весьма опредѣленный образъ высокаго, сухощаваго старика въ парикѣ; парикъ былъ тутъ только, такъ сказать, прибавочнымъ наглядным представленіемъ, дополнявшимъ слышанное и препятствовавшимъ мнѣ воображать дѣдушку плѣшивымъ, какимъ онъ былъ по разсказамъ; чертъ лица въ воображаемомъ образѣ не было видно, но представленіе высокаго старика въ парикѣ было такъ ясно, что еще и до сихъ поръ осталось во мнѣ смутное убѣжденіе, какъ будто бы нѣкогда я видалъ его живымъ.

Сильное дѣйствіе на насъ часто слышанныхъ устныхъ разсказовъ всѣмъ такъ знакомо, что мы легко объясняемъ себѣ образованіе призрачныхъ фантомовъ, составляющихся въ нашемъ воображеніи изъ слышаннаго нами неоднократно, и потому только одному, или же по другой причинѣ, обратившаго на себя наше вниманіе; но труднѣе гораздо объяснить, почему однажды только слышанное или видѣнное нами можетъ залечь надолго и даже навсегда въ нашей памяти.

Такъ, я до сихъ поръ живо помню видѣнное мною только одинъ разъ въ ризницѣ Троицкой лавры самородное изображеніе креста съ стоящею предъ нимъ на колѣняхъ фигурою; я былъ тогда восьмилѣтнимъ ребенкомъ, и какъ теперь вижу бѣлый, прозрачный, выпуклый камень съ этимъ изображеніемъ; предо мною, какъ будто на яву, стоитъ монахъ и поднятою рукою держитъ камень противъ свѣта. Я положительно знаю, что никогда въ другой разъ не былъ въ ризницѣ лавры.

Помню также живо до сихъ поръ однажды слышанное отъ какого-то мальчика, — правда, то были знакомыя мнѣ слова псалма: „всякое дыханіе да хвалитъ Господа“; я ихъ слыхалъ и читалъ въ псалтирѣ не разъ; но почему же я помню всю обстановку, при которой они были слышаны мною?

Мнѣ было тоже не болѣе (скорѣе менѣе) восьми лѣтъ, когда я, гуляя съ нянькою на берегу Яузы, услышалъ визгъ собаки; приблизившись, мы увидѣли двухъ мальчишекъ; изъ нихъ одинъ топилъ собаку, другой его удерживалъ, громко заявляя: „всякое дыханіе да хвалитъ Господа!“ Нянька моя похвалила его за это, и мы пошли далѣе.

Безъ сомнѣнія, очень рано являются въ насъ, конечно, при извѣстной внѣшней обстановкѣ, психическія настроенія,

дѣлающія насъ чрезвычайно воспріимчивыми къ нѣкоторымъ впечатлѣніямъ; подѣйствовавшее на насъ въ моментъ такого настроенія, повидимому, и незначительное, и даже не разъ уже испытанное нами, впечатлѣніе остается навсегда въ памяти и всегда, при удобномъ случаѣ, напоминаетъ намъ о своемъ существованіи. До сихъ поръ я припоминаю и восклицаніе мальчика, и прогулку за Яузою, какъ скоро слышу слова псалма: „всякое дыханіе да хвалитъ Господа“. Смотря на крестъ, припоминаю нерѣдко и видѣнное мною изображеніе въ лаврѣ. Мораль: педагогу необходимо знакомство съ этимъ замѣчательнымъ психическимъ процессомъ, но примѣненіе его на практикѣ невозможно: не педагогъ управляетъ жизнью, а жизнь имъ.

Кому изъ культурныхъ людей не приходилось мыслить о людскомъ воспитаніи? Кто изъ моралистовъ не желалъ бы перевоспитать человѣческое общество? Всѣ мыслители, я думаю, пришли къ тому заключенію, что воспитаніе нужно начать съ колыбели, если желаемъ коренного переворота нравовъ, влеченій и убѣжденій общества.

Про самого себя, конечно, никто не можетъ рѣшить, съ какой поры проявились въ немъ разныя склонности и влеченія; но кто слѣдилъ за развитіемъ хотя нѣсколькихъ особей отъ перваго ихъ появленія на свѣтъ до возмужалости, тотъ вѣрно убѣдился, что будущая нравственная сторона человѣка рано, чрезвычайно рано, едва-ли не съ пеленокъ, обнаруживается въ ребенкѣ; къ сожалѣнію, поздно, слишкомъ поздно, узнаемъ мы будущее значеніе того, что мы давно замѣчали.

И на моихъ собственныхъ дѣтяхъ, и на нѣкоторыхъ другихъ лицахъ, знакомыхъ мнѣ съ ихъ дѣтства, я рано видѣлъ немало намековъ о будущихъ ихъ нравахъ и склонностяхъ; но теперь только, когда, вмѣсто трехъ — четырехъ-лѣтнихъ дѣтей, я вижу предъ собою тридцатилѣтнихъ мужчинъ и женщинъ, только теперь я увѣряюсь изъ опыта, какъ вѣрны и ясны были эти намеки. Поумнѣвъ заднимъ умомъ, я вижу теперь, что не только о нравахъ, но и о будущихъ міровоззрѣніяхъ всѣхъ этихъ лицъ я могъ бы уже имѣть довольно ясное

понятіе еще за двадцать-пять лѣтъ, еслибы умѣлъ прочесть „мани, факелъ, фаресъ“ въ ихъ дѣтскихъ поступкахъ.

Что и сколько мы приносимъ съ собою на свѣтъ и что и сколько потомъ получаемъ отъ него, этого мы никогда не узнаемъ, а потому и увѣренность—воспитаніемъ нашимъ дать ребенку все то, что мы желаемъ дать—я считаю однимъ самообольщеніемъ.

Я не отвергаю, что Песталоцци, Фрёбель и другіе передовые педагоги и фанатики своего дѣла дали хорошее воспитаніе своимъ питомцамъ; но не вѣрю, чтобы искусственные способы и систематическое ихъ примѣненіе, предложенные этими педагогами, произвели благотворное дѣйствіе на массы людей и на все общество.

Главная сила искусственнаго, строго-систематическаго воспитанія, есть болѣе отрицательная; какъ бы рано оно ни начиналось, дѣйствуя однообразно и односторонне на различнѣйшія индивидуальности, оно можетъ многое, конечно, и худое уничтожить; но развить что-либо въ нравственномъ отношеніи можетъ оно только извнѣ. Конечно, и это одно можно назвать положительнымъ результатомъ, но такимъ, который годенъ только для какой-либо односторонней, то-есть отрицательной для другихъ сторонъ, цѣли.

А разныхъ сторонъ нашего нравственнаго бытія немало; заставить, напримѣръ, четырехъ—пятилѣтнихъ дѣтей, по Фрёбелю, играть въ опредѣленный часъ такъ, въ другой часъ иначе, осмыслять каждую его игру и забаву,—не значитъ ли дѣйствовать отрицательно, и систематически отрицательно, на свободу такихъ его дѣйствій, которыя, по существу и цѣли, требуютъ наибольшей свободы? Я, по крайней мѣрѣ, не жалѣю, что жилъ ребенкомъ въ то время, когда еще неизвѣстны были Фрёбелевы сады. Но, конечно, общества, приготовляющія себя къ соціальному перерожденію, не могутъ не увлекаться воспитаніемъ, обѣщающимъ сдѣлать изъ людей манекеновъ свободы.

Главная немощь духа есть, именно, односторонность его стремленій на пути прогресса.

Вездѣ, начиная отъ моды и доходя до фанатизма, мы испытываемъ вліяніе этой немощи.

Но если намъ не суждено узнать всестороннюю истину и всестороннее добро, то мы должны, по крайней мѣрѣ, не слишкомъ довѣрять нашему всегда одностороннему прогрессу. Особливо же осторожно надо относиться къ практическимъ примѣненіямъ добытыхъ имъ истинъ.

Надо помнить, что излюбленное передовыми умами, а за ними и цѣлымъ обществомъ, направленіе истины всегда временно и, отживъ свой срокъ, уступаетъ мѣсто другому, нерѣдко совершенно противоположному.

Реакція и въ политикѣ, и въ наукѣ, и въ искусствѣ—вездѣ необходимое зло и неизбѣжное слѣдствіе немощи духа.

Я прожилъ только семьдесятъ лѣтъ, — въ исторіи человѣческаго прогресса это одинъ мигъ, — а сколько я уже пережилъ системъ въ медицинѣ и дѣлѣ воспитанія! Каждое изъ этихъ проявленій односторонности ума и фантазіи, каждое примѣнялось по нѣскольку лѣтъ на дѣлѣ, волновало умы современниковъ и сходило потомъ съ своего пьедестала, уступая его другому, не менѣе одностороннему. Теперь, при появленіи новой системы, я могъ бы сказать то же, что̀ отвѣтилъ одинъ старый чиновникъ Подольской губерніи на вопросъ новаго губернатора:

— Сколько лѣтъ служите?

— Честь имѣлъ пережить уже двадцать начальниковъ губерніи, ваше превосходительство!

О медицинѣ скажу послѣ; а въ дѣлѣ воспитанія я засталъ еще крупные остатки средневѣковой школы, видалъ въ прусскихъ регулятивахъ и временный ея рецидивъ; былъ знакомъ и съ остатками ланкастерской (еще существовавшей при мнѣ въ одесскомъ округѣ); присутствовалъ при возобновленіи наглядnаго ученія Песталоцци; былъ современникомъ „Ясной Поляны“, псевдоклассицизма и псевдореализма (настоящими я ихъ не называю потому, что они вступали въ школы съ заднею мыслью).

Все было и сплыло.

Но не вездѣ и не всегда старые чиновники переживаютъ двадцать губернаторовъ; но не вездѣ и не всегда обстоятельства благопріятствуютъ частымъ смѣнамъ принциповъ, системъ

и лицъ, а главное — не вездѣ и не всегда одностороннее влеченіе ума и фантазіи скоро смѣняется другимъ; оно, какъ мы видимъ, можетъ длиться цѣлые вѣка, пока на смѣну его явится другое. Мы, русскіе, по крайней мѣрѣ, счастливы тѣмъ, что односторонности нашего и чужого ума у насъ, какъ губернаторы въ подольской губерніи, недолго (относительно) начальствуютъ. Мы—не евреи и не западные народы: у насъ нѣтъ традицій воспитанія. Мы всѣ учились „понемногу, чему-нибудь и какъ-нибудь“.

Подожду, однако-же, говорить о школѣ, — я еще не въ школѣ, и прежде чѣмъ попаду туда, посмотрю, что́ дало мнѣ домашнее воспитаніе въ возрастѣ отъ восьми до двѣнадцати лѣтъ, воспоминанія о которыхъ остались въ моей памяти уже болѣе отчетливыми и связными.

Судя по нимъ, я былъ живой и разбитной мальчикъ, но, должно быть, не очень большой шалунъ; не помню, по крайней мѣрѣ, за собой никакой крупной шалости и никакого крупнаго наказанія за шалости. Вообще, я ни дома, ни въ школѣ не былъ ни разу сѣченъ; помню только три наказанія отъ матери: пощечину (однажды) за пощечину; я ударилъ въ щеку какого-то мальчика, а матушка, бывшая свидѣтельницею самоуправства, расправилась точно такъ же сама со мною. Я нахожу это весьма логичнымъ и педагогичнымъ; хотя эта расправа и не излечила меня отъ самоуправства радикально, но нерѣдко удерживала поднятую уже руку, припоминая мнѣ во́-время, что и на меня можетъ подняться болѣе сильная рука.

Два другія наказанія дѣлались, сколько помню, не за шалости, а за капризъ; помню, какъ однажды горько и безутѣшно рыдалъ, выведенный въ переднюю съ запретомъ входить въ другія комнаты; но самое непріятное впечатлѣніе осталось у меня отъ удара рукою матери, попавшаго мнѣ нечаянно прямо подъ ложечку; сразбѣгу я вскочилъ неожиданно въ комнату, гдѣ матушка была чѣмъ-то занята съ сестрами; сгоряча она вскочила, и я прямо животомъ ударился объ ея размахнутую руку. Я какъ теперь помню, что мнѣ захватило духъ, и я повалился на полъ. Скверно было

то, что у меня послѣ этого нечаяннаго удара оставалась долго на душѣ какая-то злоба на мать.

Игры, забавы и занятія въ этомъ возрастѣ должны быть уже весьма внушительны для зоркаго наблюдателя; на нихъ можно основать немало-вѣроятную прогностику.

Изъ моихъ домашнихъ занятій (до школы), мнѣ кажется, я не отдавалъ преимущества ни одному, кромѣ чтенія; считать не особенно любилъ, но четыремъ правиламъ ариѳметики научился еще до школы; любилъ также собирать и сушить цвѣты, разсматривать изображенія животныхъ и растеній и картинки историческаго содержанія, особливо изъ войны 1812-го года, бывшія тогда въ большомъ ходу. Латинская и французская грамматики не возбуждали моего сочувствія; но разборъ частей рѣчи изъ русской грамматики былъ для меня очень занимателенъ, и я помню, что просиживалъ надъ нимъ охотно цѣлые часы. Личность учителей играла тутъ главную роль; учителя русскаго языка я и до сихъ поръ еще вспоминаю, хотя только по воротничкамъ, панталонамъ и рацеѣ; но изъ двухъ другихъ, занимавшихся со мною латынью и французскою грамотою, одного совсѣмъ забылъ, а другой мелькаетъ въ памяти какъ тѣнь какого-то маленькаго человѣчка.

Вообще, въ домашнемъ воспитаніи до двѣнадцати лѣтъ, я занимался только тѣмъ, что само по себѣ было для меня занимательно, а культурою моей внимательности никто и не думалъ заниматься, — и это я считаю главнымъ пробѣломъ моего первоначальнаго воспитанія, тѣмъ болѣе, что и потомъ, въ школѣ и университетѣ, никто, не исключая и меня самого, на развитіе этой способности не обращалъ ни малѣйшаго вниманія. Слѣдствіемъ этого пробѣла было, какъ я испыталъ впослѣдствіи, то, что я, отъ природы любознательный и склонный къ труду, во многомъ остался невѣждою и не пріобрѣлъ, когда могъ, тѣхъ знаній, которыя мнѣ впослѣдствіи были крайне необходимы.

Отъ недостатка въ культурѣ внимательности, она потомъ слишкомъ сосредоточилась, и я едва не сдѣлался одностороннимъ по принципу.

Но объ этомъ послѣ, когда буду говорить о моей юности.

Замѣчательно, однако-же, что я очень долго не замѣчалъ

слѣдствій этого пробѣла, пока, наконецъ, додумался до сути. Знай я это прежде, то и при воспитаніи моихъ дѣтей постарался бы болѣе о развитіи этой основной способности человѣческаго знанія, болѣе, чѣмъ всѣ другія, поддающейся нашей культурѣ.

Изъ моихъ дѣтскихъ игръ и забавъ памятны мнѣ очень двѣ главныя; одна изъ нихъ была моею любимою въ школѣ, съ моими сверстниками, безъ участія которыхъ она не могла бы и быть,—это игра въ войну; какъ видно, я былъ храбръ, потому что помню рукоплесканія и похвалы старшихъ ученикъ за мою удаль.

Но другая игра весьма замѣчательна для меня тѣмъ, что она какъ будто приподнимала мнѣ завѣсу будущаго. Это была странная для ребенка забава и называлась домашними игрою въ лекаря. Происхожденіе ея и исторія ея развитія такія.

Старшій братъ мой лежалъ больной ревматизмомъ; болѣзнь долго не уступала леченію, и уже нѣсколько докторовъ поступали на смѣну одинъ другому, когда призванъ былъ на помощь Ефремъ Осиповичъ Мухинъ, въ то время едва-ли не лучшій практикъ въ Москвѣ.

Я помню еще, съ какимъ благоговѣніемъ приготовлялись всѣ домашніе къ его пріему; конечно, я, какъ юркій мальчикъ, бѣгалъ въ ожиданіи взадъ и впередъ; наконецъ, подъѣхала къ крыльцу карета четвернею, ливрейный лакей открылъ дверцы, и какъ теперь вижу высокаго, сѣдовласаго господина, съ сильно выдавшимся подбородкомъ, выходящаго изъ кареты.

Вѣроятно, вся эта внѣшняя обстановка, приготовленіе, ожиданіе, карета четвернею, ливрея лакея, величественный видъ знаменитой личности—сильно импонировали воображенію ребенка; но не настолько, чтобы тотчасъ же возбудить во мнѣ подражаніе, какъ обыкновенно это бываетъ съ дѣтьми: я сталъ играть въ лекаря потомъ, когда присмотрѣлся къ дѣйствіямъ доктора при постели больного и когда результатъ леченія былъ блестящій.

Такъ, по крайней мѣрѣ, я объясняю себѣ начало игры, послѣ глубокаго, еще памятнаго и теперь, впечатлѣнія, про-

изведеннаго на все семейство быстрымъ успѣхомъ леченія. Послѣ того какъ, несмотря на всѣ усилія пяти — шести врачей, болѣзнь все болѣе и болѣе ожесточалась, и я ежедневно слышалъ стоны и вопли изъ комнаты больного,—не прошло и нѣсколько дней Мухинскаго леченія, а больной уже началъ поправляться. Вѣрно, тогда всѣ мои домашніе, пораженные какъ будто волшебствомъ, много толковали о чудодѣйствіи Мухина; я заключаю это изъ того, что до сихъ поръ сохранились у меня въ памяти разсказы о подробностяхъ леченія. Говорили: „Какъ только посмотрѣлъ Ефремъ Осиповичъ больного, сейчасъ обратился къ матушкѣ:

— „Пошлите сейчасъ же, сударыня,—сказалъ онъ,—въ москательную лавку за сассапарельнымъ корнемъ, да велите выбрать такой, чтобы давалъ пыль при разломѣ: сварить его надо также умѣючи въ закрытомъ и на-глухо замазанномъ тѣстомъ горшкѣ; парить его надо долго; велите также тотчасъ приготовить сѣрную ванну“,—и такъ далѣе.

Конечно, такой разсказъ, съ варіаціями, я долженъ былъ слышать неоднократно, а потому долженъ былъ и хорошо его запомнить.

Словомъ, впечатлѣніе, неоднократно повторенное и доставленное мнѣ и глазами, и ушами, было такъ глубоко, что я, послѣ счастливаго излеченія брата, попросилъ однажды кого-то изъ домашнихъ лечь въ кровать, а самъ, принявъ видъ и осанку доктора, важно подошелъ къ мнимо-больному, пощупалъ пульсъ, посмотрѣлъ на языкъ, далъ какой-то совѣтъ, вѣроятно также о приготовленіи декокта, распрощался и вышелъ преважно изъ комнаты.

Это я отчасти самъ помню, отчасти же знаю по разсказамъ, но весьма отчетливо уже припоминаю весьма часто повторявшуюся впослѣдствіи игру въ лекаря; къ повторенію побуждали меня, вѣроятно, внимательность и удовольствіе зрителей; подъ вліяніемъ такого стимула, я усовершенствовался и началъ уже разыгрывать роль доктора, посадивъ и положивъ нѣсколько особъ, между прочими и кошку, переодѣтую въ даму; переходя отъ одного мнимо-больного къ другому, я садился за столъ, писалъ рецепты и толковалъ, какъ принимать лекарства. Не знаю, получилъ ли бы я такую охоту играть въ лекаря,

еслибы, вмѣсто весьма быстраго выздоровленія, братъ мой умеръ. Но счастливый успѣхъ, сопровождаемый эффектною обстановкою, возбудилъ въ ребенкѣ глубокое уваженіе къ искусству, и я, съ этимъ уваженіемъ именно къ искусству, началъ впослѣдствіи уважать и науку.

Игра моя въ лекаря не была дѣтскимъ паясничаньемъ и шутовствомъ. Въ ней выражалось подражаніе уважаемому, и только какъ подражаніе она была забавна, да и то для другихъ, а для меня болѣе занимательна.

Не знаю, почему бы, въ самомъ дѣлѣ, уваженіе и возбуждаемый имъ интересъ, привязанность и любовь къ уважаемому предмету не могли быть мотивомъ дѣтскихъ игръ, когда на немъ основаны игры взрослыхъ. Чему, какъ не этому мотиву, обязаны своимъ происхожденіемъ представленія въ лицахъ изъ жизни Спасителя у католиковъ, сцены изъ библейской исторіи на театрѣ прошедшихъ вѣковъ, и теперь еще разыгрываемыя евреями въ праздникъ Аммана?

Какъ бы то ни было, но игра въ лекаря такъ полюбилась мнѣ, что я не могъ съ нею разстаться и вступивъ (правда, еще ребенкомъ) въ университетъ.

Увидѣвъ случайно, въ первый же годъ моего пребыванія въ университетѣ, камнесѣченіе въ клиникѣ, я на святкахъ у однихъ знакомыхъ вздумалъ потѣшить присутствующихъ молодыхъ людей демонстраціею на одномъ изъ нихъ видѣнной мною недавно операціи; я досталъ гдѣ-то бычачій пузырь, положилъ въ него кусокъ мѣла, привязалъ пузырь между ногъ, въ промежности одного смиренника между гостями, пригласилъ его лечь на столъ, раздвинувъ бедра, и, вооруженный ножемъ и какимъ-то еще—не помню—домашнимъ инструментомъ, вырѣзалъ, къ общему удовольствію, кусокъ мѣла съ соблюденіемъ Цельзова: tuto, cito et jucunde.

Я вступилъ въ школу одиннадцати — двѣнадцати лѣтъ, зная хорошо только читать, писать, считать по 4-мъ первымъ правиламъ ариѳметики и кое-что переводить изъ латинской и французской хрестоматій; но я былъ бойкій, нелѣнивый и любившій ученье мальчикъ.

Родители, и именно мать моя, имѣли, судя по нынѣшнему,

болѣе чѣмъ странное понятіе о цѣляхъ образованія. Мать считала его необходимымъ въ высшей степени для сыновей и вреднымъ для дочерей. Мальчики, по ея мнѣнію, должны бы быть образованнѣе своихъ родителей, а дѣвочки не должны были, по образованію, стоять выше своей матери; впослѣдствіи она горько раскаявалась въ своемъ заблужденіи. Отдавая такое предпочтеніе мальчикамъ, родители не пожалѣли своихъ, въ то время уже довольно ограниченныхъ, средствъ для обученія насъ двоихъ (меня и брата Амоса) въ частныхъ школахъ.

Меня отдали въ частный пансіонъ Кряжева, помѣщавшійся недалеко отъ насъ, въ томъ же приходѣ, въ знакомомъ мнѣ уже давно, по наружности, большомъ деревянномъ домѣ съ садомъ.

Какъ странна выдержка дѣтскихъ впечатлѣній! Въ эту минуту, когда я вспоминаю о пансіонѣ Кряжева, неудержимо приходитъ на память и сосѣдній домикъ дьякона, и алебастровая урна съ воткнутымъ въ нее цвѣткомъ въ окнѣ мезонина, и дьяконъ Александръ Алексѣевичъ Величкинъ за обѣднею, на амвонѣ, въ башмакахъ и черныхъ шелковыхъ чулкахъ. Онъ идетъ мимо меня съ кадиломъ и щиплетъ меня мимоходомъ за щеку, а его племянникъ, студентъ-медикъ Божановъ, выставляетъ на окнѣ, къ великому соблазну молельщиковъ, возлѣ урны черепъ — и киваетъ имъ, заставляя браниться и креститься проходящихъ въ церковь и изъ церкви людей; вслѣдъ за этимъ тотчасъ же припоминается и старый, страдавшій пляскою св. Вита, священникъ Троицы въ Сыромятникахъ; онъ едва стоитъ, безпрестанно вздрагиваетъ, что-то мычитъ про себя, а все служитъ и служитъ.

Почему и для чего уцѣлѣли всѣ эти впечатлѣнія, да такъ, что воспоминаніе объ одномъ неминуемо влечетъ за собою и цѣлый рядъ другихъ? Отчего многое другое, несравненно болѣе значительное по содержанію и слѣдствіямъ, безвозвратно исчезло изъ хлама никому ненужныхъ, пошлыхъ впечатлѣній дѣтства?

Но вотъ я представляюсь Василью Степановичу Кряжеву; предо мною стоитъ, какъ теперь вижу, небольшой, но плот-

ный господинъ съ краснымъ, какъ піонъ, лицомъ; волоса съ просѣдью; на большомъ, усаженномъ угрями, носѣ серебряныя очки; изъ-подъ нихъ смотрятъ на меня блестящіе, умные, добрые, прекрасные глаза, и я люблю вмѣстѣ съ ними и это багровое, какъ піонъ, лицо, и бѣлыя руки, задававшія не разъ пали моимъ рукамъ; слышу симпатичный, но пронзительный и сотрясающій дѣтскія сердца голосъ; и, слыша этотъ грозный нѣкогда голосъ, вижу себя, какъ на-яву, прыгающимъ по классному столу, подъ аплодисменты сидящихъ по обѣимъ сторонамъ стола зрителей: это ученики, соскучившіеся ждать учителя; вижу—дверь разверзается, очки, красное лицо; несутся по классу приводящіе въ ужасъ звуки; я проваливаюсь чрезъ столъ, и затѣмъ уже ничего не помню:—пали линейкою и стояніе на колѣняхъ безъ обѣда сливаются въ памяти съ подобными же наказаніями за другіе проступки.

Да, В. С. Кряжевъ, какъ я теперь понимаю, былъ замѣчательный педагогъ въ свое время; энергическій, но гуманный; онъ сѣкъ, и то только два раза въ годъ, не болѣе двухъ, уже извѣстныхъ намъ, другимъ ученикамъ, своею склонностью къ этого рода наказаніямъ; когда эти два искателя сильныхъ ощущеній вызывались изъ класса наверхъ къ Василію Степановичу, мы знали уже, въ чемъ дѣло, и, ухмыляясь или же скорчивъ серьезную мину, посматривали другъ на друга.

Пали линейкою по ладонямъ, впрочемъ въ умѣренныхъ пріемахъ, стояніе на колѣняхъ, оставленье безъ одного кушанья, рѣдко безъ всего обѣда, и, наконецъ, арестъ въ классной комнатѣ во время прогулокъ и игръ въ саду,—вотъ всѣ наказанія, которымъ мы подвергались, и я не помню ни разу, чтобы мы роптали на несправедливость или жестокость.

В. С. Кряжеву было уже за пятьдесятъ; женатъ былъ на нѣмкѣ такихъ же лѣтъ и бездѣтенъ. Жена его Анна Ивановна, съ важною физіономіею, также въ серебряныхъ очкахъ, какъ и самъ Кряжевъ, памятна мнѣ по двумъ впечатлѣніямъ, сдѣланнымъ на меня: во-первыхъ, ея дебелыми и выставленными для лобызанія руками; къ нимъ прикладывались всѣ мы ежедневно послѣ обѣда; а во-вторыхъ—добродушною ласкою, расточавшеюся этою почтенною дамою всѣмъ оставленнымъ безъ прогулки или безъ обѣда ученикамъ.

Анна Ивановна Кряжева считала себя неразлучною съ пансіономъ особою. Шли ли мы за обѣдъ, или въ церковь — Анна Ивановна была всегда тутъ-какъ-тутъ, вмѣстѣ съ мужемъ или одна.

Я былъ полупансіонеръ и обѣдалъ въ пансіонѣ. Училище наше, вѣрно, пользовалось порядочною репутаціею въ Москвѣ; въ немъ учились дѣти значительныхъ дворянскихъ фамилій и богатыхъ купцовъ. Я засталъ Мельниковыхъ (братьевъ бывшаго министра путей сообщенія), Ключарева, князя Волконскаго. Обликъ всѣхъ ихъ сохранился ясно въ моей памяти, можетъ быть, потому, что Мельниковы (изъ нихъ одинъ уже не учился, а только жилъ въ пансіонѣ) отличались отъ меня лѣтами, — они уже были юноши лѣтъ шестнадцати-семнадцати,—занятіями и искусствомъ танцовать матлотъ; Ключаревъ—близорукостью и искусствомъ рисовать головки; а Волконскій — пажескимъ мундиромъ, въ который онъ облекался въ торжественные дни, и весьма интимнымъ знакомствомъ съ незнакомыми мнѣ вовсе розгами; не проходило мѣсяца, въ который бы онъ не призывался Васильемъ Степановичемъ наверхъ для экзекуціи.

Наши учители, сколько я могу судить теперь, были всѣ очень порядочные люди, и за исключеніемъ священника и учителя рисованія, какого-то Евграфа Степановича,—и порядочные педагоги. Самъ Кряжевъ умѣлъ такъ учить, что нѣкоторые его уроки мнѣ и теперь еще памятны. Какъ будто слышу еще его декламацію изъ Лафонтэна:

Triomphez, belle rose, vous montez seule les caresses de Zéphyr.

Знанія новыхъ языковъ Василья Степановича были для насъ предметомъ удивленія; онъ издалъ учебники французскаго, нѣмецкаго, англійскаго и едва-ли еще не итальянскаго языковъ; самъ преподавалъ намъ эти языки, и я въ теченіе года, благодаря его урокамъ, могъ уже довольно свободно читать, то-есть читать и понимать неизбѣжнаго „Телемака“ и другія дѣтскія книги. Ученье нѣмецкому языку шло какъ-то вяло; но все-таки я узналъ его настолько, что кое-какъ, съ грѣхомъ пополамъ и съ помощью лексикона, могъ добраться иногда до

смысла и въ нѣмецкой книжкѣ. И вдругъ, при такомъ слабѣйшемъ знакомствѣ съ языкомъ, Богъ знаетъ какъ и почему, заучилась и осталась съ тѣхъ поръ въ памяти одна строфа изъ Шиллера:

So willst du treulos von mir scheiden, etc.

Странное дѣло! Я Шиллера читалъ въ первый разъ въ Дерптѣ въ 1830-хъ годахъ; въ московскомъ университетѣ я не читалъ ни одной нѣмецкой книги, и когда поѣхалъ въ Дерптъ, то съ трудомъ могъ прочесть безошибочно нѣсколько строкъ, а между тѣмъ навѣрное знаю и помню, что, пріѣхавъ въ Дерптъ, я зналъ наизустъ семь, восемь этихъ стиховъ изъ Шиллера. Откуда взялась такая выскочка въ памяти?

Учителя исторіи, географіи и математики, братья Терехины, были вѣрно не худые педагоги, если и то немногое, что я узналъ отъ нихъ въ два года, не совсѣмъ еще вышло изъ памяти, несмотря на то, что цѣлый десятокъ лѣтъ послѣ выхода изъ училища я не бралъ въ руки ни одной исторической и математической книги; а то, что я потомъ узналъ самоучкою, рѣзко могу еще и теперь отличить въ моей памяти отъ моего школьнаго запаса; помню еще разсказы Терехина объ Аннибалѣ, Сципіонѣ, о причинахъ второй пунической войны; до императоровъ я въ пансіонѣ не дошелъ, и познакомился съ ними гораздо позже.

Изъ уроковъ математики Терехина осталось, правда, еще менѣе въ моемъ запасѣ; но это потому, что въ школѣ я былъ лучшимъ ученикомъ исторіи и русской словесности, а не математики. Между тѣмъ едва-ли у меня нѣтъ математической жилки; но она, мнѣ кажется, развивалась медленно, съ лѣтами, и когда мнѣ захотѣлось, и даже очень, знать математику — было уже поздно.

Основываясь на собственномъ опытѣ и на многихъ другихъ примѣрахъ, я считаю математику такою наукою, склонность и способность къ которой не всегда, какъ полагаютъ многіе, развивается въ раннихъ лѣтахъ; ея изученіе требуетъ особаго рода внимательности, слишкомъ разсѣянной у способныхъ дѣтей, и чѣмъ живѣе способный ребенокъ, чѣмъ болѣе предметовъ, препятствующихъ сосредоточенію его внимател-

ности, тѣмъ легче можно ошибиться въ діагнозѣ, не узнавъ во́-время и его способности къ математикѣ. Между тѣмъ развить во́-время у способнаго ребенка математическую жилку— важное дѣло, сильно вліяющее на будущность.

Сколько я помню, мнѣ особливо не нравился урокъ алгебры. И можно ли возбудить внимательность ребенка отвлеченнымъ предметомъ, не объяснивъ его значенія и наглядиаго примѣненія, да еще въ наукѣ, не допускающей воздѣйствія на внимательность словомъ? Еслибы меня не учили въ одно и то же время и извлеченію кубическихъ корней, и алгебрѣ, и геометріи, а заняли бы мое вниманіе постепенно однимъ предметомъ за другимъ, то я убѣжденъ, что изъ меня вышелъ бы не плохой математикъ, каковъ я есмь.

Геометрію я любилъ, но, усталый отъ непонятной алгебры, пропускалъ многое безъ вниманія и на урокѣ геометріи; а то, что́ слушалъ со вниманіемъ, удержалъ въ памяти и до сихъ поръ, и на вступительномъ экзаменѣ въ московскій университетъ получилъ даже отъ Чумакова, профессора математики, похвалу за то, что безъ доски, чертя рукою по воздуху, объяснялъ свойства параллельныхъ линій и Пиѳагоровыхъ штановъ.

Въ ученьи географіи былъ, въ то время, огромный пробѣлъ, сильно тормазившій распространеніе знаній о землѣ въ учащемся поколѣніи. Тормазъ этотъ существовалъ еще и чрезъ тридцать лѣтъ послѣ того, какъ я вышелъ изъ школы.

Физическая географія, самая инструктивная и основная, какъ знаніе, была въ полномъ пренебреженіи со стороны учебнаго вѣдомства. Въ то время, когда еще читались и были въ ходу такія книги, какъ „Разрушеніе Коперниковой системы“ (изданное въ Москвѣ священникомъ Сокольскимъ), въ школѣ мы получали какія-то отрывочныя понятія о земномъ шарѣ, и никто изъ воспитателей не обращалъ нашего вниманія на сводъ неба.

Я ни разу не помню, чтобы кто-нибудь въ лунную и звѣздную ночь указалъ намъ на небесный сводъ; самый земной шаръ, хотя и изображенный на классномъ глобусѣ, былъ для насъ скорѣе чѣмъ-то отвлеченнымъ, нежели наглядным. О нѣмыхъ картахъ, планетахъ, и т. п., не было и помину.

Нельзя себѣ представить, съ какимъ живымъ любопытствомъ я, чрезъ двадцать-пять лѣтъ послѣ моего выхода изъ школы, въ первый разъ въ жизни, разсмотрѣлъ нѣмыя карты частей свѣта, и какъ новы показались мнѣ представленія земли отъ взгляда, брошеннаго на эти карты.

И долго еще и послѣ того, пригоднѣйшая для развитія дѣтскаго соображенія и внимательности наука была еще въ непонятномъ пренебреженіи и забытьи.

Что́, казалось бы, всего проще, естественнѣе и дѣльнѣе, какъ не обращеніе перваго же вниманія ребенка на обитаемую имъ мѣстность, на кругозоръ, небесный сводъ, на то именно, что́ подъ нимъ, вокругъ его и надъ нимъ; на настоящее, а не на прошедшее; между тѣмъ именно географія позже всѣхъ другихъ наукъ сдѣлалась воспитательною. Это не даромъ,—есть причина. Какая?

Начать съ того, что географія, въ современномъ ея видѣ, наука относительно новая, а способы ея изученія почти новорожденные, тогда какъ другіе предметы дѣтскаго и школьнаго образованія стары, и, за исключеніемъ немногихъ, ровестники европейской цивилизаціи.

Сверхъ того, математическая сторона географіи требуетъ нѣкотораго умѣнья оріентироваться и представлять себѣ отношенія различныхъ величинъ и разстояній; а въ раннемъ дѣтствѣ, если и можно у ребенка развить эти способности, то не иначе, какъ черезъ-чуръ сосредоточивая его внимательность туда именно, куда она всего менѣе влечется.

Чувственная внимательность въ раннемъ возрастѣ, сама по себѣ, вся обращена на ближайшіе, окружающіе ребенка, или кажущіеся ему близкими, предметы; а въ то же время развивающееся воображеніе привлекаетъ ее въ отдаленное пространство и время, то-есть въ недѣйствительность; происходитъ нѣчто въ родѣ антагонизма между двумя влеченіями или токами внимательности. Съ одной стороны, глазъ ребенка занятъ разсматриваніемъ новыхъ или привлекательныхъ для него формъ, цвѣтовъ, движеній окружающихъ предметовъ; а съ другой стороны — слово увлекаетъ его въ далекія страны и въ давно прошедшія времена, — вонъ изъ окружающей дѣйстви-

тельности. Слишкомъ напрячь въ одну сторону или сосредоточить внимательность въ этомъ періодѣ развитія—значило бы насиловать ее и мѣшать нормальному ходу ея развитія.

Слово, съ самыхъ раннихъ лѣтъ, оказывало на меня, какъ и на бо́льшую часть дѣтей, сильное вліяніе; я увѣренъ даже, что сохранившимися во мнѣ до сихъ поръ впечатлѣніями я гораздо болѣе обязанъ слову, чѣмъ чувствамъ. Поэтому немудрено, что я сохраняю почти въ цѣлости воспоминанія объ урокахъ русскаго языка нашего школьнаго учителя Войцеховича; у него я, ребенокъ двѣнадцати лѣтъ, занимался разборомъ одъ Державина, басенъ Крылова, Дмитріева, Хемницера, разныхъ стихотвореній Жуковскаго, Гнѣдича и Мерзлякова. О Пушкинѣ въ школахъ того времени, какъ видно, говорить не позволялось.

Войцеховичъ умѣлъ отлично занимать насъ разсказами изъ древней и русской исторіи, заставляя насъ къ слѣдующему уроку написать, что́ слышали, и изложить свое мнѣніе о героѣ разсказа, его дѣйствіяхъ, характерѣ, и т. п. Ни на одинъ урокъ я не шелъ такъ охотно, какъ въ классъ Войцеховича; въ немъ все было для меня привлекательно. Серьезный, задумчивый, высокій и нѣсколько сутуловатый, съ добрыми, голубыми глазами, Войцеховичъ (кандидатъ московскаго университета) одушевлялся на урокѣ такъ, что одушевлялъ и насъ; я былъ, судя по отличнымъ отмѣткамъ, которыя онъ мнѣ всегда ставилъ въ классномъ журналѣ, лучшимъ изъ его учениковъ и, должно быть, этимъ держалъ на караулѣ мою внимательность.

На урокахъ же Войцеховича я познакомился съ „Письмами русскаго путешественника“ и русскою исторіею Карамзина (тогда еще новинкою), „Пантеономъ русской словесности“, и читалъ потомъ, въ не-классное время, съ увлеченіемъ эти книги. Я могу сказать, что и русскую исторію узналъ почти впервые изъ уроковъ русскаго языка; особаго преподавателя русской исторіи, сколько помню, не было въ пансіонѣ Кряжева.

Нашъ славный, добрый Войцеховичъ, должно быть, не уцѣлѣлъ; я его видѣлъ потомъ въ университетской клиникѣ съ костоѣдою (вѣроятно, туберкулозною) тазобедреннаго сустава; посѣщеніемъ моимъ онъ былъ и тронутъ, и удивленъ, услы-

шавъ, что я попелъ по медицинскому, а не по словесному факультету.

Но если я не могу равнодушно вспомнить о педагогическихъ достоинствахъ Войцеховича и всегда съ благодарностью произношу его имя, то такъ же неравнодушно, только съ другой стороны, вспоминаю учителя латинскаго языка, попа, — имени не помню; за доброту и чрезмѣрную мягкость души, пожалуй, приличнѣе бы было его величать священникомъ, но за ученье онъ не стоитъ названія и попа, а развѣ только попика. Это было какое-то вялое, безжизненное, хотя и добрѣйшее существо, среднихъ лѣтъ и довольно благообразное въ своей темно-лиловой шелковой рясѣ. Боже мой! что это были за уроки! Если бы я самъ, любя—почему? и самъ не знаю—латинскій языкъ, не занимался дома, не зубрилъ грамматики Кошанскаго, многаго вовсе не понимая, и не переводилъ кое-чего изъ Корнелія Непота и латинской хрестоматіи, съ помощью лексикона Ѳомы Розанова, то вѣрно не зналъ бы и того немногаго изъ латыни, съ которымъ я поступилъ въ московскій университетъ.

Между тѣмъ, къ моему горю, я убѣжденъ, что моіъ бы быть порядочнымъ латинистомъ; впослѣдствіи, познакомившись нѣсколько съ римскими классиками, я одинъ, безъ руководителя, съ наслажденіемъ, читалъ ихъ; не прощу, однако-же, никогда ни попу-учителю, ни Горацію за трудъ, истраченный мною безуспѣшно въ пріискахъ сокровеннаго смысла его стиховъ.

Впрочемъ, къ утѣшенію моему, я убѣдился, что не меня одного ничему не научили попы; въ московскомъ университетѣ я встрѣчалъ потомъ и старыхъ семинаристовъ, не больше моего успѣвшихъ въ пониманіи Горація. Какъ предъ собою вижу стараго студента изъ семинаристовъ, медика Тихомірова, памятнаго для меня, тогда безусаго мальчика, и по темно-синему цвѣту выбритыхъ щекъ и подбородка; я, шестнадцатилѣтній мальчишка, вздумалъ составлять по какимъ-то старымъ книгамъ руководство къ химіи для студентовъ и, написавъ предисловіе, показалъ его другому товарищу-студенту; тотъ, какъ видно, бывъ гораздо умнѣе меня, написалъ на заглавномъ листѣ моей рукописи: nonum prematur in annum, Horat.; только промахнулся на орѳографіи, и вмѣсто annum хватилъ: anum. Прочи-

тавъ это, я погрузился въ размышленіе: что́ сей сонъ значитъ, и приглашаю на совѣтъ стараго Тихомірова; онъ, читая, также погружается въ раздумье.

— „Знаете, — говоритъ мнѣ,—вѣдь это неловко, сально выходитъ: prematur, знаете, прижимается какъ бы или втискивается что-ли, а потомъ in anum; это, это—сально; не обращайтесь съ этимъ господиномъ; онъ долженъ быть свинья“.

Такъ мы и не разобрали Горація, и только черезъ нѣсколько дней послѣ этого происшествія я раскусилъ, въ чемъ дѣло, и поблагодарилъ разумнаго, хотя и незнакомаго съ римскою орѳографіею, товарища за добрый совѣтъ.

Казалось бы, каждый учитель, прошедшій самъ школу, долженъ и по себѣ знать, какъ долго, на цѣлую жизнь нерѣдко, остаются въ памяти добрыя и худыя дѣла наставниковъ; а между тѣмъ большей части наставниковъ отъ этого ни тепло, ни холодно, и такіе попы, какъ мой школьный учитель латыни, и теперь еще не рѣдкость.

Про законъ Божій я и не говорю; уже, конечно, не катехизисомъ и не священною исторіею, въ ея школьномъ нарядѣ, могъ онъ привлечь мое вниманіе, когда не умѣлъ этого сдѣлать классицизмомъ.

Изъ этого обзора моихъ школьныхъ занятій я заключаю, что первоначальное мое ученіе не основывалось ни на какомъ принципѣ; оно не было ни классическимъ, ни реальнымъ. Всего болѣе знанія я вынесъ по двумъ языкамъ: русскому и французскому; на обоихъ могъ я читать и понимать читанное, могъ и писать. Къ нашему позору, насъ учили также и говорить по-французски, давая марки, оставляя безъ одного купанья и безъ гулянья за несоблюденіе правила говорить внѣ классовъ между собою по-французски.

Да, я считаю позоромъ для насъ, русскихъ, что наши родители, воспитатели и само правительство поощряли эту поскудную, поплую и вредную мѣру. Говорить дѣтямъ и недѣтямъ одной народности между собою на иностранномъ языкѣ, безъ всякой необходимости, для какого-то безцѣльнаго упраж-

нія—это, по моему, верхъ нелѣпости, и, главное, нелѣпости вредной, мѣшающей развитію и мысли, и отечественнаго языка. Много я думалъ объ этомъ при воспитаніи моихъ дѣтей; я имѣлъ средства воспитать ихъ въ упражненіяхъ на французскомъ діалектѣ, и, вѣроятно, этимъ повліялъ бы благотворно на ихъ будущую карьеру въ нашемъ обществѣ; но я не могъ преодолѣть въ себѣ отвращенія отъ этого нелѣпаго способа образованія дѣтей. Мыслить на двухъ и трехъ языкахъ, и даже мыслить на винегретѣ изъ трехъ языковъ, каждому изъ насъ возможно; но чтобы мыслить всесторонне, ясно и отчетливо на чужомъ языкѣ, нужно знать его съ пеленокъ, точно такъ же, какъ свой родной, и, пожалуй, лучше своего, или же изучить этотъ чужой языкъ глубоко, какъ изучитъ его тотъ, кто видитъ въ немъ единственное средство къ пріобрѣтенію какого-нибудь знанія или къ достиженію какой-либо цѣли жизни.

Такъ, два и три языка дѣлаются родными для жителей пограничныхъ провинцій, для дѣтей смѣшанныхъ браковъ; а изъ обитателей окраинъ современные евреи мыслятъ и говорятъ на какой-то смѣси семитическаго и двухъ или трехъ арійскихъ нарѣчій.

Такъ, въ проплыхъ вѣкахъ, всѣ почти ученые и передовые люди разныхъ націй, изучившіе глубоко латинскій языкъ, и мыслили на немъ, и писали, и говорили между собою.

Русскія дѣти не подходятъ ни подъ одно изъ этихъ условій; всѣ почти учатся разговорному чужому языку въ пяти—восьмилѣтнемъ возрастѣ у боннъ, гувернантокъ и гувернеровъ. Между тѣмъ, еще задолго до этого возраста, какъ только ребенокъ начинаетъ лепетать,—родное слово вступаетъ въ неразрывную связь съ племенною мыслью (о наслѣдствѣ въ юности которой едва-ли можно сомнѣваться). Возможно ли же чужому слову нарушать это право родного языка безъ вреда для процесса мышленія и не нарушая его нормальнаго развитія?

Вредъ состоитъ въ томъ, что внимательность ребенка, вмѣсто того, чтобы постепенно углубляться и сосредоточиваться на содержаніи предметовъ, и тѣмъ служить къ развитію процесса мышленія, остается на поверхности, занимаясь новыми именами знакомыхъ уже предметовъ.

Такимъ образомъ, стараясь сдѣлать для дѣтей языкъ своимъ или почти роднымъ, мы въ большей части случаевъ достигаемъ одного изъ двухъ результатовъ. Или ребенокъ, излагая что-либо на чужомъ языкѣ, будетъ только пріискивать слышанныя и затверженныя имъ иностранныя слова и фразы, для замѣны ими словъ и выраженій родного языка; въ этомъ случаѣ внимательность ребенка привыкаетъ останавливаться на одномъ внѣшнемъ, на формѣ слова, и оставляетъ содержаніе въ сторонѣ, нетронутымъ; впослѣдствіи это направленіе внимательности можетъ сдѣлаться привычнымъ, а мышленіе — поверхностнымъ и одностороннимъ. Или же ребенокъ, дѣйствительно, начнетъ думать не на одномъ своемъ, а на разныхъ языкахъ; но на каждомъ изъ нихъ, въ большей части случаевъ, кругозоръ мышленія едва-ли можетъ быть всесторонним и неограниченнымъ.

Только геніальные люди, и то въ исключительныхъ случаяхъ, могли мыслить и излагать свои мысли о различныхъ предметахъ знанія на чужомъ языкѣ такъ же полно, такъ же глубокомыслѣнно и ясно, какъ и на своемъ родномъ.

Но и даровитые люди, изучавшіе съ малолѣтства практически и научно французскій языкъ, думали и писали на немъ, какъ на родномъ, только въ извѣстномъ, ограниченномъ кругѣ мышленія. Пушкинъ, напримѣръ, писавшій и говорившій по-французски не хуже природнаго француза, былъ бы, вѣрно, плохимъ французскимъ поэтомъ.

Бисмаркъ при мнѣ говорилъ, что ему такъ же легко написать дипломатическую ноту по-французски, какъ и по-нѣмецки, хотя ему легче говорить и писать на родномъ языкѣ. И про себя я знаю, что во время моей профессуры въ Дерптѣ мнѣ легче было читать и писать о научныхъ (медицинскихъ) предметахъ по-нѣмецки, чѣмъ по-русски; читая и пиша, я и думалъ по-нѣмецки; нѣмцамъ, читавшимъ писанныя мною лекціи, приходилось исправлять весьма немногое, только нѣкоторые падежи и незначительныя слова,—между тѣмъ говорить и писать по-нѣмецки о другихъ предметахъ я могъ не иначе, какъ переводя съ русскаго на нѣмецкій языкъ.

Я полагаю, что такой степени знанія иностраннаго языка совершенно достаточно для каждаго, видящаго въ языкознаніи

лишь одно научное средство къ обладанію знаніемъ самаго предмета. Достигнуть же этой степени знанія языка можно и не рискуя нарушить у ребенка нормальный ходъ развитія внимательности и мышленія. Я вынесъ изъ школы только одну нѣмецкую грамоту, да и то произношеніе мое было черезъчуръ неправильно, и несмотря на это, начавъ учиться понѣмецки, — уже бывъ лекаремъ въ семнадцать лѣтъ, — я въ теченіе пяти лѣтъ могъ уже читать, говорить и писать понѣмецки весьма порядочно.

И я остаюсь убѣжденнымъ въ томъ, что нашъ обычный способъ обученія малолѣтокъ — едва не грудныхъ младенцевъ—французскому и англійскому языкамъ—нелѣпъ; онъ позоритъ національное чувство, нисколько не содѣйствуя къ распространенію научныхъ знаній и къ расширенію мыслительнаго кругозора въ нашемъ отечествѣ. Этотъ способъ можно бы было предоставить только однимъ, готовящимся съ пеленокъ вступать въ ряды извѣстнаго рода спеціалистовъ (дипломатовъ, драгомановъ, посланниковъ и царедворцевъ).

Можно ли ждать быстраго прогресса въ развитіи родного языка, племенной мысли, науки и искусства въ странѣ, гдѣ около трона, въ высшихъ кругахъ, въ салонахъ, дѣтскихъ, будуарахъ, слышится говоръ туземцевъ на чуждомъ имъ языкѣ и гдѣ знаніе его сдѣлалось не средствомъ, а цѣлью образованія?

Это превращеніе временнаго средства въ конечную цѣль лишило насъ научной и классической литературы, послуживъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, препятствіемъ распространенію охоты къ чтенію на русскомъ языкѣ. Научались европейскимъ языкамъ съ малолѣтства только въ верхнихъ слояхъ общества и только для себя, для своего круга, для салона, для каррьеры, такъ какъ знаніе иностраннаго языка было вывѣскою образованія; а кто изъ этого класса хотѣлъ читать, тому, конечно, не нужны были книги на русскомъ языкѣ. А когда къ образованію начали стремиться и низшіе общественные слои, не имѣвшіе возможности познакомиться съ европейскими языками въ дѣтствѣ, то нечего было читать; научная и классическая литература не существовала на русскомъ языкѣ; въ ней не было породы бѣлой кости.

И вотъ культурная часть нашего общества распалась на два слоя: верхній, обладавшій всѣми средствами къ прочному образованію, но по своему рожденію, положенію, предразсудкамъ, и т. п., не призванный къ серьезному научному труду, не нуждающійся ни въ отечественно-научной литературѣ, ни въ переводѣ на русскій классическихъ произведеній другихъ народовъ; другой слой, нижній, почти цѣликомъ составился изъ пролетаріата; безъ знанія европейскихъ языковъ, безъ всякихъ средствъ, послѣ нелѣпой школьной подготовки, вступала молодежь этого слоя въ высшія учебныя заведенія, и, желая научиться, для изученія какого бы то ни было предмета, не находила ни одного порядочнаго руководства на русскомъ языкѣ. Но на эту тему мнѣ придется еще говорить потомъ не мало.

Впрочемъ, и то сказать,—виновато въ нелѣпостяхъ нашихъ системъ образованія не столько общество, сколько внѣшнія обстоятельства при высшихъ соображеніяхъ, а чаще, кажется, при недостаткѣ и даже полномъ отсутствіи здраваго смысла.

Сверхъ многихъ незнаній, я вынесъ изъ школы и еще одно, благодаря Бога, не повредившее мнѣ въ жизни; это было незнаніе танцовальнаго искусства. Въ мое оправданіе я скажу, что еслибы нашъ танцмейстеръ Лилѣевъ и нашъ учитель-попъ перемѣнялись своими ролями, то я вѣрно бы умѣлъ и танцовать, и переводить Горація, вступая въ московскій университетъ. Хотя для обученія латинскому языку и не требовались толстыя ляжки и икры Лилѣева, а для танцевъ лиловая ряса попа не только не была нужна, но даже препятствовала бы движенію ногъ въ антраша и матлотѣ, я убѣжденъ, однако-же, что строгая выдержка, систематическая, чисто научная, послѣдовательность и энергія, которыя нашъ танцмейстеръ прилагалъ къ обученію насъ въ искусствѣ дѣлать разныя па, произвели бы на меня совершенно другое дѣйствіе, еслибы были примѣнены къ урокамъ латинскаго языка. И наоборотъ, еслибы въ танцовальномъ классѣ, гдѣ свирѣпствовалъ Лилѣевъ, предо мною явился нашъ тихій и мягкосердечный попикъ, я не бѣгалъ бы и не скрывался отъ танцовальныхъ уроковъ, какъ отъ грозы небесной.

Такимъ я остался и до сихъ поръ (1881 г.), что не могу

смотрѣть на предметы забавы и разсѣянія какъ на серьезныя дѣла. Поэтому, вѣрно, я не учился играть въ шахматы и въ карты. Картъ, исключая игры въ мельники и дурачки (въ мельники я игралъ нѣкогда, именно въ студенческіе годы, въ Дерптѣ, въ семействѣ Мойера, съ энтузіазмомъ и мастерски), я избѣгалъ и по другой причинѣ.

Когда за гробомъ отца я шелъ съ старшимъ братомъ, то онъ, со слезами на глазахъ, глубоко взволнованный, схватилъ меня за руку и сказалъ:

— „Слушай, Николай, клянись мнѣ на гробѣ отца, что не будешь никогда играть въ карты! Онѣ погубили меня“.

Я поклялся, и всю жизнь мою ни разу не садился играть ни въ какую денежную или азартную игру, и ни одной изъ нихъ не знаю; въ дураки же и мельники я умѣлъ играть еще въ дѣтствѣ.

Во время моего двухъ-лѣтняго школьнаго ученья на нашемъ семействѣ стряслась не одна бѣда.

Сначала умерла, послѣ родовъ, старшая замужняя сестра, потомъ, чрезъ годъ, умеръ въ кори мой братъ Амосъ; другой старшій братъ, Петръ, что́-то накуралесилъ по службѣ, проигравшись въ карты, женился на какой-то невзрачной особѣ безъ позволенія отца. Наконецъ, пришла бѣда, въ конецъ разорившая насъ.

Отецъ мой, несмотря на свою службу въ коммиссаріатскомъ военномъ вѣдомствѣ, навѣрное не бралъ взятокъ. Онъ получалъ хорошій доходъ отъ частныхъ дѣлъ, которыя онъ умѣлъ, какъ я слыхалъ потомъ, вести хорошо.

Существованіе наше до стряснихся надъ нами бѣдъ было вполнѣ обезпеченное, но кутежи, мотовство и растрата казенныхъ денегъ братомъ стоили отцу не мало денегъ и заботъ, а тутъ вдругъ, нежданно-негаданно, падаетъ, какъ снѣгъ, на его озабоченную голову воровство коммиссіонера Иванова, отправленнаго куда-то на Кавказъ съ порученіемъ отвезти туда 30,000 рублей. Ивановъ исчезаетъ съ деньгами, и—не знаю, на какомъ основаніи—присуждается казначей,—мой отецъ,—къ взносу значительной части этой суммы. Было ли тутъ со стороны отца какое упущеніе или несоблюденіе формальностей—

до меня не дошло, но помню, что отецъ горько жаловался на несправедливость. Въ концѣ концовъ пришлось уплатить, а для этого пришли описывать все имѣніе и все наличное въ казну; описали домъ, мебель, платье; помню, какъ матушка и сестры плакали, укладывая въ сундуки разный хламъ.

Послѣ этой катастрофы отецъ вышелъ въ отставку, занялся исключительно частными дѣлами по имѣніямъ; но прежняя энергія уже не возвращалась; пришлось войти въ долги, и въ перспективѣ открывалась бѣдность; только съ трудомъ хватало средствъ на мое образованіе, и мнѣ приходилось скоро оставить школу.

Нравственность моя много потерпѣла во время этихъ бѣдъ.

Какъ ни любила меня семья, но, разстроенная и горемычная, она не могла услѣдить за поведеніемъ живого, рѣзваго и нервнаго мальчика; къ тому же это была пора рановременнаго развитія моихъ половыхъ отправленій; меня начали интересовать портреты женщинъ, описываемые въ повѣстяхъ и романахъ, картинки съ изображеніемъ женскихъ прелестей; а тутъ подвернулся еще молодой писарь отца, какъ видно — обожатель женскаго пола, для обольщенія котораго онъ пускалъ въ ходъ гитару съ припѣвомъ: „взвейся, выше понесися, сизокрылый голубокъ“. Имя этой твари—Огарковъ—сохранилось въ моей памяти до сегодня; оно пережило и тѣ скверныя впечатлѣнія, которыми онъ развращалъ меня; разсказы его интересовали меня новизною содержанія, и я искалъ случая поговорить съ нимъ наединѣ. Какихъ сальностей ни наслышался я отъ этого пошляка! Чего ни показывалъ онъ мнѣ, и табакерки съ сальными изображеніями въ серединѣ, подъ крышкою...

Въ школѣ, которую я въ то же время посѣщалъ, шли нерѣдко, въ внѣ-классные часы, разговоры такого же рода; мы, мальчишки, толковали о прелестяхъ дѣвушекъ, видѣнныхъ нами въ церкви, въ гостяхъ, пересказывали о занятіяхъ и свойствахъ своихъ сестеръ; сообщались и болѣе глубокія свѣденія о различіи половъ; оказывалось, что каждый изъ насъ, учениковъ, успѣлъ уже пріобрѣсти дома порядочный запасъ

сальныхъ свѣденій, которыя и сообщалъ охотно и, сколько можно, наглядно своимъ товарищамъ.

Казалось бы, что, воспитанный въ домѣ весьма набожной семьи, я долженъ былъ найти въ религіи сильный внутренній оплотъ противъ напора внѣшнихъ развращающихъ меня побужденій. Но, во-первыхъ, я сказалъ уже, что эти внѣшнія побужденія совпали съ раннимъ развитіемъ половыхъ инстинктовъ. Что же касается до религіознаго вліянія, то оно было sui generis. Это важнѣйшая статья въ моей жизни.

Послѣдователи Галловой краніоскопіи вѣрно нашли бы у меня немало развитымъ органъ теософіи.

Мои религіозныя убѣжденія имѣли нѣсколько фазисовъ, и каждый изъ нихъ совпадалъ съ извѣстнымъ возрастомъ и съ нравственными и житейскими переворотами. Но не буду забѣгать впередъ и остановлюсь сначала на моей религіи при вступленіи въ юношескій возрастъ (отъ двѣнадцати до четырнадцати лѣтъ), еще живо сохранившейся въ моей памяти.

Я сказалъ, что вся наша семья была очень набожна, и всѣ ея члены, за исключеніемъ меня (а можетъ быть, и старшаго брата, умершаго пятидесяти лѣтъ отъ холеры, въ 1849 г.),— отецъ, мать и сестры—такими же набожными оставались и до самой смерти.

Покойница-матушка, умирая въ 1851 году на моихъ рукахъ, соборовалась передъ смертью, и послѣднія ея слова были: „вѣрно, я страшная грѣшница, что такъ долго мучаюсь предъ смертію“; сказавъ это, она издала послѣдній вздохъ и скончалась.

И отецъ, и мать проводили цѣлые часы за молитвою, читая по требнику, псалтирю, часовнику и т. п. положенные молитвы, псалмы, акафисты и каноны; не пропускалась ни одна заутреня, всенощная и обѣдня въ праздничные дни. Я долженъ былъ строго исполнять то же.

Я помню, какого труда мнѣ стоивало осилить акафистъ Іисусу Сладчайшему; помню, какъ непонятнымъ, но неизбѣжно-необходимымъ представлялось мнѣ чтеніе: „блаженъ мужъ, иже не иде на совѣтъ нечестивыхъ, и, живый въ помощи Вышняго, въ кровѣ (я читалъ: въ крови) Бога небеснаго водворится“.

Помню, какъ меня, полусоннаго, заспаннаго, одѣвали и водили къ заутренямъ; не разъ, отъ усталости и ладаннаго чада въ церкви, у меня кружилась голова, и меня выводили на свѣжій воздухъ.

О соблюденіи постовъ и постныхъ недѣльныхъ дней и говорить нечего. Чистый понедѣльникъ, сочельники, великій пятокъ считались такими днями, въ которые не только ѣсть, но и подумать о чемъ-нибудь не очень постномъ считалось уже грѣхомъ. Мяса въ великій постъ не получала даже и моя любимица, кошка Машка.

Евангеліе въ зеленомъ бархатномъ переплетѣ съ изображеніями на эмали четырехъ евангелистовъ, закрытое серебряными застежками, стояло предъ кивотомъ съ образами. Мнѣ его не читали ни дома, ни въ школѣ. Иногда только я видалъ отца читавшимъ изъ Евангелія во время молитвы, но потомъ оно закрывалось, цѣловалось и ставилось снова подъ образа.

Упражняясь ежедневно въ чтеніи часовника за молитвою, я зналъ наизустъ много молитвъ и псалмовъ, нимало не заботясь о содержаніи заученнаго. Значеніе славянскихъ словъ мнѣ иногда объяснялось; но и въ школѣ отъ самого законоучителя я не узналъ настолько, чтобы понять вполнѣ смыслъ литургіи, молитвъ и т. п. Заповѣди, символъ вѣры, „Отче нашъ“, катехизисъ,—все это заучивалось наизустъ, а комментаріи законоучителя хотя и выслушивались, но считались чѣмъ-то неидущимъ прямо къ дѣлу и несущественнымъ. Съ ранняго дѣтства внушено было убѣжденіе другого рода.

Слова молитвъ, также какъ и слова Евангелія, слышавшіяся въ церкви, считались сами по себѣ, какъ слова, святыми и исполненными благодати Святого Духа; большимъ грѣхомъ считалось переложить ихъ и замѣнить другими; духъ старообрядчества, только уже Никоновскаго старообрядчества, былъ господствующимъ. Самые слухи о переложеніи святыхъ книгъ или молитвъ на общепонятный русскій языкъ многими принимались за грѣховное навожденіе.

И вотъ, воспитанный въ такомъ религіозномъ направленіи, я до четырнадцати лѣтъ не слыхалъ положительно ничего вольнодумнаго; только однажды, помню, В. С. Кряжевъ ска-

залъ намъ въ классѣ, что Апокалипсисъ есть произведеніе поэта и не можетъ считаться священною книгою.

Несмотря, однако-же, на мое, вселенное во мнѣ съ колыбели, благочестіе, несмотря на набожность родителей и примѣрно хорошія отношенія ко мнѣ всей семьи, я все-таки успѣлъ научиться въ послѣдніе два года (отъ двѣнадцати до четырнадцати) такимъ вещамъ, которыя, казалось бы, должны были возбудить во мнѣ отвращеніе, а не любопытство. Вѣдь не притворялся же я, совершая ежедневно умиленныя молитвы, не смѣя и подумать о чемъ противномъ нашей обрядной вѣрѣ и церкви! Нѣтъ, это было — я помню навѣрное — самое искреннее и глубокое уваженіе ко всѣмъ таинствамъ вѣры и непритворное внѣшнее богопочитаніе. И въ тѣ же самые дни, когда я, утромъ и вечеромъ, горячо молился предъ иконами, клалъ земные поклоны и просилъ избавленія отъ лукаваго, этотъ безшабашный господинъ увлекалъ меня слушать мерзкія повѣствованія писаря Огаркова и похабныя пѣсни кучера Семена, не вытирающіяся, какъ глубоко въѣвшаяся грязь, еще до сихъ поръ изъ моей памяти.

Какое же заключеніе можно сдѣлать изъ такихъ психическихъ странностей?

Умъ простой, практическій, народный, ищущій причину вблизи дѣйствія и факта, объяснитъ легко этого рода странности. Онъ найдетъ ихъ причину во злѣ, залѣзающемъ въ насъ откуда-то извнѣ или же родящемся вмѣстѣ съ нами; а самое это зло тотчасъ же олицетворитъ, сдѣлаетъ летучимъ или ползучимъ существомъ, сидящимъ, напримѣръ, съ роду, на лѣвомъ плечѣ ребенка и нашептывающимъ ему разныя пакости. Умъ поповскій объяснитъ это, ссылаясь на непреложный для него авторитетъ, допотопнымъ происшествіемъ, случившимся у древа познанія добра и зла, что́, въ сущности, выйдетъ одно и то же, только въ другомъ видѣ, — на прирожденное намъ и извнѣ, когда-то, взошедшее въ насъ зло.

Я полагаю, что основаніемъ всѣхъ этихъ объясненій служитъ всѣми нами и каждымъ изъ насъ испытанное и постоянно испытываемое ощущеніе.

Какъ скоро я моимъ дѣйствіемъ и даже мыслью выхожу изъ обыкновенной колеи, удовлетворяя какому-либо минутному

влеченію или всецѣло поддаваясь ему, это влеченіе производитъ на меня ощущеніе чего-то внѣшняго, не моего, и меня болѣе или менѣе, хотя бы и не безъ наслажденія, насилующаго. Немудрено, что на первыхъ порахъ каждому, не отдавшемуся всецѣло этимъ влеченіямъ, они кажутся посторонними, извнѣ дѣйствующими силами и существами; нетрудно потомъ фантазіи придать имъ и страшный, хотя бы и все-таки человѣческій видъ или хоть какое-нибудь человѣческое свойство, и это, вѣроятно, потому, что мы, и обманутые ощущеніемъ внѣшности, не перестаемъ все-таки чувствовать его и внутри себя. „Я не хочу дѣлать зло и дѣлаю его“, сказалъ бывшій талмудистъ, а потомъ вдохновенный апостолъ;—а кучеръ Николай, убившій корчмаря-еврея въ Виницѣ, на вопросъ аптекаря Якубовскаго (знавшаго этого Николая давно за человѣка добраго и смирнаго) какъ это могло случиться? отвѣчалъ:

— „Чортъ попуталъ; больше ничего, какъ одинъ чортъ; ничего другого не знаю“.

И дѣйствительно, всѣ увѣряли, что кучеръ Николай никогда не былъ ни пьяницею, ни воромъ, служилъ у одного хозяина долго и честно, въ деньгахъ не нуждался, и вдругъ, ни съ того, ни съ сего, ночью пошелъ на край города въ корчму, убилъ, взялъ нѣсколько рублей изъ корчмы и ушелъ.

Эта тяга, влекущая насъ къ выходу изъ обыкновенной, проложенной нами самими или другими для насъ, колеи, есть, по моему, чисто органическая, и когда результатомъ этой тяги бываетъ зло, то и зло такое проявится также на почвѣ органической. Въ такомъ случаѣ воспитанію приходится вести борьбу съ организмомъ. До поры и до времени борьба эта можетъ вестись весьма удачно; нерѣдко воспитатель поздравляетъ уже себя съ благополучнымъ окончаніемъ своей задачи, какъ вдругъ, неожиданно, случается катастрофа.

Органическія влеченія, дремавшія въ полуразвитыхъ органахъ, пробуждаясь, заявляютъ о себѣ, какъ будто случайно, при самыхъ незначительныхъ обстоятельствахъ.

Но, можетъ быть, именно то религіозное направленіе, въ которомъ я воспитывался, не въ состояніи было предотвратить зло, нанесенное моей нравственности извнѣ; можетъ быть, другое религіозное направленіе, менѣе обрядное и болѣе за-

душевное, отстранило бы отъ меня искушеніе и одержало бы верхъ надъ развившеюся чувственностью?

Не думаю.

Религія, и именно религія христіанская, вліяетъ на нравственность дѣтей только двумя путями: вселяя въ ребенка искреннюю любовь къ Богу, страхъ божій. Я не помню, какъ и въ какой степени вселяли въ меня любовь къ Богу, и увѣренъ, что развитіе этого благодатнаго чувства въ душѣ ребенка не зависитъ отъ догматовъ и исповѣданія той или другой религіи.

Но если несомнѣнно, что начало премудрости есть страхъ Господень, то несомнѣнно и то, что это начало мнѣ было сообщено.

Я почиталъ и боялся.

Но, конечно, въ моемъ понятіи Богъ, церковь, таинства, служители церкви и обряды составляли нераздѣльное цѣлое. Полагаю, что понятіе о Богѣ и у дѣтей другихъ исповѣданій не яснѣе моихъ бывшихъ.

Я помню еще до сихъ поръ, съ какимъ страхомъ и трепетомъ я, рыдая, просилъ однажды прощенія у Бога за то, что, по увѣренію старшей моей сестры, оскорбилъ Его, отозвавшись ей—не помню, въ какихъ выраженіяхъ—о замѣченномъ мною вкусѣ причастія Св. Таинъ, послѣ пріобщенія. Какъ ни внѣшне было мое богопочитаніе, но оно, несомнѣнно, наполняло мою ребяческую душонку священнымъ трепетомъ, шедшимъ изъ глубины ея самой.

Изъ біографій итальянскихъ разбойниковъ довольно извѣстно, какъ глубокое и, конечно, своеобразное, богопочитаніе уживается въ душѣ съ самымъ жестокимъ звѣрствомъ и гнуснѣйшими пороками. Не странно послѣ этого, что и у ребенка, какимъ я былъ лѣтъ почти шестьдесятъ тому назадъ, религіозное, весьма развитое, чувство не помѣшало разной нечисти пробраться въ душу и загрязнить ее, прежде, чѣмъ она окрѣпла.

Рѣшителями судебъ въ нашемъ воспитаніи являются, какъ я убѣдился изъ опыта, индивидуальность и жизнь.

Только то воспитаніе сулитъ наиболѣе шансовъ на успѣхъ, въ которомъ воспитатели съумѣютъ приспособиться къ инди-

видуальности своихъ воспитанниковъ и ее приспособить къ жизни.

Но жизнь не осилишь, а отъ воспитателя нельзя требовать, чтобы каждый изъ нихъ,—по призванію и по-неволѣ, опытный и неопытный, умный и глупый, — вникалъ и досконально разузналъ всѣ особенности каждой воспитываемой имъ особи.

Поэтому и остается только одно наиболѣе надежное средство къ достиженію цѣли воспитанія,—это приспособленіе его не къ личной, а къ племенной, расовой или народной особенности (племенной индивидуальности).

Кто съумѣетъ это сдѣлать, тому и книга въ руки. И это дѣло нелегкое, но все же гораздо возможнѣе приспособленія воспитанія каждой особи.

Такой взглядъ нисколько не противорѣчитъ, какъ я покажу, моему высшему, общечеловѣческому идеалу воспитанія. На эту тему придется мнѣ говорить потомъ; теперь же я ее покуда оставлю и займусь предметомъ, гораздо глубже касающимся меня.

Я сказалъ уже, кажется, что мои религіозныя убѣжденія не оставались въ теченіе моей жизни одними и тѣми же. И вотъ, для уясненія себѣ всего процесса развитія этихъ убѣжденій, я долженъ себѣ ясно представить его крайніе фазисы; я припомнилъ уже, кажется, все, что́ знаю о первоначальномъ періодѣ моихъ вѣрованій; теперь исповѣдуюсь у самого себя и уясню себѣ, во что́ и какъ я вѣрую въ настоящую минуту моего бытія.

Послѣ этого изложенія, надѣюсь, мнѣ разъяснится, какими путями дошелъ я до настоящаго моего вѣрованія и какимъ колебаніямъ и переворотамъ подвергались мои религіозныя убѣжденія въ разныя времена моей жизни.

Послѣ смерти знаменитаго Іоганна Мюллера (берлинскаго физіолога) носились слухи, что онъ лишилъ себя жизни, принявъ ядъ, и причину самоубійства приписывали какому-то сдѣланному открытію въ области низшихъ организмовъ, поколебавшему будто-бы его религіозныя убѣжденія.

Іоганнъ Мюллеръ былъ ревностный католикъ (какъ это я

узналъ отъ моего стараго пріятеля, Карла Липгардта, бесѣдовавшаго нерѣдко съ Мюллеромъ). Біографъ его, Дюбуа-Ремонъ, опровергаетъ вѣрность слуха о самоубійствѣ. Но вѣренъ ли былъ или невѣренъ этотъ слухъ, онъ доказываетъ, какое огромное значеніе придаетъ все культурное общество вѣрованіямъ и такихъ ученыхъ, спеціальность которыхъ не имѣетъ ничего общаго съ церковными догматами.

И дѣйствительно, какимъ бы предметомъ ни занимался человѣкъ науки, всѣ знаютъ, что онъ никакъ не отдѣлается отъ назойливаго вопроса: во что онъ вѣритъ; а этотъ вопросъ— самый главный: согласны ли его вѣрованія съ убѣжденіями, добытыми имъ путемъ науки?

Въ отношеніи религіозныхъ убѣжденій можно раздѣлить всѣхъ людей науки на три категоріи: къ одной принадлежатъ люди, какъ покойный Рудольфъ Вагнеръ (физіологъ, спорившій съ Карломъ Фохтомъ), въ наукѣ скептики, въ дѣлѣ вѣры искренно вѣрующіе прихожане приходскихъ церквей; такіе встрѣчаются и между католиками, и между протестантами, и православными. Были знаменитые математики изъ іезуитовъ и такихъ искренно вѣрующихъ католиковъ, которые вполнѣ были убѣждены, что Пресвятая Дѣва помогала имъ въ разрѣшеніи трудныхъ задачъ и къ изобрѣтенію новыхъ геніальныхъ формулъ.

Къ другой категоріи принадлежатъ ученые, старающіеся примирить свои научныя убѣжденія съ религіозными; когда же они не достигаютъ такого примиренія, то переходятъ въ третій лагерь—ни во что невѣрующихъ, охотно открывающій къ себѣ доступъ и только-что сошедшимъ со школьной скамьи.

И вотъ, я полагаю, что каждый человѣкъ науки, и тѣмъ болѣе, конечно, и автобіографъ, обязанъ прежде всего рѣшить чистосердечно главный вопросъ жизни: къ которой изъ трехъ категорій онъ причисляетъ себя, во что онъ вѣруетъ и что признаетъ? Но, задавая себѣ этотъ вопросъ, не надо робѣть передъ собою, вилять хвостомъ и пятиться назадъ и отвѣчать самому себѣ двусмысленно.

Вилянье, нерѣшительность и неоткровенность непремѣнно приведутъ къ пагубному разладу съ самимъ собою, къ несогласію дѣйствій съ убѣжденіями, упрекамъ совѣсти и къ само-

убійству, нравственному и физическому. И прежде всего этотъ вопросъ требуетъ, чтобы его всякій для себя рѣшилъ ab ovo;— уяснилъ бы себѣ предварительно самую суть дѣла, а это значитъ—отвѣтилъ бы себѣ прямо и откровенно: вѣруетъ ли онъ въ Бога и признаетъ ли Его существованіе?

Съ церковной точки зрѣнія, это вопросъ, конечно, дерзновенный; но въ переживаемое нами время и церковь, и государство, и общество должны мириться, въ собственныхъ интересахъ, какъ съ дерзостью вопроса, такъ и съ откровенностью отвѣта.

Было время, когда вопросъ о существованіи Бога рѣшался въ Гостиномъ Дворѣ, при встрѣчѣ двухъ знакомыхъ:

—. „Слышали ли, Петръ Ивановичъ, что Бога нѣтъ?“

— „Что вы! какъ это можно?“

— „Говорю вамъ, что нѣтъ: мнѣ Иванъ Ивановичъ сказывалъ вчера“.

Это было, кажется, въ Фонъ-Визинскія времена, а то и не такъ давно (въ 1850-хъ годахъ), задавали такого рода вопросы ученикамъ (я самъ это слышалъ въ фельдшерской школѣ второго сухопутнаго госпиталя въ Петербургѣ):

— „А почемъ ты знаешь, что Богъ есть?“—и получали не менѣе умный отвѣтъ:—„Такъ стоитъ написано въ катехизисѣ“.

Во времена, когда возможны бываютъ такія проявленія грубаго кощунства въ разныхъ слояхъ общества, конечно, находятъ, пожалуй, еще оправданіе и запретительныя мѣры противъ соблазна. Культурное общество не можетъ допускать безцеремоннаго обращенія ни съ кѣмъ и въ особенности съ Богомъ.

Другое дѣло--область современной науки; тутъ не можетъ быть рѣчи о грубости нравовъ, неуваженіи къ святынѣ, а потому въ этой области никакія церковныя и государственныя запрещенія не должны, да и не могутъ, нарушать свободу совѣсти, мысли и научнаго разслѣдованія. Церковь — паству, а государство—современное общество могутъ оберегать отъ излишковъ и злоупотребленій свободомыслія только нравственными мѣрами. Это указываютъ знаменія времени. Свободомысліе никогда не слѣдуетъ одному направленію, и свободомыслящіе люди

науки всегда будутъ раздѣлены на нѣсколько разныхъ лагерей, а потому они не столько опасны, какъ насиліе и произволъ мѣръ, могущіе только соединить разномыслящихъ и сдѣлать пропаганду мнѣній болѣе вліятельною.

Итакъ, съ Богомъ—о Богѣ.

Хотя это былъ великій язычникъ, — der grosse Heide, — (какъ называли Гёте), сказавшій, что онъ говоритъ о Богѣ только съ Богомъ, но я, и христіанинъ, слѣдую его мудрому правилу и избѣгаю распространяться о моихъ задушевныхъ вѣрованіяхъ и убѣжденіяхъ даже и съ близкими ко мнѣ людьми: святое—святымъ.

Изъ моего міровоззрѣнія, откровенно изложеннаго въ этомъ дневникѣ, я заключаю, что существованіе верховнаго разума, а слѣдовательно и верховной творческой воли, я считаю необходимымъ и неминуемымъ (роковымъ) требованіемъ (постулатомъ) моего собственнаго разума, такъ что если бы я и хотѣлъ теперь не признавать существованіе Бога, то не могъ бы этого сдѣлать, не сойдя съ ума.

Къ такому твердому убѣжденію пришелъ мой семидесятилѣтній умъ послѣ разныхъ блужданій, доходившихъ до полнаго отрицанія.

Другой старческій умъ, но иного полета и высшаго разряда, сильно волновавшій мою раннюю юность, утверждалъ, что нужно бы было выдумать или изобрѣсти Бога, еслибы Онъ не существовалъ.

Несмотря на мое прежнее пристрастіе и уваженіе къ талантамъ этого старца, мнѣ все-таки было бы жаль согласиться съ нимъ и признать какое-либо сходство нашихъ убѣжденій и вѣрованій.

Онъ принималъ свой взглядъ обязательнымъ для всего образованнаго свѣта; его „выдумать, изобрѣсти“ и его „еслибы“ предполагаютъ не только возможность, но даже нѣкоторую вѣроятность несуществованія Бога. Я не навязываю никому моего убѣжденія, выработаннаго не безъ труда въ ограниченномъ складѣ моего ума. Я говорю также: еслибы, но мое еслибы предполагаетъ не возможность несуществованія Бога, а только возможность моего сумасбродства.

Воля и хотѣніе нерѣдко бываютъ безумны. Но какъ могло

придти мнѣ на мысль выраженіе ставить себя, свой образъ мыслей и выраженій, въ параллель съ изреченіями властителя думъ прошлаго столѣтія? Это я дѣлаю потому, что понятія о Богѣ не признаю спеціальностью мудрецовъ вѣка, а считаю неотъемлемою и самою дорогою собственностю каждаго мыслящаго человѣка.

То, что́ называется свободою ума и мысли, не есть какой-то безшабашный и беззаконный произволъ. Умъ всегда долженъ на чемъ-нибудь останавливаться и находить точку опоры; его станціи, можетъ быть (не знаю навѣрное), и безпредѣльны, то-есть могутъ переноситься въ безграничныхъ предѣлахъ, но все-таки будутъ для ума современнаго (существующаго въ извѣстное опредѣленное время) предѣльными.

Но эта конституція ума не въ силахъ уничтожить въ немъ стремленіе въ безвыходную безпредѣльность, и вотъ онъ самъ, управляемый своимъ habeas corpus, долженъ самъ же слѣдить за его исполненіемъ, обуздывая свое стремленіе къ безпредѣльной свободѣ; оно такъ сильно, что въ переживаемое нами время я слыхалъ отъ молодыхъ людей даже вопросы въ родѣ слѣдующаго:

— „А почему мнѣ необходимо принимать, что дважды два — четыре? почему я не свободенъ думать иначе?“ —И это не въ шутку.

Опытъ жизни и примѣры большинства обуздываютъ въ единичныхъ случаяхъ разгулъ мнимо-беззаконной свободы ума; но періодически эта тяга къ безвыходному положенію съ непреодолимою силою увлекаетъ умы цѣлаго общества.

Дѣйствіе конституціи нашего ума и его стремленія находить новыя исходныя или опорныя точки, то-есть стремиться все далѣе и далѣе въ безпредѣльность, всего яснѣе проявляются въ рѣшеніи главныхъ вопроєовъ жизни. Смотря по тому, которое изъ двухъ направленій беретъ перевѣсъ, и главный вопросъ жизни,—вопросъ о Богѣ,—рѣшается умомъ (умомъ,—не вѣрою,—nota bene!) различно.

Умъ конституціонный, ищущій постоянно исходныхъ точекъ и несклонный блуждать въ безпредѣльности, приходитъ скоро къ рѣшенію; для этого онъ находитъ исходную точку въ самомъ себѣ, переноситъ ее внѣ себя, въ самую безпре-

дѣльность, но, не оставляя своей опоры, останавливается,—nec plus ultra. Гдѣ приходится остановиться, ближе или дальше отъ себя, это будетъ зависѣть отъ склада конституціоннаго ума, насколько этотъ складъ допуститъ развиться стремленію ума въ безпредѣльность.

Умъ конституціонный и положительный можетъ быть только деистомъ и пантеистомъ. И тотъ, и другой—свою исходную точку находятъ въ творческой силѣ; но одинъ переноситъ ее внѣ міра, а другой—въ самый міръ.

Умъ, повидимому, не менѣе положительный, можетъ останавливаться и ближе, принявъ самую вселенную за Бога; въ сущности, это было бы колебаніе между пантеизмомъ и атеизмомъ, между желаніями остановиться и блуждать въ безвыходномъ хаосѣ. Между тѣмъ такое міровоззрѣніе весьма заманчиво для юнаго ума.

Я разскажу впослѣдствіи, какъ нѣкогда я самъ былъ поборникомъ этого воззрѣнія; современная философія безсознательнаго (которой я, признаюсь, не читалъ), вѣроятно, безсознательный творческій міровой умъ (или міровую жизнь) полагаетъ также въ самую вселенную. Для чего—думалось мнѣ во времена оны—служитъ предположеніе о существованіи Бога? Что объясняется въ мірозданіи? Развѣ матерія не можетъ и не должна быть вѣчною? Къ чему же лишній ипотезъ, ничего не объясняющій?

Мнѣ было 25 лѣтъ, когда эти назойливые вопросы волновали меня и—скажу въ мое оправданіе— навязались ко мнѣ malgré moi, а я въ то время былъ отчаяннымъ спеціалистомъ моей науки.

Но лѣта, а съ ними и другой образъ жизни, и другія, какъ я увѣренъ, болѣе прочныя думы убѣдили меня въ полной неосновательности этого міровоззрѣнія и наносимомъ имъ (рефлективномъ) вредѣ самому уму. Если и всякое размышленіе требуетъ исходныхъ точекъ, то при размышленіи о предметахъ отвлеченныхъ умъ, не находящій нигдѣ самой крайней и, такъ сказать, неприступной опоры, не можетъ сдѣлать ни шагу впередъ, не подвергаясь опасности потерять ее и заблудиться.

Основать же точку опоры на вселенной—значитъ, строить зданіе на пескѣ. Главная суть вселенной, несмотря на всю

ея безпредѣльность и вѣчность, есть проявленіе творческой мысли и творческаго плана въ веществѣ (матеріи); а вещество подвержено измѣненію (въ составѣ и видѣ) и чувственному (научному) разслѣдованію.

Все же измѣняющееся (какъ и въ чемъ бы то ни было) должно имѣть не одни положительныя, но и отрицательныя свойства; а все подлежащее чувственному анализу и разслѣдованію не можетъ считаться за нѣчто законченное, абсолютно вѣрное и опредѣленное.

Но молодой умъ, также какъ и желудокъ молодыхъ людей, все переваривающій, легко усвоиваетъ себѣ, какъ я узналъ изъ опыта, и пантеистическое міровоззрѣніе, не ощущая,—до поры и до времени,—несносныхъ колебаній, ни сотрясеній отъ шаткости основы.

Верховный разумъ и верховная воля Творца, проявляемые цѣлесообразно, посредствомъ мірового ума и міровой жизни, въ веществѣ,—вотъ nec plus ultra человѣческаго ума, вотъ то прочное и неизмѣнное, абсолютное начало, далѣе котораго нельзя идти положительному уму, не сбившись съ толку и съ пути.

Такимъ представляется оно моему складу ума, блуждавшаго немало въ непроходимыхъ дебряхъ и топяхъ.

Къ чести моего ума, я долженъ упомянуть, однако-же, что онъ, и блуждая, никогда не грязнулъ въ полнѣйшемъ отрицаніи недоступнаго для него и святого.

Мой бѣдный умъ, и останавливаясь на вселенной (вмѣсто Бога), благоговѣлъ предъ нею, какъ предъ безпредѣльнымъ и вѣчнымъ началомъ.

Никогда онъ, то-есть мой умъ, не доходилъ до обожанія случая, и только теперь, уже состарѣвшись, онъ съ удивленіемъ и отвращеніемъ узнаетъ, что такой апотеозъ и осуществимъ на дѣлѣ.

Юные и зрѣлые современники моей старости, живя и дѣйствуя въ эпоху лотерей, ажіотажа, рулетки и биржевой игры, пріучили себя видѣть въ случаѣ одинъ изъ главныхъ рычаговъ жизни. Немудрено, что и основу всего мірозданія и исходную точку своихъ міровоззрѣній современное поколѣніе можетъ легко перенести на случай.

При случайномъ стеченіи благопріятныхъ условій, изъ первобытной клѣтки (яйца) развивается первобытный организмъ; онъ, при новомъ случайномъ стеченіи другихъ внѣшнихъ обстоятельствъ, принимаетъ тотъ или другой видъ; этотъ видъ, въ свою очередь, случайно встрѣтивши въ окружающей его средѣ или удобство, или препятствіе, принимаетъ то высшую организацію, то, лишаясь того или другого органа, переходитъ въ другой видъ или же и исчезаетъ. Уродилось ли случайно въ какомъ-нибудь органическомъ видѣ болѣе крѣпкихъ и здоровыхъ особей, подборъ вышелъ удачнымъ—и побѣда въ борьбѣ за существованіе за этимъ видомъ.

Такъ случай за случаемъ доводитъ, переходами изъ одного вида въ другой, до вида млекопитающаго, а отсюда—рукой подать и до человѣка, умъ котораго открываетъ ему, наконецъ, что клѣтка, произведшая его (то-есть человѣкъ, а потому, пожалуй, и умъ), ничѣмъ существеннымъ не отличаясь отъ другой животной клѣтки, только благодаря окружающей средѣ, случаю и времени, вывела на свѣтъ его или ему сродственную обезьяну.

Не мнѣ быть критикомъ, противникомъ или защитникомъ и приверженцемъ современнаго ученія; въ немъ очевидна геніальность наблюдателя, умѣвшаго придать глубокое научное значеніе добытымъ имъ фактамъ и разслѣдованіямъ явленій.

Доктрина, обязанная своимъ происхожденіемъ такому геніальному наблюдателю, не могла не дать повода къ новымъ взглядамъ на органическій міръ и къ новымъ его изслѣдованіямъ.

Все это, однако-же, не сдѣлаетъ меня легковѣрнымъ. О перерожденіи и переходахъ животныхъ видовъ и родовъ говорилось не со вчерашняго дня. Извѣстно, какъ Гёте изумилъ всѣхъ своимъ восклицаніемъ, когда начался объ этомъ дѣлѣ знаменитый споръ во французской академіи между Кювье и Жофруа Сент-Илэромъ; подумали, что восклицаніе это относилось къ какому-либо міровому политическому событію.

Ламаркъ, если не ошибаюсь, говорилъ или, лучше, намекалъ и о происхожденіи человѣка отъ обезьяны; по крайней мѣрѣ этотъ взглядъ былъ въ ходу и въ 1830-хъ годахъ; я помню, какъ однажды мой дерптскій учитель, профессоръ хирургіи

Мойеръ, (въ 1832 году) ѣхавъ со мною за городомъ, удивилъ меня вопросомъ: „А какъ вы думаете, Пироговъ: не происходимъ ли мы всѣ отъ обезьянъ?“

Такъ, зная, что доктрина, занимающая современные умы, не была terra incognita и для предшественниковъ, какъ-то держишь себя осторожнѣе отъ увлеченій.

Впрочемъ я нисколько не скандализируюсь происхожденіемъ человѣка отъ обезьяны; тѣмъ болѣе чести уму какого бы то ни было существа, если оно съумѣло выйти, хотя бы и случайно, въ люди. Для меня, однако-же, не менѣе вѣроятенъ и обратный переходъ человѣка въ обезьяну,—совершающійся почти на нашихъ глазахъ.

И почему, въ самомъ дѣлѣ, въ тѣ до-историческія времена, когда наша планета производила ихтіозавровъ, мамонтовъ и другихъ великановъ, она не могла произвести и допотопнаго человѣка-гиганта, съ огромнымъ мозгомъ? А такъ какъ умъ нашъ—мозговой, то почему бы и онъ не могъ быть огромнымъ? Въ такомъ случаѣ это былъ бы совершеннѣйшій изъ людей: великъ и уменъ. Ихтіозавры и мамонты перевелись и переродились, и человѣкъ-гигантъ могъ также перевестись и переродиться въ шимпанзеевъ, орангутанговъ, буммасовъ, обитателей Новой-Гвинеи и т. п.

Принимая весьма хладнокровно взглядъ на происхожденіе мое отъ обезьяны, я не могу слышать безъ отвращенія и перенести ни малѣйшаго намека объ отсутствіи творческаго плана и творческой цѣлесообразности въ мірозданіи; а потому никогда не допущу, чтобы первобытная клѣтка и даже первобытная протоплазма не заключала въ себѣ творческой мысли о ея конечномъ назначеніи и творческаго (цѣлесообразнаго) предопредѣленія всѣхъ формъ, прототипъ которыхъ долженъ былъ изъ нея развиться.

Не странно ли, однако, что прежде вовсе нетруднымъ казалось вѣрить въ происхожденіе людей и всего животнаго царства отъ нѣсколькихъ паръ и даже отъ одной; а теперь также безъ труда вѣрятъ въ переходы и перерожденія самыхъ отдаленныхъ типовъ животныхъ?

Причину легковѣрія въ обоихъ случаяхъ я нахожу въ задней

мысли, всѣмъ подсказывающей, что самая суть дѣла ни въ томъ, ни въ другомъ взглядѣ не выясняется.

Пара ли готовыхъ уже животныхъ, или одна безформенная протоплазма вышли впервые на свѣтъ,—въ обоихъ случаяхъ остается иксъ: что́ заставило атомы вещества складываться въ обформенное существо, способное къ самостоятельному бытію, къ борьбѣ за существованіе, наслѣдственности и произведенію новыхъ себѣ подобныхъ или несходныхъ съ собою (generationswechsel) существъ.

Могу ли же я легко убѣдиться въ непогрѣшимости доктрины, увлекающіеся приверженцы которой готовы, пожалуй, поставить на пьедесталъ случай, замѣнивъ имъ Бога и отвергнувъ, какъ лишній хламъ, и планъ, и цѣлесообразность въ мірозданіи? По моему, это значило бы признать себя какими-то бастардами отъ случки случая съ случайною же природою. Но современное міровоззрѣніе имѣетъ для естественника ту привлекательную сторону, что въ немъ предполагаемое прошлое соглашено съ настоящимъ и соотвѣтствуетъ ему пока, т. е. до поры и до времени, болѣе, чѣмъ въ другихъ міровоззрѣніяхъ.

Все рождено, не сотворено. Не опредѣленная, по предначертанному творческою мыслью плану, типичность органическихъ формъ, не творческая цѣлесообразность въ устройствѣ типическихъ организмовъ и переходныхъ формъ занимаютъ первое мѣсто въ современномъ міровоззрѣніи, а внѣшнія физическія условія и случайная индивидуальность, и такъ какъ искусство перерожденія и размноженія животныхъ и растительныхъ организмовъ, съ практическою цѣлью улучшенія разныхъ продуктовъ, не достигало еще такого совершенства, какъ въ переживаемое нами время, то понятно, что добытые практическимъ путемъ весьма наглядные результаты не могли не повліять и на умственныя отвлеченія.

Отвлеченное творчество, творческіе планъ и мысль, предначертанная цѣлесообразность типовъ въ мірозданіи, все это ушло на задній планъ, и что́ достигается искусствомъ современныхъ культиваторовъ органическихъ расъ, породъ и видовъ, то въ натурѣ поручилось дѣлать случайному подбору особей и случайному стеченію разныхъ физическихъ условій.

И вотъ уже слышится и мораль переживаемаго: „а ларчикъ просто открывался“.

Но чтó же такое это случай? Какой это простой deus ex machina, играющій такую видную роль въ нашихъ дѣлахъ и мысляхъ?

Едва-ли не придется мнѣ отвѣтить на это: не знаю.

Одно изъ двухъ мнѣ кажется несомнѣннымъ: или нѣтъ вовсе случая, или между случаемъ и тѣмъ, съ кѣмъ онъ случился, есть какое-нибудь отношеніе; впрочемъ оба предположенія въ конечномъ результатѣ сводятся на одно и то же.

Видя на каждомъ шагу связь между дѣйствіями и причинами, отыскивая по безсознательному (невольному) требованію разсудка вездѣ причину, гдѣ есть дѣйствіе, мы неминуемо, роковымъ образомъ, приходимъ къ заключенію, что и между всѣми дѣйствіями и всѣми причинами существуетъ неразрывная, вѣчная связь.

При такомъ взглядѣ случай будетъ не болѣе, какъ дѣйствіе, причина или причины котораго намъ еще неизвѣстны, а для многихъ событій—можно утверждать a priori—и никогда не будутъ извѣстны. Это почему? А потому, что стеченіе обстоятельствъ въ одну бьющую точку,—случай,—бываетъ до того сложно, что для опредѣленія его понадобилось бы невозможное знаніе всего прошлаго и настоящаго.

Мы такъ привыкли къ случайностямъ, что случай кажется намъ самымъ обыкновеннымъ, естественнымъ, дѣломъ, — и это слава Богу; не живя въ миражѣ обыкновеннаго и незаслуживающаго вниманія, мы бы нажили себѣ галлюцинацію висящаго надъ нами Дамоклова меча.

Но какъ только мы остановимся, почему бы то ни было, хотя на одномъ самомъ обыкновенномъ событіи, касающемся насъ лично, то не избѣгнемъ невольнаго вопроса: причемъ я тутъ? зачѣмъ оно коснулось именно меня?

По большей части причины нашей прикосновенности къ какому-нибудь событію для насъ ясны и просты, то-есть кажутся для насъ такими; но нерѣдко причины отношеній моихъ къ событію для меня скрыты, а не быть имъ нельзя.

Молнія ударила въ мой домъ; почему именно въ мой? Я нахожу причину въ стоявшемъ возлѣ деревѣ; у меня на крышѣ

не было отвода, а на сосѣднемъ домѣ былъ. Я довольствуюсь такимъ объясненіемъ; еще болѣе буду имъ доволенъ, если молнія, градъ, саранча и тому подобныя прелести повредили не только мои, но и сосѣднія поля; тутъ ясно кажется, что существовали, хотя и неизвѣстныя, физическія условія, притянувшія сюда грозовыя облака.

Но я выигралъ въ лотереѣ билетъ; почему? Тутъ уже стой! стопъ машина! Что мой № 20 подвернулся, а не другой, это, положимъ, еще можно будетъ когда-нибудь объяснить, распутавъ узелъ разныхъ физическихъ обстоятельствъ; но почему именно мнѣ попался въ руки № 20? а между тѣмъ не можетъ быть, чтобы онъ не имѣлъ какого-либо отношенія ко мнѣ, прежде, чѣмъ онъ сдѣлалъ меня владѣтелемъ 100,000 руб., которые, выигравъ, я прокутилъ, проигралъ и въ концѣ концовъ застрѣлился. И меня послѣ этого, то-есть не послѣ, а прежде, будутъ увѣрять что я и мой № 20 не имѣли между собою ничего общаго; я могъ купить и 10, и 100, могъ выиграть и 25, и 30; да, возможное только,—случилось такъ,—могло и не случиться; но если разъ случилось, такъ какъ же безъ причины, само по себѣ? Это былъ бы нонсэнсъ, нелѣпость, абсурдъ.

Значитъ, случай—asylum ignoranti; но незнаніе наше—съ душкомъ; оно не хочетъ прямо сказать: не знаю,—а, замѣняя свое „не знаю“ словомъ: случай, оно хочетъ этимъ сказать: что я-де покуда не знаю, или не хочу знать почему; или же: это ясно для всѣхъ, почему? потому что, видите ли, случай...

Такъ что же послѣ этого ты—казуистъ или фаталистъ что-ли?—задаю себѣ вопросъ.

Я—независимый, то-есть независимый отъ предвзятыхъ мнѣній и доктринъ. Въ сужденіяхъ объ отвлеченныхъ предметахъ, въ примѣненіи ихъ къ практической жизни не нужно добиваться, во что бы то ни стало, послѣдовательности.

Сказать, что случай все рѣшаетъ въ жизни—нелѣпо; но считать нелѣпымъ прежнее убѣжденіе, что и маловажныя, повидимому, событія могутъ имѣть роковыя послѣдствія — еще болѣе нелѣпо.

Какое дѣло, что маловажному событію предшествовалъ цѣлый рядъ другихъ, скрытыхъ, но болѣе существенныхъ обстоя-

тельствъ? рѣшающимъ, и именно въ данный моментъ времени, было все-таки то, что́ называется невидною случайностью.

Скалу подтачивала цѣлые вѣка вода; зданіе гнило и подтачивалось подъ землею; вдругъ, отъ небольшого сотрясенія, въ одинъ прекрасный день они падаютъ. Что́ тутъ рѣшающее обстоятельство? Все ли равно, упади скала и зданіе днемъ ранѣе или днемъ позже? Всѣ правы, признавая самымъ главнымъ, рѣшающимъ моментомъ тотъ, когда случается роковое событіе.

У Наполеона спотыкается конь о маленькій камушекъ; Наполеонъ падаетъ и, вставъ, говоритъ, что этотъ камушекъ могъ сдѣлаться рѣшителемъ судебъ Европы. Наполеонъ былъ совершенно правъ, дѣлая рѣшителемъ судебъ въ этотъ моментъ не себя, а камень.

Случай, часто и однообразно повторяющійся, перестаетъ, въ нашихъ глазахъ быть случаемъ по двумъ причинамъ: мы получаемъ болѣе времени и средствъ для изслѣдованія и узнаемъ причину, или же мы просто привыкаемъ,—и прежде случайное, рѣдкое и необыкновенное дѣлается обыкновеннымъ и насущнымъ.

Узнавъ, что бо́льшая часть браковъ совершается осенью, не трудно было догадаться, почему; но, узнавъ по статистическимъ даннымъ, что ежегодно встрѣчается почти одна и та же цифра ошибочныхъ адресовъ на письмахъ, мы перестаемъ этому удивляться, хотя и не знаемъ причины, почему люди всегда въ извѣстной мѣрѣ разсѣянны при отправкѣ своихъ писемъ на почту.

Еще необъяснимѣе для насъ случающееся весьма нерѣдко счастье въ азартныхъ играхъ, лотереяхъ, рулеткѣ и, наконецъ, вообще счастье въ жизни; но мы только завидуемъ этому, но не удивляемся.

Необыденность, разнообразность и безпричинность — вотъ признаки случайнаго событія.

Чѣмъ чаще повторяется одно и то же случайное, то-есть безпричинное событіе, тѣмъ невѣроятнѣе кажется намъ, что оно опять повторится; о томъ, кто всякій разъ попадаетъ въ цѣль или выигрываетъ, мы не безъ злорадства думаемъ: авось (въ авосѣ всегда заключается извѣстная степень вѣроятности)

промахнется или проиграетъ; если дождь льется цѣлыя недѣли, то съ каждымъ днемъ мы все болѣе надѣемся и увѣряемся, что онъ перестанетъ.

Но всѣ наши предположенія тотчасъ же принимаютъ другой характеръ, какъ скоро мы открываемъ или только подозрѣваемъ причину событія.

Тогда, при сужденіи, мы уже не на то смотримъ—часто или рѣдко оно случается; все вниманіе наше перемѣщается съ событія на его причину.

Но причинность цѣлаго легіона міровыхъ событій и явленій можетъ быть разслѣдована только по двумъ направленіямъ: мы можемъ перемѣщать наше предположеніе объ этой причинности то въ самый субстратъ, то-есть въ вещество, служащее субстратомъ явленія, то—внѣ его; это перемѣщеніе зависитъ отъ степени точности нашихъ знаній; чѣмъ они точнѣе, тѣмъ болѣе перемѣщаемъ мы и причину внѣ явленія; всему однако же, есть предѣлъ; чѣмъ болѣе дѣлаемъ мы, напримѣръ, причину какого-либо явленія въ органическомъ мірѣ внѣшнею, тѣмъ болѣе сообщаемъ ей случайный характеръ. Поэтому-то я въ современномъ міровоззрѣніи на органическій міръ и нахожу, что въ немъ случаю предоставлена слишкомъ главная роль.

Уже давно отважные пловцы въ полярныхъ странахъ мышленія заставляли случай приводить въ порядокъ разсѣянные или скученные въ хаосѣ атомы вещества; Цицеронъ, сколько я помню, занимался уже опроверженіемъ этой знаменитой доктрины. Мнѣ кажется, въ наше время мы недалеки отъ подобнаго же ученія, только съ бо́льшими притязаніями на точность и фактичность.

Но какъ бы ни были прогрессивны и точны наши свѣденія, лишь только мы отвергнемъ присутствіе въ атомахъ первобытной органической образовательной силы, влекущей ихъ къ извѣстнаго рода группировкамъ, намъ придется все дѣло передать въ руки случая.

Еслибы въ самые первые моменты творенія, при самомъ первомъ зарожденіи органическаго вещества, атомы его не имѣли этого влеченія къ группировкѣ въ опредѣленныя типическія формы, то кто же, какъ не стихійныя силы, случайно произ-

водили тотъ или другой типъ, случайно же способствуя переходамъ и превращеніямъ одного въ другой? Откуда бы взяться различію особей одного и того же типа, еслибы случайное стеченіе разныхъ условій не благопріятствовало развитію одной особи и не задерживало развитія другой? Чему-нибудь да нужно дать предпочтеніе—предопредѣленію или случаю.

Я—за предопредѣленіе.

По моему, все, что́ случается, должно было случиться и не быть не могло.

Все случающееся связано неразрывно цѣпью причинъ съ случившимся. Эта навсегда отъ насъ скрытая цѣпь соединяетъ причины случая съ тѣмъ, что́ случается. Значитъ—фатализмъ. Да, какъ умозрѣніе, наиболѣе уживающееся въ моемъ умѣ и потому кажущееся мнѣ наиболѣе логичнымъ и послѣдовательнымъ.

Изъ этого не слѣдуетъ, однако-же, что и въ жизни, на дѣлѣ, надо проявлять это умозрѣніе и быть фаталистомъ. Во-первыхъ, не накурившись опія и не наѣвшись гашиша, нельзя быть послѣдовательнымъ фаталистомъ; во-вторыхъ, случай, несмотря на предопредѣленіе, все-таки будетъ существовать для насъ, на практикѣ, такъ какъ причинная связь событій и явленій намъ навсегда останется невѣдомою; мы всегда будемъ жить въ миражѣ; всегда будетъ намъ казаться, что все происходящее могло быть и не быть. Безъ этого миража, безъ нашего незнанія причинной связи всѣхъ событій, мы были бы самыя несчастныя существа,—фаталисты не по убѣжденію, а по-неволѣ.

Магометанинъ, — фаталистъ по убѣжденію,—не считаетъ, напримѣръ, вовсе противнымъ своему убѣжденію воевать и завоевывать, слѣдовательно дѣйствововать; а послѣдовательно строгое примѣненіе въ жизни ученія о предопредѣленіи должно вести къ полному бездѣйствію. Это лежитъ въ натурѣ всѣхъ отвлеченныхъ понятій: что, проведенныя послѣдовательно до самой крайности умозрѣніемъ, они дѣлаются непримѣнимыми къ жизни и оканчиваются тѣмъ, что́ французы называютъ aveuglement logique (логическое ослѣпленіе).

Для жизни необходимы миражи и галлюцинаціи, и мы галлюцинируемъ, не замѣчая этого, безсознательно; только

галлюцинаціи внѣшнихъ чувствъ (зрѣнія, слуха и пр.) намъ замѣтны, а галлюцинаціи воображенія, памяти, самаго ума,— замѣчаются нами только въ домахъ умалишенныхъ; между тѣмъ именно эти постоянные, безсознательные, родившіеся съ нами на свѣтъ миражи и составляютъ одну изъ главныхъ пружинъ нашего общественнаго и нравственнаго быта; живя въ этихъ миражахъ съ колыбели до могилы и потому не имѣя возможности отличить кажущееся отъ дѣйствительнаго, мы по-неволѣ,— не имѣя возможности поступать иначе,—осуждены считать кажущееся дѣйствительнымъ; увѣренность въ дѣйствительное миража, къ нашему счастію, такъ сильна въ насъ, что мы готовы за него и жертвовать самою жизнью.

По временамъ, и то при извѣстномъ складѣ ума, мы, отвлекаясь отъ практической жизни, желаемъ составить себѣ о ней стройное и послѣдовательное понятіе, — и оно-то выходитъ всегда противорѣчащимъ тому, что̀ мы считаемъ дѣйствительнымъ; такъ, умозрѣніе приводитъ насъ къ одному изъ двухъ выводовъ: или нѣтъ случая, и все, что́ есть, должно быть; или что́ есть — могло быть и не быть; соединить эти два вывода между собою и принять и то, и другое логически — абсурдъ; а въ жизни этотъ абсурдъ встрѣчается на каждомъ шагу, и встрѣча съ нимъ насъ нисколько не смущаетъ и не коробитъ; мы спокойно продолжаемъ шествовать и жить припѣваючи. И развѣ это не миражъ: разсудокъ приводитъ къ умозаключенію, противорѣчащему или наполовину, или вовсе дѣйствительному?

Выходитъ одно изъ двухъ: или нашъ умъ, съ его способностью отвлеченія и умозрѣнія, не приспособленъ къ дѣйствительности, и потому ненормаленъ, и отвлеченія его ненормальны; или же кажущееся намъ дѣйствительнымъ не таково. Я соглашаюсь скорѣе жить въ миражѣ, чѣмъ считать способность и потребность ума къ отвлеченію чѣмъ-то ненормальнымъ, хотя я и не прочь подозрѣвать въ излишкахъ этой способности удаленіе отъ нормы со всѣми его послѣдствіями.

Стопъ машина!—Я началъ за здравіе,—свелъ за упокой.

Но, бесѣдуя съ самимъ собою, почему не дать простора ходу мыслей?

И не прочитывая задовъ, я помню, что остановился на переходѣ изъ дома и школы въ жизнь, и прежде всего въ уни-

верситетскую жизнь. И вотъ теперь семидесятилѣтній старикъ, требуя отчета о вѣрованіяхъ и убѣжденіяхъ четырнадцатилѣтняго студента, считаетъ нужнымъ сначала раскрыть свои старческія, — и это для того, чтобы, сравнивъ ихъ съ своими же юношескими, представить себѣ наглядно, какимъ переворотамъ и перипетіямъ суждено было имъ подвергнуться въ теченіе шестидесяти-пятилѣтняго срока.

Но все, что я высказалъ до сихъ поръ о моихъ теперешнихъ взглядахъ на жизнь и мірозданіе, относится къ разряду убѣжденій, основанныхъ на умозрѣніи и знаніи. А это не вѣрованіе. Нужно уяснить себѣ главное въ практической жизни: во что я вѣрую?

Начну съ того, что вѣру я считаю такою психическою способностью человѣка, которая болѣе всѣхъ другихъ отличаетъ его отъ животныхъ. Чувственныя и пріобрѣтаемыя опытомъ знанія, а слѣдовательно и задатки ума, существуютъ и у животныхъ; память и воображеніе — также; соображеніе и разсудочность приспособлены у животныхъ къ ихъ жизненнымъ потребностямъ и инстинктамъ; о волѣ и говорить нечего: безъ нея животное приближается къ переходу въ растеніе. Чувства любви, надежды, радости, печали—всѣ они проявляются, хотя in statu nascente, и у животнаго. Но вѣры нѣтъ и слѣда — почему?

Причина лежитъ, по моему, какъ въ свойствахъ сознательности животнаго, такъ и въ свойствахъ нашей способности вѣровать. Животное, безъ сомнѣнія, обладаетъ сознаніемъ; оно ощущаетъ свое бытіе и свою индивидуальность (личность); но животное не сознаетъ, какъ мы, своего чувственнаго сознанія, и потому представленіе и понятіе его о своей индивидуальности не такъ ясны и отчетливы, какъ у насъ. Личность животнаго сливается въ его представленіи болѣе, чѣмъ у насъ, съ окружающимъ его міромъ; это потому, что намъ объ ощущеніи нашего личнаго бытія напоминаетъ безпрестанно сознаніе этого болѣе или менѣе сознательнаго ощущенія; эту-то нашу способность сознавать, что мы сознаемъ себя, и нужно назвать самосознаніемъ; его нѣтъ у животнаго, только въ смыслѣ ощущенія сознающаго свое бытіе; а между этимъ

чувственнымъ сознаніемъ личнаго бытія и тѣмъ, которое сознаетъ свое чувственное сознаніе бытія (самосознаніе), не мало разстоянія.

Вѣра безъ самосознанія немыслима. Свойства же нашей способности вѣровать таковы, что она проявляется для насъ какъ бы отрѣшившеюся отъ всѣхъ другихъ чувственныхъ представленій; конечно, это миражъ. Чувства, необходимыя для нашего бытія и самосознанія, безусловно необходимы и для осуществленія въ насъ способности вѣровать; но какъ скоро, при развитіи этой способности, самосознаніе наше, отвлекаясь отъ чувственнаго сознанія, перестаетъ слѣдить за нимъ и сосредоточиваетъ свою дѣятельность въ другой области представленій, — отвлеченное (болѣе или менѣе) отъ чувственнаго самоощущенія и какъ бы сосредоточенное въ самомъ себѣ, наше самосознаніе творитъ внѣ-чувственные идеалы. Къ нимъ, къ этимъ сверхъ-чувственнымъ идеаламъ, приводитъ неминуемо наша способность вѣровать, въ высшемъ ея развитіи; на низшихъ же степеняхъ развитія она еще напоминаетъ, какъ и все человѣческое, о безусловной зависимости отъ чувственнаго.

Поэтому-то я и утверждаю въ моемъ міровоззрѣніи, что cogito ergo sum Декарта справедливѣе замѣнить: sentio ergo sum. Наше sum, или „я есмь“ —только рефлексъ ощущенія бытія: съ нимъ сходны звуки, издаваемые животными, свидѣтельствующіе объ ощущеніи ими также личнаго бытія. А наше cogito есть уже самосознаніе, то-есть сознаніе ощущенія бытія, которое можетъ быть и не вполнѣ сознательное (какъ у животныхъ и у насъ при ненормальномъ состояніи тѣла или психическихъ способностей).

Если верховный разумъ Творца заблагоразсудилъ произвести человѣческій родъ отъ обезьяны, то, несомнѣнно, вѣра въ человѣкѣ развилась постепенно въ теченіе вѣковъ, изъ грубыхъ чувственныхъ представленій, взятыхъ имъ изъ окружающей природы.

Но родословная наша еще не скрѣплена и не въ рукахъ точной науки; поэтому возможно еще и невѣроятное. Въ такомъ случаѣ возможна и маловѣроятная для современной науки гипотеза о происхожденіи первобытнаго человѣческаго типа, теперь уже выродившагося, принесшаго съ собою на

свѣтъ всѣ задатки высшихъ способностей души, въ томъ числѣ и вѣры.

Какъ бы то ни было, но божествомъ каждаго культурнаго общества въ историческія времена всегда были и будутъ или идеалъ, или абсурдъ. Этимъ и отличается также вѣра отъ знанія; если вѣра и не есть непремѣнный антагонистъ знанія, а положительная (догматическая) даже требуетъ его, — основныя ихъ начала несходны между собою и никогда не сойдутся. Сомнѣніе — вотъ основа знанія.

Безусловное довѣріе къ избранному идеалу — вотъ начало вѣры. Нѣтъ нужды, если онъ будетъ абсурдомъ. Credo quia absurdum est. Въ этомъ изреченіи Тертулліана, одного изъ столповъ церкви, — глубокая правда. Истинно вѣрующему нѣтъ дѣла до результатовъ положительнаго знанія. Эта черта проводится нами замѣтно и въ простыхъ житейскихъ дѣлахъ. Если я получаю почему-либо полное довѣріе къ какой-нибудь личности, то я не разбираю болѣе — знающая она, образованная, интеллигентная или нѣтъ; я вѣрю ей на-слово, вѣрю и безъ словъ, однимъ, такъ сказать, взмахомъ души. Такъ знаніе и глубокомысленность уживаются въ одной душѣ вмѣстѣ съ вѣрою, не нуждающеюся въ знаніи. Способность познавать, основанная на сомнѣніи, не допускаетъ вѣры; но вѣра не стѣсняется знаніемъ и идетъ своимъ путемъ. Идеалъ, служащій основаніемъ вѣры, даже абсурдный, не допуская и тѣни сомнѣнія, становится выше всякаго знанія и помимо его стремится къ достиженію истины.

Карлъ Фохтъ смѣялся надъ возможностью соединить вѣру и знаніе, противорѣчащее въ своихъ результатахъ догматамъ вѣры; онъ называлъ это двойною бухгалтеріею души. Правда, глубина и многосторонность знанія, по принципу, препятствуютъ не только полету, но и развитію идеаловъ, если они не требуютъ точно-научнаго знанія. Но и то правда, что наша разсудочная послѣдовательность ограниченна.

Строго послѣдовательными могутъ быть, и то относительно, только два сорта людей: крѣпкіе духомъ и ограниченные, односторонніе спеціалисты. Когда я считалъ спеціализмъ главною цѣлью жизни, я подписалъ подъ моимъ портретомъ, литографированнымъ въ Дерптѣ, что быть послѣдовательнымъ для меня —

главное, и я былъ тогда дѣйствительно послѣдовательнымъ до чертиковъ; но по мѣрѣ того, какъ я знакомился съ жизнью и наукою—и міровоззрѣніе мое дѣлалось менѣе ограниченнымъ; я прозрѣлъ и убѣдился, что, не принадлежавъ къ разряду esprits forts, нельзя быть вполнѣ послѣдовательнымъ. Что я говорю? Можно. Но какъ? сдѣлавшись подлецомъ передъ Богомъ и передъ собою.

Да, не иначе: esprit fort,—и вѣрующій, и невѣрующій (онъ можетъ быть и тѣмъ, и другимъ) — въ сущности, всегда во что нибудь да вѣрующій, по малой мѣрѣ, убѣжденный въ чемъ-нибудь до nec plus ultra; вѣруя же, онъ можетъ быть и по-евангельски нищимъ духомъ, — и нищій бываетъ и крѣпкимъ, и сильнымъ.

Самая характерная черта крѣпкаго духомъ—та, что онъ, счастливый и несчастный, больной и здоровый, живя и умирая, продолжаетъ безтрепетно, спокойно, безъ всякаго разлада съ самимъ собою, вѣрить или не вѣрить; а не вѣрить для esprit fort—значитъ, по моему, вѣрить въ ничто, то-есть въ абсурдъ, credit quia absurdum est. Поэтому истинный, непритворный и неподдѣльный отрицатель не можетъ не быть esprit fort.

Если все это такъ, то крѣпкій духомъ не можетъ не быть и одностороннимъ; и потому онъ сходится съ разрядомъ односторонних и ограниченныхъ спеціалистовъ, которые, въ свою очередь, не есть еще евангельскій нищій духомъ.

Другое дѣло—съ людьми, не принадлежащими къ этимъ двумъ разрядамъ; между ними есть также и вѣрующіе, и невѣрующіе, пріобрѣвшіе глубокія научныя знанія, и невѣжды, и неучи. Для такихъ людей — а имя имъ легіонъ — неуступчивая, неупругая и несокрушимая послѣдовательность немыслима, и какъ ни различенъ складъ ума большинства людей изъ этого разряда, всѣ они имѣютъ то общее имъ свойство, что могутъ вести у себя и съ собою двойную бухгалтерію, какъ это названо К. Фохтомъ. Это значитъ, что личность, принадлежащая къ этой категоріи, можетъ быть въ одно и то же время и человѣкомъ науки, и человѣкомъ вѣры,—и въ вѣрѣ, и въ наукѣ вполнѣ искреннимъ; идеалъ вѣры,—собственный или сообщенный, — мирится въ такой личности съ результатами, получен-

ными путемъ науки; спокойствіе, поселяемое въ душѣ вѣрою въ идеалъ, хотя бы абсурдный, съ научной точки зрѣнія не нарушается несовпаденіемъ итоговъ двойной бухгалтеріи. Какъ не благодарить Бога тому, кто своевременно разузнаетъ въ себѣ эту чудную, примиряющую способность души; но нечего роптать, сѣтовать, сомнѣваться и насмѣхаться и тому, кто не понимаетъ или не хочетъ понять возможности существованія этого психическаго свойства.

И едва-ли крайняя послѣдовательность принадлежитъ къ нормальнымъ свойствамъ человѣческаго духа. Бѣда, если ее захочетъ себѣ навязать человѣкъ не сильный духомъ или не-ограниченный: онъ неминуемо сподличаетъ. Подлецъ, въ моихъ глазахъ, передъ Богомъ и передъ собою—тотъ, кто, отвергнувъ всѣ идеалы вѣры и ставъ въ ряды атеизма, въ бѣдѣ измѣняетъ на время свои убѣжденія, и всего хуже, если дѣлаетъ еще это тайкомъ, а убѣжденія свои разглашаетъ открыто. А такихъ господъ не мало. Къ нимъ принадлежалъ нѣкогда и я самъ, пока не познакомился съ собою хорошенько. Да, трудно простить себѣ такую подлость, хотя бы и временную, и невольную; въ продолженіе моей автобіографіи я не утаю отъ себя ничего, что̀ заслуживаетъ самобичеванія, и постараюсь напомнить себѣ, когда и какъ я былъ подлецомъ предъ Богомъ и предъ собою.

Теперь, когда я убѣдился, что люди моего склада ума не могутъ и не должны стремиться къ достиженію крайнихъ предѣловъ послѣдовательности, я сдѣлался искренно вѣрующимъ, не утративъ нисколько моихъ научныхъ, мыслью и опытомъ пріобрѣтенныхъ, убѣжденій.

Какой же идеалъ моей вѣры?

То, что называется вѣрить въ Бога, можетъ быть названо только въ томъ случаѣ, когда умъ не дошелъ еще до необходимости признавать Бога исходною точкою, своимъ nec plus ultra. Мой бѣдный, не разъ блуждающій умъ остановился на этомъ признаніи; для меня существованіе Верховнаго Разума и Верховной Воли сдѣлалось такою же необходимостью, какъ мое собственное умственное и нравственное существованіе. Но остановиться на этомъ требованіи ума еще не значило бы

для меня быть вѣрующимъ,—это значило бы быть деистомъ; а деизмъ, по моему, еще не вѣра, а доктрина.

Для нравственнаго моего быта необходимъ былъ идеалъ болѣе человѣческій, болѣе близкій ко мнѣ. Входя все глубже и глубже въ себя во время разныхъ испытаній жизни, я понялъ, наконецъ, почему культурныя племена, дошедъ до извѣстной степени человѣчности, такъ нуждаются въ идеалѣ Богочеловѣка. Слабость тѣла и духа, болѣзнь, нужда, горе и бѣды считаются главными разсадниками вѣры.

Мой знакомый докторъ Груби въ Парижѣ утверждалъ даже, что основу всякой религіи нужно отыскивать въ патологіи человѣка. Гораздо вѣрнѣе этого извѣстное: wer nicht sein Brod mit Thränen ass, и проч.

Но какъ ни сильны эти мотивы, не одинъ, однако-же, плачъ и скрежетъ зубовъ приводитъ насъ къ утѣшительному идеалу Богочеловѣка; и радость, въ двухъ ея видахъ, увлекаетъ насъ невольно къ этому же самому идеалу. Когда на душѣ тишь да гладь, да Божья благодать, или когда душа восторженна и торжествуетъ, она всегда находитъ въ этихъ двухъ видахъ радости причину сближенія съ другимъ, и непремѣнно высшимъ, какъ будто ей сочувствующимъ существомъ, началомъ,—не знаю съ чѣмъ-то.

Это сочувствующее всему человѣческому и болѣе чѣмъ знакомое со всѣми нашими слабостями, нуждами, печалями и радостями начало—такъ свойственно намъ, что олицетвореніе его дѣлается неминуемо потребностью нашего духа; олицетворенное дѣлается звеномъ, соединяющимъ насъ съ тѣмъ, предъ чѣмъ останавливается нашъ умъ, какъ предъ непостижимымъ для него абсолютомъ.

Верховный вселенскій Разумъ и Верховная Воля дѣлаются доступнѣе для насъ въ лицѣ Богочеловѣка. Идеалъ вѣры въ Богочеловѣка до того кажется мнѣ теперь свойственнымъ человѣческой душѣ, что и примѣненіе къ нему извѣстнаго изреченія Вольтера я не считалъ бы такимъ кощунствомъ, какимъ оно мнѣ представляется въ отношеніи къ Богу. Не даромъ высшія культурныя племена все свое богопочитаніе основывали на идеалѣ олицетворенія не только божества, но и каждаго изъ его свойствъ.

Олицетвореніе неминуемо входило въ идеалы вѣръ какъ политеизма, такъ и монотеизма. Іегова евреевъ, боровшійся подъ видомъ человѣка съ Іаковомъ, былъ не только Богомъ, принимавшимъ участіе въ дѣлахъ человѣческихъ вообще, но еще и Богомъ національнымъ еврейскаго народа.

Да и какъ возможно бы было человѣку, разъ принявшему существованіе Бога необходимымъ, остановиться неподвижно на одномъ деизмѣ? Это, какъ я самъ испыталъ на себѣ, значило бы насиловать себя, оставаться холоднымъ и равнодушнымъ къ Тому, Кого нашъ же умъ призналъ за начало началъ; а чтобы не быть къ Нему безразличнымъ, чтобы любить или ненавидѣть Его—необходимо дѣлается признать въ Немъ какія-либо нравственныя или матеріальныя отношенія къ себѣ. И въ самыхъ тайникахъ человѣческой души рано или поздно, но неминуемо долженъ былъ развиться осуществленный идеалъ Богочеловѣка.

Воплощеніе же этого, задолго передъ тѣмъ уже предчувствованнаго идеала, высшаго и утѣшительнѣйшаго изъ идеаловъ,—не могло не внести въ сердца людей новыя (и едва-ли до того испытанныя) чувства мирнаго блаженства и торжественнаго восторга, такъ поражающія насъ въ жизни неофитовъ и мучениковъ за вѣру. Вѣровать, что среди насъ жилъ человѣческою же жизнію нашъ Спаситель, испытавъ на себѣ муки и радости этой жизни, было такимъ, еще никогда неиспытаннымъ, счастьемъ, что всѣ проникнутые этою вѣрою не могли не ставить ее выше всѣхъ другихъ чувствъ и способностей души.

Чтó умъ съ его разъѣдающимъ анализомъ и сомнѣніемъ? Развѣ онъ успокоивалъ, подавалъ надежду, утѣшалъ и водворялъ миръ и упованіе въ душѣ? А вотъ осуществленный идеалъ вѣры — онъ проникъ всю душу, не оставивъ въ ней мѣста для сомнѣній, анализовъ и, разомъ овладѣвъ ею, вселяетъ блаженство и восторгъ.

Вотъ и я, грѣшный, хотя и поздно, но убѣдился, наконецъ, что мнѣ, при складѣ и ёмкости моего ума, не слѣдовало попадать въ колеи крѣпкихъ духомъ и односторонникъ спеціалистовъ. Жизнь-матушка привела, наконецъ, къ тихому пристанищу. Я сдѣлался, но не вдругъ, какъ многіе неофиты, и не безъ борьбы, вѣрующимъ. Къ сожалѣнію, однако-же,

еще и до сихъ поръ, на старости, умъ разъѣдаетъ по временамъ оплоты вѣры. Но я благодарю Бога за то, что по крайней мѣрѣ успѣлъ понять себя и увидалъ, что мой умъ можетъ ужиться съ искреннею вѣрою. И я, исповѣдуя себя весьма часто, не могу не вѣрить себѣ, что искренно вѣрую въ ученіе Христа Спасителя.

Прежде меня слишкомъ занимала историческая сторона христіанства. Теперь я убѣдился, что это—дѣло науки, слѣдовательно требующее и научныхъ пріемовъ; но въ наукѣ я всегда былъ и буду за полную свободу изслѣдованія, самаго чистаго и свободнаго отъ всякой задней мысли. Для того же, кто, какъ я, ищетъ въ ученіи Христа мира и утѣшенія, вся суть не въ исторіи.

Самъ Спаситель ничего не оставилъ намъ документальнаго въ научно-историческомъ смыслѣ. Мы узнаемъ о Его жизни и ученіи изъ книгъ, писанныхъ Его послѣдователями. Эти письмена дошли до насъ чрезъ тьму вѣковъ, и какихъ еще вѣковъ — язычества, сектантства, варварства, фанатизма! Кто по современно-научнымъ понятіямъ рѣшитъ теперь—что апокрифъ, что нѣтъ; безъ строгой исторической критики теперь немыслима стала никакая исторія, даже и священная. А къ какимъ результатамъ можно придти, изслѣдуя строго и свободно научно-историческіе документы христіанскаго ученія, можно узнать отъ тюбингенской школы, отъ Штрауса и Ренана, и еслибы пришлось выбирать между двумя послѣдними, то я все-таки предпочелъ бы изъ двухъ золъ выбрать меньшее, по моему мнѣнію,—это Штрауса (т.-е. его книгу: „Жизнь Іисуса Христа“, а не смерть самого Штрауса, кажется, рехнувшагося совсѣмъ при концѣ жизни).

Для меня главное въ христіанствѣ—это недостижимая высота и освящающая душу чистота идеала вѣры: на немъ цѣлые вѣка тьмы, страстей и неистовствъ не оставили ни единаго пятна; кровь и грязь, которыми міръ не разъ старался осквернить идеальную святость и чистоту христіанскаго ученія, стекали потоками назадъ, на осквернителей.

Смѣло и несмотря ни на какія историческія изслѣдованія, всякій христіанинъ долженъ утверждать, что никому изъ смертныхъ невозможно было додуматься и еще менѣе дойти

до той высоты и чистоты нравственнаго чувства и жизни, которыя содержатся въ ученіи Христа; нельзя не прочувствовать, что оно не отъ міра сего. Это не мораль, какъ желаютъ представить идеалъ ученія отвергающіе божественную натуру учителя. Мораль (отъ mos—нравъ, обычай) зависима отъ нравовъ, а нравы мѣняются со временемъ. Положительнаго, неизмѣннаго нравственнаго кодекса всего человѣчества нѣтъ, и онъ проявится развѣ когда будетъ едино стадо и единъ пастырь. Но это возможно только въ томъ случаѣ, если пастыремъ явится Богочеловѣкъ,—а тогда люди обойдутся, пожалуй, и безъ кодекса.

Хотя тюбингенская школа и бросила тѣнь историческаго сомнѣнія на евангеліе Іоанна, но слова или смыслъ словъ: „законъ (то-есть нравственный) Моисеемъ, благодать же и истина Іисусомъ Христомъ даны“ — для каждаго христіанина должны быть словами истиннаго благовѣстителя. И для меня непонятно, почему протестантскіе ультра-раціоналисты, причисляя себя къ пастырямъ христіанской церкви, становятся на точку зрѣнія Ренана и древнѣйшихъ ересіарховъ, вышедшихъ изъ паганизма и талмудизма; имъ могъ слѣдовать въ своемъ невѣріи такой протестантскій государь, какъ Фридрихъ Второй, считавшій Евангеліе только моралью,—но не пастыря какого бы то ни было христіанскаго исповѣданія. Для современнаго—именно для современнаго — христіанина признаніе божественной натуры Спасителя должно быть краеугольнымъ камнемъ его вѣры. Этимъ признается непреложность, непогрѣшимость, благодатная внутренняя истина идеала, служащаго основою христіанскаго ученія. Этимъ же оно и отличается отъ измѣнчивой, внѣшней, хотя и вполнѣ законной мірской морали. Благодатная, не подлежащая ни сомнѣнію, ни разслѣдованію истина можетъ сдѣлаться моею собственною внутреннею истиною только тогда, когда я извлекаю ее изъ высшаго источника и вѣрую, что она сообщается мнѣ путемъ благодати. Только при такой вѣрѣ я и въ состояніи отличить внѣшнюю и научную правду, требующую умственнаго анализа и свободнаго разслѣдованія, отъ той высшей, вѣчной, исполненной благодати правды, которая служитъ идеаломъ моей вѣры,—вѣры, а не одного убѣжденія.

Я убѣдился на себѣ, что, не отличая истины, добываемой путемъ анализа и разслѣдованія, отъ другой, доставляемой намъ вѣрою, нельзя быть настоящимъ вѣрующимъ. И прежде всего нужно увѣровать въ высшую благодать. Недосягаемая высь и чистота идеала христіанской вѣры дѣлаютъ его истинно благодатнымъ; это обнаруживается необыкновеннымъ спокойствіемъ, миромъ и упованіемъ, проникающими все существо вѣрующаго въ краткія молитвы и бесѣды съ самимъ собою, съ Богомъ.

Обуреваемый сомнѣніемъ и невѣріемъ, мой умъ еще нерѣдко заставляетъ меня думать, и во время этихъ бесѣдъ: — не миражъ ли все это? Мы живемъ въ какомъ-то заколдованномъ кругу, изъ котораго намъ нѣтъ выхода;—какъ тутъ отличишь: что̀ дѣйствительность, что̀ миражъ, да и зачѣмъ стараться различать неразличимое? Это—то, что̀ одинъ отецъ церкви назвалъ curiositas inutilis. А если, наконецъ, и удалось бы постигнуть, гдѣ кончается наша иллюзія и гдѣ начинается дѣйствительность, то не будемъ ли мы самыми несчастными существами, сдѣлавшись, чрезъ такое открытіе, изъ мнимо-здоровыхъ мнимо-больными? Представимъ себѣ каждаго изъ насъ лично и наглядно убѣдившимся, что его *я* — миражъ, его ощущеніе свободной воли—тоже миражъ; свобода мысли—иллюзія; представленія о безпредѣльности времени и пространства—галлюцинаціи фантазіи; идеалы вѣры, любви, красоты—такія же галлюцинаціи, иллюзіи и миражи;—что̀ вышло бы изъ личности, наглядно узнавшей и окончательно убѣдившейся, что она живетъ постояннымъ обманомъ чувствъ, ощущеній и представленій? Не привело ли бы такое знаніе къ другому, еще болѣе сумбурному, убѣжденію, что самый способъ, которымъ мы дошли до нашей истины, основанъ на такихъ же иллюзіяхъ и миражахъ?

Мнѣ кажется, что въ предметахъ психологіи, для изслѣдованія которыхъ необходимо субъективныя ощущенія дѣлать въ то же время и объектами сужденія, сомнительная догадка вѣрнѣе и во всякомъ случаѣ практичнѣе мнимо-твердаго убѣжденія.

Итакъ, если Творцу угодно было, произведя насъ отъ обезьянъ, скрыть наше происхожденіе иллюзіями, увлекающими

насъ къ Нему въ безпредѣльность и вѣчность, — то не намъ накладывать руки на себя и не намъ найти ту истину, которая не назначена быть истиною для насъ. Все это я привожу въ припадкѣ сомнѣнія противъ моего невѣрія, отъ котораго не легко было отдѣлаться и самому Петру.

Всеобъемлющая любовь и благодать Святого Духа, это два самые существенные элементы идеала вѣры Христовой, отличающей ее отъ морали, какъ небо отъ земли. Недаромъ у всѣхъ сектаторовъ христіанства благодать служитъ болѣе или менѣе основою толковъ и раскола. Настоящая, искренняя вѣра не можетъ быть не идеальною; а идеалъ не можетъ быть достижимымъ, какъ недостижима для насъ и всеобъемлющая истина. А недостижимою высотою и святостью идеала христіанская вѣра, очевидно, превосходитъ всѣ другія; сущность же этого высокаго идеала такова, что приближеніе къ нему невозможно. И вотъ, желающіе приблизиться къ нему и ищущіе въ вѣрѣ примиренія съ собою, прежде всего не должны полагаться на собственныя силы и нравственныя (моральныя) достоинства, а должны увѣровать, что вѣра есть даръ неба, благодати и всеобъемлющей любви. Это для меня самая характерная черта христіанской вѣры, превосходно выраженная въ моей умилительной для меня молитвѣ: „Чертогъ Твой вижу, Спасе мой, и одежды не имамъ, да вниду въ онь“.

Разбойникъ на крестѣ, блудный сынъ, фарисей и мытарь, слова, сказанныя Маѳѣ, Маріи и юношѣ, исполнившему, по его мнѣнію, всѣ заповѣди закона, доказываютъ, какое значеніе придавалъ Спаситель прямому, чистосердечному и полному раскаянія и вѣры обращенію къ Нему. Два великіе учителя церкви —апостолъ Павелъ и блаженный Августинъ—видѣли также въ благодати одно изъ главныхъ средствъ къ спасенію.

Но существуетъ въ моихъ глазахъ еще и другая характерная черта христіанскаго ученія,—это многосторонность, отличающая его отъ ограниченныхъ или односторонніхъ стремленій религій, основанныхъ на одной морали. И аскетъ, бѣгущій отъ прелестей міра, и мірянинъ, подвергающій себя испытаніямъ, и человѣкъ, ставящій свои дѣйствія въ зависимость отъ предопредѣленія, и, тотъ, кто основываетъ ихъ на свободѣ воли, ищущій усердною молитвою и постомъ удостоиться бла-

годати, равно какъ и тотъ, кто и все свое время посвящаетъ дѣламъ добра,—всѣ, всѣ могутъ найти въ христіанскомъ ученіи основу своихъ убѣжденій, стремленій и дѣйствій.

Одно мнѣ кажется несовмѣстнымъ съ духомъ ученія Христа, это—догматизмъ и доктринерство. Конечно, церковь, какъ собраніе вѣрующихъ, должна была возникнуть на первыхъ же порахъ христіанства, а согласіе и единство взглядовъ должны были соединять собраніе вѣрующихъ; но это еще далеко отъ обязательной догмы. Обязательная, а потомъ и принудительная догма должна была явиться съ появленіемъ на свѣтъ государственной, или, по-просту, казенной церкви. И вотъ опять доказательство той многосторонности ученія Христа, о которой я говорилъ.

Какъ скоро христіанство выступило на государственную и политическую арену, въ немъ находили опору и императоры, и демагоги. Мало этого: церковь, во времена паганизма, не переставая быть въ сущности христіанскою, могла дѣлать уступки язычеству, слѣды котораго сохранились въ нѣкоторыхъ церквахъ еще и до сихъ поръ. Это и не могло быть иначе, когда неземной—„не отъ міра сего“—идеалъ долженъ былъ осуществляться, вѣрнѣе—приближаться къ осуществленію въ мірѣ, пропитанномъ насквозь чувственностью. Развѣ могъ кто изъ смертныхъ,—хотя бы и власть имѣющихъ,—велѣть любить врага и ненавистника, платить за обиду кротостью и смиреніемъ, всѣмъ жертвовать изъ любви?! Мѣсто запрещенія и отрицанія, служащихъ основою закона, обязательнаго для всего общества, и мѣсто: не дѣлай того или другого, не убей, не воруй, не пожелай, замѣняетъ верховный и неземной призывъ къ сокровеннымъ и самымъ глубокимъ чувствамъ души—любви и вѣрѣ, дѣлая ихъ главными мотивами нашихъ дѣлъ и дѣйствій. Очевидно, ни еврейскій монотеизмъ, ни политеизмъ древняго міра не могли сразу понять и прочувствовать глубокій смыслъ и значеніе недосягаемаго идеала Новаго Завѣта.

И первая государственная церковь Христа едва-ли была образцовая. Императоры, принявшіе христіанство, спѣшили воспользоваться ею для своихъ политическихъ цѣлей, старались сдѣлать ее торжественною въ глазахъ народа, привыкшаго къ великолѣпію языческихъ храмовъ и торжественнымъ процес-

сіямъ жрецовъ, которыхъ должна была замѣнить для народа іерархія священнослужителей, епископовъ, патріарховъ и т. п. И вотъ, вѣрованіе, въ основѣ котораго лежитъ полная свобода совѣсти, то-есть сознаніе истины въ идеалѣ самоотверженія изъ любви и вѣры въ всеобъемлющую любовь Бога,—дѣлается постепенно обязательнымъ, казеннымъ, внѣшнимъ. Обязательность, связь церкви съ властью, государственные перевороты, наплывъ новыхъ племенъ на развалины древнихъ государствъ, всѣ эти обстоятельства не могли не способствовать къ искаженію чистоты идеала новой вѣры и къ порожденію самыхъ уродливыхъ толковъ, ересей, подлоговъ преданій, письменныхъ документовъ, и т. п.

Тогда оказался необходимымъ для государственной церкви и обязательный догматизмъ вѣры, и цѣлый рядъ вселенскихъ соборовъ установляетъ догмы и формулы догмъ, предписываетъ, какъ и чему вѣрить, чтобы быть христіаниномъ. Свобода совѣсти отходитъ на задній планъ. Мѣсто глубоко прочувствованнаго идеала вѣры и свободнаго полета души, желающей сближенія съ нимъ, заступаютъ символическіе обряды, мистеріи, игравшіе такую видную роль въ политеизмѣ, и т. п.

Дошло, наконецъ, до того, что вмѣсто недостижимо-высокаго идеала, нареченнаго быть мотивомъ всѣхъ нашихъ дѣлъ и нравственныхъ стремленій, выступили на первый планъ всѣ эти церковные обряды и требы. Вмѣсто смиренныхъ, исполненныхъ благодати и любви, учителей, явились непогрѣшимые папы-государи и надменные патріархи, заводившіе споры о первенствѣ.

Иногда, смотря на нашихъ владыкъ, я думалъ: какъ бы мнѣ было совѣстно передъ собою и передъ Христомъ, если-бы я сдѣлался архіереемъ;—мнѣ невозможно бы было не помнить, что именно архіереи синедріона были судьями не на животъ, а на смерть Обѣщавшаго Царство Божіе своимъ избраннымъ. А эти книжники, противъ которыхъ Онъ такъ возставалъ,—развѣ это были не догматики и развѣ между ними не было приписывавшихъ себѣ власть и авторитетъ только потому, что они получили ихъ по преданію въ наслѣдство, и развѣ самые близкіе къ Христу не должны были для авторитета производить Его родословную отъ царя Давида? Не то ли же

самое повторяется съ іерархами, папами и даже попами, приписывающими себѣ духовную власть по преемству или наслѣдству?

Я знаю, однако-же, и хорошо понимаю, что я увлекаюсь, говоря такъ о церкви и ея служителяхъ. Но я говорю теперь о христіанствѣ съ моей индивидуальной и ограниченной точки зрѣнія. Послѣ погрома моей обрядной религіи, которую исповѣдывалъ съ дѣтства, и послѣ того, какъ убѣдился, что не могу быть ни атеистомъ, ни деистомъ, я искалъ успокоенія и мира души, и, конечно, пережитое уже мною, чисто внѣшнее вліяніе таинствъ церковныхъ богослуженій и обрядовъ, не могло успокоить взволнованную душу. Вся внѣшняя сторона вѣры оказывала на меня вмѣсто успокоивающаго и примиряющаго дѣйствія—другое, противоположное. Мнѣ нуженъ былъ отвлеченный, недостижимо-высокій идеалъ вѣры. И принявшись за Евангеліе, котораго я никогда еще самъ не читывалъ, —а мнѣ было уже 38 лѣтъ отъ роду, — я нашелъ для себя этотъ идеалъ.

Въ нашей обрядной церкви, по крайней мѣрѣ во время моего дѣтства, а въ деревняхъ, какъ вижу, и теперь еще, — Евангеліе считается попами и прихожанами священнымъ не по содержанію, не по мыслямъ и изложенному въ немъ ученію, а священнымъ какъ предметъ, формально; такъ и слова молитвъ считаются священными какъ слова: слышанныя, прочитанныя—должны оказывать благодатное и спасительное дѣйствіе на слушателя и читателя.

Съ этой стороны только я и зналъ Евангеліе, а слѣдовательно и ученіе Христа, пока былъ подросткомъ. Потомъ все это забылось и, какъ старый хламъ, сдано былъ мною въ архивъ памяти, пока мнѣ не стукнуло 38 лѣтъ и внутренняя тревога не овладѣла мною. Послѣ этого я не удивляюсь, что сужу такъ рѣзко о современной (да и прежней) христіанской церкви.

Между тѣмъ я долженъ сказать, что какъ ни слабою, съ историко-критической точки зрѣнія, кажется мнѣ историческая сторона начала христіанства, я, какъ человѣкъ, вѣрящій въ предопредѣленіе и не допускающій ничего случайнаго по принципу, вижу въ исторіи развитія церкви событіе роковое, по-

вліявшее существенно на развитіе культурнаго общества. И именно то обстоятельство, что христіанство, вмѣсто не нуждавшагося ни въ какой внѣшней обстановкѣ исповѣданія, дѣлается государственною религіею, утвержденною на догматахъ, и обезпечиваетъ дальнѣйшее его развитіе, его судьбы и вліяніе на народныя массы.

Весьма страннымъ кажется мнѣ мнѣніе Бокля, что культурное общество обязано своимъ прогрессомъ исключительно распространенію научныхъ знаній, а со стороны нравственнаго его быта не послѣдовало никакого улучшенія. И другое мнѣніе, что будто-бы не христіанство, а выступленіе на поприще цивилизаціи германскихъ племенъ было главною причиною прогресса, мнѣ кажется не менѣе одностороннимъ, и я не понимаю, какъ можно отрицать въ идеалѣ Христовой вѣры глубокіе задатки къ улучшенію нравственнаго быта общества, а потому отвергать и вліяніе христіанства на нравы и стремленія людей.

Вѣруя, что основной идеалъ ученія Христа, по своей недосягаемости, останется вѣчнымъ и вѣчно будетъ вліять на души, ищущія мира, чрезъ внутреннюю связь съ Божествомъ, мы ни минуты не можемъ сомнѣваться и въ томъ, что этому ученію суждено быть неугасаемымъ маякомъ на извилистомъ пути нашего прогресса.

Но если идеалъ вѣченъ и не отъ міра сего, а путь прогресса не прямъ, а извилистъ, то возможно ли было человѣчеству, въ переходныя эпохи его жизни, усвоить себѣ и глубоко прочувствовать всю суть христіанской вѣры? Чего не встрѣчало оно на своемъ земномъ поприщѣ?

Христосъ, какъ человѣкъ, былъ еврей; очевидно, любилъ свое земное племя, не опровергалъ закона Моисеева, соблюдалъ и требовалъ соблюденія заповѣдей, совершалъ еврейскіе обряды, но преслѣдовалъ фарисейство и садукейство, то-есть преслѣдовалъ доктринерство, внѣшнюю обрядность, внутреннюю ложь и грубую чувственность садукейства, и, вѣроятно, отдавалъ предпочтеніе сектѣ ессеевъ (аскетовъ).

Но государственному строю евреевъ суждено было существовать уже недолго, и предопредѣленіе—не случай — вывело христіанство, послѣ паденія Іерусалима, но вмѣстѣ съ

разсѣяніемъ еврейства, на всемірное поприще, и предопредѣлено было вывести его на это поприще при наступившемъ наплывѣ въ древній міръ свѣжихъ варварскихъ племенъ. Если первобытные христіане-евреи, а съ ними и римляне, — какъ видно изъ Тацита,—смотрѣли на ученіе Христа болѣе съ своей, еврейской, точки зрѣнія, то немудрено, что язычники-греки и римляне, дѣлаясь христіанами, вносили съ собою въ новое ученіе свои прежніе языческіе понятія и обряды. Политеизму и жречеству не легко было оставаться безъ олицетвореній и жертвъ. Толкованія вѣры Христа сдѣлались одно превратнѣе и темнѣе другого, а восточные народы ввели и дуализмъ, не чуждый, впрочемъ, и монотеизму.

Наконецъ, христіанской церкви, обратившей варваровъ въ христіанъ, суждено было самой сдѣлаться государствомъ въ государствахъ, стать во главѣ правленій и спуститься съ высоты своего идеала низко, низко, на землю.

Можно ли же полагать, что первые вѣка христіанства должны служить образцомъ чистоты ученія Христа? Можно ли утверждать, что ученіе это, вышедъ изъ устъ Спасителя, тотчасъ же было принято, усвоено и прочувствовано народами во всей его идеальной чистотѣ? Не противорѣчитъ ли этому то, что самые близкіе ученики не всегда понимали Учителя, и обѣщаемое Имъ Царство Божіе переносили въ Іудею? Не былъ ли самъ Спаситель въ глазахъ многихъ изъ своихъ современниковъ сыномъ плотника изъ Назареи, отъ которой нельзя было ожидать ничего особеннаго? Не говоря уже о римлянахъ, незнакомыхъ съ религіею евреевъ, не придававшихъ, очевидно, никакой важности ученію Христа, могло ли и большинство самихъ евреевъ признать въ своемъ соотечественникѣ Іегову-Мессію, когда онъ допустилъ себя, какъ преступника, опозорить, осмѣять и распять?

Обыкновенно принимаютъ, что чѣмъ старѣе вѣра, тѣмъ лучше. И это правда; для вѣры необходимъ консерватизмъ болѣе всего, чтобы дѣйствовать ею на массы. Вѣра отцовъ—для нихъ магическое слово. Поэтому для государства важное дѣло—поддерживать старую вѣру, какъ сильно-дѣйствующее средство консерватизма. Въ интересахъ жрецовъ государственной вѣры и церкви также лежитъ держаться, сколько можно

крѣпче, прежнихъ взглядовъ на вѣру, установленныхъ вѣками догматовъ, обрядовъ и обычаевъ.

Но, несмотря на все это, мнѣ кажется, христіанину нельзя сомнѣваться. Вѣчный, неземной и никогда недостижимый идеалъ его вѣры долженъ постепенно освобождаться отъ наростовъ времени и дѣлаться болѣе и болѣе яснымъ для людей всѣми его благодатными слѣдствіями. И я полагаю, какъ ни извилистъ путь человѣческаго прогресса, христіанство, несмотря на препятствія, встрѣченныя имъ на этомъ пути, и на временныя реакціи невѣрія, грубой чувственности и звѣрства, много, чрезвычайно много очистило нравственность и прояснило наши міровоззрѣнія, взаимныя отношенія народовъ и государствъ.

Свобода совѣсти, свобода разслѣдованія истины, уничтоженіе рабства и невольничества, возвышеніе личности, снисхожденіе и милосердіе къ побѣжденному врагу, дѣла общественной благотворительности, — все это дѣлалось и дѣлается, въ теченіе 18-ти слишкомъ вѣковъ, подъ эгидою христіанства. Поэтому, какъ бы догматизмъ и обязательности государственной церкви, іерархизмъ, обрядность мнѣ лично ни казались противными духу ученія Христа, я не долженъ увлекаться моими личными склонностями и не въ правѣ не признать всѣ эти явленія на почвѣ христіанства необходимыми. По-неволѣ приходится убѣждаться, что все существующее разумно, то-есть причинно.

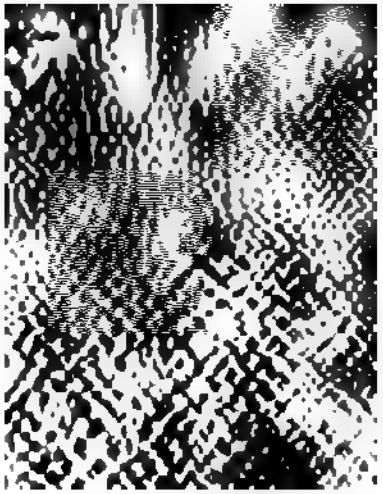
Правила и кодексы нравственности, къ которымъ приравниваютъ иногда ученіе Христа, такъ отличны отъ него по своимъ цѣлямъ и тенденціямъ, что не знаешь, чему болѣе удивляться—близорукости ли взгляда, или желанію, во что бы то ни стало, унизить и профанировать высочайшіе изъ идеаловъ.

Всѣ нравственныя правила, древнія и новыя, основаны на одной внѣшней правдѣ; за отклоненіемъ отъ нихъ слѣдуетъ наказаніе или непосредственно, или когда проступокъ обнаружится для другихъ. Не воруй,—а украдешь, то штрафъ; не убей,—а убьешь, то самого повѣсятъ; главное правило—не дѣлай другому, чего не хочешь, чтобы сдѣлано было тебѣ самому. Если же отклоненіе твое отъ главнаго правила нрав-

ственности и не будетъ никѣмъ открыто, то и тайное оно повлечетъ наказаніе для тебя въ видѣ недовольства, угрызенія совѣсти. Если же,—прибавляетъ кодексъ,—причинивъ зло ближнему, ты обошелся безъ наказанія и безъ угрызенія совѣсти, то не забудь—есть Немезида и правосудіе на землѣ. Рано или поздно зло будетъ наказано, добро награждено. За Богомъ молитва, за царемъ служба не пропадаетъ.

Повидимому, и въ нравственныхъ кодексахъ дѣло идетъ не объ одной внѣшней правдѣ; говорится и о внутреннемъ недовольствѣ, о совѣсти, даже о божественномъ правосудіи. Въ сущности, идеалъ нравственности остается внѣшнимъ, приковаяным къ землѣ, и потому всегда болѣе или менѣе достижимымъ. Спаситель и не отвергалъ его. Тому богатому юношѣ, который для своего спасенія спрашивалъ, что̀ ему дѣлать, Христосъ прежде всего совѣтовалъ исполнить нравственный законъ Моисея, и только когда послѣдовалъ высокомѣрный отвѣтъ: „я все это исполнилъ“, сказано было: „раздай все и ступай во слѣдъ Меня“. Это и значитъ: исполнивъ внѣшнія требованія нравственности и закона, ступай далѣе и возносись выше, если можешь; а не можешь, то и тогда еще не теряй упованія. Отъ Бога все возможно, сказано ученикамъ, сомнѣвавшимся въ возможности спастись богатому человѣку.

И вотъ, выше законовъ нравственности, непостоянныхъ, нетвердыхъ, подлежащихъ толкованіямъ, обходамъ, уступкамъ и разнаго рода лазейкамъ, поставленъ былъ совершенно въ другой сферѣ идеалъ неземной и вѣчный,—будущая жизнь и безсмертіе. Признаніе идеала вѣры вѣрующимъ должно быть полное и безусловное. А для врача, ищущаго вѣры, самое трудное—увѣровать въ безсмертіе и загробную жизнь. Это потому, во-первыхъ, что главный объектъ врачебной науки и всѣхъ занятій врача есть тѣло, такъ скоро переходящее въ разрушеніе; во-вторыхъ, врачъ ежедневно убѣждается наглядно, что всѣ психическія способности находятся не только въ связи съ тѣломъ, но и въ полной отъ него зависимости; въ-третьихъ, —принимая существованіе въ насъ безсмертнаго духа, мы должны принять и въ высшихъ классахъ животныхъ присутствіе подобнаго же элемента, такъ какъ присутствіе многихъ душевныхъ способностей у животныхъ неоспоримо, и это пред-



заться странною уже и потому, что она соотвѣтствуетъ и понятію (по крайней мѣрѣ моему) о сущности самаго вещества. Умственный анализъ, разлагая матерію до крайнихъ ея предѣловъ, превращаетъ ея атомы въ какія-то математическія точки или центры, до того отличные отъ подлежащаго нашимъ чувствамъ вещества, что различіе между нимъ и тѣмъ, что́ мы называемъ силою, духомъ,—исчезаетъ.

Я знаю, что такой взглядъ не соотвѣтствуетъ философскому и религіозному взглядамъ на духъ, подъ именемъ котораго разумѣютъ отвлеченное и совершенно противоположное матеріи начало. Косность, инерція, измѣняемость, дѣлимость и т. п. свойства вещества несообразны съ свободою, неизмѣнностью, безпредѣльностью и т. п. духа. И для меня невозможно сдѣлалось остановиться на анализѣ одной матеріи и отвергнуть необходимость существованія высшаго духовнаго начала, какъ источника разума, воли, чувства и жизни. Но объ этомъ, принимаемомъ по необходимости умомъ, абстрактѣ мы не можемъ уже имѣть никакого представленія. Принять же, что это требованіе нашего ума, это чисто отвлеченное начало, названное духомъ только по обманчивому и ложно воображаемому сходству съ чѣмъ-то летучимъ, похожимъ на воздухъ, газъ, дыханіе, паръ и т. п., приходитъ прямо и непосредственно въ тѣсную связь съ грубымъ веществомъ,—мнѣ кажется абсурдомъ.

Умъ моего склада гораздо легче допускаетъ, что связь, не подлежащая сомнѣнію, вещественнаго организма съ отвлеченнымъ началомъ, ускользающимъ отъ нашего представленія, происходитъ посредствомъ особаго, такъ сказать, переходнаго начала, болѣе близкаго, по своимъ свойствамъ, къ веществу, и потому легче представляемому нами, но ускользающему отъ точнаго научнаго разслѣдованія.

Я иду еще далѣе и представляю себѣ не-невозможнымъ, что атомы невѣсомаго элемента (икса), оставляя органическую машину безъ дѣйствія, сами могутъ удержать на себѣ ея обликъ и нѣкоторыя ея психическія свойства, изображая собою какъ бы отпечатокъ того организма, который они оживляли своими колебаніями. Какъ ни фантастично это представленіе, но нельзя же не имѣть никакого представленія о предметѣ, такъ близко

и глубоко касающемся насъ. Правда, мое: „ни Богу свѣчка, ни чорту радость“, прежде всего, оно болѣе или менѣе напоминаетъ о мистицизмѣ. Что за дѣло.—словъ пугаться нечего. Что такое мистицизмъ? Такое же свойство человѣческой души, какъ и вѣра вообще. Вѣрить и можно только въ неразгаданное, какъ не разгадано и самое свойство вѣры. Мы знаемъ только навѣрное, фактически, что есть въ человѣкѣ современномъ (про будущаго человѣка мы еще ничего не знаемъ) потребность вѣрить, любить, надѣяться; а откуда она берется, ея источникъ, мы ищемъ по-неволѣ тамъ, гдѣ-то выше насъ, потому что въ насъ самихъ, въ нашихъ нервныхъ центрахъ или другихъ органахъ, служащихъ только къ проявленію этой потребности, мы источника ея не обрѣтемъ. Еще, къ нашему счастію, намъ дана способность привыкать къ часто повторяющимся впечатлѣніямъ и не заниматься ими, и поддаваться постояннымъ иллюзіямъ и миражамъ; не будь этого, мы всѣ бы сдѣлались такими же мистиками, какъ современные ультра-спириты или какъ Эккартсгаузенъ и мадамъ Крюднеръ.

Въ самомъ дѣлѣ, развѣ все окружающее насъ намъ дѣйствительно понятно и ясно? Мы только привыкли къ нему, и постоянная иллюзія, съ которою мы наслаждаемся жизнью, не думая о ея непроницаемой таинственности, предохраняетъ насъ отъ увлеченій вѣры въ чудесное, ведущихъ къ душевной тревогѣ и сумасшествію.

Да, слава Богу, что большая часть того, что мы ощущаемъ и сознаемъ, кажется намъ простымъ, яснымъ и естественнымъ. А сверхъестественнаго, при такомъ убѣжденіи, и существовать не должно; такимъ было бы, по теперешнимъ нашимъ понятіямъ, не только то, что противорѣчитъ извѣстнымъ уже намъ законамъ естества, а и впредь имѣющимся сдѣлаться извѣстными.

Но нѣтъ такой эпохи въ исторіи развитія культурнаго общества, въ которую не проявлялось бы періодически, въ видѣ душевной эпидеміи, влеченіе къ чудесному. Весьма характерно при этомъ то, что степень вѣрованія въ чудесное, въ эти періоды, вовсе не соотвѣтствуетъ степени пріобрѣтенныхъ уже наукою или передовыми ея людьми знаній. Кто могъ бы, напримѣръ, повѣрить, что въ концѣ XIX-го вѣка люди науки

вполнѣ вѣрятъ въ то, чему никто не повѣрилъ бы въ началѣ этого вѣка? Такъ знанія наши о предметахъ, сильно затрогивающихъ наше *я*, непрочны и поколебимы.

Отвергать одно, потому что мы убѣждены въ несомнѣнности противоположнаго ему другого,—дѣло опасное. Какъ бы то ни было и какъ бы недовѣрчиво мы ни относились къ спиритизму, съ одной стороны, и къ ученію церкви о загробной жизни—съ другой, я, не отвергая ни того, ни другого, считаю не-невозможнымъ признать нѣчто вещественное (въ моемъ смыслѣ) въ нашей загробной жизни, и вмѣстѣ съ тѣмъ вѣрую,—по крайней мѣрѣ стараюсь вѣрить и прошу Бога даровать мнѣ эту вѣру,—въ духовную загробную жизнь, и какъ отвлеченіе для насъ непостижимую.

Такъ вѣрить я обязанъ какъ христіанинъ; она—вѣнецъ ученія Христа; идеалъ вѣры въ загробную жизнь поставленъ Имъ; не умирая, мы не достигаемъ конечной цѣли нашей жизни. Вотъ суть ученія. Мы не судьи нашихъ дѣйствій. Истину узнаемъ только за гробомъ; тамъ и узнаемъ, соотвѣтствовала ли наша жизнь ея истинной цѣли. Органическія страсти съ ихъ увлеченіями и чувственность вещественнаго бытія, переставъ существовать, дадутъ возможность намъ стать къ истинѣ лицомъ къ лицу; это не то, что стоять лицомъ къ лицу съ нашею совѣстью здѣсь, живя вещественно: тамъ придется имѣть дѣло съ самою истиною, которой мы такъ добиваемся здѣсь и вмѣстѣ съ тѣмъ стараемся ея избѣгнуть.

Ученіе Христа, въ примѣненіи его отвлеченнаго и загробнаго идеала къ нашей жизни, на каждомъ шагу встрѣчается съ громадными и непреодолимыми препятствіями для вѣрующаго. Это и не могло быть иначе; это зависѣло и отъ свойствъ идеала. Онъ долженъ остаться недостижимымъ и вѣчнымъ. Идти далѣе и выше его нельзя уже, некуда. Понятна отъ этого чрезвычайная трудность примѣненія къ практической жизни. Блудный сынъ, блудница и разбойникъ на крестѣ показываютъ, однако-же, какъ самъ Учитель относился къ неисполнимости Его ученія на дѣлѣ.

Странно, когда я сомнѣвался и не вѣрилъ, я болѣе дѣлалъ добра,—вѣрнѣе, дѣлалъ его безкорыстнѣе, безъ всякаго

мотива или только изъ любви къ наукѣ. Такъ, безплатная практика была у меня въ то время дѣломъ научнаго интереса. Самопожертвованіе для общей пользы я рѣшался дѣлать также безкорыстно. Но любви къ людямъ и жалости или милосердія въ сердцѣ тогда у меня не было. Все это пришло, какъ опишу въ моей біографіи (въ 1830—1850 годахъ), постепенно, вмѣстѣ съ развитіемъ потребности вѣровать; но именно съ того же времени опытъ жизни развилъ во мнѣ, при всемъ желаніи дѣлать добро, какой-то страхъ быть обманутымъ.

Въ этомъ страхѣ и недовѣріи, невольно проникающихъ въ душу, я вижу слабую сторону примѣненія ученія Христа къ практической жизни. Стремясь всѣми силами души творить добро ненавидящимъ насъ, жертвовать собою изъ любви къ другимъ, немногіе не сознаютъ внутренно опасности принести себя въ жертву не добру, а злу. Только искренніе аскеты, равнодушно смотрящіе на практическую жизнь съ ея добрыми и злыми влеченіями, могутъ безъ всякой задней мысли, безъ страха и опасности, изъ чистой, отвлеченной любви, творить добро и жертвовать для другихъ собою. Между тѣмъ при міровоззрѣніи не-христіанскомъ самопожертвованіе и другіе подвиги добродѣтели совершаются съ мéньшимъ насиліемъ надъ собою; напримѣръ, отмстить за другого или за цѣлое общество, возстановить права народа, принеся себя въ жертву, фанатику не-христіанину будетъ стоить мéньшаго труда и насилія надъ собою, чѣмъ христіанину.

Слова Спасителя: „вы злы“—живымъ упрекомъ ложатся на моей совѣсти, когда страхъ быть обманутымъ удерживаетъ меня сдѣлать добро. И этотъ заслуженный упрекъ, вмѣстѣ съ недовѣріемъ къ дѣлаемому добру, раздираютъ душу, такъ что практическому христіанину едва-ли можно быть недвоедушнымъ,—конечно, не въ крайне худомъ значеніи этого слова.

Между тѣмъ ученіе Христа, помимо его недостижимаго идеала, имѣетъ, очевидно, и практическое назначеніе. И вотъ тутъ-то, на жизненномъ его поприщѣ, мы встрѣчаемся съ самыми разнорѣчивыми, доходящими до нелѣпости, воззрѣніями и примѣненіями на практикѣ всѣхъ этихъ воззрѣній. Каждое изъ нихъ ищетъ и находитъ себѣ основаніе въ текстѣ самого Евангелія. Самыя туманныя и угрожающія полнымъ разруше-

ніемъ существовавшихъ испоконъ вѣка основъ общества доктрины созидались на ученіи Христа. Если не ошибаюсь, въ первыхъ вѣкахъ христіанства была распространена знаменитая доктрина: „все мое—твое“; нѣчто подобное, но на болѣе научномъ фундаментѣ, созидается и въ наше время; причемъ, смотря по надобности, зодчіе новаго соціальнаго зданія могутъ также указать, подобно ихъ предшественникамъ, на ученіе Христа.

Какъ на контрастъ этой соціальной нивеллировки всѣхъ благъ земныхъ, можно указать на разъясненіе—словами Спасителя: „отдайте кесарю кесарево и божіе Богу“—отношеній церкви къ государству и подданныхъ къ разновѣрнымъ властямъ.

Богачи, разживающіеся на счетъ бѣдняковъ, могутъ утѣшиться изреченіемъ: „имущему дастся, отъ неимущаго отнимется“. Даже враги и ненавистники могутъ сослаться на пророческія слова изъ Евангелія: „вношу не миръ, а вражду брата противъ брата, сына противъ отца“.

Мало этого: грубѣйшія уродованія здраваго смысла и тѣла, какъ самооскопленіе, и тѣ ищутъ себѣ оправданія въ словахъ Евангелія. Не даромъ же папство . . . . . такъ неохотно допускали распространеніе Евангелія и Библіи на народномъ языкѣ; хотя замѣна религіознаго фанатизма идіотизмомъ повела еще къ большему оглупѣнію народной фантазіи.

Всѣ эти нелѣпыя стремленія къ поискамъ въ ученіи Христа основъ для нелѣпыхъ и безобразныхъ произведеній фантазіи теряютъ свой raison d'etre для того христіанина, который, увѣровавъ въ божественную натуру Учителя, тѣмъ самымъ признаетъ за Нимъ и высшій (верховный) разумъ. Хотя нѣкоторые и толкуютъ слова Спасителя о нищихъ духомъ такъ, какъ будто бы они (т.-е. слова) относились исключительно къ французскому esprit. Но, по нашему, нищій духомъ есть не нищъ умомъ. И умный можетъ быть смиренъ, кротокъ и простодушенъ. Поэтому я и никогда не соглашусь, изъ богопочитанія, думать, что Верховный Разумъ обѣщалъ блаженство только дуракамъ.

Почитая источникомъ нашего ума міровой, вселенскій и Верховный Разумъ, вѣруя, что онъ же самый, въ видѣ Бого-

человѣка, просвѣтилъ и насъ, христіанъ, своимъ ученіемъ, я не могу признать основаннымъ на этомъ ученіи ничего такого, что простой, но здравый нашъ умъ находитъ глупымъ, пошлымъ, нелѣпымъ, уродливымъ, отвратительнымъ и безобразнымъ. Правда, можно вѣрить и въ абсурдъ. Но абсурдъ, въ смыслѣ Тертулліана, не есть еще пошлая нелѣпость и уродливая безобразность невѣжественной фантазіи. Абсурдомъ можетъ быть и самое высокое, если оно противорѣчитъ нашимъ современнымъ и, какъ исторія убѣждаетъ, измѣнчивымъ міровоззрѣніямъ. Абсурдъ, напримѣръ, дьяволъ, какъ противникъ и антагонистъ верховнаго разума, добра и верховной воли Творца; но вѣрить въ этотъ абсурдъ, и не признавая его умомъ, можно. Самъ Христосъ, какъ равви евреевъ, не могъ не вѣрить въ дьявола и, сообразуясь съ понятіями современнаго и соплеменнаго ему народа, долженъ былъ и изгонять бѣсовъ изъ бѣснующихся (а по нашимъ понятіямъ — душевно-больныхъ). Слѣдуетъ ли изъ этого, что и современный намъ христіанинъ долженъ также вѣрить въ бѣснованіе, заклинаніямъ бѣсовъ и т. п.?

Но уже не абсурдомъ, а нелѣпостью было бы полагать, что Спаситель, обѣщавшій вѣрнымъ послѣдователямъ Его ученія Свое Царство „не отъ міра сего“, вмѣстѣ съ тѣмъ предлагалъ и коренной соціальный переворотъ, заставивъ богатыхъ раздать свое имущество нищимъ и сдѣлаться всѣмъ нищими. Это предлагалось, очевидно, однимъ избраннымъ для Царства не отъ міра сего, сверхъ исполненія закона стремящимся всею силою души достигнуть неземного идеала ученія. Еще безсмысленнѣе было бы полагать, что Верховный Разумъ, сотворившій природу, одобрялъ бы грубое нарушеніе законовъ природы.

[illegible]тѣ кажется большою ошибкою, что наши христіанскіе
[illegible] оставляютъ какъ-то въ сторонѣ, по моему мнѣнію,
[illegible],—это различіе между божественно-идеальными осно-
[illegible]ченія Богочеловѣка, вѣчными, непоколебимыми и недо-
[illegible]ными въ этой земной жизни Христа, какъ человѣка и
Не надо забывать, что жизнеописанія Его, составлен-
[illegible]акже евреями, большею частію, по преданіямъ и раз-
[illegible]ь, не могли дойти до насъ въ ихъ первобытномъ видѣ.

Несмотря на это, божественный идеалъ ученія ясно продолжаетъ свѣтить черезъ тьму вѣковъ. Эта-то самая свѣтлая и неприкосновенная сторона божественнаго ученія и должна служить свѣточемъ вѣрующаго.

Блаженъ, кто вѣруетъ,—тепло ему на свѣтѣ. Эти, хотя не совсѣмъ кстати и въ насмѣшливомъ тонѣ сказанныя, слова потрафили въ самую суть. Да, именно, тепло вѣрующему на свѣтѣ.

Ему нѣтъ надобности въ искусственномъ топливѣ для согрѣванія души. Кто хотя разъ прочувствовалъ эту благодатную теплоту, тотъ не перестанетъ вѣровать, хотя бы пришлось ему выдерживать, ежедневно и по нѣскольку разъ въ день, напоръ сомнѣній и мучительную качку между небомъ и землею. Сомнѣнія и качка эти сопровождаютъ и дѣла, и мотивы, являются и днемъ, и ночью. Испытавъ ихъ, можно себѣ составить нѣкоторое понятіе о происхожденіи дьявола.

Я думаю, всякій испыталъ на себѣ, какъ внезапно и безотчетно, подобно сновидѣніямъ, злыя, поскудныя и подлѣйшія мысли выплываютъ изъ какого-то омута въ тотъ самый моментъ, когда думаешь о чемъ-нибудь другомъ, нисколько не подходящемъ къ категоріи этихъ фантомовъ мышленія. Иногда онѣ исчезаютъ такъ же быстро, какъ появились; но иногда остаются на поверхности настолько долго, что невольно обращаютъ на себя наше вниманіе.—Неужели же—спрашиваешь тогда себя—я такой подлецъ и злодѣй, что во мнѣ могутъ скрываться такія позорныя мысли? Начинаешь раздумывать на эту тему;—очевидно, ложь, клевета на себя; оказывается, что не подавалъ никогда ни малѣйшаго повода себѣ такъ думать о себѣ; что-то постороннее, какъ будто извнѣ пришлое, явилось, чортъ знаетъ зачѣмъ, пошевелилось минуточку и исчезло.

Не то ли же самое намъ сообщается съ раннихъ лѣтъ объ искушеніяхъ дьявола? При простомъ умѣ и фантазіи, низшей степени образованія и другихъ условіяхъ, кажущаяся внѣшность и посторонность такихъ внезапныхъ, ничѣмъ не объясняемыхъ, мыслей можетъ достигнуть того, что олицетвореніе (то-есть полное отчужденіе отъ себя) дѣлается неизбѣжнымъ.

Что касается до меня лично, то—появляются ли эти призрачныя мысли во время занятій, или во время молитвъ—я, первымъ дѣломъ, стараюсь не обращать на нихъ ни малѣй-

шаго вниманія,—тогда онѣ исчезаютъ недосказанными на полсловѣ; тутъ много значитъ также знакомство съ собою; зная себя, можно своевременно не дать вниманію поймать себя въ подставленную воображеніемъ ловушку. Богомольцы и дьячки поступаютъ вовсе не такъ глупо, какъ это кажется, повторяя по сорока разъ: „Господи, помилуй“; они механическимъ способомъ не даютъ своему вниманію сосредоточиться на какой-либо мысли, и для нихъ одни слова оказываются спасительнѣе мысли.

Человѣкъ, разсматривающій себя какъ двурукое животное, можетъ легко успокоиться насчетъ злыхъ мыслей, невольно и неизвѣстно откуда къ нему приходящихъ. Для животнаго, какъ и для Верховнаго, Вселенскаго Разума, les extrémités se touchent,—нѣтъ добра и зла; различіе добра отъ зла исчезаетъ даже и для менѣе разумныхъ властителей, государственныхъ людей и завоевателей. Откуда же взялась такая надобность различать доброе отъ злого для людей средней руки? Не видятъ ли несчастные мученики своихъ идей, что слѣдствія того, что̀ имъ кажется зломъ, совершенно различны, и что послѣ громаднаго зла они могутъ быть и очень благія.

Разсматривая такъ это кажущееся зло съ разныхъ сторонъ, можно, пожалуй, придти и къ философіи доктора Панглосса. Но можно и, наоборотъ, такимъ же способомъ, сдѣлаться и отъявленнымъ пессимистомъ. Значитъ, произволъ, какъ хочешь, —можно и такъ, и этакъ. Не лучше ли бросить всѣ эти ни къ чему не ведущія попытки, сдѣлаться позитивистомъ и философствовать только о томъ, что̀ подлежитъ точному разслѣдованію и знанію, то-есть всю жизнь основать на положительномъ знаніи и оставить неразрѣшимое въ покоѣ, какъ ему и быть надлежитъ,—неразрѣшеннымъ?

Прекрасно, но что́ же дѣлать тому, чей складъ ума не укладывается въ эту рамку? Господа, господа реформаторы и властители нашихъ думъ! позаботьтесь сначала, для культуры вашихъ ученій, уничтожить эту прискорбную индивидуальность, столь препятствующую обожаемому и ожидаемому вами прогрессу! А пока вы еще не придумали способа производить на свѣтъ людей одинакими, до тѣхъ поръ не удастся ихъ и стричь подъ одинъ гребень. Пока стадныя свойства и стихійныя силы, не знающія никакой индивидуальности и стригущія все

подъ одинъ гребень, не осилили еще человѣческой личности, до тѣхъ поръ всѣ индивидуальныя свойства будутъ искать себѣ простора и права на жизнь. Такъ и съ желаніемъ узнать, что̀ добро, что̀ зло, знакомомъ, какъ полагаютъ евреи, еще прародительницѣ Евѣ. Народы поняли необходимость этого неугомоннаго желанія прежде мудрецовъ.

Въ этомъ отношеніи весь міръ распадается на два противоположныхъ лагеря; одинъ, все нивеллирующій, не дѣлаетъ и не знаетъ никакого различія; другой по-неволѣ стремится различить добро отъ зла, не зная и чувствуя, что никогда не узнаетъ искомаго. И вотъ борьба. Съ одной стороны, стихійныя силы, стадные и животные инстинкты, съ другой—разумное человѣческое понятіе, стремящееся проникнуть въ сущность каждаго явленія, найти его законы и raison d'être.

Я сказалъ, что для животнаго нѣтъ добра и зла,—разумнаго понятія о добрѣ и злѣ,—служащаго основою нашей нравственности. Но это самое понятіе, названное въ книгѣ Бытія познаніемъ, основано на чувствѣ, свойственномъ и животному; я думаю,—не обинуясь, можно сказать, какъ только органическое вещество получаетъ способность ощущать, оно съ тѣмъ вмѣстѣ уже содержитъ въ себѣ in statu nascente чувства добра и зла.

Понятію, конечно, должно предшествовать чувство, и снабженное чувствомъ вещество (органическое) дѣлается для самого же себя пробнымъ камнемъ, на которомъ оно испытываетъ содержаніе добра и зла въ стихійныхъ началахъ. Первые слѣды чувства добра и зла являются подъ видомъ пріятныхъ и непріятныхъ ощущеній, свойственныхъ, какъ видно, самымъ низкимъ организмамъ. Безсознательно и невольно стремится, слѣдуя пріятному или непріятному ощущенію, организмъ животнаго, и эти инстинктивныя его стремленія принимаютъ чисто стихійный характеръ, подъ видомъ стадныхъ свойствъ и борьбы за существованіе. Стремясь къ ощущенію пріятнаго, сопровождающему удовлетвореніе органическихъ потребностей стада, и стада животныхъ идутъ, плывутъ, бѣгутъ, летятъ напроломъ, не разбирая уже и не отличая, стихійно. Поэтому стадно-инстинктивныя свойства животнаго организма, хотя основанныя на томъ же началѣ, какъ и наше понятіе о добрѣ и злѣ, я отношу къ одному лагерю съ стихійными.

Существованіе зла уже ясно ощущается организмомъ, получившимъ печальную способность страдать. Наконецъ, ощущеніе это усвоивается нами уже какъ понятіе, когда мы научаемся страдать душевно. И сколько я ни думалъ бы, мнѣ кажется, не придумаю лучшаго опредѣленія злу съ нравственной точки зрѣнія, какъ назвавъ его душевнымъ горемъ, душевнымъ страданіемъ и душевною мукою (смотря по степени). Все то, значитъ, внѣ и въ насъ зло, что́ причиняетъ намъ страданіе, и, судя по себѣ, мы должны признать то же самое и для другихъ, намъ подобныхъ; мы, какъ внѣшніе для нихъ, можемъ сдѣлаться сами для нихъ носителями зла.

Въ концѣ концовъ зло есть прежде всего органическое, а потому и душевное свойство. Но, признавая необходимость существованія духа, какъ начала, не имѣющаго ничего общаго съ свойствами вещества, мы должны тѣмъ самымъ признать, что для духа нѣтъ зла, и разумъ, отличающій его отъ добра, дѣлаетъ это потому только, что онъ нашъ, и не можетъ судить, не ощущая и не завися отъ вещества. Что́ же, послѣ этого заключенія, могу я думать о томъ значеніи, которое придаетъ ученіе Христа различію добра отъ зла; не служитъ ли оно основнымъ камнемъ ученія въ примѣненіи его къ жизни?

И самая загробная жизнь, по ученію Христа, не будетъ ли продолженіемъ того же понятія о добрѣ и злѣ, которое составлено нами въ здѣшней жизни? Но какъ же въ то невещественное наше существованіе послѣдуетъ за нами понятіе, пріобрѣтенное вещественно, чрезъ ощущеніе? Да мало ли вопросовъ возбуждаетъ „скепсисъ“ умственнаго анализа въ дѣлѣ вѣры!

Но вѣра съ ея высшимъ идеаломъ такъ сильна, что идетъ своимъ путемъ, не обращаясь къ разъѣдающему анализу. Спасителю никто не могъ предложить скептическихъ вопросовъ; Онъ училъ не въ средѣ греческихъ софистовъ и въ Своемъ откровеніи сообразовался съ понятіями народа, которому благовѣствовалъ; на вопросы же книжниковъ отвѣчалъ или уклончиво, или, по восточному обычаю, притчами, иносказаніями и сентенціями; невѣрующихъ же поражалъ Своими дѣлами. Спаситель не вдавался въ догматическія толкованія, предоставлялъ свободу мысли послѣдователямъ Своего ученія, требуя только

чистосердечія, искренней и горячей любви, сочувствія и ревности къ распространенію душеспасительнаго ученія.

Разсужденія и толки о душѣ, предполагавшейся у животныхъ, и о душѣ и духѣ, предполагавшихся въ человѣкѣ (апостолъ Павелъ) предопредѣленіемъ, присоединены къ ученію Христа впослѣдствіи апостолами и отцами церкви. Поэтому я въ правѣ утверждать, что и вѣрящіе въ предопредѣленіе, и основывающіе всѣ наши дѣйствія, а слѣдовательно и свое спасеніе, на свободной волѣ человѣка—одинаково могутъ опираться на ученіе Христа, не нарушая основъ вѣры.

Свобода! Свобода! Прекрасное волшебное слово, волнующее народы, что́ ты такое?

Опять то же—ощущеніе, и очень пріятное сначала, какъ и всѣ ощущенія на свѣтѣ, органическое, потомъ духовное. Пока оно остается первымъ (т.-е. органическимъ), еще не трудно найти и его отношенія къ вещественной подкладкѣ; но какъ скоро оно теряетъ эту прочную почву и начинаетъ превращаться въ духовную свободу, анализъ дѣлается шаткимъ, хотя ощущеніе этой свободы и остается сходнымъ съ тѣмъ, которое возбуждаетъ въ насъ органическая свобода.

Но если свобода есть одно ощущеніе, то воля есть и ощущеніе, и дѣйствіе. Мы—когда чего хотимъ, то чувствуемъ свободными не только наше желаніе, но и слѣдующія за нимъ дѣйствія. Тутъ, однако-же, при анализѣ является цѣлая масса недоразумѣній.

Свободна ли воля?

Вопросъ собственно неразрѣшимый; чтобы рѣшить его, надо сдѣлать себя въ одно и то же время и субъектомъ, и объектомъ; надо самому обстоятельно распотрошить себя, не говоря уже о необходимости и другихъ вспомогательныхъ вивисекцій, источникахъ изслѣдованій нервно-центральныхъ элементовъ и т. п.

Воля, какъ ощущеніе, бываетъ и сознательная, и безсознательная. Какъ мыслить, такъ и хотѣть, мы можемъ безсознательно. Это понятно,—но на дѣлѣ выходитъ такъ или какъ будто такъ; мы во многихъ случаяхъ и мыслимъ (правильно), и хотимъ, и вслѣдствіе этого дѣйствуемъ, не сознавая, то-есть, не чувствуя, не ощущая, что сознаемъ. Вотъ тутъ-то и оказы-

вается, что у насъ есть не только сознаніе, но и ощущеніе сознанія (самосознаніе) или, пожалуй, сознаніе сознанія, отличающее насъ отъ животныхъ, о чемъ я уже говорилъ выше.

Я различаю, можетъ быть, и неосновательно, но для меня внятно: хотѣть, желать. Хотѣть можно и сознательно, и безсознательно, но всегда съ дѣйствіемъ; желать же можно только сознательно и строго анализируя, всегда безъ дѣйствія. Недаромъ въ царствованіе Николая Павловича я никогда и ни отъ одного солдата въ госпиталѣ не слыхалъ слова: „я хочу“. „Хочешь ѣсть?“—спросишь, бывало; „не желаю, ваше превосходительство“,—слышишь отвѣтъ.

Не можетъ же быть, чтобы это было случайно. Да, желать можно только сознательно и, собственно, безъ дѣйствія; но переходъ отъ „я желаю“ къ „я хочу“ такъ можетъ быть быстръ, что его не всегда можно уловить, и потому иногда и желаніе (какъ хотѣнье) можетъ быть дѣйствующимъ. Я замѣчаю мелькомъ яблоко на деревѣ, и мнѣ приходитъ желаніе его сорвать; тотчасъ, вслѣдствіе этого желанія, начинаютъ дѣйствовать у меня глаза и руки; это значитъ—желаніе мое передалось тѣмъ частямъ мозга, въ которыхъ локализируется способность приводить въ движеніе мышцы моихъ глазъ и рукъ и направлять ихъ на желаемый предметъ.

Въ чемъ же состоитъ локализація, если она такъ несомнѣнна, какъ это можно полагать, судя по современнымъ изслѣдованіямъ?

По моему, локализируется въ мозгѣ не только механизмъ (въ родѣ гальваническаго прибора), возбуждающій къ дѣйствію ту или другую группу мышцъ, но локализирована еще и самая воля надъ дѣйствіемъ этого механизма. Если такъ, то желаніе, какъ функція сознанія, передается локализированной волѣ, а она, то сознательно, то безсознательно для насъ, закрываетъ или открываетъ гальваническія цѣпи приборовъ и приводитъ въ движеніе мышцы глазъ и рукъ. Движеніями же моихъ глазъ, управляемыхъ безсознательно волею и мыслію, я соразмѣряю пространство и положеніе яблока, а сознательными уже движеніями рукъ направляю ихъ къ яблоку, чтобы его сорвать.

Но и сознающееся нами дѣйствіе, также какъ и безсознательное, можетъ быть слѣдствіемъ несвободной воли. Я хочу

поднять руку, ногу; могу и не хотѣть; или могу сейчасъ же захотѣть и тотчасъ же расхотѣть.

Значитъ, я свободенъ хотѣть.

Да такъ ли? Вотъ вопросъ. Могу ли я не хотѣть именно того, чего хочу? Не обязанъ ли неминуемо, не долженъ ли я, прикованный цѣпью всего предшествовавшаго, хотѣть именно такъ, какъ хочу? Во-вторыхъ, допустивъ возможность не-желать, „имѣть желаніе“ остается весьма сомнительнымъ; можно ли, желая чего-нибудь, хотѣть или не хотѣть этого желанія? то-есть, можетъ-ли сформированное ясно желаніе быть и не быть перенесеннымъ на локализированный въ мозгу приборъ воли? Вѣдь самое главное—могу-ли я не сознавать себя произвольно по собственной волѣ? Конечно, нѣтъ. Сознаніе для меня обязательно въ нормальномъ состояніи, значитъ—обязательно и и все то, что подлежитъ сознанію, что находится въ его вѣдомствѣ. Поэтому я и не могу не хотѣть, насколько воля моя сознательна. Воля моя, сверхъ этой зависимости отъ моего сознанія и отъ внѣшнихъ условій, вліяющихъ на сознаніе, а потому и на волю, зависитъ еще, равно какъ и мысль, отъ неуловимаго, но несомнѣнно существующаго вліянія различныхъ органовъ на центры локализированной въ разныхъ частяхъ мозга воли.

Духъ свободенъ, и не можетъ не быть такимъ, но его органъ играетъ только такъ, какъ допускаетъ его устройство и все предшествовавшее этому устройству. Но намъ нельзя бы было ни жить, ни дѣйствовать по нашему, безъ благодѣтельной иллюзіи, заставляющей насъ твердо вѣрить, что мы свободны желать, мыслить и даже поступать произвольно, вѣрнѣе—волесвободно; произвольно, это arbitraire, а spontané, freiwillig,—это волесвободно. А свобода эта—невидимая и неощущаемая нами цѣпь.

Какъ, въ самомъ дѣлѣ, могло бы быть свободнымъ существо, по устройству своего организма осужденное ощущать и сознавать себя непроизвольно?

Правда, оно можетъ прекратить такое подневольное существованіе, но свободы ему здѣсь на землѣ все-таки это не дастъ.

Итакъ, все обязательно предопредѣлено, механизмъ машины

заведенъ; слѣдуетъ повиноваться и жить въ мирномъ самообольщеніи.

Что́ же тогда вѣра, упованіе, благодать и молитва?

Отвѣтъ: такое же обязательное предопредѣленіе. Вѣруй въ любовь и уповай въ благодать Высшаго Предопредѣленія; молись всеобъемлющему Духу любви и благодати о благодатномъ настроеніи твоего духа. Блаженство, счастье, миръ души,—все въ этомъ настроеніи. Ни для тебя, ни для кого другого, ничто не перемѣнится въ свѣтѣ,—не стихнутъ бури, не усмирятся бушующіе элементы; но ты, но настроеніе твоего духа можетъ быть измѣнено полетомъ души, окрыленной вѣрою въ благодать Святого Духа.

Дѣйствіе молитвы на меня, я полагаю, въ центробѣжныхъ и центростремительныхъ колебаніяхъ души, то увлекающейся куда-то въ высь, то съ новою силою возвращающейся въ себя. И изъ всѣхъ молитвъ самая благодатная завѣщана намъ Спасителемъ; произнося ее, я призываю имя и царство божіе къ себѣ и молю сообщить мнѣ то настроеніе души, которое охранило бы меня отъ искушенія и зла.

Но если все предопредѣлено и неизмѣнно, то задняя мысль о несостоятельности молитвы развѣ не нарушитъ мира и спокойствія души въ то самое время, когда молишься? Нѣтъ, и еще разъ нѣтъ, если проникнешься вѣрою въ благодать и ея благодѣтельное дѣйствіе на настроеніе души.

И вотъ, когда ни одно предопредѣленное горе, ни одна предопредѣленная бѣда не могутъ быть устранены отъ тебя, ты все-таки можешь остаться спокойнымъ, если благодать молитвы сдѣлаетъ тебя менѣе впечатлительнымъ и болѣе твердымъ къ перенесенію горестей и бѣдъ.

Не безумно ли, не безчеловѣчно ли отнимать у себя и у другихъ вѣдомо-цѣлебное средство, потому только, что оно не укладывается въ рамки доктрины, еще далеко не раскрывшей правды? Да какъ бы ни было точно и неоспоримо ученіе, основанное на чувственномъ представленіи (опытѣ) и на анализѣ ума, мы не можемъ и не должны, посвящая себя этому ученію, оставлять нетронутыми и неразвитыми другія потребности духа; онѣ, попранныя и пренебреженныя, рано или поздно громко заявятъ о возстановленіи своихъ правъ. Это я испыталъ

на себѣ и откровенно сознаюсь себѣ; но знаю много примѣровъ, изъ которыхъ заключаю, что и несознающіеся не менѣе моего потерпѣли фіаско, стараясь оставаться послѣдовательными принятому однажды ученію.

Если я спрошу себя теперь: какого я исповѣданія? то отвѣчу на это положительно: православнаго,—того, въ которомъ родился и которое исповѣдывала вся моя семья.

Но, утверждая это, я не могу не различить два для меня не совсѣмъ тождественныя понятія. Я полагаю, что каждый гражданинъ государства, имѣющаго свою государственную (господствующую) церковь, если онъ родился въ лонѣ этой церкви, обязанъ остаться ей вѣрнымъ на цѣлую жизнь,—какъ гражданинъ; его внутреннія убѣжденія, его сомнѣнія, его міровоззрѣніе, не соотвѣтствующее догматамъ исповѣданія, даннаго ему при рожденіи, тутъ ни-при-чемъ.

Если вся исторія и жизнь государства требовали отъ него признанія господствующей церкви, то-есть требовали не допускать полнѣйшей свободы совѣсти и вѣротерпимости, то, по моему, не только противозаконенъ, но и внутренно несправедливъ будетъ измѣняющій свое исповѣданіе.

Неполная свобода совѣсти въ государствѣ какого бы то ни было христіанскаго исповѣданія есть только дѣло времени; она не можетъ не быть, и если не существуетъ, то только по однимъ политическимъ (и обыкновенно невѣрнымъ) соображеніямъ, противорѣчащимъ слишкомъ явно духу ученія Христа, и потому временнымъ и преходящимъ.

Грѣхъ ли же это передъ Богомъ, если я отличаю, какъ гражданинъ и какъ человѣкъ, догматическое исповѣданіе ученія Христа, принявшее государственную, такъ сказать, оболочку, отъ духа, идеала и сути самаго ученія? Вѣдь и церковь, и исповѣданіе, къ которымъ я отъ роду моего принадлежу, не будутъ отвергать идеалъ и духъ ученія Христа,—это всеобъемлющая любовь къ Богу и ближнему, вѣра въ благодать Духа Святого, въ божественную натуру Спасителя, безсмертіе души и загробную жизнь.

Неужели же господствующая церковь, въ такомъ случаѣ, не будетъ руководствоваться правиломъ того же ученія: „кто

не противъ насъ, тотъ за насъ“ (т.-е. нашъ)? Не слѣдовать этому правилу—значило бы признать за собою полную невѣротерпимость и принужденіе совѣсти, ни въ чемъ тутъ не повинной.

Какъ я самъ,—несмотря на мое міровоззрѣніе, отличное отъ церковнаго,—признаю себя все-таки сыномъ господствующей церкви, по рожденію и подданству, считая несправедливымъ и противозаконнымъ покидать ея лоно, такъ и самая церковь, вѣрно, не захотѣла бы насиловать мою совѣсть, требуя отъ меня отреченія отъ моихъ убѣжденій и вѣрованій, которыхъ я достигъ послѣ долговременной и лютой борьбы съ самимъ собою.

Пора убѣдиться и іерархамъ, что непогрѣшимости нѣтъ на землѣ.

Былъ Одинъ—нравственно непогрѣшимый и безгрѣшный, но Его мучительски убили іерархи же прежнихъ временъ, и тѣмъ доказали, что непогрѣшимость—не для земли. Оставшійся послѣ того и переданный намъ Новый Завѣтъ, „не отъ міра сего“, основанный Непогрѣшимымъ, не требуетъ ни отъ кого непогрѣшимости, допуская къ себѣ все искреннее и чистосердечное, хотя бы оно шло отъ блудныхъ дѣтей и преступныхъ.

Мнѣ останется всегда памятнымъ мнѣніе преосвященнаго Іеринарха (архіепископа бессарабскаго), во время моего попечительства въ Одессѣ). „Притчу о блудномъ сынѣ,—сказалъ мнѣ преосвященный,—я считаю самою главною и наиболѣе поясняющею духъ ученія Христова“. Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ, когда и какимъ моралистомъ и догматикомъ предпочитался блудный, глубоко падшій, сынъ благонравному брату? Только горячо любящее сердце отца могло поступить такъ; только всеобъемлющая любовь могла оправдать блудницу и распятаго разбойника; а что, взамѣнъ этой цѣлебной любви, могутъ дать непогрѣшимость догматическихъ церквей, папы, синоды и іерархи?

Каждому гражданину, отъ рожденія уже причисленному къ одному изъ христіанскихъ исповѣданій, предстоитъ едва-ли разрѣшимый когда-нибудь вопросъ: какъ соединить въ себѣ самую полную, самую искреннюю свободу совѣсти, требуемую

отъ него по духу ученія Христа, съ чистосердечною вѣрою въ непогрѣшимый авторитетъ догматической церкви?

Правда, при полной вѣротерпимости протестантства, каждому гражданину не запрещенъ переходъ въ другое исповѣданіе, но, къ какой бы церкви онъ ни причислилъ себя, авторитетъ ея, а слѣдовательно и исповѣдуемыхъ ею догмъ, должно будетъ признать надъ собою въ цѣлости. Но найдется ли хотя одно изъ существенныхъ исповѣданій, догмы, обряды и правила котораго каждый членъ церкви могъ бы признать чистосердечно непогрѣшимыми, вполнѣ соотвѣтствующими духу ученія Христа?

Индивидуальный складъ души такъ безконечно различенъ, что и самые близкіе къ Спасителю ученики понимали ученіе Его не всѣ одинаково. Мы видимъ и теперь, какой сумбуръ вѣрованій и убѣжденій существуетъ между протестантскими духовными; многіе изъ нихъ, усвоивъ себѣ точку зрѣнія Штрауса и Ренана или подобную ей, все-таки причисляютъ себя (конечно, изъ политическихъ и матеріальныхъ цѣлей) къ христіанскимъ законоучителямъ и служителямъ алтаря; какъ ни слабы ихъ мотивы и какъ ни скаредны ихъ цѣли, но они правы; прежде всего—чистосердечіе и искренность, безъ которыхъ нѣтъ настоящей вѣры въ Христа и Его ученіе; истина Его не можетъ быть для искренно-вѣрующаго только внѣшнею: она должна быть внутреннею истинною правдою, которой не даетъ ни одно догматическое исповѣданіе.

Рѣзкія противорѣчія нѣкоторыхъ догматовъ, странность обрядовъ, односторонніе обращенія то къ одному уму, то къ одному чувству, отличающія разныя христіанскія исповѣданія одно отъ другого, очевидно, не безразличны для разнаго склада души; но еслибы взрослому и культурно-развитому гражданину пришлось свободно выбирать одно изъ существующихъ христіанскихъ исповѣданій, то онъ поставленъ бы былъ въ весьма затруднительное положеніе.

Выборъ, конечно, зависѣлъ бы отъ индивидуальности; но будь избиратель человѣкъ не черствый, нормально развитой и не односторонній, онъ, вѣрно, колебался бы между двумя мощными авторитетами: совѣсти и ума. Авторитету ума другого легче покориться. Мы покоряемся ему, довѣряя его знаніямъ,

силѣ мысли, опытности, оставляя, впрочемъ, и для своего ума лазейку—пересѣдлать и перейти въ другой лагерь, какъ скоро явится новый, болѣе убѣдительный для насъ, авторитетъ.

Другое дѣло—авторитетъ совѣсти. Чужая совѣсть—нашей собственной не указъ. Къ чужой можно прибѣгнуть только въ случаѣ, за неимѣніемъ ничего лучшаго; — это дѣлается на судѣ присяжныхъ. Опытъ убѣдилъ, что совѣсть, хотя бы и чужая, въ дѣлахъ совѣсти, т.-е. внутренней правды,—вѣрнѣе внѣшняго ученаго суда. Но когда человѣку надо бываетъ судиться съ самимъ собою,—и только съ собою,—тутъ иное дѣло. Тутъ судья—всевидящее Око,—другого нема.

Исповѣданіе и государственная церковь хотя и ставятъ себя на мѣсто этого судьи, но внушить свободному избирателю вѣру въ свою непогрѣшимость исповѣданія и церковь могутъ не иначе, какъ путемъ ума, ученія, науки. И вотъ, сильнѣйшій авторитетъ, совѣсть въ дѣлѣ совѣсти, подчиняется слабѣйшему.

Правда, церковь не государственная, а „единая святая соборная и апостольская“ имѣетъ за собою еще и благодать Святого Духа; но, чтобы удостоиться наитія благодати, нужно быть избраннымъ (предопредѣленнымъ) свыше или уже вѣрующимъ и принятымъ въ лоно церкви; а тутъ свобода совѣсти ни-при-чемъ, и вольный избиратель исповѣданія и церкви остается въ прежней нерѣшимости, что́ избрать; умъ серьезный, разсудочный, холодный, конечно, остановится, прежде всего, на протестантствѣ. Онъ скоро убѣдится, что это исповѣданіе легче всѣхъ другихъ уживается съ свободою совѣсти, научнаго изслѣдованія и критики ума.

Но если умъ избирателя не односторонень и допускаетъ нормальное развитіе и другихъ способностей и стремленій души,—то онъ также скоро убѣдится, что протестантство, въ сущности, не вѣра, и даже не вѣроисповѣданіе, а исповѣданіе болѣе или менѣе сильныхъ убѣжденій, основанныхъ на знаніи и ученьи; а открывая свободный путь научному анализу и критикѣ, протестантство неминуемо ведетъ къ чистому раціонализму (ультра-раціонализму), въ область чистаго разума, замкнутую для чистой вѣры.

Съ другой стороны, свободный избиратель нашего времени

найдетъ единую святую соборную и апостольскую церковь уже не единою, а потому и сообщенную ей свыше благодать уже несомнѣнно пребывающею въ той или другой изъ раздѣлившихся церквей; сверхъ этого, неполная свобода мысли, чрезмѣрный, несоотвѣтствующій сущности ученія Христа, догматизмъ, безграничная обрядность и внѣшность богопочитанія, стѣсняющая и отвлеченныя стремленія души, и, наконецъ, подтверждаемая церковью вѣра въ существованіе—почти матеріальное—злого духа,—все это едва-ли привлечетъ свободнаго избирателя къ благодати вѣры въ Христа и Его всеобъемлющую любовь, завѣщанной церкви Новаго Завѣта.

Испытавъ колебаніе и нерѣшительность въ выборѣ, вольный избиратель, вѣрно, позавидуетъ каждому изъ насъ, съ самаго рожденія принятому въ лоно государственной церкви; намъ нечего колебаться въ выборѣ. Вопросъ совѣсти рѣшенъ не нами и прежде насъ. Остается рѣшить другой.

Можно ли, оставаясь, такъ сказать, врожденнымъ членомъ государственной церкви: православной, католической или протестантской, въ то же время придерживаться авторитета собственной совѣсти, подчиненной одному Всевидящему Оку?

Вопросъ, я полагаю, опять чисто индивидуальный, не научный, не юридическій, рѣшаемый не внѣ насъ, не людьми, даже не самими нами, а совѣстью, вѣрующею въ ея верховное начало—Бога. Протестанту, пользующемуся полною свободою совѣсти, мысли и научнаго разслѣдованія, трудно согласиться на это раздвоеніе духа (двойную бухгалтерію, по К. Фохту); ему ничего нѣтъ легче, какъ выписаться изъ членовъ своей церкви и приписаться къ другой, болѣе соотвѣтствующей его міровоззрѣнію. Но самый передовой католикъ не затруднится, въ одно и то же время, быть и свободнымъ, научнымъ мыслителемъ, и благочестивымъ прихожаниномъ своего прихода. И я полагаю, что церковь можетъ и должна допускать эту, неизбѣжную для вѣрующаго мыслителя, двойственность. Авторитетъ церкви, пока она останется государственною, этимъ нисколько не нарушается. Ея главная сила—въ христіанскомъ же принципѣ: кто не противъ насъ, тотъ за насъ.

Самая трудная задача для современной государственной церкви—это избѣжать крайностей консерватизма и прогресса.

Церковь по своему существу—самое консервативное учрежденіе.

Она обязана сохранять чистоту вѣры; но, какъ государственная, главнымъ предметомъ своихъ заботъ она должна имѣть не столько вѣру, сколько религію.

Есть значительное различіе между этими понятіями, обыкновенно принимаемыми за одно и то же: государственная церковь есть представительница государственной религіи; церковь общинная—вѣры. Дѣло религіи—это поддержаніе и упроченіе общественныхъ связей посредствомъ нравственно-духовнаго начала.

Вѣра — это чистое отвлеченіе души; тутъ нѣтъ никакихъ мірскихъ цѣлей и задачъ. Вѣра необходима, какъ самая глубокая потребность души, индивидуально, для каждаго болѣе, чѣмъ для общества. Въ душѣ каждой человѣческой особи есть частичка не отъ міра сего, ищущая себѣ и духовной пищи; но какъ скоро изъ особей составляется общество, то его главнымъ raison d'être дѣлается уже: быть отъ міра сего. Для государственной религіи можетъ быть необходимымъ не допускать вѣянія никакихъ прогрессивныхъ началъ, удерживать и освящать самые несвоевременные обычаи, обряды и вѣрованія.

Народное вѣрованіе въ матеріальное существованіе чорта, несмотря на діаметрально-противоположные выводы науки, государственная, консервативная, церковь не можетъ не поддерживать, основываясь на древнемъ міровоззрѣніи. Но церкви нѣтъ надобности преслѣдовать научное ученіе о добрѣ и злѣ, какъ о понятіи, основанномъ на законахъ органической и психической натуры человѣка. Какое дѣло церкви—какъ я представляю себѣ дьявола? Такъ и о другихъ моихъ понятіяхъ. Если я не стремлюсь выйти изъ лона государственной церкви, не возстаю противъ нея, оказываю ей полное уваженіе, словомъ — не трогаю религіи народной и государственной, къ которой отношу и себя, и свою семью, то какое кому дѣло до моей индивидуальной вѣры, о которой дамъ отчетъ не здѣсь? Здѣсь же я старался только изложить самому себѣ то духовное міровоззрѣніе, о которомъ мнѣ придется нѣкогда дать отчетъ.

Теперь перейду ко времени моего вступленія въ московскій университетъ.

—Si la jeunesse savait, si la vieillesse pouvait... Вотъ самое приличное мотто для этого вступленія.

Я изобразилъ мой теперешній внутренній бытъ; каковъ же онъ былъ 56 лѣтъ тому назадъ? Посмотримъ, насколько память передастъ о немъ, сравнимъ; и сходства, и различія, можетъ быть, объяснятся потомъ описаніемъ того, чѣмъ выполненъ былъ 56-лѣтній промежутокъ жизни.

Я уже говорилъ о бѣдствіи, нанесенномъ отцу воровствомъ коммиссіонера Иванова. Описанное въ казну имѣніе, долги, семейное горе отъ потери дочери и сына, все это не могло не подѣйствовать на человѣка, любившаго свою семью и желавшаго ей всевозможнаго счастія. Отецъ видѣлъ ясно, что умри онъ сегодня—и завтра же мы всѣ пойдемъ по міру. А время не терпѣло, и онъ рѣшился взять меня изъ пансіона Кряжева, платить которому за меня не хватало средствъ, а испортить каррьеру мальчика, по отзывамъ учителей—способнаго, не хотѣлось. Въ гимназію отдать казалось поздно, да гимназіи въ Москвѣ тогда какъ-то не пользовались хорошею репутаціею, и вотъ мой отецъ вздумалъ обратиться за совѣтомъ къ Ефр. Осипов. Мухину, уже поставившему одного сына на ноги,—авось, поможетъ и другому.

Непремѣнно предопредѣлено было Е. О. Мухину повліять очень рано на мою судьбу. Въ глазахъ моей семьи онъ былъ посланникомъ Неба; въ глазахъ 10-лѣтняго ребенка, какимъ я былъ въ 1820-хъ годахъ нашего вѣка, онъ былъ благодѣтельнымъ волшебникомъ, чудесно исцѣлившимъ лютыя муки брата. Родилось желаніе подражать; надивившись на доктора Мухина, началъ играть въ лекаря; когда мнѣ минуло 14 лѣтъ, Мухинъ, профессоръ, совѣтуетъ отцу послать меня прямо въ университетъ, покровительствуетъ на испытаніи, а по окончаніи курса онъ же приглашаетъ вступить въ профессорскій институтъ. И за все это чѣмъ же я отблагодарилъ его? Ничѣмъ. Скверная черта, но она не могла не проявиться во мнѣ. Почему,—скажу потомъ. Si la jeunesse savait! Теперь бы я готовъ былъ наказать себя поклономъ въ ноги Мухину; но его

давно и слѣдъ простылъ. Si la vieillesse pouvait! Такъ на каждомъ шагу придется восклицать то же самое. Даже не вѣрится—я ли былъ тогда на моемъ мѣстѣ.

Отецъ, внявъ совѣту Е. О. Мухина, тотчасъ же взялъ меня изъ пансіона и нанялъ для приготовленія меня къ университету, по рекомендаціи секретаря правленія (кажется, Кондратьева, навѣрное не знаю), студента медицины, кончавшаго курсъ, Ѳеоктистова, порядочную дубинку, впрочемъ добраго и смирнаго человѣка. Я разстался съ моими школьными товарищами, еще наканунѣ игравшими со мною въ саду въ солдаты, причемъ я отличился изумительною храбростью, разорвавъ нѣсколько сюртуковъ и надѣлавъ не мало синяковъ; прощаясь, я не могъ не замѣтить насмѣшливой зависти, съ которою товарищи слушали мои разсказы о предстоящемъ поступленіи въ студенты; замѣтивъ же это,—чтобы поддразнить завистниковъ,—кой-что и прихвастнулъ. Занятія съ Ѳеоктистовымъ, студентомъ изъ семинаристовъ, поселившимся у насъ въ домѣ, ограничивались латинскою грамматикою, переводами съ латинскаго и кое-чѣмъ еще.

Что же я былъ такое за штука за нѣсколько дней до вступительнаго университетскаго экзамена? Нравственность моя была не такъ распущена, какъ прежде; я сдѣлался сдержаннѣе, пересталъ ходить тайкомъ для бесѣдованія съ писарями и кучерами; но я многое зналъ такого, чего въ мои лѣта не слѣдовало бы знать; чувственность моя была также слишкомъ рано развита.

Знанія были менѣе чѣмъ ограниченныя для моего возраста; вкусъ къ искусствамъ мало развитъ,—только любовь къ изящному слову и стиху была сильна; съ другой стороны, остались неутраченными еще и дѣтская наивность, и дѣтская вѣра, и любовь къ занятію и труду.

Вѣра была, какъ и прежде, въ первомъ дѣтствѣ, чисто обрядная и формальная; наивность дѣтская была еще такъ велика, что я съ наслажденіемъ слушалъ еще сказки Прасковьи Кирилловны, крѣпостной служанки матери, плотной, коренастой дѣвки, съ толстыми, красными, какъ гусиныя лапы, руками, съ истыканнымъ до невѣроятности оспою и усѣяннымъ

веснушками лицомъ, но мастерской сказочницы, — и я какъ теперь помню ея двѣ сказки: одну—о Водѣ-Водогѣ, такъ названномъ потому, что родился отъ какой-то чудесной воды, данной волшебницею его матери; а другую—о трехъ человѣчкахъ: бѣломъ, черномъ и красномъ. Водъ-Водогъ воевалъ съ разными лицами, всегда сопровождаемый цѣлымъ звѣринцемъ разныхъ животныхъ, пойманныхъ имъ на охотѣ; во время опасности онъ обращался къ нимъ съ крикомъ: „охотушка, не выдай!“ и звѣри бросались опрометью на непріятеля. А три человѣчка были посланцы старый бабушки (Яги); она лежитъ, какъ слѣдуетъ, на печкѣ; къ ней приходитъ маленькая внучка. „Что же ты видѣла по дорогѣ?“ спрашиваетъ бабушка. „Видѣла я, бабушка, видѣла я, сударыня,—отвѣчаетъ внучка,—бѣлаго мужичка, на бѣленькой лошадкѣ, въ бѣленькихъ саночкахъ“.—„То мой день, то мой день,—говоритъ глухимъ басомъ бабушка.—А еще что?“—„Видѣла я, бабушка, видѣла я, сударыня, чернаго мужичка, на черненькой лошадкѣ, въ черненькихъ саночкахъ“.—„То моя ночь, то моя ночь. Еще что?“—„Видѣла я, бабушка, видѣла я, сударыня, краснаго мужичка, на красненькой лошадкѣ, въ красненькихъ саночкахъ“.—„То мой огонь, то мой огонь!—заревѣла бабушка.—Говори, еще что?“—„Видѣла я, бабушка, видѣла я, сударыня, что у васъ ворота пальцемъ заткнуты, кишкою замотаны“.—„То мой замокъ, то мой замокъ. Ну, а еще что?“ рычитъ уже бабушка. — „Видѣла я, бабушка, видѣла я, сударыня, у васъ въ сѣняхъ рука полъ мететъ“.—„То моя слуга, то моя слуга. Еще что? говори скорѣй!“ огрызнулась бабушка. — „Видѣла я, бабушка, видѣла я, сударыня, тутъ, возлѣ васъ голова чья-то виситъ у печки“.—„То моя колбаса, то моя колбаса!“—заревѣла и заскрежетала зубами бабушка, схватила внучку, — и уже не помню, что сдѣлала: съѣла ли, или въ печь бросила.

Откуда наша Прасковья Кирилловна брала эти побасенки, одному Богу извѣстно; читать она не умѣла, вѣрно,—одною наслышкою; мнѣ потомъ нигдѣ не приходилось читать слышанныя отъ нея сказки, и, я думаю, она составляла сама и импровизировала, компилируя изъ нѣсколькихъ, слышанныхъ ею прежде. Вѣрно, память у нея была отличная; я помню,

отъ нея слыхалъ и разные стихи, какъ, напримѣръ, сатиру на пріѣздъ шведскаго посланника въ Москву:

„Солнце къ вечеру стремится,
Тьма каретъ въ вокзалъ катится“, и проч.

Часто, часто приходилось мнѣ потомъ повторять моимъ и чужимъ дѣтямъ сказки Прасковьи о трехъ мужичкахъ, и даже съ тою же интонаціею въ голосѣ, съ которою Прасковья старалась наглядно мнѣ изобразить свирѣпую бабушку и наивную внучку. И всегда сказки Прасковьи Кирилловны производили эффектъ на слушавшихъ меня дѣтей.

Другая черта, свидѣтельствовавшая о моей дѣтской наивности въ ту пору, была привязанность къ моей старой нянѣ. Эта замѣчательная для меня личность называлась Катериною Михайловною; солдатская вдова изъ крѣпостныхъ, рано лишившаяся мужа и поступившая еще молодою къ намъ въ домъ, слишкомъ 30 лѣтъ оставалась она нашимъ домашнимъ человѣкомъ, хотя и не все это время жила съ нами; горевала вмѣстѣ съ нами и радовалась нашими радостями. Я сохранилъ мою привязанность, вѣрнѣе — любовь къ ней до моего отъѣзда изъ Москвы въ Дерптъ. Видѣлъ ее и потомъ еще раза два; но въ послѣдніе годы она начала сильно зашибать; и прежде это добрѣйшее существо съ горя и съ радости иногда прибѣгало къ рюмочкѣ, — но уже одна рюмка вина сейчасъ выжимала слезы изъ глазъ. „Михайловна заливается слезами“: это значило, что Михайловна, съ горя или съ радости, выпила рюмку. Мы—и дѣти, и взрослые—всѣ это знали, и, зная, иногда съ нею же плакали, не зная о чемъ. Все существо этой женщины было пропитано насквозь любовью къ намъ, дѣтямъ, выняньченнымъ ею.

Я не слыхалъ отъ нея никогда ни одного браннаго слова; всегда любовно и ласково останавливала она упрямство и шалость; мораль ея была самая простая и всегда трогательная, потому что выходила изъ любящей души. „Богъ не велитъ такъ дѣлать, не дѣлай этого, грѣшно!“—и ничего болѣе.

Помню, однако-же, что она обращала вниманіе мое и на природу, находя въ ней нравственные мотивы. Помню какъ теперь Успеньевъ день, храмовой праздникъ въ Андроньe-

вомъ монастырѣ; монастырь и шатры съ пьянымъ, шумящимъ народомъ, раскинутые на зеленомъ пригоркѣ, передо мною какъ на блюдечкѣ, а надъ головами толпы—черная грозовая туча; блещетъ молнія, слышатся раскаты грома. Я съ нянею у открытаго окна и смотримъ сверху. „Вотъ, смотри“,—слышу, говоритъ она:—„народъ шумитъ, буянитъ и не слышитъ, какъ Богъ грозитъ; тутъ шумъ да веселье людское, а тамъ, вверху, у Бога—свое“.

Это простое указаніе на контрастъ между небомъ и землею, сдѣланное кстати любящею душою, запечатлѣлось навсегда, и всякій разъ какъ-то заунывно настроиваетъ меня, когда я встрѣчаю грозу на гуляньи. Бѣдная моя нянька, какъ это нерѣдко случается у насъ съ чувствительными, простыми людьми, начала пить, и, не перенося много вина, захирѣла, и такъ, что собралась уже умирать; не знаю уже почему, но рѣшено было поставить промывательное; я былъ тогда уже студентомъ и въ первый разъ въ жизни совершилъ эту операцію надъ моею нянею; она удивилась моему искусству и послѣ сюрприза тотчасъ же объявила: „ну, теперь я выздоровлю“. Черезъ три дня она, дѣйствительно, поднялась съ постели и жила еще нѣсколько лѣтъ; прожила бы, можетъ быть, и болѣе, еслибы, на свою бѣду, не нанялась у Авдотьи Егоровны Драгутиной, молодой жены пожилого мужа-купца. Былъ у нихъ сынокъ, Егоринька; къ нему и взяли мою няню, а черезъ няню познакомилась и наша семья съ Драгутиными.

O tempora, o mores! Цицеронъ, котораго я тогда не читалъ,—кажется, всегда и вездѣ кстати.

Замоскворѣчье; хорошенькая, веселенькая, красиво меблированная квартира во второмъ этажѣ. Хозяйка, лѣтъ 25, красивая, всегда наряженная, брюнетка, съ притязаніемъ на интеллигенцію, съ замѣтною и для меня, подростка, склонностью къ мужскому полу, съ ранняго утра до ночи одна съ маленькимъ сыномъ, нянею и учителемъ, кандидатомъ университета, рослымъ и виднымъ мужчиною, Путиловымъ. Мужъ, угрюмый, нѣсколько напоминающій медвѣдя, впрочемъ не изъ дюжинныхъ и добропорядочный во всѣхъ отношеніяхъ, цѣлый день

въ лавкѣ, въ гостиномъ дворѣ; домъ какъ полная чаша; чай пьется разъ пять въ день, кстати и некстати.

Мужъ, возвращающійся поздно домой, усталый, идетъ прямо къ себѣ въ комнату, пьетъ чай, ужинаетъ и ложится спать. Ребенокъ уходитъ спать въ дѣтскую съ нянею. Хозяйка и учитель остаются наединѣ, въ двухъ большихъ комнатахъ, пьютъ чай, запираютъ и входныя, и выходныя двери,—и такъ на цѣлую ночь до разсвѣта. Ежедневно одна и та же исторія.

— Да что же они тамъ дѣлаютъ одни?—любопытствовалъ я узнать отъ моей няни.

— „Да кто же ихъ, батюшка, знаетъ; никого не пускаютъ къ себѣ,—какъ тутъ узнаешь?“

— Да вѣдь слышно же что-нибудь черезъ двери? — продолжаю я разспрашивать.

— „Слышно, что то говорятъ, то молчатъ“.

— А мужъ что?

— „Мужъ спитъ“.

Такъ продолжается цѣлые годы. Я охотно посѣщалъ этотъ домъ, забавлялся и съ мальчикомъ, шутилъ и сплетничалъ съ Авдотьею Егоровною, и всегда въ присутствіи няни (не упускавшей меня изъ виду) пилъ чай, кофе, шоколадъ, сколько въ душу влѣзало. Однажды прихожу—молчанье, темнота, шторы спущены. Что такое? Авдотья Егоровна что-то нездорова. Смотрю — моя Авдотья Егоровна лежитъ на полу, въ одномъ спальномъ бѣльѣ; въ комнатѣ чѣмъ-то летучимъ пахнетъ. Слышу—что-то бормочетъ; няня около нея и дѣлаетъ мнѣ какіе-то знаки, чтобы я вышелъ. Что за притча! Оказалось, что эта милая дамочка чиститъ себѣ зубы табакомъ и потомъ упивается гофманскими каплями, бывшими тогда въ большомъ употребленіи, какъ домашнее средство противъ всѣхъ лихихъ болѣзней. Потомъ гофманскія капли замѣнились полынною, а наконецъ и простякомъ.

Учитель кончилъ курсъ. Хозяинъ обрюзгъ болѣе прежняго и сдѣлался еще неприступнѣе; а хозяйка, спившись съ круга, увлекла въ запой и мою добрую, милую няню, Катерину Михайловну.

Кстати уже, говоря о чисто-дѣтской наивности, памятной мнѣ въ то время, какъ готовился уже къ изученію медицины,

не забуду напомнить себѣ и еще трехъ занимавшихъ меня тогда и нравившихся мнѣ, вслѣдствіе этой же самой ребяческой простоты, знакомыхъ. Это были Григорій Михайловичъ Березкинъ, Андрей Михайловичъ Клаусъ и Яковъ Ивановичъ Смирновъ. Первые оба—изъ врачебнаго персонала, старые сослуживцы московскаго воспитательнаго дома; оба не доктора и не лекаря. Березкинъ, циникъ, съ замѣтною наклонностію къ спиртнымъ напиткамъ, занималъ меня разсказами, очевидно иностраннаго (нѣмецкаго) происхожденія о Петрѣ Первомъ. „Мы должны, говорятъ нѣмцы,—такъ сказывалъ мнѣ Березкинъ,—Богу молиться на Петра да свѣчки ему ставить, —вотъ что“. Изъ медицины Григорій Михайловичъ сообщалъ мнѣ также что-то, тогда меня крѣпко интересовавшее, но уже не припомню, что̀ именно; подарилъ какой-то писанный на латинскомъ языкѣ сборникъ съ описаніемъ, въ алфавитномъ порядкѣ, растительныхъ веществъ, употребляемыхъ въ медицинѣ; я много узналъ и наизустъ запомнилъ научныхъ терминовъ: emeticum, drasticum, diureticum, radix ipecacuanhae, jalappae и т. п.

За годъ и болѣе до вступленія на медицинскій факультетъ я уже зналъ массу названій и терминовъ, и это мнѣ много пригодилось впослѣдствіи. Но дѣтская привязанность къ словоохотному Березкину у меня основывалась, конечно, не на разсчетѣ профитировать отъ него что-нибудь, а на потѣшавшихъ меня шуточкахъ и прибауткахъ; ими изобиловала наша бесѣда.

— „Ну-те-ка, ну-те“,—бормочетъ скороговоркою Григорій Михайловичъ:—„напишите-ка: во-ро-бей“.

Я и пишу, и, написавъ послѣдній слогъ, вдругъ получаю щелчокъ по головѣ.

— Это что?

— „Самъ же просилъ: прочти послѣдній слогъ!“ —отвѣчаетъ, заливаясь отъ смѣха, Григорій Михайловичъ.—„А хочешь, спою пѣсенку?“

— Какую?

— „Ай ду-ду“.

Я притворяюсь, будто не знаю значенія этой пѣсни, уже не разъ испытаннаго моимъ лбомъ.

— Ну-ка, спойте.

— „Ай ду-ду, айду-ду“,—затягиваетъ хриплымъ голосомъ Березкинъ,—„сидитъ баба на дубу“.

Полный текстъ таковъ: „Ай ду-ду, сидитъ баба на дубу; прилетѣла синица—что̀ станемъ дѣлати? пива что-ли намъ варите? сына что-ли намъ жените? Ай, сынъ мой, отдай бабѣ голову, ударь бабу по лбу... отдай мою голову, ударь бабу по лбу!“... Я убѣгаю со смѣхомъ. Березкинъ промахнулся—я не баба, и лобъ не получилъ щелчка.

— „А вотъ, латинистъ, отгадай-ка, что́ такое“:—и опять стоккато: „Si caput est, currit; ventrem adjunge, volabit; adde pedes, comedes; sine ventre, bibes“.

Отвѣчаю, не запинаясь:

— Mus, musca, muscatum, mustume.

— „А, знаешь уже; а отъ кого узналъ?“

— Да не отъ васъ (я лгу),—я и прежде зналъ.

— „То-то, прежде зналъ; отчего же прежде не говорилъ?“

— Да я нарочно.

А всего пріятнѣе моему дѣтски-наивному тщеславію было слышать отъ старика, какъ онъ меня хвалилъ и величалъ; вѣрно, и я для него былъ занимателенъ. „Ну, смотри, братъ, изъ тебя выйдетъ, пожалуй, и большой человѣкъ; ты умникъ, вонъ не тому, не Хлопову, чета“. Хлоповъ—это былъ ученикъ изъ пансіона Кряжева, жившій нѣкоторое время у насъ, грубоватый и какъ-то свысока обходившійся съ Березкинымъ.

Андрей Михайловичъ Клаусъ—оригинальнѣйшая и многимъ тогда въ Москвѣ извѣстная личность. Это былъ знаменитый оспопрививатель еще екатерининскихъ временъ. Аккуратнѣйшій старикашка, въ рыжемъ парикѣ, съ красною добрѣйшею физіономіею, въ короткихъ штаникахъ, прикрѣпленныхъ пряжками выше колѣнъ, въ мягкихъ плисовыхъ сапогахъ, недоходившихъ до колѣнъ; между черными штанами и сапогами виднѣлись бѣлые чулки.

Всей нашей семьѣ въ теченіе многихъ лѣтъ Андрей Михайловичъ привилъ оспу, и потому считалъ своею обязанностію ежегодно навѣщать насъ въ табельные дни, завтракалъ, съ особеннымъ аппетитомъ кушалъ буттербродтъ, зимою—съ сыромъ, а весною (на Святой)—съ радиской.

Меня лично онъ занималъ, кромѣ своей оригинальной на-

ружности, маленькимъ микроскопомъ, всегда находившимся при немъ въ карманѣ. Раскрывался черный ящичекъ, вынимался крошечный, блестящій инструментъ, брался цвѣтной лепестокъ съ какого-нибудь комнатнаго растенія, отдѣлялся иглою, клался на стеклышко,—и все это дѣлалось тихо, чинно, аккуратно, какъ будто совершалось какое-то священнодѣйствіе. Я не сводилъ глазъ съ Андрея Михайловича и ждалъ съ замираніемъ сердца минуты, когда онъ приглашалъ взглянуть въ его микроскопъ.

— Ай, ай, ай, какая прелесть! Отчего это такъ видно, Андрей Михайловичъ?

— „А это, дружокъ, тутъ стекла вставлены, что̀ въ 50 разъ увеличиваютъ. Вотъ, смотри-ка“.—Слѣдовала демонстрація.

Третій вхожій въ нашъ домъ и занимательный для меня знакомый, Яковъ Ивановичъ Смирновъ, сослуживецъ отца, привлекалъ мою ребяческую наивность собственно глупостью. Не то, чтобы онъ самъ былъ глупъ, но какой-то точно еловый, неповоротливый, высокій, прямой какъ шестъ. Когда онъ, поздоровавшись, садился, я тотчасъ же являлся возлѣ его стула и приготовлялся смотрѣть, какъ Яковъ Ивановичъ начнетъ вынимать изъ кармана свой клѣтчатый синій платокъ, складывать его въ кругленькій комочекъ, а потомъ поднесетъ къ носу, утрется и подержитъ его въ рукѣ съ полчаса, прежде чѣмъ опять положитъ въ карманъ. Яковъ Ивановичъ (сынъ священника, учился когда-то въ семинаріи) разсказываетъ матушкѣ,—а она крестится отъ содроганія,—что попы частицы вынутыхъ просфоръ сбираютъ, сушатъ и ѣдятъ со щами.

— Что это, Яковъ Ивановичъ, вы разсказываете за ужасы, да еще и при дѣтяхъ,—какъ вамъ это не грѣхъ?

— „Помилуйте, сударыня, да то̀ ли еще дѣлаютъ наши попы; они грѣха не знаютъ. А что, вотъ ты“,—обращается Яковъ Ивановичъ ко мнѣ,— „учишься по латыни, а знаешь ли, что̀ значитъ: curva culina (читай: Акулина) scit quid perdit“,— и, обращаясь къ матушкѣ, которая съ удивленіемъ слышитъ сальныя слова отъ Якова Ивановича, думая, не охмѣлѣлъ ли онъ, Яковъ Ивановичъ говоритъ:— „Это такъ по-латыни выходитъ, сударыня; ужъ извините, если оно немного того“...

Я разражаюсь смѣхомъ и убѣгаю отъ стыда, не понявъ смысла сказаннаго.

Потомъ Яковъ Ивановичъ объясняетъ, что онъ нарочно такъ произнесъ, какъ будто бы это была Акулина, а не латинское culina, сирѣчь: мельница.

— „Напрасно сконфузились“, говоритъ онъ матери и мнѣ: „теперь выходитъ просто: кривая мельница знаетъ, что̀ теряетъ. Ну, а вотъ переведи-ка славную поговорку; за нее насъ вѣрно и маменька похвалитъ: amicus certus in re incerta cernitur“.

Я перевожу.

Василій Феклистычъ Феклистовъ—такъ звали наши домашніе студента Ѳеоктистова—доставлялъ мнѣ также чисто дѣтскую радость. Я дѣтски радовался, что готовлюсь въ университетъ и занимался прилежно съ Ѳеоктистовымъ; мнѣ доставлялъ наслажденіе и осмотръ его медицинскихъ книгъ—какой-то старинной анатоміи съ картинками, какой-то терапіи съ рецептами, но всего болѣе и съ какимъ-то невыразимо-пріятнымъ трепетомъ сердца,—это я какъ будто еще теперь чувствую,—разбиралъ я принесенный однажды Ѳеоктистовымъ каталогъ университетскихъ лекцій.

— „Какія лекціи буду я слушать? Вотъ Юстъ Христіанъ Лодеръ—анатомія человѣческаго тѣла. Буду?“

— Непремѣнно.

— „Вотъ Ефремъ Осиповичъ Мухинъ—физіологія по Ленгоссеку. Это что̀ такое? Да Мухинъ, что̀ бы ни читалъ, буду, непремѣнно буду слушать. Василій Михайловичъ Котельницкій —фармакологія или врачебное веществословіе. Василій Ѳеоктистычъ! Это что за наука?“

— Да о дѣйствіи лекарствъ.

— „Ахъ, вотъ любопытно-то: какъ дѣйствуетъ рвотное, какъ слабительное; а я вѣдь уже знаю, что radix ipecacuanhae —emeticum; radix jalappae—drasticum“.

— А почемъ это вы знаете? откуда это вы взяли?

— „А вотъ позвольте, я сейчасъ принесу вамъ книжку Григорія Михайловича Березкина,—все, все есть, преинтересная“.

Приношу и показываю. Ѳеоктистовъ съ важнымъ видомъ и презрительно улыбаясь (эту улыбку я воображаю, когда пишу

эти строки, диктуемыя воспоминаніемъ), перелистываетъ драгоцѣнный даръ Березкина и, отдавая мнѣ назадъ, говоритъ:

— Старье! старье! Будете студентомъ, такъ просите папеньку купить вамъ фармакологію Іовскаго, переводъ съ нѣмецкаго Шпренгеля.

— „А дорого она стоитъ?“

— Да рубля три или четыре.

— „Попрошу непремѣнно“.

Между тѣмъ время идетъ. Мы сходили къ Троицѣ помолиться. Ѳеоктистовъ съ нами; экскурсія продолжалась дня четыре и служила отдыхомъ, хотя, по правдѣ сказать, ни я, ни Ѳеоктистовъ не уставали отъ нашихъ занятій. Въ этой экскурсіи мы не останавливались въ Мытищахъ и Троицкую ризницу не посѣщали; поэтому все, что я говорилъ прежде о моихъ дѣтскихъ воспоминаніяхъ о Троицѣ, относится, несомнѣнно, къ прежнему времени (т.-е. къ моему 7—8-лѣтнему возрасту, къ 1817—1818 гг.).

Наконецъ, настало время и вступительнаго экзамена.

Я не помню рѣшительно ничего о томъ, что̀ я чувствовалъ, когда ѣхалъ съ отцомъ въ университетъ на экзаменъ; но, вѣрно, ни надежда, ни страхъ не волновали меня черезчуръ; я живо помню, напримѣръ, мой первый экзаменъ въ пансіонѣ Кряжева; волненіе, съ которымъ я отвѣчалъ тогда на заданные вопросы, какъ только вспомню о немъ, кажется мнѣ неулегшимся еще до сихъ поръ; вижу, какъ въ отдаленномъ туманѣ, Дружинина (директора гимназіи, присутствовавшаго на экзаменѣ), сидящаго въ большихъ, для него нарочно приготовленныхъ, креслахъ; смотрю на проходящаго съ подносомъ толстаго пансіоннаго дядьку, плутовски улыбающагося мнѣ мимоходомъ и подмигивающаго однимъ глазомъ. Помню живо чью-то добрую усмѣшку и колкое замѣчаніе священника на мое слишкомъ наглядное изложеніе сновидѣній Фараона. „Ему грезилось“,—повторялъ я нѣсколько разъ въ моемъ одушевленномъ жестами разсказѣ. „Снилось, снилось, снилось“,—замѣчалъ, останавливая меня каждый разъ на полсловѣ, законоучитель. И все это было два года ранѣе моего перваго университетскаго испытанія.

Вступленіе въ университетъ было такимъ для меня громад-

нымъ событіемъ, что я, какъ солдатъ, идущій въ бой, на жизнь или смерть, осилилъ и перемогъ волненіе и шелъ хладнокровно. Помню только, что на экзаменѣ присутствовалъ и Мухинъ, какъ деканъ медицинскаго факультета, что́, конечно, не могло не ободрять меня; помню Чумакова, похвалившаго меня за воздушное рѣшеніе теоремы (вмѣсто черченія на доскѣ я размахивалъ по воздуху руками); помню, что спутался при извлеченіи какого-то кубическаго корня, не настолько, однако-же, чтобы совсѣмъ опозориться.

Знаю только навѣрное, что я зналъ гораздо болѣе, чѣмъ отъ меня требовали на экзаменѣ. Въ пріемной меня ожидали, послѣ окончанія экзамена, отецъ, секретарь правленія—Кондратьевъ и рекомендованный имъ мой приготовитель—Θеоктистовъ. Отецъ повезъ меня изъ университета прямо къ Иверской и отслужилъ молебенъ съ колѣнопреклоненіемъ. Помню отчетливо слова его, когда мы выходили изъ часовни: „Не видимое ли это божіе благословеніе, Николай, что ты уже вступаешь въ университетъ? кто могъ этого надѣяться!“

Затѣмъ мы заѣхали въ кондитерскую Педотти, гдѣ и послѣдовало угощеніе меня шоколадомъ и сладкими пирожками.

Это было въ сентябрѣ 1824 г. Съ этого дня началась новая эра моей жизни. Но странно: вѣдь я собственно не увѣренъ—было ли это въ 1824 году? Справляться не стоитъ; а странно именно то, что мнѣ кажется теперь, будто отецъ мой долѣе жилъ послѣ вступленія моего въ московскій университетъ, чѣмъ оказывается по разсчету. Навѣрное, отецъ мой умеръ почти за годъ до смерти государя Александра I, т.-е. за годъ до 1825 г. Не вступилъ же я въ московскій университетъ въ 1823 году, 13-ти лѣтъ отъ роду!

Пережитое время, оставаясь въ памяти, кажется то болѣе короткимъ, то болѣе долгимъ; но обыкновенно оно укорачивается въ памяти. Прожитыя мною 70 лѣтъ, изъ коихъ 64 года навѣрное оставили послѣ себя слѣды въ памяти, кажутся мнѣ иногда очень короткимъ, а иногда очень долгимъ промежуткомъ времени. Отчего это? Я высказалъ уже, какое значеніе я придаю иллюзіямъ. Намъ суждено — и, я полагаю, къ

нашему счастію—жить въ постоянномъ миражѣ, не замѣчая этого.

Можно, пожалуй, утверждать, что еще счастливѣе тотъ, кто не только не подозрѣваетъ, но и не имѣетъ никакого понятія о существованіи чувственныхъ и психическихъ миражей.

Въ сущности же, все равно: выгоды незнанія равняются невыгодамъ. Больному врачу плохо бываетъ иногда отъ его знанія, а здоровому—это же знаніе небезполезно для его здоровья.

Такъ и убѣжденіе въ существованіи постояннаго, пожизненнаго миража, съ одной стороны, не очень вредно, потому что убѣжденіе это все-таки не уничтожаетъ благодѣтельной иллюзіи, и, убѣжденные и неубѣжденные въ ней, мы будемъ продолжать жить по прежнему, все въ томъ же миражѣ. Сколько лѣтъ прошло уже съ тѣхъ поръ, какъ намъ сдѣлалось извѣстно, что „das Ding an und für sich selbst“ для насъ навсегда останется terra incognita; такъ нѣтъ же! Мы все-таки продолжаемъ думать и дѣйствовать въ жизни такъ, какъ будто бы это „das Ding an und für sich selbst“ было намъ досконально извѣстно и коротко знакомо.

Такъ вотъ и представленіе наше о прожитомъ нами времени такъ же миражно, какъ и все прочее въ жизни.

Когда я обращаю усиленное вниманіе на какой-нибудь отрывокъ изъ прожитаго времени, т.-е. направляю мою внимательность на память (съ чѣмъ бы сравнить это? вотъ, я дѣлаю это въ настоящую минуту, когда пишу эти строки: я какъ будто внимательно роюсь въ моей памяти, не то смотрю въ нее, не то силюсь, будто-бы, что-то открыть и вынуть... нѣтъ, ни съ чѣмъ не сравнишь),—тогда мнѣ представляется этотъ вынутый изъ памяти отрывокъ чрезвычайно близкимъ ко мнѣ, къ моему настоящему, какъ будто все припоминаемое происходило вчера.

Вотъ живые портреты припоминаемыхъ лицъ, ихъ платье, ихъ манеры, голосъ, усмѣшка, все какъ есть... чудеснѣйшій миражъ! А начни только дѣйствовать, окунись въ водоворотъ жизни—и все куда-то далеко, далеко ушло, исчезло,—новый миражъ! Существовавшее представляется какъ будто-бы несуществовавшимъ.

Такъ, съ той минуты, когда мы съ отцомъ вышли изъ часовни Иверской,—отъ нея, отъ этой минуты, остались въ

памяти только слова отца,—и до того страшнаго мгновенія, когда я увидѣлъ его на столѣ посинѣвшимъ трупомъ,—какъ будто отца и вовсе не было у меня; едва, едва въ густомъ туманѣ мелькаетъ предо мною его блѣдный обликъ и усталая поступь, видѣнные мною въ послѣдніе дни его жизни. А все-таки протекшее между двумя уцѣлѣвшими въ памяти значками время мнѣ кажется теперь очень долгимъ, такъ долгимъ, что сомнѣваюсь, было ли это менѣе двухъ лѣтъ.

Началось посѣщеніе лекцій. Выдали матрикулъ безъ всякихъ церемоній. Приходъ Троицы въ Сыромятникахъ не близокъ къ университету,—будетъ съ часъ ходьбы; положено было оставаться въ обѣденное время у Ѳеоктистова, и только въ 4—5 часовъ вечера возвращаться на извозчикѣ.

Ѳеоктистовъ былъ казенно-коштный студентъ и жилъ вмѣстѣ съ пятью другими студентами въ 10-мъ нумерѣ корпуса квартиръ для казенно-коштныхъ.

Надо остановиться на воспоминаніи о 10-мъ нумерѣ и объ извозчикѣ.

Немудрено, что воспоминанія эти сохранились. 10-й нумеръ я посѣщалъ ежедневно, нѣсколько лѣтъ сряду, а на извозчикѣ ѣздилъ, пока нужда не заставила ходить пѣшкомъ,—и 10-й нумеръ, и вечерняя ѣзда на извозчикѣ совпадаютъ съ первымъ выходомъ на поприще жизни; дебюты не забываются.

Вхожу въ большую комнату, уставленную по стѣнамъ пустыми кроватями со столиками; на каждомъ столикѣ наложены кучки зеленыхъ, желтыхъ, красныхъ, синихъ книгъ и пачки тетрадей; вижу—лежитъ на одной кровати чья-то фуражка, дномъ наружу; на днѣ—надпись; читаю: „Hunc pil...—тутъ стерто, не разберу—Fur rapidis manibus tangere noli: possessor cujus fuit semperque erit Tschistof, qui est studiosus quam maxime generosus“.

Понимаю. Гдѣ же этотъ г. Чистовъ? А вотъ, онъ входитъ въ дверь; испитой, съ густыми темными волосами, свинцоваго цвѣта лицомъ, темно-синею, выбритою гладко, бородою; за нимъ приходитъ съ лекціи и мой Ѳеоктистовъ; дверь начинаетъ безпрестанно отворяться и затворяться; являются одно за другимъ все новыя и новыя лица, рекомендуются, привѣтливо обра-

щаются ко мнѣ; вотъ г. Лейченко, самый старшій,—дѣйствительно,—на видъ лѣтъ много за 30; вотъ Лобачевскій, длинный, рыжій, усѣянный, должно быть, веснушками по всему тѣлу, судя по лицу и рукамъ, и еще человѣкъ шесть нумерныхъ и постороннихъ.

Начинаются бесѣды, закуриваніе трубокъ; говорятъ всѣ разомъ,—ничего не разберешь; дымъ поднимается столбомъ; слышится по временамъ и брань неприличными словами.

Мой бывшій наставникъ, Θеокти́стовъ, представляется мнѣ совсѣмъ въ иномъ свѣтѣ, не тѣмъ, какимъ я его зналъ до сихъ поръ: онъ тутъ передъ нѣкоторыми просто пассъ,—тише воды, ниже травы.

Вотъ хоть бы Чистовъ, обладатель фуражки съ латинскими стихами,—тотъ беретъ со стола книгу, ложится на кровать и, обращаясь ко мнѣ (я стою вблизи его кровати), спрашиваетъ: „съ какими римскими авторами вы знакомы?“ Я краснѣю. „Что же? Θеоктистовъ, вѣрно, вамъ немногое сообщилъ; гдѣ же ему: онъ и самъ ничего не понимаетъ въ латыни. Садитесь-ка вотъ здѣсь,—я вамъ кое-что прочту изъ Овидія; слыхали о „Метаморфозахъ“ Овидія? А? слыхали?“—„Да, немного слыхалъ“.—„Ну, слушайте-же!“—И Чистовъ началъ скандировать плавно и съ увлеченіемъ, и тутъ же я научился у него больше чѣмъ во все время моего приготовленія къ университету отъ Θеоктистова. Оказалось потомъ, что Чистовъ былъ, дѣйствительно, знатокъ римскихъ классиковъ; я рѣдко видалъ его за медицинскими книгами; всегда, бывало, лежитъ и читаетъ своего любимаго Овидія Назона или Горація.

Родомъ изъ духовныхъ, воспитанникъ семинаріи, Чистовъ отличался, однако-же, рѣзко отъ другихъ сотоварищей, по большей части тоже семинаристовъ; это была мебель изъ еловаго, а онъ изъ краснаго дерева и, должно быть, поэтъ въ душѣ.

Чего я не насмотрѣлся и не наслышался въ 10-мъ нумерѣ!

Представляю себѣ теперь, какъ все это видѣнное и слышанное тамъ дѣйствовало на мой 14—15-лѣтній умъ! Является, напримѣръ, какой-то гость Чистова, хромой, блѣдный, съ растрепанными волосами, вообще страннаго вида на мой взглядъ,—теперь его можно бы было, по наружности, причислить къ нигилистамъ,—по тогдашнему это былъ только вольнодумецъ.

Говорилъ онъ какъ-то захлебываясь отъ волненія и обдавая своихъ собесѣдниковъ брызгами слюны.

Въ разговорахъ быстро, скачками переходитъ отъ одного предмета къ другому, не слушая или не дослушивая никакихъ возраженій. „Да что Александръ I,—куда ему,—онъ въ сравненіе Наполеону не годится. Вотъ геній, такъ геній!.. А читали вы Пушкина „Оду на вольность“? А? Это, впрочемъ, винигретъ какой-то. По нашему не такъ; révolution, такъ révolution, какъ французская—съ гильотиною!“ И услыхавъ, что кто-то изъ присутствующихъ говорилъ другому что-то о бракѣ, либералъ 1824—1825 гг. вдругъ обращается къ разговаривающимъ: „Да что тамъ толковать о женитьбѣ! что за бракъ! на что его вамъ? кто вамъ сказалъ, что нельзя по-просту спать съ любою женщиною.....? Вѣдь это все ваши проклятые предразсудки: натолковали вамъ съ дѣтства ваши маменьки, да бабушки, да нянюшки, а вы и вѣрите. Стыдно, господа, право, стыдно!“—А я-то, я—стою и слушаю, ни одного слова не проронивъ.

Вдругъ соскакиваетъ съ своей кровати Катоновъ, хватаетъ стулъ и—бацъ его посрединѣ комнаты! „Слушайте, подлецы!“ кричитъ Катоновъ: „кто тамъ изъ васъ смѣетъ толковать о Пушкинѣ? слушайте, говорю!“—вопитъ онъ во все горло, потрясая стуломъ, закатывая глаза, скрежеща зубами:

„Тебя, твой родъ я ненавижу,
Твою погибель, смерть дѣтей
Я съ злобной радостію вижу,
Ты ужасъ міра, стыдъ природы,
Упрекъ ты Богу на землѣ“...

Катоновъ, восторженный обожатель Мочалова, декламируя, выходитъ изъ себя,—не кричитъ уже, а вопитъ, реветъ, шипитъ, размахиваетъ во всѣ стороны поднятымъ вверхъ стуломъ, у рта пѣна, жилы на лбу переполнились кровью, глаза выпучились и горятъ. Изступленіе полное. А я стою, слушаю съ замираніемъ сердца, съ нервною дрожью; не то восхищаюсь, не то совѣщусь.

Ревъ и изступленіе Катонова, наконецъ, надоѣдаютъ; на него наскакиваетъ рослый и дюжій Лобачевскій. „Замолчишь ли ты, наконецъ, скотина!“ кричитъ Лобачевскій, ста-

раясь своимъ крикомъ заглушить ревъ Катонова. Начинается схватка; у Лобачевскаго ломается высокій каблукъ. Паденіе. Хохотъ и аплодисменты. Бросаются разнимать борющихся на полу.

Не проходило дня, въ который я не услыхалъ бы или не увидѣлъ чего-нибудь новенькаго, въ родѣ описанной сцены, особенно памятной для меня потому только, что она была для меня первою невидалью; потомъ все вольнодумное сдѣлалось уже дѣломъ привычнымъ.

За исключеніемъ одного или двухъ, обитатели 10-го нумера были всѣ изъ духовнаго званія, и отъ нихъ-то, именно, я наслышался такихъ вещей о попахъ, богослуженіи, обрядахъ, таинствахъ и вообще о религіи, что меня на первыхъ порахъ, съ непривычки, морозъ по кожѣ подиралъ...

Всѣ запрещенные стихи, въ родѣ „Оды на вольность“, „Къ временщику“ Рылѣева, „Гдѣ тѣ, братцы, острова“, и т. п., ходили по рукамъ, читались съ жадностью, переписывались и перечитывались сообща при каждомъ удобномъ случаѣ.

Читалась и барковщина, но весьма рѣдко, а замѣняла въ то время болѣе современная поэзія, подобнаго же рода, студента Полежаева.

О Богѣ и церкви сыны церкви изъ 10-го нумера знать ничего не хотѣли и относились ко всему божественному съ полнымъ пренебреженіемъ.

Понятій о нравственности 10-го нумера, несмотря на мое короткое съ нимъ знакомство, я не вынесъ ровно никакихъ. Разгулъ при наличныхъ средствахъ, полный индифферентизмъ къ добру и злу при пустомъ карманѣ,—вотъ вся мораль 10-го нумера, оставшаяся въ моемъ воспоминаніи.

Вотъ настало первое число мѣсяца. Получено жалованье. Нумеръ накопляется. Дверь то и дѣло хлопаетъ. Солдатъ, старикъ Яковъ, ветеранъ, служитель нумера, озабоченно приходитъ и уходитъ для исполненія разныхъ порученій. Являются чайники съ кипяткомъ и самоваръ.

Входятъ разомъ человѣка четыре, двое нумерныхъ студентовъ, одинъ чужой и высокій, здоровенный протодьяконъ. Шумъ, крикъ и гамъ. Протодьяконъ что-то баситъ. Всѣ хохочутъ. Яковъ является со штофомъ подъ черною печатью за пазу-

хою, въ рукахъ несетъ колбасу и паюсную икру. Печать со штофа срывается съ восклицаніемъ: „Ну-ка, отецъ дьяконъ, бѣлаго панталоннаго хватимъ!“ — „Весьма охотно“, глухимъ басомъ и съ разстановкою отвѣчаетъ протодьяконъ. Начинается попойка. Приносится Яковомъ еще штофъ и еще,—такъ до положенія ризъ.

— „Знаете-ли вы, — говоритъ мнѣ кто-то изъ жильцовъ 10-го нумера,—что у насъ есть тайное общество? Я членъ его, я и масонъ“.

— Что же это такое?

— „Да такъ, надо же положить конецъ“.

— Чему?

— „Да правительству, ну его къ чорту!“

И я, послѣ этого открытія, смотрю на господина, сообщившаго мнѣ такую любопытную вещь, съ какимъ-то подобострастіемъ.

Масонъ! Членъ тайнаго общества? То-то у него книги все въ зеленомъ переплетѣ. А я уже прежде гдѣ-то слыхалъ, что у масоновъ есть книги въ зеленомъ переплетѣ.

— „А слышали, господа: наши съ Полежаевымъ и хирургами (студентами московской медико-хирургической академіи) разбили вчера ночью б[illegible]ь на Трубѣ? Вотъ молодцы-то!“

Начинаются разсказы со всѣми сальными подробностями. И это откровеніе я выслушиваю съ тѣмъ же наивнымъ любопытствомъ, какъ и сообщенную мнѣ тайну объ обществѣ и масонствѣ.

— Ну, братцы, угостилъ сегодня Матвѣй Яковлевичъ!

— „А что?“

— Да надо ручки и ножки его расцѣловать за сегодняшнюю лекцію. Не даромъ сказалъ: „Запишите себѣ отъ слова до слова, что̀ я вамъ говорилъ; этого вы нигдѣ не услышите. Я и самъ недавно узналъ это изъ Бруссе“. И пошелъ, и пошелъ...

— „Теперь уже, братцы, Франковъ, и Петра, и Іосифа, по-боку; теперь подавай Пинеля, Биша, Бруссе!“

— А въ клиникѣ-то, въ клиникѣ какъ Мудровъ отдѣлалъ старье! Про тифознаго-то что̀ сказалъ! Вотъ, говоритъ, смотрите, онъ уже почти на ногахъ послѣ того, какъ мы по-

ставили слишкомъ 80 піявицъ къ животу; а пропиши я ему, по прежнему, валеріану да арнику, онъ бы уже давно былъ на столѣ.

— „Да, Матвѣй Яковлевичъ молодецъ, геній! Чудо, не профессоръ. Читаетъ божественно!“

— Говорятъ, въ академіи хорошъ также Дидковскій. Наши ходили его слушать. Да гдѣ ему противъ Мудрова! Онъ недосягаемъ.

— „Ну, ну! а Лодеръ Юстъ-Христіанъ?“

— Да, невелика птичка, старичокъ невеликъ, да носъ востёръ. Слышали, какъ онъ оберъ-полиціймейстера отдѣлалъ? Ѣдетъ это онъ на парадъ въ каретѣ, а оберъ-полиціймейстеръ подскакалъ и кричитъ кучеру во все горло: „пошелъ назадъ, назадъ!“ Лодеръ-то высунулся изъ кареты, да машетъ кучеру— впередъ-молъ, впередъ. Полиціймейстеръ прямо и къ Лодеру. „Не велю,—кричитъ,—я оберъ-полицеймейстеръ“.—„А я,—говоритъ тотъ,—Юстъ-Христіанъ Лодеръ; васъ знаетъ только Москва, а меня—вся Европа“. Вчера-то—слышали—какъ онъ на лекціи спохватился?

— „А что“?

— Да началъ было: „Sapientischissima (Лодеръ шамкалъ немного) natura“,—да, спохватившись, и прибавилъ: „aut potius, Creator sapientischissimae naturae voluit“.

— „Да, нынѣ, братъ, держи ухо востро“.

— А что?

— „Теперь тамъ въ Петербургѣ, говорятъ, министръ нашъ Голицынъ такія штуки выкидываетъ, что на-поди“.

— Что такое?

— „Да, говорятъ, хочетъ запретить вскрытіе труповъ“.

— Неужели? что ты!

— „Да у насъ чего нельзя,—вѣдь деспотизмъ. Послалъ, говорятъ, во всѣ университеты запросъ: нельзя ли обойтись безъ труповъ или замѣнить ихъ чѣмъ-нибудь?“

— Да чѣмъ тутъ замѣнишь?

— „Извѣстно, ничѣмъ,—такъ ему и отвѣтятъ“.

— Толкуй! а не хочешь картинами или платками?

— „Чѣмъ это? что ты врешь, какъ сивый меринъ!“—слышу чей-то вопросъ.

— Нѣтъ, не вру; уже гдѣ-то, сказываютъ, такъ дѣлается. Профессоръ-то анатоміи привяжетъ одинъ конецъ платка къ лопаткѣ, а другой—къ плечевой кости, да и тянетъ за него; „вотъ,—говоритъ,—посмотрите: это Deltoideus“.

Дружный хохотъ; кто-то плюнулъ съ остервенѣніемъ.

Да, нумеръ 10-й былъ такою школою для меня, уроки которой, какъ видно, пережили въ моей памяти много другихъ, болѣе важныхъ воспоминаній.

Впослѣдствіи почуялись и въ 10-мъ нумерѣ вѣянія другого времени; послышались чаще имена Шеллинга, Гегеля, Окэна. При ежедневномъ посѣщеніи университетскихъ лекцій и 10-го нумера все мое міровоззрѣніе очень скоро измѣнилось; но не столько отъ лекцій остеологіи Терновскаго (въ первый годъ Лодера не слушали) и физіологіи Мухина, сколько, именно, отъ образовательнаго вліянія 10-го нумера.

На первыхъ же порахъ, послѣ вступленія моего въ университетъ, 10-й нумеръ снабдилъ меня костями и гербаріемъ; кости конечностей, нѣсколько реберъ и позвонковъ были, по всѣмъ вѣроятіямъ, краденыя изъ анатомическаго театра отъ скелетовъ, что̀ доказывали проверченныя на нихъ дыры, а кости черепа, отличавшіяся бѣлизною, были, вѣрно, украдены у Лодера, раздававшаго ихъ слушателямъ на лекціяхъ остеологіи.

Когда я привезъ кулекъ съ костями домой, то мои домашніе не безъ душевной тревоги смотрѣли, какъ я опорожнивалъ кулекъ и раскладывалъ драгоцѣнный подарокъ 10-го нумера по ящикамъ пустого комода, а моя нянюшка, Катерина Михайловна, случайно пришедшая въ это время къ намъ въ гости, увидѣвъ у меня человѣческія кости, прослезилась почему-то,—и когда я сталъ ей демонстрировать,—очень развязно поворачивая въ рукахъ лобную кость, бугры, вѣнечный шовъ и надбровныя дуги,—то она только качала головою и приговаривала: „Господи, Боже мой, какой ты вышелъ у меня безстрашникъ!“

Что касается до пріобрѣтенія гербарія, то оно не обошлось мнѣ даромъ. Надо знать, что это былъ дѣйствительно замѣчательный для того времени травникъ, хотя Москва и могла считаться истиннымъ отечествомъ травниковъ всякаго рода, только не ботаническихъ, а ерофѣечевыхъ; гербарій же 10-го нумера

былъ, очевидно, не соотечественный. Вѣроятно его составлялъ какой-нибудь ученый аптекарь, нѣмецъ; онъ собралъ около 500 медицинскихъ растеній, прекрасно засушилъ, наклеилъ каждое на листъ бумаги, опредѣлилъ по Линнею и каждый листъ съ растеніемъ вложилъ въ листъ пропускной бумаги. Чисто, аккуратно, красиво. Когда студентъ 10 нумера, Лобачевскій, показалъ мнѣ въ первый разъ это, принадлежавшее ему, сокровище, я такъ и ахнулъ отъ восхищенія. Лобачевскій предложилъ мнѣ купить эту, по моимъ тогдашнимъ понятіямъ, драгоцѣнную вещь за 10 рублей, разумѣется, ассигнаціями, и сверхъ того привезти ему еще на память шелковый шнурокъ для часовъ, вязанный сестрою; Лобачевскій былъ galant homme и гдѣ-то видѣлъ моихъ сестеръ. Я, не возражая, не торгуясь, внѣ себя отъ радости пріобрѣтенія, попросилъ тотчасъ же уложить гербарій въ какой-то старый лубочный ящикъ; старый Яковъ связалъ ящикъ веревкою, стащилъ внизъ и положилъ въ сани къ извозчику.

Въ мечтахъ, наслаждаясь разсматриваніемъ гербарія, я и не замѣтилъ, какъ доѣхалъ до дому; тутъ только взяло меня раздумье: а что, какъ мнѣ денегъ-то не дадутъ, что тогда? да не можетъ быть!—Ну, а если?.. Ахъ, Боже мой, какъ же это такъ я и не подумалъ прежде! Ну, будь, что будетъ!

— „Прасковья! Прасковья! Ульяна! да подите сюда, помогите вытащить ящикъ изъ саней!“

Тащатъ. Вхожу въ комнаты уже ни живъ, ни мертвъ отъ волненія.

— Что это такое?—спрашиваютъ сестры.

— „Да это гербарій“.

— Что такое гербарій?

— „Ботаника“.

— Да вѣдь у тебя есть уже ботаника.

— „Какая?“

— Да ты развѣ не помнишь, сколько сушилъ разныхъ цвѣтовъ?

— „Ахъ, это совсѣмъ не то; это настоящій, какъ есть ботаническій гербарій, и все медицинскія растенія. Просто чудо, драгоцѣннѣйшая вещь, рѣдкость!“

— Да откуда же ты досталъ?

А я между тѣмъ распаковываю ящикъ, вынимаю пачки пропускной бумаги.

— „А вотъ посмотрите-ка сначала, каково, а? вотъ смотрите-ка Atropa Belladonna, нездѣшняя, у насъ не растетъ. Это—красавица, ядъ страшный; а вотъ это растетъ и у насъ, видите: Hyosciamus niger. L.; это значитъ Линней, по Линнею—бѣлена. Что? Каково?“

— Кто же тебѣ подарилъ?

— „Вотъ тебѣ разъ: подарилъ! прошу покорно! Да гдѣ найдешь такихъ благодѣтелей, чтобы все дарили вамъ? Я купилъ“.

— Купилъ! а деньги гдѣ?

— „Буду просить“.

А о шнуркѣ я ни гу-гу.

Начинаются переговоры и пересуды. Мать узнаетъ и называетъ мою покупку самоуправствомъ, легкомыслiемъ, расточительностiю; угрожаетъ, что отецъ не дастъ денегъ. Я—въ слезы, ухожу къ себѣ, ложусь въ постель и плачу навзрыдъ,—и такъ на цѣлый вечеръ, нейду ни къ чаю, ни къ ужину; приходятъ сестры, уговариваютъ, утѣшаютъ. Я угрожаю, что останусь дома и не буду ходить на лекцiи. Обѣщаютъ, во что бы то ни стало, достать къ завтрашнему дню 10 рублей. А про шнурокъ я все-таки ни гу-гу. Такъ, благодаря ходатайству сестеръ, дѣло и уладилось. Я принесъ Лобачевскому на другой день 10 рублей, а про шнурокъ что-то сболтнулъ, не помню; только Лобачевскiй его никогда не получалъ, хотя при каждомъ удобномъ случаѣ и напоминалъ мнѣ о моемъ обѣщанiи; а я, въ досадѣ на свою легкомысленность, посылалъ Лобачевскаго, внутренно, ко всѣмъ чертямъ.

Съ этихъ поръ гербарiй доставлялъ мнѣ долго, долго, неописанное удовольствiе; я перебиралъ его постоянно и, не зная ботаники, заучилъ на память наружный видъ многихъ, особливо медицинскихъ, растенiй; лѣтомъ ботаническiя экскурсiи были моимъ главнымъ наслажденiемъ, и я непремѣнно сдѣлался бы порядочнымъ ботаникомъ, еслибы нашелъ какого-нибудь знающаго руководителя; но такого не оказалось, и мой драгоцѣнный гербарiй, увеличенный мною и долго забавлявшiй меня, сдѣлался потомъ снѣдью моли и мышей; однако-же цѣлыхъ

16 лѣтъ онъ просуществовалъ, сберегаемый безъ меня матушкою, пока она рѣшилась подарить его какому-то молодому студентику.

Кромѣ костей и гербарія, я принесъ еще домой изъ 10-го нумера и мое новое міровоззрѣніе, удививъ и опечаливъ этимъ не мало мою благочестивую и богомольную матушку. Въ церковь къ заутренямъ и даже всенощнымъ я продолжалъ еще ходить, соблюдалъ посты и всѣ обряды; но при каждомъ случаѣ, когда заходила рѣчь съ матерью и домашними о святости внѣшняго богопочитанія, о страшномъ судѣ, мукахъ въ будущей жизни, и т. п., я сильно протестовалъ, глумился надъ повѣствованіями изъ Четьи-Минеи о дьяволѣ и его проказахъ, и пр.

— „Да разсудите, сдѣлайте милость, маменька, сами“,— доказывалъ я логически:—„какъ же это можетъ быть? Вѣдь Богъ, вы знаете, всевѣдущъ, всевидящъ, правосуденъ, милосердъ; поэтому Онъ зналъ навѣрное, что мы будемъ злы, и все-таки накажетъ насъ потомъ за то, что мы были злы,—гдѣ же тутъ справедливость и милосердіе?“

— Да вѣдь тебѣ Богъ далъ волю; выбирай, не дѣлай зла.

— „А, позвольте, къ чему же мнѣ эта воля, когда Богу заранѣе было извѣстно,—вѣдь Онъ всевѣдущъ,—что я согрѣшу и буду грѣшникомъ?“

Такъ резонировалъ я съ моею старушкою (тогда она не была еще такъ стара), и замѣчу кстати, что этимъ же самымъ пошленькимъ резонерствомъ я затыкалъ не однажды ротъ православнымъ догматикамъ изъ семинаристовъ.

Я помню, что съ старымъ товарищемъ по профессорскому институту (онъ былъ годами 20-ю старше меня) я цѣлые часы, ночью, болталъ на эту тему. И ни ему, ни мнѣ не приходило въ башку, что ни о всевѣдѣніи, ни о правосудіи, ни о милосердіи творческомъ намъ не суждено знать, и не намъ, не нашему человѣческому уму судить о свойствахъ абсолюта.

Когда наше нравственное начало ищетъ себѣ опору въ Божествѣ, то мы неминуемо должны остановиться на откровеніи и вѣрить Христу, разрѣшавшему подобныя моимъ сомнѣнія тѣмъ, что невозможное для человѣка—возможно для Бога.

Справедливо кто-то замѣтилъ, что двумъ мало-мальски

образованнымъ русскимъ нельзя сойтись вмѣстѣ, чтобы не заговорить тотчасъ же объ отвлеченныхъ предметахъ.

Это должно быть признакъ молодости нашей культуры; все ново, зелено, незрѣло, не передумано, не перечувствовано, не осмыслено. Такъ и со мною: лишь только я выскочилъ изъ дома на волю и сблизился съ университетскою молодежью,— тотчасъ же давай слушать, судить и рядить о матеріяхъ отвлеченныхъ. Почти съ того же давняго времени у меня составилось и крѣпло вѣрованіе, и я началъ убѣждаться въ предопредѣленіи.

Сначала оно мнѣ представлялось въ видѣ нравственнаго Немезиса, а потомъ сдѣлалось роковымъ логическимъ выводомъ. При складѣ моего ума, я никогда не могъ себѣ представить ни физическаго, ни нравственнаго міра безсвязнымъ и безцѣльнымъ; а потому и предопредѣленіе я основываю на непрерывной и безконечной связи зависящихъ другъ отъ друга причинъ и слѣдствій.

Немудрено, что, при моемъ складѣ ума, при моемъ воспитаніи, при моемъ возрастѣ, формація моего міровоззрѣнія, тотчасъ же по вступленіи въ университетъ, началась не снизу; ломка началась сверху. Сначала я сталъ потихоньку мести мою лѣстницу съ верхнихъ ступеней; но выбрасывать соръ не смѣлъ. Обрядность и внѣшность богопочитанія сохранялись мною отчасти по привычкѣ, отчасти изъ страха. Но если прежнее дѣло оставалось in statu quo, то прежняя мысль уже сильно потрясалась и рушилась.

— „Какой, право, Яковъ Ивановичъ (Смирновъ, о которомъ я говорилъ, кажется) пересудникъ и зубоскалъ!—говорить матушка:—какъ можно такъ отзываться о священнослужителяхъ!“

Я.—Да, послушали бы вы, что́ поповскіе сынки въ университетѣ говорятъ о своихъ батюшкахъ, такъ другое бы и сами подумали о попахъ; вѣдь это жрецы.

Матушка.—Что́ ты, Богъ съ тобою! вѣдь у насъ безкровная жертва.

Я.—Да что же, что безкровная? Все-таки и наши попы надуваютъ народъ, какъ жрецы прежде надували.

Матушка.—Какъ это можно такъ сравнивать!

Я.—Да отчего же не сравнивать? Вѣдь религія вездѣ, для всѣхъ народовъ, была только уздою (это выраженіе я слышалъ наканунѣ разговора отъ одного стараго семинариста на лекціи); а попы и жрецы помогали затягивать узду.

Матушка.—Религія—вѣдь это значитъ вѣра; такъ неужели же теперь, по вашему, и вѣры не надо имѣть?

Я.—Послушали бы вы, маменька, что́ говоритъ вонъ нѣмецкій философъ Шеллингъ (я только-что слышалъ о немъ въ 10-мъ нумерѣ отъ одного яраго поклонника—профессора петербургской медико-хирургической академіи Велланскаго).

Матушка.—Да я читала его „Угрозъ Свѣтовостоковъ“.

Я (съ насмѣшкою).—Да это не Шеллинга, а Штиллинга вы читали. Гдѣ же вамъ, маменька, понять Шеллинга; его и не всякій ученый пойметъ. Это натурфилософъ.

Матушка.—Да ты, Николаша, уже не хочешь ли сдѣлаться масономъ?

Я.—А что же такое масонъ? У насъ, тамъ, въ университетѣ, между нашими студентами есть и масоны (я намекаю на сдѣланное мнѣ втайнѣ сообщеніе изъ 10-го нумера).

Матушка (крестится).—Ну, Богъ съ тобою! Съ тобою теперь не сговоришь. Вотъ время-то какое настало! Куда это свѣтъ идетъ?

Я.—Да куда же ему идти, и что́ такое время? Прошедшее невозвратимо; настоящаго не существуетъ; его не поймаешь,—оно то было, то будетъ; а будущее неизвѣстно.

Эта послѣдняя тирада понравилась матушкѣ, и она долго послѣ напоминала мнѣ всегда: „А помнишь ли, какъ ты мнѣ говорилъ, что прошедшее не возвратишь, настоящаго нѣтъ, а будущее неизвѣстно. Это такъ, такъ“.

Десятый нумеръ остался мнѣ памятнымъ навсегда не только потому, что воспоминаніе о немъ совпадаетъ у меня съ развитіемъ перваго въ жизни міровоззрѣнія, но и потому еще, что слышанное и виданное мною въ этомъ нумерѣ, въ теченіе цѣлыхъ трехъ лѣтъ, служило мнѣ съ тѣхъ поръ всегда руководною нитью въ моихъ сужденіяхъ объ университетской молодежи. 10-й нумеръ 1824 года, перенесенный въ наше время, навѣрное считался бы притономъ нигилистовъ. И тогда почти все отрицалось: Бога не нужно было; религія была вредною уздою;

не отрицались только свобода, вольность и даже буйство, при полученіи жалованья. Формы, конечно, измѣнились. Отъ революціи, пожалуй бы, и не прочь, на словахъ, но систематическое осуществленіе принциповъ было не по силамъ. Осуществлять что-либо задуманное и передуманное, дѣйствовать,— это не нашего поля ягода; это нѣчто западное, пришлое къ намъ вмѣстѣ съ паромъ и желѣзными колеями.

Но университетское воспитаніе молодежи, предоставленное до 1824 года почти исключительно силамъ природы, едва-ли не дало, въ нравственномъ отношеніи, лучшіе плоды, чѣмъ позднѣйшее, искусственное.

Что́ вышло изъ всѣхъ этихъ энтузіастовъ вольности, этихъ отрицателей божества, вѣры и поклонниковъ Вольтера, натурфилософіи, революцій и т. п.? То же самое, что́ выходитъ изъ всѣхъ ультрабуршей въ германскихъ и въ нашемъ дерптскомъ университетахъ. Я встрѣчался не разъ въ жизни съ прежними обитателями 10-го нумера и съ многими другими товарищами по московскому и дерптскому университетамъ, закоснѣлыми приверженцами всякаго рода свободомыслія и вольнодумства, и многихъ изъ нихъ видѣлъ потомъ тише воды и ниже травы, на службѣ, семейныхъ, богомольныхъ и посмѣивавшихся надъ своими школьными (какъ они называли) увлеченіями. Того господина, напримѣръ, изъ 10-го нумера, который горланилъ во всю ивановскую „Оду на вольность“, я видѣлъ потомъ тишайшимъ штабъ-лекаремъ, женатымъ, игравшимъ довольно шибко въ карты и служившимъ отлично въ госпиталѣ.

Про германскихъ и дерптскихъ буршей и про нашихъ кутилъ-студентовъ и говорить нечего. Извѣстное и переизвѣстное дѣло, что этотъ разрядъ университетской молодежи даетъ впослѣдствіи значительный контингентъ отличныхъ доцентовъ, чиновниковъ-бюрократовъ, пасторовъ, докторовъ и пр. Перебѣсятся —и людьми станутъ. Die Jugend muss austoben. Правда, это поговорка нѣмецкая, а что́ для нѣмца здорово, то́ русскому, пожалуй, и не въ-прокъ. Вѣдь русскіе, поступавшіе, въ бытность мою въ Дерптѣ, студентами прямо изъ нашихъ училищъ, спивались съ кругу нерѣдко, и очень немногіе изъ нихъ вышли

въ люди. Но молодежь каждой націи должна перебѣситься по своему, и русской надо перебѣситься по своему, по-русски.

Вотъ, въ 1824—1825 годахъ, мнѣ кажется, такъ и дѣлалось. Тогда университетская молодежь, предоставленная самой себѣ, жила, гуляла, училась, бѣсилась по своему. Не было ни попечителей, ни инспекторовъ, въ современномъ значеніи этихъ званій. Попечителя, князя Оболенскаго, видали мы только на актѣ, разъ въ годъ, и то издали; инспекторы тогдашніе были тѣ же профессора и адъюнкты, знавшіе студенческій бытъ потому, что сами были прежде (иные и не такъ давно) студентами.

Экзаменовъ курсовыхъ и полукурсовыхъ не было. Были переклички по спискамъ на лекціяхъ и репетиціи,—у иныхъ профессоровъ и довольно часто; но все это дѣлалось такъ себѣ, для очищенія совѣсти. Никто не заботился о результатахъ. Между тѣмъ аудиторіи были биткомъ набиты и у такихъ профессоровъ, у которыхъ и слушать было нечего, и нечему научиться. Проказъ было довольно, но чисто студенческихъ. Болтать, даже и въ самыхъ стѣнахъ университета, можно было вдоволь, о чемъ угодно, и вкривь, и вкось. Шпіоновъ и наушниковъ не водилось; университетской полиціи не существовало; даже и педелей не было; я въ первый разъ съ ними познакомился въ Дерптѣ. Городская полиція не имѣла права распоряжаться съ студентами, и провинившихся должна была доставлять въ университетъ. Мундировъ еще не существовало. О какихъ-нибудь демонстраціяхъ никогда никто не слыхалъ. А надо замѣтить, что это было время тайныхъ обществъ и недовольства; всѣ грызли зубы на Аракчеева; запрещенныя цензурою вещи ходили по рукамъ, читались студентами съ жадностію и во всеуслышаніе; чего-то смутно ожидали.

Правда, общественная жизнь того времени не была еще, какъ теперь, взбаломученнымъ моремъ. О меньшей братіи не было еще толковъ. Культурный слой заботился только о себѣ и смотрѣлъ вверхъ, а не внизъ. Буржуазія еще стояла на пьедесталѣ. Но развѣ все это не было для насъ гораздо натуральнѣе и проще? Тогда, какъ и теперь, всѣмъ извѣстно было, что въ сущности, что́ бы тамъ ни говорилось, всякій заботится исключительно о себѣ; но тогда люди были, должно быть, от-

кровеннѣе и, заботясь о себѣ, не толковали о меньшей братіи и не поступали такъ, какъ будто бы изъ кожи лѣзутъ для другихъ. Всесвѣтное горе, Weltschmerz, не волновало еще умы людей и не было моднымъ занятіемъ тѣхъ, кому нечего было дѣлать. Правда, и тогда знали, что во времена бны Сынъ Человѣческій скорбѣлъ этимъ горемъ не для Себя; но знали также, что то былъ Единый, Непогрѣшимый, Безгрѣшный, имѣвшій власть отпускать и грѣхи другихъ; а потому, считая самоотверженіе и безкорыстное служеніе общему благу не дѣломъ во грѣхѣ рожденныхъ сыновъ человѣческихъ, подозрительно смотрѣли на вожаковъ и агентовъ вспомоществованія всесвѣтному горю.

Конечно, молодежь, какъ самый чувствительный къ вѣяніямъ времени барометръ, всегда обнаруживаетъ замѣтнѣе признаки небывалыхъ стремленій; такъ, немудрено, что современная молодежь, при появленіи на свѣтъ новыхъ соціальныхъ ученій, тотчасъ же изъявила готовность донкихотствовать и окунаться въ взбаломученное море.

Я убѣжденъ, однако-же, что не тяготѣй надъ нашими студентами съ 1826 года, цѣлыхъ 30 лѣтъ, систематическій гнетъ попечительствъ, инспекторствъ, и т. п., молодежь встрѣтила бы вѣянія новаго времени совсѣмъ инымъ образомъ. Несмотря на мою незрѣлость, неопытность и дѣтски-наивное равнодушіе къ общественнымъ дѣламъ, я все-таки тотчасъ же почувствовалъ начинавшійся съ 1825 года гнетъ въ университетѣ.

Гнетъ этотъ, какъ извѣстно, усиливался crescendo и даже до сегодня, съ нѣкоторыми перемежками,—слѣдовательно, не 30, какъ я сейчасъ сказалъ, позабывъ, что̀ дѣлалось въ послѣднія 20 лѣтъ,—а цѣлыхъ 50 лѣтъ. Довольно времени, чтобы, исковеркавъ lege artis молодую натуру и ожесточивъ нравы, перепортить и погубить многія сотни и тысячи душъ.

Вотъ куда зашелъ я изъ 10-го нумера, и забылъ, что хотѣлъ еще говорить о московскихъ извозчикахъ, возившихъ меня почти ежедневно съ Неглинной (университетъ, по понятіямъ тогдашнихъ извозчиковъ, находился на Неглинной) къ Троицѣ въ Сыромятники. Species моихъ возницъ именовалось волоч-

ками, и я имѣлъ удовольствіе, въ теченіе цѣлаго года, по вечерамъ ѣздить изъ университета домой на волочкахъ.

Этотъ, теперь не существующій, родъ возницъ перетаскивалъ человѣческія тѣлеса на дровняхъ. Незатѣйливый экипажъ, волочка, дѣйствительно, былъ не что иное, какъ большія дровни, покрытыя какимъ-то подобіемъ подушки; садились на эти дровни сбоку; ноги оставались свѣшенными на землю, и если были очень длинны, то едва не волочились по землѣ; когда было грязно, то предлагались для прикрытія колѣнъ и голеней дерюга или мѣшокъ, нисколько, впрочемъ, не оправдывавшіе возлагавшихся на нихъ надеждъ.

Какъ бы современному прогрессу ни казались ненормальными извозчичьи московскія волочки 1825 года,—но онѣ вполнѣ гармонировали съ тогдашнимъ состояніемъ столичныхъ переулковъ и моего кармана. За 10 и за 5 копѣекъ,—смотря по тому, гдѣ я садился на волочки,—онѣ везли меня цѣлыхъ 8 верстъ, въ темные, осенніе вечера, по непроходимой грязи различныхъ переулковъ и закоулковъ, путешествіе пѣшкомъ по которымъ было сопряжено съ опасностію для жизни, и я это испыталъ нѣсколько разъ, когда мнѣ приходилось отправляться по инфантеріи.

Разъ, въ безлунный, темный, осенній вечеръ, я, не желая передать извозчику болѣе пятачка, загрязъ по щиколки въ какомъ-то глухомъ закоулкѣ и былъ аттакованъ собаками; перепугавшись не на шутку, я кричалъ во все горло, отбивался бросаніемъ грязи и, наконецъ, кое-какъ выкарабкался изъ нея, весь испачканный и съ потерею галошъ.

Извозчики и учащаяся молодежь — это два самые вѣрные барометра культурнаго общества: по нимъ узнается очень скоро и настроеніе, и степень культуры общества. Иначе и не могло быть. Чѣмъ дѣятельнѣе обмѣнъ веществъ, тѣмъ живѣе и совершеннѣе организмъ. Чѣмъ дѣятельнѣе обмѣнъ идей, а съ ними и умственныхъ и матеріальныхъ произведеній, тѣмъ культурнѣе и совершеннѣе общество. А кто, какъ не школа и молодежь, укажетъ намъ прямо и вѣрно умственную жизнь общества, его стремленія, силу и скорость обмѣна господствующихъ въ немъ идей? Кто, какъ не извозчики и главный ихъ

raison d'être—пути сообщенія, покажетъ намъ силу и скорость обмѣна въ матеріальномъ бытѣ общества?

Прошло менѣе года, судя по разсчету времени, и гораздо болѣе, судя по однимъ воспоминаніямъ, съ тѣхъ поръ, какъ я вступилъ въ московскій университетъ, и страшное горе-злосчастіе разразилось надъ нашею семьею.

Уже года два тянулась исторія съ покражею казенныхъ денегъ коммиссіонеромъ Иваковымъ; домъ и имѣніе были уже описаны въ казну, были и частные долги; но отецъ умѣлъ вести дѣла, былъ повѣреннымъ по разнымъ дѣламъ и между прочими и по имѣнію генерала Николая Мартыновича Сипягина, женатаго на богатой Всеволожской.

Въ теченіе этого времени, помню, толковали много у насъ о пріѣздѣ въ Москву для ревизіи коммиссаріата какого-то грознаго Аббакумова; называли его аракчеевцемъ. Онъ упекъ многихъ подъ судъ; отецъ, однако-же, избѣжалъ суда и вышелъ по-просту въ отставку; мы продолжали жить почти-что по прежнему, какъ въ былые счастливые дни. Я помню еще, какъ отецъ, вышедъ въ отставку, въ первый разъ надѣлъ темно-коричневый, съ темными пуговицами, фракъ и сапоги съ кисточками; помню, кажется мнѣ, и то, что онъ сталъ какъ-то задумчивѣе, неподвижнѣе; прежде мы только по вечерамъ его видали дома; теперь мы заставали его нерѣдко посреди дня спящимъ на диванѣ; онъ чаще сталъ жаловаться на головныя боли, и характеръ его, должно быть, измѣнился; вспыльчивый и горячій по природѣ, отецъ сдѣлался равнодушнымъ. Какъ теперь вижу,—онъ сидитъ и брѣется; входитъ низенькая, толстая фигура баньщика и торговца дровами и начинаетъ тянуть предлинную канитель объ уплатѣ денегъ за купленныя у него дрова и, замѣтивъ, наконецъ, равнодушіе отца къ его доводамъ, говоритъ: „нѣтъ, я уже теперь вижу, придется идти мнѣ не къ Ивану Ивановичу (моему отцу), а къ Александру Алексѣевичу“ (т.-е. къ московскому оберъ-полиціймейстеру Шульгину съ жалобою на должника). На всю тираду баньщика отецъ не отвѣчаетъ ни полслова; я стою и слушаю,—и, вѣрно, слушалъ очень внимательно, если до сихъ поръ помню.

Въ половинѣ апрѣля отецъ приходитъ изъ бани и выпиваетъ стаканъ квасу. Ночью въ домѣ тревога. Захватило духъ; посылаютъ за лекаремъ, пускаютъ кровь, затѣмъ слѣдуетъ облегченіе; отецъ чрезъ нѣсколько дней встаетъ съ постели, прохаживается по саду, но не выздоравливаетъ; лекарь изъ воспитательнаго дома, Кашкадаловъ, призываетъ на консиліумъ все того же Ефр. Осип. Мухина, нашего стараго знакомаго и добродѣя.

Вспоминаю два разсужденія по поводу этого консиліума. Оканчивавшіе курсъ изъ 10-го нумера, услыхавъ отъ меня, что Ефремъ Осиповичъ прописалъ отцу magnesia sulfurica въ растворѣ, рѣшили съ самоувѣренностію, что они сдѣлали бы то же самое, что и Мухинъ: а мой почтенный подлекарь Григ. Мих. Березкинъ, съ нависшими бровями, полузакрытыми глазами, хриплымъ голосомъ, скороговоркою и отрывисто, какъ-то подъ носъ себѣ, бормоталъ: „тутъ бы, эдакъ, надо бы amara, amara roborantia бы, эдакъ“. И я, вспоминая блѣдно-желтоватый, безкровный обликъ въ послѣдній разъ въ жизни видѣннаго отца, невольно думаю: старикъ Березкинъ правъ былъ...

Насталъ день 1 мая, гулянье въ Сокольникахъ, день превосходный, солнечный, теплый; мы вздумали вывезти отца за городъ на нѣсколько часовъ; условились, чтобы я воротился изъ университета къ часу, и мнѣ помнится, какъ будто отецъ, вставъ по утру въ этотъ день, говорилъ намъ, что во снѣ кто-то ему сказалъ очень внятно: „слышалъ ли, что Иванъ Иванычъ Пироговъ умеръ“. Не берусь рѣшить навѣрное, слышалъ ли я это изъ устъ самого отца, какъ мнѣ кажется, или узналъ послѣ изъ разсказовъ отъ домашнихъ.

Радостно я уходилъ въ университетъ, въ надеждѣ, возвратившись, тотчасъ же поѣхать съ отцомъ за городъ; грустно было мое возвращеніе,—и теперь, 56 лѣтъ спустя, сердце ноетъ, когда привожу на память, что́ я увидѣлъ, возвратившись домой.

Что-то зловѣщее чуялось мнѣ, когда я приближался къ дому. У воротъ стояло нѣсколько человѣкъ и ворота были отперты; слышался шумъ и бѣготня. Меня забыли или не могли предупредить. Чуя что-то недоброе, я пробѣжалъ чрезъ дворъ въ сѣни и переднюю, и лишь только отворилъ дверь въ боль-

шую комнату (залу), мнѣ представился столъ, а на столѣ—темно-багровое, раздутое лицо отца, окаймленное воротникомъ мундира; у меня закружилась голова, сердце сжалось, ноги подкосились, и я упалъ на руки къ подбѣжавшимъ ко мнѣ сестрамъ.

Одна изъ нихъ разсказала потомъ мнѣ, что, не болѣе, какъ за часъ до моего прихода, она подала отцу ложку съ лекарствомъ; онъ сидѣлъ на стулѣ, и лишь только поднесъ ложку ко рту, какъ побагровѣлъ, захрапѣлъ и повалился со стула. Apopléxie foudroyante.

Остановлюсь на наслѣдственныхъ характерныхъ чертахъ нашей семьи. Современный вопросъ о вліяніи наслѣдственности на организмъ только тогда рѣшится удовлетворительно, когда соберется достаточный и надежный матеріалъ изъ описаній наслѣдственной характеристики огромнаго числа семей и особей.

Въ нашемъ семействѣ весьма рѣзко выразились два различные типа; одна часть мужского и женскаго поколѣнія (братья и сестры) была почти черноволосая, долголицая, съ продолговатыми носами, темно-карими глазами, густыми волосами на головѣ и тѣлѣ; другая половина, напротивъ, была круглолица, съ черепомъ болѣе широкимъ, чѣмъ высокимъ, сплюснутымъ широкимъ носомъ, нѣсколько выдавшимися скулами, свѣтлыми и голубыми глазами, свѣтло-русыми и жидкими волосами на головѣ; мужское поколѣніе этого типа плѣшиво,—плѣшь начинается со лба, а не съ макушки головы,—но борода окладистая и густая.

Изъ шести оставшихся на моей памяти членовъ нашей семьи (трехъ братьевъ и трехъ сестеръ) только двое принадлежали къ первому типу долголицыхъ (братъ и сестра), тогда какъ нашъ отецъ, мать и четверо насъ остальныхъ дѣтей (двое братьевъ и двѣ сестры) были представителями второго типа.

Дѣда и бабушку мою я не помню, но, судя по разсказамъ, дѣдъ принадлежалъ также къ этому разряду, хотя и былъ на старости совершенно плѣшивъ; находили нѣкоторое сходство между нимъ и старшимъ моимъ братомъ, Петромъ.

Разсказывали, что дѣдъ Иванъ Михайловичъ былъ высокій, плотный мужчина и жилъ болѣе ста лѣтъ; увѣряли даже, что передъ смертью у него начали прорѣзываться новые зубы!??

Онъ служилъ прежде въ арміи и помнилъ еще многое изъ временъ Петра Перваго, потомъ поселился въ Москвѣ, завелъ какую-то, для того времени новую, пивоварню, женился и былъ строгимъ мужемъ; бабушка въ послѣдніе годы жизни помѣшалась, капризничала, бранилась и дралась съ мужемъ.

Помѣшательство перешло по наслѣдству и на старшую сестру мою, какъ разсказывали, очень похожую лицомъ на бабушку. Я наблюдалъ эту болѣзнь сестры съ самаго начала ея развитія, съ 1841 г., а смерть постигла сестру въ 1869 году.

Все наше семейство было характера вспыльчиваго и горячаго; но вспышки никогда не продолжались долго. Эти черты нрава перешли отъ дѣда и бабки къ отцу, отъ отца—къ намъ. Мать моя принадлежала, какъ сказано уже, ко второму типу, имѣла характеръ сходный съ отцовскимъ, но отличалась большею сдержанностью; зато и гнѣвъ ея не проходилъ такъ скоро, какъ отцовскій, а расположеніе духа не такъ быстро мѣнялось, какъ у отца; она была и разсчетливѣе, и бережливѣе.

Мнѣ кажется, я многое наслѣдовалъ отъ нея и съ физической, и съ нравственной стороны, и между прочимъ—тонкія руки и ноги, худощавость, наклонность къ катаррамъ, шумъ въ ушахъ, религіозное настроеніе духа, охоту къ занятіямъ и бережливость.

2-го марта 1881.

Сегодняшняя потрясающая новость заставляетъ придать моей хроникѣ снова прежнюю форму дневника. Нельзя не передать бумагѣ мысли глубоко взволнованной души. Только-что получилъ отъ исправника изъ Винницы приглашеніе къ панихидѣ по Александрѣ II-мъ, съ извѣщеніемъ, что онъ скончался отъ ранъ, нанесенныхъ ему 1-го марта двумя взрывчатыми снарядами. Семь разъ было покушеніе на жизнь; едва-ли въ исторіи найдется другой примѣръ такъ часто (въ теченіе 15-ти лѣтъ) повторявшихся попытокъ отнять жизнь у государя добраго въ душѣ и желавшаго, безъ сомнѣнія, добра государству, конечно, по своему личному убѣжденію. За что же? За что такая злая ненависть и злодѣйское упорство? Вопросъ нелегкій и глубокій, по его нравственно-историческому значенію. Будь я не русскій, а чужеземецъ, я не затруднился бы тотчасъ

же отвѣчать слѣдующимъ соображеніемъ: „Россія-молъ долго ждала съ освобожденіемъ крестьянъ; ему надо бы было совершиться еще при Николаѣ; онъ, съ своею энергіею, съумѣлъ бы произвести давно реформу, еслибы онъ не былъ обманутъ своимъ отвращеніемъ ко всему, что имѣло какой-либо видъ народной свободы въ государствѣ“, и т. д., и т. д.

„Запоздавшая эманципація пришла-молъ поэтому въ самое неудобное время; съ одной стороны—еще не затертые слѣды кровавой войны, кончившейся постыднымъ миромъ, натянутыя до-нельзя пружины административнаго произвола, заправлявшаго всѣмъ въ государствѣ; крайняя потребность для существованія государства въ радикальныхъ экономическихъ реформахъ; съ другой же—броженіе умовъ во всей Европѣ, подъ наплывомъ новыхъ соціальныхъ доктринъ, угрожающее уже переходомъ отъ идеи къ дѣйствительному осуществленію на опытѣ,—и все это при неожиданныхъ, слѣдовавшихъ одно за другимъ и весьма знаменательныхъ политическихъ событіяхъ (освобожденіе Италіи, польское возстаніе, освобожденіе невольниковъ и междоусобныя войны Америки).

„При такихъ обстоятельствахъ нельзя-молъ было ожидать совершенно мирнаго и правильнаго, съ соблюденіемъ общихъ интересовъ (частныхъ и государственныхъ), исхода эманципаціи“...

. . . . . .

Вѣроятно, такъ и объясняли себѣ американцы первое покушеніе на жизнь государя Каракозова, сравнивая его съ убійцей президента Линкольна. Конечно, намъ, русскимъ, такое сравненіе кажется уродливымъ. Но обыкновенно всѣ, даже и самые безпристрастные судьи, всегда ищутъ причину преступленій тамъ, гдѣ существуютъ или могутъ существовать какіе-либо мотивы къ совершенію преступленій.

Посторонній судья, узнавъ о часто случавшихся покушеніяхъ на жизнь особы государя, непремѣнно задастся вопросомъ: да въ чьихъ же интересахъ было убить его? кому вредила или чье мщеніе возбуждала эта столь дорогая для цѣлаго государства жизнь? И у посторонняго судьи отвѣтъ не замедлилъ бы явиться. . . . . .

Мы, русскіе, конечно, укажемъ постороннему судьѣ прямо на шайку крамольниковъ, воспользовавшихся снятіемъ гнета, и

проявляющихъ свою пагубную дѣятельность именно съ тѣхъ поръ, когда главою государства была дана бо́льшая свобода мысли и слова. Мы приведемъ и неоспоримые факты, укажемъ на связь нашихъ крамольниковъ съ интернаціоналкою, на значительный контингентъ евреевъ, принимающихъ участіе въ крамолѣ, и пр. и пр. Все это, я полагаю, не будетъ, однако, убѣдительно для чужеземнаго наблюдателя и оцѣнщика событій въ нашемъ отечествѣ . . . . . .

Но мы должны знать еще и многое другое, существенно измѣняющее взглядъ чужеземнаго наблюдателя на причины и мотивы нашей современной (1881 г.) общественной и государственной неурядицы. Я пишу откровенно, какъ думаю, безъ всякой задней мысли, а главное, какъ человѣкъ независимый, ничего не ищущій, отжившій свой вѣкъ, но все еще любящій отчизну и желающій ей добра. Я располагалъ помѣстить мой взглядъ на наши общественныя дѣла въ моемъ дневникѣ впослѣдствіи; но теперь представился къ тому прискорбный случай. Онъ не даетъ говорить и думать о чемъ-нибудь другомъ. Пожалуй, задохнешься отъ наплыва взволнованныхъ чувствъ и мыслей, если не дашь имъ вылиться на бумагу; она, какъ извѣстно, все терпитъ,—вытерпитъ и этотъ напоръ. Хотя онъ и временный, и случайный, но наплывшія мысли родились не сейчасъ.

Погибъ отъ преступной руки самодержавный государь на улицѣ, охраняемый стражею, окруженный толпою народа. Безпристрастная исторія оцѣнитъ вполнѣ его заслуги предъ Россіею; онѣ были необыкновенныя, вѣковыя. И самъ цареубійца (если онъ былъ не подлый рабъ и наемникъ) предъ судомъ своей совѣсти будетъ оправдываться развѣ тѣмъ только, что онъ сдѣлалъ для Россіи такъ, какъ бы это надо было сдѣлать по мнѣнію единомышленниковъ самого убійцы.

Но вѣнка безсмертія убійство не сорветъ съ головы Александра II-го. Это должны признать и самые злѣйшіе его враги, если въ нихъ осталась хотя одна тѣнь безпристрастія и любви къ правдѣ.

Кого же изъ мыслящихъ и любящихъ истину людей не заставитъ задуматься это упорное подпольное преслѣдованіе государя, такъ много сдѣлавшаго для своего государства,—и

зато въ теченіе 15-ти лѣтъ семь разъ подвергавшагося покушеніямъ на свою жизнь.

Причина, вѣрно, не одна; какъ всегда, причину важныхъ событій нужно искать въ совпаденіи различныхъ обстоятельствъ; они, какъ разсѣянные лучи теплоты, собираются какимъ-то зажигательнымъ стекломъ въ фокусѣ и устремляются на одну предназначенную точку.

Посмотрю съ самаго начала, какъ мнѣ, незнакомому ни съ государственною, ни съ закулисною стороною современной жизни, представляется весь ходъ событій съ того, именно, момента, когда новый государь дѣлаетъ первый крупный шагъ на пути прогресса.

Но когда рѣчь идетъ о личномъ, болѣе или менѣе субъективномъ взглядѣ на дѣло, то прежде всего нужно уяснить себѣ, каковъ глазъ, которымъ смотришь.

Я вотъ уже смотрю на четвертое царствованіе. На первое я смотрѣлъ дѣтскими глазами и видѣлъ только окончаніе его университетскимъ подросткомъ; второе пришлось мнѣ созерцать юношею, въ самомъ цвѣтѣ лѣтъ; третье застало меня уже отцомъ подростающихъ дѣтей, уже многое испытавшимъ, но еще готовымъ на борьбу и новую жизнь; наконецъ, четвертое я встрѣчаю одряхлѣвшимъ, но не отжившимъ нравственно старикомъ. Итакъ, я обращаю мой старческій взглядъ назадъ, на то, что я видѣлъ и что́ мнѣ казалось въ самую пору моей умственной зрѣлости.

Что вызвало эманципацію крестьянъ въ Россіи, какъ начало началъ нашего прогресса, а вмѣстѣ съ тѣмъ и всѣхъ современныхъ событій? Послѣ печальныхъ дней севастопольскаго погрома вѣсть объ эманципаціи была первою зарею новой эры...

. . . . . .

Надо молиться и надѣяться, что финалы другихъ актовъ будутъ болѣе во вкусѣ честныхъ и здравомыслящихъ сыновъ Россіи!

Я былъ въ то время попечителемъ одесскаго учебнаго округа, когда первая вѣсть объ эманципаціи доставлена была туда брюссельскою газетою „Indépendance Belge“. Студенты лицея достали гдѣ-то нумеръ этой газеты, прочли новость, и тотчасъ же нѣсколько изъ нихъ отправились въ гостинницу

пить вино за здоровье государя и крестьянъ. Жандармскій генералъ тотчасъ же донесъ о происшествіи въ Петербургѣ и сообщилъ мнѣ о случившемся; а я зналъ это уже прежде него отъ самихъ студентовъ и не находилъ въ этомъ ничего худого; узнавъ, однако-же, что о томъ писано въ Петербургѣ, принужденъ былъ извѣстить министра Норова о происшедшемъ, съ моимъ оправдательнымъ комментаріемъ. Къ счастью, генералъ-губернаторъ Строгоновъ посмотрѣлъ, неожиданно для меня, какъ-то слегка на происшествіе, можетъ быть и потому, что генералъ, котораго онъ не жаловалъ, слишкомъ поторопился безъ него.

„Одесскій Вѣстникъ“ того времени былъ переданъ генералъ-губернаторомъ черезъ меня лицею. Я поручилъ редакцію проф. Богдановскому и Георгіевскому, и когда въ столичныхъ періодическихъ изданіяхъ начали появляться статейки, затрогивавшія крестьянскій вопросъ, то и редакція „Одесскаго Вѣстника“ издалека коснулась этого горючаго матеріала. Боже мой, поднялась какая тревога!

Несмотря на самые глухіе, самые неопредѣленные намеки о нѣкоторыхъ выгодахъ улучшенія крѣпостного быта (какъ называли тогда оффиціально предстоящую эманципацію), полетѣли на меня въ Петербургъ съ разныхъ сторонъ донесенія. Два изъ нихъ, самыя главныя, пересланы были потомъ мнѣ: одно изъ министерства внутреннихъ дѣлъ (отъ Ланского), а другое—изъ министерства народнаго просвѣщенія (отъ Ковалевскаго). Первое настрочено было на пяти листахъ... (имя этого почтеннаго дѣятеля я уже позабылъ, да, по правдѣ, оно и не стоило того, чтобы о немъ помнить); тамъ я сравнивался, буквально, съ Маратомъ, Прудономъ, и т. п. Другое донесеніе шло на „Одесскій Вѣстникъ“ отъ самого генералъ-губернатора, т.-е. также на меня, какъ предсѣдателя цензурнаго комитета, хотя эта газета не могла, по закону, выходить въ свѣтъ безъ предварительной цензуры генералъ-губернатора.

Въ Кіевѣ, куда я перешелъ попечителемъ изъ Одессы,—другая исторія: тамъ польскіе помѣщики жаловались на студентовъ, своихъ соплеменниковъ, за ихъ сближеніе съ народомъ, на хохломановъ, подстрекающихъ народъ противъ пановъ.

Кіевскій генералъ-губернаторъ Васильчиковъ сообщилъ

мнѣ, что одинъ богатый польскій помѣщикъ (кіевской губерніи)— отецъ—донесъ ему на своихъ сыновей за ихъ сближеніе съ крестьянами. А въ то же время „Колоколъ“ Герцена звонитъ во всю ивановскую; запрещенный до того, что цензура не пропускала даже его имени, онъ читался всѣми, не исключая и учениковъ гимназій, на-расхватъ; какъ утаить отъ дѣтей, что̀ занимало такъ сильно ихъ отцовъ и старшихъ братьевъ!!

Ѣду въ Петербургъ, призванный на съѣздъ попечителей 1860 г.;—глазамъ и ушамъ не вѣрю, что̀ вижу и слышу. Въ Твери, гдѣ я останавливался по дѣламъ моего тверского имѣнія, я нашелъ вечеромъ человѣкъ 50 и болѣе,—и что̀ тамъ говорилось почти публично, и въ какихъ выраженіяхъ проявлялось недовольство, этого я никогда не забуду; и за что же? Это были не крѣпостники, а прогрессисты, недовольные прогрессомъ и называвшіе его анархіею.

Пріѣзжаю въ самый Петербургъ. Еще хуже: недовольство еще ярче. Тутъ является ко мнѣ одинъ изъ сосѣдей по тверскому имѣнію, застаетъ у меня Н. Х. Б., назначеннаго тогда въ ректоры кіевскаго университета и участвовавшаго въ редакціонной коммиссіи. Я не зналъ, куда дѣваться, когда сосѣдъ напалъ на члена ненавистной ему коммиссіи. „Вы хотите, молъ, крови! — восклицалъ онъ:—она польется рѣками!“ и т. п.

Но это былъ, по крайней мѣрѣ, крѣпостникъ и потому недовольный ex officio. Вечеромъ въ тотъ же день приходитъ ко мнѣ докторъ Шульцъ, имѣвшій входъ въ банкирскіе дома, знакомый коротко со многими художниками, вообще человѣкъ довольно смѣтливый.— „Ну,—говоритъ онъ мнѣ,—всѣ увѣрены, что въ Россіи должна быть революція; при этомъ государѣ— опытные люди полагаютъ—она еще не вспыхнетъ, но послѣ него непремѣнно“. — „Полноте, любезный, молоть чепуху!“ отвѣчаю я.—„Поживите въ Петербургѣ, такъ увидите сами, какая перемѣна вышла въ 4 года!“ (я выѣхалъ изъ Петербурга собственно въ 1857 г.) были послѣднія слова Шульца.

Я прожилъ недѣли три въ Петербургѣ, и, дѣйствительно, не зналъ, чему удивляться: распущенности ли съ одной стороны, или безалаберности съ другой; то слышались довольно громко, почти публично, самые ярокрасные бредни и вызовы, то запрещались весьма скромныя журнальныя статьи. Вообще,

предшествовавшее непосредственно эманципаціи время оставило у меня впечатлѣніе чего-то смутнаго, неопредѣленнаго, недозволявшаго понять, должно ли радоваться тому, что́ предстоитъ, или только рукой махнуть.

Все это я привожу себѣ на память въ доказательство того, что общественное мнѣніе сильно расшевелилось вопросомъ объ эманципаціи; но изъ этого, конечно, не слѣдуетъ, что вопросъ былъ расшевеленъ общественнымъ мнѣніемъ. Онъ былъ поднятъ, несомнѣнно, сверху. Причинъ къ тому, какъ всѣ мы знаемъ, было не мало въ то время.

Только три рода людей изъ культурнаго класса встрѣчалъ я, въ то время не одобрявшихъ эманципаціи: во-первыхъ, завзятыхъ и неисправимыхъ крѣпостниковъ изъ эгоизма и личныхъ интересовъ; во-вторыхъ—крѣпостниковъ по принципу. „Все государство рухнетъ—говорили эти—безъ крѣпостныхъ людей“.

„Повѣрьте, Николай Ивановичъ,—говорили мнѣ въ Бессарабіи,—это все придумываютъ наши враги, французы и англичане; они, пожалуй, вставили такой крючокъ и въ мирный договоръ, зная, что ничѣмъ такъ не ослабишь Россію, какъ уничтоживъ или ослабивъ связь между простымъ народомъ и дворянствомъ“.—„Вотъ увидите, ваше превосходительство, помяните мое слово, увидите, что государство ужасно потерпитъ,—говорилъ мнѣ одинъ окружной начальникъ:—когда сократятся, послѣ эманципаціи, помѣщичьи запашки, вывозъ зерна уменьшится такъ, что на заграничные доходы нечего болѣе разсчитывать“.

Къ третьему роду противниковъ эманципаціи принадлежали люди, хотя и близорукіе, но не такъ ограниченные; они очень наивно утверждали, что нужно прежде образовать, а потомъ освобождать. Любопытно, что и между самими крестьянами—по крайней мѣрѣ нашей юго-западной окраины—встрѣчались противники эманципаціи, въ томъ смыслѣ, что, молъ, „нехай будетъ по прежнему, чтобы еще горше не было“. Это случалось и мнѣ не разъ слышать.

За эманципацію были всѣ ученые, учащаяся молодежь, люди, именуемые передовыми 1840-хъ годовъ; всѣ крестьяне, не очень забитые, особливо же дворовые, и, наконецъ, интелли-

гентная и передовая часть дворянства, надѣявшаяся и мечтавшая... Государь же и правительство, конечно, усматривали въ уничтоженіи крѣпостного права самое главное и самое современное средство къ поднятію экономическаго быта всего государства, къ увеличенію его доходовъ и къ сближенію съ западными государствами, сдѣлавшемуся крайне необходимымъ для культуры отсталой отъ Запада во всѣхъ отношеніяхъ Россіи.

Вопросъ объ эманципаціи былъ, какъ извѣстно, не новый. Еще при Александрѣ I-мъ разсказывали, что онъ хотѣлъ, послѣ уничтоженія крѣпостного права въ прибалтійскомъ краѣ, сдѣлать то же самое на сосѣдней псковской губерніи, и только, будто-бы, опасеніе какого-то покушенія на жизнь государя и заговора, открытаго рижскимъ генералъ-губернаторомъ Паулучи, остановили Александра.

При Николаѣ I-мъ не разъ проносились слухи о непремѣнномъ намѣреніи императора освободить крестьянъ и въ юго-западномъ краѣ. Бибиковъ введеніемъ инвентарей, очевидно, подготовлялъ актъ освобожденія.

При Николаѣ I-мъ же происходило не мало возмущеній между крестьянами (въ концѣ 1840-хъ годовъ). Одно изъ нихъ, витебское, я помню, надѣлало много шуму въ Петербургѣ; разсказывали, что какой-то подрядчикъ, недовольный помѣщиками, разъѣзжалъ, переодѣтый въ генеральскій мундиръ, по деревнямъ, выдавая себя за наслѣдника, и объявлялъ крестьянамъ, чтобы они шли въ Петербургъ къ самому государю, указъ котораго объ освобожденіи скрытъ помѣщиками и попами; крестьяне, какъ мнѣ сказывали, въ числѣ 10,000, двинулись, не послушавъ и самого начальника края, и только военною силою были остановлены на полпути.

Между тѣмъ въ волжскихъ провинціяхъ и до крымской войны ходили прокламаціи, присланныя изъ-за границы . . . .

Итакъ, причинъ, и причинъ самыхъ жгучихъ, для уничтоженія крѣпостного права въ Россіи, вскорѣ послѣ несчастной крымской войны, было довольно. Это ясно какъ божій день. Но и безъ того запоздалая эманципація должна была явиться еще въ такое тяжелое время, когда вездѣ скоплялся горючій матеріалъ для рѣшенія и другихъ взрывчатыхъ вопросовъ. Затронувъ одинъ, можно было поджечь и другіе.

При такихъ обстоятельствахъ, уничтожая крѣпостное право, нельзя было упустить изъ виду и другихъ сторонъ государственной жизни.....

Крестьянство, какъ бы оно, по своему существу, ни было консервативно, есть все-таки стихійная сила; освобожденное самодержавною властью отъ вѣкового гнета, оно, несомнѣнно, могло служить опорою порядку; но прочно опираться на одно стихійное начало невозможно. Оригинальное представленіе о какомъ-то „мужицкомъ царствѣ“, пущенное въ ходъ, если не ошибаюсь, нашими славянофильскими фантазёрами и слышанное мною не разъ въ началѣ 1860-хъ годовъ, едва-ли бы могло осуществиться въ XIX столѣтіи. Чтобы управлять „мужицкимъ царствомъ“, не распатавъ его въ основаніи и не предоставляя его историческихъ миссій и задачъ на произволъ стихійныхъ силъ народа, понадобились бы также другія интеллигентныя силы,—а гдѣ взять ихъ, если между властью и стихійнымъ крестьянствомъ не будетъ никакого посредствующаго сословія? А его-то у насъ и недоставало при освобожденіи крестьянъ.

Къ тому же съ 1848 года ненависть французскихъ демагоговъ къ буржуазіи вошла и у насъ въ моду между культурною молодежью; но такъ какъ у насъ французскихъ буржуа на лицо не оказалось, то эта ненависть перешла на кулаковъ и вообще зажиточныхъ людей, тѣмъ болѣе, что большинство нашей культурной и школьной молодежи принадлежитъ къ пролетаріату.

Когда на Западѣ порядокъ переставалъ опираться на одно сословіе, то на смѣну его являлся другой уже готовый классъ,—интеллигентный и дѣятельный.

Наше чиновничество, нашъ ученый и учебный пролетаріатъ, духовенство, мѣщанство и купечество, всѣ порознь, безъ всякой солидарности, не имѣли никакихъ задатковъ для управленія освобожденною отъ крѣпостного гнета страною. До того она управлялась, такъ сказать, механически; одно колесо, болѣе сильное, ворочало другое поменьше и послабѣе; главную роль играли администрація и сословныя привилегіи, а на случай всегда у нихъ подъ рукою была военная сила.

Итакъ, главныя опоры порядка до уничтоженія крѣпостного права были: администрація, бюрократія, военная сила

и привилегированное сословіе; а когда понадобилось перемѣнить центръ тяжести, то опорами остались только бюрократія съ администраціею и военная сила. Правда, стихійное крестьянство можетъ быть организовано и управляемо до извѣстной степени; но тогда пришлось бы уже совсѣмъ сойти съ пути государственнаго и общечеловѣческаго прогресса.

Сверхъ этого новыя западныя ученія, демократизмъ и тому подобныя стремленія новаго времени, при прогрессивномъ починѣ въ извѣстной степени сверху, не могли не проникнуть и въ эти двѣ оставшіяся опоры порядка. Мало того: оказалась даже надобность въ демократическихъ принципахъ. Прежде всего они понадобились администраціи. Новое переустройство крестьянства послѣ эманципаціи и послѣ польскаго возстанія въ западныхъ губерніяхъ потребовало много новыхъ, свѣжихъ силъ, достаточно интеллигентныхъ для веденія такого сложнаго дѣла. И значительный контингентъ такихъ силъ доставила, именно, наша доморощенная въ эпоху 40-хъ годовъ демагогія разныхъ оттѣнковъ. Мѣста посредниковъ, чиновниковъ въ новой администраціи по крестьянскимъ дѣламъ, особливо въ западныхъ губерніяхъ послѣ запрещенія принимать на службу лицъ польскаго происхожденія, потомъ слѣдователей, мировыхъ судей, чиновниковъ при губернаторахъ, и т. п., были отданы людямъ, прибывшимъ частію изнутри Россіи, а частію и туземцамъ, систематически вооруженнымъ противъ большого землевладѣнія, неравенства состояній, и т. п.

Одинъ, напримѣръ, изъ такихъ предсѣдателей съѣзда мировыхъ посредниковъ на самомъ съѣздѣ весьма наивно и во всеуслышаніе объявилъ мнѣ, что право наслѣдственное есть весьма сомнительное право, что земля не есть и не можетъ быть настоящею собственностью, что люди земли и воли необходимы для правительства въ западномъ краѣ, и т. п.

Кто жилъ въ западномъ краѣ въ 60-хъ годахъ, тотъ можетъ поразсказать многое о продѣлкахъ этихъ дѣятелей. Въ Бренеловскомъ имѣніи мировой посредникъ вышелъ на мостъ и, показавъ толпѣ крестьянъ помѣщичью усадьбу, крикнулъ: „Это все ваше, все должно отойти къ вамъ!“ Другой посредникъ въ моемъ имѣніи, въ бытность мою за границею, по свидѣтельству самихъ крестьянъ, предлагалъ имъ жаловаться

на выкупной, уже за два года утвержденный, актъ и помогалъ имъ писать въ жалобѣ небывалыя вещи. Другой же посредникъ предлагалъ мнѣ уладить все это дѣло, заплативъ землемѣру мирового съѣзда за новый планъ крестьянскаго надѣла; и этотъ самый господинъ потомъ, подгулявъ за обѣдомъ у предсѣдателя, заявлялъ во всеуслышаніе, что лучшее средство— перерѣзать всѣхъ пановъ. О такомъ пассажѣ нельзя уже было не донести по начальству, и этого посредника прогнали изъ Винницы, но потомъ гдѣ-то опять дали другое мѣсто.

Одинъ изъ ярыхъ защитниковъ крестьянскихъ интересовъ, между посредниками, сдѣлался такимъ демофиломъ, содравъ за годъ до эманципаціи съ крѣпостныхъ своей жены (въ херсонской губерніи) за одинъ личный выкупъ по 150 руб. съ души, убѣдивъ ихъ приписаться въ мѣщане или наняться въ кабалу у купцовъ и поповъ; такимъ образомъ этотъ рьяный демагогъ, получивъ съ своихъ обезземеленныхъ крестьянъ (до 100 душъ) тысячъ 15, продалъ потомъ тысячи двѣ десятинъ пустопорожней земли и переѣхалъ въ юго-западный край благодѣтельствовать крестьянамъ на чужой счетъ.

Были, наконецъ, между господами посредниками этого края и отъявленные мазурики, и даже одинъ уголовный преступникъ. И то сказать: кто бы изъ уважающихъ себя личностей рѣшился подчинять себя полнѣйшему произволу начальства. Одинъ изъ смѣненныхъ такъ, par l'ordre de moufti,— предсѣдатель мирового съѣзда,—писалъ ко мнѣ передъ отъѣздомъ изъ Винницы, прося моего ходатайства у генералъ-губернатора: „я занялъ 25 руб. на выѣздъ, а меня оклеветали во взяточничествѣ. Я отнялъ у помѣщиковъ винницкаго уѣзда слишкомъ 15,000 десятинъ въ пользу крестьянъ, и все еще не угодилъ краснымъ, засѣдающимъ въ Кіевѣ".

Не помню, этотъ ли самый, или другой демократъ, однажды, на мое замѣчаніе о томъ, что крестьяне, какъ сосѣди помѣщиковъ, все-таки предпочтутъ лучше имѣть дѣло съ нами, чѣмъ съ чиновниками,—также весьма наивно объявилъ мнѣ: „въ такомъ случаѣ для правительства полезнѣе было бы отдать помѣщичьи земли намъ, а помѣщиковъ сдѣлать чиновниками". Это почти такъ и случилось въ западной окраинѣ;

имѣнія конфисковались, помѣщики административно высылались, а чиновники и начальники края надѣлялись.

Когда эманципація крестьянъ повлекла за собою учрежденіе земствъ и новыхъ судовъ, то правительство обратилось, за неимѣніемъ надежнаго стараго, къ новому поколѣнію, и также не могло быть разборчивымъ; поэтому и въ земскую, и въ судебную области не могли не проникнуть современныя демагогическія стремленія, хотя проявленія ихъ и не могли быть безпабашны и грубы, какъ въ мировыхъ учрежденіяхъ западныхъ окраинъ послѣ польскаго мятежа.

Между тѣмъ новый порядокъ не могъ же въ новыхъ учрежденіяхъ создать себѣ оппозицію, а потому необходимо было стараться, сколько можно, ограничить ихъ дѣйствія администраціею.

И вотъ, являются, съ одной стороны, соотвѣтствующія современнымъ требованіямъ преобразованія государственной машины, потребовавшія, въ свою очередь, и введенія въ дѣйствіе новыхъ понятій, новыхъ міровоззрѣній и новыхъ силъ, а съ другой стороны, понадобились прежніе, задерживающіе новый механизмъ, приборы.

Но и въ этотъ старинный регуляторъ нашей государственной машины, въ администрацію, вѣянія времени внесли-таки новые элементы, а съ тѣмъ вмѣстѣ и недовольство, притворство и ненормальное положеніе.

Всякому здравомыслящему ясно, что въ государствѣ, выступившемъ на новый путь, неустроенная смѣсь новыхъ учрежденій съ старыми, отжившими,—самое вредное и опасное дѣло. Всякій здравомыслящій видитъ, конечно, и чрезвычайную трудность регулировать тотчасъ и точно отношенія новаго къ старому, по мѣрѣ каждаго нововведенія. Зная это, надо готовиться на-встрѣчу съ препятствіями и, встрѣтивъ ихъ, не терять головы, не выходить изъ себя, не увлекаться въ выборѣ средствъ для борьбы съ препятствіями. Безъ сомнѣнія, каждый русскій, любящій свое отечество, не пожелаетъ ослабленія государственной мощи и власти; это было бы равносильно желанію видѣть Россію распавшеюся на части; но средства для усиленія этой власти могутъ быть часто обою-

доостры: энергическія на видъ, на дѣлѣ они могутъ произвести эффектъ противоположный ожидаемому.

Я полагаю, что главное средство для усиленія власти состоитъ въ томъ, чтобы не сходить ни разу въ сторону съ предначертаннаго однажды пути, другими словами—знать хорошо и вѣрно, чего хочешь. Колебаться, — это опасно для власти.

4-го марта 1881.

Третьяго-дня, 2-го марта, я взялъ перо подъ наплывомъ разныхъ чувствъ и мыслей, стараясь уяснить себѣ, почему случилось,—а я отвергаю случай,—что одинъ изъ нашихъ лучшихъ государей погибъ преждевременно отъ насильственной смерти. Я старался припомнить себѣ изъ прожитаго теперь 25-лѣтія все, что казалось мнѣ имѣющимъ хотя бы и отдаленную связь съ катастрофою. Но, припоминая, я не могъ не привести себѣ на память и предшествовавшаго царствованію Александра II-го 25-лѣтія, и что же?

Ненормальная склонность въ нашей интеллигентной молодежи къ насильственнымъ мѣрамъ идетъ изъ той эпохи. Вовсе не занимавшись политикою въ 1840-хъ, годахъ, я удивлялся и не понималъ ясно мотивовъ той затаенной странной злобы, которую встрѣчалъ нерѣдко въ откровенныхъ бесѣдахъ и у молодыхъ людей; помню, что и тогда еще мнѣ случалось слышать шипучія рѣчи о готовности собесѣдниковъ всадить ножъ или пулю всякому угнетателю, нарушающему человѣческое достоинство. Я полагалъ тогда, что это юношескія вспышки, подобныя тѣмъ, которыхъ я наслышался въ 10-мъ нумерѣ, въ 1820-хъ годахъ; но тонъ былъ уже иной, и, очевидно, гнетъ ощущался сильнѣе и отчетливѣе.

Къ концу 40-хъ годовъ прибавилось къ этому еще и новое, небывалое стремленіе интеллигентной молодежи къ сближенію съ меньшею братіею, проявившееся потомъ въ дѣлѣ Петрашевскаго.

При вступленіи на престолъ Александра II-го, я, сдѣлавшись попечителемъ, уже ясно замѣчалъ развитіе и ростъ этихъ стремленій по мѣрѣ того, какъ вопросъ объ эманципаціи приближался къ своему окончанію.

. Но кто въ то время не увлекался и не волновался? По почину правительства, даже и равнодушнѣйшіе чиновные консерваторы считали обязанностію хоть немного да увлечься. Учащаяся молодежь рвалась къ сближенію съ освобождаемымъ народомъ, а тутъ еще рѣчь зашла и объ эманципаціи поляковъ.

И вотъ мнѣ живо представляется арена со всѣми аксессуарами тайной и явной борьбы, возникшей между новыми, вызванными эманципаціею на свѣтъ, стремленіями и государственною властью,—то, по необходимости, поощряющей,—то подавляющей вызванныя ею на свѣтъ стремленія.

Арена эта—освобожденное отъ крѣпостного права, но еще не свободное крестьянство. На ней дѣйствуютъ, съ одной стороны, власть, по своему естественному праву стремящаяся укрѣпить и усилить себя освобожденною ею стихійною силою, съ другой же стороны - новое, еще не дозрѣвшее поколѣніе, съ новыми, пришлыми, извѣстными стремленіями, ищетъ въ этой же самой стихійной силѣ почвы и матеріала для осуществленія своихъ стремленій. Борьба неравная. Власть располагаетъ администраціею и новыми земскими и судебными учрежденіями. Но и администрація, и учрежденія оказываются уже не прежними безотвѣтно-повинующимися силами; онѣ или ослабѣли, или проникліись сами новыми, несподручными элементами.

У власти есть еще и обаяніе, и военная сила; но первое сильно при довольствѣ; ко второй всякая государственная власть прибѣгаетъ только въ крайнемъ случаѣ, когда надо нанести разомъ рѣшительный ударъ, coup d'état; въ хронической внутренней неурядицѣ оно—опасное средство. Но, съ другой стороны, вся сила—въ увлеченіи, настоящемъ или напускномъ и вынужденномъ.

Можно вообразить себѣ, какую тревогу въ свѣтѣ причинили бы выпущенные изъ всѣхъ домовъ умалишенные, еслибы сумасшествіе было у всѣхъ одно и то же и дѣлало всѣхъ этихъ мономановъ солидарными при осуществленіи общей имъ idée fixe!

Можно ли бы было поручиться, что солидарные мономаны не достигнутъ, наконецъ, своей фантастической цѣли или не

заразятъ своими галлюцинаціями и здоровыхъ? Примѣровъ было не мало въ исторіи. Мы всѣ живемъ подъ вліяніемъ психическихъ повѣтрій, охватывающихъ цѣлыя общества и уклоняющихъ ихъ далеко отъ прямого пути.

Не мало способствуетъ силѣ этой стороны и то, что она принуждена дѣйствовать подземно, подпольно, изъ-за угла и втихомолку. Никакая государственная власть одна, сама по себѣ, безъ содѣйствія всѣхъ и каждаго, не справится съ подпольною крамолою, какъ скоро она успѣла хотя нѣсколько организоваться.

Итакъ, государственная власть стремится по праву удержать за собою стихійную силу, и освобожденную ею для своей опоры и мощи на будущее время, а новое поколѣніе пролетаріевъ, авантюристовъ, недовольныхъ, софтовъ—стремится изъ увлеченія, ненависти къ государственной власти, корыстныхъ цѣлей, гоньбы за эффектомъ, и т. п., привлечь къ себѣ эту же самую стихію, усматривая и чуя найти въ ней мощное средство, чтобы не допускать до усиленія государственную власть, поставить все верхъ дномъ и передѣлать весь свѣтъ по своему, на свой ладъ.

На помощь скрытой крамолѣ является общее недовольство, отчасти ею же самой возбужденное.

Прежде всего, недовольство учащейся молодежи. Съ самаго начала не съумѣли у насъ успокоить возбужденную молодежь. . . . . .

. . . . . .

Духовенству, въ свою очередь, также не посчастливилось отъ преобразованій. Повидимому, новый оберъ-прокуроръ святѣйшаго синода съ 1866 г. весьма старался о коренной реформѣ быта всего нашего духовенства; но на дѣлѣ эта реформа отозвалась всего болѣе опять-таки недовольствомъ нашихъ софтовъ.

Семинаристамъ запретили входъ въ университетъ, намѣреваясь этимъ привлечь ихъ въ духовную академію. Ничего не бывало; вышло противное: радикальнаго улучшенія нравственно-культурнаго и матеріальнаго быта духовенства, благодаря всѣмъ преобразованіямъ прокурора, не послѣдовало, а подпольная крамола въ это время пріобрѣла, вѣрно, не мало дѣятельныхъ членовъ изъ семинаристовъ. Самые крестьяне, изъ всѣхъ сословій

наиболѣе облагодѣтельствованные великою реформою, не оказались довольными и счастливыми въ такой мѣрѣ, какъ этого слѣдовало бы ожидать . . . . . .

Крестьянину, понятно, главное—какъ можно менѣе платить въ казну; а тутъ плати не только въ казну, да еще волостному старостѣ, писарю, на духовенство, на мировыя учрежденія, на рекрута. Какъ же не послушать благодѣтелей въ кабакахъ, толкующихъ, что царь скоро дастъ всю землю крестьянамъ, а помѣщиковъ посадитъ на жалованье или просто прогонитъ и велитъ бить? Чигиринское крестьянское дѣло доказываетъ, до какой дерзости могли дойти дѣйствія крамольниковъ и какъ легко поддаются крестьяне юго-западнаго края искушеніямъ.

А недовольство, легковѣріе, податливость и невѣжество крестьянъ всего болѣе на руку той части культурной молодежи, которая ищетъ, во что бы то ни стало, сближенія съ меньшею братіею.

Да, это вѣяніе времени замѣчательно и, по моему мнѣнію, заслуживаетъ самаго серьезнаго вниманія и не одной администраціи, а истинно государственныхъ людей.

Причину этого курьезнаго стремленія, кромѣ интернаціональной, соціалистической пропаганды, я нахожу, главное, въ томъ, что у насъ нѣтъ настоящаго культурнаго сословія. Наше facsimile культурнаго сословія—трень-брень: кое-какое чиновничество, кое-какое купечество, кое-какое духовенство, все частичное; есть особи такого сословія, но самого сословія нема! И вотъ, культурная наша молодежь, которая при вступленіи Россіи, послѣ эманципаціи, на торную дорогу европейскаго прогресса (другого мы въ XIX вѣкѣ не знаемъ) должна бы представлять самый надежный контингентъ къ образованію настоящаго интеллигентнаго сословія, за неимѣніемъ кадровъ этого сословія, поворотила въ сторону и ищетъ соединить свои будущіе интересы съ будущими же крестьянскими.

Для привлеченія сбитой съ толку молодежи на прямой, надежный, не-химерическій путь прогресса недостаетъ двухъ средствъ: во-первыхъ, нѣтъ организованныхъ кадровъ, а во-вторыхъ,—что не менѣе важно,—нѣтъ и никакихъ приманокъ-гарантій со стороны правительства, для привлеченія молодежи хотя въ какіе ни на есть кадры этого сословія. А для этого,

по моему, не надо бы было слишкомъ затруднять входъ въ высшія и среднія учебныя заведенія и дѣлать и жизнь, и ученье въ нихъ тягостными.

Надо надѣяться, что съ каждымъ годомъ будетъ увеличиваться контингентъ культурнаго сословія, если само правительство обратитъ наибольшее вниманіе на развитіе и организацію этого необходимаго класса общества.

А развитіе его требуетъ прежде всего льготъ самоуправленія и значительныхъ обезпеченій самостоятельности, что́, въ свою очередь, при существующемъ еще значеніи и силѣ административной власти—немыслимо.

Наконецъ, война, казалось бы, могла содѣйствовать къ успокоенію крамолы, сблизивъ всѣ сословія; но, именно, тотчасъ же послѣ окончанія послѣдней войны и начали слѣдовать одно за другимъ, crescendo, преступныя дѣйствія крамолы, поражавшія всѣхъ неслыханною дотолѣ дерзостью предпріятій.

Мнѣ кажется и это объясняется тѣмъ, что крамольники разсчитывали на возросшее послѣ войны 1877—1878 годовъ недовольство въ различныхъ классахъ общества, вслѣдствіе упадка курса, неудачнаго мира, появленія чумной заразы, злоупотребленій интендантства, и т. п.

Какъ могла бы шайка злоумышленниковъ причинить столько зла сильному государству, еслибы всѣ классы, всѣ сословія были довольны, насколько вообще возможно общественное довольство? Все волновалось только послѣ каждой попытки къ преступленію, какъ будто изъ одного любопытства, а потомъ смотрѣло на происходящее только съ боязнью за себя, чтобы какъ-нибудь не быть вовлеченнымъ въ отвѣтственность, или же сѣтовало, и не безъ причины, на стѣснительныя административныя мѣры, аресты, обыски, ссылки, и проч. И это недовольство было, очевидно, на руку крамольникамъ; общество, наконецъ, не знало уже, кого ему болѣе ненавидѣть за произволъ и насиліе: крамолу или администрацію? А крамолѣ это было какъ нельзя болѣе на̀ руку.

И вотъ, дошло до того, что гнусная и нравственно-ненавистная честному обществу крамола оказывалась нравственно же связанною съ нимъ сѣтью неуловимыхъ впечатлѣній.

Дѣло въ томъ, что крамола, какъ видно изъ разныхъ су-

дебныхъ изслѣдованій, есть только послѣднее слово соціальной утопіи. А утопія эта имѣетъ столько разныхъ оттѣнковъ, что умѣреннѣйшій изъ утопистовъ составляетъ незамѣтный переходъ къ простымъ прогрессистамъ . . . . . .

Какой же внутренній смыслъ ужаснаго цареубійства 1-го марта?

Или, можетъ быть, оно не имѣетъ никакого смысла и есть просто звѣрскій поступокъ злодѣя, рукою котораго управляла личная скотская злоба, фанатизмъ, корысть, безуміе?

. . . . . .

Но ненависть шайки, основывавшаяся также на недовольствѣ извѣстной части молодежи, раздутая до ярости ложными утопіями, пропагандою коммунаровъ и коммунистовъ, корыстью и т. п., была едва-ли личная.

Александръ II, какъ человѣкъ, былъ такою личностью, которую нельзя было ненавидѣть; то была скорѣе ненависть къ государственности. Посягая на жизнь царя, и самые ограниченные изъ крамольниковъ, вѣрно, знали, что они убиваютъ не самодержавіе, а только одного изъ лучшихъ его представителей. Но они разсчитывали, что, возбуждая своими преступленіями смуты, безпорядки и недовольство въ обществѣ, они все-таки содѣйствуютъ къ разстройству и потрясенію ненавидимаго ими государственнаго строя, вообще—всякаго.

Государство—это разбойникъ, по ихъ ученію; въ замѣну государства придумалось даже—за неимѣніемъ ничего лучшаго—казачество.

Настолько, впрочемъ, эта ненависть могла быть и личною, что Освободитель не такъ освободилъ, какъ имъ хотѣлось, и какъ будто не исполнилъ обѣщаннаго, то-есть того, что́ имъ хотѣлось, что́ они сами обѣщали себѣ.

Мстили, можетъ быть, лично и за возраставшую по мѣрѣ преступленій строгость каръ. Крамольники (по крайней мѣрѣ, ихъ вожаки), надо полагать, разсчитывали всего болѣе, и не безъ основанія, на недовольство, хотя и знали, что оно никогда не было личнымъ противъ особы царя. Они питали и раздували всѣми силами это недовольство,—находили себѣ, вѣрно, не безъ злорадства, немалую подмогу въ произволѣ и промахахъ администраціи.

Итакъ, вдумываясь въ прожитое прошедшее, я нахожу, что спертый до-нельзя, въ теченіе многихъ лѣтъ, и выпущенный въ послѣднее 25-лѣтіе на свободу духъ нашего времени проявилъ себя у насъ тотчасъ же борьбою съ властью. Духъ времени, выпущенный на волю, оказался у насъ, какъ и слѣдовало ожидать, похожимъ на степную, табунную лошадь, спущенную съ аркана . . . . . .

Удобства почвы, избранной утопистами для борьбы съ властью, очевидны.

Нѣтъ ни одного государства въ Европѣ наименѣе муниципальнаго, чѣмъ Россія. У насъ выдумали даже русскаго государя называть въ похвальномъ смыслѣ „мужицкимъ царемъ“ и, конечно, Россію—„мужицкимъ царствомъ“. „Идти къ мужичкамъ“, сближаться съ крестьянскимъ людомъ, изучать деревню во всѣхъ отношеніяхъ—сдѣлалось моднымъ и любимымъ занятіемъ многихъ.

Я это говорю, конечно, не въ упрекъ; я самъ живу 15 лѣтъ безвыѣздно въ деревнѣ и интересуюсь, и по-волѣ, и по-неволѣ, крестьянскимъ бытомъ.

Я указываю на это стремленіе нашего культурнаго общества какъ на знаменіе времени. Стремленіе такое имѣетъ, какъ и все на свѣтѣ, не одну сторону. Оно почтенно, крайне полезно и необходимо для государства, въ особенности же для нашего, не-муниципальнаго. Но сближеніе съ меньшею братіею имѣетъ въ себѣ, какъ мнѣ кажется, много дутаго, напускного, ненормальнаго. Мнѣ кажется, многіе изъ молодежи ищутъ сближенія съ крестьянами безъ всякой программы и потомъ уже увлекаются вожаками; многіе вербуются ad hoc, а многіе только подражаютъ.

Я наблюдалъ это при первомъ открытіи воскресныхъ школъ въ Кіевѣ. Это было время, когда Миржевскій (пріѣхавшій самъ, разумѣется, incognito и разъѣзжавшій по юго-западному краю съ русскою подорожною) пустилъ въ ходъ между польскою молодежью влеченіе къ меньшей братіи. Студенты всполошились и начали сближаться по своему: пошли доносы, аресты, и т. п.

Учрежденіе воскресныхъ школъ при такихъ обстоятель-

ствахъ казалось мнѣ самымъ законнымъ и самымъ надежнымъ средствомъ къ устраненію и увлеченій, и подозрѣній.

Студенты,—именно малороссы, изъ польскихъ никто,—бросились учить въ этихъ школахъ, и учили, подъ надзоромъ инспектора училищъ, дѣльно.

Тутъ я и видѣлъ, какъ различны были мотивы стремленій молодежи къ сближенію съ народомъ.

Извѣстна участь воскресныхъ школъ въ Россіи: вслѣдствіе увлеченій, принявшихъ уродливое направленіе, онѣ были закрыты. Но безобразіе и произошло именно отъ того, что никто не занялся сначала регулированіемъ новыхъ отношеній молодежи и общества къ темной массѣ. А регулированіе этихъ отношеній на открытомъ полѣ много содѣйствовало бы къ укрощенію подпольной борьбы.

Несмотря на то, что главныя ея проявленія сосредоточились въ послѣднее время въ нашихъ муниципіяхъ (въ подражаніе Западу), нельзя не видѣть, что цѣлью ея служитъ все-таки почва, на которой легче поднять стихійныя силы и разжечь хищническіе инстинкты.

А эта почва—крестьянство и, конечно, не одно деревенское, а также мѣщанское и фабричное. И увлеченные, и злонамѣренные, и корыстные утописты не безъ основанія разсчитываютъ на нищету, темноту, непониманіе самыхъ основныхъ началъ общества, неуваженіе къ чужой собственности и многія стадныя свойства нашихъ, еще не вполнѣ свободныхъ (прикрѣпленныхъ къ землѣ), крестьянъ.

Понятія нашихъ крестьянъ, насколько я могу судить по тѣмъ изъ нихъ, съ которыми я имѣлъ дѣло прежде, какъ мировой посредникъ, и имѣю теперь, какъ помѣщикъ, весьма оригинальны о царскихъ законахъ. Все, что нравится, что доставляетъ въ законѣ матеріальную выгоду крестьянамъ, то они считаютъ дѣйствительно отъ царя, и то, впрочемъ, если приносимая имъ выгода растолкована понятнымъ для нихъ языкомъ; но какъ только законъ имъ не по шерсти, то и сомнѣніе недалеко: да впрямь ли онъ царскій?

Такое безграничное довѣріе къ благости царской власти, безъ сомнѣнія, доказываетъ преданность цѣлаго крестьянскаго сословія самодержавной волѣ; но оно же имѣетъ для прави-

тельства и весьма опасную сторону. Я былъ однажды свидѣтелемъ сцены, поразившей меня до того, что я не зналъ, вѣрить ли мнѣ моимъ ушамъ. Подольскій губернаторъ, Брауншвейгъ, при мнѣ (я былъ посредникомъ) увѣщевалъ собранныхъ въ Винницу крестьянъ и старостъ принимать уставныя грамоты, увѣрялъ ихъ, что это непремѣнная царская воля, и т. п. Крестьяне, слушая губернатора, одѣтаго въ мундиръ и окруженнаго исправниками, становыми и т. п., слушали, кланялись, не возражали, соглашались; но какъ только вышли со двора, гдѣ собирались передъ губернаторомъ, на улицу, какъ тутъ же начали толковать съ евреями, что то, пожалуй, былъ и не губернаторъ, а переряженный панъ,—и грамоты потомъ все-таки не приняли.

Съ ихъ стороны это было, пожалуй, и не глупо; потомъ, при обязательномъ выкупѣ, имъ досталось больше отъ посредниковъ, явно и безъ зазрѣнія совѣсти грабившихъ польскихъ пановъ; но для закона и для законной власти, мнѣ кажется, въ этомъ пассажѣ нѣтъ ничего хорошаго.

Этими же полумиѳическими понятіями крестьянства о царскихъ повелѣніяхъ объясняется, конечно, и невѣроятный успѣхъ подпольной пропаганды между крестьянами въ чигиринскомъ уѣздѣ (дѣло съ золотою грамотою), и много другихъ прежнихъ дѣяній. И вотъ мы дѣлаемся свидѣтелями весьма страннаго явленія.

Борьба утопистовъ и крамольниковъ съ государственною властью ведется, болѣе или менѣе, во имя крестьянства и меньшей братіи,—и кѣмъ же?—людьми, бо́льшая часть которыхъ, по своему положенію и образованію, могла бы быть отнесена къ культурному сословію, еслибы таковое у насъ существовало, какъ сословіе; между тѣмъ интересы этого класса людей не имѣютъ ничего общаго съ крестьянскими интересами.

Изъ-за чего же добровольные защитники такъ усердно дѣйствуютъ? Изъ любви къ ближнимъ, евангельской или платонической? Можетъ быть, нѣкоторые изъ нихъ—высшія натуры; но уже вѣрно не тѣ, которые считаютъ позволеннымъ всякое средство. Изъ-за идеала? Да, вѣра въ утопію можетъ быть фанатическая, изступленная, мученическая; но туманный, не-

оформулированный идеалъ, это—не идеалъ еще, а фантомъ, призракъ...

Невѣроятно, однако-же, чтобы вся крамола состояла изъ такихъ и такъ заблуждающихся личностей; гораздо естественнѣе принять, что это—зловѣщее для государства общество изъ разномыслящихъ и разнохарактерныхъ лицъ, соединенныхъ между собою разномотивнымъ недовольствомъ и на правительство, и на государство, и на общество.

Меньшая братія для большинства или, по крайней мѣрѣ, для вожаковъ, это—предлогъ, избранный по своимъ удобствамъ для веденія борьбы.

Въ современномъ культурномъ обществѣ накопилось теперь довольно взрывчатаго матеріала; онъ готовъ воспламениться и отъ незамѣтной, неуловимой причины. Изъ такого матеріала, вѣроятно, состоитъ и ужасающая наше общество крамола.

Динамитомъ, пирокселиномъ и нитроглицериномъ орудуетъ не менѣе взрывчатый матеріалъ. Онъ взрывается потому, что это лежитъ въ его натурѣ. Ему нужно разрушеніе. Творчество—не его дѣло. Изъ разрушеннаго пусть будетъ, что будетъ.

Только вожаки и передовые видятъ цѣль, но какую? А какую имѣлъ „бичъ божій“, огнемъ и мечомъ разрушавшій все, встрѣчавшееся ему на пути.

Культурное общество не боится уже болѣе божіихъ бичей, посылавшихся на него съ востока; наступаетъ, можетъ быть, время испытанія своего собственнаго бича. Кто проживетъ—увидитъ. Но покуда, мнѣ кажется, пришла пора для нашего правительства направить всѣ наличныя силы и средства земскихъ, общественныхъ учрежденій для прочной организаціи и культуры низшихъ, основныхъ слоевъ общества.

Пора, пора обратить вниманіе на регулированіе стихійной силы, оставшейся и послѣ ея освобожденія такою же стихійною, какъ и прежде, а потому и служащей столько времени приманкою для утопистовъ и злонамѣренныхъ людей. Для нея законъ—это администрація и самая нелѣпая—администрація прощалыгъ-писарей, безграмотныхъ и пьяныхъ старостъ, тунеядцевъ-посредниковъ, грубыхъ становыхъ урядниковъ и горлодеровъ сходокъ. Это плоды 20-лѣтняго режима провинціаль-

ной администраціи, начальниковъ края, крестьянскихъ присутствій, и т. п.

Теперь должна наступить новая эра для Россіи. Недовольство исчезнетъ, какъ скоро чрезмѣрная административная власть будетъ правильно регулирована судебною властью . . . .

. . . . . .

5-го—6-го марта 1881.

Съ 2-го марта до сегодня я писалъ, потому что не могъ не писать. Скопившіяся, подъ вліяніемъ страшнаго событія, и волновавшіяся мои чувства и мысли безъ удержу лились на бумагу. А я, по обыкновенію или, вѣрнѣе, по зароку, не читалъ потомъ написаннаго, и всѣ поправки, помарки и вставки дѣлалъ въ то же самое время, какъ писалъ.

Сегодня въ первый разъ, опомнясь, задаю себѣ вопросъ: моего ли ума дѣло—судить о причинахъ настоящаго смутнаго состоянія Россіи и дѣлать предположенія о средствахъ къ выходу изъ него? Да развѣ—спрашиваю я теперь себя—ты можешь взглянуть на дѣло сверху, съ птичьяго полета, какъ великіе міра сего? развѣ ты имѣешь для этого достаточно средствъ и знаній? Сознаюсь,—не имѣю, а потому сознаюсь, что и все, съ 2-го по 4-е марта, вырвалось изъ-подъ пера у меня невольно, и потому есть болѣе сердечное, чѣмъ головное убѣжденіе.

Голова доставила только воспоминанія прошлаго, пережитаго мною, и нѣкоторыя отрывочныя мысли; все остальное есть произведеніе сильно взволнованнаго чувства.

Что же: не лучше ли разорвать въ куски это произведеніе? Могутъ ли соображенія о важномъ дѣлѣ, вызванныя на свѣтъ взволнованнымъ чувствомъ, не быть ошибочными и ложными? Въ клочки, въ огонь!.. Нѣтъ, стой! Пусть все останется, какъ есть; ошибка прилична человѣку, и — мало того: она — его элементъ.

Мы осуждены, и чувствуя, и умствуя, безвыходно жить въ миражѣ. И бываютъ минуты въ жизни, когда чувство оріентируется вѣрнѣе мысли въ этомъ миражѣ.

Это случается въ тѣ минуты, когда въ душѣ мыслящаго человѣка внезапно дѣлается приливъ и скопленіе самыхъ разно-

родныхъ чувствъ. Это и было со мною 2-го марта. Приливъ длился три дня. Анализируя сегодня его элементы, я вижу, что мой анализъ опоздалъ. Изъ составныхъ началъ прилива уже многое улетучилось и прошло. Въ этой скопившейся въ душѣ массѣ чувствъ и представленій теперь не найдешься. Тутъ были и ужасъ, и скорбь, и стыдъ, и гнѣвъ, и отчаяніе, и надежда. Если въ эти роковыя минуты умъ не теряетъ еще способности мыслить, то мы должны, мы обязаны пользоваться ими, не упускать, ловить ихъ на-лету и, сохранивъ самообладаніе, замѣчать, что́ принесло оно намъ съ собою.

Я это и сдѣлалъ.

И было бы глупою слабостью для 70-лѣтняго старика стыдиться того, рвать и жечь, что́ онъ изложилъ на бумагѣ въ эти дни прилива взволнованныхъ чувствъ и мыслей. Пусть остается на память. Если ошибся, такъ ошибся,—не бѣда; отъ этой ошибки никому ни холодно, ни тепло.

Я писалъ совершенно спокойно мою автобіографію, когда услышалъ вѣсть о страшномъ событіи 1-го марта. Я сбирался когда-нибудь высказаться въ моемъ дневникѣ о настоящемъ положеніи Россіи, какимъ я себѣ его представляю, при сравненіи съ пережитымъ прошлымъ.

И вотъ, внезапная вѣсть о кровавой катастрофѣ, закончившей по истинѣ величественную эпопею царствованія Александра II-го!!.. Можно ли было удержать приливъ внезапныхъ, встревоженныхъ чувствъ и скопленныхъ, хотя еще и не разработанныхъ, мыслей?

Теперь я успокоился, но не настолько, чтобы снова приняться за мое собственное жизнеописаніе. Психическія бури проходятъ не разомъ. И что́ ни начнешь дѣлать, мысленная тревога все тянетъ думать о томъ же, что́ волновало чувство и мысль цѣлыхъ три дня. Невольно обращаюсь опять къ своеобразному положенію русской земли.

Я не знаю, какъ современные ученые опредѣляютъ, что́ такое государство. Помню, прежде всѣ опредѣленія мнѣ казались то странными, то невѣрными. Но до доктринерства ли теперь, когда почти всѣ—и культурныя, и не-культурныя—государства обрѣтаются не въ своей тарелкѣ . . . . . ?!

Интересы современнаго общества такъ различны, спутаны, сложны, что тотъ, кому достается разматывать этотъ клубокъ, невольно дѣлается какъ бы антагонистомъ, то-есть разрушителемъ путаницы.

И интересы его поэтому не могутъ быть тѣ же самые, изъ которыхъ витъ клубокъ. Клубокъ требуетъ одного: разматывай, но не рви. И если это соблюдается, то и при различныхъ интересахъ дѣло идетъ хорошо.

Но въ наше время антагонизмъ общества съ современнымъ порядкомъ доходитъ до того, что явилась уже на свѣтъ цѣлая фаланга людей, готовыхъ разорвать клубокъ и выравнять всѣ спутанныя нити. А когда интересы всѣхъ и каждаго будутъ одни и тѣ же, то государству нечего будетъ разматывать; его роль сдѣлается отрицательною,—только не давать, чтобы ровныя нити опять спутались и склубились.

Уравнять интересы, уравнять и стремленія; сбить маковыя головки, выросшія выше другихъ, пьедесталы опрокинуть, почву выровнять. Все человѣчество должно сдѣлаться однимъ огромнымъ человѣкомъ, ростомъ до неба. Вотъ финалъ современныхъ соціальныхъ утопій съ ихъ множествомъ оттѣнковъ и варіацій.

Вѣдь, мнѣ кажется, я не брежу. Миражъ существуетъ не только въ фантазіи, но служилъ уже мотивомъ для дѣйствій. И я сравниваю, живо представляю себѣ, и обаяніе умовъ, увлекающихся этимъ миражемъ, и положеніе современной Россіи.

Мы странны, національно странны, и въ нашей оригинальности, и въ нашемъ подражаніи. Въ оригинальности мы хотимъ перещеголять всѣхъ другихъ, выдумать разомъ что-нибудь такое, что̀ другимъ никакъ бы не могло придти на умъ. Въ подражаніи мы или рабски подражаемъ, или же стараемся попасть, опять-таки разомъ, на самую послѣднюю ступень,—и то, чего другіе достигали медленно, переходя съ одной ступени на другую, мы хотимъ одолѣть разомъ.

Въ наше оправданіе мы не безъ основанія можемъ привести: „время не терпитъ“, и это вѣрно, но не вездѣ и не всегда.

И номадамъ приходится переходить отъ кременного ружья къ шасспо́ и пибоди.

Но, именно, когда необходимъ такой быстрый переходъ, мы

и пассуемъ, дѣлаясь осторожными и бережливыми охранителями пустыхъ интересовъ; начинаемъ изъ прежнихъ, старыхъ ружей выкраивать новыя.

Зато, гдѣ нужно соображеніе и здравый смыслъ, чтобы понять, что до многаго хорошаго у другихъ нельзя достигнуть, не переживъ сначала всѣхъ фазъ его развитія,—тамъ мы пассъ.

И послѣ удивляемся, не вѣримъ, жалуемся, что у насъ не вышло хорошо.

На Западѣ, положимъ, идетъ отлично ассоціація труда и капитала.

Мы сейчасъ же такъ соображаемъ. У насъ есть и теперь уже на-лицо важный задатокъ — община; она такъ прямо, цѣликомъ, и заткнетъ за поясъ ассоціацію. А то ни почемъ, что́ пережило на Западѣ общество, что́ перечувствовало, переиспытало прежде, чѣмъ дошло до ассоціаціи?

Такъ и въ погонѣ за классицизмомъ. Такъ и въ соціальномъ переустройствѣ общества и государства.

На Западѣ, и то не вездѣ, народился цѣлый классъ людей, ненавидящихъ буржуазію и бюргерство.

И намъ это нужно, то-есть не средній классъ нуженъ, а нужна ненависть къ нему,—ненависть къ тому, чего еще нѣтъ, и быть ему не нужно: мы—мужицкое царство.

На Западѣ есть представительство и преимущественно изъ средняго класса. Намъ не нужны ни этотъ классъ, ни это представительство. Намъ нужно что-то другое, болѣе радикальное, свое, оригинальное, и даже не конституція. А что же? Формулы еще нѣтъ; она явится впослѣдствіи, а теперь надо только разрушать старое. Новое, лучшее, народится потомъ само собою. Нужна только земля, да воля, да общины. Съ меньшею братіею надо слиться и имущіе должны все раздать неимущимъ. Тогда заживемъ на славу!

Неужели не настанетъ для насъ всѣхъ время, когда мы поймемъ всю скудость нашего здраваго смысла? И, къ сожалѣнію, я не могу отнести этотъ вопросъ только къ одному нашему обществу, къ утопистамъ, къ незрѣлой молодежи.

. . . . . .

7-го марта 1881.

Когда мнѣ было лѣтъ 17, я велъ дневникъ, потомъ куда-то завалившійся; отъ него осталось только нѣсколько листовъ; я помню что записалъ въ немъ однажды приблизительно слѣдующее: „Сегодня я гулялъ съ Петромъ Григорьезичемъ (Рѣдкинъ;—это было въ Дерптѣ); мимо насъ проскакала карета и забрызгала насъ грязью. Петръ Григорьевичъ какъ-то осерчалъ, и съ досады сказалъ: „Ненавижу до смерти видѣть кого-нибудь ѣдущимъ въ каретѣ, когда я иду пѣшкомъ“. А я, помолчавъ немного, ни съ того, ни съ сего, говорю ему: „А знаешь ли: вчера въ темнотѣ я попалъ въ грязь около дома (въ глухой улицѣ); вдругъ слышу—скачетъ во весь опоръ, прямо на меня, съ пѣснями, извозчикъ, везетъ пьяныхъ и самъ, видно, пьяный; ну, думаю, какъ бы не задавилъ. Не успѣлъ я собраться съ мыслями, а онъ уже наскакалъ и тотчасъ же круто повернулъ отъ меня; значитъ, въ человѣческомъ сердцѣ есть врожденная доброта; зачѣмъ извозчику, да еще хмѣльному, было сворачивать, а не скакать прямо на меня? никто бы и не пикнулъ, и я остался бы лежать въ грязи“.

— „Это, братъ, не врожденная доброта, а страхъ,—замѣтилъ Петръ Григорьевичъ:—timor Domini, только не божій, а государевъ“.

Почему этотъ пассажъ изъ моего стараго дневника приходитъ мнѣ теперь, черезъ 53 года, на память? A propos des bottes? Почему еще и тогда этотъ незначащій разговоръ нашъ, двухъ молодыхъ людей, сдѣлалъ на меня такое впечатлѣніе, что я внесъ его въ мой дневникъ? Мало этого: этотъ незначащій разговоръ приходилъ мнѣ въ голову каждый разъ, когда я думалъ, говорилъ или читалъ о современныхъ доктринахъ или соціальныхъ утопіяхъ.

Это, можетъ быть, глупо и не стоило бы теперь вносить въ мою автобіографію. Но вѣдь я пишу ее для себя, рѣшившись не скрывать отъ себя и того, что́ самъ нахожу schwach. Не хочу же я казаться самому себѣ умнѣе? Дѣло въ томъ, что у меня, по странной ассоціаціи идей, давнишній, гроша не стоющій, разговоръ, сдѣлался какимъ-то наглядным выраженіемъ послѣдствій или дѣйствій на человѣческую природу двухъ правъ: естественнаго и государственнаго (или вообще юриди-

ческаго права). Одно выразилось, конечно, въ одномъ моемъ представленіи, только основанномъ на словахъ Петра Григорьевича,—чувствомъ ненависти, другое—чувствомъ страха. Съ тѣхъ поръ мнѣ всегда казалось, что знаменитое droit de l'homme возбуждаетъ, и на самомъ дѣлѣ, только ненависть, а юридическое право—боязнь. Странно, ненаучно и потому, можетъ быть, нелѣпо. Но такъ мнѣ кажется. Кто знаетъ это пресловутое droit de l'homme? На какихъ скрижаляхъ и кѣмъ оно начертано? Самъ человѣкъ приписываетъ себѣ, то-есть, изобрѣтаетъ для себя права, и, значитъ, все зависитъ отъ того, какъ онъ на себя посмотритъ—снизу, сверху, сбоку, и потомъ какъ еще всѣ эти сторонніе воззрѣнія соединитъ, и какъ ихъ комментируетъ. Даже самое главное,—право правъ,—право на жизнь и смерть, и то онъ можетъ и присвоивать себѣ, и отвергать у себя. Но, присвоивъ себѣ того или другого права, чувство ненависти и непріязни для него дѣлается неизбѣжнымъ, какъ скоро этимъ правомъ онъ почему-нибудь не въ состояніи будетъ пользоваться. Такъ, это право правъ, право на жизнь, есть не болѣе какъ комментарій, нашъ собственный комментарій факта; мы живемъ,—ergo, имѣемъ право жить.

Но не миражно ли это право, когда самый фактъ, на которомъ оно основано, можетъ каждую минуту прекратиться и кончиться? Хорошо право, которое ежеминутно можетъ быть отнято у каждаго изъ насъ! И жизнь дѣлается всего скорѣе ненавистною, когда она разсматривается какъ наше право. Не ближе ли къ правдѣ, не нормальнѣе ли та жизнь, которою мы пользуемся вовсе не по праву и не какъ правомъ, а по-просту, безъ затѣй. Живемъ, потому что живемъ, и такъ надо быть, таково наше предопредѣленіе, какъ слѣдствіе причины причинъ. Вольно намъ подводить это подъ категорію правъ!

Но если на жизнь нѣтъ права, а есть только сама жизнь, какъ роковой фактъ, то что же наше право на смерть? Да это право сильнаго. Воля, какъ намѣреніе, осуществленное въ дѣйствіи,—продуктъ жизни,—сильнѣе жизни, и потому можетъ ее прекратить на каждомъ шагу. Такихъ правъ не мало на свѣтѣ! И человѣкъ, съ его милою логикою, не задумался назвать и проявленіе силы—правомъ. Да не потому ли, что каждый мыслитель, толкуя о правѣ, невольно сознавалъ суть права въ силѣ?

А правда? А справедливость? А нравственный законъ?

Да, на аналитическихъ вѣсахъ мыслителя эти противовѣсы сильно опускаютъ одну чашку, но стоитъ только силѣ слегка прикоснуться къ другой—и вѣсы покажутъ другое.

Что же значатъ всѣ другія статьи пресловутаго droit de l'homme? Если уже права на жизнь никто намъ не давалъ, и мы пользуемся ею Dei gratia,—то что̀ такое право на равенство, свободу, братство? Не чистые ли миражи эти права? Они возбуждаютъ только ненависть, потому что недостижимы; за ними гоняются, а ихъ нѣтъ.

Право можемъ мы себѣ творить и утверждать только на то, что̀ можемъ себѣ дать, и собственно, по божьи, что̀ можемъ дать не насильно. Право собственности и право личности, наслѣдственности,—всѣ они искусственны, созданы человѣкомъ, но именно потому они и есть права; ихъ можно было дать и признано было за лучшее для человѣческаго общества ихъ дать ему.

И, давъ эти права, было естественно и справедливо требовать, чтобы ихъ никто не нарушалъ. Нарушитель долженъ былъ страшиться. И вотъ, искусственныя права, возбуждающія чувства опасенія и страха, оказались благодѣтельнѣе тѣхъ естественныхъ правъ, недостигаемость которыхъ порождаетъ ненависть и злобу. Кто, въ самомъ дѣлѣ, можетъ намъ дать свободу, равенство и братство, когда ихъ нѣтъ такихъ, какими они представляются гоняющимся за ними? Странное недоразумѣніе, искони присущее человѣческому обществу! Библейское столпотвореніе—вѣрный символическій образъ этого рокового недоразумѣнія. Мы, окруженные безъисходнымъ, но благодѣтельнымъ миражемъ жизни, не можемъ понять, какъ наша мысль и наша воля могутъ быть несвободными, когда мы чувствуемъ такъ живо свободу нашей мысли и нашей воли. И, обольщенные этимъ ощущеніемъ, стремимся къ полной свободѣ дѣйствій,—и зная, и не зная, что ея никогда не достигнемъ.

Это-то стремленіе мы и назвали правомъ, а давъ названіе, —стремимся еще неукротимѣе.

Если мы произошли отъ обезьянъ, то отъ нихъ мы и получили стадное свойство стремиться сообща къ свободѣ дѣйствій.

Но у насъ, въ прибавокъ къ этому, чисто животному, свой-

ству, выработалось еще,—уже не знаю почему: отъ естественнаго подбора или чего другого,—рѣзко отличающее насъ отъ животныхъ свойство индивидуальности.

Ни у одного животнаго эта особенность такъ не развита, къ нашему счастью и несчастью, какъ у насъ. Вотъ эти два свойства—стадность и индивидуальность—и борются между собою въ человѣческихъ обществахъ. И общества, и государства учреждаются на основаніи междоусобной борьбы стадныхъ и индивидуальныхъ свойствъ людей. Въ стадѣ—неудержимое стремленіе дѣйствовать сообща; человѣческая особь неудержимо стремится дѣйствовать лично, особнякомъ, по мѣрѣ своихъ силъ и способностей, или, какъ принято писать въ дѣловыхъ бумагахъ,—по крайнему своему разумѣнію. Борьба борьбою, а во время ея стадныя свойства сообщаются индивидуальнымъ, индивидуальныя—стаднымъ.

Стадное свойство требуетъ равенства и братства; индивидуальное—хочетъ свободы и врагъ равенства. При полномъ равенствѣ особь теряетъ свой raison d'être. Что дѣлать бѣдному человѣчеству въ этой междоусобицѣ его самыхъ закадычныхъ стремленій и свойствъ? Оно изобрѣтаетъ разныя средства, чтобы кое-какъ выйти, не погибнувъ въ борьбѣ . . . . . .

. . . . . .

Что такое, въ самомъ дѣлѣ, современное движеніе утопистовъ, какъ не вызовъ на борьбу съ человѣческою индивидуальностью? Крайности сходятся. И культурному обществу, въ апогеѣ его развитія, предстоитъ перспектива усовершенствованнаго стаднаго состоянія. Развѣ это не такъ? Стремленіе къ полной свободѣ, самое индивидуальное изъ всѣхъ стремленій, должно уступить мѣсто—въ будущемъ государствѣ утопистовъ—вынужденному дѣйствію для общаго блага.

Вся забота власти должна будетъ сосредоточиться на борьбѣ съ индивидуальностью. Нормальный антагонизмъ общества и государства, искусственно раздуваемый въ настоящее время адептами утопій, потомъ долженъ прекратиться. И общество, и государство, должны сдѣлаться сообща стадными, лишенными индивидуальности. На мѣсто юридическаго гражданскаго права, продукта человѣческой индивидуальности, должно выступить естественное стадное право равенства и братства. Ни личная,

индивидуальная свобода, ни права личной собственности и наслѣдія—не должны препятствовать общему благоденствію, опредѣленному стадными законами. Индивидуальный талантъ долженъ употребиться на общее благо; ни геній, ни дарованіе—не должны быть личною собственностью. Нивеллировка, разумѣется, должна начаться не съ этого, а съ болѣе существеннаго—съ кармана.

Примѣняя все сказанное къ себѣ, къ намъ, къ нашему государству, я не могу отъ себя скрыть, что замѣчаю въ немъ еще много стаднаго. Индивидуализмъ развитъ у насъ, относительно, въ миніатюрѣ. И это, конечно, на-руку современнымъ нивеллировщикамъ. Еще болѣе заманчивъ для нихъ нашъ недостатокъ буржуазіи и вообще муниципальнаго западнаго элемента и избытокъ аграрнаго, стаднаго. Немудрено, что наша государственная власть, перенесшая, въ царствованіе Александра II-го, точку опоры въ будущемъ и на это аграрное сословіе, встрѣтилась тотчасъ же на этой почвѣ съ современными утопистами.

Достопамятное царствованіе Александра II-го, ознаменованное цѣлымъ рядомъ великихъ предпріятій, конечно, не могло въ 20 лѣтъ (считая съ 1861 года) каждое изъ нихъ довести до конца; но существенный недостатокъ, существенно вредившій благимъ начинаніямъ царя, было колебаніе и переходы одной системы правленія къ другой въ самое переходное время національной жизни. Нивеллировщики не преминули пользоваться этими недостатками и всегдашнее слѣдствіе колебаній—недовольство—раздувать въ свою пользу; а правительство, занятое переходами и постоянными колебаніями, не успѣвало способствовать индивидуализированію стаднаго общества и группировать мелкія индивидуализированныя группы въ болѣе крупныя. А въ этомъ, именно, и лежитъ оплотъ противъ напора современныхъ утопій.

Если приведенное мною воззрѣніе на исторію развитія общества справедливо, то задача наша въ настоящее время должна состоять въ томъ, чтобы способствовать всѣми силами развитію индивидуализма, еще угнетеннаго стадными свойствами. Какъ эти свойства общества ни пригодны и ни выгодны для разныхъ государственныхъ цѣлей, въ первобытномъ или на-

чальномъ состоянiи культурнаго государства, но потомъ, въ перiоды дальнѣйшаго развитiя, они дѣлаются обоюдоострымъ орудiемъ и могутъ оказаться настолько же за, насколько и противъ него.

Пусть современная утопiя, если она осуществима, осуществится на мѣстѣ своего источника. Тамъ началась уже—пока умственная—борьба труда съ капиталомъ. Надо надѣяться, что, и перейдя на практическую почву, эта борьба будетъ все-таки болѣе осмысленная, чѣмъ у насъ. Индивидуализмъ на Западѣ успѣлъ развиться и подавить стадныя свойства народовъ гораздо болѣе, чѣмъ у насъ. Бисмаркъ говоритъ даже, что каждый нѣмецъ хочетъ имѣть непремѣнно своего короля. Богъ у каждаго уже другой. Индивидуализмъ давно уже раздробилъ общество на мелкiя группы, соединяющiяся теперь насущными потребностями существованiя. Многое индивидуальное пережито, передумано и перечувствовано. У насъ иная почва. И если заговору, пропагандѣ и крамолѣ удалось бы своими миражами увлечь неиндивидуализированныя массы, то опасность была бы другого рода. Увлеченiя и другого пошиба, наши собственныя, доморощенныя, мнѣ кажутся небезвредными въ настоящее время. Любовь къ отечеству, къ русскому народу и къ славянскому племени вообще, какъ эти чувства ни высоки, не должны туманить нашъ здравый смыслъ. Намъ не миновать процесса общечеловѣческаго развитiя.

Откуда бы такая благодать, да еще и благодать ли? Но всего хуже противодѣйствовать тому, что́ уже сдѣлано на пути этого развитiя, хотя бы и ложномъ, съ точки зрѣнiя нашей нацiональной утопiи. Вѣдь это значитъ бѣжать съ одной, уже избранной, дороги, не имѣя ни силъ, ни средствъ, ни знанiй перейти на другую, болѣе надежную. Какая такая эта другая дорога, кто ее укажетъ и куда она поведетъ, когда оставшiеся ея слѣды указываютъ болѣе на стадныя свойства по ней шедшихъ?

Развитiе индивидуальной личности и всѣхъ присущихъ ей свойствъ—вотъ, по моему мнѣнiю, талисманъ нашъ противъ недуговъ вѣка, клонящагося къ закату. Средствъ къ этому развитiю не мало, была бы добрая и твердая воля.

Громада великъ человѣкъ!—горланитъ теперь на мiрскихъ

сходкахъ стадное свойство крестьянъ. Пусть каждый изъ нихъ скажетъ про самого себя просто: я—человѣкъ и знаю мои права и мои обязанности.

Мірское горлодерство, огульная косность и огульно-стадная сила инерціи и сопротивленія были единственными средствами у темныхъ массъ противъ произвола и насилія. И пока стадныя свойства массъ будутъ обременять стремленіе къ прогрессивной индивидуализаціи, они останутся приманками для всѣхъ желающихъ ловить рыбу въ мутной водѣ. А между тѣмъ, послѣ эманципаціи массъ, цѣлыя 20 лѣтъ ничего не сдѣлано существеннаго для индивидуализаціи. Всѣ—и благомыслящіе прогрессисты, и вліятельные администраторы, и западники, и славянофилы, и наша молодежь— какъ будто помѣшались на какомъ-то обожаніи стихійныхъ силъ. Всѣ какъ будто забыли, что на этомъ конькѣ ѣздятъ и современные утописты. Пусть бы утопіи ихъ находили себѣ на Западѣ оцѣнку и поддержку; тамъ національная культура, можетъ быть, и выработаетъ для себя что-нибудь дѣльное изъ миража. Но намъ, съ нашею Азіею на плечахъ, проводить, хотя бы и съ самыми благими намѣреніями, нѣчто сходное и какъ будто бы сочувственное западнымъ современнымъ утопіямъ, по малой мѣрѣ, странно. Что подѣлаешь съ стихійными силами племенъ въ странѣ обширной, малолюдной, на востокъ—азіатской и кочевой, не мало еще и вездѣ пропитанной азіатскимъ элементомъ? Какъ управлять и организовать управленіе, если стадныя свойства будутъ находить поддержку со стороны правительства и культурнаго общества? Возможно ли, не способствуя нисколько развитію индивидуализма, а, напротивъ, устраняя его, утверждать, что племенныя стадныя свойства вдругъ или незамѣтно перейдутъ въ какую-то интеллигентную ассоціацію? Не утопія ли это также своего рода?

Зло, достигшее крайнихъ предѣловъ, отрезвляетъ умы. Хуже этого ничего не можетъ быть—есть такое убѣжденіе, которое и фаталиста проймetъ. Мы дошли до этого. Нашей гражданственности на пути прогресса нанесенъ жестокій ударъ тѣмъ, что порядокъ, одинъ изъ главныхъ аттрибутовъ гражданственности, потрясенъ до основанія насильственною смертію главы государства, какъ главнѣйшаго представителя порядка. Не можетъ быть, чтобы не было глубокой органической причины зла

не Франція и даже не прежняя Россія, въ которой можно было на каждомъ шагу вести залежное общинное или отдѣльное хозяйство. Что́ земля теперь безъ капитала? У мужика—скажутъ—вмѣсто капитала есть руки, ноги и, пожалуй, кое-какая голова на плечахъ. Да, это деньги, но такія, которыя безъ желудка не достаются, а желудокъ, въ свою очередь, требуетъ также денегъ.

Мужику дали землю и, конечно, не даромъ,—это было бы вопіющимъ насиліемъ надъ прежними землевладѣльцами; давъ ее,—благословили и сказали: ora et labora. Не плати мужикъ ни за землю, ни подушнаго, а только молись и трудись, то, можетъ быть,—и только можетъ быть,—онъ зажилъ бы припѣваючи; ковырялъ бы кое-какъ свою пашню, кормилъ бы кое-какъ на общемъ выгонѣ скотину, по временамъ запускалъ бы ее и въ сходное поле, потравить его для себя, платилъ бы попамъ за разныя требы, что́ и значило бы для счастливца трудиться и молиться.

Можетъ быть, еще лучше, а можетъ быть, и еще хуже шло бы дѣло въ общинномъ хозяйствѣ—Богъ его знаетъ! Чтобы понять всѣ его превосходства, надо быть или самому давнишнимъ, исконнымъ общинникомъ, или же глубокомысленнымъ философомъ. Не бывъ никогда ни тѣмъ, ни другимъ, я разсматриваю наше общинное хозяйство какъ временное, неизбѣжное pis aller, которое нужно пока предоставить силамъ натуры, не замать.

Что́ же вышло черезъ 20 лѣтъ послѣ эманципаціи? То, что теперь всякій, знающій деревню не со вчерашняго дня и самъ занимающійся полевымъ хозяйствомъ, предсказалъ бы навѣрное. Гдѣ земля еще кое-какъ родитъ безъ особенной тщательной подготовки, гдѣ для скотины кое-что еще выростаетъ на выгонахъ и выкосахъ на стернѣ, гдѣ, сверхъ этого, имѣются еще вблизи крестьянскихъ хозяйствъ заработки (заводы помѣщичьи, хозяйства и желѣзныя дороги), тамъ дѣло идетъ до поры, до времени, то-есть пока не стрясется какая-нибудь бѣда надъ полями: градъ, засуха, жучки или просто неурожай, Богъ вѣсть отчего. А приди такая бѣда, да къ тому еще не случись пригодныхъ заработковъ, такъ бѣда неминуема. Положимъ, эти естественныя, неминуемыя бѣды грозятъ всякому

хозяйству, всякому предпріятію и человѣческой дѣятельности. Но въ хорошо организованномъ хозяйствѣ,—въ которомъ, кромѣ почвы, личнаго труда, ума, принимаютъ главное участіе основной и оборотный капиталы,—неудача одного года или двухъ лѣтъ вознаграждается избыткомъ урожая другихъ годовъ.

На этомъ основаніи—и весь разсчетъ. Иначе пришлось бы все бросить и капиталъ перенести туда, гдѣ ему лучше везетъ. Но гдѣ же что нибудь подобное этой гарантіи въ крестьянскомъ хозяйствѣ? Современное полевое хозяйство ничѣмъ не отличается, въ сущности, отъ фабричнаго и кустарнаго промысловъ. Пахатныя поля, это—фабрики безъ крышъ подъ открытымъ небомъ; обработанная и подготовленная почва этихъ полей—огромный резервуаръ, съ разными химическими составами, въ которомъ совершается броженіе посѣва. Наше крестьянское хозяйство, если оно подворное, представляетъ родъ кустарнаго промысла, а общинное—ничѣмъ другимъ не можетъ быть, какъ плохою фабрикою, безъ оборотнаго капитала, безъ предпріимчивости, безъ дальновиднаго разсчета.

Я, конечно, самъ первый бы подалъ голосъ за освобожденіе съ землею; это было conditio sine qua non въ Россіи для благополучнаго выхода изъ стараго строя; но не надо было намъ увлекаться нашимъ общимъ незнаніемъ свободнаго полевого хозяйства; до 1860-хъ годовъ никто не имѣлъ о немъ яснаго, на опытѣ основаннаго, представленія. Всѣ мечтали: одни—злорадно, другіе—ненавистно, третьи—радушно и наивно. А теперь, когда суть дѣла выступила мало-по-малу наружу, всѣ стали сѣтовать, обвинять и заподозрѣвать другъ друга, сантиментальничать и заигрывать съ меньшею братіею, ругать на чемъ свѣтъ стоитъ кулаковъ, кабатчиковъ, какъ будто все это не должно было быть силою вещей и какъ будто тутъ, въ самомъ дѣлѣ, кто-нибудь лично виноватъ! Неужели же можно обвинять кого-нибудь за то, что онъ не добродѣтеленъ, не настоящій христіанинъ, эксплоатируетъ слишкомъ искусно сподручную для его ума почву? Мнѣ кажется, всѣхъ болѣе виноваты увлеченія высшихъ и передовыхъ дѣятелей.

Мнѣ кажется, первымъ дѣломъ, при эманципаціи съ землею, должна была быть правильная организація только-что вышедшаго изъ крѣпостной зависимости сословія. На бѣду, одни на

него смотрѣли съ трепетомъ и нерѣдко съ ненавистью, другіе—съ какими-то розовыми надеждами принялись его кажолировать; и я самъ, признаюсь, былъ изъ числа послѣднихъ, хотя и зналъ про себя, что увлекаюсь. Такое было время 1861-й годъ. Намъ, современникамъ царствованія Александра II-го, надо быть снисходительными и безпристрастными и къ другимъ, и къ себѣ. Эманципированнымъ дали тотчасъ же право на выборы (выборное право). Они могли тотчасъ же выбирать себѣ непосредственныхъ своихъ начальниковъ: администраторовъ, старостъ, старшинъ, и даже имѣли право на выборы своихъ судей.

Эманципированнымъ дали, до извѣстной степени, самоуправленіе, тогда какъ и культурные классы общества не имѣли еще ни своихъ выборныхъ судей, ни самоуправленія. Для эманципированныхъ же тотчасъ придумали особенный, также выборный, институтъ мировыхъ посредниковъ, и на него-то возлагались всѣ надежды организаторозъ крестьянства. И онъ-то, именно, и сдѣлалъ полнѣйшее фіаско. Выборное начало также не пошло въ прокъ. Старосты, старшины, писаря, добросовѣстные и судьи—оказываются вообще порядочною дрянью, обворовываютъ общество, берутъ взятки, пьянствуютъ зачастую. Это я вижу на опытѣ, слышу весьма часто и нерѣдко читаю о томъ же въ газетахъ. Неграмотность и незнаніе своихъ правъ и обязанностей — общая черта со стороны старшинъ и старостъ.

Давнее наше крючкотворство, мошенничество и взяточничество—характерная черта большей части волостныхъ писарей. Тунеядство, безразличное отношеніе къ крестьянскому дѣлу, съ оттѣнкомъ вымогательства, отличаютъ многихъ коронныхъ (не-выборныхъ) посредниковъ, существующихъ еще у насъ въ западномъ краѣ. Странная была, мнѣ кажется, мысль поставить эманципированное крестьянство какимъ-то особнякомъ, прикрѣпленнымъ на нѣсколько лѣтъ къ землѣ, съ своимъ самоуправленіемъ, съ своимъ вѣчемъ (сходками) и даже съ своими законами относительно собственности, наслѣдія и т. п. Этотъ-то 20-милліонный особнякъ, съ его, къ тому еще, и бытовыми особенностями и обычаями, есть что-то въ родѣ status in statu.

Онъ привыкъ дѣйствовать огульно, корпоративно, привыкъ имѣть свое отдѣльное міровоззрѣніе, во многомъ противоположное общимъ государственнымъ и культурнымъ воззрѣніямъ. Словомъ, это міръ, живущій отдѣльною и непонятною для насъ жизнію. Не даромъ онъ такъ заманчивъ, и, къ сожалѣнію, не для однихъ только этнографовъ, литераторовъ и экономистовъ. Все, желающее половить рыбу въ мутной водѣ, свиваетъ легко гнѣздо въ этой удобной для разнаго рода эксплуатаціи почвѣ. Не знаю, въ какихъ рукахъ обрѣтается эманципированная громада тамъ, гдѣ развилось и пустило корни земское самоуправленіе; но у насъ въ юго-западномъ краѣ, что́ бы тамъ ни говорили администраторы и разные ревизоры, крестьянство, на мой взглядъ, въ плохихъ рукахъ. Коронные его властители, —по крайней мѣрѣ, тѣ, которыхъ я знаю,—не надежны ни въ какомъ отношеніи. Уже одно то, что они мѣняются начальствомъ какъ пѣшки, не говоритъ въ ихъ пользу.

Впрочемъ не они одни,—и главнымъ начальникамъ юго-западнаго края не счастливится. Въ теченіе 20 лѣтъ перемѣнилось, на моей памяти, 6 генералъ-губернаторовъ (по 3 года и 3 мѣсяца управленія на каждаго) и 8 губернаторовъ подольской губерніи (по $2^1/_2$ года на каждаго). На такой важной по своему исключительному положенію окраинѣ по 2 или по 3 года управленія среднимъ числомъ на каждаго начальника едва-ли можетъ дать благіе результаты.

Мысль объ оставленіи нашего крестьянства въ его изолированномъ видѣ, кажется, еще не оставлена. Правда, въ губерніяхъ съ земскими учрежденіями крестьяне привлекаются и въ гласные, и въ присяжные; но, во-первыхъ, цѣлыхъ 9 большихъ губерній исключены изъ этого, а во-вторыхъ, если земство учреждено всесословнымъ, то почему же волость, какъ единица земства, не всесословная, а исключительно крестьянская, и, ѣихъ, наконецъ, всесильная администрація, налагающая желую руку и на земство, не можетъ способствовать й правильной и стойкой организаціи ни земства, ни ества. О просвѣщеніи темныхъ массъ и говорить нечего.

1866 года я не рѣшался и прикоснуться къ школѣ къ имѣніяхъ, и жену отговаривалъ, чтобы не заподозрѣли ой контрабандѣ...

Но не одно крестьянство осталось, послѣ эманципаціи, почти неорганизованнымъ,—и среднему сословію не повезло; между тѣмъ оно, очевидно, формируется. Среднія училища, несмотря на разныя скачки съ препятствіями, полнѣютъ. Но эта главная основа культурнаго общества у насъ находится также въ ненормальномъ состояніи. Часть этого сословія у насъ—чистый пролетаріатъ; часть (какъ, напримѣръ, еврейство) не пользуется всѣми правами, а часть—хотя, по своему положенію и средствамъ, и должна бы принадлежать къ среднему сословію—вовсе не культурна: это многіе довольно зажиточные мѣщане, купцы, кулаки. Какъ кажется, у насъ не много заботятся о развитіи этого класса. Взбаломученная, съ одной стороны, пропагандою, съ другой—произволомъ администраціи, наша молодежь, вмѣсто стремленія кверху, ищетъ сближенія съ крестьянствомъ для распространенія современныхъ соціальныхъ доктринъ . . . . . .

. . . . . .

Про нѣмецкихъ солдатъ я читалъ въ газетахъ, а про французскихъ слышалъ отъ одного изъ бывшихъ членовъ нашего посольства въ Парижѣ, что тамъ даже въ арміяхъ оказывается вліяніе пропаганды; лицо, сообщившее мнѣ о парижскихъ дѣлахъ, разсказывало, что оно слышало отъ самихъ офицеровъ въ Парижѣ, какъ они боятся, чтобы солдаты ихъ при первыхъ же движеніяхъ коммуны не разбѣжались и сами бы не сдѣлались коммунарами. Relata refero. Правда ли это, нѣтъ ли, но очевидно, что самыя крайнія и разрушительныя стремленія коммуны, какъ бы число послѣдователей ихъ ни было пока ограниченно, находятъ подкрѣпленіе и въ другихъ, менѣе радикальныхъ доктринахъ коммунизма, такъ какъ коммунары и коммунисты, сколько мнѣ извѣстно, расходятся только въ отношеніи средствъ, но не въ основныхъ принципахъ. Мнѣ странна и непонятна политика государствъ, терпящихъ и отчасти охраняющихъ самыя гибельныя, безнравственныя и вредныя для общечеловѣческаго прогресса доктрины. Что это — чрезмѣрное уваженіе буквы закона, тупое равнодушіе или трусость? Откуда взялось такое государственное убѣжденіе, что уголовное преступленіе, совершенное по почину частныхъ лицъ съ государственной цѣлью, перестаетъ быть

нее „vae victis“ — исчезло подъ вліяніемъ христіанскаго ученія, и, какъ бы взамѣнъ древняго безчеловѣчія, наше время водрузило красный крестъ, какъ символъ христіанства и въ международныхъ отношеніяхъ. Но какъ бы ни была велика эта заслуга новаго времени, она все-таки касается болѣе области „соматической“ и имѣетъ главною цѣлью облегченіе и уничтоженіе тѣлесныхъ страданій; другая же, чисто нравственная, сторона международной политики осталась такою же недоступною для введенія началъ христіанскаго ученія, какъ и во времена оны. И вотъ, мы видимъ въ наше время, что страна, прославившая себя иниціативою учрежденій „Краснаго Креста“, такъ много уже облегчившихъ людскія страданія и муки, вмѣстѣ съ этимъ служитъ притономъ и разсадникомъ самаго губительнаго для общечеловѣческой нравственности комплота убійцъ и крамольниковъ. Да, христіанскія государства съ ихъ беззастѣнчивою внутреннею и международною политикою эгоизма и права сильнаго не мало сами содѣйствуютъ къ нарожденію убійственныхъ для нравственности и постыдныхъ для человѣчества общественныхъ явленій. Всѣ знаютъ это; всѣ убѣждены, что современныя отношенія государствъ между собою ненормальны и на каждомъ шагу угрожаютъ подвластнымъ народамъ неизмѣримыми бѣдствіями и катастрофами; что же мудренаго, если при такомъ натянутомъ положеніи международнаго дѣла растетъ и крѣпнетъ противогосударственная и антисоціальная пропаганда съ ея разрушительными стремленіями, ея ненавистью къ существующему порядку вещей и ея кровожадными піонерами? Громадные капиталы народнаго богатства и цѣлыя массы молодого, цвѣтущаго народонаселенія употребляются непроизводительно, стоя подъ ружьемъ, на-готовѣ. Можетъ ли коммунистическая пропаганда не воспользоваться указаніями народамъ на это ненормальное положеніе государствъ и націй, не возбудить въ нихъ ненависти и противогосударственныхъ стремленій? А между тѣмъ самыя арміи, собранныя для предстоящей борьбы, заражаются отъ бездѣйствія пропагандою и общимъ недовольствомъ. Видя все это, конечно, не съ птичьяго полета,—который не предоставленъ простымъ смертнымъ,—не одни только пессимисты, какъ это было въ 1848-хъ годахъ, усмотрятъ въ будущемъ средніе вѣка съ нашествіемъ

варваровъ, не чужихъ, а доморощенныхъ, и не одни пессимисты упрекнутъ государства въ ихъ близорукомъ эгоизмѣ, ведущемъ, въ концѣ концовъ, къ средневѣковому варварству.

Гдѣ, въ самомъ дѣлѣ, антидоты противъ распространенія соціальныхъ міазмъ? Арміи и полиціи? Какъ будто арміи и полиціи формируются не изъ людей, или изъ людей другого закала, нисколько не прикосновенныхъ и не подверженныхъ заразѣ!

Что, впрочемъ, толковать о радикальныхъ презервативахъ и антидотахъ противъ будущихъ, еще не разсвирѣпѣвшихъ повѣтрій, когда предъ нашими глазами совершаются уже самыя безнравственныя дѣла и неслыханныя преступленія, нисколько не измѣняющія международныхъ отношеній и законовъ, несмотря на то, что злодѣянія совершаются преступниками одной страны противъ властей другой, по названію дружественной.

Къ какой націи физіологически принадлежатъ эти преступники, очевидно, все равно; они—скитальцы и должны считаться подданными или гражданами той страны, которая ихъ пріютила и охраняетъ, а потому оставлять ихъ участіе въ уголовныхъ преступленіяхъ, совершенныхъ въ другомъ государствѣ, неразслѣдованнымъ и ненаказаннымъ только потому, что эти преступленія не нанесли никакого вреда интересамъ протектора,—безнравственно. Да не говоря уже о нравственности, эта эгоистическая политика и безразсудна, и когда-нибудь вредно отзовется на всемъ обществѣ. Зло родитъ зло; это законъ, его же не прейдеши. Между государственнымъ и простымъ убійствомъ нѣтъ никакого различія. Судить, осуждать, низвергать государственную власть—по естественному праву—можетъ только само государство. Всѣ цареубійцы, не исключая и прославленнаго убійцы Цезаря, берутъ на себя роль государственныхъ палачей самовольно или отъ имени никѣмъ непризванныхъ людей; чѣмъ же—спрашивается—преступленіе ихъ отличается отъ простого убійства, и почему какой бы то ни былъ государственный режимъ можетъ отказаться у себя отъ судебнаго разслѣдованія дѣяній пришельцевъ, подозрѣваемыхъ другимъ государствомъ въ участіи? Развѣ только по принципу: vivat justitia, pereat mundus!

Но откуда взялось у насъ стремленіе, по общему убѣжденію вовсе несвойственное ни исторіи развитія, ни духу нашего общества? Съ Запада? Но почему эти антисоціальныя западныя доктрины именно у насъ проявились въ самомъ отвратительномъ видѣ? Причинъ тутъ, конечно, не одна. И какъ бы ничтожна ни была шайка злоумышленниковъ, нечего себя этимъ успокоивать; не малочисленность дѣятелей зла, а размѣръ причиненнаго ими зла обществу обращаетъ на себя вниманіе всякаго мыслящаго человѣка.

Наполеонъ, запертый на островѣ Св. Елены, сказалъ,—разумѣется, изъ ненависти къ Россіи,—что „чрезъ 50 лѣтъ во всей Европѣ будетъ или республика, или казаки". Другой—его же—фразѣ о цареубійствѣ служили, конечно, основаніемъ наши прежніе дворцовые перевороты послѣ Петровскаго царствованія. Но въ этихъ переворотахъ главными участниками были одни лично въ томъ заинтересованные.

Современныя государственныя преступленія имѣютъ совершенно другой характеръ. Они не могли и не могутъ быть тайными не только для исторіи, но и для народа. Безъ сомнѣнія, съ этою, именно, цѣлью они и совершаются. Дѣятелями являются не лично заинтересованные въ переворотахъ, не иностранные интриганы, а разночинцы и даже простолюдины, лично, повидимому, нисколько не заинтересованные.

Какія же приманки, именно у насъ въ Россіи и въ наше время, привлекли такихъ ревностныхъ адептовъ и дѣятелей къ ужасной доктринѣ? Упорство, настойчивость, выдержка, самоотверженіе и вообще энергія зла—замѣчательны въ этихъ дѣятеляхъ,—въ этомъ надо имъ отдать полную справедливость. Откуда все это? Совсѣмъ не узнаешь своихъ соотчичей въ этихъ адски-энергическихъ дѣятеляхъ. Чужеземный элементъ между ними, повидимому, незначителенъ; нѣсколько семитовъ, еще менѣе поляковъ, немного другихъ не-славянскаго племени; но большинство—великоруссы и малороссы; сословія и состоянія также весьма различны; образованіе, по большей части, школьное и недоконченное; есть между ними и дворяне, и крестьяне, богатые и бѣдные, но послѣднихъ, вѣрно, больше, чѣмъ первыхъ; исповѣданіе, конечно, также въ большинствѣ православное; люди молодые, не достигающіе еще и средняго возраста;

не порабощенныхъ умомъ и вступившихъ тотчасъ же въ заговоръ противъ индивидуальнаго ума, долго остававшагося подъ гнетомъ. Вышло противное тому, что́ должно быть нормою для правительства и обществъ. Вмѣсто свободы личнаго ума вышла свобода звѣрства. Звѣрство не могло быть рабомъ несвободнаго и стѣсненнаго ума. Калибанъ почувствовалъ себя освобожденнымъ и выступилъ на сцену.

Чѣмъ менѣе значеніе особи въ государственномъ строѣ, тѣмъ опаснѣе положеніе государства въ наше время . . .

. . . . . .

Одно изъ самыхъ лучшихъ свойствъ нашего народа, уваженіе и полное довѣріе къ верховной власти, но еще не индивидуализированное при другихъ стадныхъ свойствахъ народныхъ массъ, есть все-таки обоюдоострое орудіе, которымъ не трудно пользоваться и врагамъ верховной власти. А сверхъ этого, наша народная стихія, на которую возлагаютъ столько розовыхъ надеждъ доморощенные наши утописты и славянофилы, представляетъ возмутителямъ и анархистамъ еще и другую, не менѣе привлекательную сторону; она съ давнихъ временъ была не безопасна для государства, устроеннаго на общеевропейскій ладъ; эманципація должна была уничтожить предстоявшую опасность; но, предпринятая слишкомъ поздно, и потому безъ предварительной подготовки, она увеличила опасность, хотя и временно.

И вотъ почему: коммунизмъ нашего времени береть, я полагаю, свое начало еще съ первой французской революціи. Извѣстно, какъ tiers-état сбило съ позиціи аристократію, подпало потомъ само подъ вліяніе террора, военнаго деспотизма, бурбонской реакціи, и все-таки и развивалось, и богатѣло; и вотъ мы видимъ, что изъ этого знаменитаго tiers-état, бывшаго нѣкогда идеаломъ прогресса, образовалась ненавистная современнымъ ультрапрогрессистамъ буржуазія, считаемая самымъ главнымъ антагонистомъ новаго и коренного преобразованія общества въ коммуну.

Съ упадкомъ владѣтельной аристократіи идеаломъ благополучія для этой буржуазіи сдѣлалось владѣніе землею; крестьянство. конечно, по своей натурѣ, не менѣе стремилось къ землевладѣнію. Крупныя владѣнія размельчали. Земля раздѣлилась

на самые мелкіе участки, и все-таки стремленіе къ обладанію хотя бы крошечнымъ кускомъ землицы продолжается.

Нѣкоторые утверждаютъ даже, что и народонаселеніе Франціи не увеличивается по этой причинѣ: всякій хочетъ не только самъ владѣть кускомъ земли, но и оставить еще въ наслѣдство; и такъ какъ дѣлить миніатюрнаго земельнаго наслѣдства болѣе невозможно, то никто будто-бы не хочетъ имѣть много дѣтей, женится поздно, и т. п.

Можетъ быть, эта страсть къ обладанію поземельною собственностью обязана своимъ происхожденіемъ ученію физіократовъ, господствовавшему незадолго до первой революціи.

Какъ бы то ни было, но изъ Франціи, я полагаю, перешло преувеличенное значеніе земли и къ намъ. Земля у насъ до эманципаціи была ни по чемъ, цѣнилась только рабочая сила. По числу душъ цѣнились имѣнія. Это была другая крайность, невѣрная не менѣе современной.

Между тѣмъ издавна мы привыкли называть наше отечество государствомъ земледѣльческимъ, житницею Европы, и вотъ, узнавъ, что французы придаютъ огромное соціальное значеніе земельной собственности и что городской пролетаріатъ во Франціи точитъ зубы на своихъ буржуа и аграровъ, слишкомъ возлюбившихъ поземельную собственность, мы взбудоражились при эманципаціи нашихъ крестьянъ и задались неразрѣшимою задачею предотвращать у себя всѣ ожидаемыя во Франціи и въ Европѣ бѣдствія отъ развитія пролетаріата и его ненависти къ имущимъ и богатымъ.

Пріѣзжавшіе изъ Парижа, въ началѣ 1860-хъ годовъ, наши соотечественники, жившіе тамъ нѣсколько лѣтъ, разсказывали (я слышалъ самъ одинъ изъ такихъ потрясающихъ разсказовъ отъ покойнаго Ханыкова) съ ужасомъ о страшныхъ физіономіяхъ пролетаріевъ, останавливающихся на бульварахъ передъ кофейнями и съ звѣрскою завистью смотрѣвшихъ на напитки, которыми прохлаждались посѣтители кофеенъ. И эта ненависть пролетаріата къ буржуа, и эта страсть буржуа къ обладанію землею, понятны въ странѣ многолюдной, муниципальной, мануфактурной, какъ Франція, съ ея благословеннымъ и превосходнымъ, для культуры цѣнныхъ растеній, климатомъ, при легкости сбыта всѣхъ произведеній земли на мѣстѣ, съ

отличными водяными и сухими путями сообщенія, избыткомъ легко-обращающагося капитала, развитою интеллигенціею. Не полный ли это контрастъ съ Россіею?

Какія пространства земли были бы достаточны у насъ для благосостоянія каждаго изъ крестьянъ въ настоящее время, и какія бы пространства понадобились еще для обезпеченія каждаго изъ нихъ въ будущемъ, если сдѣлать одну земельную собственность?

То, что̀ французъ извлекаетъ теперь изъ одного гектара своей земли, своимъ виноградомъ, огородомъ и фруктовымъ садикомъ, произведеніямъ которыхъ онъ тотчасъ же находитъ выгодный сбытъ, этого каждый изъ насъ не извлечетъ и изъ 20 десятинъ при нашемъ климатѣ и нашемъ хозяйствѣ и сбытѣ. А кому изъ крестьянъ на умъ придетъ рисковать введеніемъ другихъ искусственныхъ системъ хозяйства?

Правда, земли у насъ еще много,—хватитъ, пожалуй, на всѣхъ, если раздѣлить поровну; ну, а разстоянія, а почва, а климатъ, требующій, чтобы полгода сидѣли на печи, а вредныя для культуры растенія континентальныя свойства этого климата, а недостатокъ рукъ, а трудность сбыта, а дороговизна и неподвижность капиталовъ, а хищничество и неуваженіе къ собственности, проявляющіяся на каждомъ шагу и въ стадныхъ свойствахъ народонаселенія, и въ плохой администраціи, и даже въ окружающихъ насъ стихійныхъ силахъ?

Какъ же тутъ основать народное благосостояніе на одной земельной собственности!

Предполагалось, кажется, нашими доморощенными физіократами, что земельная собственность у насъ безъ всякаго затрачиванія капитала, съ помощію однѣхъ рукъ и кое-какой животины безъ хорошихъ кормовъ, должна и прокормить крестьянскую семью, и выкупить себя, и дать еще прибыль для уплаты податей и для сбереженія на черный день. Когда же эти воздушные зàмки улетучились, то начались сѣтованія, скорбь, часто весьма сомнительнаго свойства, дутая и нерѣдко приторная, о меньшей братіи, — а затѣмъ и сочувствіе современнымъ утопіямъ.

Что̀ это я говорю? Какъ осмѣливаюсь, хотя бы и для самого себя только, писать подобную ересь! Напечатай я это,

что будетъ со мною?! Вѣдь Аскоченскій, читая мои „Вопросы жизни“, находилъ въ нихъ іезуитизмъ и безбожіе; Добролюбовъ, боявшійся инстинктивно розогъ, узрѣлъ въ моемъ регламентѣ о наказаніяхъ дикое и безсмысленное варварство; а теперь я вѣрно попалъ бы—за мой взглядъ на эманципацію—въ самые закоренѣлые крѣпостники и ретрограды. Но, слава Богу, я пишу для себя и не боюсь крика и брани. — Нѣтъ, господа,—отвѣтилъ бы я, можетъ быть, крикунамъ:— я первый, живя 15 лѣтъ безвыѣздно въ деревнѣ, не захотѣлъ бы ни за какія коврижки жить въ сосѣдствѣ съ обезземеленными крестьянами!

Земли нельзя было не дать нашимъ крестьянамъ при эманципаціи. Посадите кого угодно на привязь, на одно мѣсто, на сотни лѣтъ, и всякій,—если не самъ, то его потомки,—будетъ считать это мѣсто своимъ, то-есть—не себя къ нему, а его къ себѣ прикрѣпленнымъ. Это одно; а другое—то, что не въ кочевниковъ же превратить осѣдлыхъ поселянъ, считавшихъ землю, на которой они сидѣли, мірскою.

Итакъ, не въ томъ дѣло, что крестьяне наши освобождены были съ своею мірскою землею (тамъ какъ бы то ни было, тотчасъ же или потомъ); дѣло—въ принципѣ; я возстаю противъ него и утверждаю, что заботы нашихъ соціалъ-экономистовъ физіократовъ о предохраненіи государства отъ пролетаріата посредствомъ надѣла крестьянъ землею ни къ чему не ведутъ. Что бы бюрократы, доктринеры и утописты ни придумывали противъ этого исконнаго зла человѣческаго общества, все повредитъ только настоящему,—это главное; а для отдаленнаго будущаго безпрестанно ломать и перестроивать неустановившіяся еще порядкомъ настоящія преобразованія — нелѣпо, — да мало что нелѣпо, — преступно.

Эта-то ломка, при которой я присутствую почти 20 лѣтъ на окраинѣ Россіи, эта невѣрность и шаткость настоящаго положенія земельныхъ собственниковъ и соединеннаго съ этимъ колебанія въ мѣропріятіи, привели насъ въ то по истинѣ безотрадное положеніе, въ которомъ мы теперь находимся.

Мнѣ кажется, какая-то мономанія пролетаріазма обуяла часть нашего общества, — и надо бы было благодарить Бога, когда бы она была религіознаго свойства; богатые стали бы

раздавать свое имущество—по-евангельски — нищимъ, во имя Господне. Такъ нѣтъ: мономанія чисто соціальная, quasi-научная. Хотятъ, во что бы то ни стало, сдѣлать Россію на будущее время счастливѣе всей остальной Европы, Азіи, Африки, Америки и Австраліи.

Талисманъ уже найденъ, — это земля; теперь идетъ дѣло только о томъ, какъ до него всѣмъ и каждому добраться.

Рецептъ простой: чѣмъ больше каждому придется на долю, тѣмъ лучше. У мужика теперь мало земли, да и ту онъ не можетъ порядочно обработать; чтобы извлечь изъ нея что́ можно и что́ нужно, у него нѣтъ ни средствъ, ни умѣнья. Слѣдуетъ дать ему вдвое, втрое, вдесятеро больше, — и онъ справится. Откуда же эта логика? Она, мнѣ кажется, вышла изъ залежной системы хозяйства, процвѣтавшей еще на юго-восточныхъ окраинахъ Россіи при введеніи эманципаціи. Земля тамъ нипочемъ, почва почти дѣвственная, народу мало, скотъ дешевъ и кормы въ степяхъ даровые. Валяй на просторѣ! Еще и теперь въ Бессарабіи и въ Болгаріи я самъ видалъ, какъ сѣется и отлично родится пшеница и кукуруза безъ плуга и пахоты. По стернѣ, послѣ снятія кукурузы, по оставшимся отъ нея клочкамъ, ходитъ братушка и молдаванинъ и сѣетъ осенью пшеницу, безъ всякой подготовки, а потомъ зараливаетъ какимъ-то допотопнымъ раломъ, парою буйволовъ; а то такъ родятъ и такъ падающія зерна, при снятіи жатвы.

Первобытное повѣрье въ неисчерпаемое плодородіе залежи служитъ, мнѣ кажется, основаніемъ и нашихъ современныхъ соціальныхъ убѣжденій. Да, нашъ народъ вѣритъ еще въ землю, чуть не въ божество земли. „Наша земля,—говорилъ мнѣ одинъ крестьянинъ въ моемъ имѣніи (подольской губ.),— не любитъ желѣза: перестанетъ родить, если ее много желѣзомъ трогать“.—А навозъ?—„Навоза тоже не хочетъ, бурьяномъ поростаетъ. Значитъ, землю не тревожь, она разсердится“.—Повѣрья, очевидно, ведущія свое начало отъ временъ залежнаго, переходнаго, полукочевого земледѣлія. Снялъ урожая три, четыре, — довольно; земля не очень возлюбляетъ желѣзо,—ступай на другое, свѣжее мѣсто.

Нѣмцы наши, колонисты, переселившіеся въ юго-восточныя наши степи изъ культурной страны, знакомые уже съ искус-

ственною системою полеводства, прибывшіе къ намъ съ нѣкоторыми денежными средствами, притомъ народъ трезвый, бережливый, грамотный, протестантъ и даже меннонитъ, да, сверхъ того, получившій льготы отъ нашего правительства (освобожденіе отъ податей, рекрутской повинности), — колонисты, говорю, несмотря на всѣ эти благопріятныя условія, все-таки, какъ люди опытные и знакомые съ дѣломъ, не поддались иллюзіямъ и, несмотря на большіе земельные надѣлы, — по нѣсколько десятинъ дѣвственной почвы на каждаго хозяина, — чрезъ нѣсколько лѣтъ учредили у себя майораты.

Около Одессы я зналъ нѣсколько такихъ колоній (напримѣръ, Люстдорфъ). Чтобы не дробить хозяйства на мельчайшіе участки, въ наслѣдство, по смерти отца, поступалъ весь его земельный надѣлъ и инвентарь въ наслѣдство меньшому сыну, а другія дѣти получали отъ брата наслѣдника выплату деньгами и движимостью.

Вслѣдствіе этихъ порядковъ старшіе сыновья приготовлялись быть ремесленниками, учителями и т. п. и отрывались отъ земли. Пролетаріатъ отъ этого не образовался. Намъ столько еще нужно умѣлыхъ людей, что всякій, сколько нибудь ознакомившійся съ какимъ-нибудь дѣломъ, долго еще можетъ избѣгать пролетаріата. Слѣдуя же укоренившейся у насъ вѣрѣ въ землю, какъ единственный талисманъ противъ нищеты и пролетаріата, мы все-таки не предотвратимъ пагубнаго раздробленія земельныхъ надѣловъ, отнимемъ у многихъ тысячъ людей новаго поколѣнія вѣрный хлѣбъ и средства къ наживѣ ремесломъ и ученьемъ, принудивъ заниматься земледѣліемъ безъ оборотнаго капитала при истощенной уже почвѣ и неблагопріятныхъ климатическихъ условіяхъ. Не надо забывать, что земледѣліе изъ года въ годъ, по мѣрѣ истощенія почвы, дѣлается все болѣе и болѣе сходнымъ съ фабричнымъ или, по крайней мѣрѣ, кустарнымъ ремесломъ и требуетъ все болѣе и болѣе денежныхъ затратъ и оборотнаго капитала.

Конечно, еслибы можно было надѣлить всѣхъ поровну по 500 или 1,000 десятинъ на каждое крестьянское хозяйство, то, вѣроятно, опасность пролетаріата отдалилась бы отъ насъ на цѣлыя столѣтія, хотя тогда, вѣрно, не мало бы явилось охотни-

ковъ продать лишнюю землю, съ которою имъ не подъ силу было бы справиться.

Теперь въ земледѣліи едва-ли уже не дошло, по крайней мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, до того, что сбываются слова Евангелія: имущему дастся, а у неимущаго отнимется. Что́, въ самомъ дѣлѣ, предпринять бѣдняку съ своимъ надѣломъ, если у него нѣтъ семьи, — всѣ померли, — или и есть семья, да только со ртами, а не съ рабочими руками?

Надѣлъ, даже въ количествѣ, опредѣленномъ въ Сводѣ Законовъ для крѣпостныхъ, въ 8 десятинъ, не вложивъ въ него, кромѣ своего личнаго труда, еще рублей 150 — 200, не только не выплатитъ себя, но и не всегда прокормитъ семью. Поэтому, если хотятъ предотвратить, хотя бы въ ближайшемъ будущемъ, пролетаріатъ, основавъ все настоящее и будущее благосостояніе крестьянства на землѣ, то надо, вмѣстѣ съ достаточнымъ надѣломъ землею, еще придать и оборотный капиталъ или, по крайней мѣрѣ, не брать податей первые годы. Это—по теоріи; на практикѣ вышло бы, вѣроятно, другое: и оборотный капиталъ, розданный по рукамъ, и прощенныя подати не пошли бы въ прокъ, такъ, какъ бы этого хотѣлось доктринерамъ.

Весьма отличительная черта въ характерѣ русскаго народа, отличающая его отъ западныхъ націй и даже отъ южныхъ славянъ, это — совершенное отсутствіе бережливости. Встрѣчается иногда скряжничество, циническая скупость, но склонности къ сбереженію нѣтъ.

Пожалуй, скажутъ на это, что нечего беречь; но это далеко не всегда главная причина: неразсчетливость и чисто восточный фатализмъ мѣшаютъ бережливости и тамъ, гдѣ есть что́ беречь. Извинительная отговорка, приписываемая спившемуся съ круга мужику,—также въ восточномъ вкусѣ. Онъ пропиваетъ, будто-бы, послѣднюю копѣйку потому, что ея не убережешь, или беречь не стоитъ.

Въ имѣніи моемъ я знаю одного мужика, Савву Кривоpукова; тотъ, вѣрно, пьянствуетъ не отъ нищеты; онъ однажды, поработавъ у себя и у меня въ полѣ, рѣшился, по собственнымъ его словамъ, попытать, какая такая есть свобода на свѣтѣ, и пересталъ работать, лежалъ на печи, ѣлъ, пока были

харчи, и ходилъ въ кабакъ. Этотъ опытъ надъ свободою продолжался чуть-ли не полгода, пока Савва все пропилъ и пошелъ на заработки.

Иногда я его встрѣчалъ, лежащаго на улицѣ, иногда въ рубищѣ, а теперь, недавно, встрѣтилъ—что-то везетъ на парѣ своихъ лошадей: вѣрно, покончилъ свой экспериментъ съ свободою. Замѣчательно, что болгары, жившіе такъ долго подъ игомъ турецкаго фатализма, менѣе фаталисты, чѣмъ наши крестьяне. Эти наши братики—по всему видно было намъ въ Болгаріи—чрезвычайно бережливы, трезвы и не прочь при всякомъ случаѣ надуть своихъ сѣверныхъ братьевъ.

Но существуетъ,—если вѣрить нашимъ соціалистамъ и славянофиламъ,—волшебное средство избѣжать пролетаріата и нищеты, основавъ благосостояніе на поземельномъ надѣлѣ и безъ затраты капитала. Это средство — наша старинная русская община. Дай Богъ! Съ этою общиною я не имѣлъ никакихъ дѣлъ, и знаю ее только по описанію. Мнѣ не вѣрится, однако-же, чтобы она устояла или прямо бы перешла въ организованную на западный манеръ ассоціацію, или коммуну, или во что-нибудь подобное. Мнѣ кажется потому, что ее не слѣдовало бы ни уничтожать, гдѣ она существуетъ, ни поддерживать искусственными мѣрами. А гдѣ нѣтъ общины, какъ, напримѣръ, у насъ на юго-западѣ, тамъ ея уже не введешь.

Я незамѣтно увлекся въ объясненіе, почему эманципація, предпринятая у насъ слишкомъ поздно и потому безъ подготовки, увеличила опасность волненій, представивъ для нашихъ анархистовъ и утопистовъ весьма заманчивую сторону. Первымъ ихъ лозунгомъ послѣ эманципаціи было: „земля и воля“,— и мнѣ сдается, что чѣмъ болѣе въ правительственныхъ сферахъ будутъ ковырять на всѣ лады земельный вопросъ, тѣмъ болѣе онъ будетъ дѣлаться растравленнымъ мѣстомъ, привлекательнымъ для хищныхъ насѣкомыхъ. Я полагалъ бы, что гораздо надежнѣе и существеннѣе для пользы народа и самого государства, вмѣсто разныхъ искусственныхъ и принудительныхъ мѣръ для снабженія всѣхъ и каждаго изъ крестьянъ земельными надѣлами, было бы уменьшеніе тягости прямыхъ налоговъ, выкупныхъ платежей, свобода обращенія и пріисканіе

средствъ къ снабженію земледѣльца оборотнымъ капиталомъ, регулированіе свободы переселенія, и т. п.

22-го марта 1881.

Событіе 1-го марта еще не даетъ мнѣ спокойно продолжать мою біографію. До себя ли, до прошедшаго ли, когда въ государствѣ, и, можетъ быть, вблизи себя, творится весьма недоброе и возмутительное?!

Я съ дѣтства любилъ мое отечество, вѣрно служилъ ему, всегда почиталъ верховную власть не въ видѣ лица, — лично я не имѣлъ счастія знать ни одного государя,—но какъ главу государства; всегда считалъ для Россіи жизненно-необходимою сильную верховную власть; всегда имѣлъ отвращеніе отъ заговора и всякаго тайнаго общества.

Поэтому я, положивъ руку на сердце, не могу ни въ чемъ, противъ правительства, упрекнуть себя, если только не назовутъ противоправительственнымъ независимый образъ мыслей, приводившій меня къ анализу и неодобренію разныхъ правительственныхъ мѣръ и распоряженій. Но я всегда былъ убѣжденъ, что ни правительству, ни верховной власти не опасны честные люди съ независимымъ и свободнымъ образомъ мыслей. Правительство можетъ смотрѣть на нихъ какъ на откровенную, добросовѣстную оппозицію, а такая оппозиція, я полагаю, при всякомъ образѣ правленія полезна и необходима.

Такъ и теперь, въ настоящее, смутное и тяжелое для всѣхъ, время, я не считаю подсказываемыхъ мнѣ моимъ свободомыслiемъ соображеній для кого бы то ни было вредными или опасными. Правительственная власть въ государствѣ, очевидно, находилась не въ нормальномъ состояніи. Она оказывалась безсильною противъ шайки злоумышленниковъ, какъ принято выражаться оффиціально.

Глава государства, послѣ нѣсколькихъ, самыхъ дерзкихъ, покушеній, убитъ посреди бѣлаго дня и, очевидно, злоумышленникомъ изъ окружавшей государя (вышедшаго изъ экипажа на улицу) уличной толпы.

Дерзость и энергія зла заговорщиковъ дошли до неслыханныхъ размѣровъ. Они изготовляютъ у себя въ лабораторіяхъ

харч
долж
шел
руб
сво
бо
и
ь

ніе земскихъ дѣятелей и общества къ земскому дѣлу и бюрократизмъ были слѣдствіями измѣнившагося духа и направленія земскихъ учрежденій.

Въ судебной реформѣ—то же самое.

Въ обще-военной повинности также потребовалось, не предусмотрѣнное закономъ, значительное стѣсненіе и сокращеніе льготъ; вообще же эта реформа не оказала на крестьянство и духъ народа ожидавшагося отъ нея благодѣтельнаго результата, хотя ею и сократился срокъ службы въ войскахъ.

Свобода, данная печати, до сихъ поръ остается еще не окончательно узаконенною.

Конечно, существовали весьма вѣскія и важныя причины, побудившія правительство измѣнить и духъ, и первоначальное направленіе этихъ великихъ реформъ прошедшаго царствованія; но въ такомъ случаѣ не въ правѣ ли общество предполагать—или то, что введеніе этихъ преобразованій было сдѣлано несвоевременно,—или что они не были основаны на точномъ и положительномъ, всестороннемъ знаніи дѣла,—или же, наконецъ, что взглядъ и образъ мыслей верховнаго реформатора измѣнились впослѣдствіи. Мнѣ кажется, я не ошибусь, если допущу всѣ три возможности и на первомъ планѣ поставлю послѣднюю изъ трехъ.

Можно, я думаю, съ вѣроятностью предположить, что врожденные покойному государю дары божіи—гуманный духъ, искреннее человѣколюбіе и сердечный либерализмъ—развились и получили благое направленіе подъ руководствомъ и наблюденіемъ его воспитателя-поэта; Василій Андреевичъ Жуковскій, извѣстный мнѣ и лично, но еще болѣе чрезъ его почтеннѣйшую сестру, Катерину Аѳанасьевну Протасову (урожд. Бунину), память о которой для меня всегда останется священною, — В. А. Жуковскій—говорю—не могъ не сообщить своему царственному воспитаннику высокихъ, чисто поэтическихъ свойствъ своей прекрасной души. Это была именно душа, способная вліять благотворно. Поэтому мнѣ представляется весьма естественнымъ, что государь приступилъ къ задуманнымъ имъ преобразованіямъ въ прекрасномъ и истинно гуманномъ настроеніи духа, и съ полною надеждою наслаждаться еще во время своего царствованія благими результатами.

Когда же надежды не осуществились, а возвратъ къ прежнему сдѣлался невозможенъ, то уклоненія съ проложеннаго пути казались единственнымъ средствомъ къ возстановленію нарушеннаго равновѣсія.

Не сердечное, а только добытое умственнымъ анализомъ добро идетъ твердо, между страхомъ и надеждою, на пути къ совершенству. Но если мы въ правѣ предположить, что государь-преобразователь и освободитель возлагалъ на исполненіе своихъ высокихъ намѣреній гораздо болѣе надеждъ, чѣмъ сколько ихъ исполнилось на дѣлѣ, то несомнѣнно, что множество умовъ изъ молодого поколѣнія еще болѣе ожидали самыхъ несбыточныхъ результатовъ отъ предпринятыхъ государемъ преобразованій.

А ложныя и обманутыя надежды гораздо болѣе, чѣмъ всякій гнетъ и насиліе, возбуждаютъ недовольство и раздражаютъ незрѣлый умъ и порочное сердце . . . . . .

. . . . . .

Долго, долго еще событіе 1-го марта будетъ занимать умы и по своимъ слѣдствіямъ, и по своимъ причинамъ, и врядъ-ли когда-нибудь удастся исторіи выяснить его вполнѣ.

Мнѣ причины и слѣдствія этого событія представляются такъ, какъ я изложилъ здѣсь откровенно передъ самимъ собою. Вѣрно, будутъ пущены въ ходъ различныя версіи . .

. . . . . .

Не забудемъ, что мы живемъ въ такое время, когда личности въ родѣ Брутовъ, Зандовъ и Равальяковъ уже успѣли популяризироваться и сомкнуться подъ покровительствомъ новаго ученія. А такой громадный успѣхъ зла, какого оно достигло событіемъ 1-го марта, долженъ сильно повліять на судьбы этой зловѣщей общины; она нравственно,—вѣрнѣе, злонравственно,—окрѣпнетъ и привлечетъ къ себѣ новыхъ сподвижниковъ. И если государства не примутъ заблаговременно радикальныхъ мѣръ къ ослабленію господствующаго антагонизма съ обществомъ, то вербовка въ ряды недовольныхъ анархистовъ и коммунаровъ будетъ расти все болѣе и болѣе, пока они не сформируютъ status in statu. На ихъ сторонѣ—тотъ же могущественный своимъ злонравіемъ принципъ, который сдѣлалъ непобѣдимыми и іезуитовъ,—съ тѣмъ только отличіемъ, что у

іезуитовъ благая цѣль оправдываетъ худыя средства, а у новыхъ адептовъ анархизма и нигилизма и цѣль, и средства сливаются вмѣстѣ и бьютъ въ одну точку — разрушеніе существующаго порядка.

Какъ же не соединиться противъ такого сильнаго врага государству и обществу, стараясь взаимно ослабить существующій антагонизмъ?.. Спѣшите! Dixi.

Пора, однако-же, перестать. Я высказалъ все накопившееся въ душѣ и вызванное наружу событіемъ 1-го марта. Не знаю, возвращусь ли я еще разъ въ моемъ дневникѣ къ этому предмету. А теперь пора возвратиться къ моей біографіи.

28-го марта, 1881.

Но прежде, чѣмъ возвращусь къ моей біографіи, замѣчу, что прошлаго года я въ эту пору сильно озабоченъ былъ о состояніи моихъ полей; я велъ тогда дневникъ о погодѣ и температурѣ. Нынѣшній годъ было не до того. Я покупалъ новое имѣніе и дѣлалъ завѣщаніе;—замѣтно старѣюсь. Прошлаго года выпавшій въ ноябрѣ снѣгъ на талую землю угрожалъ озими большимъ вредомъ; всѣ боялись, что густые, какъ войлокъ, всходы вымокнутъ; но въ декабрѣ начались сильные морозы, и хотя снѣга навалило цѣлые сугробы—земля замерзла подъ нимъ на аршинъ и болѣе. Когда снѣгъ, лежавшій до конца марта, сталъ, то озими оказались нетронутыми и, какъ осенью, густыми и зелеными. Урожай прошлаго, 1880, года былъ у меня, однако-же, не плохой и, еслибы не дожди во время цвѣта пшеницы, былъ бы еще лучше; отъ этихъ дождей пострадалъ умолотъ, но все-таки урожай пшеницы, вообще, у меня былъ самъ-восемь.

Сильные весенніе морозы, въ мартѣ до 20^0 слишкомъ R., погубили множество деревьевъ въ саду; пострадали особливо вишни, сливы, груши; у меня изъ 2,000 погибло до 200. 5-го мая выпалъ снѣгъ и лежалъ два дня: пострадалъ виноградъ; не было ни яблоковъ, ни грушъ.

Про нынѣшній годъ еще труднѣе предсказать. Снѣгъ не падалъ на талую землю. Но снѣга вообще было мало до весны, и онъ зимою два раза сходилъ совсѣмъ, тогда какъ прошлаго

года не сходилъ ни разу. Отличные осенніе всходы озими, густые, какъ и прошлогодніе, стояли по недѣлямъ открытые, безъ снѣжнаго покрова. Впрочемъ сильныхъ морозовъ не было. Въ цѣлую зиму разъ или два доходило до 20^0 слишкомъ, и то на нѣсколько часовъ. Зато теперь мартъ необыкновенно холоденъ и сыръ. Падалъ раза три снѣгъ и одинъ разъ лежалъ около двухъ недѣль, защитивъ всходы отъ мартовскихъ вѣтровъ.

Тепла болѣе $10—12^0$ еще не было. Всходы не зеленые, какъ прошлогодніе, а сѣрые, желтоватые, но отъ дождей и мокраго снѣга начинаютъ зеленѣть; боюсь, не повредили бы имъ морозы въ $2—5^0$ на мокрую землю, не пострадали бы корни всходовъ.

Перехожу опять къ дѣламъ давно прошедшихъ дней. Не прошло и мѣсяца послѣ внезапной смерти отца, какъ мы всѣ, мать, двое сестеръ и я, должны были предоставить нашъ домъ и все, что въ немъ находилось, казнѣ и частнымъ кредиторамъ. Приходилось съ кое-какими крохами идти на улицу и думать о слѣдующемъ днѣ. Въ это время явилась неожиданная помощь. Троюродный (если не ошибаюсь) братъ отца, Андрей Филимоновичъ Назарьевъ, самъ обремененный семействомъ,—у него было на рукахъ три дочери (одна уже взрослая, двѣ подростки),—служившій засѣдателемъ въ какомъ-то московскомъ судѣ (помѣщавшемся близъ Иверскихъ воротъ), предложилъ намъ переѣхать къ нему. Онъ съ семействомъ жилъ у Прѣсненскихъ прудовъ, въ приходѣ Покрова въ Кудринѣ, въ собственномъ маленькомъ домикѣ; внизу, въ четырехъ комнатахъ, помѣщалось семейство Назарьевыхъ, а мезонинъ съ тремя комнатами и чердачкомъ предоставленъ былъ намъ. Окна одной изъ комнатъ выходили на Дѣвичье Поле, виднѣлись Воробьевы горы, и я, смотря на этотъ ландшафтъ, вспоминалъ подобный же видъ изъ верхняго этажа нашего прежняго дома на Андроньевъ монастырь. Но вспоминать было нелегко,—впрочемъ не мнѣ собственно, а старшимъ. Что я тогда? Развѣ 14-тилѣтнему подростку знакома бываетъ продолжительная грусть и недовольство судьбою?

Жизнь моя пошла по прежнему, какъ заведенные часы. Два раза въ день я путешествовалъ въ университетъ по Ни-

китской, что́ брало болѣе 2 часовъ времени въ день; объ извозчикахъ, и даже розвальняхъ, теперь и подумать нельзя было.

Лѣтомъ, въ сухую погоду, куда ни шло,—я бѣгалъ по Никитской исправно; но въ грязь, осенью, ночью, ой, ой, ой, какъ плохо приходилось мнѣ, бѣдному мальчику. Мой дядюшка, —такъ я называлъ,—Андрей Филимоновичъ, былъ добрѣйшее и тишайшее существо тогдашняго чиновничьяго міра; небольшого роста отъ природы, да еще согнувшійся отъ постояннаго писанья, онъ былъ истинный типъ небольшого чиновника-муравья. Дома я его никогда иначе не видывалъ, какъ за бумагами, цѣлую кипу которыхъ онъ приносилъ съ собою изъ суда, а въ судѣ, разумѣется, другого дѣла также не было; весь вѣкъ свой добрѣйшій Андрей Филимоновичъ писалъ, писалъ и писалъ, за что и награжденъ былъ владимірскимъ крестомъ; про него не помню, но другой такой же типическій чиновникъ удивлялъ меня всегда не на шутку вѣшаніемъ своего владимірскаго креста, за 30-лѣтнюю службу, передъ образомъ, по возвращеніи домой изъ присутственнаго мѣста. Андрей Филимоновичъ говорилъ мало и тихо; всѣ его наслажденія ограничивались слушаніемъ птичьяго пѣнія во время письменной работы, покуриваніемъ табаку изъ длиннаго чубука съ перышкомъ вмѣсто мундштука и чаепитіемъ. Эта добрѣйшая и тишайшая душа поила иногда и меня чаемъ въ ближайшемъ трактирѣ, когда я заходилъ въ судъ у Иверскихъ воротъ, отвозилъ меня иногда на извозчикѣ изъ университета домой, и однажды,—этого я никогда не забывалъ,—замѣтивъ у меня отставшую подошву, купилъ мнѣ сапоги.

Въ семействѣ дядюшки Назарьева съ жениной стороны, именно у сестры его жены, водились нечистые духи. Я почти всякій день слыхалъ разсказы о разныхъ продѣлкахъ домовыхъ, обитавшихъ, по общему убѣжденію, въ квартирѣ Надежды Осиповны (такъ звали невѣстку дяди); я было забылъ всѣ слышанныя тогда розсказни, какъ небылицы, но, прочитавъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ статью профессора Вагнера о чудесахъ одного американскаго спирита, чрезъ 50 лѣтъ вспомнилъ снова о пресловутыхъ похожденіяхъ Надежды Осиповны. Живо вспоминаю теперь, какъ и она сама, и ея домашніе повѣствовали о томъ, что́ у нихъ происходило дома по ночамъ

и по вечерамъ: стукъ, шумъ, трескотня разнаго рода, шорохъ и ползанье по стѣнамъ и за обоями, переставливаніе съ мѣста на мѣсто мебели по ночамъ, катаніе какихъ-то клубковъ и темныхъ массъ по полу.

Перемѣна квартиры не помогала, и въ этомъ-то я и нахожу сходство Надежды Осиповны съ американскимъ спиритомъ. И онъ, и она, какъ медіумы, вызывали однимъ личнымъ присутствіемъ духовъ изъ невидимаго міра. И я помню также, что родственники Надежды Осиповны считали ее не то тронувшеюся, не то какою-то чудно́ю, и посмѣивались надъ нею, и какъ будто побаивались ея. Она была уже очень пожилая женщина, лѣтъ за 50, сухощавая, и пересказывала все испытываемое ею и ея домашними по ночамъ весьма наивно, какъ будто все это такъ и должно было быть. Жаль, что я тогда ничего не смыслилъ о медіумахъ: я бы подробнѣе вникнулъ въ странную личность Надежды Осиповны; а то я слушалъ ея розсказни какъ интересныя сказки, смѣялся отъ души, когда она описывала продѣлки своихъ домовыхъ,—и только. То вѣрно, что это не была обманщица: не изъ чего и некого было обманывать. Вѣроятно также, что она подвергалась галлюцинаціямъ; но вопросъ, для меня нерѣшенный и въ отношеніи къ Надеждѣ Осиповнѣ, и въ отношеніи къ современнымъ медіумамъ, тотъ—не свойственно ли нѣкоторымъ личностямъ сообщать свои чисто субъективныя галлюцинаціи и другимъ воспріимчивымъ особамъ?

Мы жили въ домѣ дяди, не платя ничего за квартиру, болѣе года. Послѣ, въ 1837 году, сдѣлавшись профессоромъ въ Дерптѣ, я считалъ себя обязаннымъ отблагодарить добраго Андрея Филимоновича, и, признаюсь, не столько за даровой пріютъ, сколько за сапоги. У дяди, къ тому времени, подросъ маленькій сынишка, лѣтъ 10-ти, и я предложилъ отпустить его со мною въ Дерптъ, для ученья на мой счетъ. Мальчикъ учился у какого-то попа и кое-какъ мараковалъ грамоту. Признаюсь, я потомъ не радъ былъ жизни, что взялъ на себя такую обузу, не сообразивъ, насколько я въ состояніи былъ справиться съ нею. Я увидѣлъ потомъ, но поздно, что я тогда ничего не понималъ въ дѣлѣ воспитанія, считая его дюжиннымъ дѣломъ. Я сдѣлалъ изъ неудавшагося мнѣ воспитанія мальчика На-

зарьева одно заключеніе, которое, я думаю, относится и не ко мнѣ только, а и ко многимъ другимъ, а именно: молодому неженатому человѣку не нужно браться за воспитаніе ребенка; это опасное предпріятіе для нравственности воспитанника.

Я хотѣлъ приготовить маленькаго Николая къ гимназіи въ Дерптѣ, и, по совѣту какого-то педагога, помѣстилъ его полупансіонеромъ въ приготовительное училище Лаланда.

Меня не бывало по цѣлымъ днямъ дома, и мальчикъ, приходившій изъ школы, оставался на рукахъ жившей у меня въ услуженіи очень почтенной и богомольной женщины (латышки и шіэтистки). Вскорѣ узналъ я отъ нея, что мой Николай воруетъ. Вѣроятно, онъ привезъ эту привычку уже съ собою изъ Москвы. Родные, отпуская его со мною, дали нѣсколько денегъ мнѣ на сохраненіе, и какъ мальчикъ ни въ чемъ не нуждался, то я и заперъ его деньги, въ его присутствіи, вмѣстѣ съ моими, въ ящикъ комода. Служанка моя, почтенная Лена, чрезъ нѣсколько же дней послѣ нашего пріѣзда, увѣдомила меня, что Николай что-то долго оставался возлѣ комода, и она нашла потомъ ключъ отъ ящика, гдѣ были деньги, на комодѣ; но могло быть, что я и самъ забылъ ключъ на комодѣ. Стали наблюдать. Лена ухитрилась всунуть маленькую бумажку въ замочную дыру ящика, положила ключъ на прежнее мѣсто, сочли хорошенько мелкія деньги. На другой же день нашли бумажку вынутою и—дефицитъ. Потомъ накрыли воришку, и en flagrant délit.

Лена совѣтовала непремѣнно его высѣчь на мѣстѣ преступленія, увѣривъ меня, что это очень помогаетъ. Я, въ первый разъ въ жизни, произвелъ эту операцію, и весьма неловко; Лена была слишкомъ слаба, чтобы хорошенько подержать мальчишку, оравшаго во все горло и брыкавшаго и руками, и ногами; я горячился, и розга не попадала по назначенію. Воровство, впрочемъ, прекратилось. Но ученье шло, видимо, плохо, и мѣсто воровства заступила другая привычка, уже не знаю, привезенная ли также изъ Москвы, или дерптскаго происхожденія.

Однажды Лена увѣдомила меня, что нашъ Николай что-то пасмуренъ и часто уходитъ въ нужное мѣсто; посмотрѣвъ пристальнѣе мальчику въ лицо, я замѣтилъ также что-то нехоро-

шее во взглядѣ: какую-то тусклость и смущеніе. „Что съ тобою?“ спрашиваю. Вмѣсто отвѣта—слезы. „Боленъ?“ Отвѣта нѣтъ: слезы. „Онъ что-то рукою за нижнее мѣсто хватаетъ“, говоритъ мнѣ при немъ Лена. „Спусти штаны; покажи“. Открывается paraphymosis и сильная опухоль члена. Я кладу мальчика на постель и сейчасъ же вправливаю. Услышавъ, что этого рода занятіямъ онъ предавался и въ школѣ Лаланда, я взялъ его оттуда и отдалъ въ пансіонъ въ городѣ Верро, пользовавшійся большою извѣстностью въ то время.

Когда, черезъ годъ, я переѣхалъ въ Петербургъ, женился и поселился вмѣстѣ съ женою, матерью и сестрами, то Николая я снова привезъ къ себѣ въ домъ и помѣстилъ полупансіонеромъ въ гимназію, въ надеждѣ, что пребываніе его въ хорошемъ учебномъ заведеніи перемѣнило его къ лучшему, а жизнь въ семействѣ окончательно исправитъ. Бился съ нимъ я тутъ уже не одинъ: и жена, и мать, и сестры принимали участіе. Но ученье не шло на ладъ, а въ головѣ были постоянныя шалости, какое-то тупое упрямство, а потомъ явилось и желаніе идти въ солдаты. „Голъ, да соколъ буду“, возражалъ Николай на всѣ представленія. Такъ, побившись съ нимъ еще годъ, мы, наконецъ, принуждены были отправить его опять въ Москву. Что изъ него вышло—не знаю; кто-то, кажется, говорилъ мнѣ, что мой воспитанникъ получилъ мѣсто въ московской полиціи. Могъ ли я ожидать, что сдѣлаюсь воспитателемъ квартальныхъ!

И другой птенецъ изъ семейства моего добраго Андрея Филимоновича, сынъ его старшей дочери, вышедшей замужъ за какого-то офицера, по фамиліи Солонина, и потомъ овдовѣвшей, попалъ ко мнѣ на руки, когда я былъ уже попечителемъ въ Кіевѣ.

Считая себя все еще въ долгу у этой семьи за доброту ея отца, я рѣшился еще разъ попробовать счастья въ воспитаніи чужихъ дѣтей, и принялъ маленькаго Солонину къ себѣ, къ своимъ дѣтямъ, которыя были старше его и могли подготовить нѣсколько дикаго и безграмотнаго ребенка.

Но и на этотъ разъ не было удачи. Солонина, и по наружности очень похожій на Николая Назарьева, не поддавался нашей культурѣ. Я самъ, конечно, не имѣлъ досуга за-

ниматься воспитаніемъ Солонины, но жена, сестры и на этотъ разъ еще мои мальчики ничего не могли вдолбить; ученье на дому не шло, а въ школу я боялся его отдать, чтобы не испортить еще болѣе. Такъ и возвратилъ я и этого питомца обратно на руки его матери, не достигнувъ никакого результата отъ моей культуры.

Я включилъ эти два образчика неудачи въ мою біографію потому, что они доказываютъ, во-первыхъ, какъ трудно быть истинно благодарнымъ, т. е. принести пользу своею благодарностію тому, кто оказалъ намъ нѣкогда истинное благодѣяніе; во-вторыхъ, они подтверждаютъ печальную истину, что добрый примѣръ и добрая воля воспитателей не ведутъ еще къ достиженію благихъ результатовъ въ дѣлѣ воспитанія. На дѣлѣ выходитъ совершенно противное тому, чего мы хотѣли достигнуть, подавая примѣръ дѣтямъ собственною жизнью и собственными дѣлами; объ этомъ я буду имѣть случай еще многое сказать впослѣдствіи, а о трудности быть благодарнымъ скажу теперь еще слѣдующее

Неуваженіе къ заслугамъ, а еще болѣе неблагодарность, представлялись всегда моему воображенію въ видѣ самыхъ отвратительныхъ гадинъ. Въ душѣ я никогда не былъ неблагодарнымъ но, увы! на дѣлѣ я не съумѣлъ или даже не захотѣлъ (кто доберется до правды, роясь въ хламѣ стараго сердца!) быть благодарнымъ именно тамъ, гдѣ благодарность была священнымъ долгомъ.

Правда, во всей моей жизни я нахожу не болѣе трехъ случаевъ такого долга. Объ одномъ изъ нихъ я сейчасъ разсказалъ. Въ другомъ я имѣлъ твердое намѣреніе отблагодарить,—и не однажды,—но судьба не дала мнѣ этого сдѣлать. Этотъ случай касается цѣлаго періода моей дерптской жизни; здѣсь скажу только, что я считалъ себя обязаннымъ благодарностью почтенному семейству дерптскаго профессора Мойера, и именно его почтеннѣйшей тещѣ, Екатеринѣ Аѳанасьевнѣ Протасовой, урожденной Буниной (сестрѣ по отц Андр. Жуковскаго). Я былъ принятъ въ этомъ семейств родной и, занявъ потомъ профессуру Мойера, мечталъ нитьбѣ на его дочери, сыновней благодарности, и пр. и п

чтамъ юности не суждено было осуществиться, и я, по-неволѣ, остался въ долгу у незабвенной Екатерины Аѳанасьевны.

Наконецъ, третій и самый священный долгъ, оставшійся не такъ выполненнымъ, какъ бы мнѣ теперь (но, увы, поздно!) хотѣлось это сдѣлать, былъ долгъ благодарности къ моей матери и двумъ старшимъ сестрамъ. Со смерти отца, съ 1824 по 1827 годъ, эти три женщины содержали меня своими трудами. Кое-какія крохи, оставшіяся послѣ разгрома отцовскаго состоянія, недолго тянулись; и мать, и сестры принялись за мелкія работы; одна изъ сестеръ поступила надзирательницею въ какое-то благотворительное дѣтское заведеніе въ Москвѣ и своимъ крохотнымъ жалованьемъ поддерживала существованіе семьи.

Переѣхавъ черезъ годъ изъ дома дяди Андрея Филимоновича на наемную квартиру, мать рѣшила отдавать одну половину квартиры въ наймы нахлѣбникамъ; одинъ, и очень порядочный, человѣкъ скоро нашелся; это былъ студентъ математическаго факультета Жемчужниковъ (бывшій потомъ вице-губернаторомъ въ Каменецъ-Подольскѣ, гдѣ я его и встрѣтилъ черезъ 37 лѣтъ, въ 1862 г.). Жемчужниковъ былъ человѣкъ достаточный, и потому могъ платить за квартиру въ двѣ комнаты, столъ, чай и пр. 300 руб. ассигнаціями, т. е. 75 руб. сер. въ годъ; а мать за всю квартиру (и, если не ошибаюсь, съ отопленіемъ) платила 300 руб. ассигн. ежегодно; таковы были цѣны въ то время!

Уроковъ я не могъ давать,—одна ходьба въ университетъ съ Пресненскихъ прудовъ брала взадъ и впередъ часа четыре времени, да мать и не хотѣла, чтобы я на себя работалъ, и еще менѣе того, чтобы я сдѣлался стипендіатомъ или казеннокоштнымъ; куда это—и руками, и ногами противъ казенныхъ обязательствъ! Это считалось, какъ будто, чѣмъ-то унизительнымъ: „ты будешь,—говорилось,—чужой хлѣбъ заѣдать; пока хоть какая-нибудь есть возможность, живи на нашемъ“. Такъ и перебивались, какъ рыба объ ледъ. Къ счастью нашему, въ то блаженное время не платили за лекціи, не носили мундировъ, и даже когда введены были мундиры, то мнѣ сшили сестры изъ стараго фрака какую-то мундирную куртку съ краснымъ воротникомъ, и я, чтобы не обнаружить несоблюденія формы,

идѣлъ на лекціяхъ въ шинели, выставляя на видъ только свѣтлыя пуговицы и красный воротникъ.

12-го сентября 1881.

Какъ я или—лучше—мы пронищенствовали въ Москвѣ во время моего студенчества, это для меня осталось загадкою. Квартира и отопленіе были, правда, даровыя у дяди въ теченіе года; а содержаніе? а платье? Двѣ сестры, мать и двѣ служанки, и я на прибавку. Сестры работали; продавались кое-какіе остатки, но какъ этого доставало—не понимаю. Иногда, только иногда, въ торжественные праздники, присылались чрезъ меня или другимъ путемъ вспомоществованія; помогалъ иногда мой крестный отецъ, Сем. Андр. Лупутинъ; помогали кое-какіе старые знакомые.

Однажды матушка, узнавъ, что генералъ Сипягинъ женится на второй женѣ послѣ вдовства, уговорила меня пойти къ нему съ поздравленіемъ и поднести хлѣбъ-соль на новоселье. Сипягинъ былъ одно время патрономъ отца, завѣдывавшаго нѣкоторое время его дѣлами по имѣніямъ; я было заказалъ большой сдобный крендель и явился по утру къ генералу, поздравилъ его, передалъ хлѣбъ-соль; а онъ, поблагодаривъ довольно любезно, приказалъ своему казначею выдать мнѣ 25 рублей, но не сказалъ: ассигнаціями, а просто: 25 рублей. И каково же было мое изумленіе, когда этотъ казначей потребовалъ съ меня 2 рубля (четвертакъ) сдачи съ бѣлой бумажки, ходившей въ то время съ лажемъ и стоившей потому не 25, а 27 рублей!..

Черезъ годъ наше положеніе нѣсколько поправилось тѣмъ, что мы наняли квартиру побольше и стали сами держать хлѣбниковъ изъ студентовъ.

Порядочное помѣщеніе и сытный столъ доказываютъ, въ то благодатное для бѣдняковъ время можно было учит несмотря на бѣдность. Зато и ученье было таковское-мѣдныя деньги.

Между тѣмъ московскій университетъ того времени м похвалиться именами такихъ ученыхъ, какъ Юсть-Христ Лодеръ (анатомъ), Фишеръ (зоологъ), Гофманъ (ботани

такихъ практиковъ-врачей, какъ М. Я. Мудровъ, Е. О. Мухинъ, Фед. Андр. Гильдебрандтъ (хирургъ); такихъ знатоковъ русскаго слова и русской старины, какъ Мерзляковъ и Каченовскій.

Къ сожалѣнію, не всѣ изъ этихъ извѣстныхъ профессоровъ пеклись о полномъ изложеніи своего предмета, а главное (за исключеніемъ Лодера), не владѣли достаточными научными средствами для преподаванія своей науки; а сверхъ того, несравненно бо́льшая часть профессоровъ московскаго университета составляли живой и уморительный контрастъ съ своими знаменитыми коллегами.

Теперь нельзя себѣ составить и приблизительно понятія о томъ господствѣ комическаго элемента, который я засталъ еще въ университетѣ.

Мы, мальчиками 14—17 лѣтъ, ходили на лекціи своего и другого факультетовъ нерѣдко для потѣхи. И теперь безъ смѣха нельзя себѣ представить Вас. Мих. Котельницкаго, идущаго въ нанковыхъ бланжевыхъ штанахъ въ сапоги (а сапоги съ кисточками), съ кулькомъ въ одной рукѣ и съ фармакологіею Шпренгеля, переводъ Іовскаго, подъ мышкою. Это онъ, Вас. Мих. Котельницкій (проживавшій въ университетѣ), идетъ утромъ съ провизіею изъ Охотнаго ряда на лекцію. Онъ отдаетъ кулекъ сторожу, а самъ ранехонько утромъ отправляется на лекцію, садится, вынимаетъ изъ кармановъ очки и табакерку, нюхаетъ звучно, съ храпомъ, табакъ и, надѣвъ очки, раскрываетъ книгу, ставитъ свѣчку прямо передъ собою и начинаетъ читать слово въ слово и при томъ съ ошибками. Василій Михайловичъ съ помощью очковъ, читаетъ въ фармакологіи Шпренгеля, переводъ Іовскаго: „Клещевинное масло, oleum ricini,– китайцы придаютъ ему горькій вкусъ“. Засимъ кладетъ книгу, нюхаетъ съ вхрапываніемъ табакъ и объясняетъ намъ, смиреннымъ его слушателямъ: „вотъ, видишь ли, китайцы придаютъ клещевинному-то маслу горькій вкусъ“. Мы между тѣмъ, смиренные слушатели, читаемъ въ той же книгѣ: вмѣсто китайцевъ: „кожицы придаютъ ему горькій вкусъ“. У Василія Михайловича на лекціи—что ни день, то репетиція. „Ну-те-ка, ты тамъ, Пешэ, обращается онъ къ одному студенту (сыну нѣмецкаго шляпнаго мастера), ты приходи;—по-

стой-ка, я тебя вотъ изъ Тенара жигану. А! что? небось, замялся; а еще нѣмецъ! Ну-те-ка, ты, Пироговъ, скажи-ка мнѣ, какъ французская водка по-латыни?“

— Spiritus gallicus.

— „Молодецъ!“

Другой экземпляръ, curiosum своего рода, Алекс. Леонтьев. Ловецкій, адъюнктъ знаменитаго Фишера, проф. естественной исторіи на медицинскомъ факультетѣ, дѣлаетъ съ нами ботаническія экскурсіи на Воробьевыхъ горахъ, то-есть гуляетъ, срываетъ нѣсколько цвѣтковъ, называетъ ихъ по имени, а когда мы приносимъ ему нашу находку и просимъ опредѣлить растеніе, мы уже знаемъ по опыту, что отвѣтъ одинъ: „отдайте ихъ моему кучеру, я потомъ дома у себя опредѣлю“. Этотъ же ученый вдругъ возжелалъ демонстрировать на лекціи половые органы пѣтуха и курицы (прежде за нимъ этого не водилось,—онъ демонстрировалъ иногда только картинки). Помощникъ его приготовляетъ ему препаратъ для демонстраціи. Препаратъ лежитъ на тарелкѣ, обвернутой вокругъ салфеткою. Алексѣй Леонтьевичъ беретъ тарелку и, не отнимая салфетки, объясняетъ своей аудиторіи устройство половыхъ органовъ пѣтуха; но на самой срединѣ демонстраціи помощникъ, сконфуженный и изумленный, приближается къ нему и говоритъ въ полголоса:

— „Алексѣй Леонтьевичъ! вѣдь это курица“.

— Какъ курица? развѣ я не велѣлъ вамъ приготовить пѣтуха?

Со стороны помощника—возраженія; аудиторія чрезвычайно довольна сюрпризомъ.

— Пойдемте, господа, смотрѣть, какъ сегодня такой-то или такой-то профессоръ будетъ выгонять чужаковъ изъ аудиторіи.

Такого рода чужеѣдовъ было нѣсколько и въ нашемъ факультетѣ, и въ другихъ. Отправляемся.

Большая аудиторія амфитеатромъ. Входимъ. Какое лице! Профессоръ сидитъ на каѳедрѣ, а по скамьямъ ау ріи бѣгаютъ слушатели, гоняясь гурьбою одинъ за др съ восклицаніями: „чужакъ, чужакъ, гони его! а-ту!“

А въ другомъ случаѣ слушатели, зная антипатію пр

сора къ чужимъ посѣтителямъ его аудиторіи, сначала сидятъ тихо и даютъ набраться нѣсколькимъ чужакамъ, а въ самомъ разгарѣ профессорскаго чтенія подсылаютъ къ профессору одного изъ его приближенныхъ сказать:

— Василій Петровичъ! (или: Григорій Васильевичъ!) есть много чужаковъ!

Лекція прекращается. Начинается розыскъ. Нетерпимость и ненависть къ чужакамъ были какимъ-то повѣтріемъ. Комизмъ, соединенный съ преслѣдованіемъ чужаковъ на лекціяхъ, доходилъ по истинѣ до чудовищныхъ размѣровъ. Студенты эксплуатировали эту странную антипатію профессоровъ: къ одному совершенно глухому профессору (кажется, если не ошибаюсь, Гаврилову) набралась однажды полная аудиторія студентовъ; предвидѣлась потѣха, спектакль; на лекцію былъ приведенъ гарнизонный офицеръ изъ бурбоновъ (въ мундирѣ сѣраго цвѣта съ желтымъ воротникомъ) и былъ посаженъ на самую заднюю скамью. Какъ только началась лекція, репетиторъ (студентъ, державшій списокъ слушателей для перекличекъ) подходитъ къ глухому профессору и кричитъ ему на ухо: „на лекціи есть чужакъ“. Начинается конверсація.

— Гдѣ? — спрашиваетъ профессоръ.

Въ это время задніе ряды студентовъ раздвигаются, и взору изумленнаго профессора представляется военный чинъ, сидящій смиренно и прямо на скамьѣ.

— „Вставайте, вставайте скорѣе!“ —шепчутъ ему сосѣди-студенты.

Гарнизонный офицеръ вытягивается въ струнку, руки по швамъ.

— „Зачѣмъ вы здѣсь?“ — спрашиваетъ лекторъ.

— Говорите,—подсказываютъ студенты офицеру,—что лекціи въ университетѣ публичныя, и всякій имѣетъ право ихъ посѣщать.

Офицеръ бормочетъ сквозь зубы подсказанное.

Профессоръ ничего не слышитъ; репетиторъ во всеуслышаніе громко передаетъ ему слова офицера.

— „Онъ говоритъ, Вас. Гаврил., что лекціи публичныя“.

— Такъ что-же, что публичныя, а въ аудиторіяхъ для порядка не должны быть терпимы чужаки.

Конверсація въ такомъ духѣ продолжается нѣкоторое время. Наконецъ, студенты, сидящіе около офицера, шепчутъ ему: „уходите, уходите, дѣлать нечего“.

Ряды сидящихъ раздвигаются, и гарнизонный офицеръ маршируетъ чрезъ всю аудиторію мимо каѳедры къ выходу, а аудиторія, пользуясь абсолютною глухотою наставника, сопровождаетъ ретираду офицера громогласнымъ пѣніемъ: „изыдите, изыдите, нечестивіи!“ или чѣмъ-то въ этомъ родѣ. Профессоръ продолжаетъ читать.

У другого профессора слушатели приводятъ нѣсколькихъ товарищей, лежавшихъ въ клиникѣ и уже выздоравливающихъ, въ больничномъ костюмѣ; сажаютъ ихъ также въ заднихъ рядахъ и во время лекціи объявляютъ, что какіе-то больные забрались на лекціи изъ госпиталя. Опять спектакль. Больные изгоняются съ шумомъ и скандаломъ.

Элементъ смѣшного, впрочемъ, свойственъ былъ въ то время всѣмъ коллегіямъ не въ одной Москвѣ: и въ европейскихъ университетахъ встрѣчались курьёзные оригиналы между учеными; но у насъ оригинальность была не только смѣшна, но и глупа, потому что была отставшею отъ времени и науки. Дѣйствительно, отсталость того времени была невообразимая; читали лекціи по руководствамъ 1750-хъ годовъ, и это тогда, какъ у самихъ студентовъ, по крайней мѣрѣ у многихъ, ходили уже по рукамъ учебныя книги текущаго столѣтія. Правда, были и новаторы, и даже между пожилыми профессорами; но тутъ, опять на бѣду, примѣшивалась къ новаторству какая-то не по лѣтамъ горячность и пристрастность. Такъ, М. Я. Мудровъ вдругъ пересѣдлался—и изъ броуниста сдѣлался отчаяннымъ бруссэистомъ.

Мало или почти вовсе незнакомый, по его собственному признанію, съ патологическою анатоміею, онъ хотѣлъ увѣрить свою аудиторію и, дѣйствительно, увѣрилъ, не хуже самого Бруссэ, въ существованіи воспаленія слизистой кишечнаго канала тамъ, гдѣ его вовсе не было.

Но Мудровъ едва-ли былъ не единственнымъ исключеніемъ изъ профессоровъ. Потомъ уже, когда я кончилъ курсъ, обуяла нѣсколькихъ изъ молодыхъ философія Шеллинга; но она уже не была новостью въ Европѣ, тогда какъ бруссэизмъ былъ,

дѣйствительно, еще животрепещущею новизною, и притомъ философію Шеллинга привозили къ намъ изъ Германіи посланные туда отъ университета молодые ученые; а Мудровъ, сидя дома, и притомъ въ 50-лѣтнемъ возрастѣ, напалъ на бруссэизмъ.

Наглядность ученія и демонстрацію можно было найти только на лекціяхъ Лодера; но и при изученіи анатоміи отъ студентовъ вовсе не требовали обязательнаго упражненія на трупахъ. Я, во все время моего пребыванія въ университетѣ, ни разу не упражнялся на трупахъ въ препаровочной, не вскрылъ ни одного трупа, не отпрепарировалъ ни одного мускула и довольствовался только тѣмъ, что̀ видѣлъ приготовленнымъ и выставленнымъ послѣ лекцій Лодера. И странно: до вступленія моего въ дерптскій университетъ я и не чувствовалъ никакой потребности узнать что-нибудь изъ собственнаго опыта, наглядно.

Я довольствовался вполнѣ тѣмъ, что̀ изучилъ изъ книгъ, тетрадокъ, лекцій.

Я сказалъ сейчасъ, что это странно. Нѣтъ, вовсе не странно, когда бо́льшая часть моихъ наставниковъ была того же убѣжденія. Вотъ, на каѳедрѣ стоитъ Петръ Иллар. Страховъ, проф. химіи, медиц. факультета, — человѣкъ, очевидно, начитанный и изъ книгъ много знающій. Онъ читаетъ намъ, какъ дѣлаютъ термометры, чертитъ мѣломъ на доскѣ, распространяется; а у него въ аудиторіи сидитъ много такихъ, которые еще и въ жизни не имѣли термометра въ рукахъ, а видали его только издали. Идетъ ли дѣло объ оксигенѣ, Петръ Иллар. опять распространяется цѣлыхъ двѣ лекціи, опять чертитъ мѣломъ, приноситъ на лекцію французскія книги съ рисунками, но самого оксигена мы не видимъ.

И такъ-то цѣлый курсъ: ни одного химическаго препарата въ натурѣ; вся демонстрація состоитъ въ черченіи на доскѣ. Только на послѣднемъ году курса, съ вступленіемъ въ университетъ профессора Геймана (молодого, живого и практичнаго еврея), я первый разъ въ жизни увидалъ въ натурѣ оксигенъ и гидрогенъ.

Но не на одномъ медицинскомъ факультетѣ химія читалась по книгамъ, безъ опытовъ; и на естественномъ факуль-

тетѣ проф. Рейсъ читалъ ее по своимъ тетрадямъ, да еще въ добавокъ читалъ-то намъ и не химію, а какое-то ученіе о міровомъ эѳирѣ на латинскомъ языкѣ; зато этотъ ученѣйшій, какъ полагали, профессоръ и былъ самаго высокаго мнѣнія о себѣ, такого, что, по его собственному выраженію: primus — Deus, secundus—Reus, tertius—adjunctus meus.

Физика на математическомъ факультетѣ преподавалась гораздо нагляднѣе. На лекціяхъ у Двигубскаго слышалось хлопанье, трескъ, когда его лаборантъ былъ въ хорошемъ расположеніи духа и въ трезвомъ состояніи; въ медицинскомъ же факультетѣ и физику д-ръ Веселовскій читалъ по тому же способу, какъ Страховъ химію; математическія формулы и черченіе разныхъ машинъ и приборовъ изслѣдовались ежедневно на черной доскѣ.

Физіологія,—ну, она въ первую половину текущаго столѣтія излагалась демонстративно только передовыми физіологами Франціи и Германіи. Физіологи 20-хъ годовъ нынѣшняго столѣтія во всей Европѣ, за нѣкоторыми исключеніями, кажется, совсѣмъ потеряли изъ виду великаго ихъ предшественника—Галлера, хотя и ни одинъ изъ нихъ не могъ не отдать ему преимущества предъ всѣми другими. Рудольфи въ Берлинѣ, въ 1828—1830 годахъ, говаривалъ слушателямъ: „если вы спросите у профессоровъ физіологіи, какая физіологія лучшая, каждый изъ нихъ непремѣнно отвѣтитъ: во-первыхъ, моя, а во-вторыхъ, Галлера; выходитъ математически вѣрно, что физіологія Галлера и есть до сихъ поръ все еще лучшая“. Нечего и говорить, что физіологія въ московскомъ университетѣ того времени преподавалась по книгѣ; а книга была физіологиста Ленгоссэка на латинскомъ языкѣ, перепечатанная въ Москвѣ съ прибавленіями и комментаріями Е. О. Мухина. Сей ученый мужъ, которому я, какъ уже высказалъ, лично такъ много обязанъ, собственно былъ врачъ-практикъ и, сколько мнѣ извѣстно, самоучка (разсказывали въ то время, что онъ участвовалъ фельдшеромъ въ арміи Суворова при осадѣ Очакова); въ физіолога же онъ превратился, вѣроятно, потому, что, бывъ сначала профессоромъ анатоміи въ московской медико-хирургической академіи, тутъ онъ издалъ свою извѣстную анатомію, конкуррировавшую въ Москвѣ съ петербургскою анатоміею За-

горскаго, но отличавшуюся отъ сей послѣдней тѣмъ: 1) что всѣ анатомическіе термины были переведены на невозможный русскій языкъ; 2) къ шести частямъ анатоміи Загорскаго прибавлена 7-я, вновь изобрѣтенная Ефремомъ Осиповичемъ, часть: ученіе о мокротныхъ сумочкахъ; 3) бедренная артерія названа была Ефремомъ Осиповичемъ артеріею баронета Виллье, arter. cruralis, s. femoralis, s. Willie, съ примѣчаніемъ внизу, что баронетъ Виллье, при посѣщеніи анатомическаго театра въ московской медико-хирургической академіи, называлъ эту артерію своею любимою, или какъ-то въ этомъ родѣ. А къ физіологіи Ленгоссэка Е. О. Мухинъ присоединилъ еще ученіе о стимулахъ. Лекціи же Ефр. Осип. Мухина для меня тѣмъ достопамятны, что я, посѣщая ихъ аккуратно въ теченіе 4-хъ лѣтъ, ни разу не усомнился въ глубокомысліи наставника, хотя и ни разу не могъ дать себѣ отчета, выходя съ лекціи, о чемъ собственно читалось; это я приписывалъ собственному невѣжеству и слабой подготовкѣ.

Только впослѣдствіи, пріѣхавъ въ Москву на время, послѣ окончанія курса въ Дерптѣ, и нарочно сходивъ на лекцію Мухина, я убѣдился въ моей невинности. Я слушалъ цѣлую лекцію съ большимъ вниманіемъ, не пропустивъ ни слова, и къ концу ея все-таки потерялъ нить, такъ что потомъ никакъ не могъ дать себѣ отчета, какимъ образомъ Ефремъ Осиповичъ, начавъ лекцію изложеніемъ свойствъ и проявленій жизненной силы, ухитрился перейти подъ-конецъ „къ малинѣ, которую мы съ такимъ аппетитомъ, въ лѣтнее время, кушаемъ со сливками“. Пропускаю другой приведенный имъ примѣръ „о букашкѣ, встрѣчаемой иногда нами въ кусочкѣ льда, которая, отогрѣвшись на солнцѣ, улетаетъ съ хрустальнаго льда, воспѣвая (т.-е. жужжитъ) хвалу Богу“,—пропускаю потому, что догадываюсь о связи жизненной силы съ оттаявшею букашкою въ этомъ примѣрѣ. Мухинъ, однако-же, добросовѣстно, по своему, конечно, исполнялъ обязанности профессора и прочитывалъ свою физіологію на лекціяхъ отъ доски до доски, и если что́ изъ своихъ лекцій откладывалъ, то потомъ не оставался въ долгу у слушателей; откладывалъ же онъ постоянно чтеніе о половыхъ женскихъ органахъ, приходившееся обыкновенно въ великій постъ: „намъ слѣдовало бы теперь говорить,—

повторялъ онъ ежегодно въ это время,—о дѣторожденіи и половыхъ женскихъ органахъ; но такъ какъ это предметъ скоромный, то мы и отлагаемъ его до болѣе удобнаго времени".

Не такъ совѣстлива и пунктуальна была въ изложеніи своего предмета другая московская знаменитость тогдашняго времени—Матвѣй Яковлевичъ Мудровъ, хотя мнѣ и сказывали, что прежде, придерживаясь Іосифа Фриша, онъ излагалъ въ теченіе года (по 3 часа въ недѣлю) полный synopsis терапіи; но при мнѣ, когда онъ пересѣдлался уже въ бруссэисты, Матвѣй Яковлевичъ читалъ, что называли, черезъ пень въ колоду, останавливаясь исключительно только на новомъ ученіи о горячкахъ. Онъ много мнѣ принесъ пользы тѣмъ, что безпрестанно толковалъ о необходимости учиться патологической анатоміи, о вскрытіи труповъ, объ общей анатоміи Бинэ, и тѣмъ поселилъ во мнѣ желаніе познакомиться съ этою terra incognita.

Но самъ онъ, какъ я и видѣлъ однажды при вскрытіи тифознаго, былъ бѣлоручкою, очевидно незнакомымъ съ этимъ дѣломъ. Когда одинъ студентъ началъ вскрывать кишку, чтобы найти тамъ inflammatio membranae mucosae gastro-intestinales, мой Матвѣй Яковлевичъ убѣжалъ на самую верхнюю ступень анатомическаго амфитеатра и смотрѣлъ оттуда, конечно, притворяясь, будто что-нибудь видитъ, и въ извиненіе своего бѣгства отъ патологической анатоміи приводилъ только: „я-де старъ, мнѣ не по силамъ нюхать вонь", и т. п.

Кромѣ того, что онъ не излагалъ намъ, да и не могъ изложить всей науки, хотя бы въ краткихъ очеркахъ, М. Я. терялъ много времени на разныя alutria, часто приходившія ему ни съ того, ни съ сего въ голову. Такъ, однажды, большая половина лекціи состояла въ томъ, что онъ какого-то провинившагося кутилу-студента, изъ семинаристовъ, заставилъ читать молитву на Троицынъ-день. Часто пристрастіе свое к сэизму онъ обнаруживалъ тѣмъ, что въ длинныхъ рап начиналъ насмѣхаться надъ броунонизмомъ. Сравните-к теперешнее простое и раціональное леченіе тифа съ пре Сначала r. valerianae, потомъ serpentariae и agnicf фора, moschus и, наконецъ, когда все это не помо. Иверская Божія Матерь.

Чтеніе о добродѣтеляхъ врача и истолкованіе притчи Ипократа брало отъ научныхъ лекцій также не мало времени. Не забудемъ, что клиника и лекціи были не ежедневно, а только три раза въ недѣлю. Иногда же встрѣчались выходки и другого рода, сокращавшія время преподаванія. Такъ, однажды, мы сидѣли въ аудиторіи, дожидаясь пріѣзда Мудрова; наконецъ, онъ является и велитъ всей аудиторіи идти куда-то за нимъ, надѣвъ шинели (дѣло было зимою). Мы повинуемся, и Матвѣй Яковлевичъ ведетъ насъ изъ клиники черезъ дворъ въ анатомическій театръ на лекцію къ Лодеру. Что за притча такая? Мы вваливаемся цѣлою массою въ аудиторію и видимъ, что Лодеръ сидитъ съ анненскою звѣздою на фракѣ. Мудровъ—мы видимъ—становится передъ новымъ кавалеромъ (Лодеръ, какъ мы узнали потомъ, только-что получилъ звѣзду), вынимаетъ изъ кармана листокъ и читаетъ гласомъ проповѣдника: „красуйся свѣтлостію звѣзды твоея, но подожди еще быть звѣздою на небесѣхъ“, и проч. и проч.

Лодеръ, нѣсколько сконфуженный, принимается, наконецъ, обнимать Мудрова и что-то, не помню, отвѣчаетъ ему на привѣтствіе по-латыни.

Мудровъ не былъ закоренѣлымъ противникомъ нѣмцевъ, какъ Е. О. Мухинъ; былъ большимъ почитателемъ Лодера и вмѣстѣ съ нимъ и нѣкоторыми другими профессорами придерживался, вѣроятно, только для вида, а можетъ быть, и по своему происхожденію изъ духовныхъ, господствовавшаго въ то время (при министерствѣ Голицына) мистицизма.

И въ клиникѣ у Мудрова, и въ анатомическомъ театрѣ у Лодера мы читали на стѣнахъ надписи и распятія. Въ клиникѣ при входѣ былъ вдѣланъ въ стѣну крестъ съ надписью: Per crucem ad lucem. Нѣсколько далѣе стояла на другой стѣнѣ надпись: Medice, cura te ipsum (врачу, исцѣлися самъ). На стѣнѣ въ окнахъ анатомическаго театра красовалось огромными буквами: Gnothi seauton (познай самого себя). Въ анатомической аудиторіи, расположенной полукружнымъ амфитеатромъ вверху, у самаго потолка, вдоль всей стѣны надпись огромными золотыми буквами гласила: „Руце Твоя создаста мя и сотвориста мя, вразуми мя, и научуся заповѣдемъ Твоимъ“.

Не надо забывать, что все это было во времена оны, когда хоронились на кладбищахъ съ отпѣваніемъ анатомическіе музеи (въ Казани, во времена Магницкаго) и когда былъ поднятъ въ министерствѣ народнаго просвѣщенія или въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ вопросъ: нельзя ли обходиться при чтеніи анатомическихъ лекцій безъ труповъ, и когда въ нѣкоторыхъ университетахъ (въ Казани) и дѣйствительно читали міологію на платкахъ.

Профессоръ анатоміи—разсказывали мнѣ его слушатели—привяжетъ одинъ конецъ платка къ acromion и спинкѣ лопатки, а другой—къ плечевой кости, и увѣряетъ свою аудиторію, что это musculus deltoideus.

Хирургія,—предметъ, которымъ я почти вовсе не занимался въ Москвѣ,—была для меня въ то время наукою неприглядною и вовсе непонятною. Объ упражненіяхъ въ операціяхъ надъ трупами не было и помину; изъ операцій надъ живыми мнѣ случилось видѣть только нѣсколько разъ литотомію у дѣтей и только однажды видѣлъ ампутированную голень. Передъ лекарскимъ экзаменомъ нужно было описать на словахъ или на бумагѣ какую-нибудь операцію на латинскомъ языкѣ, и только. Фед. Андр. Гильдебрандтъ, искусный и опытный практикъ, особливо литотомистъ, умный острякъ, какъ профессоръ, былъ изъ рукъ вонъ плохъ. Онъ такъ сильно гнусилъ, что, стоя въ двухъ, трехъ шагахъ отъ него на лекціи, я не могъ понимать ни слова, тѣмъ болѣе, что онъ читалъ и говорилъ всегда по-латыни. Вѣроятно, профессоръ Гильдебрандтъ страдалъ хроническимъ насморкомъ и курилъ постоянно сигарку. Это былъ единственный индивидуумъ въ Москвѣ, которому разрѣшено было курить на улицахъ. Лекціи его и его адъюнкта Альфонскаго состояли въ перефразированій изданнаго Гильдебрандтомъ краткаго, и краткаго до nec plus ultra, учебника хирургіи на латинскомъ языкѣ.

И такъ я окончилъ курсъ; не дѣлалъ ни одной операціи, не исключая кровопусканія и выдергиванія зубовъ, и не только на живомъ, но и на трупѣ не сдѣлалъ ни одной и даже не видалъ ни одной, сдѣланной на трупѣ, операціи.

Отношенія между нами, слушателями, и профессорами огра-

[illegible] философскими [illegible]
[illegible] принимали [illegible]
[illegible] завѣдывалъ до [illegible]
[illegible] университетскою, [illegible]
[illegible] поддерживая [illegible] со
[illegible] нашими учеными; но
[illegible] въ эту же колею.
[illegible] наставниковъ нашихъ. — по
[illegible] —были весьма патріар-
[illegible] такъ-то: Мудровъ, Ко-
[illegible] говорили студентамъ „ты“,
[illegible] допускались на лекціяхъ
[illegible] личностями и надъ
[illegible] однажды, на своей лекціи
[illegible] учителей и профессоровъ, об-
[illegible] боязнью, при входѣ
[illegible] слушателямъ: „а чего бы васъ-то
[illegible] аудиторія наградила его за эту
[illegible].

[illegible] изъ приведенныхъ мною
[illegible] —и съ чудаками чу-
[illegible] Кромѣ приведенныхъ,
[illegible] такого же рода.

[illegible] былъ такъ слабъ гла-
[illegible] ни одной буквы прочесть въ
[illegible] у него и состояла въ прочтеніи
[illegible].

[illegible] его очковъ—значило сдѣлать лекцію
[illegible] Слушатели, замѣтивъ, что онъ,
[illegible] прежде всего снимаетъ свои очки и кла-
[illegible] умудрились устроить такъ, что поло-
[illegible] были неминуемо провалиться въ пустоту
[illegible] дно. Положеніе профессора было кри-
[illegible] потерялъ голову и не зналъ, что́ ему
[illegible] слушатели [illegible] предъ нимъ совѣтни-
[illegible] долго не думая, прита-
[illegible] ее въ провалъ и на-

чалъ, къ ужасу профессора, ковырять ею во всѣ стороны такъ безжалостно, что очкамъ, очевидно, грозила опасность полнаго разрушенія. Вся аудиторія между тѣмъ собралась около каѳедры и злополучнаго наставника; совѣтамъ, толкамъ, сожалѣніямъ не было конца, и вотъ, наконецъ, общимъ совѣтомъ рѣшили, что нѣтъ другого, болѣе надежнаго, средства сдѣлать лекцію возможною, то-есть достать очки, какъ перевернуть каѳедру верхъ дномъ и вытрясти ихъ оттуда. Принялись за дѣло, увѣнчавшееся успѣхомъ: вытрясли полуразрушенныя кочергою очки; когда достигли этого результата и профессоръ разсматривалъ уныло нарушеніе цѣлости своего зрительнаго инструмента, въ аудиторію вошелъ другой профессоръ и остолбенѣлъ при видѣ необыкновеннаго зрѣлища. Такимъ образомъ, лекціи, то-есть прочтенію тетрадки, къ удовольствію многихъ слушателей, не суждено было состояться.

У другого профессора того же (если не ошибаюсь, словеснаго) факультета было заведено въ началѣ лекціи читать протоколъ прошедшей, и это чтеніе поручалось имъ одному репетитору. Всѣ знали, что́ репетиторъ этотъ непремѣнно скажетъ въ началѣ чтенія протокола, и многіе изъ другихъ факультетовъ являлись изъ любопытства на лекцію, чтобы услышать заранѣе извѣстный всѣмъ curiosum. Curiosum состоялъ въ томъ, что репетиторъ начиналъ чтеніе протокола всегда слѣдующими словами:

„На прошедшей лекціи 182... года, такого-то числа, Василій Григорьевичъ такой-то, надворный совѣтникъ и кавалеръ, излагалъ своимъ слушателямъ то-то и то-то“. Профессоръ же постоянно и непремѣнно всякій разъ прерывалъ чтеніе репетитора замѣчаніемъ, что онъ дѣйствительно надворный совѣтникъ, но вовсе не кавалеръ. На это замѣчаніе, въ свою очередь, репетиторъ всякій разъ отвѣчалъ: „Какъ же, Василій Григорьевичъ, вы удостоены медали за 1812-й годъ на владимірской лентѣ“.

Но, несмотря на комизмъ и отсталость, у меня отъ пребыванія моего въ московскомъ университетѣ, вмѣстѣ съ курьёзами разнаго рода, остались впечатлѣнія глубоко, на цѣлую жизнь, врѣзавшіяся въ душу и давшія ей извѣстное направленіе на всю жизнь. Такъ, лекціи Лодера, несмотря на мое

полное незнакомство съ практическою анатоміею, поселили во мнѣ желаніе заниматься анатоміею, и я зазубривалъ анатомію по тетрадкамъ, кое-какимъ учебникамъ и кое-какимъ рисункамъ. Даже обычныя выраженія Лодера: „Sapientissima natura, aut potius Creator sapientissimæ naturæ voluit“, не остались безъ вліянія на меня.

Я и теперь еще, чрезъ 50 слишкомъ лѣтъ, какъ будто слышу ихъ. Но и самыя надписи на стѣнахъ анатомическаго театра и клиники слились у меня какъ бы въ одно цѣлое съ начатками моихъ научныхъ свѣденій въ Москвѣ. Мистическаго и мистицизма никто не искоренитъ изъ глубины человѣческаго духа. Монотонность и односторонность никогда не будутъ ему свойственны, и я не вѣрю, чтобы человѣческое общество когда-нибудь остановилось на одномъ избранномъ имъ направленіи, и всего менѣе вѣрю, чтобы оно когда-нибудь сдѣлалось позитивистомъ.

Студенческая жизнь въ московскомъ университетѣ, до кончины императора Александра I-го, была привольная. Мы не видывали попечителя—кн. Оболенскаго. Я его только разъ видѣлъ на актѣ, да и съ ректоромъ—Прокоповичемъ-Антонскимъ—встрѣчались вступающіе въ университетъ кутилы и забіяки. Я его видалъ также только на актѣ. Мундировъ тогда еще не было у студентовъ. Несмотря на это, я не помню ничего особенно неприличнаго или рѣзко выдававшагося въ наружномъ видѣ студентовъ. Скорѣе выдавалась и поражала насъ наружность у профессоровъ, такъ какъ одни изъ нихъ въ своихъ каретахъ, запряженныхъ четверкою, съ ливрейными лакеями на запяткахъ (какъ М. Я. Мудровъ, Лодеръ и Е. О. Мухинъ), казались намъ важными сановниками, а другіе — инфантеристы или ѣздившіе на ванькахъ во фризовыхъ шинеляхъ — имѣли видъ преслѣдуемыхъ судьбою паріевъ.

Но со вступленіемъ на престолъ Николая I-го, послѣ декабрскихъ дней, и мы почувствовали перемѣну въ воздухѣ.

Слышимъ, что назначается новый попечитель, военный генералъ Писаревъ; слышимъ, что новый государь, во время пребыванія его въ Москвѣ, посѣтивъ почти инкогнито уни-

верситетъ и университетскій пансіонъ, разсердился страшно, увидѣвъ имя Кюхельбекера, написанное золотыми буквами на доскѣ въ залѣ университетскаго пансіона; Антонскій не догадался снять доску или стереть ненавистное имя бунтовщика, бывшаго отличнымъ ученикомъ.

Антонскій,—говорю,—намъ сказывали, былъ смѣненъ за эту недогадливость, а прежній фрачный попечитель былъ замѣненъ мундирнымъ.

Мы слышали также, что государь, пріѣхавъ на дрожкахъ въ университетъ и узнанный только сторожемъ, отставнымъ гвардейскимъ солдатомъ, пошелъ прямо въ студенческія комнаты, велѣлъ при себѣ переворачивать тюфяки на студенческихъ кроватяхъ и подъ однимъ тюфякомъ нашелъ тетрадь стиховъ Полежаева.

Скоро Полежаевъ угодилъ въ солдаты.

Вскорѣ послѣ этого посѣщенія были введены студенческіе мундиры,—для меня и, вѣрно, для многихъ другихъ, кое-какъ перебивавшихся,—новый расходъ.

Сестры ухитрились смастерить мнѣ изъ стараго фрака какую-то мундирную куртку съ краснымъ воротникомъ и свѣтлыми пуговицами, но неопредѣленнаго цвѣта, и я, пользуясь позволеніемъ тогдашняго добраго времени, оставался на лекціяхъ въ шинели и выставлялъ на-показъ только верхнюю, обмундированную, часть тѣла.

Не замедлилъ явиться предъ нами въ аудиторіяхъ и мундирный попечитель, тотчасъ же при своемъ появленіи прозванный, по свойству его рѣчи, фаготомъ. Дѣйствительно, рѣчь была отрывистая, рѣзкая. Я видѣлъ и слышалъ этого фагота, благодареніе Богу, только два раза на лекціяхъ: одинъ разъ на лекціи у профессора химіи Геймана, другой разъ—у Мухина, и оба раза появленіе было сопровождаемо нѣкотораго рода скандаломъ.

У Геймана на лекціи фаготъ,—высокій, плечистый генералъ въ военномъ мундирѣ, входившій всегда съ шумомъ, въ сопровожденіи своихъ драбантовъ,—встрѣтилъ моего прежняго нахлѣбника, Жемчужникова, въ странномъ для него костюмѣ: студенческій незастегнутый мундиръ, какія-то уже вовсе немундирныя панталоны и съ круглою шляпою въ рукахъ.

— „Это что̀ значитъ?“ —произнесъ ф̀аготъ самымъ рѣзкимъ и пронзительнымъ голосомъ, нарушившимъ тишину аудиторіи и вниманіе слушателей, прикованное къ химическому опыту Гейманa. — „Такихъ надо удалять изъ университета“, —продолжалъ такимъ же голосомъ ф̀аготъ.

Жемчужниковъ всталъ, сдѣлалъ шагъ впередъ и, поднимая свою круглую шляпу, какъ бы съ цѣлью надѣть ее себѣ тотчасъ же на голову, прехладнокровно сказалъ: — „Да я не дорожу вашимъ университетомъ“, —поклонился и вышелъ вонъ.

Ф̀аготъ не ожидалъ такой для него небывалой выходки подчиненнаго лица и какъ-то смолкъ.

Въ аудиторію Мухина ф̀аготъ ввалился однажды и сказалъ уже такую глупость, которая, вѣрно, не прошла ему даромъ.

Надо знать, что въ началѣ царствованія Николая, почему-то, —а можетъ быть, именно благодаря разнымъ безтактнымъ выходкамъ ф̀агота, —русскіе наши нѣмцеѣды, видимо, стали на дыбы, полагая, что пришелъ на ихъ улицу праздникъ. Начались разныя, не совсѣмъ приличныя, выходки и противъ такой высокостоящей во всѣхъ отношеніяхъ личности, какъ Юстъ-Христіанъ Лодеръ.

Мухинъ всполошился особенно и какимъ-то образомъ достигъ на нѣкоторое время того, что даже началъ читать лекціи въ анатомическомъ амфитеатрѣ, прежде ни для кого, кромѣ Лодера, недоступномъ. Это продолжалось, однако-же, недолго. Мухинъ почему-то снова перешелъ на лекціи въ прежнюю аудиторію свою, въ зданіи университета, также въ довольно пространную (человѣкъ на 250), но не такъ удобную.

Вотъ въ эту-то переполненную аудиторію и ввалился съ шумомъ ф̀аготъ.

— „Почему же вы не читаете тамъ?“ —спрашиваетъ онъ Мухина, указывая рукою по направленію анатомическаго театра.

— Да тамъ, ваше высокопревосходительство, Лодеръ раскладываетъ кости и препараты предъ своими лекціями.

— „А! если такъ, то я его самого разложу“, —отвѣчаетъ громко, на всю аудиторію, ф̀аготъ.

Лодеру донесли объ этомъ глупомъ фарсѣ. И вскорѣ мы услыхали, что самъ король прусскій довелъ до свѣденія госу-

даря о происках противъ маститаго ученаго. Съ тѣхъ поръ его оставили въ покоѣ, и чрезъ нѣсколько времени послѣ этого происшествія явилась и анненская звѣзда у Лодера, послужившая поводомъ къ сочиненію рацеи М. Я. Мудрова.

Наконецъ, наступилъ и 1827-й годъ, принесшій намъ на свѣтъ высочайше утвержденный проектъ академика Паррота. Первое сообщеніе, болѣе метафорическое, чѣмъ оффиціальное, мы услышали на лекціи Мудрова. Пріѣхавъ однажды ранѣе обыкновеннаго на лекцію, М. Я. Мудровъ вдругъ, ни съ того, ни съ сего, начинаетъ намъ повѣствовать о пользѣ и удовольствіи отъ путешествій по Европѣ, описываетъ восхожденіе на ледники альпійскихъ горъ, разсказываетъ о бытьѣжитьѣ въ Германіи и Франціи, о пуховикахъ, употребляемыхъ вмѣсто одѣялъ нѣмцами, и проч. и проч. Что за притча такая? думаемъ мы, ума не приложимъ, къ чему все это клонится. И только къ концу лекціи, проговоривъ битый часъ, М. Я. Мудровъ объявляетъ, что по высочайшей волѣ призываются желающіе изъ учащихся въ русскихъ университетахъ отправиться, для дальнѣйшаго образованія, за границу.

Я какъ-то разсѣянно прослушалъ это первое извѣщеніе.

Потомъ я гдѣ-то, кажется, на репетиціи, приглашаюсь уже прямо Мухинымъ.—Опять Е. О. Мухинъ!

— „Вотъ, поѣхалъ бы! приглашаются только одни русскіе; надо пользоваться случаемъ“.

— Да я согласенъ, Ефремъ Осиповичъ,—бухнулъ я, нисколько не думая и не размышляя.

Какъ объяснить эту неожиданную для меня самого рѣшительность? Тогда я не наблюдалъ надъ собою, а теперь нельзя рѣшить навѣрное, что было главнымъ мотивомъ. Но, сколько я себя помню, мнѣ кажется, что главною причиною скораго рѣшенія было мое семейное положеніе.

Какъ ни былъ я тогда молодъ, но помню, что оно нерѣдко меня тяготило. Мнѣ уже 16 лѣтъ, скоро будетъ и 17, а я все на рукахъ бѣдной матери и бѣдныхъ сестеръ. Положимъ, получу и степень лекаря, а потомъ что? Нѣтъ ни средствъ, ни связей, не найдешь себѣ и мѣста. Въ то же время было и неотступное желаніе учиться и учиться.

Московская наука, несмотря на свою отсталость и поверхностность, все-таки оставила кое-что, не дававшее покоя и звавшее впередъ.

— „Выбери предметъ занятій, какую-нибудь науку“,—говоритъ Е. О. Мухинъ.

— Да я, разумѣется, по медицинѣ, Ефремъ Осиповичъ.

— „Нѣтъ, такъ нельзя; требуется непремѣнно объявить, которою изъ медицинскихъ наукъ желаешь исключительно заняться“,—настаиваетъ Ефремъ Осиповичъ.

Я, не долго думая, да и брякнулъ такъ:—Физіологіею.

Почему я указалъ на физіологію? спрашивалъ я послѣ самого себя.

Отвѣтъ былъ: во-первыхъ, потому, что я въ моихъ ребяческихъ мечтахъ представлялъ себѣ, будто я съ физіологіею знакомъ болѣе, чѣмъ со всѣми другими науками. А это почему? А потому, что я зналъ уже о кровообращеніи; зналъ, что есть на свѣтѣ химусъ и хилусъ; зналъ и о существованіи грудного протока; зналъ, наконецъ, что желчь выдѣляется въ печени, моча—въ почкахъ, а про селезенку и поджелудочную железу не я одинъ, а и всѣ еще немногое знаютъ; сверхъ этого, физіологія немыслима безъ анатоміи, а анатомію-то уже я знаю, очевидно, лучше всѣхъ другихъ наукъ.

Но все это во-первыхъ, а во-вторыхъ — кто предлагаетъ мнѣ сдѣлать выборъ предмета занятій: развѣ не Ефремъ Осиповичъ, не физіологъ? Уже вѣрно мой выборъ придется ему по вкусу. Но не тутъ-то было. Ефремъ Осиповичъ сдѣлалъ длинную физіономію и коротко и ясно рѣшилъ:

— „Нѣтъ, физіологію нельзя; выбери что-нибудь другое“.

— Такъ позвольте подумать...

— „Хорошо, до завтра; тогда мы тебя и запишемъ“.

Дома я ничего не объявилъ ни матери, ни сестрамъ, а началъ обдумывать все дѣло, уже почти рѣшенное, то-есть дѣйствовать по нашему, по-русски, заднимъ умомъ, и, право, поступилъ не худо; дѣйствуя переднимъ, я, вѣроятно, не попалъ бы въ профессорскій институтъ, и жизнь сложилась бы на другихъ началахъ, и Богъ вѣсть—какихъ. На что́ же—спрашиваю я себя—далъ я мое согласіе? На то, чтобы ѣхать за границу учиться. Да на какихъ же условіяхъ? Вѣдь, не зная

ихъ, попадешь, пожалуй, и въ кабалу. Да, впрочемъ, Богъ съ ними, съ этими условіями, хуже не будетъ.

Бѣгу въ университетъ, справляюсь, прислушиваюсь, совѣтуюсь; наконецъ, кое-что узнаю и рѣшаюсь: такъ какъ физіологію мнѣ не позволили выбрать, а другая наука, основанная на анатоміи, по моему мнѣнію, есть одна только хирургія, я и выбираю ее. А почему не самую анатомію? А вотъ, поди, узнай у самого себя—почему? Навѣрное не знаю, но мнѣ сдается, что гдѣ-то издалека, какой-то внутренній голосъ подсказалъ тутъ хирургію. Кромѣ анатоміи, есть еще и жизнь, —и, выбравъ хирургію, будешь имѣть дѣло не съ однимъ трупомъ.

Меня интересовали, однако-же, не мало и другія науки. Я ужасно любилъ химію, особливо послѣ Гейдановскихъ лекцій. Фармакологія мнѣ представлялась также,—несмотря на всю несостоятельность ея представителя въ московскомъ университетѣ, В. М. Котельницкаго,—весьма занимательною. Когда я сообщилъ о моемъ желаніи посвятить себя не одной, а нѣсколькимъ наукамъ моимъ товарищамъ, то они, конечно, трунили надо мною, не подозрѣвая, что я черезъ годъ или два сдѣлаюсь отчаяннымъ, самымъ отчаяннымъ адептомъ спеціализма въ наукѣ, а потомъ, чрезъ нѣсколько лѣтъ, перекочую снова въ другой лагерь.

Въ этотъ же день я явился въ правленіе, нашелъ тамъ Е. О. Мухина (декана), объявилъ ему мой выборъ и тотчасъ же былъ имъ подвергнутъ предварительному испытанію, изъ котораго я узналъ положительно, что цѣль отправленія насъ за границу есть приготовленіе къ профессорской дѣятельности; а какъ для профессора прежде всего необходимо имѣть громкій голосъ и хорошіе дыхательные органы, то предварительное испытаніе и должно было рѣшить вопросъ: въ какомъ состояніи обрѣтаются мои легкія и дыхательное горло. За неимѣніемъ въ то время спирометровъ и полнаго незнакомства экзаменаторовъ съ аускультаціею и перкуссіею, Ефремъ Осиповичъ заставилъ меня громко и не переводя духа прочесть какой-то длиннѣйшій періодъ въ изданной имъ физіологіи Ленгоссэка, что̀ я и исполнилъ вполнѣ удовлетворительно.

Тотчасъ же имя мое было внесено въ списокъ желающихъ,

го-есть будущихъ членовъ профессорскаго института. Только покончивъ все это дѣло, я возвратился домой и объявилъ моимъ домашнимъ торжественно и не безъ гордости, что—„ѣду путешествовать на казенный счетъ“.

Въ это время случился тутъ сосѣдъ портной, позванный для исправленія моей шинели; услыхавъ, что я ѣду путешествовать, онъ глубокомысленно замѣтилъ: „Знаю, знаю, слыхалъ: значитъ, ѣдете открывать неизвѣстные острова и земли“.

Я не старался разубѣждать его, и былъ очень радъ тому, что мать и сестры, хотя и опечаленныя неожиданнымъ извѣстіемъ, не оказали никакого противодѣйствія; матушка, по обыкновенію, набожно перекрестилась, поцѣловала меня и сказала: „Благослови тебя Богъ! Когда же ѣдешь?“

— Послѣ лекарскаго экзамена, мѣсяца черезъ два.

Между тѣмъ, по собраннымъ свѣденіямъ и слухамъ, дѣло настолько выяснилось, что я узналъ подробнѣе о цѣли и объ условіяхъ. Дополнилъ собранныя свѣденія тѣмъ, что я узналъ впослѣдствіи.

Я представляю себѣ исторію развитія профессорскаго института, въ который меня завербовалъ exprompto Е. О. Мухинъ, въ слѣдующемъ видѣ:

Академикъ Парротъ былъ свидѣтелемъ въ Дерптѣ и С.-Петербургѣ смутныхъ и выходящихъ изъ ряду вонъ событій, постигшихъ наши университеты въ концѣ царствованія Александра I-го (при министерствахъ кн. А. И. Голицына и Шишкова и попечительствѣ Магницкаго, и проч.), а вмѣстѣ съ этимъ, узнавъ въ подробности отъ извѣстныхъ иностранныхъ профессоровъ казанскаго и друг. университетовъ о печальномъ состояніи нашей университетской науки,—воспользовался своимъ исключительнымъ положеніемъ и намѣреніями новаго государя преобразовать всю учебную часть въ государствѣ. Новому государю было извѣстно, что Парротъ пользовался особеннымъ расположеніемъ и довѣріемъ Александра I-го, имѣя къ нему всегда свободный доступъ.

Парротъ (родомъ изъ Эльзаса и сотоварищъ знаменитому Кювье) былъ долго профессоромъ физики въ дерптскомъ университетѣ; а послѣ своего перехода изъ Дерпта въ с.-петербургскую академію наукъ, онъ былъ, вѣрно, очень радъ назна-

ченію князя Ливена, бывшаго попечителя дерптскаго университета, на мѣсто Шишкова—министромъ народнаго просвѣщенія при самомъ началѣ царствованія Николая.

Это назначеніе, какъ я полагаю, много содѣйствовало успѣху проекта Паррота, главнѣйшимъ и самымъ существеннымъ пунктомъ котораго было подготовленіе русскихъ молодыхъ людей, кончившихъ курсъ въ разныхъ университетахъ, въ дерптскомъ университетѣ, для дальнѣйшихъ занятій наукою за границею.

Дерптскій университетъ въ это время, послѣ позорной катастрофы съ производствомъ въ доктора какихъ-то темныхъ личностей, достигъ небывалой еще научной высоты, и достигъ именно при попечительствѣ князя Ливена, тогда какъ другіе русскіе университеты падали со дня на день все ниже и ниже, благодаря обскурантизму и отсталости разныхъ попечителей.

Число русскихъ, посылаемыхъ для подготовки на два, на три года изъ нашихъ университетовъ въ дерптскій, опредѣлялось 20-ю.

Послѣ двухъ-лѣтняго пребыванія въ Дерптѣ, они должны были отправляться еще на два года въ заграничные университеты и потомъ прослужить извѣстное число лѣтъ профессорами въ вѣдомствѣ министерства народнаго просвѣщенія. Содержаніе въ Дерптѣ назначалось въ 1,200 руб. ассигн. ежегодно (нѣсколько болѣе 300 руб. сер.); на путевыя издержки полагалась тоже особая сумма. Молодые люди разныхъ университетовъ, собранные въ С.-Петербургѣ, должны были, по прибытіи въ С.-Петербургъ, подвергнуться предварительному еще испытанію въ академіи наукъ.

Я началъ готовиться къ лекарскому экзамену. Онъ прошелъ очень легко для меня, даже легче обыкновеннаго, весьма поверхностнаго, можетъ быть, потому, что мое назначеніе въ кандидаты профессорскаго института считалось уже эквивалентомъ лекарскаго испытанія.

Что же я везъ съ собою въ Дерптъ?

Какъ видно, весьма ничтожный запасъ свѣденій и свѣденій болѣе книжныхъ, тетрадочныхъ, а не наглядныхъ, не пріобрѣтенныхъ подъ руководствомъ опыта и наблюденія. Да и эти книжныя свѣденія не могли быть сколько-нибудь удовлетвори-

тельны, такъ какъ я въ теченіе всего университетскаго курса не прочелъ ни одной научной книги, ни одного учебника, что называется, отъ доски до доски, а только урывками, становясь въ пень предъ непонятными мѣстами; а понять многаго безъ руководства я и не могъ.

Хорошъ я былъ лекарь съ моимъ дипломомъ, дававшимъ мнѣ право на жизнь и смерть, не видавъ ни однажды тифознаго больного, не имѣвъ ни разу ланцета въ рукахъ! Вся моя медицинская практика въ клиникѣ ограничивалась тѣмъ, что я написалъ одну исторію болѣзни, видѣвъ только однажды моего больного въ клиникѣ, и для ясности прибавивъ въ эту исторію такую массу вычитанныхъ изъ книгъ припадковъ, что она по-неволѣ изъ исторіи превратилась въ сказку.

Поликлиники и частной практики для медицинскихъ студентовъ того времени вовсе не существовало, и меня только однажды случайно пригласили къ одному проживавшему въ одномъ съ нами домѣ больному чиновнику. Онъ лежалъ уже, должно быть, въ агоніи, когда мнѣ предлагали вылечить его отъ послѣдствій жестокаго и продолжительнаго запоя. Видя мою несостоятельность, я, первое дѣло, счелъ необходимымъ послать тотчасъ же за цирюльникомъ; онъ тотчасъ явился, принеся съ собою, на всякій случай, и клистирную трубку. Собственно я и самъ не зналъ, для чего я пригласилъ цирюльника; но онъ зналъ уже par distance, что нуженъ клистиръ и, раскусивъ тотчасъ же, съ кѣмъ имѣетъ дѣло, объявилъ мнѣ прямо и твердо, что тутъ безъ клистира дѣло не обойдется.

— „Пощупайте сами животъ хорошенько, если мнѣ не вѣрите,—утверждалъ онъ, отведя меня въ сторону:—вѣдь онъ такъ вздутъ, что лопнуть можетъ“.

Я, пощупавъ животъ, тотчасъ же одобрилъ намѣреніе моего, мною же импровизированнаго коллеги. Дѣло было ночью; что произошло потомъ съ клистиромъ—не помню; но помню, что больного къ утру не было уже на свѣтѣ.

Въ благодарность за мои труды вдова прислала мнѣ черный фракъ покойнаго, въ который могли бы влѣзть двое такихъ, каковъ я. Этотъ незаслуженный гонораръ былъ очень кстати; передѣланный портнымъ, полагавшимъ, что я ѣду от-

крывать острова и земли, фракъ этотъ поѣхалъ со мною и въ Дерптъ и прожилъ со мною еще и тамъ цѣлыхъ пять лѣтъ.

Второй и послѣдній случай моей частной практической дѣятельности въ Москвѣ былъ тоже такой, въ которомъ клистиръ игралъ главную роль.

Заболѣла весьма серьезно чѣмъ-то, не знаю, моя старая нянька, Катерина Михайловна; помню, лежитъ, не двигается, стонетъ, говоритъ: „умираю“; ни ѣстъ, ни пьетъ, не испражняется, не спитъ, все стонетъ. Не знаю, что̀ ей тамъ давали изъ домашнихъ средствъ, только помощи не было; проходитъ недѣля, другая,—все то же; старуха исхудала, пожелтѣла,—очевидно, плохое дѣло. Мнѣ ее ужасно жалко, хотѣлось бы помочь, но чѣмъ руководствоваться? А вотъ постой, думаю, вѣдь она не ходитъ на низъ цѣлыхъ 10—12 дней: дай, поставлю ей клистиръ.

Предлагаю на обсужденіе мой проектъ моимъ домашнимъ и самой больной.

— „Да, батюшка мой, вѣдь я ничего не ѣмъ, не пью, почти двѣ недѣли у меня крохи во рту не было“.

— Нужды нѣтъ, все-таки поставимъ.

— „Да какъ же это? да кто же поставитъ? да гдѣ же взять?“

— Не безпокойся.

И вотъ, я достаю трубку, варю ромашку съ мыломъ и постнымъ масломъ, надѣваю преважно фартукъ, поворачиваю старуху на лѣвый бокъ и въ первый разъ въ жизни ставлю клистиръ самоучкою.

Все обошлось благополучно. Клистиръ вышелъ потомъ не одинъ, и—кто могъ думать!—моя старая няня съ этого же дня начала поправляться, спать, кушать, а дней чрезъ 10 была уже на ногахъ. Вотъ что̀ значитъ искренняя любовь и привязанность, руководившія мною въ первый разъ въ жизни и въ діагнозѣ, и въ терапіи, и въ хирургическомъ пособіи при постели больной!

Моя нравственная сторона ѣхала изъ Москвы въ Дерптъ такъ же мало культивированною, какъ и научная.

Моя дѣтская вѣра была потрясена тѣмъ слабымъ знаніемъ, которое я пріобрѣлъ въ университетѣ. Почему же это могло

случиться съ такимъ бѣднымъ и малообразованнымъ школьникомъ, какимъ я былъ, тогда какъ величайшіе и свѣтлые умы, обогащенные громадными свѣденіями, нерѣдко соединяли въ себѣ глубокое знаніе съ искреннею вѣрою? То, я полагаю, болѣзнь нашего вѣка, въ которомъ немного найдется такихъ исключеній, какъ Іоганнъ Мюллеръ или Рудольфъ Вагнеръ; первый—ревностный католикъ, второй—протестантъ, и оба знаменитые естествоиспытатели, успѣвшіе и въ наше время примирить знаніе съ вѣрою. Эта болѣзнь нашего вѣка зависитъ, я полагаю, отъ того, что именно въ наше время знаніе, и, конечно, поверхностное, быстро распространилось въ массахъ, недовольно подготовленныхъ къ воспринятію науки и знанія предшествовавшими вѣками.

Яркій свѣтъ современной науки ослѣпилъ и вскружилъ голову ходившимъ прежде въ потемкахъ. Вышедшему быстро изъ потемокъ на свѣтъ, съ перваго взгляда, покажется все, конечно, слишкомъ яснымъ и потому несомнѣннымъ; а тутъ являются еще и просвѣтители, которые, для эффекта, подпускаютъ все болѣе и болѣе свѣта, хотя бы и искусственнаго.

Если я, возвращаясь теперь къ моему давно-прошедшему, только подумаю, что́ заставило меня покинуть мои дѣтскія вѣрованія, что́ заставило перестать молиться съ дѣтскимъ усердіемъ, что̀ внесло въ молодую душу разъѣдающій червь сомнѣнія и способствовало съ необыкновеннымъ усердіемъ его дальнѣйшему развитію,—то я не нахожу другой причины, какъ именно эти двѣ. Съ одной стороны, меня озарилъ вдругъ свѣтъ естествознанія, тогда какъ я не былъ подготовленъ къ его принятію никакимъ другимъ положительнымъ знаніемъ, а просвѣтителями моими оказались люди, также, какъ и я самъ, ослѣпленные слишкомъ быстрымъ переходомъ отъ тьмы невѣденія къ свѣту науки. Не мучимый никакими сомнѣніями и, при моемъ обрядно-религіозномъ воспитаніи, не имѣвшій даже почвы для сомнѣнія, я вдругъ выступилъ на поприще, требовавшее постоянной работы мысли. А все пріобрѣтаемое умственнымъ анализомъ неминуемо проходитъ чрезъ цѣлый рядъ сомнѣній. Могъ ли же я, мальчишка, не вскружить себѣ голову, не охмѣлѣть и не перенести тотъ же самый способъ достиженія истины и на другую, для него вовсе непригодную,

почву? Я видѣлъ, что такъ дѣлаютъ всѣ и болѣе опытные меня.

Знаніе, и тѣмъ болѣе научное, дѣлаетъ человѣка до того самодовольнымъ, что онъ, пріобрѣтя это знаніе, тотчасъ старается распространить его на всѣ области своей духовной жизни, отвергая, что между ними есть и нѣкоторыя имѣющія мало общаго съ научнымъ, т.-е. пріобрѣтеннымъ путемъ анализа, знаніемъ.

Развѣ тотъ не живетъ и не достоинъ имени человѣка, кто твердо вѣритъ, крѣпко надѣется, горячо любитъ и просто, т.-е. ненаучно, и, такъ сказать, безсознательно знаетъ? Неужели мы въ правѣ назвать такую жизнь не жизнью потому только, что этой личности недоставало средствъ и способовъ развить другую, умственную, сторону своей жизни? Не должны ли мы всѣ стремиться къ приведенію нашей жизни въ гармоническое цѣлое, то-есть къ равномѣрному развитію разныхъ сторонъ нашей умственной и духовной жизни? Такая высокая цѣль—не утопія. Напротивъ, утопія—то, когда мы полагаемъ облагодѣтельствовать человѣческое общество, ведя его по одному пути знанія къ невѣдомой и недостижимой цѣли.

Какъ счастливы были бы мы, еслибы наши юноши, выступая на научное поприще, были вполнѣ внутренно убѣждены, что нельзя безнаказанно для самого себя пересаживать пріобрѣтенное научнымъ анализомъ на другую сторону нашей духовной почвы! Зная это твердо, многіе, очень многіе изъ насъ избѣгли бы жестокаго внутренняго погрома, который приходилось имъ не однажды переживать, мужаясь и старѣясь.

Моя университетская жизнь въ Москвѣ показала мнѣ недостатки той обрядной религіи, въ которой я воспитывался; но разрушенное не было замѣнено ничѣмъ лучшимъ; въ область вѣры было внесено отрицаніе, границъ котораго уже нельзя было опредѣлить. Молодой умъ съ тѣхъ поръ началъ бродить по всѣмъ закоулкамъ отрицанія. Полное невѣріе и атеизмъ уже охватывали душу. Къ счастью моему, я не былъ esprit fort; я не могъ не обращать взоръ на небо въ тяжкія минуты жизни, а быть подлецомъ въ отношеніи къ самому себѣ,—от-

вергать что̀ бы то ни было въ счастьи и прибѣгать къ его помощи въ бѣдѣ,—казалось мнѣ несовмѣстимымъ съ достоинствомъ человѣка.

Если такъ шатка была у меня религіозная сторона, то и понятія мои о нравственности въ эту эпоху жизни также не были крѣпки. И какая нравственность возможна безъ идеала! Тѣ обманываютъ и себя, и другихъ, которые полагаютъ основы нравственности въ взаимныхъ интересахъ, эгоизмѣ, и т. п. Они берутъ одни внѣшнія проявленія, одну, такъ сказать, обрядную сторону нашего нравственнаго быта и не даютъ себѣ труда заглянуть глубже внутрь самихъ себя, а можетъ быть, и дѣйствительно находятъ въ себѣ не то, что слѣдовало бы еще отыскивать. Наша бѣда именно въ томъ и состояла, и состоитъ, что отцы наши не успѣли и не съумѣли вынести на свѣтъ какой-либо руководящій идеалъ, передъ которымъ необходимо было бы остановиться съ глубокимъ уваженіемъ.

Теперь этого уже не сдѣлаешь: поздно; а было время, когда реализмъ не господствовалъ еще такъ надъ умами, какъ теперь, и идеалы не срывались такъ насильственно съ ихъ пьедесталовъ.

У меня не было ни положительной религіи, ни руководствующаго идеала, именно, въ то опасное время жизни, когда страсти и чувственность начинали заявлять свои права. Но до 18-ти лѣтъ я избѣжалъ сношенія съ женщинами. 16-ти лѣтъ, незадолго до отъѣзда моего въ Дерптъ, я былъ только платонически влюбленъ въ дочь моего крестнаго отца, дѣвушку старѣе меня. Въ это же самое время я почитывалъ съ однимъ товарищемъ купленное на толкучкѣ „Ars amandi“ Овидія, понимая его съ грѣхомъ пополамъ.

Предметъ моей платонической первой любви была стройная блондинка съ тонкими чертами, чрезвычайно мелодическимъ и звучнымъ голосомъ и голубыми, улыбающимися глазами. Эти глаза и этотъ голосъ, сколько я помню, и плѣнили мое сердце. Чѣмъ же обнаруживалась моя любовь? Во-первыхъ, тѣмъ, что во всякое свободное время леталъ, хотя и пѣшкомъ, изъ Кудрина къ Ильѣ Пророку, въ Басманную; во-вторыхъ, не упускалъ при этомъ ни одного удобнаго случая, чтобы не завить волосы барашками. Какъ страннымъ кажусь

я теперь самому себѣ, когда представляю себѣ, что моя плѣшивая голова нѣкогда могла быть покрытою завитыми пукольками!!.. Въ-третьихъ, я не упускалъ также ни одного случая, чтобы не поцѣловать тонкую, нѣжную ручку, какъ, напримѣръ, играя съ нею въ мельники, фанты и подавая ей что-нибудь со стола, и однажды,—о, блаженство!—когда я хотѣлъ поцѣловать ея руку, подававшую мнѣ буттербродтъ, она загнула ее назадъ и поцѣловала меня въ щеку, возлѣ самыхъ губъ.

Наконецъ, когда я оставался ночевать въ гостяхъ у моего крестнаго отца, то любовь будила меня рано утромъ и выгоняла въ садъ,—конечно, не зимою; тогда я садился противъ оконъ спальни, выходившихъ въ садъ, мечталъ и ожидалъ съ нетерпѣніемъ, когда она встанетъ и появится въ бѣлой утренней одеждѣ у окна. Предметъ моей любви пѣлъ очаровательные два французскіе романса, изъ которыхъ одинъ: „Vous allez à la gloire“, я не могъ слушать безъ слезъ.

Самые ея недостатки, изъ которыхъ одинъ дѣлалъ на меня особенное впечатлѣніе, мнѣ нравились; это была необыкновенная и какая-то прозрачная синева подъ глазами.

Когда я былъ въ Москвѣ теперь на моемъ юбилеѣ, я не зналъ, ѣхать ли мнѣ, или нѣтъ, навѣстить мою первую любовь? Братъ ея былъ у меня и сказалъ мнѣ, что онъ живетъ вмѣстѣ съ нею, и что она хромаетъ послѣ перелома ноги. Но ѣхать я раздумалъ.

Если мои прежнія пукольки на головѣ и голый черепъ настоящаго времени дѣлаютъ меня для меня какимъ-то страннымъ, на себя непохожимъ, двойникомъ, то идти посмотрѣть на другую развалину—равносильно было бы поѣздкѣ на кладбище.

Но memento mori для старика вездѣ много. О взаимности, конечно, не могло быть и рѣчи. Она была дѣвушка-невѣста извѣстной въ Москвѣ фамиліи почетнаго гражданина, тогда еще владѣвшаго довольно хорошими средствами (прежняго милліонера); я—мальчишка, только что кончившій курсъ въ университетѣ, безъ средствъ и бравшій иногда подаяніе отъ ея отца.

Воспоминанія этой любви, то-есть настоящія любовныя

воспоминанія, продолжались недолго. Новая жизнь, новая обстановка, новые люди скоро внесли въ душу цѣлый рой другихъ, болѣе глубокихъ впечатлѣній.

Въ маѣ мѣсяцѣ намъ предписано было отправиться въ С.-Петербургъ.

Выдали отъ университета по мундиру и шпагѣ на брата и прогонныя. Везти насъ,—подъ присмотромъ,—поручено было адъюнкту-профессору математики Щепкину. Отправлялись изъ Москвы: Шиховскій (Ив. Ос., уже докторантъ медицины — по ботаникѣ); Сокольскій (также докторантъ — по терапіи); Рѣдкинъ (Петръ Григорьевичъ [1]),—по римскому праву); Кургухтроцкій (лекарь — по акушерству), Коноплевъ (кандидатъ по восточн. яз.), Шуманскій (по исторіи) и я.

Собрались всѣ въ университетскомъ зданіи и выѣхали на перекладныхъ по-двое; Щепкинъ—въ своемъ экипажѣ.

Мнѣ пришлось ѣхать съ Шуманскимъ.

Приходится замѣтить въ общихъ чертахъ характеристику моихъ товарищей. Они стоятъ того.

За исключеніемъ Коноплева, оставшагося въ С.-Петербургѣ, я съ другими провелъ цѣлыхъ пять лѣтъ вмѣстѣ въ Дерптѣ и по-неволѣ изучилъ. Во-первыхъ Шуманскій (гдѣ-то онъ, живъ ли? о немъ послѣ Дерпта я уже ничего не слыхалъ; съ тѣхъ поръ онъ для меня какъ въ воду канулъ) былъ замѣчательная личность; я потомъ не встрѣчалъ ни разу подобной, и едва-ли гдѣ-нибудь, кромѣ Россіи, встрѣчаются такого рода особы.

Шуманскій былъ старѣе меня однимъ или двумя годами; но лицо и особливо свѣтло-голубые, нѣсколько на выкатѣ глаза были не молодые глаза; ростъ приземистый; сложеніе довольно крѣпкое. Способность къ языкамъ и знаніе языковъ отличное. Онъ говорилъ и писалъ на трехъ новѣйшихъ языкахъ (французскомъ, нѣмецкомъ и англійскомъ) въ совершенствѣ; по-латыни и по-гречески научился въ Дерптѣ въ два года. Память необыкновенная; прочитанное онъ могъ пере-

---

[1]) Нынѣ членъ государственнаго совѣта.

давать иногда тѣми же словами тотчасъ по прочтеніи. Къ своей наукѣ (исторіи) показывалъ много интереса. Профессора въ Дерптѣ оставались чрезвычайно довольными его успѣхами. И несмотря на все это, Шуманскій, пробывъ около двухъ лѣтъ въ Дерптѣ, въ одно прекрасное утро, ни съ того, ни съ сего, объявляетъ, что онъ болѣе учиться въ Дерптѣ не намѣренъ, профессоромъ быть не хочетъ и уѣзжаетъ домой, уплативъ въ казну за всѣ причиненныя имъ издержки.

И никто, никто не узналъ, какая собственно причина такъ внезапно произвела такой переворотъ. Онъ скоро собрался и съ тѣхъ поръ исчезъ.

Шуманскій былъ сынъ помѣщика, получилъ очень хорошее домашнее воспитаніе; съ своею семьею онъ, вѣроятно, былъ не въ ладахъ, когда учился въ московскомъ университетѣ и поступилъ въ профессорскій институтъ; этимъ можно объяснить, почему онъ избралъ учебное поприще вовсе не по желанію, а потомъ, при измѣнившихся обстоятельствахъ, тотчасъ же пересѣдлался. Къ тому еще онъ и попивалъ.

Я, считаясь его пріятелемъ, съ тѣхъ поръ, какъ мы сдѣлали поѣздку изъ Москвы въ Петербургъ вмѣстѣ, не хотѣлъ отставать отъ него, и въ первое время нашего пребыванія въ Дерптѣ я сходился иногда съ нимъ и пилъ вмѣстѣ Kümmel, и нѣсколько разъ, какъ я вспоминаю къ моему ужасу, до опьяненія.

Еще одно поражало меня въ Шуманскомъ. Это какая-то особенная религіозность. Не то, чтобы онъ былъ набоженъ,— иногда онъ позволялъ себѣ и свободомысліе,—но у него былъ своеобразный культъ. Онъ почему-то имѣлъ особое почтеніе и довѣріе къ храму Вознесенія въ Москвѣ, на улицѣ (забылъ названіе, хотя приходилось ходить по ней изъ Кудрина въ университетъ по четыре раза въ день) тогда модной въ Москвѣ, славившемуся изящными манерами священнослужителя, про котораго разсказывали, что онъ, проходя во время служенія мимо дамъ, всегда извинялся по-французски: „excusez, mesdames“. Этому-то храму Вознесенія Шуманскій возсылалъ иногда теплыя молитвы на французскомъ языкѣ, и я читалъ у него нѣсколько импровизированныхъ молитвъ этого рода, записанныхъ потомъ въ тетрадку.

Второй оригиналъ изъ моихъ московскихъ товарищей былъ Петръ Григорьевичъ Коргухтроцкій. Что-то необычайно угловатое и комическое лежало уже въ его наружности. Сутуловатый брюнетъ, съ чертами и цвѣтомъ лица, дѣлавшими его на видъ гораздо старѣе, чѣмъ онъ былъ на самомъ дѣлѣ, съ сѣдломъ на носу и рѣзкимъ, гнусливымъ голосомъ, Коргухтроцкій не могъ не обращать на себя вниманія съ перваго же взгляда. И дѣйствительно, это была личность sui generis.

Въ Москвѣ между студентами, и даже прежде еще между гимназистами, онъ былъ извѣстенъ за хорошаго ботаника; и дѣйствительно, по разсказамъ товарищей, занимался ею съ увлеченіемъ. Но, разсудивъ, какъ онъ самъ сознавался, что ботаника не накормитъ, онъ выбралъ для занятія предметъ болѣе прибыльный. Къ этому, по словамъ Троцкаго, много содѣйствовалъ также знакомый ему и въ то время извѣстный въ Москвѣ акушеръ Карпинскій.

— „Посмотри на меня,—говорилъ ему Карпинскій,—у меня, слава Богу, есть что̀ ѣсть: а потому мнѣ щипцы накладывать—все равно, что орѣхи щелкать“.

И вотъ, Коргухтроцкій отправляется въ Дерптъ по акушерству.

Первый мѣсяцъ ничего; все идетъ какъ надо. Профессоръ акушерства въ Дерптѣ—старикъ Дейтшъ. У него въ первый разъ въ жизни Коргухтроцкій приглашается тушировать беременныхъ чухонокъ, нанимавшихся для этой цѣли отъ клиники.

Безъ смѣха не могу вспомнить пластическіе разсказы Коргухтроцкаго, какъ онъ приступалъ къ невиданному и совершенно для него незнакомому дѣлу, какъ палецъ его заблудился, какъ онъ, сколько ни искалъ, не могъ достать маточной шейки; а потому и наговорилъ какую-то чушь, реферируя Дейтшу о результатѣ своихъ поисковъ. Услыхалъ онъ также намекъ профессора о необходимости взять у него privatissimum, то-есть заплатить, вмѣстѣ съ другими, нѣсколько десятковъ рублей. Это былъ ножъ острый. Расходоваться Коргухтроцкій не любилъ. „Этакъ, пожалуй, братъ, тутъ безъ штановъ останешься, прежде чѣмъ научишься чему-нибудь“. Къ счастію для него, не прошло и мѣсяца послѣ нашего прибытія въ Дерптъ, какъ насъ потребовали на tentamen по разнымъ

предметамъ и преимущественно по естественнымъ наукамъ и греческому языку. Дѣлалось это для того, чтобы узнать пробѣлы въ нашихъ свѣденіяхъ и потомъ дать намъ возможность замѣстить ихъ.

И вотъ, акушеръ мой Коргухтроцкій экзаменуется у знаменитаго профессора ботаники Ледебура вмѣстѣ съ нами. Даютъ намъ нѣсколько растеній для опредѣленія. Мы—ни въ зубъ толконуть, а онъ удивляетъ Ледебура точностію своего опредѣленія. Ледебуръ въ восхищеніи и говоритъ ему нѣсколько лестныхъ словъ. И мы узнаемъ, чрезъ нѣсколько дней, что акушерство замѣнено у Коргухтроцкаго ботаникою. Странно также, что этотъ, уже тогда старообразный человѣкъ лѣтъ 25-ти, чрезъ 20 слишкомъ лѣтъ женится на дочери одного изъ самыхъ младшихъ нашихъ товарищей (Котельникова, который былъ только годомъ или двумя старѣе меня).

Третій московскій оригиналъ между нами былъ Григорій Ивановичъ Сокольскій, пріобрѣвшій между нами извѣстность постоянными сраженіями съ профессорами и вообще съ начальствомъ. Отъ М. Я. Мудрова Сокольскій получилъ какую-то особенную привязанность къ бруссэизму. Чтеніе нѣсколькихъ сочиненій Бруссэ привело его въ восхищеніе своею наглядностью, простотою и логичностью. Онъ привезъ съ собою изъ Москвы диссертацію: „de dyssenteria“, и возился съ нею въ Дерптѣ нѣсколько лѣтъ, пока, послѣ разнаго рода передѣлокъ и ограниченій бруссэизма, факультетъ въ Дерптѣ разрѣшилъ ея защищеніе. Стараясь отклонить отъ себя упрекъ въ пристрастіи къ Бруссэ, Сокольскій сослался на Тацита: „Galba, Otho, Vitellius mihi nec beneficio neque injuria sunt cogniti“. Но за его выходки противъ нѣмецкихъ профессоровъ они его сильно прижали и не выслали вмѣстѣ съ нами за границу, а отослали въ Петербургъ, для дальнѣйшаго усовершенствованія, къ Карлу Антоновичу Мейеру, въ Обуховскую больницу, которому онъ потомъ такъ насолилъ столкновеніями при постели больныхъ, что тотъ радъ былъ отъ него отдѣлаться, и чрезъ годъ Сокольскій явился къ намъ въ Берлинъ, а здѣсь выкинулъ весьма рискованную для того времени штуку, уѣхавъ изъ Берлина безъ паспорта въ Цюрихъ, къ Шенлейну, и въ Парижъ...

Григорій Ивановичъ былъ человѣкъ недюжинный; я его любилъ за его особеннаго рода юморъ. Онъ былъ сынъ того московскаго священника, который въ 1820-хъ годахъ вздумалъ написать опроверженіе Коперниковой системы; отъ отца перешла склонность къ оригинальности и къ сыну. Въ Москвѣ онъ также не ужился въ университетѣ и вышелъ въ отставку до эмеритуры, больно сьостривъ на одномъ экзаменѣ надъ попечителемъ Голохвастовымъ.

Замѣчательна у этого нашего товарища была охота къ изученію механизма часовъ, который онъ зналъ необыкновенно точно, а потому умѣлъ довольно вѣрно опредѣлять достоинство часовъ. Въ Болгаріи, въ 1877 году, я встрѣтился съ однимъ врачемъ изъ московскаго университета, знавшимъ Сокольскаго, и услыхалъ, что и до сего дня эта охота къ часамъ не прошла у Сокольскаго. По разсказамъ, въ его комнатѣ виситъ болѣе дюжины часовъ, механизмъ которыхъ онъ такъ регулировалъ, что они всѣ бьютъ въ одинъ моментъ.

Жаль, что на юбилеѣ въ Москвѣ мое здоровье и хлопоты не позволили мнѣ навѣстить Сокольскаго.

Я послалъ ему мою карточку съ стихами Тредьяковскаго, которые Сокольскій любилъ распѣвать нѣкогда:

Когда бы мнѣ сто устъ и столько же языковъ,
Столь сильный гласъ былъ данъ...
То и тогда-бъ всѣхъ глупостей родовъ
Не могъ измыслить я обильно.

Судьба моихъ товарищей,—ихъ было 21,—собранныхъ по первому призыву въ профессорскій институтъ, меня интересуетъ нерѣдко.

Со многими изъ нихъ я не встрѣчался ни разу съ тѣхъ поръ, какъ мы поѣхали за границу; съ нѣкоторыми видѣлся потомъ въ Москвѣ и Петербургѣ; но въ дружествѣ или товариществѣ ни съ кѣмъ изъ нихъ не былъ впослѣдствіи.

Въ-живыхъ изъ 21-го еще—сколько мнѣ извѣстно: П. Г. Рѣдкинъ, Сокольскій, Мих. Куторга, Коргухтроцкій, Котельниковъ, Ивановскій и покуда я еще,—шестеро, и то не навѣрное; значитъ смерть, похитила въ теченіе 53 лѣтъ 15,—вѣроятно, и болѣе. Двое умерли еще въ Дерптѣ: Шкляревскій, чудный парень и поэтъ, (с.-петербургскаго универси-

тета),—отъ чахотки, и одинъ ипохондрикъ довольно ограниченныхъ способностей, изъ Харькова,—отъ холеры; остальные потомъ,—и изъ нихъ одинъ, Чивилевъ, бывшій наставникомъ у покойнаго наслѣдника Николая Александровича,—сгорѣлъ въ царскосельскомъ дворцѣ.

Измучившись ѣздою на перекладной, никогда еще не ѣздивши по дорогамъ съ перекладинами изъ бревенъ, которыя замѣняли въ то время во многихъ мѣстахъ шоссе, мы остановились сначала въ какой-то гостинницѣ, едва-ли не „Демутъ“, въ С.-Петербургѣ, а потомъ для насъ отвели пустопорожнее помѣщеніе въ тогдашнемъ университетскомъ домѣ, кажется, у Семеновскаго моста.

Первый визитъ былъ хозяину Щучьяго Двора, какъ его тогда звали, директору департамента народнаго просвѣщенія (Д. И. Языкову), какому-то молчаливому и натянутому бюрократу; приглашены были къ нему на обѣдъ; обѣдали скучно и безмолвно, а потомъ представились и самому министру народнаго просвѣщенія, князю Ливену—генералу-нѣмцу, говорившему весьма плохо по русски, піэтисту по убѣжденію.

Назначенъ былъ, наконецъ, экзаменъ въ академіи наукъ.

Для насъ, врачей, пригласили экзаменаторовъ изъ медико-хирургической академіи, и именно Велланскаго и Буша.

Бушъ спросилъ у меня что-то о грыжахъ, довольно слегка; я ошибся только per lapsum linguae, сказавъ вмѣсто: art. epigastrica—art. hypogastrica. А я, признаться, трусилъ. Гдѣ, думаю, мнѣ выдержать порядочный экзаменъ изъ хирургіи, которою я въ Москвѣ вовсе не занимался! Радость послѣ выдержанія экзамена была, конечно, большая. Слава Богу, назадъ не воротятъ. Вообще экзаменъ въ академіи для всѣхъ нашихъ сошелъ хорошо съ рукъ, за исключеніемъ Петра Григорьевича Рѣдкина. Его, несчастнаго, отдѣлалъ тогда академикъ Грефе напропалую и далъ такой строгій относительно judicium, что рѣшили не посылать П. Г. Рѣдкина въ Дерптъ. Онъ, однако-же, хорошо сдѣлалъ, что не послушался такого варварскаго рѣшенія и поѣхалъ съ нами на свой счетъ. Въ Дерптѣ чрезъ нѣсколько времени рѣшили иначе.

Въ Дерптъ я ѣхалъ втроемъ съ Рѣдкинымъ и Сокольскимъ на долгихъ; ночевали въ Нарвѣ; впервые въ жизни

видѣли водопадъ и кусокъ моря и прибыли въ заѣзжій домъ къ Фрею въ Дерптѣ, за нѣсколько дней до начала осенне-зимняго семестра.

Въ Дерптѣ мы всѣ должны были поступить подъ команду Вас. Мих. Перевощикова, профессора русскаго языка.

Перевощиковъ перешелъ въ Дерптъ изъ Казани, гдѣ онъ былъ профессоромъ во времена Магницкаго, положившаго глубокій отпечатокъ на всю его дѣятельность и даже на самую физіономію.

Квартиры для насъ были уже наняты, и я помѣстился вмѣстѣ съ Коргухтроцкимъ и Шиховскимъ въ довольно глухомъ мѣстѣ, почти наискосокъ противъ дома профессора хирургіи Мойера.

Вас. Мих. Перевощиковъ игралъ нѣкоторую роль въ моей жизни, и я долженъ остановиться на этой личности. Съ самаго начала между нами пробѣжала черная кошка, и отношенія мои къ Перевощикову могли бы впослѣдствіи имѣть для меня весьма печальныя послѣдствія. Перевощиковъ былъ типъ сухого, безжизненнаго, скрытнаго или, по крайней мѣрѣ, ничего не выражающаго бюрократа; самая походка его, плавная, равномѣрная и какъ бы предусмотрѣнная, выражала характеръ идущаго. Цвѣтъ лица пергаментный; щеки и подбородокъ гладко выбриты; рѣчь, какъ и походка, плавная и монотонная, безъ малѣйшаго повышенія или пониженія голоса. Перевощиковъ повелъ насъ гурьбою по профессорамъ. По-нѣмецки онъ не говорилъ почему-то, и краткая бесѣда велась или на французскомъ, или на смѣшанномъ языкѣ. Спрашивали по-французски — отвѣчали по-нѣмецки; спрашивали по-нѣмецки—отвѣчали по-французски. Для меня самое отрадное посѣщеніе было дома Мойера.

Иванъ Филипповичъ (такъ его звали по-русски) Мойеръ, эстляндецъ, но происхожденія по отцу голландскаго, былъ профессоръ хирургіи въ дерптскомъ университетѣ.

Съ именемъ Мойера въ памяти у меня сохранились разныя чувства. Да, чувства сохраняются въ памяти также, какъ и знанія. И эти чувства—не одиночныя. Я сохраняю къ Мойеру: во-первыхъ, чувство безпредѣльной благодарности и вмѣстѣ съ

нею досады и на себя, и на него; досадую и на себя, и на него; почему это глубокое чувство благодарности осталось въ душѣ не вполнѣ чистымъ и безупречнымъ—это объяснитъ мой дальнѣйшій разсказъ, а теперь пока надо отдѣлаться отъ Перевощикова.

Какъ теперь его вижу, идущаго съ нами по улицамъ; этотъ сжатый ротъ, эта кисточка на шапкѣ, эта медленная, — въ тактъ,—поступь и эта скрытая злость противъ мальчишки, ему вовсе незнакомаго!

Перевощиковъ имѣлъ, конечно, инструкцію слѣдить за нашею нравственностью, и онъ, какъ формалистъ, полагалъ, что ничѣмъ не можетъ онъ предъ начальствомъ показать такъ свою заботу о нашей нравственности, какъ посѣщая насъ въ разное время и врасплохъ. Онъ это и дѣлалъ въ началѣ нашего пребыванія въ Дерптѣ. Однажды онъ приходитъ къ намъ (въ домъ Реберга, напротивъ дома Мойера); я въ это время былъ на лекціи. Перевощиковъ садится въ проходной комнатѣ, ведущей въ наши спальни, и бесѣдуетъ съ моими товарищами (Шиховскимъ и Коргухтроцкимъ). Я, не ожидавъ такого посѣщенія, вхожу прямо со двора, по обыкновенію, въ шапкѣ и иду прямо въ мою комнату, и, только отворивъ дверь въ нее, примѣчаю, что въ другомъ углу сидитъ Перевощиковъ. Но было поздно. Перевощиковъ видѣлъ, что я вошелъ въ шапкѣ и не скинулъ ея тотчасъ же передъ нимъ, и объяснилъ это себѣ моимъ неуваженіемъ къ начальству. И мало того, что онъ объяснилъ такъ себѣ, но донесъ это, какъ я послѣ узналъ, и въ Петербургъ, по начальству. Мнѣ въ голову не могло придти что-нибудь подобное; тѣмъ болѣе, что я, оправивъ мой туалетъ, вышелъ изъ моей комнаты въ общую и принялъ участіе въ общей бесѣдѣ съ Перевощиковымъ и товарищами; онъ не показалъ и виду, что недоволенъ мною. Но къ концу семестра Перевощиковъ призываетъ меня къ себѣ въ кабинетъ, тщательно запираетъ дверь за собою, садится близко меня и таинственно, въ полголоса, спрашиваетъ меня, по обыкновенію, медленно, съ разстановкою:

— „Скажите, Пироговъ, какую рекомендацію о вашемъ поведеніи я долженъ сдѣлать высшему начальству?“

Я остолбенѣлъ. Наконецъ, собравшись съ духомъ, говорю:

— Какую вамъ угодно, Василій Михайловичъ; я тутъ ничего не могу.

— „Но послѣ тѣхъ знаковъ неуваженія къ начальству, которые я имѣлъ случай замѣтить, судите сами, могу ли я васъ рекомендовать съ хорошей стороны?“

Это что́ же такое?— думаю я, и ума не приложу, къ чему это онъ ведетъ. Я прошу объясненія. Причина объясняется. Тогда я оправился, и какъ ни былъ я еще молодъ, но, видя, что имѣю дѣло или съ злымъ умысломъ, или съ мономаніей, я встаю и смѣло говорю:

— Василій Михайловичъ, вы, конечно, можете очернить предъ высшимъ начальствомъ кого вамъ угодно; но одно, мнѣ кажется, я имѣю право требовать отъ васъ,— чтобы вы мотивировали вашу рекомендацію обо мнѣ тѣмъ фактомъ, на которомъ вы основываетесь.—Сказавъ это, я распрощался, и съ тѣхъ поръ—къ Демьяну ни ногой.

Въ Петербургъ пошло донесеніе Перевощикова неизвѣстно въ какомъ видѣ. Изъ Петербурга прислано мнѣ чрезъ Перевощикова же строгое замѣчаніе, но я его не слыхалъ отъ него. Обстоятельства перемѣнились. И я съ тѣхъ поръ Перевощикова встрѣчалъ только иногда на улицахъ. Не помню даже, отдалъ ли я ему прощальный визитъ, когда онъ былъ уволенъ, послѣ скандала, сдѣланнаго ему студентами на лекціи. Онъ былъ ими выбарабаненъ (ausgetrommelt) также вслѣдствіе его подозрительности, мелочности и безтактной обидчивости.

Семейство Мойера, защитившаго меня отъ навѣтовъ нашего аргуса, состояло изъ трехъ особъ: самого профессора, его тещи Екатерины Аѳанасьевны Протасовой (урожд. Буниной) и семи—восьмилѣтней дочери Мойера — Кати. Жены Мойера, старшей дочери Протасовой, уже давно не было на свѣтѣ, и Мойеръ остался до конца жизни вдовцомъ.

Это была личность замѣчательная и высоко-талантливая. Уже одна наружность была выдающаяся. Высокій ростомъ, дородный, но не обрюзглый отъ толстоты, широкоплечій, съ крупными чертами лица, умными голубыми глазами, смотрѣвшими изъ-подъ густыхъ, нѣсколько нависшихъ бровей, съ густыми, уже сѣдыми нѣсколько, щетинистыми волосами, съ длинными,

красивыми пальцами на рукахъ, Мойеръ могъ служить типомъ виднаго мужчины. Въ молодости онъ, вѣроятно, былъ очень красивымъ блондиномъ. Рѣчь его была всегда ясна, отчетлива, выразительна. Лекціи отличались простотою, ясностью и пластичною наглядностью изложенія. Талантъ къ музыкѣ былъ у Мойера необыкновенный; его игру на фортепіано—и особливо пьесъ Бетховена—можно было слушать цѣлые часы съ наслажденіемъ. Садясь за фортепіано, онъ такъ углублялся въ игру, что не обращалъ уже никакого вниманія на его окружающихъ. Нѣсколько близорукій, носилъ постоянно большія серебряныя очки, которыя иногда снималъ при производствѣ операцій.

Характеръ Мойера нельзя было опредѣлить однимъ словомъ; вообще же можно сказать, что это былъ талантливый лѣнивецъ. Лѣность или, вѣрнѣе, квіэтизмъ Мойера иногда доходилъ до того, что, начавъ какой-либо занимательный разговоръ съ знакомымъ, онъ откладывалъ дѣла, не терпящія отлагательства; перемѣнить свое in statu quo, начать какую-нибудь новую работу или заняться разборомъ давно уже ждавшаго его дѣла, — это сущая напасть для Мойера. Онъ подходилъ къ дѣлу съ разныхъ сторонъ, приближался, опять отходилъ и снова предавался своему квіэтизму. Въ наше время Мойеръ имѣлъ уже много занятій по имѣнію своей дочери въ орловской губерніи, ѣздилъ иногда туда въ вакаціонное время и къ своей наукѣ уже былъ довольно холоденъ; читалъ мало; операцій, особливо трудныхъ и рискованныхъ, не дѣлалъ; частной практики почти не имѣлъ, и въ клиникѣ, нерѣдко, бо́льшая часть кроватей оставались незамѣщенными.

Повидимому, появленіе на сцену нѣсколькихъ молодыхъ людей, ревностно занимавшихся хирургіею и анатоміею, къ числу которыхъ принадлежали, кромѣ меня, Иноземцевъ, Даль, Лингардъ, нѣсколько оживили научный интересъ Мойера. Онъ, къ удивленію знавшихъ его прежде, дошелъ въ своемъ интересѣ до того, что занимался вмѣстѣ съ нами по цѣлымъ часамъ препарированіемъ надъ трупами въ анатомическомъ театрѣ.

Но, несмотря на охлажденіе къ наукѣ и его квіэтизмъ, Мойеръ своимъ практическимъ умомъ и основательнымъ обра-

зованіемъ, пріобрѣтеннымъ въ одной изъ самыхъ знаменитыхъ школъ, доставлялъ истинную пользу своимъ ученикамъ. Онъ образовался преимущественно въ Италіи, въ Павіи, въ школѣ знаменитаго Ант. Ок. Скарпы, и это было во времена апогея славы этого хирурга. Посѣщеніе госпиталей Милана и Вѣны, гдѣ въ то время находился Рустъ, докончило хирургическое образованіе Мойера.

Возвратясь въ Россію, онъ прямо попалъ хирургомъ въ военные госпитали, переполненные ранеными въ отечественной войнѣ 1812 года. Какъ операторъ, Мойеръ владѣлъ истинно хирургическою ловкостью, несуетливой, неспѣшной и негрубой. Онъ дѣлалъ операціи, можно сказать, съ чувствомъ, съ толкомъ, съ разстановкою. Какъ врачъ, Мойеръ терпѣть не могъ ни лечить, ни лечиться, и къ лекарствамъ не имѣлъ довѣрія. И изъ наружныхъ средствъ онъ употреблялъ въ леченіи ранъ почти однѣ припарки.

Екатерина Аѳанасьевна Протасова была приземистая, сгорбленная старушка, лѣтъ 66, но еще съ свѣжимъ, пріятнымъ лицомъ, умными сѣрыми глазами и тонкими, сложенными въ улыбку, губами. Хотя она носила очки, но видѣла еще такъ хорошо, что могла вышивать по канвѣ и была на это мастерица; любила чтеніе, разговаривала всегда ровнымъ и довольно еще звучнымъ голосомъ; страдала съ давнихъ поръ, по крайней мѣрѣ разъ въ мѣсяцъ, мигренями, и потому подвязывала голову всегда сверхъ чепца шелковымъ платкомъ.

Вотъ эта-то почтенная особа, заинтересованная, вѣроятно, моею молодостью и неопытностью, и стала моею покровительницею. Она интересовалась моею прежнею жизнью въ Москвѣ, часто разспрашивала меня про житье-бытье моей семьи, оставшейся въ Москвѣ, и, узнавъ отъ Мойера о замѣчаніи, полученномъ изъ Петербурга о моемъ поведеніи по доносу Перевощикова, заставила меня откровенно разсказать въ подробности о случившемся.

Изъ-за меня,—конечно, не по моей винѣ,—сдѣлался и нѣкоторый разладъ между двумя домами; жена Перевощикова (если не ошибаюсь, урожд. Княжевичъ, Екатер. Матвѣевна) и дочь ея, посѣщавшія прежде нерѣдко Екатерину Аѳанасьевну, прекратили свои посѣщенія. Когда, къ концу семестра, вы-

шелъ срокъ найму моей квартиры въ домѣ Реберга, то Екат. Аѳанасьевна предложила мнѣ переѣхать къ нимъ въ домъ, гдѣ я и жилъ нѣсколько мѣсяцевъ, пока не очистилось помѣщеніе въ клиникѣ, въ которомъ я и оставался вмѣстѣ съ Иноземцевымъ до самаго отъѣзда за границу. Мойеръ, при заступничествѣ Екат. Аѳанасьевны, вѣроятно, нашелъ средства оправдать меня; такъ или нѣтъ, но доносъ Перевощикова не имѣлъ для меня никакихъ худыхъ послѣдствій, тѣмъ болѣе, что въ это же время я принялся серьезно работать надъ заданною факультетомъ хирургическою тэмою о перевязкѣ артерій, награжденной потомъ золотою медалью. Я торжествовалъ, и не безъ причины. Я работалъ. Дни я просиживалъ въ анатомическомъ театрѣ надъ препарированіемъ различныхъ областей, занимаемыхъ артеріальными стволами, дѣлалъ опыты съ перевязками артерій на собакахъ и телятахъ, много читалъ, компилировалъ и писалъ.

Латынь помогли мнѣ обработать товарищи-филологи (покойные Крюковъ и Шкляревскій); признаюсь, для красоты слога, жертвовалъ иногда и содержаніемъ; но диссертація въ 50 писч. листовъ, съ нѣсколькими рисунками съ натуры (съ моихъ препаратовъ), вышла на славу и заставила о себѣ заговорить и студентовъ, и профессоровъ.

Рисунки съ моихъ препаратовъ артерій надъ трупами, снятые съ натуры, въ натуральной величинѣ, красками, хранятся и до сихъ поръ—я слышалъ —въ анатомическомъ театрѣ въ Дерптѣ.

Добрѣйшая Екатерина Аѳанасьевна пригласила меня обѣдать постоянно съ ними, и я съ тѣхъ поръ былъ, въ теченіе почти пяти лѣтъ, домашнимъ человѣкомъ въ домѣ Мойера. Тутъ я познакомился и съ Василіемъ Андреевичемъ Жуковскимъ. Поэтъ былъ незаконный сынъ (отъ плѣнной турчанки) ея отца Бунина, воспитывался у нея въ домѣ, влюбился въ свою старшую племянницу, которая вышла потомъ замужъ за Мойера (Екатер. Аѳ. не дала согласія на бракъ влюбленныхъ, считая это грѣхомъ).

Я живо помню, какъ однажды Жуковскій привезъ манускриптъ Пушкина „Борисъ Годуновъ“ и читалъ его Екат. Аѳанасьевнѣ; помню также хорошо, что у меня пробѣжала

дрожь по спинѣ при словахъ Годунова: „и мальчики кровавые въ глазахъ“.

Въ воспоминаніи сохранилось у меня, несмотря на протекшія уже съ тѣхъ поръ 50 слишкомъ лѣтъ, съ какимъ рвеніемъ и юношескимъ пыломъ принялся я за мою науку; не находя много занятій въ маленькой клиникѣ, я почти всецѣло отдался изученію хирургической анатоміи и производству операцій надъ трупами и живыми животными. Я былъ въ то время безжалостенъ къ страданіямъ.

Однажды, я помню, это равнодушіе мое къ мукамъ животныхъ при вивисекціяхъ поразило меня самого такъ, что я, съ ножемъ въ рукахъ, обратившись къ ассистировавшему мнѣ товарищу, невольно вскрикнулъ:

— „Вѣдь такъ, пожалуй, легко зарѣзать и человѣка“.

Да, о вивисекціяхъ можно многое сказать и за, и противъ. Несомнѣнно, онѣ—важное подспорье наукѣ, и оказали, и окажутъ ей несомнѣнныя и неоцѣненныя услуги. Права человѣка дѣлать вивисекціи также нельзя оспаривать послѣ того, какъ человѣкъ убиваетъ и мучаетъ животныхъ для кулинарныхъ и другихъ цѣлей. Кодекса для этого права нѣтъ и не писано. Но наука не восполняетъ всецѣло жизни человѣка: проходитъ юношескій пылъ и мужеская зрѣлость, наступаетъ другая пора жизни, и съ нею—потребность сосредоточиваться все болѣе и болѣе и углубляться въ самого себя; тогда воспоминаніе о причиненномъ насиліи, мукахъ, страданіяхъ—другому существу начинаетъ щемить невольно сердце. Такъ было, кажется, и съ великимъ Галлеромъ; такъ, признаюсь, случалось и со мною, и въ послѣдніе годы я ни за что бы не рѣшился на тѣ жестокіе опыты надъ животными, которые я нѣкогда производилъ такъ усердно и такъ равнодушно. Это своего рода memento mori.

Пріѣхавъ въ Дерптъ безъ всякой подготовки къ экспериментальнымъ научнымъ занятіямъ, я бросился, очертя голову, экспериментировать, и, конечно, былъ жестокимъ безъ нужды и безъ пользы; и воспоминаніе мое теперь отравляетъ еще болѣе то, что, причинивъ тяжкія муки многимъ живымъ суще-

ствамъ, я часто не достигалъ ничего другого, кромѣ отрицательнаго результата, т.-е. не нашедъ того, что искалъ.

Современнымъ экспериментаторамъ, можетъ быть, не придется испытывать на старости тяжелыхъ воспоминаній отъ вивисекцій. Теперь значительная половина вивисекцій производится надъ лягушками, а эти хладнокровныя рептиліи не внушаютъ того чувства, которое привязываетъ человѣка къ теплокровному животному. Потомъ, современные опыты надъ живыми производятся почти всѣ съ помощью хлороформа. Но и одно насильственное лишеніе живого, беззащитнаго существа жизни, съ какою бы то ни было эгоистическою (хотя бы и высокою) цѣлью, не можетъ оставить въ насъ пріятныхъ и успокоительныхъ воспоминаній; немудрено, что тѣ, надъ чѣмъ я нѣкогда смѣялся—вегетаризмъ, теперь кажется мнѣ вовсе не такъ смѣшнымъ.

Къ концу семестра 1827 г. явились и послѣдніе члены нашего профессорскаго института,—харьковцы, въ числѣ четырехъ. Одинъ изъ нихъ, Ф. И. Иноземцевъ, былъ, какъ и я, по хирургіи, съ тѣмъ только различіемъ отъ меня, что, во-первыхъ, это былъ уже человѣкъ лѣтъ подъ 30, не менѣе 27-ми, 28-ми, а во-вторыхъ, онъ былъ несравненно опытнѣе меня и болѣе, чѣмъ я, приготовленъ. Въ харьковскомъ университетѣ въ то время училъ весьма дѣльный профессоръ хирургіи—Н. И. Еллинскій. Иноземцевъ не только ассистировалъ ему при разныхъ операціяхъ, но и самъ уже дѣлалъ одну операцію (ампутацію голени). Это разомъ ставило его головою выше меня и въ моихъ глазахъ, и въ глазахъ другихъ товарищей.

Иноземцевъ и съ внѣшней стороны былъ гораздо представительнѣе меня. Высокій и довольно ловкій брюнетъ, съ черными блестящими глазами, съ безукоризненными баками, одѣтый всегда чисто и съ нѣкоторою претензіею на элегантность, Иноземцевъ легко дѣлался вхожимъ въ разныя общества и вездѣ умѣлъ заслужить репутацію любезнаго и милаго человѣка, добраго товарища и отличнаго парня.

Немудрено, что я началъ ему завидовать. Это скверное

чувство особливо выражалось въ моемъ дневникѣ, который я нѣкоторое время велъ тогда очень аккуратно.

Сверхъ зависти меня возмутило противъ Иноземцева и еще одно: однажды,—я жилъ тогда еще у Мойера,—я простудился и заболѣлъ. Мойеръ приходитъ навѣстить меня и намекаетъ мнѣ довольно ясно, что я порчу себя питьемъ водки; послѣ такого намека, я, взволнованный и еще больной, являюсь къ Екатеринѣ Аѳанасьевнѣ Протасовой и говорю, что я не могу долѣе оставаться въ ихъ домѣ, такъ какъ я заподозрѣнъ въ пьянствѣ.

Старушка ахнула: — „откуда это, батюшка, такое взялъ?“ — Я разсказалъ. Потомъ вышло, что Иноземцевъ стороною намекнулъ что-то, гдѣ-то, какъ-то, что я склоненъ къ злоупотребленію спиртными напитками.

Дѣйствительно, Иноземцевъ видѣлъ меня раза два на-веселѣ вмѣстѣ съ Шуманскимъ, отъ котораго я въ первый разъ и узналъ вкусъ водки. Долго я не могъ простить Иноземцеву этой сплетни. Мы жили съ нимъ четыре слишкомъ года вмѣстѣ въ одной (довольно просторной) комнатѣ въ клиникѣ; но наши лѣта, взгляды, вкусы, занятія, отношенія къ товарищамъ, профессорамъ и другимъ лицамъ—были такъ различны, что, кромѣ одного помѣщенія и одной и той же науки, избранной обоими нами, не было между нами ничего общаго.

Меня досаждало еще то, что вечеромъ къ Иноземцеву приходили, по крайней мѣрѣ разъ или два въ недѣлю, въ гости три или четыре товарища изъ нашихъ или и другихъ русскихъ, которые всѣ знакомы были коротко съ Иноземцевымъ. При чаепитіи, куреніи табака (котораго я тогда не терпѣлъ), начиналась игра въ вистъ, продолжавшаяся за полночь и мѣшавшая мнѣ читать или писать.

Я долженъ покаяться, вспоминая объ Иноземцевѣ. Я теперь и самъ бы себѣ не повѣрилъ или, лучше, не желалъ бы вѣрить; но что было, то было. Я нерѣдко, по недостатку денегъ къ концу мѣсяца, оставался день или два безъ сахара, и вотъ, въ одинъ изъ такихъ дней, меня чортъ попуталъ взять тайкомъ три, четыре куска сахара изъ жестянки Иноземцева. Онъ какъ-то замѣтилъ это, и заперъ жестянку. О, позоръ! дорого бы я далъ, чтобы это не было былью. Кстати, повинюсь

еще и въ воровствѣ съ книгами. Я во всю мою жизнь утаилъ, т.-е., взявъ, не отдалъ три книги; а потомъ, когда хотѣлъ ихъ возвратить, то было некому, или я отъ стыда откладывалъ все и откладывалъ возвращеніе. Потомъ бо́льшая часть моей библіотеки поступила въ пользу студенческой библіотеки.

Во время нашего пребыванія въ Дерптѣ, университетъ пользовался большою славою въ Россіи. И дѣйствительно, бо́льшая часть каѳедръ была замѣщена отличными людьми, съ знаменитымъ ректоромъ Эверсомъ (историкъ) во главѣ: Струве (астрономъ), Ледебуръ, Парротъ (сынъ академика), Ратке (физіологъ), Клоссеусъ (юристъ), Эйсгольцъ (зоологъ); между медиками отличались необыкновенною начитанностью и ученостью проф. Эрдманъ, прежде бывшій въ Казани, но изгнанный оттуда, вмѣстѣ съ проф. математики Бартельсомъ (товарищемъ короля Луи-Филиппа, когда они оба были учителями въ Швейцаріи). Изгнаніе нѣмецкихъ ученыхъ изъ казанскаго университета было совершено погромомъ Магницкаго. Во время пребыванія профессорскаго института въ Дерптѣ присылались молодые русскіе люди и изъ другихъ вѣдомствъ; отъ академіи наукъ были присланы Загорскій (физіологъ) и Шперъ (химикъ), какъ элевы. Профессоромъ астрономіи Струве прислано было человѣкъ 10 штабныхъ или свитскихъ и морскихъ офицеровъ для занятій при обсерваторіи.

Учрежденіе императрицы Маріи прислало изъ воспитательнаго дома человѣкъ 6 или 7; наконецъ и частныя лица пріѣзжали для образованія или такъ, по наслышкѣ, по модѣ; такъ, въ наше время пріѣхали учиться Карамзины—три брата, гр. Соллогубъ, Муравьевъ, графы Витгенштейны (2 брата), Тутолминъ, Матвѣевъ и еще до насъ прибылъ пѣвецъ студенческихъ попоекъ и кутежей—Языковъ и другіе.

Бо́льшая часть изъ нихъ не окончили университетскаго курса, но почти всѣ носили студенческій костюмъ: длинные сапоги—Stiefeln, Kragen, т.-е длинные воротники отъ шинелей вмѣсто плащей, маленькія фуражки на головѣ.

Мундиръ студенческій въ Дерптѣ, можетъ быть, также служилъ приманкою; это былъ не то, что поскудный мундиръ того времени въ другихъ русскихъ университетахъ; у дерптскаго

студента воротникъ на мундирѣ горѣлъ золотомъ; это былъ воротникъ черный бархатный (на синемъ мундирѣ) съ вышитыми золотомъ дубовыми вѣтвями, занимавшими большую половину воротника. И на балахъ, и въ театрѣ мундиръ этотъ производилъ эффектъ.

Когда императоръ Николай проѣзжалъ черезъ Дерптъ, во время турецкой кампаніи, то ему приготовлена была почетная стража изъ студентовъ; одѣтые въ эти свои мундиры, бѣлыя штаны въ натяжку, ботфорты, рослые и красивые студенты-стражники обратили вниманіе на себя самого Николая, и такъ какъ онъ ничего не заявилъ противъ этой обмундировки, то она и признавалась законною.

За исключеніемъ насъ, присланныхъ въ Дерптъ уже по окончаніи курса въ русскихъ университетахъ, и двухъ или трехъ другихъ русскихъ, всѣмъ прочимъ пребываніе въ Дерптѣ не пошло въ прокъ. Карамзины и Соллогубъ едва-ли вынесли что-нибудь изъ дерптской научной жизни, кромѣ знакомства съ разными студенческими обычаями; другіе, какъ, напримѣръ, Языковъ, воспитанники изъ учрежденій императрицы Маріи и пріѣзжіе изъ Москвы и Петербурга полу-русскіе и полу-нѣмцы просто спивались съ кругу и уѣзжали чрезъ нѣсколько лѣтъ въ весьма плохомъ видѣ; только двое изъ нихъ, Ѳедоровъ, Вас. Ѳед., и Кантеміровъ, вышли-было въ люди, но не надолго. Ѳедоровъ, весьма дѣльный астрономъ-наблюдатель, сдѣлалъ экспедицію съ Парротомъ на Арарать, потомъ въ Сибирь, потомъ сдѣлался профессоромъ астрономіи въ Кіевѣ и ректоромъ университета, но не оставилъ привычки попивать и скоро умеръ, еще далеко не старый; Кантеміровъ вышелъ докторомъ медицины, былъ за границею, но, до крайности безкровный и худосочный, также скоро умеръ еще въ молодыхъ лѣтахъ.

Въ Дерптѣ русская поговорка приходилась наоборотъ. Въ Россіи говорятъ: „что русскому здорово, то нѣмцу — смерть“; а въ Дерптѣ надо было, наоборотъ, сознаться: „что нѣмцу здорово, то русскому — смерть“. Нѣмецкіе студенты кутили, вливали въ себя пиво, какъ въ бездонную бочку, дрались на дуэляхъ, цѣлые годы иногда не брали книги въ руки, но потомъ какъ будто перерождались, начинали работать такъ же прилежно,

какъ прежде бражничали, и оканчивали блестящимъ образомъ свою университетскую каррьеру.

Мы, русскіе, изъ профессорскаго института, Professur-Embryonen,—какъ насъ звали нѣмецкіе студенты, —мы всѣ, слава Богу, уцѣлѣли; но мы не сходились ни съ однимъ студенческимъ кружкомъ, не участвовали ни въ коммершахъ, ни въ другихъ студенческихъ препровожденіяхъ времени; и я, напримѣръ, несмотря на мою раннюю молодость, даже вовсе и не имѣлъ никакой охоты знакомиться съ студенческимъ бытомъ въ Дерптѣ. Только два раза я изъ любопытства съѣздилъ на коммершъ, и то впослѣдствіи, по окончаніи курса.

Но какъ ни страненъ въ наше время этотъ анахронизмъ, который представляетъ студенческая жизнь, съ ея средневѣковыми обычаями, для посторонняго наблюдателя, нельзя не согласиться, что она имѣетъ многое въ свою пользу: во-первыхъ, самое вопіющее зло въ обычаяхъ этой жизни,—дуэль, – дѣлаетъ то, что ни въ одномъ изъ нашихъ университетовъ взаимныя отношенія между студентами не достигли такого благочинія, такой вѣжливости, какъ между студентами въ Дерптѣ. О дракахъ, заушеніяхъ, площадной брани и ругательствахъ между ними не можетъ быть и рѣчи.

Дуэли стоили жизни нѣсколькимъ десяткамъ молодежи; это, безъ сомнѣнія, очень прискорбно, и родители, потерявшіе на дуэли безвременно своихъ сыновей, имѣютъ полное право возставать противъ этого варварскаго обычая. Но что́ же дѣлать, если въ человѣческомъ обществѣ нерѣдко приходится выпирать клинъ клиномъ, за неимѣніемъ лучшаго средства противъ зла? А грубость нравовъ и обращеніе въ студенческой жизни между товарищами портитъ также жизнь и есть не меньшее зло, чѣмъ дуэль. Въ московскомъ университетѣ я былъ свидѣтелемъ отвратительныхъ сценъ изъ студенческой жизни, зависѣвшихъ всецѣло отъ грубости и неурядицы взаимныхъ отношеній между товарищами. Кулачный бой, синяки и фонари, площадная ругань и матерщина были явленіями незаурядными.

Вотъ предо мною стоитъ—вспоминаю—студентъ изъ семинаристовъ, Марсовъ, и дѣйствительно—верзило чуть не въ сажень, обросшій весь, какъ щетиною, волосами. Я иду мимо въ аудиторію, пробираясь сѣсть на мѣсто.

— „Ты что̀ тутъ, поросенокъ, таскаешься? Знаешь, какого шлепка задамъ!“

Другіе хохочутъ. Что̀ тутъ подѣлаешь? Этакой верзило и взаправду хватилъ бы,—всѣ снова засмѣялись бы, и дѣло съ концомъ. Гдѣ существуетъ такъ называемая студенческая Comment, тамъ буйство, посрамленіе человѣческаго достоинства грубою обидою немыслимы,—есть судъ товарищей, рѣшающихъ, что̀ дѣлать,—и вотъ человѣкъ смолоду пріучается къ благородству, уваженію личнаго достоинства и общественнаго мнѣнія; а это едва-ли не сто̀итъ нѣсколькихъ жизней.

Впрочемъ студенческія общества всегда старались сдѣлать дуэли наименѣе опасными для жизни; извѣстно, какія предосторожности берутся въ студенческихъ дуэляхъ къ защищенію головы, шеи и т. п. противъ ударовъ. Но замѣтно, что каждый разъ, съ увеличеніемъ строгости противъ обыкновенныхъ студенческихъ дуэлей, увеличивались болѣе опасныя дуэли на пистолетахъ. Въ теченіе пяти лѣтъ были только два случая опасныхъ дуэлей между студентами. Въ одномъ случаѣ студенческій Schläger (родъ палаша) попалъ на 3-й грудинный хрящъ, перерубилъ его и повредилъ титечную внутреннюю артерію (art. mammaria interna); собравшійся около раненаго факультетъ—надо признаться—опозорился. Когда образовался плевритъ раненной плевры съ выпотомъ и значительнымъ кровотеченіемъ изъ раны, до тѣхъ поръ некровоточивой, то трое профессоровъ погрязли въ предположеніяхъ: одинъ говорилъ, что тутъ ранено легкое; другой—что ранена легочная вена; но ни одинъ не узналъ плевритическаго выпота въ нѣсколько фунтовъ вѣсомъ. Въ такомъ-то жалкомъ положеніи въ то время находилось изслѣдованіе грудныхъ органовъ въ нашихъ университетахъ.

Другіе два случая были пистолетныя дуэли; въ обѣихъ раны были очень опасныя, но исходъ былъ благополучный. Въ одномъ случаѣ пуля пронизала шею около сонныхъ артерій насквозь, задѣвъ горло; кровотеченія, однако-же, не было, и раненый только долго не могъ говорить.

Въ другомъ случаѣ пуля засѣла въ лобной кости, у соединенія ея съ теменною, и была вытрепанена Мойеромъ весьма ловко. Раненый, конечно, выздоровѣлъ.

Занятія мои съ каждымъ годомъ увеличивались; особливо занимался я разработкою фасцій и отношеній ихъ къ артеріальнымъ стволамъ и органамъ таза. Это предметъ былъ совершенно новый въ то время. Обыкновенные анатомы бросали фасціи; въ Германіи занимались ими очень мало, и только у англичанъ и французовъ можно было найти описаніе и изображеніе нѣкоторыхъ изъ нихъ.

Я дѣлался съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе спеціалистомъ, предаваясь по временамъ изученію самостоятельно одной какой-либо ограниченной спеціальности. Дошло до того, что я пересталъ посѣщать лекціи по другимъ наукамъ, кромѣ хирургіи.

Это было глупо съ моей стороны, и я много такого, что могло бы быть очень полезнымъ впослѣдствіи, пропустилъ и потерялъ. До Мойера начали доходить жалобы другихъ профессоровъ о моемъ непосѣщеніи лекцій. Профессоръ химіи, Гебель, прижалъ меня и на семестровомъ экзаменѣ. Мойеръ дѣльно увѣщевалъ меня не пренебрегать другими науками, и былъ правъ.

Но меня смущало то, что, слушая лекціи, я неминуемо краду время отъ занятій моимъ спеціальнымъ предметомъ, который какъ ни спеціаленъ, а все-таки заключаетъ въ себѣ, по крайней мѣрѣ, три науки. А сверхъ того, я, дѣйствительно, тяготился слушаніемъ лекцій, и это неумѣнье слушать лекціи у меня осталось на цѣлую жизнь. Посвятивъ себя одиночнымъ занятіямъ въ анатомическомъ театрѣ, въ клиникѣ и у себя на дому, я, дѣйствительно, отвыкъ отъ лекцій; приходя на нихъ, дремалъ или засыпалъ и терялъ нить; демонстративныхъ лекцій, въ то время, на медицинскомъ факультетѣ, за исключеніемъ хирургическихъ и анатомическихъ, вовсе не было; ни физіологическія, ни патологическія лекціи не читались демонстративно. Зачѣмъ же—думалъ я—тратить время въ дремотѣ и снѣ на лекціяхъ? Наконецъ, я дошелъ до такого абсурда, что объявилъ однажды Мойеру о моемъ рѣшеніи не держать окончательнаго экзамена, т.-е. экзамена на докторскую степень, такъ какъ въ то время отъ профессоровъ не требовали еще докторскаго диплома; а если понадобится,—думалъ я,—такъ дадутъ и безъ экзамена дѣльному человѣку.

Мойеръ, конечно, отговорилъ меня отъ такого поступка и увѣрилъ, что экзаменаторы примутъ непремѣнно во вниманіе мои отличныя занятія анатоміею и хирургіею, и будутъ потому весьма снисходительны.

Но я забѣжалъ слишкомъ впередъ въ моемъ разсказѣ.

Насъ послали въ Дерптъ только на два или три года, а мы между тѣмъ пробыли тамъ цѣлыхъ пять лѣтъ. Это сдѣлала для насъ польская революція 1830—1831 годовъ.

Чрезъ годъ послѣ нашего прибытія въ Дерптъ, началась турецкая война 1828 года, и намъ пришлось распрощаться съ нѣкоторыми изъ нашихъ новыхъ дерптскихъ знакомыхъ. На эту войну уѣхалъ отъ насъ Владиміръ Ивановичъ Даль (впослѣдствіи писатель подъ псевдонимомъ: „Казакъ Луганскій“).

Это былъ замѣчательный человѣкъ, сначала почему-то не нравившійся мнѣ, но потомъ мой хорошій пріятель. Это былъ прежде человѣкъ, что называется, на всѣ руки. За что ни брался Даль, все ему удавалось усвоить. Съ своимъ огромнымъ носомъ, умными сѣрыми глазами, всегда спокойный, слегка улыбающійся, онъ имѣлъ рѣдкое свойство подражанія голосу, жестамъ, минѣ другихъ лицъ; онъ съ необыкновеннымъ спокойствіемъ и самою серьезною миною передавалъ самыя комическія сцены. Подражалъ звукамъ (жужжанію мухи, комара и пр.) до невѣроятія вѣрно. Въ то время онъ не былъ еще писателемъ и литераторомъ, но онъ читалъ уже отрывки изъ своихъ сказокъ. Какъ извѣстно, прежде лейтенантъ флота—Даль долженъ былъ оставить морскую службу, отчасти потому, что страдалъ постоянно на кораблѣ морскою болѣзнью, а отчасти за памфлетъ въ стихахъ, написанный имъ на адмирала Грейга. Даль пересѣдлалъ изъ моряковъ въ лекаря; менѣе чѣмъ въ четыре года выдержалъ отлично экзаменъ на лекаря и поступилъ въ военную службу. Находясь въ Дерптѣ, онъ пристрастился къ хирургіи и, владѣя, между многими способностями, необыкновенною ловкостью въ механическихъ работахъ, скоро сдѣлался и ловкимъ операторомъ; такимъ онъ и поѣхалъ на войну; потомъ онъ сдѣлалъ и польскую кампанію, гдѣ отличился какъ инженеръ и піонеръ; а по окончаніи—вступилъ ординаторомъ въ военно-сухопутный госпиталь и вскорѣ

пересѣдлалъ изъ лекарей въ литераторы, потомъ въ администраторы и кончилъ жизнь ученымъ, посвящавшимъ много лѣтъ составленію своего лексикона, матеріалъ къ которому, въ видѣ пословицъ и поговорокъ, онъ началъ собирать еще, кажется, до Дерпта.

Въ его, читанныхъ намъ тогда, отрывкахъ попадалось уже множество собранныхъ имъ, очевидно, въ разныхъ углахъ Россіи, поговорокъ, прибаутокъ и пословицъ.

Первое наше знакомство съ Далемъ было довольно оригинально. Однажды, вскорѣ послѣ нашего пріѣзда въ Дерптъ, мы слышимъ у нашего окна съ улицы какіе-то странные, но не незнакомые звуки: русская пѣснь на какомъ-то инструментѣ. Смотримъ—стоитъ студентъ въ вицъ-мундирѣ; всунулъ онъ голову чрезъ открытое окно въ комнату, держитъ что-то во рту и играетъ: „здравствуй, милая, хорошая моя“, не обращая на насъ, пришедшихъ въ комнату изъ любопытства, никакого вниманія. Инструментъ оказывается органчикъ (губной), а виртуозъ—В. И. Даль; онъ, дѣйствительно, игралъ отлично на органчикѣ.

Послѣ Дерпта я встрѣтился съ Далемъ въ 1841 году въ С.-Петербургѣ, когда онъ служилъ у министра внутреннихъ дѣлъ Перовскаго, и нерѣдко сходился съ нимъ въ нашемъ обществѣ, составленномъ изъ дерптскихъ пріятелей.

Польская революціи шла рука-объ-руку съ французскою, послѣ которой Николай Павловичъ осерчалъ на французовъ и запретилъ русскимъ ѣздить во Францію. Да мало того: до 1833 года насъ никуда за границу не хотѣли пускать. Такъ мы и просидѣли въ Дерптѣ сверхъ положенныхъ еще два года; мнѣ, однако-же (впрочемъ и другимъ), зачислили эти годы въ пенсію, послѣ моего ходатайства у военнаго министра въ 1850-хъ годахъ.

Вмѣстѣ съ польскою революціею явилась и первая холера въ Россіи. Мы только слушали и ждали. Наконецъ, она добралась и до Дерпта. Первый случай встрѣтился между нами; одинъ изъ насъ, нѣкто Шрамковъ, изъ харьковскаго университета (фармакологъ), странный ипохондрикъ, чернолицый, съ желтоватымъ оттѣнкомъ, вдругъ, къ вечеру, занемогъ чисто

азіатскою холерою, и ночью, чрезъ шесть часовъ, Богу душу отдалъ.

Мы, медики, были неотлучно при постели больного; растирали, грѣли, дѣлали, что могли; привели двухъ профессоровъ: Замена (терапіи) и Эрдмана (фармакологіи). Ничего не помогло. Заменъ даже, кажется, струсилъ немного, и ушелъ какъ-то очень скоро, но Эрдманъ, старикъ, остался вмѣстѣ съ нами. Послѣ того холера появилась въ инвалидномъ лазаретѣ, въ концѣ города.

Вообще, однако-же, она была умѣренная и продолжалась не болѣе шести недѣль (въ октябрѣ). Я, пришедъ домой, поутру, отъ покойника Шрамкова, вдругъ какъ-то внутренно струсилъ, почувствовавъ какое-то непріятное ощущеніе тоски и страха прямо подъ ложечкою. Мнѣ казалось, что меня скоро начнетъ рвать, или же что я упаду въ обморокъ. Я взялъ тотчасъ же теплую ванну, принялъ нѣсколько опійныхъ капель, напился чаю, согрѣлся и заснулъ. Всталъ здоровымъ. Уже на другой день я сталъ ходить въ инвалидный лазаретъ и почти ежедневно вскрывалъ холерные трупы. Въ это время прибыли въ Дерптъ, изъ Москвы и Петербурга, два французскіе врача. Оба они присутствовали при моихъ вскрытіяхъ въ лазаретѣ; увидѣвъ ихъ (т.-е. вскрытія холерныхъ) едва-ли не въ первый разъ, тотчасъ же принялись записывать найденное, и очень были изумлены, когда я, желая отличиться и похвастаться предъ иностранцами, принялся препарировать узлы сочувственнаго нерва, солнечное сплетеніе, и т. п. Французы не ожидали, что русскій въ состояніи будетъ легко и скоро обнаружить предъ ними для изслѣдованія почти всѣ главные узлы груди и живота. Они выразили мнѣ свое удовольствіе тѣмъ, что начали приглашать къ Парижъ.

Наконецъ, я рѣшился идти на докторскій экзаменъ, и, полагаясь на увѣреніе Мойера, что онъ (т.-е. экзаменъ) будетъ для меня снисходителенъ, я къ нему вовсе не приготовлялся. Но, желая, по упрямству, показать факультету, что иду на экзаменъ не самъ, а меня посылаютъ насильно, я откинулъ весьма неприличную штуку.

Въ Дерптѣ дѣлались тогда экзамены на степень на дому у декана. Докторантъ присылалъ на домъ къ декану обык-

новенно чай, сахаръ, нѣсколько бутылокъ вина, тортъ и шоколадъ для угощенія собравшихся экзаменаторовъ (т.-е. факультета, свидѣтелей и т. п.). Я ничего этого не сдѣлалъ. Деканъ Ратке принужденъ былъ подать экзаменаторамъ свой чай. Жена профессора Ратке, какъ мнѣ разсказывалъ потомъ педель, бранила меня за это на чемъ свѣтъ стоитъ. Но экзаменъ сошелъ благополучно, и оставалось только приняться за диссертацію. Но она взяла времени болѣе года.

Меня уже прежде интересовала, и въ хирургическомъ, и въ физіологическомъ отношеніяхъ, перевязка брюшной аорты, сдѣланная тогда только однажды на живомъ человѣкѣ Астлеемъ Купером̀ъ.

Случай этотъ окончился смертью. Но оставалось рѣшить, дѣйствительно ли эта операція можетъ быть произведена съ надеждою на успѣхъ. Я сталъ дѣлать опыты надъ большими собаками, телятами и баранами. Всѣхъ долѣе послѣ этой перевязки жилъ у меня одинъ баранъ въ имѣніи Штакельберга, въ которомъ я гостилъ лѣтомъ у Мойера, верстъ 15 отъ Дерпта.

Результатомъ всѣхъ моихъ опытовъ и наблюденій было то, что въ большей части случаевъ перевязка брюшной аорты, замедляя внезапно кровообращеніе въ большихъ брюшныхъ артеріальныхъ стволахъ, причиняетъ смерть чрезъ онѣмѣніе спинного мозга (параличъ нижнихъ конечностей) и приливами крови къ сердцу и легкому. Но кровообращеніе послѣ перевязки аорты не прекращается въ нижнихъ конечностяхъ, и кровь тотчасъ же послѣ перевязки струится изъ ранъ бедренныхъ артерій; а перевязка аорты, сдѣланная постепенно (чрезъ постепенное сдавливаніе артеріи помощью ручного прибора), хотя переносится довольно хорошо, даетъ, однако-же, поводъ къ послѣдовательнымъ кровотеченіямъ.

Диссертація вышла для молодого докторанта не плохая.

Потомъ, въ бытность мою въ Берлинѣ, когда я представилъ ее знаменитому тогда Опицу, то онъ тотчасъ же велѣлъ перевести ее на нѣмецкій языкъ (она была писана на латинскомъ, подъ именемъ: „Num vinctura aortae abdominalis in aneurismate inguinali adhibitu facile actutum sit remedium“ и

напечаталъ ее въ журналѣ („Journal der Chirurgie und der Augenheilkunde“ v. Dr. Graefe und Prof. von Walther).

Мойеръ чѣмъ дѣлался старѣе, тѣмъ болѣе и облѣнивался. Въ послѣдній годъ нашего пребыванія въ Дерптѣ онъ поручалъ мнѣ дѣлать многія операціи. Однажды я перевязалъ бедренную артерію, вылущилъ бьющуюся аневризму височной артеріи, вылущилъ ручную кисть, сдѣлалъ отнятіе губного рака. Самъ онъ, видимо, уклонялся въ послѣднее время отъ большихъ операцій. Но въ городѣ (частной практики), когда случалось, отъ операціи нельзя было отдѣлаться.

Послѣднею операціею Мойера въ городѣ была мнѣ памятная литотомія у дерптскаго тогдашняго богача Шульца. Мойеръ дѣлалъ ее, находясь очевидно не въ своей тарелкѣ. Насъ нѣсколько,—разумѣется, и мы двое (я и Иноземцевъ),—ассистировали Мойеру. Иноземцевъ меня увѣрялъ, что онъ видѣлъ собственными глазами, какъ Мойеръ, отойдя куда-то въ сторону предъ операціею, перекрестился; было это такъ: Иноземцевъ разсказалъ Мойеру, что знаменитый московскій литотомистъ-операторъ Венедиктовъ всегда предъ операціею крестился и клалъ земные поклоны.

— „Что же, это не худо“,—замѣтилъ Мойеръ, отошелъ и перекрестился.

Операція у Шульца была сдѣлана изъ рукъ вонъ плохо. Мойеръ оперировалъ Скарповскимъ горжеретомъ; я держалъ зондъ, и, когда горжеретъ былъ введенъ, показалась моча, я вынулъ зондъ. Мойеръ повелъ пальцемъ по горжерету, въ пузырь не попалъ и разсердился на меня, зачѣмъ я вынулъ зондъ рано; „nun wird es eine Geschichte“; но Geschichte никакой не было.

Иноземцевъ ввелъ легко зондъ опять въ пузырь. Мойеръ полѣзъ снова горжеретомъ. Больной былъ толстякъ, и инструментъ для его заплывшей жиромъ промежности оказался недостаточно длиннымъ, однако-же дѣло все-таки кое-какъ сладилось; но вотъ брызнула съ шипѣньемъ изъ глубины струйка артеріальной крови.

— „Это что еще такое?“—вскрикнулъ Мойеръ; но и эта неожиданность обошлась.

Наконецъ, извлечены два камня.

Я, послѣ операціи, не утерпѣвъ, сболтнулъ между товарищами пошлую остроту: „wenn diese Operation gelingt, so werde ich den Steinschnitt mit einem Stock machen“. Это передали Мойеру, но добрякъ Мойеръ не разсердился и смѣялся отъ души; а Шульцъ выздоровѣлъ.

Особенно Мойеръ сталъ бояться вырѣзыванія наростовъ; и когда—не помню, по какому случаю—я предлагалъ ему сдѣлать такую операцію, Мойеръ сказалъ мнѣ:

— „Послушайте, я вамъ разскажу, что̀ случилось однажды съ Рустомъ. Когда я былъ,—продолжалъ Мойеръ,—въ Вѣнѣ у Руста, пріѣхавъ туда отъ Скарпы изъ Италіи, Рустъ показалъ мнѣ въ госпиталѣ одного больного съ опухолью подъ колѣномъ“ (въ подколѣнной ямѣ). „А что́ бы тутъ сдѣлалъ старикъ Скарпа?“ спросилъ у меня Рустъ.—Я, изслѣдовавъ опухоль, отвѣтилъ, что старикъ Скарпа въ этомъ случаѣ предложилъ бы больному ампутацію. „А я вырѣжу опухоль“, сказалъ мнѣ Рустъ. Подлипалы и подпѣвалы Руста уговаривали его показать прыть предъ ученикомъ Скарпы; и Рустъ, ассистируемый этими прихвостнями, началъ дѣлать операцію тутъ же, въ моемъ присутствіи. Нарость оказывается сросшимся съ костью, кровь брызжетъ струею со всѣхъ сторонъ; ассистенты, со страху, одинъ за другимъ, расходятся. Я помогаю оторопѣвшему Русту перевязывать артерію въ глубинѣ; больной истекаетъ кровью. Тогда Рустъ говоритъ мнѣ:

— „Этихъ подлецовъ мнѣ не надо бы было слушать,—они первые же и разбѣжались; а вы отсовѣтывали мнѣ, и все-таки меня не кинули; я этого никогда не забуду“.

Занимаясь диссертаціею, я велъ въ Дерптѣ пріятную жизнь: днемъ—въ клиникѣ и въ анатомическомъ театрѣ, гдѣ дѣлалъ мои опыты надъ животными, вечеромъ—въ кругу нѣсколькихъ новыхъ знакомыхъ изъ нѣмцевъ; я узналъ много новаго о студенческой жизни и ея обычаяхъ.

Вѣрно, нигдѣ въ Россіи того времени не жилось такъ привольно, какъ въ Дерптѣ. Главнымъ начальствомъ города былъ ректоръ университета.

Старикъ полиціймейстеръ Яссенскій съ десяткомъ обо-

рванныхъ казаковъ на тощихъ лошаденкахъ, которыхъ студенты, при нарушеніи общественнаго порядка, удерживали на мѣстѣ, цѣпляясь за хвосты,—полиціймейстеръ, говорю, этотъ держалъ себя какъ подчиненный передъ ректоромъ; жандармскій полковникъ встрѣчался только въ обществахъ за карточнымъ столомъ. Университетъ, профессора и студенты господствовали. Студенты по временамъ, пользуясь своимъ положеніемъ, терроризировали общество и особливо общество бюргеровъ, извѣстныхъ у студентовъ подъ именемъ „кнотовъ".

Ни одно собраніе въ мѣщанскомъ клубѣ не обходилось безъ какого-нибудь смѣшного скандала. Особливо отличались скандальными выходками студентовъ маскарады въ этихъ клубахъ. Впускались только замаскированные; и вотъ одинъ студентъ является въ красныхъ сапогахъ, съ длинною палочкою краснаго сургуча во рту, пучкомъ перьевъ на самой задней части тѣла и на головѣ; когда члены клуба не хотятъ его впустить, то онъ поднимаетъ шумъ, врывается въ залу и объясняетъ, что онъ замаскированъ въ аиста.

Другой (теперь извѣстный генералъ) дошелъ до того, что является въ бюргерскій маскарадъ въ костюмѣ Адама, прикрытомъ чернымъ домино, и, ставъ передъ кружкомъ дамъ въ позу, прехладнокровно открываетъ полы домино; дамы вскрикиваютъ, разбѣгаются; сзади стоящіе мужчины, ничего не видя, кромѣ чернаго домино, не понимаютъ, въ чемъ дѣло; наконецъ. догадываются, и будущій генералъ изгоняется mit Pomp heraus,

Особливую знаменитость пріобрѣли между студентами нѣсколько проказниковъ и оригиналовъ. Такъ, Анке, потомъ профессоръ фармакологіи московскаго университета и деканъ медицинскаго факультета, славился своими остротами и проказами. Уже одна наружность дѣлала его оригинальнымъ. Чрезвычайно подвижная и вмѣстѣ съ тѣмъ старческая, нѣсколько смахивающая на физіономію обезьяны,—какая-то юркость и скорость движеній и неистощимый юморъ придавали всѣмъ проказамъ и остротамъ Анке оригинальный характеръ.

Помню, напримѣръ, такого рода проказу. Жилъ-былъ университетскій берейторъ Даву, а у него былъ сынъ, видный парень, хорошо объѣзжавшій лошадей, но непозволительно глупый. Чтобы характеризовать его глупость, стоитъ разсказать

только такого рода пассажъ. Даву услыхалъ однажды, что студентъ, по имени Фрей, влюбившійся въ одну дѣвушку, сдѣлалъ ей предложеніе въ такомъ видѣ: „willst Du Frei werden, oder frei bleiben?“ Это очень понравилось Даву, и онъ, по совѣту Анке, написалъ и своей возлюбленной: „willst Du Даву werden, oder Даву bleiben?“

Вотъ между этимъ-то смертнымъ и Анке вспыхиваетъ война,— разумѣется, придуманная самимъ же Анке. Подговоренные товарищи убѣждаютъ Даву, что онъ не долженъ сносить обиды такого проходимца, какъ Анке, и долженъ непремѣнно съ нимъ стрѣляться, если хочетъ остаться благороднымъ человѣкомъ. Наконецъ, Даву рѣшается на пистолетную дуэль, отдавшись совершенно въ распоряженіе подговоренныхъ секундантовъ. Даву, какъ обиженный, долженъ стрѣлять первый. Пистолетъ его, конечно, зарядили не пулею. Даву стрѣляетъ. Анке падаетъ и кричитъ, что онъ тяжело раненъ. Друзья подбѣгаютъ, раздѣваютъ. О, чудо! прострѣленъ боковой карманъ въ штанахъ; въ карманѣ—табакерка Анке съ табакомъ, въ табакеркѣ—пуля. Даву такъ и ахнулъ отъ радости, что такъ счастливо и такъ мѣтко выстрѣлилъ.

Въ другомъ родѣ оригиналъ между старыми студентами въ Дерптѣ, но также, какъ и Анке, неудобозабываемый,. былъ Жако, или Іоко, Кизирецкій. Студенческій типъ, представлявшійся Кизирецкимъ, уже вымеръ давно. Даже и въ то время этотъ типъ встрѣчался только на сценѣ. Помню, въ Берлинѣ, въ одной нѣмецкой пьесѣ, извѣстный актеръ Шнейдеръ (фаворитъ государя Николая Павловича) неподражаемо изобразилъ этотъ типъ.

Въ длинныхъ ботфортахъ (Kanonen-Stiefeln) со шпорами, въ крагенѣ (студенческій плащъ), въ студенческой корпораціонной шапкѣ на маковкѣ, съ длиннымъ чубукомъ въ зубахъ, студентъ-романтикъ прохаживается журавлинымъ шагомъ по сценѣ и декламируетъ какимъ-то замогильнымъ голосомъ изъ Шекспира: „Seyn, oder nicht seyn?“

Іоко Кизирецкій былъ въ этомъ родѣ. Это былъ студенческій Донъ-Кихотъ, хотя и не высокій ростомъ, какъ Донъ-Кихотъ, но также, какъ онъ, истощенный, сухой, всегда серьёзный и нахмуренный, въ крагенѣ, ботфортахъ, шапочкѣ на ма-

ковкѣ; Кизирецкій таялъ только предъ дамами, сочинялъ имъ стихи и однажды издалъ цѣлую книжку своихъ стихотвореній съ посвященіемъ: „Rosen und Lilien, gewidmet von Kieserezky“.

Іоко являлся всегда въ траурѣ на улицахъ въ дни кончины Вашингтона и Боливара. На вопросъ, по комъ это надѣлъ трауръ, Іоко принималъ величественную позу, возводилъ глаза къ небу и торжественно провозглашалъ: „сегодня день кончины великаго сына свободы!“

Въ то время въ Дерптѣ не существовалъ еще 5-лѣтній срокъ для окончанія курса наукъ въ университетѣ, и я засталъ еще многихъ, такъ называемыхъ, bemooste Häupter,—сирѣчь, мхомъ обросшихъ головъ. Мнѣ показывали одного, сынъ крестный котораго оканчивалъ уже курсъ, а крестный папенька отца все еще числился между студентами.

Другого я зналъ, предобрѣйшую душу и вовсе не глупаго человѣка, вступившаго въ университетъ года за четыре до нашего прибытія въ Дерптъ и уѣхавшаго съ кучкою дѣтей; онъ держалъ уже у меня экзаменъ на лекаря, когда я поступилъ на профессорскую каѳедру въ Дерптѣ. Между старыми студентами пользовался также извѣстностью и спецификъ-Шульцъ. Никогда я не видѣлъ человѣка болѣе похожаго на птицу, какъ Шульца-специфика: длинный, заостренный носъ, узкій черепъ, короткое туловище, длинная шея, длиннѣйшія, какъ шесты, ноги, походка журавлиная, студенческій костюмъ.

— Шульцъ! сколько вамъ лѣтъ?—былъ постоянный вопросъ знакомыхъ и незнакомыхъ.

— Тридцать-два года, если не считать четыре года, проведенные въ приготовленіи пилюль и порошковъ,—былъ постоянный отвѣтъ Шульца-специфика.

Бѣдненькій,—сидѣлъ, сидѣлъ, ходилъ, ходилъ по лекціямъ въ университетъ, да такъ и не кончилъ курса; чрезъ 20 слишкомъ лѣтъ я встрѣтилъ его учителемъ нѣмецкаго языка въ одной школѣ кіевскаго учебнаго округа.

Свободная провинціальная жизнь того времени и корпоративное устройство дерптскаго студенчества придавали ему особое значеніе. И университетское начальство, и городское общество сознавали это значеніе, и въ своихъ отношеніяхъ къ сту-

денчеству держали себя весьма осторожно, соблюдали деликатность въ обращеніи съ студентами и не допускали ни малѣйшихъ экивоковъ въ отношеніи къ чести и достоинству студенчества.

Даже трактирщики и купцы не позволяли себѣ большой требовательности въ уплатѣ долговъ, опасаясь студенческой анаѳемы—Verschiess'a. Вѣроятно, незнакомый хорошо съ тѣмъ настроеніемъ или, просто, слишкомъ понадѣявшись на свою наглость, Ѳаддей Булгаринъ попалъ однажды въ большой просакъ. Булгаринъ владѣлъ возлѣ самаго города мызою (дачею) Карловомъ, и проживалъ тамъ по цѣлымъ мѣсяцамъ съ своею женою и знаменитою „тантою". Я нерѣдко встрѣчалъ его у Мойера. Булгаринъ старался всюду проникнуть и со всѣми познакомиться, фрапируя каждаго своею развязностью, походившею на наглость. Во время годовой ярмарки онъ ходилъ по лавкамъ заѣзжихъ петербургскихъ и московскихъ купцовъ, и когда они не уступали въ цѣнѣ, то грозилъ имъ во всеуслышаніе, что разругаетъ ихъ въ „Сѣверной Пчелѣ".

Сошедшись въ первый разъ (это было въ моемъ присутствіи) съ какими-то нѣмцами, онъ увѣрялъ ихъ, что то́, что́ русскому здорово, нѣмцу смерть, и въ доказательство приводилъ примѣръ, какъ одинъ объѣвшійся солдатъ удивилъ нѣмцевъ въ Лейпцигѣ. Всѣ думали, что онъ помретъ, объѣвшись, и всѣ рты разинули отъ удивленія, когда онъ въ ихъ же присутствіи очистилъ свой желудокъ въ количествѣ, по объему и вѣсу никѣмъ изъ присутствовавшихъ невиданномъ и неслыханномъ.

Словомъ, Ѳаддей Венедиктовичъ и въ Дерптѣ не скрывалъ своего таланта. Однажды, за приглашеннымъ обѣдомъ у помѣщика Липгардта, въ присутствіи многихъ гостей и между прочими одного студента, Булгаринъ, подгулявъ, началъ подсмѣиваться надъ профессорами и университетскими порядками. Студентъ передалъ потомъ этотъ разговоръ, конфузившій его за обѣдомъ, своимъ товарищамъ. Поднялась буря въ стаканѣ воды. Начались корпоративныя совѣщанія о томъ, какъ защитить поруганное публично Ѳаддеемъ достоинство университета и студенчества. Порѣшили преподнести Булгарину къ Карловѣ кошачій концертъ. Слишкомъ 600 студентовъ съ горшками,

плошками, тазами и разною посудою потянулись процессіею изъ города въ Карлово, выстроились предъ домомъ и, прежде чѣмъ начать концертъ, послали депутатовъ къ Булгарину съ объясненіемъ всего дѣла и требованіемъ, чтобы онъ, во избѣжаніе непріятностей кошачьяго концерта, вышелъ къ студентамъ и извинился въ своемъ поступкѣ. Булгаринъ, какъ и слѣдовало ожидать отъ него, не на шутку струсилъ, но, чтобы уже не совсѣмъ замарать польскій гоноръ, вышелъ къ студентамъ съ трубкою въ рукахъ и началъ говорить, не снимая шапки, не поздоровавшись. „Mütze herunter! шапку долой!“ — послышалось изъ толпы.

Булгаринъ снялъ шапку, отложилъ трубку въ сторону и сталъ извиняться, увѣряя и клянясь, что онъ никакого намѣренія не имѣлъ унизить достоинство высокоуважаемаго имъ дерптскаго университета и студенчества.

Тѣмъ дѣло и кончилось; студенты разошлись, но по дорогѣ встрѣтили еще экипажъ Липгардта, окружили его и тоже потребовали объясненія, которое и было дано съ полною готовностью.

Начальство университета, т. е. ректоръ (въ то время Парротъ), зная, что Булгаринъ и жандармскій полковникъ не смолчатъ, тотчасъ собралъ сеніоровъ корпорацій, потребовалъ объясненій, оказавшихся вожаками и распорядителями посадилъ въ карцеръ, и все дѣло уладилось безъ дальнѣйшихъ послѣдствій.

Да, корпоративное устройство студенчества—важное дѣло въ отношеніи порядка и благочинія. Въ этомъ я достаточно убѣдился въ бытность мою въ Дерптѣ учащимся и профессоромъ. Съ неорганизованною, безпорядочною и разношерстною толпою молодыхъ людей ничего не подѣлаешь. По моему, просто безуміе со стороны начальниковъ разглагольствовать съ собравшеюся толпою студентовъ. Это значитъ вести и себя, и молодежь въ бѣду, безъ всякой пользы для общаго дѣла.

Учрежденіе корпорацій въ нашихъ русскихъ университетахъ, по образцу дерптскаго, конечно, немыслимо. Въ Дерптѣ, какъ и въ германскихъ университетахъ, корпоративное дѣло есть дѣло традиціонное. А у насъ нѣтъ для него почвы. Но,

тѣмъ не менѣе, пока въ нашихъ университетахъ не придумаютъ учредить, тѣмъ или другимъ способомъ, студенческаго представительства, правильно организованнаго,—пусть университетское начальство не разсчитываетъ на свое вліяніе и воздѣйствіе на учащуюся молодежь.

Тогда ничего не остается иного, какъ —начальство университета, профессора, ректоры сами по себѣ, а студенты—сами по себѣ, а для порядка и благочинія—городская полиція. Это неминуемо. Но нравственно-научное значеніе университета многое утратитъ. А мы, старые студенты, именно дорожимъ тѣми воспоминаніями, которыя, по прошествіи цѣлыхъ 50 лѣтъ, все еще связываютъ насъ съ прошлымъ университетскимъ житьемъ-бытьемъ. А воспоминанія эти дороги именно потому, что они не были бы для насъ такими, еслибы мы не чувствовали могучаго и живучаго вліянія университета на весь нашъ внутренній бытъ, на все человѣческое въ насъ.

Университеты наши перестаютъ теперь быть университетами въ прежнемъ (и, я полагаю, настоящемъ) значеніи этого слова, сбитые съ толку политическимъ сумбуромъ. Но въ 1820-хъ и даже въ началѣ 1830-хъ годовъ студенчество въ Германіи и въ самомъ Дерптѣ не было чуждо политическихъ тенденцій. Правда, тенденціи того времени не были такія разрушительныя и радикальныя, какъ современныя. Tugendbund, прельщавшій и увлекавшій студентовъ, былъ нравственнымъ и національнымъ призваніемъ къ прогрессу. Однако-же, послѣ Зандовскаго убійства, германскія власти не на шутку всполошились, и корпорація студентовъ—Burschenschaft—была сильно скомпрометтирована. Эта корпорація была строго-на-строго запрещена и въ Дерптѣ; существовала, однако-же, довольно явно. Всѣ эти политическія теоріи между студентами того времени, потребовавшія множество арестовъ, заключеній въ тюрьмахъ и даже крѣпостяхъ, не уничтожили корпорацій и не препятствовали имъ существовать. Правительство убѣдилось, что занятіе корпорацій своими студенческими нуждами, потребностями и злобою дня не только не было опасно, но даже отвлекало броженіе умовъ и приковывало ихъ къ интересамъ дня и дѣйствительности.

Я полагаю, что и въ наше время, еслибы кому-нибудь

изъ излюбленныхъ ученыхъ людей удалось, при учрежденіи студенческаго представительства, положить въ основаніе его вопіющіе интересы, нужды и заботы студенческой, труженической жизни, и этимъ внести въ представительство практическую, жизненную дѣятельность,—то большинство учащихся перестало бы бѣсноваться и бить лбомъ въ стѣну, теряя безвозвратно и непроизводительно для себя самое золотое время жизни.

Во время пребыванія моего въ Дерптѣ я сдѣлалъ двѣ поѣздки: одну въ Ревель, другую въ Москву.

Поѣздка въ Ревель съ товарищами Шиховскимъ и Котельниковымъ. Для чего? А такъ, здорово живешь. Вздумали и поѣхали.

Было лѣтнее, вакаціонное время и предпослѣдній годъ нашего пребыванія въ Дерптѣ. Случились также,—и это главное,—какъ-то случайно лишнія деньги.

Наняли Plauwagen, т. е. длинную телѣгу, крытую парусиною, съ входомъ и выходомъ сбоку. Въ Ревелѣ посмотрѣли на море, на Катериненталь, нѣсколько разъ выкупались въ морѣ и познакомились съ слѣдующими оригинальными личностями.

Во-первыхъ, съ учителемъ русскаго языка Бюргеромъ, бывшимъ студентомъ московскаго университета, пріобрѣвшимъ себѣ громкую—и, увы! печальную—извѣстность у ревельцевъ своимъ эффектнымъ переходомъ изъ протестантства въ православіе. Это случилось подъ благодѣтельнымъ вліяніемъ Магницкаго, проживавшаго тогда (въ изгнаніи) въ Ревелѣ.

— „Бюргеръ,—разсказывали намъ ревельскіе нѣмцы,—шелъ по улицѣ, въ сопровожденіи толпы, въ православную церковь, надѣлъ на себя какую-то бѣлую сорочицу, привязалъ на шею себѣ веревку, плевалъ на западъ, и т. п.“—Весь церемоніалъ выкопали откуда-то изъ-подъ спуда временъ.

Во-вторыхъ, познакомились у Бюргера съ другимъ русскимъ же учителемъ, изъ семинаристовъ, женившимся, съ годъ тому назадъ, на молоденькой, 15-лѣтней нѣмочкѣ, до того еще наивной, что послѣ свадьбы она не хотѣла ложиться спать съ мужемъ, а потомъ до того погрузилась въ наслажденія медоваго мѣсяца, что мужъ чуть не помѣшался.

Это любопытное происшествіе сообщилъ намъ, въ первый же день нашего знакомства, самъ супругъ.

Въ-третьихъ, насъ пригласили непремѣнно посѣтить собраніе рѣдкостей какого-то стародавняго аптекаря, прославившагося въ Ревелѣ своими археологическими познаніями. Чего только не собралъ въ своемъ музеѣ этотъ знаменитый ревельскій археологъ! Тутъ были, между древностями, и чучелы животныхъ, и анатомическіе препараты. Но всего интереснѣе показалась мнѣ бутылка съ невскою водою отъ петербургскаго наводненія 1824 года.

Въ-четвертыхъ, мы узнали или увидали и нѣсколькихъ нѣмецкихъ, ревельскихъ, оригиналовъ. Одинъ изъ нихъ, напримѣръ, замѣчателенъ былъ тѣмъ, что носилъ для поддержанія животной теплоты длинный кусокъ фланели только на спинѣ, основываясь на томъ, что и у свиней щетина растетъ преимущественно на хребтѣ, а не на брюхѣ.

Другой, вѣроятно, одержимый галлюцинаціей органа осязанія,—впрочемъ совершенно здоровый и свѣтскій человѣкъ,—преслѣдовалъ постоянно у себя вшей на тѣлѣ. Иногда онъ вскакивалъ со стула, бѣжалъ къ окну и встряхивался на улицѣ. Ему казалось, что вши гурьбою, безъ зазрѣнія совѣсти, ползаютъ по немъ.

Весьма интересною личностью въ Ревелѣ оказался также докторъ Винклеръ (и отецъ, и сынъ). Сынъ Винклера, тогда еще молодой человѣкъ, былъ уже оригиналенъ—въ отца. Такимъ онъ остался и на цѣлую жизнь. Онъ всегда вслухъ разсуждалъ самъ съ собою, не стѣсняясь присутствіемъ своихъ паціентовъ. Разспросивъ паціента о его болѣзни, докторъ, къ изумленію всѣхъ и каждаго, начиналъ вслухъ разсуждать съ собою о способѣ леченія. „Что́ же я долженъ вамъ прописать?“ разсуждаетъ докторъ вслухъ. „Если я вамъ дамъ теперь, примѣрно, камфору, то, пожалуй, бѣду наживу; а если пропишу, напротивъ, каломель, то, можетъ статься, еще и хуже будетъ. А? Не такъ ли, какъ вы думаете? Подождемъ-ка лучше, или постойте, попробуемъ-ка вотъ это средство, старинное; отецъ очень любилъ его“.

Паціенты знали особенности своего врача, любили, уважали его,—Винклеръ былъ, дѣйствительно, типъ честнѣйшаго

и добросовѣстнѣйшаго врача,—довѣряли и охотно лечились у него.

Весьма замѣчательна одна мистическая черта въ жизни доктора или, вѣрнѣе, всей его фамиліи.

И отецъ, и—особливо—сынъ считали огонь непріязненною для нихъ стихіею. И старикъ, если я не ошибаюсь, и дѣдъ умерли отъ огня; но особливо огня боялся сынъ-докторъ. Я помню, съ какимъ душевнымъ волненіемъ онъ строилъ себѣ домъ въ Ревелѣ; первымъ дѣломъ считалъ онъ поставить на своемъ домѣ,—скорѣе, домикѣ,—громовые отводы; но, поспѣшивъ поставить ихъ нѣсколько, онъ не успѣлъ соединить ихъ съ землею, а тѣмъ временемъ поднялась гроза. Мой Винклеръ былъ внѣ себя отъ ужаса, ожидая ежеминутно разрушенія своего дома; все, однако-же, обошлось на этотъ разъ благополучно. Но Винклеру готовилось другое, болѣе сердечное горе. Отъ простуды или чего другого, Винклеръ почувствовалъ себя нездоровымъ и легъ въ постель, а на другой же день пригласилъ къ себѣ, на совѣщаніе, пріятеля д-ра Эренбуша (отъ него я и узналъ эту исторію).

— „Другъ!—обратился больной Винклеръ къ Эренбушу: —со мною происходитъ что-то неладное, неестественное“. Эти слова были сказаны таинственно, шепотомъ.

— Ну, что̀ еще такое? дай пульсъ! Пульсъ ничего, спокойный, жара нѣтъ; что же тутъ неестественнаго?

— „Да не то. Слушай. Вотъ уже вторую ночь сряду я вижу во снѣ дьявола, и не только ночью, а и днемъ; лишь закрою глаза, онъ тотчасъ же мнѣ представляется“.

— Да какой же онъ, дьяволъ-то твой? — спрашиваетъ Эренбушъ.

— „Ну, черная, страшная фигура, сидитъ въ огнѣ; но, главное, что меня тревожитъ, это то, что дьяволъ держитъ у себя на колѣняхъ моего младшаго ребенка“.

Эта галлюцинація длилась еще нѣсколько дней, потомъ прошла. Винклеръ началъ выѣзжать и уже, казалось, забылъ случившееся. И вдругъ—ужасное событіе. Ребенокъ Винклера, видѣнный имъ на колѣняхъ у дьявола, обжегся, сидя у топившейся печки, на смерть; на немъ загорѣлась рубашка, и онъ прожилъ послѣ обжога только нѣсколько часовъ.

Возвращаясь изъ Ревеля въ Дерптъ, нашъ возница заѣхалъ по дорогѣ въ корчму. Не успѣлъ онъ войти въ корчму, какъ мы услыхали русскую площадную ругань, крикъ и гвалтъ. Раскраснѣвшійся извозчикъ,—видимъ,—бѣжитъ къ намъ опрометью, а за нимъ гонится какой-то пьяный, босой и оборванный стрекулистъ; онъ подбѣгаетъ къ намъ, бормочетъ что-то несвязное и начинаетъ ругать и насъ.

— Да знаешь ли,—кричали мы, сидя въ планвагенѣ,—съ кѣмъ ты имѣешь дѣло?

— „Съ жидами“, — отвѣчаетъ стрекулистъ, и снова принимается за ругань.

— Въ полицію его представить, связать! Хозяинъ, давай сюда веревокъ! Ты видишь, онъ лѣзетъ на драку. Это безпаспортный прощалыга, а можетъ и воръ.

— „Какъ! я—безпаспортный прощалыга! А вотъ вамъ, читайте, коль умѣете. Знайте-ка, кто я!“—и вслѣдъ за этимъ къ намъ въ планвагенъ летитъ смятый и скомканный дипломъ московскаго университета на званіе дѣйствительнаго студента.

Мы узнаемъ земляка и бывшаго сотоварища по университету, казеннаго студента, отправленнаго потомъ въ Эстляндію уѣзднымъ учителемъ. Онъ былъ изъ семинаристовъ и спился на дешевой и крѣпкой картофельной, нѣмецкой, водкѣ. Послѣ этого открытія буянъ тотчасъ же стихъ, залился слезами и побѣжалъ въ корчму за водкою для угощенія земляковъ. Но мы поспѣшили уѣхать, не дожидаясь угощенія.

Такая печальная участь ожидала въ то время почти каждаго казеннаго учителя русскаго языка въ прибалтійскихъ провинціяхъ.

Потомъ, когда я былъ профессоромъ въ Дерптѣ, ко мнѣ не разъ являлись за пособіемъ бѣдствующіе русскіе учителя, безъ сапогъ и безъ заднихъ ногъ. Причина этого нерадостнаго явленія была та, что университетское начальство высылало въ прибалтійскія провинціи поскребки. Кто изъ казеннокоштныхъ плохо учился, кутилъ или пилъ горькую, и только изъ состраданія помилованъ, кое-какъ окончивъ курсъ, —тотъ посылался учителемъ въ Эстляндію или Лифляндію; а тутъ, незнакомый ни съ языкомъ, ни съ обычаями, непринятый нигдѣ въ обществѣ сверстниковъ, подвергаемый насмѣшкамъ и злымъ шут-

камъ отъ мальчиковъ-учениковъ, видавшихъ его не разъ пьянымъ, злосчастный педагогъ окончательно спивался и бѣдствовалъ. Кромѣ позора русскому имени, русскіе учители того времени ничего не вносили въ край, и русская грамота оставалась въ нѣмецкихъ и остзейскихъ школахъ дѣвственницею.

Заговоривъ о судьбахъ русскаго языка въ прибалтійскомъ краѣ, кстати скажу и объ отношеніяхъ нѣмецкаго элемента къ русскому, эстонскому и латышскому.

Въ первые годы моего пребыванія въ Дерптѣ нѣмцы и все нѣмецкое производили на меня какое-то удручающее впечатлѣніе. Мнѣ казались нѣмцы надутыми и натянутыми педантами, свысока, недоброжелательно и съ презрѣніемъ относящимися ко всему русскому, а слѣдовательно и къ намъ. Они, скучные и бездарные учителя,—казалось мнѣ,—не могли возбудить въ насъ ни малѣйшаго сочувствія къ своей наукѣ. Напротивъ того, французы казались народомъ избраннымъ, даровитымъ, симпатичнымъ. Въ моемъ дневникѣ, который я велъ тогда, безпрестанно встрѣчались порою страстные, лирическіе возгласы то противъ моего однокашника Иноземцева, то противъ нѣмецкихъ профессоровъ. Это предубѣжденіе мы, русскіе, выносили съ собою изъ дома и изъ нашихъ университетовъ. Наши отцы и учители были такого же мнѣнія, какъ и мы, о нѣмцахъ и французахъ. И, надо сказать правду, нѣмецкая наука того времени,—между прочими, конечно, и врачебная,—была не очень привлекательна для молодого русскаго. Мы, не пріученные ни въ школахъ, ни въ университетахъ сосредоточивать вниманіе, слѣдить и заниматься самостоятельно и самодѣльно научными предметами,—мы, говорю, не могли сочувственно относиться къ длиннымъ, переполненнымъ вставками, періодамъ тогдашней нѣмецкой рѣчи. Все казалось съ перваго взгляда туманнымъ, сбивчивымъ, неяснымъ. То ли дѣло у француза—все ясно, чисто, гладко, наглядно. А тутъ еще такія имена, какъ Биша, Desault, Dupuytren. Пожалуй, вонъ, педантъ нѣмецъ Эрдманъ и называетъ Broussais мальчишкою въ сравненіи съ нѣмцемъ же Reil'емъ; да вѣдь это говоритъ нѣмецкая же зависть и тупоуміе.

Такъ думалось въ то время.

И остзейскіе нѣмцы своими отношеніями къ русскимъ

вообще поддерживали антипатію,—не хотѣли знать ничего русскаго; покровительствуемые и отличаемые правительствомъ, они и къ нему только тогда относились сочувственно, когда оно оказывало имъ явное предпочтеніе и соблюдало ихъ нѣмецкіе интересы.

Современныя натянутыя отношенія руссофиловъ къ нѣмцамъ берутъ свое начало съ того еще времени, когда прибалтійскій край пользовался особымъ почетомъ и предпочтеніемъ; и въ натянутости отношеній не мало виновата и безтактность остзейцевъ, искавшихъ только того, чтобы пользоваться своимъ выгоднымъ положеніемъ, и не умѣвшихъ или не хотѣвшихъ искать сближенія съ русскою національностью.

Но кто отнесется, какъ опытъ и время меня научили относиться, безпристрастно и добросовѣстно къ обѣимъ сторонамъ, тотъ, я полагаю, отдастъ, вмѣстѣ со мною, полную справедливость многимъ прекраснымъ, высокимъ и образцовымъ свойствамъ германскаго духа и германской науки.

Вѣдь не можемъ мы, въ самомъ дѣлѣ, винить націю,—и націю, очевидно, даровитую и высоко-культурную, — что она предпочитаетъ и старается предпочитать свое—чужому. Когда свое дѣйствительно и существенно хорошо, то вопросъ: насколько лучше его чужое—трудно рѣшить. Мы не должны судить по себѣ. Намъ не трудно быть безпристрастными къ чужому. У насъ свое дѣйствительно и существенно хорошее—рѣдкая птица; правда, рѣдкую птицу тоже нелегко оцѣнить безпристрастно, но рѣдко встрѣчающаяся оцѣнка не вредитъ обиходному безпристрастію.

И мы, по крайней мѣрѣ нашъ культурный слой, вообще, къ своему русскому не пристрастенъ. Но и нашъ культурный слой не безпристрастно сравниваетъ одно чужое съ другимъ чужимъ.

Французамъ, напримѣръ, мы отдаемъ преимущество, какъ я убѣдился на собственномъ опытѣ, вовсе не сознательно.

Еще съ прошедшаго столѣтія французскій языкъ вошелъ у насъ въ моду, сдѣлался вывѣскою образованія, хорошаго тона; онъ открываетъ входъ и къ сильнымъ міра. Столица Франціи считается столицею европейскаго міра; французы—народъ обходительный, ловкій, веселый, остроумный, и пр. и пр.

все въ этомъ родѣ. Но, прослѣдивъ себя и французовъ глубже, русскому культурному человѣку—я полагаю—можно бы было убѣдиться, что складъ русскаго ума имѣетъ мало общаго съ французскимъ складомъ, и скорѣе склоняется на сторону германскаго. Недаромъ изъ славянъ вышло немало цѣльныхъ ученыхъ въ нѣмецкомъ духѣ.

Я думаю даже, что мы именно потому и менѣе сочувствуемъ нѣмцамъ, что съ ними сходимся по обычаямъ, образу жизни въ холодныхъ странахъ. И развѣ духъ германской поэзіи не болѣе сроденъ духу нашей, чѣмъ французской?

И вотъ, чѣмъ долѣе я оставался въ Дерптѣ, чѣмъ болѣе знакомился съ нѣмцами и духомъ германской науки, тѣмъ болѣе учился уважать и цѣнить ихъ. Я остался русскимъ въ душѣ, сохранивъ и хорошія и худыя свойства моей національности, но съ нѣмцами и съ культурнымъ духомъ нѣмецкой націи остался навсегда связаннымъ узами уваженія и благодарности, безъ всякаго пристрастія къ тому, что̀ въ нѣмцѣ дѣйствительно нестерпимо для русскаго, а можетъ быть и вообще для славянина. Непріязненный, нерѣдко высокомѣрный, иногда презрительный, а иногда завистливый взглядъ нѣмца на Россію и русскихъ и пристрастіе ко всему своему нѣмецкому мнѣ не сдѣлались пріятнѣе, но я научился смотрѣть на этотъ взглядъ равнодушнѣе и, нисколько не оправдывая его въ цѣломъ, научился принимать къ свѣденію, не сердясь и безъ всякаго раздраженія, справедливую сторону этого взгляда.—Перейду къ фактамъ.

Въ 1830-хъ годахъ прибалтійскіе дворяне, а съ ними и все культурное остзейское общество, очень гордились свободою своихъ крестьянъ.

— „У васъ тамъ, въ Россіи, есть еще крѣпостные,—хвастались нѣкоторые студенты,—а у насъ уже ихъ давно нѣтъ. У насъ всѣ свободны; это потому, что напъ край — голова Россіи“.

— „Кто это, господа, выдумалъ, — слыхалъ я также въ Дерптѣ,—что будто-бы русское правительство заложило остзейскія провинціи у заграничныхъ банкировъ? Какая нелѣпость!

Закладываютъ имѣнія, земли, но гдѣ слыхано, чтобы кто закладывалъ свою голову и свои глаза!“

Гораздо остроумнѣе и справедливѣе, хотя и не менѣе печальный для русскаго самолюбія, отвѣтъ Мойера Ѳаддею Булгарину—по слѣдующему случаю:

Ѳаддей Венедиктовичъ, по обыкновенію, подгулявъ здорово за однимъ обѣдомъ у дерптскаго помѣщика, началъ молоть вздоръ безъ всякаго соображенія и такта.

— „Вотъ постойте, — кричалъ онъ: — еще увидите, что русскія знамена будутъ развѣваться на берегахъ Рейна!“

Всѣ взбуторажились. „Какъ! Что? Да это уже слишкомъ нагло!“ Шумъ, крикъ. Булгаринъ радъ-радешенекъ, что ему удалось разозлить нѣмцевъ. Когда шумъ немного стихъ, Мойеръ, присутствовавшій на обѣдѣ и считавшійся, по своему родству и близкому знакомству съ русскими, какъ бы полу-русскимъ,— вдругъ обращается тихо и спокойно къ шумѣвшимъ и къ Булгарину.

— „Что же, господа, это дѣйствительно возможно: русская армія можетъ завоевать Рейнъ; а знаете ли, Ѳаддей Венедиктовичъ, что́ потомъ будетъ?“ —обратился Мойеръ къ Булгарину.

Ѳаддей Венедиктовичъ уже радовался, что нашелъ въ Мойерѣ еще подпору,—нѣсколько замялся.

— „Хотите, я вамъ скажу?—продолжалъ Мойеръ:—будетъ то, что виноградныя лозы на Рейнѣ выдернутъ, а на мѣсто ихъ посадятъ лукъ“.

Не правда ли, что мѣтко? И всякій безпристрастный русскій скажетъ, что вѣрно. Глупое, заносчивое, а главное, поддѣльное самохвальство упившагося Ѳаддея не могло быть лучше отдѣлано.

Въ другой разъ Мойеръ защитилъ русское правительство противъ нѣмецко-французскаго либерализма.

Французская революція 1830-го года вскружила и нѣмцамъ голову, и вотъ одинъ изъ нихъ, въ гостяхъ у Мойера, новопріѣзжій, началъ восхвалять новое французское правительство на счетъ Россіи.

— „Что вы мнѣ толкуете!—воскликнулъ Мойеръ:—я всегда предпочту быть съѣденнымъ лучше львомъ, чѣмъ искусаннымъ до смерти кучею муравьевъ“.

Дѣйствительно, Мойеръ любилъ и уважалъ новаго государя (Николая Павловича). „Александръ I-й былъ похожъ на французскаго маркиза,—по словамъ Мойера,—а Николай—это настоящій государь, какъ надо быть“.

Въ бытность свою въ Петербургѣ, Мойеръ съ восхищеніемъ разсказывалъ мнѣ про извозчика, на которомъ онъ куда-то ѣхалъ.

„Вдругъ вижу,—говорилъ Мойеръ,—что мой извозчикъ снялъ шапку и ѣдетъ съ открытою головою.

— Что ты?—спрашиваю его.

— „А тамотко онъ самъ проѣхалъ, онъ самъ!“

„Вотъ такъ отвѣтъ; лучшаго имени государю не придумаешь!“

Но какъ ни хвастались предъ нами прибалтійскіе культурные люди 1830-хъ годовъ свободою своихъ крестьянъ, видно было, что это дѣло свободы не совсѣмъ ладное. Нищету сельскаго люда нельзя было скрыть; да и помѣщики не очень блаженствовали, и имѣнія то-и-дѣло переходили въ руки арендаторовъ (напоминавшихъ мнѣ съ виду польскихъ арендаторовъ юго-западнаго края). Причину приписывали тупости и идіотизму эстонскаго мужика. Не знаю, какъ теперь, но въ то время было въ ходу множество разсказовъ о врожденной тупости и ограниченности эстовъ. Передавали, напримѣръ, за достовѣрный фактъ, что одинъ крестьянинъ, слыхавшій о томъ, что можно деньги класть въ ростъ и получать годовые проценты, закопалъ скопленные имъ сто рублей въ землю на цѣлый годъ; по прошествіи этого времени, вынувъ ихъ опять и сосчитавъ нѣсколько разъ, этотъ предпріимчивый эстъ бѣжитъ къ сельскому судьѣ, ревetъ и жалуется, что его обокрали.

— Да что-же и сколько у тебя украли? — спрашиваетъ судья.

— „А я знаю,— отвѣчаетъ эстъ, —я знаю только, что я закопалъ сто рублей“.

— Ну, а сколько же опять вынулъ?—спрашиваютъ его.

— „Да опять только сто“.

— Такъ на что же и на кого ты жалуешься?

— „Да отложенныя деньги, меня увѣряли, должны рости

и прибавляться, а почему же мои цѣлый годъ пролежали и ничего не выросли?“

Неумѣнье эстовъ считать и легко соображать, дѣйствительно, бросалось въ глаза.

Яйцы, раки и т. п. покупались у крестьянъ на рынкѣ не иначе, какъ отсчитывая за каждую штуку по одной мѣдной монетѣ. Куплены яйца по копѣйкѣ за штуку: покупатель беретъ одно яйцо и кладетъ копѣйку, беретъ потомъ другое и опять выкладываетъ копѣйку. Это я и самъ видалъ.

Въ клиникѣ встрѣчались также презабавныя qui pro quo, свидѣтельствовавшія не въ пользу эстонской сообразительности.

Отпущенныя больнымъ крестьянамъ лекарства весьма нерѣдко перемѣнялись, такъ что наружныя употреблялись внутрь и внутреннія—снаружи. Разсказывали даже презабавную исторію о лечебномъ дѣйствіи аптекарскихъ пробокъ на чухонцевъ. Одинъ больной крестьянинъ получилъ изъ клинической аптеки какое-то лекарство и послѣ того не являлся. Чрезъ мѣсяцъ онъ приходитъ опять въ клинику и проситъ того же самаго лекарства, по его словамъ, какъ рукою снявшаго болѣзнь; а такъ какъ она опять воротилась, то онъ и пришелъ опять попросить цѣлебнаго снадобья. Справились въ клиническихъ книгахъ, въ аптекѣ, у практикантовъ, наконецъ у самого аптекаря, который хорошо помнилъ больного, и лекарство отпустили. Крестьянинъ, послѣ этого, является въ клинику опять и увѣряетъ, что лекарство отпущено ему не то, не прежнее, сразу его вылечившее; ему отпускаютъ опять то же лекарство, но въ усиленномъ пріемѣ. Все не помогаетъ.

— Да дайте мнѣ, ради Христа, то, что я съѣлъ въ первомъ лекарствѣ!—проситъ больной, кланяясь низко.

— „Какъ съѣлъ? да вѣдь лекарство было жидкое!“

— Правда, что жидкое,—былъ отвѣтъ:—да въ жидкомъ-то плавали какіе-то корешки; вотъ они-то самые мнѣ и помогли, когда я ихъ съѣлъ.

— „Что за притча!“

Разсказъ больного заинтересовалъ клиницистовъ; началось разслѣдованіе. Наконецъ, аптекарь догадался, въ чемъ дѣло, и сначала какъ-то мялся и что-то скрывалъ, но потомъ не выдержалъ и признался, что у него было нѣсколько старыхъ

большихъ стклянокъ съ оставшимися въ нихъ пробками. Вотъ въ одну-то изъ такихъ стклянокъ и было налито лекарство, надѣлавшее столько шуму.

Не свидѣтельствуетъ въ пользу чухонскаго остроумія и колокольчикъ отъ дуги, хранившійся въ мое время въ клиническомъ кабинетѣ и вытащенный Мойеромъ изъ заднепроходной кишки эстонца. Онъ страдалъ запоромъ и, вмѣсто того, чтобы способствовать выходу задержаннаго наружу, попалъ на мысль —забить еще клинъ снаружи. Колокольчикъ ушелъ глубоко и не безъ труда былъ извлеченъ чрезъ нѣсколько дней.

Но, разумѣется, всѣ эти свидѣтельства чухонскаго тупоумія не доказывали еще, что тупоуміе и есть главная причина нищеты сельскаго люда. Во-первыхъ, уже потому—нѣтъ, что эстъ, несмотря на свою неразвитость, не лѣнивъ, настойчивъ и терпѣливъ; это могъ каждый изъ насъ замѣтить, вышедъ въ поле и наблюдая, съ какимъ настойчивымъ трудомъ надо было орать пахарю на почвѣ, усѣянной валунами. Потомъ, прибалтійскій край населенъ не одними эстами; а другое его населеніе—леты, латыши—уже непохожи на чухонъ. Недаромъ языкъ латыша весьма близокъ къ санскритскому; латышъ гораздо ближе и къ славянскому племени. Его никто не назоветъ идіотомъ.

Съ перваго же дня нашего пріѣзда въ Дерптъ, къ намъ нанялись въ услуженіе пара супруговъ; мужъ—эстъ, жена—латышка. Мужъ Іоганнъ, типъ чухонства,—нерасторопный, тяжелый, непонятливый, впрочемъ очень честный и работящій,—годился бы собственно для ношенія однѣхъ тяжестей; онъ былъ сильный, коренастый парень. Смѣшонъ до крайности своею неповоротливостью и свойственною всѣмъ эстамъ невозможностью произносить букву *c* передъ *m*: стаканъ выходитъ „таканъ“; Stiefel—„Tiefel“. Совершенно другое существо была жена Іоганна, латышка Лена: подвижная, всегда чѣмъ-нибудь занятая, чистоплотная, аккуратная, всегда въ чистомъ бѣломъ чепцѣ и фартукѣ, Лена могла вездѣ успѣть и всюду поспѣть въ два раза скорѣе своего мужа; зная хорошо по-нѣмецки, она говорила за мужа; знала хорошо считать и читать. Лена была піэтистка, и утреннее время по праздникамъ проводила въ молитвенномъ домѣ, въ чтеніи и пѣніи псалмовъ; иногда же, оставаясь одна

въ комнатѣ, она пѣла вполголоса молитвы. Лена служила мнѣ цѣлыхъ десять лѣтъ; пять лѣтъ служила мнѣ и Иноземцеву, когда мы жили вмѣстѣ въ клиникѣ, и пять лѣтъ—когда я былъ профессоромъ въ Дерптѣ; тогда на ней одной лежало все мое домашнее хозяйство,—другого слуги у меня не было; даже и тогда (правда, очень рѣдко), когда собирались у меня на профессорскій вечеръ, Лена успѣвала всегда и вездѣ одна. Ни разу не было ни пропажи, ни потери; никогда я не ссорился съ Леною, и ни я ей, ни она мнѣ ни однажды не сказали ни одного грубаго слова. Когда она служила намъ вмѣстѣ съ Иноземцевымъ, то надо было удивляться ея такту и находчивости въ присутствіи молодыхъ людей, собиравшихся нерѣдко у Иноземцева и позволявшихъ себѣ говорить разныя нескромности. Лена, прислуживая, дѣлала такъ, какъ будто не слышитъ и не обращаетъ никакого вниманія; если же кто заходилъ слишкомъ далеко, обращаясь къ ней прямо съ болтовнею, того она такъ ловко и учтиво обрѣзывала, что онъ тотчасъ же прикусывалъ языкъ.

Для меня всегда были замѣчательны отношенія эстовъ и летовъ къ нѣмецкому культурному слою. Какъ только эстъ или летъ дѣлался горожаниномъ, ремесленникомъ, школьникомъ городского училища, онъ превращался или старался превратиться въ чистокровнаго нѣмца. И сколько уже дѣльныхъ и талантливыхъ врачей и мастеровъ съ нѣмецкими и не-нѣмецкими именами перешло изъ эстовъ и летовъ въ нѣмецкую интеллигенцію!

Многіе изъ перешедшихъ, въ мое время, забыли и старались хорошо забыть свое происхожденіе, скрывая его или относясь къ своему народу свысока. Теперь, кажется, обнаруживается нѣкоторая реакція. Я же слыхалъ только отъ прислуги о розни между господами и народомъ. Лена сказывала мнѣ, что крестьяне не долюбливаютъ саксовъ (господъ); но о себѣ она умалчивала, относя себя уже къ другому, болѣе культурному слою.

Ненависть или, по крайней мѣрѣ, непріязнь сельскаго люда къ ихъ саксамъ начала проявляться къ концу 1830-хъ годовъ, преимущественно во время голодовки, и тогда же слышнѣе заговорили и о недостаткахъ, пробѣлахъ и промахахъ въ аграр-

номъ дѣлѣ. Русскіе, знакомые съ устройствомъ сельскаго люда въ прибалтійскомъ краѣ, заговорили первые, что нищета и недовольство зависятъ не отъ лѣности и тупоумія народа, а отъ того, что его обезземелили при эманципаціи. Это такъ; но наши народолюбцы забыли, и теперь еще забываютъ, что за 60 и болѣе лѣтъ тому назадъ у насъ иначе и невозможно бы было освободить крестьянъ отъ крѣпостной кабалы, какъ оставивъ всю землю за помѣщиками. Крѣпостники и крѣпостничество того времени были не чета нынѣшнимъ.

Въ Лифляндіи я слыхалъ отъ старожиловъ, что Александръ I, освободивъ крестьянъ въ прибалтійскомъ краѣ, хотѣлъ-было испробовать эту мѣру и въ сосѣдней псковской губерніи; но по пріѣздѣ въ эту губернію былъ предувѣдомленъ рижскимъ генералъ-губернаторомъ Паулуччи о заговорѣ противъ жизни императора; сбирались, будто-бы, отравить его ядомъ.

Заговоръ устрашилъ, будто-бы, императора, и намѣреніе эманципировать псковскихъ крестьянъ было оставлено.

Какими бы ни были отношенія крестьянъ къ интеллигенціи прибалтійскаго края въ началѣ и серединѣ 1830-хъ годовъ, то вѣрно, что ни крестьяне, ни горожане, ни интеллигенція остзейскихъ провинцій въ то время не питали расположенія и симпатіи ни къ чему русскому. По-эстонски русскіе и татары имѣли одно и то же названіе; русскій языкъ въ школахъ былъ въ пренебреженіи, и имъ,—конечно, по винѣ самого правительства,—никто не занимался; русское общество, и безъ того малочисленное, оставалось совершенно изолированнымъ. Только нашъ профессорскій институтъ какъ будто намекалъ на нѣкоторую связь прибалтійской интеллигенціи съ нашею отечественною. Край управлялся своими провинціальными законами, ландтагами, ландратами и т. п. Даже деньги были провинціальныя, sui generis, кожаныя и картонныя. Намъ выдавали жалованье изъ уѣзднаго казначейства пачками кожаныхъ и картонныхъ четырехугольныхъ листковъ, величиною въ обыкновенныя визитныя карточки.

Не знаю, кто—городскія или губернскія власти и общества имѣли право выпускать эту монету; но она не была свыше 2-хъ рублей (четвертаковъ) и ниже 50-ти копѣекъ (ассигн.).

Не мудрено, что о русскихъ законахъ и русскомъ правосудіи имѣлось въ краѣ весьма нелестное понятіе.

Мойеръ, проходя однажды со мною по улицѣ, увидалъ чухонца, колотившаго напропалую палкою свою лошаденку; она застряла въ грязи съ возомъ дровъ. Смотрю—мой Мойеръ, всегда спокойный и разумный, вдругъ бросается на мужика и даетъ ему нѣсколько подзатыльниковъ, что-то крича по-чухонски и, очевидно, заступаясь за несчастную лошадь. Я стою на троттуарѣ и смотрю съ удивленіемъ на эту неожиданную сцену.

Мойеръ, возвратившись ко мнѣ, говоритъ: „So ist mit Gerechtigkeit in Russland!“ (Можно безнаказанно драться на улицѣ.)

„Значитъ,—подумалъ я,—по твоему, не тотъ виноватъ, кто человѣка бьетъ за лошадь, а тотъ, кто этого не допустить не въ силахъ“.

— „Herr Doktor Wachter, Sie sind dummer, als die russischen Gesetze dieses erlauben“,—говорилъ на своихъ лекціяхъ другой профессоръ.

Это былъ оригиналъ, закоренѣлый нѣмецъ, остроумный и даровитый, съ необыкновенною памятью (онъ наизусть почти зналъ „Оберона“ Виланда), но горькій пьяница, профессоръ анатоміи Цихоріусъ, старый холостякъ, день и ночь сидѣвшій у себя въ домѣ съ закрытыми ставнями. День и ночь горѣла свѣча. Вмѣсто мебели сложены были въ комнатахъ груды порожнихъ бутылокъ. Вотъ этотъ геній и находилъ, что его прозекторъ, австріецъ д-ръ Вахтеръ, превзошелъ ту степень глупости, которая допускается русскими законами.

А д-ръ Вахтеръ отвѣчаетъ ему:

— „Herr Hofrath, ich kenne die russischen Gesetze nicht“.

Вотъ какъ жили при Аскольдѣ наши дѣды и отцы!

Уже кстати о д-рѣ Вахтерѣ. Онъ былъ моимъ пріятелемъ, насколько 50—60-лѣтній, стараго покроя, австрійскій подданный могъ быть пріятелемъ русскаго юноши, искавшаго прогресса чутьемъ.

И послѣ, когда я сдѣлался профессоромъ въ Дерптѣ, я былъ единственный изъ профессоровъ, котораго навѣщалъ и

съ которымъ знакомъ былъ д-ръ Вахтеръ. Какъ кажется, именно австрійское Вахтера происхожденіе и католическое вѣроисповѣданіе и были мотивами нашего сближенія. Протестанты, сѣверяне, доктринеры—смотрѣли свысока на австрійскаго лекаря-католика, не учившагося въ нѣмецкомъ университетѣ. „Isti propheti“,—называлъ онъ ихъ мнѣ на своемъ латинскомъ діалектѣ, завидѣвъ гдѣ-нибудь профессора.

Д-ръ Вахтеръ, послѣ отставки Цихоріуса, читалъ анатомію по найму и былъ, дѣйствительно, чудакъ не малой руки. Онъ выстроилъ себѣ какой-то невиданной архитектуры домъ, похожій на восточные дома, съ плоскою крышею, углубленный въ землю, одноэтажный, кирпичный, окнами только на дворъ, а съ улицы представлявшійся проходящимъ низкою и глухою кирпичною стѣнкою. Въ этомъ жилищѣ д-ръ Вахтеръ обиталъ съ своею небольшою семьею; вставалъ очень рано, пилъ вмѣсто кофе и чая водку, закусывалъ ячменною кашею, бралъ въ зубы спичку вмѣсто сигары и отправлялся въ анатомическій театръ, гдѣ одинъ, безъ помощниковъ, препарировалъ и читалъ лекціи громко и внятно, шокируя и смѣша слушателей своимъ австрійскимъ діалектомъ. Со мною, гдѣ и какъ только можно, Вахтеръ говорилъ по-латыни, отпуская при каждомъ удобномъ случаѣ какой-нибудь латинскій экспромтъ. Увидитъ ли докторъ гдѣ-нибудь собравшихся на улицѣ бабъ, онъ непремѣнно скажетъ мнѣ:

Quando conveniunt
Catherina, Rosina, Sybilla
Sermonem faciunt
Et de hoc, et de hoc, et de illa.

Д-ръ Вахтеръ былъ и анатомъ, и врачъ-практикъ; дѣлалъ операціи, на которыхъ я ему обыкновенно ассистировалъ; лечилъ, большею частію, въ домахъ кнотовъ, ремесленниковъ низшаго разряда.

Студенты пускали въ ходъ множество забавныхъ анекдотовъ изъ практики д-ра Вахтера. Какъ онъ, напримѣръ, увѣрялъ своего больного, что у него солитеръ сталъ поперекъ кишки, а прописанное лекарство непремѣнно поворотитъ глисту и распрямитъ ее въ длину.

Но лекарствъ изъ аптеки д-ръ Вахтеръ не любилъ пропи-

сывать и предпочиталъ имъ, гдѣ только можно, домашнія; изъ нихъ любимымъ для д-ра былъ ромашковый чай. Разсказываютъ, что, позванный однажды ночью къ трудно-больному, д-ръ Вахтеръ идетъ прямо къ постели, стоявшей во мракѣ, и прямо даетъ больному свой обыкновенный совѣтъ: „Trinken Sie mal Camomillenthee, es wird schon gut werden“,—а затѣмъ щупаетъ пульсъ и, не нашедъ его на похолодѣвшей уже рукѣ, спокойно извиняется:

— „Ah, so! Verzeihen Sie, Sie sind schon todt“.

Таковъ былъ Вахтеръ. Но пусть вѣрятъ или не вѣрятъ мнѣ, а я полагаю, что онъ, Вахтеръ, принесъ мнѣ своими анатомическими демонстраціями пользы не менѣе знаменитаго Лодера. Немало изъ слышанныхъ мною въ нѣмецкихъ и французскихъ университетахъ приватныхъ лекцій (privatissima) не принесли мнѣ столько пользы, какъ privatissimum у Вахтера, въ первый же семестръ моего пребыванія въ Дерптѣ. Вахтеръ прочелъ мнѣ одному только вкратцѣ весь курсъ анатоміи на свѣжихъ трупахъ и спиртовыхъ препаратахъ. Съ тѣхъ поръ мы и стали пріятелями.

Я уже сказалъ, что нѣмцы въ Дерптѣ, въ первое время моего пребыванія, за исключеніемъ, можетъ быть, одного только Мойера, произвели отталкивающее впечатлѣніе. И прежде чѣмъ время, опытъ и разсудокъ успѣли измѣнить мой опибочный и пристрастный взглядъ, неожиданный случай указалъ мнѣ на личность, совершенно непохожую на другихъ и сразу же оказавшую на меня привлекательное дѣйствіе.

Въ Дерптѣ жилъ въ то время богатый лифляндскій помѣщикъ Липгардтъ. Сынъ его—молодой Карлъ von Liphardt, получилъ домашнее и, что̀ важно, вовсе не нѣмецкое образованіе; — онъ учился у швейцарца. По смерти дѣда, Карлъ Липгардтъ получилъ значительное наслѣдство и, сдѣлавшись самостоятельнымъ, захотѣлъ усовершенствовать свое образованіе университетомъ, но приватно и не поступая въ университетъ студентомъ. Съ этою цѣлью онъ обратился прежде всего къ профессору математики Бартельсу. Математика интересовала Липгардта, и онъ ею прилежно занимался. Бартельсъ, очень занятый высшею математикою, сначала не повѣрилъ, чтобы молодой человѣкъ домашняго воспитанія былъ въ состояніи

понимать уроки Бартельса изъ высшей математики, и, чтобы доказать это молокососу, задалъ ему для пробы какую-то хитросплетенную задачу. Липгардтъ тихо и скромно принялся, въ присутствіи же Бартельса, за рѣшеніе. Профессоръ изумился. У него и студенты, оканчивающіе курсъ, не рѣшали такъ своеобразно, какъ это сдѣлалъ Липгардтъ.

— „Молодой человѣкъ,—сказалъ тогда Бартельсъ:—я вижу, у васъ есть талантъ; приходите, я охотно буду давать вамъ уроки“.

Но талантъ Карла Липгардта былъ не односторонній; его начинала интересовать не одна математика; онъ скоро явился и въ анатомическій театръ, таща съ собою анатомическій атласъ F. Cloquet (тогда самый новый и самый лучшій). Тутъ-то и было наше первое свиданіе. К. Липгардтъ принялся съ юношескимъ пыломъ за анатомію. Препарированіе на трупахъ, чтеніе Биша, лекціи—заняли все время. Вотъ тогда-то и Мойеръ, познакомившись съ Липгардтомъ, къ удивленію его прежнихъ слушателей, принялъ дѣятельное участіе въ нашихъ работахъ.

Я не зналъ въ жизни ни одного человѣка, имѣвшаго такъ много разнообразныхъ научныхъ и притомъ глубокихъ свѣденій, какъ Карлъ Липгардтъ. Старикъ профессоръ Эрдманъ имѣлъ тоже весьма многостороннее образованіе, говорилъ по-латыни какъ Цицеронъ, былъ хорошій ботаникъ и физикъ; разсказывали, что онъ ежегодно проходилъ у себя и для себя курсъ медицинскихъ и естественныхъ наукъ; но знанія Эрдмана относились все-таки къ одной категоріи наукъ, тогда какъ молодой Липгардтъ, бывъ математикомъ и имѣвъ, по свидѣтельству профессора Бартельса, замѣчательный математическій талантъ, съ такимъ же успѣхомъ занимался анатоміею, физіологіею и хирургіею. Въ Берлинѣ Липгардтъ очень сблизился съ Іоганномъ Мюллеромъ, въ Дерптѣ и Кенигсбергѣ—съ профессоромъ Ратке, и въ то же самое время предавался изученію изящныхъ художествъ: живописи и скульптуры; потомъ, уѣхавъ въ Италію, посвятилъ цѣлые годы изученію этихъ предметовъ, а возвратясь въ Дерптъ, — началъ заниматься, какъ мнѣ сказывали, изученіемъ теологіи и древностей. Въ послѣдній разъ я видѣлъ моего стараго пріятеля, не менѣе меня поста-

рѣвшаго, въ Штутгардтѣ; его интересовало тогда изученіе средневѣковыхъ готическихъ зданій, и онъ мнѣ съ восторгомъ указывалъ на нѣкоторыя изъ нихъ въ Штутгардтѣ. За политикою Липгардтъ слѣдилъ неустанно, еще учась съ нами въ Дерптѣ.

Во всемъ прибалтійскомъ краѣ никто не имѣлъ такой огромной и многосторонней библіотеки и такого собранія картинъ, гравюръ, статуй и слѣпковъ, какъ Липгардтъ. При всемъ этомъ — ни малѣйшаго педантства и чрезвычайная скромность. Мнѣ казалось только, что женитьба на католичкѣ въ Боннѣ нѣсколько измѣнила его міровоззрѣніе.

Я остановился въ моемъ дневникѣ на Липгардтѣ въ особенности потому, что изъ знакомыхъ мнѣ людей Карлъ Липгардтъ всѣхъ болѣе доказалъ мнѣ, какъ различны между собою двѣ способности человѣческаго духа: ёмкость ума и его производительность (Capacität und Productivität); отъ первой зависитъ способность пріобрѣтать самыя разностороннія свѣденія, отъ второй — способность извлекать изъ пріобрѣтенныхъ свѣденій нѣчто свое самодѣльное и самостоятельное.

Количество и разнообразіе знаній весьма вліяютъ на произведеніе, но не на самую производительность.

Емкость и производительность не находятся въ прямомъ отношеніи. Не свѣденія, не знанія, пріобрѣтенныя ёмкостью ума, а какая-то, не каждому уму свойственная, vis a tergo толкаетъ его къ новой работѣ, извлеченію этого чего-то, своего, изъ запаса знаній. Такъ, Липгардтъ былъ несравненно образованнѣе и по ёмкости ума гораздо умнѣе меня, умнѣе и многихъ ученыхъ, способствовавшихъ ему пріобрѣтать многостороннія знанія; но Липгарду недоставало этой самой vis a tergo. Люди съ умами этой категоріи родятся для умственныхъ наслажденій пріобрѣтаемыми такъ легко для нихъ богатствами свѣденій; но уму, кромѣ огромной ёмкости, необходима еще и большая производительная сила, чтобы сдѣлаться Гумбольдтовскимъ.

Моя первая поѣздка изъ Дерпта въ Москву была задумана уже давно. Вмѣсто двухъ лѣтъ я уже пробылъ четыре года въ Дерптѣ; предстояла еще поѣздка за границу,—еще два года; а

старушка-мать между тѣмъ слабѣла, хирѣла, нуждалась и ждала съ нетерпѣніемъ. Я утѣшалъ, обѣщалъ въ письмахъ скорое свиданіе, а время все шло да шло. Нельзя сказать, чтобы я писалъ рѣдко. У матушки долго хранился цѣлый пукъ моихъ писемъ того времени. Денегъ я не могъ посылать,— собственно, по совѣсти, могъ бы и долженъ бы былъ высылать. Квартира и отопленіе были казенныя; столъ готовый, платье въ Дерптѣ было недорогое и прочное. Но тутъ явилась на сцену борьба благодарности и сыновняго долга съ любознаніемъ и любовью къ наукѣ. Почти все жалованье я расходовалъ на покупку книгъ и опыты надъ животными; а книги, особливо французскія, да еще съ атласами, стоили недешево; покупка и содержаніе собакъ и телятъ сильно били по карману. Но если, по тогдашнему моему образу мыслей, я обязанъ былъ жертвовать всѣмъ для науки и знанія, а потому и оставлять мою старушку и сестеръ безъ матеріальной помощи, то зато ничего не стоившія мнѣ письма были исполнены юношескаго лиризма.

Тотчасъ же по пріѣздѣ въ Дерптъ, подъ вліяніемъ совершенно новыхъ для меня путевыхъ впечатлѣній, я распространился въ моихъ письмахъ въ описаніи красотъ природы, въ первый разъ видѣннаго моря, Нарвскаго водопада, освѣщеннаго луною, прогулокъ въ лодкѣ по Финскому заливу, характеристики моихъ новыхъ товарищей, произведенныхъ уже мною въ званіе друзей, и т. п. Помню, что не забылъ при этомъ тогда же отправить и письмецо туда, гдѣ молодое сердце въ первый разъ зашевелилось при взглядѣ на улыбавшіеся женскіе глаза. Какъ же было не написать и не напомнить о себѣ, о послѣднемъ прощальномъ днѣ, когда я явился въ кандидатскомъ мундирѣ, при шпагѣ, и по моей просьбѣ былъ спѣтъ романсъ:

Vous allez à la gloire,
Mon triste cœur suivra vos pas;
Allez, volez au temple de mémoire,
Suivez l'honneur, mais ne m'oubliez pas...

Тотъ, къ кому относилось это: „vous allez à la gloire“,— это, конечно, я, я самъ.

И вотъ, прошло цѣлыхъ четыре года. Какъ не повидать мѣстъ, гдѣ мы „впервые вкусили сладость бытія“, и къ тому же какъ

не показать и себя, и свое перерожденное и перестроенное на другой ладъ я! Пусть-ка посмотрятъ на меня мои старые знакомые и родные и подивятся достигнутому мною прогрессу; пусть во-очію на мнѣ убѣдятся, что́ значитъ культурная западная сила!

Экзаменъ докторскій сданъ, диссертація наполовину уже готова, и предстоятъ рождественскіе праздники; путь санный.

Надо сначала распорядиться, а для этого надобны деньги. Кое-что наберется, за мѣсяцъ впередъ можно взять жалованье,— но по разсчету все еще не хватаетъ взадъ и впередъ на дорогу, да и въ Москвѣ не жить же даромъ на счетъ матери. Вотъ и придумываю средства. У меня есть старые серебряные часы, весьма ненадежные, по свидѣтельству знатока Г. И. Сокольскаго; есть „Иліада“ Гнѣдича, подаренная Екатериною Аѳанасьевною; есть и еще ненужныя книги, русскія и французскія, кажется; есть еще и старый самоварчикъ. Давай-ка, сдѣлаемъ лотерею. Предложеніе принято товарищами. Предметовъ собралось съ дюжину; билетовъ надѣлано рублей на 70; угощеніе чаемъ. Съ вырученными лотереею деньгами набралось болѣе сотни рублей. Главное есть. Надо теперь пріискать самый дешевый способъ перемѣщенія своей особы изъ Дерпта въ Москву. Случай рѣшаетъ. Изъ заѣзжаго дома Фрея является подводчикъ изъ московской губерніи, привозившій что-то въ Лифляндію и отправляющійся на дняхъ порожнемъ опять въ московскую. Лошадей тройка. А экипажъ?—Есть кибиточка. Укроемъ и благополучно доставимъ,—увѣряетъ подводчикъ. Цѣна?—Двадцать рублей.—По рукамъ.

И вотъ, въ пасмурный, но не морозный, декабрскій день, въ послѣобѣденное время, я, одѣтый въ нагольный полушубокъ, прикрытый сверху вывезенною еще изъ Москвы форменною (сѣрою съ краснымъ, университетскимъ, воротникомъ) шинелью на ватѣ, и въ валенкахъ, сажусь въ кибитку и отправляюсь на-долгихъ въ Москву.

Мой возница спускается на рѣку, и чрезъ нѣсколько часовъ по Эмбаху мы выѣзжаемъ на озеро Пейпусъ, направляясь къ Пскову. Между тѣмъ стемнѣло. Мѣсяца не видать. Небо заволокло облаками. Мы все ѣдемъ и ѣдемъ. Раздаются пушечные выстрѣлы, какъ будто возлѣ насъ. Это трескается ледъ

на Пейпусѣ и образуются полыньи. Вдругъ —стопъ. Что такое? Громадная полынья; вывороченныя массы льда стоятъ горою, а возлѣ нихъ широчайшая полоса воды. Слава Богу, что еще не въѣхали прямо въ воду. Что же это такое? Какъ же тутъ быть? Вдали ни зги не видать, подъ ногами вода.

— „Да лѣшій пошутилъ: съ съѣзжей дороги сбился, а я по ней сколько разъ ѣзжалъ“,—увѣряетъ мой возница.— „Да что теперь-то подѣлаешь? Сѣмъ-ка я побѣгу, да развѣдаю; дорога-то должна быть тутъ близко“.

Я остаюсь одинъ съ лошадьми. Сижу, сижу,—дѣлается жутко; въ ночной тиши раздаются кругомъ выстрѣлы; мнѣ показалось въ темнотѣ, что какъ будто огоньки; думаю, уже не волчьи ли глаза; выскакиваю изъ кибитки, поднимаю крикъ и стукъ палкою о кибитку; бѣгаю вокругъ кибитки, чтобы согрѣться: начинаетъ пробирать. Ничего не видно и не слышно. Ямщика и слѣдъ простылъ. Просто бѣда. Прошло, вѣрно, не менѣе часа, а мнѣ показалось по крайней мѣрѣ часа четыре; наконецъ, слышу гдѣ-то вдали, въ сторонѣ, какъ будто человѣческій голосъ. Я отзываюсь и кричу, что есть мочи. Голосъ приближается. Показались опять и какъ будто прежніе огоньки, напугавшіе меня. Наконецъ, является, едва переводя духъ отъ усталости, и мой возница.

— Ну что?

— „Да что, дороги-то не нашелъ; а вотъ мы повернемъ назадъ, да немного вбокъ; тамъ доѣдемъ до деревушки на берегу“.

— На какомъ же это берегу? значитъ, мы уже недалеко отъ Пскова?

— „Куда, баринъ, до Пскова; мы тутъ все плутали по озеру, а далеко отъ берега не отъѣзжали. Вонъ тамъ я видѣлъ деревушку; до разсвѣта переночуемъ въ ней“.

Дѣлать нечего, ѣдемъ. Проходитъ еще не менѣе часа, пока мы доѣхали до какого-то жилья. Пѣтухи уже давно какъ пропѣли; достучались въ какой-то лачугѣ; впустили. Но, Господи, что это было за жилье, и что за люди! Въ Дерптъ являлись изрѣдка въ клинику какіе-то, носившіе образъ человѣка, звѣри, съ дикимъ, безсмысленнымъ выраженіемъ на желто-смугломъ лицѣ, косматые, обвязанные лоскутами и не гово-

ривше ни на какомъ языкѣ. Это и были обитатели глухихъ и отдаленныхъ прибрежій Пейпуса, финскаго племени; полагали однако-же, что между ними встрѣчались и выродившіеся наши раскольники, загнанные полицейскимъ преслѣдованіемъ съ давняго времени въ самыя глухія и непроходимыя мѣста.

Всѣ занятія этого заглохшаго населенія заключались въ рыболовствѣ; они питались только рыбою; понимали только то, что касалось до рыбной ловли, и могли говорить только о рыбѣ и рыболовствѣ. Языкъ ихъ, состоявшій изъ ограниченнаго числа словъ, былъ помѣсью финскаго и испорченнаго русскаго. Вотъ къ этому-то племени судьба, въ видѣ подводчика Макара, и занесла меня на нѣсколько часовъ. Но эти нѣсколько часовъ до разсвѣта показались мнѣ вѣчностью.

На дворѣ начинало морозить, а въ лачугѣ непривычному человѣку невозможно было оставаться; грязь, чадъ, смрадъ; какія-то мефитическія испаренія дѣлали изъ лачуги отвратительнѣйшій клоакъ. Я видѣлъ и самыя невзрачныя курныя чухонскія и русскія избы, но это были дворцы въ сравненіи съ тѣмъ, что пришлось мнѣ видѣть на прибрежьи Пейпуса. Какъ я провелъ часа 4 въ этомъ клоакѣ, я не знаю; помню только, что я безпрестанно ходилъ изъ лачуги на дворъ и дремалъ, стоя и ходя. Любопытно бы знать, насколько современныя вѣянія измѣнили жизнь въ трущобахъ того давняго времени?

На другой день, при свѣтѣ, легко объяснилось наше блужданіе по необозримому озеру, на которомъ зимою, кромѣ неба и снѣжной поверхности съ огромными трещинами и сугробами, ничего не было видно; только цѣлыя стаи воронъ съ хриплымъ карканьемъ носились надъ прорубями и полыньями, высматривая себѣ добычу.

Гораздо труднѣе было бы объяснить незнакомому съ русскою натурою, какъ рѣшился москвитянинъ Макаръ переѣзжать по льду Пейпуса ночью, проѣхавъ чрезъ него, какъ я узналъ потомъ отъ самого же Макара, только одинъ разъ въ жизни, и то въ обратномъ направленіи, т.-е. отъ Пскова къ Дерпту.

Мудрено ли, что мы ночью сбились, когда и днемъ мой Макаръ постоянно у каждаго встрѣчнаго спрашивалъ о дорогѣ въ Псковъ.

Но землякъ мой, москвитянинъ Макаръ, ознаменовалъ нашу поѣздку не однимъ только геройскимъ переѣздомъ чрезъ Пейпусъ.

Избѣгнувъ неожиданно гибели въ полыньяхъ Пейпуса, Макаръ ухитрился-таки погрузить насъ, то-есть меня, кибитку и лошадей, въ полынью какой-то рѣчонки. Это было на разсвѣтѣ, кажется на пятый день моей Одиссеи. Я спалъ, закутавшись подъ рогожею кибитки. Вдругъ пробуждаюсь,—чувствую, что кибитка остановилась; я откидываю рогожу, и что́ же вижу: лошади стоятъ по шею въ водѣ, Макара нѣтъ, кибитка—также въ водѣ, и холодная струя добирается чрезъ стѣнки кибитки и къ моимъ ногамъ.

Не понимая съ просонья, что̀ все это значитъ, я инстинктивно бросаюсь изъ кибитки вонъ и попадаю по поясъ въ воду; въ это мгновеніе является откуда-то Макаръ съ людьми съ берега. Вытаскиваютъ и меня, и кибитку, и лошадей. Пришлось залечь на печь, раздѣться до нага, вытереться горѣлкою и супиться.

Такъ шло время въ путешествіи на-долгихъ съ Макаромъ; оно продолжалось чуть не двѣ недѣли; въ эти дни и ночи я насмотрѣлся на жизнь на постоялыхъ дворахъ.

Случалось ночевать вмѣстѣ съ подводчиками въ томъ же покоѣ постоялаго двора. Всего болѣе удивляла меня необыкновенная ёмкость желудка этихъ добрыхъ людей. Ѣли они напропалую, и ѣда была на-славу. То были рождественскіе праздники, и на столъ подавалась всегда громадная деревянная чаша съ жирными, густыми щами изъ свинины; чаша опростовывалась чуть не залпомъ, когда принимались изъ нея черпать 10 или 12 ложекъ; снова наполнялась, снова опростовывалась; потомъ являлась не менѣе жирная свинина, а затѣмъ гречневая каша съ свинымъ саломъ. При этомъ выпивался штофъ сивухи, и все общество, 10, 12 и болѣе дюжихъ подводчиковъ, вставало изъ-за стола, молилось на образа и укладывалось спать по лавкамъ и на печи. Начиналось громкое и неумолкаемое храпѣнье, и вмѣстѣ съ нимъ происходила поочередно, то тамъ, то здѣсь, шумная эксплоатація газовъ, заставлявшая меня невольно просыпаться и громко смѣяться. На границахъ московской губерніи, Макаръ предложилъ мнѣ за-

ѣхать на ночлегъ, вмѣсто постоялаго двора, къ его отцу, церковному старостѣ одного придорожнаго села. Я согласился.

На ночь явились къ старостѣ сельскій попъ, дьячокъ и еще пара крестьянъ. Принесенъ былъ штофъ сивухи. Пили, ѣли, болтали и пошли всѣ спать. Рано утромъ уѣхали попъ и дьячокъ, а потомъ и гости-крестьяне. Мы съ Макаромъ тоже снарядились въ путь; только, вижу, мой Макаръ что-то суетится и ищетъ.

— Что пропало?

— „Кнутъ“.

— Куда дѣвался?

— „Да гдѣ ему быть,—вопитъ Макаръ,—какъ не у попа. Ужъ извѣстно: у поповъ глаза большіе; а кнутъ былъ новенькій, съ иголочки, только-что въ Торжкѣ купилъ, и то все приберегалъ“.

Такъ первое подозрѣніе о кражѣ 20-копѣечнаго кнута мужикъ, да къ тому еще сынъ церковнаго старосты, свалилъ на попа, хотя вмѣстѣ съ попомъ угощались и мужики. Меня, отвыкшаго въ Дерптѣ отъ нравовъ родины, поразила глубоко эта исторія съ кнутомъ; я принялся увѣщевать Макара и наставлять его. Но онъ остался непреклоненъ.

— „Ужъ я знаю, не миновалъ мой кнутъ поповскихъ рукъ“,—повторялъ Макаръ, не соглашаясь ни на какія разглагольствованія объ уваженіи къ старшимъ и священнослужителямъ.

Наконецъ, я—въ Москвѣ, у Калужскихъ воротъ, на квартирѣ матушки, жившей у отставного коммиссаріатскаго чиновника, называвшаго себя полковникомъ.

Въ то время жизни, когда человѣкъ, переставъ быть ребенкомъ, не достигъ еще и полной мужеской зрѣлости, проявляется нерѣдко въ несложившемся еще характерѣ рѣзкая, непріятная черта, портящая много крови и у самого молодого человѣка, и у другихъ. Обстоятельства, внѣшняя обстановка, темпераментъ и т. п. много содѣйствуютъ развитію этой черты.

Всего непріятнѣе то, что заносчивость незрѣлаго возраста колетъ глаза своею безтактностью именно тамъ, гдѣ нѣтъ ни-

какой, ни малѣйшей разумной причины ея проявленія. У меня она проявилась именно въ отношеніяхъ моихъ къ матери, послѣ долгой разлуки, изъ одного только различія въ религіозныхъ убѣжденіяхъ, то-есть именно тамъ, гдѣ я могъ бы и долженъ бы былъ требовать отъ себя сдержанности, терпимости и уваженія къ убѣжденіямъ старыхъ и достойныхъ уваженія людей.

Этого не случилось, и я долго, долго и горько упрекалъ себя за мальчишескую невыдержанность, безтактность и грубость.

Какое мнѣ, молокососу, было дѣло до самыхъ задушевныхъ убѣжденій моей богомольной старухи-матери и для чего было затрогивать самую чувствительную струну ея сердца?

Мотивъ былъ такъ же нелѣпъ и страненъ, какъ и поступокъ.

И въ самомъ дѣлѣ, я не узналъ бы самого себя, еслибы сравнилъ то, что я утверждалъ и отчаянно защищалъ предъ всѣми, съ моими страстными выходками противъ нѣмцевъ, записанными въ моемъ дневникѣ три года тому назадъ. Теперь же я явился въ Москву самымъ ревностнымъ защитникомъ всего нѣмецкаго, выставляя всякому встрѣчному и поперечному прибалтійскій край образцомъ культурнаго и благоустроеннаго общества. И вотъ, я превозносилъ предъ архи-православною, дряхлою женщиною нѣмецкое протестантство, тогда какъ эта женщина цѣлую жизнь только и находила утѣшенія, что въ своей вѣрѣ и въ своемъ сынѣ.

Въ жизни юношей,—да и зрѣлый возрастъ не свободенъ отъ странностей этого рода, — нерѣдко встрѣчаются рѣзкіе переходы отъ одного міровоззрѣнія къ другому. Неокрѣпшія убѣжденія и увлеченія мѣняются и отъ настроенія, и отъ разныхъ внѣшнихъ обстоятельствъ.

Одна перемѣна мѣстности и круга знакомыхъ уже способна замѣнить въ незрѣломъ умѣ одинъ образъ мыслей другимъ, совершенно противоположнымъ. Притомъ духъ противорѣчія, свойственный каждому незрѣлому уму, у меня былъ замѣтно выраженъ и склоненъ къ проявленію при всякомъ удобномъ случаѣ. Случай и представился.

Москва, то-есть знакомая мнѣ среда въ Москвѣ, не могла мнѣ не показаться другою.

Вѣдь я провелъ четыре года самой впечатлительной поры жизни на окраинѣ, не имѣвшей ничего общаго съ Москвою; и вотъ, что̀ прежде меня привлекало на родинѣ, потому что извѣстно было только съ одной привлекательной стороны, то сдѣлалось противнымъ чрезъ сравненіе, открывшее мнѣ глаза.

И пятинедѣльное мое пребываніе въ Москвѣ ознаменовалось цѣлымъ рядомъ стычекъ. Куда бы я ни являлся, вездѣ я находилъ случай осмѣять московскіе предразсудки, прогуляться насчетъ московской отсталости и косности, сравнять московское съ прибалтійскимъ, то-есть чисто-европейскимъ, и отдать ему явное преимущество.

Матушку я хотѣлъ увѣрить, что нѣмцы-протестанты лучше, что вѣра ихъ умнѣе нашей, и какъ, обыкновенно, одна глупость рождаетъ другую,—то я, споря и горячась, перешагнулъ отъ религіи къ родительской и дѣтской любви, и довелъ любившую меня горячо старушку до слезъ.

— „Какъ это ты не боишься Бога—приравнивать материнскую любовь къ собачьей и кошачьей! Развѣ собака и кошка могутъ любить своихъ щенятъ и котятъ, какъ мать любитъ своего ребенка? Значитъ, у васъ теперь мать—все равно, что сука или кошка?“

Такъ пеняла мнѣ мать. Наконецъ, мнѣ стало жаль и стало совѣстно. Споры съ матерью я прекратилъ; разгорячившійся духъ противорѣчія не скоро угомонишь, и я началъ вымѣщать его на другихъ, при каждомъ удобномъ случаѣ; а случай представлялся на каждомъ шагу. Сдѣлалъ я визитъ экзаменовавшему меня изъ хирургіи на лекаря профессору Альфонскому (потомъ ректору). Онъ начинаетъ спрашивать про обсерваторію, про знаменитый рефракторъ въ Дерптѣ, въ то время едва-ли не единственный въ Россіи. Я съ восторгомъ описываю видѣнное мною на дерптской обсерваторіи,—а Альфонскій преравнодушно говоритъ мнѣ:

— „Знаете что̀: я, признаться, не вѣрю во всѣ эти астрономическія забавы; кто ихъ тамъ разберетъ, всѣ эти небесныя тѣла!“

Потомъ перешли къ хирургіи, и именно затронули мой любимый конекъ—перевязку большихъ артерій.

— „Знаете что̀,—говоритъ опять Альфонскій:—я не вѣрю

всѣмъ этимъ исторіямъ о перевязкѣ подвздошной, наружной или тамъ подключичной артеріи; бумага все терпитъ“.

Я чуть не ахнулъ вслухъ.

Ну, такой отсталости я себѣ и вообразить не могъ въ ученомъ сословіи, у профессоровъ.

— По вашему, Аркадій Алексѣевичъ, выходитъ,—замѣтилъ я иронически,—что и Астлей Куперъ, и Эбернети, и нашъ Арендтъ—все лгуны? Да и почему вамъ кажутся эти операціи невозможными? Вотъ я пишу теперь диссертацію о перевязкѣ брюшной аорты, и нѣсколько разъ перевязалъ ее успѣшно у собакъ.

— „Да, у собакъ“,—прервалъ меня Альфонскій.

— Пожалуйте кушать!—прервалъ его вошедшій лакей.

Отъ Альфонскаго я пошелъ съ визитомъ къ Ал. Ал. Іовскому, редактору медицинскаго журнала, вскорѣ погибшаго преждевременною смертью.

Я послалъ изъ Дерпта въ этотъ, тогда чуть-ли не единственный, медицинскій журналъ одну статью,—хирургическую анатомію паховой и бедряной грыжи, выработанную мною изъ монографій Скарпы, Ж. Клоке и Астл. Купера.

Іовскій, принадлежавшій уже къ молодому поколѣнію, не обнаружилъ большой наклонности къ прогрессу по возвращеніи изъ-за границы; вмѣсто химіи—принялся за практику, и теперь обнаруживалъ предо мною равнодушіе къ наукѣ.

Я началъ по своему возражать, поставляя ему тотчасъ же въ примѣръ дерптскій университетъ.

— „Да съ нашими подлецами ничего не подѣлаешь“, былъ отвѣтъ.

Пришелъ навѣстить одного стараго знакомаго, офицера-хохла, бывшаго нашего сосѣда по квартирѣ. Нашелъ у него другихъ офицеровъ въ гостяхъ. И тутъ, слово за слово, я перешелъ къ изложенію всѣхъ преимуществъ прибалтійскаго края. Прежде всего, конечно, описалъ слушателямъ высокое состояніе науки, отставшей въ Москвѣ, по крайней мѣрѣ, на четверть вѣка.

— „Позвольте вамъ замѣтить,—остановилъ меня толстѣйшій гарнизонный маіоръ: — вотъ я лечился у разныхъ докторовъ, вездѣ побывалъ, совѣтовался съ разными знаменитостями,

но толку не было; а вотъ у насъ, въ Москвѣ, мнѣ одинъ старичокъ посовѣтовалъ принять лекарство Леру. Такъ, я вамъ скажу, оно меня такъ прочистило, что все, что во мнѣ лѣтъ десять уже скопилось, наружу вывело; съ тѣхъ поръ, слава Богу, какъ видите, здравствую".

Возражать было нечего.

Перепли къ сужденію о семейной и общественной жизни.

Я опять сталъ распространяться о превосходныхъ сторонахъ общества и семьи въ прибалтійскомъ краѣ,—коснулся, конечно, и нѣмокъ.

— „Замѣчу вамъ,—заговорилъ опять тотъ же маіоръ,—я достаточно знакомъ съ женскимъ поломъ. Имѣлъ на своемъ вѣку дѣло и съ нѣмками, и съ француженками, и съ цыганками. Большого различія не нашелъ: всѣ поперечки".

При этомъ замѣчаніи все общество покатилось со смѣху, а я умолкъ, бросивъ презрительный взглядъ на всю эту, не подходившую для меня, компанію.

На другой день меня пригласили также къ старому знакомому моего отца, помѣщику Матвѣеву, человѣку съ большими средствами и получившему отличное образованіе. Пригласили же меня въ особенности затѣмъ, чтобы посовѣтоваться о сынѣ Матвѣева, подросткѣ лѣтъ 16-ти; его воспитывали дома гувернеры-иностранцы, и надо было рѣшить теперь — какъ и чѣмъ закончить домашнее воспитаніе.

Я засталъ отца (еще очень моложаваго и разбитного) и сына упражняющимися въ фехтовальномъ искусствѣ.

Молодой Матвѣевъ, изящно одѣтый, съ цѣлымъ лѣсомъ бѣлокурыхъ волосъ на головѣ, тщательно завитыхъ и напомаженныхъ, свободный въ обращеніи, украшавшій разговоръ цитатами изъ русскихъ поэтовъ, представлялъ собою что-то искусственное, поддѣльное, невиданное мною въ Дерптѣ. Отецъ Матвѣевъ также вставлялъ въ разговорѣ стихи изъ „Евгенія Онѣгина", изъ „Горе отъ ума", называлъ предразсудкомъ соблюденіе религіозныхъ обрядовъ—и въ то же время крестился, садясь за столъ; онъ сказывалъ, что сынъ его требуетъ только нѣкоторой подготовки въ древнихъ языкахъ для вступленія въ университетъ, и восхищался, вмѣстѣ съ сыномъ, моими разсказами о жизни въ Дерптѣ, объ университетской дѣятельности

и готовъ былъ сейчасъ же летѣть въ Дерптъ. Я радовался, что нашелъ въ Москвѣ хотя одно прогрессивно настроенное семейство, и радъ былъ еще болѣе тому, что могъ самъ способствовать прогрессу, притянувъ юношу къ серьёзному университетскому образованію.

Едва я, однако-же, покончилъ мою бесѣду съ отцомъ и сыномъ, какъ меня позвали на другую половину, къ женѣ и матери.

— „Здравствуйте, monsieur Пироговъ! Скажите — вы изъ Дерпта? Вы говорили съ мужемъ? Видѣли сына? Какъ вы полагаете? Неужели вы посовѣтуете отправить сына въ Дерптъ? Вѣдь тамъ студенты всѣ—якобинцы. Это ужасно! Онъ можетъ совсѣмъ пропасть“.

Все это, сказанное залпомъ еще нестарою, но, очевидно, взбалмошною дамою, меня крайне раздосадовало, и я принялся доказывать ей всю нелѣпость мнѣнія, составленнаго ею о Дерптѣ, и, въ свою очередь, не давалъ уже ей раскрывать рта до самыхъ тѣхъ поръ, пока не взялся самъ за шапку.

Матвѣевы (отецъ и сынъ) потомъ пріѣзжали на своихъ лошадяхъ въ Дерптъ. Сынъ вступилъ въ университетъ; но много ли изъ него вынесъ, не знаю. Что-то тоже россійское, замалеванное снаружи, проглядывало въ этомъ выровненномъ и вытянутомъ подросткѣ. Отецъ же его, обольстивъ какую-то московскую барышню, удралъ съ нею и съ деньгами отъ жены за границу и возвратился оттуда безъ денегъ, безъ барыни и съ ракомъ желудка, чрезъ 12 лѣтъ, въ Петербургъ, гдѣ я его и навѣстилъ въ гостинницѣ, сильно страдавшаго. Сынъ разсорился съ нимъ и не хотѣлъ болѣе знать отца.

Каждое посѣщеніе моихъ московскихъ знакомыхъ давало только пищу обуявшему меня духу противорѣчія. Все въ моихъ глазахъ оказывалось отсталымъ, пошлымъ, смѣшнымъ.

Я попробовалъ пойти въ гости къ незнакомымъ.

Мой товарищъ, И. О. Шиховскій, просилъ меня непремѣнно навѣстить его закадычнаго пріятеля, какого-то университетскаго бюрократа. Я навѣстилъ, и получилъ приглашеніе на вечеръ. Тутъ все общество и его болтовня показались мнѣ уже до того несносными, что я, не простившись, потихоньку убѣжалъ.

Началось съ бесѣды съ профессоршею, женою преподавателя Терновскаго, у котораго я цѣлый годъ слушалъ лекціи остеологіи и синдесмологіи. Это былъ не послѣдній изъ категоріи забавлявшихъ насъ чудаковъ. Чахоточный, сухощавый до нельзя, черномазый, весь обросшій густыми темными, щетинистыми волосами, съ впалыми, желтобураго цвѣта, глазами, тоненькими ногами, въ штанахъ въ обтяжку въ сапоги, въ сапогахъ съ кисточками; зимою на лекціи всегда въ огромной, бураго цвѣта, медвѣжьей шубѣ, крытой истертымъ и полинялымъ сукномъ, Терновскій являлся на лекцію какъ-то исподтишка, скрытно, какъ будто боялся, чтобы его не прогнали, и исчезалъ, вмѣстѣ съ десяткомъ своихъ слушателей, въ огромномъ амфитеатрѣ (на 300—400 мѣстъ).

Осматриваясь подозрительно вокругъ себя, Терновскій таинственно вынималъ изъ-за пазухи лобную или височную кость и, покашливая, потихоньку подходилъ къ каждому изъ насъ, демонстрировалъ и намекалъ по временамъ, какъ трудно ему доставать кости отъ Лодеровскаго прозектора.

Вотъ съ супругою этого-то господина я случайно и встрѣтился на вечерѣ и узналъ отъ нея, что мужъ ея, г. Терновскій,—имени и отчества не помню, — есть извѣстный всей Европѣ ученый.

Я чуть не фыркнулъ отъ смѣха. Откуда это взяла она? Самъ ли онъ такъ отрекомендовалъ себя, или она изобрѣла изъ любви. Что́ было отвѣчать? Чтобы не ляпнуть какую-нибудь дерзость, я прекратилъ бесѣду; но, къ довершенію зла, замѣтилъ что-то какъ-бы давно знакомое съ физіономіи одного претолстѣйшаго господина, сидѣвшаго за картами; справившись, кто это, я узналъ моего дядю по матери, Новикова, при жизни отца нерѣдко посѣщавшаго нашъ домъ, а по смерти не преминувшаго забыть досконально о нашемъ существованіи. И какъ скоро все это промелькнуло въ моемъ воспоминаніи, я тотчасъ же и отретировался, чтобы не встрѣтиться лицомъ къ лицу съ почтеннымъ дядюшкою и не быть заключеннымъ въ его жирныя объятія.

Это былъ финалъ моего пребыванія въ Москвѣ; оно убѣдило меня окончательно въ преимуществѣ и высотѣ нравственнаго и научнаго уровня въ Дерптѣ.

Въ Дерптѣ не водятся профессора, считающіе астрономическія наблюденія пустою забавою; хирургическія операціи, давно вошедшія въ практику—невозможными; всѣхъ своихъ коллеговъ—подлецами; нѣтъ и дамъ, усматривающихъ въ каждомъ студентѣ якобинца, а въ своихъ супругахъ—европейскія знаменитости!

Передъ отъѣздомъ изъ Москвы я старался уничтожить тягостное впечатлѣніе мое, оставшееся въ душѣ отъ глупыхъ пререканій съ матушкою; но только потомъ, пріѣхавъ въ Дерптъ, я просилъ искренно прощенія въ письмѣ къ матери и сестрамъ. Назадъ возвратился изъ Москвы на почтовыхъ, уже на второй недѣлѣ великаго поста.

Житье-бытье матушки и сестеръ въ Москвѣ я нашелъ немного лучшимъ прежняго. Одна сестра нашла себѣ мѣсто надзирательницы въ какомъ-то женскомъ сиротскомъ домѣ; къ другой приходили ученицы на домъ; матушкѣ выхлопотала одна знакомая небольшую пенсію; братъ мой, не имѣвшій чѣмъ заплатить взятыя у матушки когда-то деньги, теперь поправился и уплачивалъ понемногу; я также кое-что прибавилъ. Матушка занимала небольшую квартиру въ три комнаты, вмѣстѣ съ одною сестрою и двумя крѣпостными служанками.

Я, пробывъ четыре года въ прибалтійскомъ свободномъ краѣ, конечно, не могъ равнодушно смотрѣть на двухъ рабынь, старую и молодую. Я настоялъ у матушки, чтобы ихъ отпустили на волю.

— „Да я и сама уже давно бы ихъ отпустила,—сказала мнѣ матушка,—еслибы не боялась попасть подъ судъ“.

— Какъ? За что?

— „Да просто потому, что у меня нѣтъ никакихъ документовъ на крѣпость. Богъ знаетъ, куда они дѣвались, и гдѣ ихъ теперь возьмешь?“

И, дѣйствительно, дѣловые люди не совѣтовали начинать дѣла, а предоставить все времени и воли божіей. Такъ и случилось. Молодая раба, довольно красивая собою, чуть было не попавшая въ руки какого-то московскаго клубничника, вышла благополучно замужъ безъ всякихъ документовъ. Другая, уже старуха, Прасковья Кирилловна, та самая, сказки которой о

бѣломъ, черномъ и красномъ человѣчкѣ я не забылъ еще и теперь,—пріѣхала потомъ съ сестрами ко мнѣ въ Петербургъ въ 1840 году. И тутъ только я, съ помощью 25 рублей, преподнесенныхъ квартальному надзирателю, успѣлъ, наконецъ, дать вольную этой—столько лѣтъ не по найму служившей—личности.

Таково было крѣпостное право: и желавшіе горячо отъ него отдѣлаться—не легко этого достигали!

Въ 1833 году докторская моя диссертація была окончена и защищена. Оставалось только дожидаться рѣшенія изъ министерства о поѣздкѣ за границу.

Эти нѣсколько мѣсяцевъ были самыми пріятными въ жизни. Къ тому же въ это время у Мойера, или, вѣрнѣе, у Екатерины Аѳанасьевны, проживали молодыя дѣвушки—Лаврова и Воейкова. Откуда взялась первая—не знаю; но Екатерина Аѳанасьевна интересовалась ею, занималась съ нею чтеніемъ и женскими работами. Семейство Мойера, а съ нимъ я, жило тогда въ деревнѣ (Садорфѣ, верстъ 12 отъ города). Лаврова, лѣтъ 16—17-ти, брюнетка, смуглянка, имѣла что-то странное въ выраженіи глазъ, впрочемъ красивыхъ и черныхъ. Она и въ самомъ дѣлѣ была какая-то странная, почти всегда восторгавшаяся, торжественно и на-распѣвъ говорившая о самыхъ обыкновенныхъ вещахъ. Она (Лаврова) осталась у меня въ памяти потому, что однажды подралась со мною.

Много тогда смѣялись видѣвшіе драку,—правда, не на-кулачки, а скорѣе борьбу молодого человѣка съ молодою, красивою дѣвушкою.

Дѣло вышло изъ-за какихъ-то пустяковъ; о чемъ-то заспорили; я сказалъ что-то въ родѣ: „это очень глупо!“—и вдругъ Лаврова кидается на меня съ особеннымъ, почти безумнымъ выраженіемъ своихъ черныхъ глазъ, беретъ меня за плечи и хочетъ повалить. Я защищаюсь, и, видя, что она не унимается, беру ее за плечи и начинаю, что есть силы, трясти; тогда она—въ слезы и навзрыдъ.

Кое-какъ ее успокоиваютъ, но она снова бросается на меня.

— „Я женщина! — кричитъ она: — я женщина! вы должны имѣть уваженіе ко мнѣ“.

— Я мужчина! — кричу я въ свою очередь: — и вы поступайте такъ, чтобы я васъ могъ уважать.

Слѣдуетъ новая схватка, и тогда уже насъ разводятъ.

На другой день — какъ будто ничего не бывало; но Лаврова дѣлаетъ снова глупую выходку: бѣжитъ въ переднюю подавать шинель пріѣзжавшему на прощанье Александру Витгенштейну.

— „Что́ это ты, матушка, твое ли это дѣло!“ — замѣчаетъ ей потомъ Екатерина Аѳанасьевна.

— Да почему же не подать шинель сыну такого знаменитаго полководца, какъ князь Витгенштейнъ! — восклицаетъ восторженно Лаврова.

Другая интересная особа, къ которой нельзя было оставаться равнодушнымъ, Катя Воейкова, была внучка Екатерины Аѳанасьевны Протасовой, дочь извѣстнаго, не съ привлекательной стороны, поэта Воейкова-Вулкана (Воейковъ былъ хромъ), уступившаго свою очаровательную Венеру воинственному Марсу.

Только-что окончившая курсъ ученія въ Екатерининскомъ институтѣ, Воейкова переѣхала на житье къ бабушкѣ въ Дерптъ. Не красавица, но очень милая и интересная, Воейкова была всегда весела и смѣшлива.

До отъѣзда моего за границу она нерѣдко занимала мое воображеніе, но не производила глубокаго впечатлѣнія. Недостатки институтскаго воспитанія и поверхностнаго міровоззрѣнія не окупались другими внѣшними достоинствами.

Тѣмъ не менѣе, и я, и многіе другіе, желали нравиться и угождать милой и интересной дѣвушкѣ. Устроивали домашній театръ; играли „Недоросля“; я представлялъ Митрофанушку, и очень былъ доволенъ: игрою своею вызывалъ смѣхъ и рукоплесканія Воейковой.

Въ другихъ семействахъ я не былъ знакомъ; женское общество было мнѣ чуждо, и потому появленіе всякаго новаго женскаго лица въ знакомомъ мнѣ домѣ не могло не производить на меня весьма пріятнаго впечатлѣнія.

Въ Дерптѣ былъ въ то время обычай между студентами пріискивать себѣ, во время университетскаго курса, невѣсту

между дочерьми бюргеровъ, чиновниковъ, профессоровъ. Женихъ и невѣста дожидались спокойно нѣсколько лѣтъ. Былъ случай, что женихъ, казенный стипендіатъ, выдержавъ экзаменъ на лекаря, долженъ былъ отправиться куда-то въ кавказскую трущобу. Онъ увѣдомилъ невѣсту о своемъ мѣстопребываніи, и она, 18-лѣтняя дѣвушка, никуда не выѣзжавшая никогда изъ дома, сѣла на перекладную и, не боясь ѣхать вмѣстѣ съ попутчиками, молодыми юнкерами и офицерами, явилась живою и здоровою къ жениху въ захолустье, гдѣ и повѣнчались.

Зато былъ и другой случай.

Одна невѣста, долго ждавшая и не знавшая, гдѣ находится ея женихъ, не устояла и сдѣлалась невѣстою другого.

Вдругъ является первый женихъ, узнаетъ объ измѣнѣ и, встрѣтивъ бывшую свою невѣсту на балѣ въ клубѣ, задаетъ ей пощечину и исчезаетъ.

Насъ, русскихъ, не соблазнялъ этотъ нѣмецкій обычай. Только одинъ Филмофитскій (профессоръ физіологіи въ Москвѣ) вздумалъ жениться, предъ поѣздкою за границу, на Марьѣ Петровнѣ, воспѣтой Языковымъ:

Да здравствуетъ Марья Петровна,
И ручка, и ножка ея!

—слышалось нерѣдко и на улицѣ, и въ сборищахъ русскихъ студентовъ, какъ торжественный гимнъ, воспѣваемый въ честь русской красавицы, и при словахъ:

Блаженъ, кто, заковно мечтая,
Зоветъ ее дѣвой своей!
Блаженнѣй избранника рая—
Бурсакъ, полюбившійся ей!

Филмофитскій, вѣрно, не причислялъ себя и взаправду къ избранникамъ рая.

Да, я забылъ еще Степана Куторгу,—тотъ влопался въ дочку директора училища, въ домѣ котораго онъ квартировалъ. „Allein kann man nicht sein auf der Erde“, — приводилъ въ свое извиненіе Куторга.

И еще одинъ—мой старый пріятель Загорскій (элéвъ академіи наукъ)—женился въ Дерптѣ на дочери г-жи Эксъ и

жилъ съ нею очень долго и счастливо. Итакъ, изъ 23-хъ русскихъ (21 изъ профессорскаго института и 2 элéвовъ академіи) переженились въ Дерптѣ 3, а умерло только 2.

Не помню, анализировалъ ли я себя передъ отъѣздомъ за границу изъ Дерпта; дневника я тогда уже не велъ цѣлый годъ и болѣе; но мнѣ кажется мой духовный бытъ того времени — не знаю, почему — чрезвычайно яснымъ по истеченіи цѣлыхъ 48 лѣтъ.

Я убѣжденъ даже, что теперь, въ настоящее время (1881 г.), мой анализъ будетъ вѣрнѣе и отчетливѣе того, прежняго, можетъ быть и не существовавшаго. Едва-ли этотъ прежній былъ бы такъ безпристрастенъ, какъ теперешній.

Начну съ главнаго, съ моего тогдашняго міровоззрѣнія.

Оно,—несмотря на идеализмъ, еще замѣтно господствовавшій и въ германской наукѣ, и въ германскомъ міровоззрѣніи, —сильно склонялось къ матеріализму и, конечно, самому грубому, вслѣдствіе грубаго незнанія самой матеріи. Обрядно-религіозное направленіе, вывезенное еще изъ Москвы, потерпѣло полное фіаско. Полное незнакомство съ духомъ христіанскаго ученія и, вслѣдствіе этого, незнаніе или нежеланіе знать основъ христіанства изъ евангелія и апостольскихъ посланій; полное отрицаніе загробной жизни, какъ предразсудка и ни на какомъ фактѣ неоснованной иллюзіи. Стоицизмъ долженъ быть религіей ученаго.

А между тѣмъ весь этотъ религіозный радикализмъ не давалъ душѣ твердости и стойкости на самомъ дѣлѣ. Это чувствовалось, хотя и не сознавалось. Чувствовалось, что первая же бѣда, первое серьёзное испытаніе потрясетъ все это зданіе до самаго основанія. Чтобы заглушить въ себѣ это внутреннее противорѣчіе, надо было искать самозабвенія въ научныхъ занятіяхъ, такъ какъ для другихъ чувственныхъ наслажденій организмъ былъ слишкомъ слабъ, слишкомъ нервенъ, и потому не терпѣлъ пресыщенія и съ отвращеніемъ ощущалъ всякій избытокъ въ наслажденіи.

Желудокъ, пріученный къ прѣсной пищѣ, не переносилъ ни обжорства, ни пьянства. Только два раза въ жизни я былъ настоящимъ образомъ пьянъ, и оба раза страдалъ нѣсколько

дней не на шутку. Мой отецъ также не переносилъ спиртныхъ напитковъ, и получалъ сильную рвоту отъ нѣсколькихъ рюмокъ вина. Сверхъ этого, въ Дерптѣ я началъ періодически страдать катарромъ кишекъ, сдѣлавшимся потомъ моею постоянною болѣзнью.

Въ Дерптѣ къ развитію моей болѣзни служило еще одно. Я занемогъ простудою, и Иноземцевъ вздумалъ мнѣ прописать какія-то горькія и, сколько помню, металлическія пилюли. Я принималъ это снадобье полгода, и въ одно прекрасное утро пожелтѣлъ какъ лимонъ, почувствовалъ тяжесть въ животѣ, отвращеніе отъ пищи. Я продолжалъ, однако-же, выходить и заниматься въ анатомическомъ театрѣ. Дѣло было зимою. Наконецъ, пришло не-втерпёжъ: я принужденъ былъ остаться дома и началъ брать у себя въ клиникѣ теплыя мыльныя ванны, всякій день на ночь, пить чай съ клюквеннымъ морсомъ,—и моя желтуха постепенно исчезла. Съ тѣхъ поръ кишечный катарръ началъ чаще возвращаться и долѣе продолжаться, иногда почти цѣлый мѣсяцъ. Надо замѣтить, что въ Дерптѣ солитеръ составляетъ обыкновенную эпидемическую болѣзнь; почти не встрѣчается ни одного вскрытаго трупа, при которомъ не нашли бы цѣлые клубки солитера въ кишкахъ. Поэтому я полагалъ сначала, что эта глиста причиняетъ мнѣ катарръ,—но, ни разу не нашедъ у себя кусковъ солитера, я долженъ былъ оставить это мнѣніе. Впрочемъ, и кромѣ кишечнаго катарра, я страдалъ еще нерѣдко катарромъ бронхій,—а можетъ быть и бугорками; тогда, по крайней мѣрѣ, я былъ убѣжденъ, что страдаю уже началомъ бугорчатой чахотки. При кашлѣ, длившемся иногда по 5, по 6 недѣль, я, смотрясь въ зеркало, постоянно слѣдилъ за краснымъ пятномъ на лѣвой щекѣ, принимая его за признакъ изнурительной лихорадки. Мойеръ и товарищи, знавшіе о моихъ подозрѣніяхъ, насмѣхались надо мною; но мой дневникъ того времени ясно свидѣтельствуетъ (онъ сохранялся одно время у жены), что убѣжденія мои были не шуточныя. Въ дневникѣ я съ грустью ни о чемъ болѣе не мечталъ, какъ прожить еще до 30 лѣтъ, а тамъ,—говорю,—пора костямъ и на мѣсто.

Это было писано въ 1831 году.

Этотъ дневникъ свидѣтельствовалъ еще и о томъ, что не

одни гастрономическія наслажденія не шли мнѣ въ-прокъ, — и половыя возбуждали потомъ отвращеніе и тоску. Въ одномъ мѣстѣ дневника того времени, послѣ одного меланхолическаго пассажа, прибавлено: „omne animal post coitum triste“. Наконецъ, и табакъ, какъ средство къ легкому самозабвенію, не переносился въ то время организмомъ.

Имѣя весьма плохое обоняніе (я могу пронюхать только острыя летучія вещества), я не имѣлъ никакой потребности курить при моихъ занятіяхъ надъ трупами, и только на 31-мъ году жизни, въ первый разъ послѣ тяжкой болѣзни, почувствовалъ желаніе выкурить сигарку, и съ тѣхъ поръ сталъ курить, —и по временамъ очень сильно.

Итакъ, не имѣя отъ природы призванія къ чувственнымъ наслажденіямъ, не перенося пресыщенія, я уже по этой одной причинѣ долженъ былъ посвящать себя исключительно научнымъ занятіямъ. А къ этому еще влекло и сильно развитое любознаніе.

Моя, рано развившаяся во мнѣ, любовь къ наукѣ имѣла только ту опасную и худую сторону, что послужила къ раннему же развитію и самонадѣянности, заносчивости и самомнѣнія.

Пріѣхавъ, напримѣръ, въ Дерптъ совершеннымъ невѣждою въ офтальмологіи, я, прочитавъ на первыхъ же порахъ одно только руководство Веллера, вздумалъ-было вступить въ споръ съ Мойеромъ объ одномъ глазномъ больномъ въ клиникѣ. Мнѣ почудилось, что—по Веллеру—надо было назвать болѣзнь не такъ, какъ ее назвалъ Мойеръ. Потомъ я самъ крѣпко смѣялся надъ собою. Въ другомъ случаѣ мое самомнѣніе поставило меня въ чистые дураки, не допустивъ меня хорошенько осмыслить и обсудить то, что я предлагалъ.

Случай этотъ мнѣ памятенъ до сегодня и до сихъ поръ еще бросаетъ меня въ краску, когда я вспомню о предложенной мною, въ кругу товарищей и въ присутствіи Мойера, безсмыслицѣ.

Еще въ Москвѣ я слышалъ мелькомъ отъ кого-то о вырѣзываніи суставовъ и образованіи искусственныхъ суставовъ. Прибывъ въ Дерптъ съ полнымъ незнаніемъ хирургіи, я, на первыхъ же порахъ, нигдѣ ничего не читавъ о резекціяхъ

суставовъ, вдругъ предлагаю у одного больного въ клиникѣ вырѣзать суставъ и вставить потомъ искусственный. Предложеніе это я дѣлаю одному товарищу.

— „Что́ такое, что́ такое?“ —спрашиваетъ Мойеръ, слышавшій нашъ разговоръ въ полголоса.

Товарищъ передалъ Мойеру, что я видѣлъ или слышалъ въ Москвѣ, что вставляютъ искусственные суставы изъ слоновой кости на мѣсто вырѣзанныхъ.

Мойеръ покачалъ головою и началъ трунить надо мною, что я повѣрилъ такой нелѣпицѣ. А нелѣпицу эту я самъ изобрѣлъ. Я долженъ былъ прикусить языкъ и смѣяться надъ собственною же нелѣпостью. Тутъ играло главную роль не столько невѣжество и грубое незнаніе, сколько безразсудность отъ самомнѣнія, мѣшавшаго разсуждать и всесторонне обдумывать, что́ хочешь сказать или сдѣлать.

Послѣ пятилѣтняго пребыванія въ Дерптѣ, я уже безъ самонадѣянности и безъ самомнѣнія въ правѣ былъ считать себя достаточно приготовленнымъ къ дальнѣйшему самостоятельному образованію наукою. Изъ анатоміи я изучилъ нѣкоторые предметы такъ основательно, что, напримѣръ, въ изученіи о фасціяхъ едва-ли кто-нибудь могъ быть опытнѣе меня. Въ этомъ убѣдились потомъ и въ Берлинѣ проф. Шлеммъ и Іоганнъ Мюллеръ. Хирургію я изучилъ по монографіямъ, и всегда при помощи хирургической анатоміи, которую изучалъ на трупахъ.

Недостатокъ труповъ въ Дерптѣ былъ, по крайней мѣрѣ, тѣмъ полезенъ, что принуждалъ пользоваться тщательно наличнымъ матеріаломъ. Немудрено, что, получая въ свое распоряженіе трупъ, возились съ нимъ день и ночь, не бросая ничего даромъ и стараясь сохранить какъ можно долѣе.

Трупы получались большею частью изъ Риги, по почтѣ, зимою почти всегда замерзшіе. Вспоминаю при этомъ забавное происшествіе, случившееся съ однимъ изъ моихъ товарищей. Онъ препарировалъ промежность (perinaeum) на полузамерзшемъ трупѣ, загнувъ его бедро къ животу и приподнявъ ноги кверху. Дѣло было ночью, и потому на ноги и на животъ трупа поставили нѣсколько свѣчъ въ низенькихъ подсвѣчникахъ. Препарирующій углубился всецѣло въ свою работу;

вдругъ онъ получаетъ отъ невидимой руки затрещину, свѣчи падаютъ, потухли, и въ комнатѣ дѣлается совершенно темно. Можно себѣ представить удивленіе и испугъ оставшагося въ темнотѣ и съ болью въ щекѣ молодого анатома! Онъ поднимаетъ крикъ,—является аптечный служитель со свѣчею, и дѣло разомъ объясняется. Полузамороженный трупъ оттаялъ, и тотчасъ же поднятыя вверхъ ноги спустились, столкнули свѣчи и даютъ плюху сидѣвшему между ногъ съ нагнутою внизъ головою анатому.

Въ маѣ 1833 года рѣшено было отправиться намъ за границу.

Всѣ медики должны были ѣхать въ Берлинъ, естествоиспытатели—въ Вѣну; всѣ другіе (юристы, филологи, историки)—также въ Берлинъ. Во Францію и почему-то и въ Англію никого не пустили.

Я отправился вмѣстѣ съ однимъ дерптскимъ пріятелемъ (потомъ служившимъ врачемъ въ московскомъ воспитательномъ домѣ), Самсономъ фонъ-Гиммельштернома, и съ товарищемъ изъ профессорскаго института—Котельниковымъ.

На Котельниковѣ надо остановиться,—вѣдь онъ не мало былъ предметомъ моего любопытства.

Въ нашемъ профессорскомъ институтѣ было двое чахоточныхъ въ послѣднемъ періодѣ болѣзни: Шкляревскій и Котельниковъ. Первый, на видъ здоровый, полный блондинъ, съ хорошо развитою грудью, говорившій всегда громко, началъ харкать кровью и умеръ отъ скоротечной чахотки. Это былъ поэтъ съ прекрасною, высокою душою. Въ стихотвореніяхъ его проглядывалъ мистическій оттѣнокъ; въ одномъ изъ нихъ (на новый годъ, напримѣръ) Шкляревскій говорилъ собравшимся товарищамъ:

Было время, одинокою
Каждый шествовалъ тропой
Сквозь туманъ и глушь, далекою
Увлекаемый звѣздой;
Но грядый незримо съ чадами
Слилъ пути въ единый путь,
Взгляды встрѣтились со взглядами
И къ груди прижалась грудь.

Пути наши, казавшіеся восторженному юношѣ уже слитыми, не слились, какъ показало время.

Иначе могло ли бы случиться, чтобы объ иныхъ изъ насъ не было лѣтъ 30 ни слуху, ни духу. Вотъ о Котельниковѣ, напримѣръ, я 40 лѣтъ ничего не знаю. Ошибаюсь, впрочемъ: слышалъ, что дочь его (послѣ меня—самаго младшаго изъ членовъ профессорскаго института) вышла замужъ за Коргух-троцкаго, который, по малой мѣрѣ, лѣтъ на 7—8 былъ старѣе Котельникова. И еще знаю о нихъ обоихъ, что они были профессорами въ Казани, а если не ошибаюсь, кажется, видалъ и визитную карточку Котельникова у себя въ Берлинѣ.

Этотъ юноша,—такимъ онъ былъ 48 лѣтъ тому назадъ [1]), былъ тогда какимъ-то феноменомъ въ моихъ глазахъ. Теперь мнѣ стало извѣстно изъ опыта, что съ 17—21-лѣтними юношами совершаются иногда непостижимыя перемѣны и въ физическомъ, и въ нравственномъ отношеніи; но въ 1830-хъ годахъ нашего вѣка, Котельниковъ, изможденный какъ скелетъ, едва переводившій духъ, страдавшій цѣлые мѣсяцы изнурительною лихорадкою, задыхавшійся отъ кровохарканья и скоплявшейся въ кавернахъ мокроты, и потомъ—тотъ же Котельниковъ, кутившій съ нами въ Ригѣ и наслаждавшійся потомъ dolce far niente въ Берлинѣ, для меня,—говорю,—тогда эти два образа не могли умѣститься въ одномъ и томъ же Котельниковѣ. Это съ физической стороны; а съ духовной—снова два разныя лица.

Одинъ Котельниковъ—больной и хилый, но геніальный математикъ, по увѣренію профессоровъ Струве и Бартельса и по увѣренію товарищей; онъ день и ночь сидитъ надъ математическими выкладками, онъ изучилъ всѣ тонкости небесной механики Лапласа; отъ Котельникова всѣ ожидаютъ, что онъ займетъ высшее мѣсто (выше самого Остроградскаго) въ ряду русскихъ математиковъ; объ этомъ намекаетъ и самъ Штруве. Одна бѣда—разстроенное здоровье. Но вотъ здоровье неожиданно поправляется. Котельниковъ воскресаетъ изъ мертвыхъ, и что́ же — чрезъ два года онъ неузнаваемъ въ нравственно-духовномъ отношеніи.

Ежедневно можно было встрѣтить Котельникова въ конди-

---

[1]) Писано въ 1881 г.

терскихъ, загородныхъ гуляньяхъ или просто на улицахъ Берлина, или читающимъ какую-нибудь газету, или же, всего чаще, ничего не дѣлающимъ; книги, лекціи, все оставлено. Я помню, Котельниковъ сознавался мнѣ, что еще ни разу не былъ на лекціи одного изъ извѣстныхъ тогда математиковъ.

Женскія лица начали дѣйствовать на Котельникова обаятельно, но по прежнему платонически, и, несомнѣнно, Котельниковъ, гуляка и глазѣйщикъ, остается дѣвственнымъ.

— Что съ тобою приключилось?“ —часто спрашивалъ я его, когда онъ, отъ нечего-дѣлать, заходилъ ко мнѣ.

— „У меня, вотъ тутъ,—говорилъ онъ, показывая на лобъ, —что-то лежитъ, въ родѣ камня, а иногда мнѣ душно дѣлается; я ночью растворяю окно, становлюсь въ рубашкѣ противъ вѣтра или бѣгу, сломя голову, на улицу“.

Разговоръ объ этомъ не тянулся и переходилъ на злобу дня. Такъ прошли два года въ Берлинѣ. Я любилъ добрѣйшую душу этого чудака-товарища, и съ нимъ же отправился и обратно изъ Берлина въ Россію.

Я потомъ опишу это путешествіе, а теперь скажу только, что въ Ригѣ я, несмотря на постигшую меня тяжелую болѣзнь, не могъ удержаться отъ смѣха, глядя на чемоданъ Котельникова; глядя, я вспоминалъ о забавной гримасѣ, видѣнной мною на лицахъ нѣмецкихъ почтарей, когда они, перекладывая и перенося чемоданъ Котельникова, замѣчали въ немъ стукъ отъ перекатыванія какого-то твердаго тѣла изъ одного угла въ другой. Въ Ригѣ же я узналъ, что чемоданъ ничего болѣе не содержалъ въ себѣ, какъ старые, поношенные сапоги Котельникова.

Можно себѣ представить, какъ пріятенъ былъ мнѣ путь изъ Дерпта въ Ригу. Будущее, розовыя надежды, новая жизнь въ разсадникахъ наукъ и цивилизаціи, пріятное общество двухъ товарищей, прекрасная весенняя погода, все веселило и радовало молодую душу.

Ко многимъ моимъ недостаткамъ и слабостямъ того времени я отношу еще неумѣнье и нежеланье вести счетъ деньгамъ. Несмотря на мою бѣдность, несмотря на то, что, живя въ семействѣ, я долженъ бы былъ знать цѣну деньгамъ, изъ которыхъ ни одна копѣйка не проходила и не пропадала даромъ,

я не хотѣлъ и не умѣлъ считать, когда деньги поступали въ полное мое распоряженіе.

Получивъ въ началѣ мѣсяца жалованье, я никогда не могъ свести концы съ концами, и нерѣдко случалось въ Дерптѣ, что къ концу мѣсяца я сидѣлъ безъ чая или безъ сахара; въ такомъ случаѣ чай замѣнялся ромашкою, мятою, шалфеемъ. Когда, при отъѣздѣ за границу, намъ выдана была впередъ довольно значительная для насъ сумма,—кромѣ денегъ на дорожныя издержки мы получили впередъ за полгода наше заграничное жалованье (800 талеровъ въ годъ), то съ этими деньгами случилось у меня то же самое, что и съ мѣсячнымъ жалованьемъ въ Дерптѣ.

Пріѣхавъ въ прибалтійское Эльдорадо—Ригу, всѣ ощутили какую-то неудержимую потребность покутить; а потомъ, вмѣсто того, чтобы спѣшить къ мѣсту назначенія, кто-то предложилъ ѣхать въ Берлинъ чрезъ Копенгагенъ моремъ, а потомъ на Гамбургъ и Любекъ. Ни мы, ни наше университетское начальство, ни министерство не знали, что отправляться весною въ заграничные университеты для слушанья курсовъ весьма неразсчетливо и непроизводительно.

Лѣтній семестръ, начинающійся послѣ святой, весьма коротокъ и неудобенъ. Надо отправляться за границу для ученья только осенью, въ серединѣ октября.

Продливъ время нашего путешествія избраніемъ пути чрезъ Копенгагенъ, мы могли пріѣхать въ Берлинъ только въ концѣ мая; семестръ же продолжался только до половины августа, а гонораръ за лекціи мы должны были внести все-таки полный, семестральный. Ѣхать въ Берлинъ чрезъ Копенгагенъ, значило въ то время искать случая, то-есть искать паруснаго купеческаго судна въ Ригѣ.

На это понадобились еще два дня, что́ съ двумя другими, проведенными въ кутежѣ, хотя и далеко не безшабашномъ, составило уже четыре дня, канувшихъ въ Лету не только безъ пользы, но и со вредомъ для кармана. Нашлось парусное датское судно, отправлявшееся обратно въ Копенгагенъ, сколько помню, почти ненагруженное. Насъ отправилось человѣкъ восемь, и всѣ въ первый разъ въ жизни дѣлали путешествіе моремъ.

Оно, конечно, началось прежде всего морскою болѣзнью.

На другой день всѣ мы лежали въ-лёжку, проклиная тотъ часъ, когда рѣшена была эта поѣздка. Еще день—и еще хуже. Поднимается штормъ и страшная качка; кажется, что вотъ, вотъ; и наше судно развалится, лопнетъ, разобьется въ щепки. Кто-то изъ насъ выползъ на палубу и умоляетъ капитана воротиться назадъ куда-нибудь къ берегу; другіе, несмотря на плачевную обстановку, смѣются вмѣстѣ съ капитаномъ надъ наивнымъ предложеніемъ товарища. Наступаетъ темная, бурная ночь, и мы (кажется, около Борнгольма)—на краю опасности, признаваемой и самимъ капитаномъ. Снасти трещатъ во всю ивановскую; волны играютъ судномъ, какъ мячикомъ; сверху льетъ ливмя, вокругъ туманъ и не видать ни зги. Насъ заперли внизу, всѣхъ въ одной большой каютѣ, вылѣзать на палубу запретили.

Ужасъ да и только! Тянется, тянется и нескончаема кажется ночь; а ночью—трескъ, вой, свистъ, плескъ волнъ кажутся еще страшнѣе и зловѣщѣе! Цѣлыхъ три дня длилась буря, а потомъ цѣлый день былъ штиль, и только черезъ недѣлю мы пріѣхали въ Копенгагенъ.

Первый разъ въ жизни—въ заграничномъ городѣ. Какое же первое впечатлѣніе? Помню ясно, что меня поразила всего болѣе какая-то невиданная еще мною городская опрятность, а затѣмъ—высокіе цилиндрическіе тополи, придававшіе городу также необычайный для меня видъ. Я тотчасъ же отправился по госпиталямъ, сдѣлавъ предварительно визиты директорамъ госпиталя и клиникъ. Пріемъ былъ очень радушный; видно было, что датскіе профессора еще не скучали отъ наплыва любознательныхъ иностранцевъ. Только одинъ, не профессоръ, а извѣстный въ то время въ Копенгагенѣ операторъ (именно литотомистъ), видимо изумленный моимъ посѣщеніемъ, отказалъ мнѣ присутствовать при его операціяхъ, сказавъ коротко и ясно, что этого нельзя допустить.

Уже и въ то время явно обнаруживалась ненависть датчанъ къ нѣмцамъ. Очевидно было присутствіе двухъ враждебныхъ лагерей и въ ученомъ сословіи. Нѣсколько докторовъ и прозекторовъ, изъ датчанъ, очень любезно отнесшихся ко мнѣ, при первомъ же удобномъ случаѣ раскрывали мнѣ душу, полную ненависти къ нѣмцамъ.

— „Всѣхъ, всѣхъ мы готовы принять по-дружески, только не нѣмцевъ,—нашихъ злѣйшихъ враговъ“.

Мнѣ живо припомнились эти слова, очень живо, въ Берлинѣ, въ 1863 году.

Я въ почтовой каретѣ ѣду изъ Гамбурга въ Берлинъ. Для чего это я—думаю я по дорогѣ—накупилъ столько фуляровъ въ Гамбургѣ? Мнѣ нравится утирать носъ фуляромъ, и при томъ мой Мойеръ всегда носилъ въ карманѣ фуляръ. Да онъ нюхалъ табакъ, и потому не употреблялъ бѣлыхъ носовыхъ платковъ; а тебѣ зачѣмъ,—вѣдь ты не нюхаешь? Ну, да, впрочемъ, что же, развѣ много истрачено? Однако-же, давай-ка считать. И вотъ, едва-ли не въ первый разъ въ жизни, я принялся сводить приходъ съ расходомъ. Вѣдь такъ, пожалуй, не хватитъ и на полгода того, что осталось въ карманѣ. Ну, это еще что? Давай-ка, сочтемъ, благо никого нѣтъ изъ пассажировъ. Начинаю вынимать изъ бокового кармана: во-первыхъ, что это? а, датскій паспортъ! Вотъ подлецы: слупили чуть-ли не 3 талера за паспортъ, а на чорта его! еще, пожалуй, съ нимъ бѣды наживешь. Вѣдь этакое нахальство—навязывать проѣзжимъ иностранцамъ сбои датскіе паспорты, чтобы содрать 2—3 лишнихъ талера! Тутъ, стопъ! остановка; дверцы кареты отворяются, влѣзаетъ офицеръ. Милости просимъ. Счетъ деньгамъ приходится отложить. Посмотримъ, что за особа. Молчаніе.

— „Вы, вѣрно, русскій?“—слышу вопросъ.

— Да, я изъ Россіи.

— „Я узналъ это по запаху“.

— Какъ! неужели отъ меня пахнетъ?

— „Нѣтъ, не отъ васъ, а отъ вашихъ сапогъ и вашего бумажника, который вы держите въ рукахъ“.

Тутъ я обращаю вниманіе на мой бумажникъ и прячу его скорѣе въ карманъ.

— „Я познакомился недавно со многими русскими изъ высшаго круга“,—продолжалъ офицеръ, смотря на меня въ упоръ, чтобы не упустить изъ виду Knalleffect, неизбѣжный, по его мнѣнію, для всякаго русскаго, когда онъ слышитъ отъ нѣмца о знакомствѣ его съ высшимъ кругомъ.

— „Да, я танцовалъ также съ вашею государынею. Ея императорское величество, дочь нашего короля, была очень

благосклонна къ намъ, прусскимъ офицерамъ, и изъявила желаніе протанцовать съ каждымъ изъ насъ".

Сказавъ это, прусскій офицеръ какъ-то особенно поднялъ голову, бросилъ на меня выразительный взглядъ и, предложивъ мнѣ безъ результата сигарку, закурилъ и погрузился въ думу.

А я, не успѣвъ счесть содержимое въ моемъ пахучемъ бумажникѣ, принялся считать въ умѣ — и постоянно сбивался въ счетѣ, задремалъ и заснулъ.

Въ Берлинѣ мы были поручены нашимъ министромъ, княземъ Ливеномъ, нѣкоему ученому піэтисту, профессору Кранихфельду. Это былъ окулистъ, завѣдывавшій частною глазною клиникою и вмѣстѣ съ тѣмъ профессоромъ, если не ошибаюсь, гигіены или чего-то въ этомъ родѣ. Первымъ дѣломъ Кранихфельда было приглашеніе насъ къ нему на чай. Мы нашли у него, за чайнымъ обществомъ, кромѣ жены, трехъ или четырехъ дамъ и еще двухъ или трехъ пожилыхъ господъ. Тутъ изъ разговоровъ мы узнали, что Кранихфельдъ придерживается гомеопатіи.

— „Представьте себѣ,—говорилъ онъ намъ,—какъ случайные факты и наблюденія подтверждаютъ иногда ученія, въ глазахъ скептиковъ и вольнодумцевъ кажущіяся невѣроятными. Мы недавно вечеромъ сидѣли въ саду подъ кустомъ цвѣтущей бузины, и на другой же день всѣ получили насморкъ и небольшой катарръ: similia similibus. По моему опыту, нѣтъ болѣе надежнаго средства противъ простудныхъ катарровъ, какъ бузинный цвѣтъ".

Поговоривъ и напившись чаю, и притомъ чисто нѣмецкаго (русскій чай былъ тогда еще рѣдкостью въ Берлинѣ, и продавался дорого, вмѣстѣ съ икрою, сладкимъ горошкомъ, въ одной только русской лавкѣ), мы принялись, по предложенію Кранихфельда, за пѣніе псалмовъ; намъ роздали какія-то брошюрки, одна изъ дамъ сѣла за фортепіано, и всѣ начали подпѣвать, кто какъ умѣлъ.

Это занятіе, съ нѣкоторыми паузами, продолжалось безъ малаго часа два и стало намъ прискучивать; но дѣлать было нечего,—пришлось оставаться до конца. Наконецъ мы рас-

простились, съ твердымъ намѣреніемъ не приходить болѣе на чай къ Кранихфельду.

Все, что̀ онъ для насъ сдѣлалъ, во время своего инспекторства, состояло въ томъ, что онъ познакомилъ насъ съ нѣкоторыми изъ профессоровъ. Самый главный изъ нихъ былъ старикъ Гуффеландъ, сроднившійся съ нашимъ извѣстнымъ Стурдзою:

Я на Стурдзу гляжу библическаго,
Вокругъ Стурдзы хожу монархическаго.
(Пушкинъ.)

Физіономія всѣхъ этихъ господъ уже съ перваго взгляда обращала на себя вниманіе выраженіемъ какого-то торжественнаго спокойствія; у иныхъ это выходило съ натяжкою и было болѣе продуктомъ искусственнымъ, а у другихъ шло изнутри. Къ числу послѣднихъ принадлежалъ и Гуффеландъ. Высокій, сѣдой, нѣсколько блѣдный, съ зеленымъ зонтикомъ на глазахъ, онъ импонировалъ своимъ лбомъ, виднѣвшимся выше зонтика, и подбородкомъ. Онъ говорилъ торжественно и спокойно. Спрашивалъ кое-что о Дерптѣ. Гуффеландъ въ то время не держалъ уже клиники и былъ на-покоѣ, въ кругу своей семьи.

Кранихфельдъ водилъ насъ, медиковъ, также къ Русту; но этотъ не принялъ насъ; мы узнали потомъ, что Кранихфельдъ былъ ему непонутру. Впрочемъ жена Руста приняла насъ и объявила, что мужъ, послѣ подагрическаго припадка, лежитъ въ истерикѣ и принять насъ не можетъ; а мы хотѣли было испросить у него позволенія посѣщать Charité во время утреннихъ и вечернихъ визитовъ ея ординаторовъ (штабъ-лекарей, Stabsärzte), что̀ никому изъ учащихся не дозволялось.

Вскорѣ Кранихфельдъ не преминулъ отличиться слѣдующими подвигами.

Во-первыхъ, онъ распорядился втайнѣ у хозяевъ нашихъ квартиръ, чтобы они не давали на руки ключей отъ входныхъ дверей, какъ это обыкновенно дѣлалось, когда квартирантъ отлучался вечеромъ и не надѣялся возвратиться рано домой. Всѣ ли наши хозяева получили отъ Кранихфельда эту инструкцію—не знаю, но одинъ изъ насъ, Крюковъ (потомъ профессоръ филологіи въ Москвѣ), случайно сдѣлалъ открытіе. Хозяйка его, на требованіе Крюкова выдать ему ключъ отъ улич-

ной двери на ночь, сказала, что собственно она не должна бы этого дѣлать.

— Это почему?—спросилъ Крюковъ.

— „Да профессоръ Кранихфельдъ запретилъ“,—отвѣчала она, улыбаясь.

Крюковъ не утерпѣлъ, побѣжалъ къ Кранихфельду за объясненіемъ.

— „Я узналъ,—говорилъ ему Кранихфельдъ,—что вы часто отлучаетесь изъ дома ночью“,—да потомъ, слово за слово, встрѣчая противорѣчія, вдругъ и бухни:

— „Вотъ такіе-то русскіе, г. Крюковъ, какъ вы, и дошли до самаго страшнаго изъ преступленій: до цареубійства!“

— Цареубійства!—восклицаетъ Крюковъ:—да мы, русскіе, никогда и не слыхивали у насъ о такомъ преступленіи.

— „А смертъ.....?“—возражаетъ Кранихфельдъ.

— Какъ! что вы говорите, г. профессоръ!—горячится Крюковъ:—да развѣ это могло быть? Мы объ этомъ ничего не знаемъ и никогда не слыхали.

Кранихфельдъ оцѣпенѣлъ, увидѣвъ, что попалъ въ просакъ.

Съ тѣхъ поръ онъ оставилъ и Крюкова, и всѣхъ насъ въ покоѣ.

Я опасался также встрѣтить въ Кранихфельдѣ второго Василія Матвѣевича Перевощикова, но, напротивъ, Кранихфельдъ не могъ нахвалиться моимъ прилежаніемъ въ посѣщеніи госпиталей, анатомическаго театра и лекцій.

Лекціи Кранихфельда даже для того времени, когда еще сильно господствовали въ умахъ разныя философскія бредни, считались допотопными. Разсказывали, напримѣръ, о такого рода пассажѣ.

— „Природа,—утверждалъ Кранихфельдъ на одной лекціи,—представляетъ намъ всюду выраженіе трехъ основныхъ христіанскихъ добродѣтелей: вѣры, надежды и любви. Такъ, цѣлый классъ млекопитающихъ служитъ представителемъ первой изъ нихъ—вѣры; земноводныя какъ бы олицетворяютъ надежду, а птицы—любовь“.

Этотъ мистическій сумбуръ въ головѣ Кранихфельда не препятствовалъ ему, однако-же, быть довольно порядочнымъ окулистомъ того времени. Онъ дѣлалъ отчетливо и довольно хо-

рошо извлеченіе катаракта (хрусталика) и круга глазного зрачка, и т. п.

Владычество Кранихфельда надъ нами продолжалось недолго. Съ отставкою князя Ливена и съ вступленіемъ въ министерство гр. С. С. Уварова, уволенъ былъ отъ насъ и Кранихфельдъ. Мѣсто его заступилъ генералъ Мансуровъ; при немъ мы получили прибавку жалованья и освободились совершенно отъ нравственной опеки.

Во время нашего пребыванія въ Берлинѣ пріѣзжалъ императоръ Николай, остановился у посла Рибопьера и велѣлъ явиться туда всѣмъ русскимъ.

Я занемогъ въ это время простудою, и не могъ явиться.

Явилось много другихъ, и между прочими нѣкоторые поляки; на одномъ изъ нихъ остановился взоръ императора.

— „Почему это вы носите усы?“ — спросилъ строго государь, подойдя близко къ сконфуженному усачу.

— Я съ Волыни,—отвѣтилъ онъ чуть слышно.

— „Съ Волыни или не съ Волыни, все равно; вы—русскій, и должны знать, что въ Россіи усы позволено носить только военнымъ“,—громкимъ и внушительнымъ голосомъ произнесъ государь.

— „Обрить!“—крикнулъ онъ, обратясь въ Рибопьеру и показывая рукою на несчастнаго волынца.

Тотчасъ же пригласили этого раба божьяго въ боковую комнату, посадили и обрили.

. . . . . .

Въ Берлинѣ, прежде всего, мнѣ надо было распорядиться съ домашнею жизнью. Денегъ оказалось, по моимъ соображеніямъ, — несмотря на излишнюю покупку фуляровъ въ Гамбургѣ, достаточно до конца семестра, то-есть до новаго жалованья. Я нанялъ квартиру въ улицѣ Charité, у вдовы какого-то мелкаго чиновника. Помѣщеніе мое состояло изъ одной, но весьма просторной комнаты, отдѣленной на-глухо забитою дверью отъ хозяйскаго помѣщенія. Семейство вдовы состояло изъ подростковъ, одной дочери и мальчика сына, настоящаго

берлинскаго Strassenjunge, подававшаго надежду сдѣлаться впослѣдствіи настоящимъ Berliner Louis.

Мебель моя состояла изъ кровати, софы, пяти-шести стульевъ, шкафа, стола и коммода,—увы! какъ оказалось послѣ—плохо запиравшагося. Въ этотъ злосчастный коммодъ я и положилъ, вмѣстѣ съ другими вещами, бумажникъ съ прусскими ассигнаціями, пересчитавъ ихъ предварительно не одинъ разъ. Что касается до пищи и питья, то оказалось, что я гораздо легче могъ найти себѣ пріютъ, чѣмъ отыскать хотя сколько-нибудь сносный способъ питанія моего тѣла.

Въ Дерптѣ, на Мойеровскомъ столѣ, простомъ и питательномъ, я отвыкъ отъ трактирной кухни, и одно воспоминаніе о рисовой кашѣ съ снятымъ молокомъ, водянистомъ супѣ и твердомъ, какъ подошва, жаркомъ, доставлявшихся намъ въ трехъ глиняныхъ судкахъ изъ трактира Гекштетера, въ первый семестръ нашего пребыванія въ Дерптѣ, — уже одно, говорю, воспоминаніе объ этихъ кулинарныхъ прелестяхъ возбуждало во мнѣ отвращеніе къ пищѣ и тошноту, и я радъ былъ услышать отъ моей хозяйки, что она бралась приготовлять мнѣ обѣдъ.

Вскорѣ, однако-же, оказалось, что Гекштетеръ въ Дерптѣ былъ, по крайней мѣрѣ, въ томъ отношеніи добросовѣстенъ, что онъ замѣнялъ малую питательность отпускавшейся имъ неудобоваримой пищи по истинѣ огромнымъ количествомъ съѣстного матеріала. Хозяйка же моя въ Берлинѣ умудрилась такъ распорядиться, что, отпуская для моего обѣда: a) супъ, еще болѣе водянистый, чѣмъ Гекштетеровскій, b) мясо вареное и жареное, еще менѣе ѣдомое и c) блинчики, уже вовсе неѣдомые и иногда замѣняемые кускомъ угря (Aal) весьма подозрительнаго свойства,—вмѣстѣ съ тѣмъ и количеству не давала выступать изъ самыхъ ограниченныхъ размѣровъ.

Промучившись такъ около двухъ недѣль на хозяйскомъ столѣ, утоляя дефицитъ питанія чѣмъ ни попало, но съ двойнымъ ущербомъ для кармана, я наконецъ рѣшился, по совѣту товарищей, абонироваться на мѣсяцъ въ трактирѣ. Предстояла, однако-же, трудность выбора. Въ одномъ изъ нихъ, предназначенныхъ исключительно для учащейся братіи, абонементъ былъ 3 талера въ мѣсяцъ, то-есть по 3 Silbergroschen за обѣдъ. Въ дру-

гомъ,—Unter den Linden,—абонировались за 5 талеровъ (по 5 Silbergroschen за обѣдъ); и въ томъ, и въ другомъ абонентъ имѣлъ право выбирать по картѣ 3 кушанья. Послѣ многихъ колебаній, я избралъ абонементомъ Unter den Linden.

Отъ водянистаго супа, однако-же, я и тутъ не ушелъ; только онъ тутъ явился подъ французскимъ наименованіемъ: bouillon clair. И вотъ, тарелка этого чистѣйшаго водяного раствора, кусокъ bœuf à la mode или Rindenbrust naturel и порція Mehlspeise съ ягоднымъ сокомъ составляли мой обѣдъ въ теченіе цѣлаго мѣсяца и болѣе.

Такъ какъ я былъ всегда худощавъ, то не знаю, можно-ли было замѣтить истощеніе тѣла отъ недостаточнаго питанія; я чувствовалъ, однако-же, ежедневно къ вечеру,—набѣгавшись отъ стараго анатомическаго театра (за Garnison-Kirche) въ Charité и оттуда въ Ziegelstrasse,—неудержимую потребность ѣды, и удовлетворялъ ее разною дрянью въ родѣ лимбургскаго сыра, колбасы и т. п., какъ наименѣе бившей по карману. Такъ я разсчитывалъ пробиться до конца семестра; но суждено было не то.

Однажды я иду въ коммодъ за деньгами, вынимаю бумажникъ, смотрю—и не вѣрю глазамъ: пачка прусскихъ ассигнацій въ 5 талеровъ, еще не такъ давно довольно пузастая и тѣмъ поддерживавшая во мнѣ надежду, показалась мнѣ необыкновенно исхудавшею. Я принимаюсь считать, и—Боже мой, что́ же это такое? мнѣ такъ не хватитъ и на 2 мѣсяца, а до конца августа—еще 3, да, сверхъ того, я долженъ еще внести за privatissimum у профессора Шлемма. Какъ же я могъ такъ ошибиться въ разсчетѣ? А считалъ ли я всякій день, что́ расходовалъ, повѣрялъ ли отложенныя въ бумажникѣ деньги, и когда ихъ повѣрялъ? Велъ ли хоть какую-нибудь приходо-расходную тетрадь? Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ. А между тѣмъ я навѣрное знаю или, лучше, чувствую, что обворованъ.

Входя нечаянно въ свою комнату, я не разъ видѣлъ, что будущій Berliner Louis шлялся въ ней непрошенный и бывалъ вблизи коммода. Замокъ коммода оказался также незапертымъ хорошо. Я позвалъ хозяйку и объявилъ ей о пропажѣ денегъ. Она взбуторажилась, разъ десять прокричала: „Kreutz Donnerwetter!“, отвергала всякое малѣйшее подозрѣніе на своего сы-

нишку. Объявили полиціи. Но гдѣ доказательства, что пропажа дѣйствительно существовала? Поговорили, покричали, побранились,—тѣмъ и кончилось. Что тутъ дѣлать? Я крѣпко призадумался, началъ остатокъ уцѣлѣвшихъ денегъ носить постоянно съ собою, сократилъ еще болѣе мелочные расходы; но все это, я видѣлъ ясно, не дастъ мнѣ средствъ къ жизни до конца семестра.

Иду къ Garnison-Kirche, въ анатомическій (старый) театръ, чтобы уплатить, пока еще есть деньги, профессору Шлемму за privatissimum (хирургическія операціи надъ трупами). Смотрю и вижу тамъ нѣсколько знакомое лицо, узнавшее и меня.

Это—студентъ дерптскаго университета, сынъ богатаго петербургскаго аптекаря, старика Штрауха.

Молодой Штраухъ, не кончивъ медицинскаго курса, долженъ былъ оставить университетъ и бѣжать за границу. Онъ опасно ранилъ на пистолетной дуэли того студента, о ранѣ котораго на шеѣ я уже разсказывалъ прежде. И вотъ, этотъ Штраухъ, получавшій отъ отца большое содержаніе, оставивъ Россію и съ нею невѣсту, пріѣхалъ въ Берлинъ доканчивать курсъ.

— „Вотъ встрѣча-то какъ нельзя кстати!—говоритъ мнѣ Штраухъ:—знаете ли, мнѣ бы хотѣлось жить и заниматься вмѣстѣ съ кѣмъ-нибудь, кто бы могъ быть мнѣ полезнымъ въ занятіяхъ; не согласитесь ли вы? Я вамъ предлагаю квартиру у себя, особую комнату, содержаніе, удовольствія и развлеченія, которыми я самъ пользуюсь, а отъ васъ ничего другого не требую, какъ помочь мнѣ совѣтомъ или объясненіемъ тамъ, гдѣ не хватитъ своего ума“.

Я съ радостью далъ самое задушевное согласіе.

Въ Провидѣніе я тогда,—ко вреду для самого себя,—не вѣрилъ, и счелъ встрѣчу съ Штраухомъ за счастливый случай.

На другой же день я переѣхалъ къ Штрауху, и былъ ему искренно благодаренъ. Я жилъ съ нимъ вмѣстѣ, кажется, болѣе года. И Штраухъ, и я сдержали слово. Онъ мнѣ ни въ чемъ не отказывалъ; всякое воскресенье водилъ онъ меня въ театръ. Тогда были въ ходу классическія пьесы Шекспира, Шиллера, Лессинга и Гёте, а Штраухъ былъ отъявленный меломанъ. Мы обыкновенно приносили съ собою въ театръ переводъ Шекс-

пира и слѣдили по немъ за дикціею актеровъ, между которыми Лемъ, Ротъ, Крелингеръ были любимцами берлинской публики.

Питаніе моего тѣла также нѣсколько исправилось,—я пилъ каждодневно пиво съ Штраухомъ, до котораго онъ былъ охотникъ. Хотя мы всего чаще обѣдали по 3-хъ-талерному абонементу, въ чисто-студенческомъ ресторанѣ, но кушанья выбирали получше, приплачивая, да къ тому же еще нерѣдко и вечеромъ заходили съѣсть порцію чего-нибудь.

Въ этомъ ресторанѣ всѣ блюда были на подборъ во истину студенческія. Главную роль играла свинина съ тертымъ горохомъ. Это кушанье съѣдалось студентами въ ужасающихъ размѣрахъ, запиваемое берлинскою пивною бурдою (такъ называемое Weissbier или Blonde); немалую роль, но уже какъ деликатесъ, игралъ сельдерейный салатъ (Sellerysalat).

Этотъ деликатесъ мнѣ памятенъ еще и потому, что онъ предложенъ былъ однимъ бѣднымъ еврейчикомъ какъ нѣжное питательное средство.

Это предложеніе, о которомъ и теперь не могу вспомнить безъ смѣха, было сдѣлано въ клиникѣ Грефе.

Знаменитый профессоръ имѣлъ обыкновеніе иногда спрашивать практикантовъ въ его клиникѣ о діэтѣ, необходимой для того или другого больного; при этомъ онъ требовалъ иногда отъ практиканта и довольно подробнаго меню для случаевъ изъ частной практики. Рѣчь шла о режимѣ для какой-то слабой и безкровной дамы.

— „Какое бы вы предложили нѣжное и вмѣстѣ съ тѣмъ питательное кушанье для этой ослабѣвшей и деликатной особы?“ —спрашивалъ Грефе у практиканта-еврейчика, котораго я нерѣдко встрѣчалъ въ нашемъ ресторанѣ.

— Sellerysalat,—отвѣчалъ онъ, въ полной увѣренности, что болѣе приличнаго блюда для его больной никто не предложитъ.

Я, съ своей стороны, искренно, отъ души помогалъ Штрауху въ его занятіяхъ, демонстрируя ему изъ хирургической анатоміи, оперативной хирургіи, читалъ съ нимъ и репетировалъ, словомъ,—дѣлалъ, что̀ могъ. Черезъ два года Штраухъ выдержалъ въ Дерптѣ экзаменъ на доктора, и я, возвратясь въ

Дерптъ, имѣлъ еще удовольствіе попотчивать гостей на его докторскомъ банкетѣ черепаховымъ супомъ, заставляющимъ меня, не менѣе сельдерейнаго салата, смѣяться при воспоминаніи о немъ.

Я зналъ слабость Штрауха похвастать и отличиться. А угостить настоящимъ черепаховымъ супомъ въ Дерптѣ большое общество на званомъ обѣдѣ—это чего-нибудь да стоитъ.

Случилось такъ, что какъ нарочно къ банкету прислали въ анатомическій театръ изъ Гамбурга огромную морскую черепаху, уже, конечно, давно отдавшую Богу душу; при раскупоркѣ ящика обнаружился довольно пронзительный запахъ, и прозекторъ поспѣшилъ очистить скорѣе мясо отъ костей, назначавшихся для скелета. Отпрепарированное мясо хотѣли уже, за негодностью, схоронить, какъ мысль о черепаховомъ супѣ для банкета дала этому матеріалу болѣе высокое назначеніе.

Поваръ въ ресторанѣ Пашковскаго съумѣлъ придать миѳологическимъ останкамъ черепахи такой необыкновенный вкусъ, что всѣ гости на банкетѣ Штрауха, и всего болѣе, конечно, онъ самъ, были восхищены дотолѣ невиданнымъ въ Дерптѣ деликатесомъ. Мы, я и прозекторъ (Шульцъ), знавшіе, въ какой степени разложенія мышцы черепахи служили къ изготовленію супа, посматривали только другъ на друга и удивлялись, какъ это и гости, и мы могли находить вкусною такую дрянь.

1 октября 1881.

Отъ 1-го листа до 79-го, то-есть университетская жизнь въ Москвѣ и Дерптѣ, писана мною отъ 12-го сентября по 1-е октября (1881 г.), въ дни страданій: Dies illae, dies irae...

Благодарю моего Господа Бога, что страданія не лишили меня способности живо вспоминать старое, думать и писать.

Да будетъ воля святая Твоя!

Дотяну ли еще до дня рожденія (до ноября 13-го)? Надо спѣшить съ моимъ дневникомъ.

Наука въ Берлинѣ въ 1830-хъ годахъ была въ переходномъ состояніи. Послѣ смерти Гегеля германская философія

уже не могла найти себѣ подобныхъ, какъ онъ, вожаковъ, заставившаго значительную часть культурнаго общества въ Европѣ смотрѣть на міръ божій не иначе, какъ чрезъ изобрѣтенные имъ консервы. Теперь трудно себѣ и вообразить, до какой степени и въ Германіи, и у насъ вѣровали—именно, вѣровали—въ философію Гегеля.

Ни голосъ такихъ геніальныхъ личностей, какъ Гумбольдтъ, не оправдывавшій господствовавшаго тогда увлеченія, ни примѣръ англичанъ и французовъ, слѣдовавшихъ чисто реальному направленію въ наукѣ, ничто не помогало противъ обаянія и увлеченія гегелизмомъ.

Медицина того времени стояла въ Германіи на распутіи.

Самая сущность этой науки препятствовала ей отдаться въ руки Гегелевой философіи, но, тѣмъ не менѣе, это философское направленіе всѣхъ наукъ того времени препятствовало и медицинѣ слѣдовать спокойно и неуклонно путемъ чистаго наблюденія и опыта.

Трансцендентализмъ былъ слишкомъ моднымъ. Даже во Франціи, и въ такой наукѣ, какъ хирургія, Лисфранкъ кричалъ во все горло о себѣ, что у него можно найти „cette chirurgie suprême et transcendentale“!

Время моего пребыванія въ Берлинѣ было именно временемъ перехода германской медицины—и перехода весьма быстраго—къ реализму; начиналось торжественное вступленіе ея въ разрядъ точныхъ наукъ, празднуемое фанатиками реализма еще до сихъ поръ.

Но я засталъ еще въ Берлинѣ практическую медицину почти совершенно изолированною отъ главныхъ реальныхъ ея основъ: анатоміи и физіологіи. Было такъ, что анатомія и физіологія—сами по себѣ, а медицина—сама по себѣ. И сама хирургія не имѣла ничего общаго съ анатоміею. Ни Рустъ, ни Грефе, ни Диффенбахъ не знали анатоміи.

Рустъ, говоря однажды на своей клинической лекціи объ операціи Шопарта, сказалъ весьма наивно:—„Я забылъ, какъ тамъ называются эти двѣ кости стопы: одна выпуклая, какъ кулакъ, а другая вогнутая въ суставѣ; такъ вотъ отъ этихъ двухъ костей и отнимается передняя часть стопы“.

Грефе, при большихъ операціяхъ, приглашалъ всегда про-

фессора анатоміи Шлемма и, оперируя, справлялся постоянно у него: „не проходитъ ли тутъ стволъ или вѣтвь артеріи?“

Диффенбахъ просто игнорировалъ анатомію и подшучивалъ надъ положеніемъ разныхъ артерій. Опасеніе повредить надчревную артерію при грыжахъ считалъ праздною выдумкою.— „Das ist ein Hirngespenst!“ —говорилъ онъ своимъ ученикамъ про надчревную артерію (a. epigastrica).

Мало этого: Диффенбахъ до такой степени былъ чуждъ поверхностныхъ анатомическихъ понятій, что однажды послалъ Іог. Мюллеру кусочекъ, вырѣзанный имъ изъ языка у заики, прося, чтобы Мюллеръ опредѣлилъ, какой это мускулъ?

О профессорахъ терапіи и патологіи, о клиницизмѣ по внутреннимъ болѣзнямъ—и говорить нечего.

Объективный экзаменъ при постели больного почти не существовалъ у терапевтовъ; постукиваніе и послушиваніе употреблялось болѣе какъ decorum.

Вскрытій труповъ сами профессора не дѣлали и не присутствовали при нихъ, да и присутствіе ихъ тамъ ни къ чему бы не повело, при ихъ полномъ незнаніи патологической анатоміи.

Однажды я увидѣлъ въ рукахъ у студента, вскрывавшаго трупъ, довольно замѣчательный образецъ аневризмы легочной артеріи, впрочемъ плохо вырѣзанной изъ трупа; я обратилъ вниманіе студента на рѣдкость случая и посовѣтовалъ ему представить препаратъ профессору терапіи Горну (Horn), въ клиникѣ котораго находился предъ смертью страдавшій аневризмомъ.

— „Да что же тутъ нашъ Горнъ пойметъ?“ —отвѣчалъ наивно студентъ.

Изъ всѣхъ занимавшихся стэтоскопомъ былъ только одинъ молодой человѣкъ, д-ръ Филипсъ, предлагавшій себя и для privatissimum, но охотниковъ не являлось.

Патологическая анатомія, въ современномъ смыслѣ и даже въ смыслѣ тогдашней французской школы, существовала въ Германіи только въ одномъ университетѣ—вѣнскомъ. Во всѣхъ другихъ университетахъ профессора патологической анатоміг ограничивались изложеніемъ и классификаціей разнаго рода уродствъ, и самъ Іог. Мюллеръ въ Берлинѣ, въ первое время,

читая патологическую анатомію, ограничивался этимъ изложеніемъ.

Впрочемъ я засталъ уже Фроріепа въ Берлинѣ, недавно сюда приглашеннаго. При такомъ научномъ направленіи, о точной и правильной діагностикѣ не могло, конечно, быть и рѣчи. Нѣмцы съ пренебреженіемъ отзывались тогда о французскихъ врачахъ, говоря, что это не врачи, а только діагносты.

Признаюсь, въ этомъ упрекѣ много правды.

Но нѣмцы не предвидѣли, что чрезъ нѣсколько лѣтъ этотъ упрекъ можетъ коснуться и ихъ самихъ.

И вотъ, въ это время являются на сцену: Іог. Мюллеръ въ Берлинѣ, братья Веберы въ Лейпцигѣ, Шенлейнъ, бѣжавшій по политическимъ дѣламъ изъ Баваріи въ Цюрихъ, и Рокитанскій—въ Вѣнѣ.

Іог. Мюллеръ даетъ новое, или по крайней мѣрѣ забытое послѣ Галлера, направленіе физіологіи. Микроскопическія изслѣдованія, исторія развитія, точный физическій экспериментъ и химическій анализъ кладутся Мюллеромъ въ основы германской физіологіи.

Владычество Мюллера въ физіологіи, обильное богатыми результатами, потомъ, какъ царство Александра Македонскаго, распадается на нѣсколько областей, управляемыхъ его полководцами. Это и не могло быть иначе; но было время, когда Іог. Мюллеръ властвовалъ почти одинъ въ этой области знанія. Только братья Веберы раздѣляли съ нимъ власть нѣкоторое время.

Цюрихская клиника Шенлейна гремѣла тогда на всю Германію славою геніальнаго врача, соединившаго реальное направленіе съ смѣлыми теоріями, не даромъ же господствовавшими такъ долго въ умахъ передовыхъ врачей. Не прошло потомъ и двухъ лѣтъ, какъ Шенлейнъ былъ уже приглашенъ изъ Цюриха въ Берлинъ. Не многіе изъ передовыхъ дѣятелей этой науки заслуживали себѣ такое имя, какъ Шенлейнъ, не оставивъ послѣ себя ни одного сочиненія, кромѣ небрежно составленныхъ учениками лекцій.

Братья Веберы въ Лейпцигѣ избрали самостоятельно тотъ же самый путь, какъ и Мюллеръ. Но труды ихъ едва-ли не превосходятъ точностью результатовъ и самыя работы Мюллера.

Особливо геніаленъ былъ братъ физикъ (потомъ профессоръ физики въ Геттингенѣ). Никогда я не видалъ человѣка, у котораго высшій умъ и необыкновенныя научныя достоинства вмѣщались бы въ такомъ невзрачномъ тѣлѣ, какъ у этого брата Вебера. Наконецъ, Вѣна была въ 1830-хъ годахъ единственнымъ мѣстомъ въ цѣлой Германіи, въ которомъ патологическая анатомія изучалась на дѣлѣ, т.-е. чрезъ вскрытіе труповъ, подъ руководствомъ опытнаго наставника (Рокитанскаго). Но объ этомъ мало знали или, вѣрнѣе, этимъ мало интересовались въ Германіи, и только иностранцы ѣхали въ Вѣну для изученія патологической анатоміи.

Въ первомъ же семестрѣ я записался у Шлемма для упражненій надъ трупами (privatim) и для упражненія въ хирургическихъ операціяхъ надъ трупами (privatissimum); у Руста на клинической лекціи въ Charité, у Грефе какъ практикантъ въ его клиникѣ (Ziegel-Strasse), въ глазной клиникѣ въ Charité и у Диффенбаха privatissimum изъ оперативной хирургіи. Нѣкоторыя изъ этихъ лекцій, какъ напр. privatissimum Диффенбаха, я отсрочилъ до слѣдующаго (зимняго) семестра. Эти же самыя занятія продолжались и всѣ остальные семестры моего пребыванія въ Берлинѣ. Только иногда улучалъ я госпитировать, т.-е. быть гостемъ и на другихъ лекціяхъ.

Съ перваго же раза я, еще молокососъ (23 лѣтъ), и пожилой проф. Шлеммъ полюбили другъ друга. Онъ видѣлъ во мнѣ иностранца, любившаго его любимыя занятія и притомъ знавшаго многое изъ той части анатоміи, которою онъ мало занимался. Онъ очень хвалилъ мои работы тазовыхъ и паховыхъ фасцій, артеріальныхъ влагалищъ и проч.

Шлеммъ былъ первостепенный техникъ; его тонкіе анатомическіе препараты (сосудовъ и нервовъ) отличались добросовѣстностью и чистотою отдѣлки. Онъ мнѣ разсказывалъ о своемъ знаменитомъ спорѣ съ Арнольдомъ. Шлеммъ не вѣрилъ въ открытіе ушного узла (gangl. oticum) Арнольда и считалъ этотъ узелокъ за простую клѣтчатку. Арнольдъ прислалъ ему свой препаратъ съ ушнымъ узломъ. Шлеммъ, разбирая этотъ аппаратъ, открылъ своимъ косымъ и острымъ глазомъ на мѣстѣ узелка тоненькую шелковину, связывавшую его съ

нервною вѣточкою. Пошли пререканія, и только Іог. Мюллеръ, пользовавшійся полнымъ уваженіемъ Шлемма, уладилъ споръ, доказавъ Шлемму микроскопомъ, что узелокъ былъ дѣйствительно нервный, а шелковинка была употреблена Арнольдомъ для прикрѣпленія случайно оторвавшейся отъ узелка нервной вѣточки.

Шлеммъ былъ не только превосходнымъ техникомъ по анатоміи, но и отлично оперировалъ на трупахъ. На живомъ онъ никогда не оперировалъ, вѣроятно, слѣдуя Галлеровскому: „ne nocerem veritus“. Ровный, всегда спокойный и положительный, Шлеммъ былъ очень любимъ. Можно бы было его расцѣловать за его спокойное и привѣтливое: „sehen Sie wohl“, которымъ онъ начиналъ каждую рѣчь. „Sehen Sie wohl, meine Herren“—еще и теперь пріятно звучитъ въ моемъ воспоминаніи.

Я, несмотря на близкое знакомство съ Шлеммомъ и проводя съ нимъ ежедневно по нѣскольку часовъ, никогда не видалъ его взволнованнымъ и сердитымъ.

Я удивился однажды, съ какою неподражаемою флегмою отдѣлалъ онъ одного молодого щелкопера, сына довольно зажиточнаго торговца виномъ, пріѣхавшаго къ Шлемму съ письмомъ отъ отца изъ провинціи. Шлеммъ прочиталъ письмо и, нисколько не стѣсняясь, преспокойно далъ слѣдующій отвѣтъ: „Sehen Sie wohl—то, о чемъ проситъ вашъ отецъ, я готовъ исполнить. Онъ проситъ, чтобы я допустилъ васъ къ слушанію моихъ лекцій безъ гонорара и сверхъ того попросилъ еще и моихъ товарищей, чтобы они дозволили вамъ слушать у нихъ курсы безденежно. Хорошо, я согласенъ; но въ такомъ случаѣ попрошу и вашего батюшку, чтобы онъ мнѣ отпускалъ вино изъ своего магазина даромъ, а сверхъ того попросилъ бы и своихъ товарищей отпускать даромъ“.

Шлеммъ и Мюллеръ работали въ одномъ и томъ же зданіи (старомъ анатомическомъ театрѣ), никуда негодномъ, впослѣдствіи замѣненномъ новымъ анатомическимъ театромъ, подъ дирекціею моего хорошаго пріятеля Рейхердта. Я часто видалъ тамъ Мюллера и окружавшую его плеяду: Генлэ, Свана и другихъ.

Курсъ физіологіи у Мюллера мнѣ не удалось выслушать;

часы совпадали съ клиниками, а я не хотѣлъ пожертвовать ни одною. Впрочемъ необходимо бы было посѣтить преимущественно тѣ лекціи, на которыхъ Мюллеръ демонстрировалъ на животныхъ (преимущественно на лягушкахъ) и подъ микроскопомъ; все другое можно было прочесть потомъ въ его физіологіи.

Изъ его опытовъ надъ лягушками всего болѣе надѣлалъ въ то время шума опытъ, подтверждавшій несомнѣнно открытыя Ш. Беля различныя функціи двухъ нервныхъ корней (передняго и задняго). По мнѣнію Мюллера, никакой опытъ надъ теплокровнымъ животнымъ (разъ это дѣлали до него и другіе) не можетъ такъ ясно показать двѣ различныя функціи (чувствительную и двигательную) спинныхъ нервныхъ корней, какъ опытъ надъ лягушкою. Дѣйствительно, до Мюллера, по крайней мѣрѣ въ Германіи, никто не вѣрилъ положительно въ знаменитое открытіе Ш. Беля.

Мюллеръ былъ весьма разсчетливъ на своихъ лекціяхъ: онъ никого не допускалъ посѣщать ихъ, не внеся гонорара (весьма значительнаго по тогдашнему времени), и, читая лекцію, зорко слѣдилъ за каждымъ входящимъ въ аудиторію. Однажды онъ вдругъ встаетъ съ каѳедры и, подошедъ къ только-что вошедшему посѣтителю, громко спрашиваетъ его: „а имѣете входной билетъ? покажите!“ Билета не оказалось, и посѣтитель долженъ былъ ретироваться, а служитель у входа, отбиравшій билеты, былъ удаленъ.

Физіономіи Шлемма и Мюллера означали, съ перваго же взгляда на нихъ, два различныхъ характера: — луна и солнце. Круглое, широкое, спокойное лицо Шлемма смотрѣло на васъ полною луною. Лицо Іог. Мюллера поражало васъ своимъ классическимъ профилемъ, высокимъ челомъ и двумя межбровными бороздами, придававшими его взгляду суровый видъ и дѣлавшими нѣсколько суровымъ проницательный взглядъ его выразительныхъ глазъ. Какъ на солнце, неловко было новичку смотрѣть прямо въ лицо на Мюллера.

Клиники Руста въ Charité считались тогда молодыми нѣмецкими врачами едва-ли не самыми образцовыми въ цѣлой Германіи. И дѣйствительно, Рустъ былъ, въ извѣстномъ смыслѣ, наиболѣе реалистъ между врачами тогдашняго времени. Онъ

хотѣлъ основать свою діагностику исключительно на однихъ объективныхъ признакахъ болѣзни, и потому требовалъ въ своей клиникѣ отъ практикантовъ, прежде разспроса больного объ анализѣ и субъективныхъ признакахъ, изслѣдованія того, что можно видѣть и осязать собственными чувствами. Принципъ превосходный. Разспросы и разсказы больного, особливо необразованнаго, нерѣдко служатъ, вмѣсто раскрытія истины, къ ея затемнѣнію. Но медицина, не говоря уже о временахъ Руста, и до сихъ поръ не владѣетъ еще такимъ запасомъ надежныхъ физическихъ или органическихъ, т.-е. объективныхъ, признаковъ, на который можно бы было положиться, не прибѣгая къ разспросамъ больного и не полагая ихъ въ основу распознаванія. И вотъ, Рустъ, въ своей самонадѣянности, при маломъ запасѣ вѣрныхъ физическихъ признаковъ болѣзней, поневолѣ допускалъ цѣлую кучу мечтательныхъ.

Не имѣя, по тогдашнему состоянію патологической анатоміи, прочной органической почвы подъ ногами, Рустъ ввелъ въ діагностику весьма сомнительные признаки и различія болѣзней по дискразіямъ и помѣсямъ дискразій. „Rheumatischer, arthritischer, scrophulöser Natur“,—эти эпитеты постоянно слышались при опредѣленіи болѣзней въ клиникѣ Руста. Мало этого: Рустъ, изъ привязанности къ своему принципу—pro majore (non Dei, sed Rustii) gloria, прибѣгалъ въ своей клиникѣ къ шарлатанству. Его ординаторы (Stabsärzte) доносили ему, до клинической лекціи, о свойствѣ болѣзней вновь поступившихъ больныхъ, а онъ діагностицировалъ потомъ передъ слушателями, какъ будто бы по однимъ объективнымъ признакамъ, и попадалъ иногда въ просакъ. Однажды ординаторъ Руста доложилъ ему о поступленіи двухъ больныхъ въ Charité: одного съ переломомъ ключицы, а другого съ онѣмѣніемъ плеча отъ удара молніей. Вывели обоихъ ихъ въ аудиторію.

— „Что́ это такое?“—спрашиваетъ Рустъ у практиканта, показывая на одного изъ больныхъ, придерживающаго локоть одной руки другою.

Практикантъ хочетъ изслѣдовать.

— „Не надо тутъ изслѣдовать!—восклицаетъ Рустъ:—тутъ съ перваго же взгляда, par distance, можно вѣрно опредѣлить, въ чемъ дѣло“.

Всѣ напрягли вниманіе, слушаютъ и смотрятъ.

— „Это переломъ ключицы,—несомнѣнно,—утверждаетъ Рустъ:—это видно изъ положенія тѣла“...

Въ это время тихо подходитъ къ нему его ординаторъ и что-то шепчетъ ему на ухо.

— „Гм... гм...—спохватился Рустъ:—да, это вотъ тотъ больной, другой, а этотъ парализованъ отъ удара молніей“.

Еслибы въ то время было дозволено посѣщеніе больныхъ слушателями въ самыхъ палатахъ Charité, то, вѣрно, діагностическіе промахи всплывали бы гораздо чаще наружу, а то учреждено было такъ, что вновь поступившаго больного присылали въ клиническую аудиторію; здѣсь опредѣляли болѣзнь, назначали леченіе, потомъ уносили больного, и о немъ—ни слуху, ни духу. Но, несмотря на эти предосторожности, случалось все-таки не очень рѣдко, что язва, опредѣленная Рустомъ по всѣмъ правиламъ его знаменитой гелкологіи (Helcologie), т.-е. по всѣмъ объективнымъ признакамъ, какъ несомнѣнно артритическая (ulcus arthriticum), изъ разспросовъ больного оказывалась безъ всякихъ другихъ признаковъ артритизма. Это не мѣшало, однако-же, признавать такую язву и лечить ее какъ артритическую, на томъ основаніи, что другіе припадки подагры могутъ появиться впослѣдствіи.

Ходитъ, между прочимъ, еще одинъ забавный qui pro quo изъ Рустовской клиники, вѣроятно, выдуманный (è bene trovato).

Сынъ Руста, молодой докторантъ, ограниченный до глупости, записанный въ практиканты, получилъ для опредѣленія болѣзни вновь поступившаго въ Charité старика, страдавшаго большою кровоточивою (вѣроятно, варикозною) язвою на ногѣ.

По Рустовской гелкологіи, такая язва непремѣнно должна была быть геморроидальною; между тѣмъ молодой Рустъ ломаетъ себѣ голову; старый Рустъ хочетъ вывести сына изъ затрудненія и помогать ему въ діагнозѣ разными намеками. Ничто не помогаетъ. Наконецъ, старый Рустъ говоритъ сыну:

— „Да вспомни, чѣмъ твой отецъ такъ часто страдалъ въ жизни; по его обычной болѣзни назови и эту язву на ногѣ“.

— Ulcus syphiliticum!—вдругъ выпалилъ сынокъ.

— „Schaafskopf!“ (болванъ!)—пробормоталъ отецъ и вызвалъ другого практиканта.

Несмотря на всѣ эти недостатки, Рустовъ способъ діагноза, былъ въ то время такъ привлекателенъ своею кажущеюся положительностью и точностью, что принятъ былъ и другими клиницистами. Я и самъ, признаюсь, въ первые годы моей клинической дѣятельности въ Дерптѣ, держался этого способа и увлекалъ имъ молодежь. И теперь, когда объективизмъ въ медицинѣ сдѣлался гораздо точнѣе и надежнѣе, предварительный діагнозъ по однимъ объективнымъ признакамъ, до разспроса больного, я считаю болѣе надежнымъ; никому, однако-же, изъ молодыхъ врачей не посовѣтую основываться на этомъ одномъ предварительномъ распознаваніи болѣзни, считая необходимымъ, послѣ разспроса и разсказовъ больного, снова повторить свой объективный діагнозъ, нерѣдко послѣ этихъ разспросовъ требующій еще и новаго разслѣдованія.

Рустъ въ помощники себѣ въ Charité выбралъ Диффенбаха и поручилъ ему оперативную часть. Едва-ли когда самъ Рустъ былъ хорошимъ операторомъ; можетъ быть, онъ былъ смѣлымъ, но ему недоставало ни ловкости, ни анатомическихъ свѣденій. Въ мое время онъ уже не оперировалъ; только однажды какъ-то, въ отсутствіе Диффенбаха, онъ взялъ ножъ въ руки для операціи большой ущемленной грыжи.

„Я вамъ покажу,—сказалъ онъ слушателямъ,—какъ старикъ Рустъ оперируетъ“,—и махнулъ смѣло ножемъ по грыжевому мѣшку.

Предполагалъ ли онъ омертвѣніе уже кишки и хотѣлъ ли вскрыть ее вмѣстѣ съ грыжевымъ мѣшкомъ,—не знаю; этого не зналъ никто, смотря на всю процедуру издали; но фактъ—тотъ, что вслѣдъ за смѣлымъ Рустовскимъ надрѣзомъ со свистомъ вылетѣли вѣтры и ручьемъ полились испражненія. О больномъ, по обыкновенію, не было потомъ ни слуху, ни духу.

Диффенбахъ, въ то время еще не разсорившійся съ Рустомъ, шелъ въ гору. Его пластическія операціи пріобрѣли ему уже тогда славу и имя. И дѣйствительно, это былъ геній-самородокъ для пластическихъ операцій.

Изобрѣтательность Диффенбаха въ этой хирургической спеціальности была безпредѣльная.

Каждая изъ его пластическихъ операціи отличалась чѣмъ-нибудь новымъ, импровизированнымъ. И это необыкновенное искусство—при весьма ограниченныхъ научныхъ свѣденіяхъ, при полномъ незнаніи анатоміи и физіологіи! Кромѣ пластическихъ операцій, Диффенбахъ хорошо и счастливо дѣлалъ грыжесѣченія; но прочія операціи выходили у него вовсе не мастерски сдѣланными. Разсказывали, что Диффенбахъ пріобрѣлъ большую ловкость въ сшиваніи ранъ, бывъ долго такъ-называемымъ фликеромъ (Fliecker) при студенческихъ дуэляхъ въ Кенигсбергѣ; тамъ же онъ практиковалъ и въ берейторской школѣ. Диффенбахъ отлично ѣздилъ верхомъ.

Съ виду это былъ приземистый, широкоплечій мужчина, лѣтъ 40, съ умнымъ, красивымъ лицомъ, высокимъ лбомъ, римскимъ носомъ, небольшими, изъ глубины смотрѣвшими, умными глазами, но очень тонкимъ и слабымъ, не соотвѣтствующимъ широко сложенной груди, голосомъ. Privatissimum Диффенбаха, стоившее дорого (4 большихъ фридрихсдора съ каждаго изъ 7—8 слушателей), было мнѣ только тѣмъ полезно, что доставило мнѣ случай видѣть нѣсколько замѣчательныхъ (и тогда еще новыхъ) пластическихъ операцій; а все другое, излагавшееся намъ Диффенбахомъ на этомъ privatissimum, не стоило и выѣденнаго яйца. Онъ показалъ нѣсколько своихъ пластическихъ операцій на трупѣ, мямля по обыкновенію и выпуская изъ горла намъ, и то неохотно, одно слово за другимъ; въ ораторы онъ не годился. Его надо было видѣть какъ оператора-спеціалиста, но не слушать, что̀ онъ говоритъ.

Съ Грефе, а потомъ и съ Рустомъ, Диффенбахъ былъ на ножахъ.

Съ Грефе—потому, что это былъ человѣкъ совершенно другой масти; а съ Рустомъ—потому, что тотъ не давалъ ему хода въ Charité; да къ тому еще на консультаціи у барона фонъ-Альтенштейна, болѣвшаго карбункуломъ, Рустъ (самъ) перемѣнилъ, безъ всякихъ объясненій съ другими врачами, способъ леченія, сказавъ Диффенбаху, какъ бы въ извиненіе своей неучтивости: „Sie sind doch meine Leute“ [1]), на что̀ Диффенбахъ замѣтилъ: „Ich bin kein Leibeigener“ [2]).

---

[1]) Вы все таки мои люди.

[2]) Я вовсе не крѣпостной.

Послѣ ссоры Диффенбахъ при насъ ругалъ иногда Charité на чемъ свѣтъ стоитъ:

— „Das ist eine Mordgrube!“ [1])—и онъ былъ правъ.

Charité во все время нашего пребыванія было резервуаромъ госпитальной нечисти (госпитальнаго антонова огня) и гнойнаго зараженія.

Да и долго спустя послѣ того, въ 1864 году, при посѣщеніи клиники профессора Юнгкена въ Charité, госпитальная нечисть не исчезла; Jungken, для предохраненія отъ нея, прижигалъ еще свѣжія раны послѣ операцій раскаленнымъ желѣзомъ. При мнѣ, послѣ извлеченія большого секвестра изъ бедровой кости, онъ прижегъ все дупло, изъ предосторожности, раскаленнымъ желѣзомъ.

И самому Русту не мало тогда доставалось отъ Диффенбаха. Онъ не женировался насмѣхаться надъ Рустомъ во всеуслышаніе, гдѣ только могъ.

Наружность Руста, дѣйствительно, немногихъ располагала въ его пользу. Это былъ старый подагрикъ, приземистый, низенькій ростомъ, съ сѣдыми длинными и густыми волосами, рѣзко отдѣлявшимися на красномъ, какъ піонъ, фонѣ широкаго, грубаго лица; глаза только не потеряли своего блеска, и умно и бойко смотрѣли изъ-подъ сѣдыхъ нависшихъ бровей и сверху надвинутыхъ на нихъ большихъ серебряныхъ очковъ; голову прикрывалъ зеленый суконный картузъ, въ которомъ Рустъ сидѣлъ и въ клинической аудиторіи. На ногахъ—нерѣдко плисовые сапоги, подъ ногами—всегда коврикъ.

Не мудрено, что такая оригинальная наружность подвергалась ѣдкимъ сарказмамъ непріятелей. Диффенбахъ на одномъ многолюдномъ вечерѣ, гдѣ много говорилось о старинѣ, на разсказъ одного профессора о томъ, что еще не очень давно называли Руста „Gelbschnabel“ (молокососъ), Диффенбахъ замѣтилъ, что гораздо приличнѣе было бы для Руста названіе „Blauschnabel“ [2]).

Не одинъ Диффенбахъ, впрочемъ, выбиралъ Руста предметомъ насмѣшекъ. Самъ наслѣдный принцъ, любившій Руста

---

[1]) Это могила.

[2]) Зоол.—вьюрокъ китайскій.

и пожаловавшій его въ свои лейбъ-медики, издалъ на него презабавную каррикатуру, долго выставлявшуюся на окнахъ магазиновъ Подъ-Липами.

Рустъ былъ защитникомъ карантинной системы во время холеры и возбудилъ этимъ противъ себя все народонаселеніе. Вотъ по этому-то случаю и явилась каррикатура, изображающая большого воробья съ физіономіею Руста, запертаго въ клѣтку съ надписью:

„Passer rusticus“.
„Der gemeine Landsperling“.

Вся острота—въ словахъ rusticus и Sperling.
Landsperre — это карантинная система.

Диффенбахъ, во время нашего пребыванія въ Берлинѣ, ѣздилъ въ Парижъ и тамъ дебютировалъ въ клиникѣ Лисфранка, передъ парижскою аудиторіею, съ своею блефаропластикою (искусственное образованіе нижняго вѣка). Возвратясь, видимо польщенный хорошимъ пріемомъ у французовъ, онъ разсказывалъ намъ, какъ любезенъ былъ съ нимъ Лисфранкъ и друг., какъ вся аудиторія рукоплескала ему за сдѣланную имъ еще невиданную нигдѣ операцію.

Зато Диффенбаху очень не понравились Вельпо и англичане.

— „Вельпо,—сказывалъ намъ Диффенбахъ,—это какой-то anatomicus chirurgicus“, — по мнѣнію Диффенбаха, это была самая плохая рекомендація для хирурга,— „а англичане—это настоящіе бифштексы“.

— „Вообразите,—говорилъ Диффенбахъ:—старый Астлей Куперъ, проѣзжавшій чрезъ Парижъ, полагалъ, что я французскій докторъ изъ госпиталя St. Louis; такъ онъ и отнесся ко мнѣ, никогда прежде ничего не слыхавъ обо мнѣ“.

Вельпо не остался, впрочемъ, въ долгу у Диффенбаха. Когда я посѣтилъ его, въ 1837 г., въ бытность мою въ Парижѣ, Вельпо такъ отнесся о берлинскомъ геніѣ:

— „Знакомы ли вы съ значеніемъ нашего слова: gascon [1]) и—gasconade?“

---

[1]) Хвастунъ.

— Знаю.

— „Ну, такъ m-r Diffenbach показался мнѣ gascon'омъ, а его разные подвиги—гасконадами“.—Въ этомъ замѣчаніи Вельпо нельзя не признать значительную долю правды.

Проф. Юнгкенъ, окулистъ и клиницистъ Charité, принадлежалъ также къ сторонникамъ Руста; такимъ онъ остался, если не ошибаюсь, до конца. Это былъ настоящій и чистокровный доктринеръ. Онъ представлялъ и своимъ ученикамъ, и, какъ я полагаю, самому себѣ современное ученіе,—то-есть до чего дошелъ Рустъ и онъ самъ,—чѣмъ-то законченнымъ, не подлежащимъ сомнѣнію; прогрессъ могъ быть только въ томъ же самомъ направленіи. Такъ, по крайней мѣрѣ, выходило изъ его клиническихъ лекцій. Ни малѣйшаго скептицизма не допускалось. Все было ясно и точно, какъ дважды два—четыре. Глазныя бленорреи должны были лечиться только однимъ противовоспалительнымъ способомъ.

Разбирая однажды передъ нами случай сильнѣйшей глазной бленорреи, Юнгкенъ, назначивъ свое обыкновенное леченіе—піявки и ледяныя примочки, съ необыкновенною самонадѣянностію объявилъ намъ: „Ich breche den Stab über den Kopf desjenigen Arztes, der nicht im Stande ist eine solche Blenorrhoe zu kuriren!“ (Я сломаю палку о голову того врача, который не въ состояніи вылечить такую бленоррею!)

Черезъ три дня оба глаза оказались пропавшими отъ изъязвленія роговой оболочки, и Юнгкенъ, стоя возлѣ постели несчастнаго слѣпца, молча пожималъ только плечами. Но Юнгкенъ былъ честный и добросовѣстный врачъ,—онъ не скрылъ отъ насъ этого несчастнаго случая, хотя и могъ бы, какъ другіе, легко это сдѣлать.

Національность Грефе едва-ли можно было опредѣлить по его наружности; она свидѣтельствовала настолько же о нѣмецкомъ, насколько и о славянскомъ происхожденіи. Противники Грефе распускали даже слухъ и о семитскомъ его происхожденіи.

Несомнѣнно только—это признавалъ и самъ Грефе,—что онъ былъ родомъ изъ Польши и тамъ провелъ свою молодость.

Гораздо характернѣе физіономіи была прическа Грефе—unicum въ своемъ родѣ: длинные, почти черные, съ просѣдью,

волосы гладко-на-гладко зачесывались и примазывались справа налѣво и закрывали значительную часть лба, чуть не до густыхъ черныхъ бровей. Круглому, полному лицу эта прическа сообщала какой-то странный, похожій на куклу, видъ.

Отличительною чертою Грефе была изысканная учтивость со всѣми. Къ слушателямъ онъ обращался не иначе, какъ съ эпитетомъ: „meine hochgeschätzte, meine verehrte Herren“ (высокоуважаемые, высокопочитаемые господа); къ больнымъ изъ низшихъ классовъ: „mein liebster Freund“ (любезнѣйшій другъ).

Но когда дѣлалось что-нибудь не по немъ, то онъ легко выходилъ изъ себя. Видно было, что учтивость и кажущаяся невозмутимость были искусственныя.

Человѣкъ былъ хорошо выдержанъ. И въ этомъ, и во всемъ остальномъ Грефе былъ полный контрастъ съ Рустомъ; недаромъ и жили они какъ кошка съ собакой. Причесанный, какъ прилизанный, всегда элегантно одѣтый или затянутый въ синій мундиръ съ толстыми эполетами, Грефе входилъ тихо и сѣменя ногами, походкою табетиковъ, въ аудиторію, раскланивался во всѣ стороны и, обводя всю аудиторію глазами, начиналъ пѣть: — „Meine hochgeschätzte Herren“...

Рустъ являлся въ своемъ старомъ зеленомъ картузѣ, съ висѣвшими изъ-подъ него по плечамъ растрепанными сѣдыми волосами, съ тростью, которой не выпускалъ изъ рукъ, и жестикулировалъ ею во все время лекцій. — „А это что за опухоль? а это что за краснота?“ — спрашивалъ Рустъ, указывая издали своею палкою на больное мѣсто паціента.

Вмѣсто сладкопѣнія и деликатнаго обращенія являлись на сцену: „Donner Wetter, sind Sie toll!“ etc. (чортъ возьми, вы одурѣли! и проч.).

Въ клинику Руста всѣ шли, чтобы слышать оракульское изреченіе врача-оригинала. Про операціи, дѣлавшіяся въ Charité, самые неопытные студенты говорили, что тамъ надо учиться — какъ не дѣлать операціи. И Рустъ имѣлъ болѣе самыхъ фанатическихъ приверженцевъ между молодыми врачами и слушателями.

Въ клинику Грефе ходили, чтобы видѣть истиннаго маэстро, виртуоза-оператора. Операціи удивляли всѣхъ ловкостью, аккуратностью, чистотою и необыкновенною скоростью производства.

Ассистенты Грефе, и именно главный - д-ръ Ангельштейнъ, уже пожилой и опытный практикъ (онъ имѣлъ и въ городѣ значительную практику), знали наизустъ всѣ требованія и всѣ хирургическія замашки и привычки своего знаменитаго маэстро.

У Ангельштейна вездѣ были натыканы инструменты Грефе, ему не надо было говорить: „сдѣлай то или другое“, во время операціи,—все дѣлалось само собою, безъ словъ и разговоровъ. Грефе для каждой операціи повыдумывалъ много разныхъ инструментовъ, теперь уже почти забытыхъ, но во времена оны расхваленныхъ и всегда употреблявшихся самимъ изобрѣтателемъ. Онъ только самъ и умѣлъ владѣть ими. Въ клиникѣ Грефе было въ особенности то́ хорошо, что практиканты всѣ могли слѣдить за больными и оперированными и сами допускались къ производству операцій, но не иначе какъ по способу Грефе и инструментами его изобрѣтенія.

Мнѣ, какъ практиканту, досталось также сдѣлать три операціи: вырѣзать два липома и вылущить большой палецъ руки изъ сустава. Грефе былъ доволенъ, но онъ не зналъ, что всѣ эти операціи я сдѣлалъ бы вдесятеро лучше, если бы не дѣлалъ ихъ неуклюжими и мнѣ несподручными инструментами.

Грефе былъ, безъ сомнѣнія, отъ природы ловокъ и сноровистъ; иначе,—безъ всякаго знанія анатоміи, безъ упражненій надъ трупами, которыя Грефе считалъ совершенно неподходящими къ операціямъ на живыхъ,—какъ могъ бы онъ сдѣлаться истиннымъ виртуозомъ хирургіи?

Между тѣмъ пальцы его — мясистые, закругленные и короткіе — вовсе не свидѣтельствовали объ особенной ловкости.

Ежегодно, въ день рожденія Грефе, его слушатели и практиканты, большею частію иностранцы, дѣлали складчину, покупали кубокъ или другую какую вещь съ приличною надписью и подносили своему маэстро.

Это былъ едва-ли не единственный способъ изъявленія признательности и уваженія наставнику. Болѣе задушевнымъ сочувствіемъ своихъ, и именно туземныхъ, учениковъ маэстро не пользовался. Онъ задавалъ обыкновенно банкетъ въ день своего рожденія, на которомъ онъ угощалъ своихъ гостей разными деликатесами и винами, а гости угощали его льстивыми тостами, называя его „Unser deutscher Dupuytren“, и т. п.

Послѣ одного такого банкета Грефе позвалъ меня въ кабинетъ, гдѣ, оставшись наединѣ со мною, спросилъ: не знакомъ ли мнѣ одинъ окулистъ въ С.-Петербургѣ, пріобрѣвшій такую знаменитость, что его императоръ Николай рекомендуетъ настоятельно королю для наслѣднаго ганноверскаго принца? Надо знать, что во время пребыванія Николая Павловича въ Берлинѣ туда пріѣхалъ для консультаціи и леченія глазной болѣзни наслѣдный ганноверскій принцъ. Грефе, какъ лейбъ-медикъ или лейбъ-хирургъ прусскаго короля, назначилъ операцію искусственнаго зрачка, дѣлая ее безъ успѣха, если не ошибаюсь два раза у принца, хотѣлъ было дѣлать потомъ, черезъ нѣсколько лѣтъ, и въ третій разъ, поѣхалъ съ этой цѣлью въ Ганноверъ, но по дорогѣ занемогъ тифомъ и умеръ.

Я очень удивился, услышавъ отъ Грефе, что нашъ императоръ настойчиво предлагаетъ въ конкурренты съ маэстро Грефе своего вѣрноподданнаго. Въ такомъ случаѣ этотъ вѣрноподданный, дѣйствительно, уже знаменитость. Кто же это такой былъ? Ума не приложу. Въ первый разъ слышу. Наконецъ, я узналъ, что сія знаменитость, рекомендованная императоромъ королю прусскому, былъ не кто иной, какъ с.-петербургскій мѣщанинъ Орѣшниковъ.

Въ С.-Петербургѣ, на Васильевскомъ Островѣ, этотъ гражданинъ открылъ, съ разрѣшенія правительства, глазную больницу для приходящихъ.

Орѣшниковъ прежде всего запасся огромнымъ увеличительнымъ стекломъ съ длинною рукояткою, и объявилъ себя самымъ ярымъ противникомъ извѣстнаго въ то время петербургскаго окулиста Василія Васильевича Лерхе. Экзаменуя своихъ больныхъ черезъ увеличительное стекло, Орѣшниковъ спрашивалъ у каждаго, не былъ ли онъ на Моховой у Лерхе, и когда больной отвѣчалъ утвердительно, то Орѣшниковъ интересовался знать, какъ опредѣлилъ болѣзнь д-ръ Лерхе.—„Да что́, сказалъ, что полуда“,—такъ, примѣрно, разсказывалъ паціентъ. На такой отвѣтъ Орѣшниковъ качалъ головою, снова наводя на глаза паціента увеличительное стекло, снова качалъ подозрительно головою и говорилъ во всеуслышаніе: —„Ай, Василій Васильевичъ, опять маху далъ! Какая же это тутъ по-

луда? Это просто бѣльмо. Не безпокойся, дружокъ, будешь видѣть; вотъ тебѣ моя примочка“.

Грефе, нѣсколько, какъ мнѣ казалось, встревоженный настойчивою рекомендаціею какъ будто изъ земли выросшаго конкуррента такою особою, какъ императоръ всероссійскій, потомъ успокоился, когда узналъ, что Орѣшниковъ не былъ операторъ, а въ Германіи давно и всѣмъ уже было слишкомъ извѣстно, что только операціею можно возстановить зрѣніе принца.

Какъ ни полезны и какъ ни поучительны были для меня занятія у Шлемма и въ клиникахъ Грефе, Руста и Юнгкена, но всего нагляднѣе была для меня польза, принесенная мнѣ упражненіями въ оперативной хирургіи надъ трупами въ Charité.

Однажды я узналъ отъ студентовъ, что въ Charité можно присутствовать иногда при вскрытіи труповъ; мнѣ показали и мѣсто, гдѣ производятся эти вскрытія. Я отправился, прихожу— и не вѣрю тому, что́ вижу.

Въ маленькой комнатѣ, помѣщавшей въ себѣ два стола, на каждомъ изъ нихъ лежало по два – три трупа, и у одного стола — вижу—стоитъ женщина, сухощавая, въ чепцѣ, въ клеенчатомъ передникѣ и такихъ же зарукавникахъ, вскрывая чрезвычайно скоро и ловко одинъ трупъ за другимъ. Тогда еще не видано и не слыхано было, чтобы женщины посвящали себя анатомическимъ занятіямъ; видя, что меня не гонятъ, и кромѣ меня никого нѣтъ изъ студентовъ, я приблизился къ интересной дамѣ и весьма учтиво поклонился.

— „Wünschen Sie was von mir?“ (угодно вамъ что́ отъ меня?) —спрашиваетъ она меня.

— Да, мнѣ хотѣлось бы присутствовать чаще при вскрытіяхъ,—отвѣчаю я.

— „Что же! приходите хотя каждый день; кромѣ меня до сихъ поръ никто еще не вскрывалъ. Только недавно назначенъ профессоръ Фроріепъ“.

— А другіе клиническіе профессора Charité?

— „Что вы! да развѣ они что́ понимаютъ въ этомъ дѣлѣ? Вотъ, еще вчера, никто мнѣ не вѣрилъ, что при вскрытіи одного

трупа я найду огромный экзудатъ въ груди, а за милю видно было, что вся половина груди растянута. Я имъ и показала".

— Позвольте узнать ваше имя?

— „Я—madame Vogelsang".

— Такъ вотъ что, madame Vogelsang: не можете ли вы доставить мнѣ случай упражняться на трупахъ?

— „Почему не такъ. Ко мнѣ приходили иногда иностранцы, и я имъ показывала операціи на трупахъ. У меня для этого есть и хирургическіе инструменты".

— Такъ потрудитесь объявить мнѣ ваши условія,—замялся я.

— „У меня опредѣлено 1 талеръ за цѣлый трупъ—тогда вы можете сдѣлать на немъ какія вамъ угодно операціи—и 15 Silbergroschen за перевязку артеріи на конечностяхъ и за вылущеніе изъ суставовъ, но съ тѣмъ, чтобы не дѣлать никакихъ лоскутовъ" (то-есть не обрѣзывать совсѣмъ вылущеннаго изъ сустава члена)...

Дѣло рѣшено. Я выдаю задатокъ 3 талера. Дни и часы назначаются г-жею Фогельзангъ всякій разъ съ вечера; она будетъ присылать нарочнаго или скажетъ сама въ клиникѣ Руста.

M-me Vogelsang—эта интересная особа прежде была повивальною бабкою, а потомъ изъ любви къ искусству, какъ она увѣряла, посвятила себя анатоміи и практически знала ее бойко. Вылущить суставъ по всѣмъ правиламъ искусства, найти артерію на трупѣ—это было легкое дѣло для m-me Vogelsang.

Въ то время Берлинъ былъ экзаменаціоннымъ „rendez-vous" для всѣхъ врачей прусскаго королевства, и каждый изъ нихъ, на такъ-называемомъ государственномъ экзаменѣ (Staats-Examen), обязанъ былъ демонстрировать предъ экзаменаторами внутренности груди, живота in situ.

Вотъ этотъ-то экзаменъ in situ и заставлялъ прибѣгать экзаменующихся къ анатомическимъ знаніямъ г-жи Фогельзангъ.

Она достигла совершенства въ разъясненіи и наглядномъ опредѣленіи положенія грудныхъ и брюшныхъ внутренностей, а также мозга и основанія черепа.

Никто не былъ такъ вхожъ ко мнѣ, какъ m-me Vogelsang. И рано утромъ, и поздно вечеромъ она являлась ко мнѣ съ

какимъ-нибудь препаратомъ въ рукахъ или съ извѣстіемъ о предстоящемъ упражненіи на трупѣ въ „Charité“.

Я не зналъ ни одного женскаго лица менѣе красиваго и болѣе оригинальнаго физіономіи г-жи Vogelsang. Уже лѣтъ за 40, съ волосами на головѣ похожими на паклю, съ сухимъ, изрытымъ глубокими бороздами, но необыкновенно подвижнымъ лицомъ, m-me Vogelsang очень смахивала на проворную, юркую обезьяну.

Но она доставила мнѣ для упражненій не одну сотню труповъ, и потому я ее считалъ дорогимъ для себя человѣкомъ.

Въ одно время съ нами прибыло въ Берлинъ нѣсколько русскихъ изъ Москвы и Петербурга, впослѣдствіи занявшихъ должности ординаторовъ въ разныхъ столичныхъ госпиталяхъ; изъ нихъ всѣхъ болѣе сблизился со мною Вл. Ѳе. Караваевъ (родомъ изъ Вятки).

Караваевъ окончилъ курсъ въ казанскомъ университетѣ. Познакомившись въ этомъ университетѣ только по слухамъ съ хирургіею (профессоръ хирургіи въ то время, если не ошибаюсь, Фогель, имѣлъ скорченные отъ предшествовавшей болѣзни пальцы и не могъ держать ножа), онъ отправился въ Петербургъ и опредѣлился ординаторомъ въ Маріинскій госпиталь, гдѣ и видѣлъ въ первый разъ нѣсколько операцій, произведенныхъ Буяльскимъ.

Несмотря на такую слабую подготовку, Караваевъ чувствовалъ въ себѣ особое влеченіе къ хирургіи; это я замѣтилъ при первомъ же нашемъ знакомствѣ. Я посовѣтовалъ ему тотчасъ же заняться анатоміею и отправиться по адресу къ m-me Vogelsang.

Цѣлый годъ онъ былъ моимъ неизмѣннымъ спутникомъ при упражненіяхъ надъ трупами, а потомъ по моему же совѣту отправился въ Геттингенъ, къ Лангенбеку.

Въ 1837 году Караваевъ явился въ Дерптъ, держалъ еще у меня экзаменъ, до отъѣзда моего въ этомъ же году въ Парижъ, дѣлалъ вмѣстѣ со мною опыты надъ животными по вопросу, много меня интересовавшему въ то время,—о признакѣ развитія гнойнаго зараженія крови (піэміи).

Этотъ вопросъ я и посовѣтовалъ Караваеву выбрать предметомъ его докторской диссертаціи. Я могу по праву считать

Караваева однимъ изъ своихъ научныхъ питомцевъ: я направилъ первые его шаги на поприще хирургіи и сообщилъ ему уже избранное мною направленіе въ изученіи хирургіи.

Лѣтнею вакаціею 1834 года я воспользовался для посѣщенія Геттингена и, чтобы застать еще лекціи, отправился изъ Берлина еще задолго до окончанія семестра.

Меня интересовалъ въ Геттингенѣ, разумѣется, всего болѣе Лангенбекъ. Ученики его, пріѣзжавшіе иногда въ Берлинъ, относились съ искреннимъ энтузіазмомъ о своемъ знаменитомъ учителѣ всей Германіи того времени. Лангенбекъ былъ единственный хирургъ-анатомъ. Знанія его анатоміи были такъ же обширны, какъ и хирургіи.

Кромѣ этихъ двухъ категорій хирурговъ-анатомовъ и хирурговъ-техниковъ (которыхъ Лисфранкъ въ Парижѣ очень мѣтко назвалъ chirurgiens menuisiers),—въ 1830-хъ годахъ можно было различить и еще двѣ категоріи, имѣвшія въ то время не менѣе важное значеніе. Въ то время анестэзированіе и анестэзирующія средства еще не были введены въ хирургію, и потому немаловажное было дѣло для страждущаго человѣчества претерпѣть какъ можно меньше мученій отъ производства операцій. Быстротечная, почти скоропостижная смерть постигала иногда оперируемаго вслѣдствіе нестерпимой боли.

Операція, какъ и всякій другой пріемъ, могла причинить смертный shok отъ одной только боли у особъ чрезмѣрно раздражительныхъ. Итакъ, не мудрено, что значительная часть хирурговъ поставила себѣ задачею способствовать всѣми силами быстрому производству операцій. Но какъ усовершенствованіе хирургической техники въ этомъ направленіи (т.-е. съ цѣлью уменьшить сумму страданій быстрымъ производствомъ операцій) весьма трудно, даже невозможно для многихъ, и, сверхъ того, скорость производства нерѣдко можетъ сдѣлать операцію невѣрною, ненадежною и небезопасною, то, понятно, многіе изъ хирурговъ сильно вооружены были противъ всякой спѣшности въ производствѣ, а нѣкоторые дошли до того, что объявили себя защитниками противоположнаго принципа, утверждая, что чѣмъ медленнѣе дѣлана будетъ операція, тѣмъ болѣе она дастъ надежды на успѣхъ.

Французскій хирургъ Ру укорялъ всѣхъ англійскихъ хирурговъ въ ненужной и мучительной медленности при производствѣ операцій.

Въ Германіи къ категоріи хирурговъ, по принципу стоявшихъ за быстрое производство операцій, можно было отнести именно двухъ корифеевъ — Грефе и Лангенбека. Первый достигалъ этого врожденною ловкостью и разными техническими пріемами; второй—отчетливымъ знаніемъ анатомическаго положенія частей и основанными на этомъ знаніи, имъ изобрѣтенными, оперативными способами.

Хотя я и отношу Лангенбека и Грефе къ одной категоріи, имѣя въ виду только одну сторону ихъ искусства, но въ самомъ производствѣ операцій существовало громадное различіе, и это не могло быть иначе, потому что не было двухъ людей, менѣе сходныхъ между собою.

Грефе оперировалъ необыкновенно скоро, ловко и гладко. Лангенбекъ оперировалъ скоро, научно и оригинально.

Грефе отъ природы получилъ ловкость руки; но ни устройство руки, ни строеніе всего тѣла не свидѣтельствовали объ этой врожденной ловкости.

Лангенбекъ, напротивъ, былъ отъ природы такъ организованъ, что не могъ не быть ловкимъ и подвижнымъ. Атлетъ ростомъ и развитіемъ скелета и мышцъ, онъ былъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, необыкновенно пропорціонально сложенъ. Ни у кого не видалъ я такъ хорошо сложенной и притомъ такой огромной руки. Лангенбекъ на своихъ анатомическихъ демонстраціяхъ укладывалъ цѣлый мозгъ на ладонь, раздвинувъ свои длинные пальцы; рука служила ему вмѣсто тарелки, и на ней онъ съ неподражаемою ловкостью распластывалъ мозгъ ножемъ. По истинѣ, это былъ хирургъ-гигантъ. Ампутируя по своему овально-коническому способу бедро въ верхней трети, Лангенбекъ обхватывалъ его одною рукою, поворачивался при этомъ, съ ловкостью военнаго человѣка, на одной ногѣ и приспособлялъ все свое громадное тѣло къ движенію и дѣйствію рукъ.

На его privatissimum я первый разъ видѣлъ это замѣчательное искусство приспособленія при операціяхъ движенія ногъ и всего туловища къ дѣйствію оперирующей руки; и это

дѣлалось не случайно, не какъ-нибудь, а по извѣстнымъ правиламъ, указаннымъ опытомъ.

Впослѣдствіи мои собственныя упражненія на трупахъ показали мнѣ практическую важность этихъ пріемовъ.

И Лангенбекъ былъ не прочь похвалиться своею силою и ловкостью. Но это было не хвастовство фата, не смѣшное тщеславіе.

Къ Лангенбеку какъ-то шла похвала себѣ; такъ, онъ разсказывалъ мнѣ, по своему, отрывисто, съ удареніемъ на каждомъ словѣ, какъ онъ изумилъ одного англійскаго хирурга во время французской кампаніи. Этотъ сынъ Альбіона никакъ не хотѣлъ вѣрить Лангенбеку, что онъ по своему способу вылущиваетъ плечо изъ сустава только въ три минуты; представился случай послѣ одной битвы: раненаго француза (если не ошибаюсь) посадили на стулъ. Англичанинъ сталъ приготовляться къ наблюденію и надѣвать очки; въ это мгновеніе что-то пролетѣло передъ носомъ наблюдателя и выбило у него очки изъ рукъ; это нѣчто было вылущенное уже Лангенбекомъ и пущенное имъ на воздухъ, прямо въ Ѳому невѣрующаго, плечо.

Все, что̀ сообщалъ намъ на лекціяхъ и въ разговорахъ Лангенбекъ, было интересно и оригинально.

Со многимъ нельзя было согласиться, но, и не соглашаясь, нельзя было не удивляться человѣку замѣчательному и по наружности, и по особенному складу ума, и по знанію дѣла. Лангенбекъ былъ, вѣрно, красавцемъ въ молодости,—такъ пріятно выразителенъ и свѣжъ былъ весь его обликъ. За версту можно было уже слышать его громкій и звонкій голосъ.

Къ характеристикѣ Лангенбека, какъ хирурга, относится еще одна весьма важная и оригинальная черта. Онъ возводилъ въ принципъ—при производствѣ хирургическихъ операцій избѣгать давленія рукою на ножъ и пилу.

— „Ножъ долженъ быть смычкомъ въ рукѣ настоящаго хирурга“.

— „Kein Druck, nur Zug“ [1]).

И это были не пустыя слова.

Лангенбекъ научилъ меня не держать ножа полною рукою,

---

[1]) Не нажимъ, а тяга.

кулакомъ, не давить на него, а тянуть какъ смычокъ по разрѣзываемой ткани. И я строго соблюдалъ это правило во все время моей хирургической практики вездѣ, гдѣ можно было это сдѣлать. Ампутаціонный ножъ Лангенбека былъ имъ придуманъ именно съ тою цѣлью, чтобы не давить, а скользить тонкимъ, какъ бритва, и выпуклымъ, и дугообразно-выгнутымъ лезвеемъ.

На нашемъ privatissimum случилась однажды бѣда съ этимъ ножемъ. Досадно было Лангенбеку, что предъ иностранцемъ, да еще и пріѣхавшимъ изъ Берлина, должна была случиться такая неудача. Дѣло въ томъ, что Лангенбекъ, одѣтый въ лѣтнія бланжевыя брюки, башмаки и чулки, дѣлая передъ нами свою ампутацію бедра на трупѣ и по обыкновенію приговаривая при этомъ громко и внушительно: „nur Zug, kein Druck“, вдругъ со всего размаха попадаетъ остріемъ ножа себѣ въ икру. Кровь выступаетъ на бланжевыхъ брюкахъ и льетъ въ чулокъ и на полъ. Рана была довольно глубокая, зажила, однако-же, безъ послѣдствій. Лангенбекъ, вѣрно, угадывалъ наши мысли по случаю этого происшествія.

Конечно, мы не могли не думать такъ: уже если самъ маэстро дѣлаетъ съ своимъ ножемъ такіе промахи, такъ, значитъ, дѣло не ладно. И дѣйствительно, и Лангенбекъ, и Грефе, по свойственной всѣмъ людямъ слабости, изобрѣли не мало такихъ хирургическихъ процедуръ и инструментовъ, которые оставались употребительными только въ ихъ собственныхъ рукахъ. Но, разумѣется, ни Грефе, ни Лангенбекъ не отказывались отъ своихъ изобрѣтеній и продолжали отдавать имъ преимущество.

Жизнь въ маленькомъ провинціальномъ германскомъ университетѣ была въ то время довольно, а иногда таки и очень, патріархальная. Сближеніе съ профессорами было гораздо легче, чѣмъ въ столичномъ университетѣ; поэтому не мудрено, что я скоро и легко познакомился съ біографіею, міровоззрѣніями и даже причудами нѣкоторыхъ изъ геттингенскихъ профессоровъ.

Про самого Лангенбека не трудно было узнать, что онъ вставалъ очень рано, занимался почти цѣлый божій день, то

въ анатомическомъ театрѣ, то въ клиникѣ, то на дому. Одинъ студентъ, изъ курляндцевъ, жившій недалеко отъ Лангенбека, сказывалъ мнѣ, что, по его наблюденіямъ, Лангенбекъ бываетъ въ веселомъ расположеніи духа преимущественно, когда еврей-мѣняла, являвшійся обыкновенно по утрамъ, оставался на квартирѣ профессора долгое время.

Молодымъ, собиравшимся вокругъ Лангенбека, людямъ онъ любилъ говорить о встрѣченныхъ имъ въ жизни трудностяхъ, невзгодахъ и препятствіяхъ, побѣжденныхъ энергіею и здравымъ смысломъ. „Frisch in's Leben hinein! Frisch in's Leben hinein!“ —это было его любимымъ афоризмомъ. „Kein Leichtsinn, aber einen leichten Sinn“ — также было его правиломъ жизни.

Про другихъ, болѣе устарѣлыхъ, профессоровъ разсказывались разныя легенды. Про знаменитаго Блуменбаха, дожившаго, напримѣръ, едва-ли не до 90 лѣтъ, говорили, что онъ не можетъ, безъ вреда для своего организма, не читать лекціи, и онъ исполняетъ эту, сдѣлавшуюся для него уже органическою, функцію чрезвычайно добросовѣстно; приходитъ въ аудиторію, садится на каѳедру, вынимаетъ тетрадку и читаетъ по ней не спѣша и съ разстановкою. Слушатели, не менѣе профессора привыкшіе къ его лекціямъ, нерѣдко, однако-же, бывали поражены quasi-замѣтками маститаго ученаго, произносимыми съ обычною медленностью и разстановкою: „hier muss ich ein Witz sagen“. Сначала никто не могъ въ толкъ взять, что̀ означали эти отрывочныя афористическія замѣтки. Наконецъ, дѣло объяснилось. Тетрадки существовали еще съ того давняго времени, когда знаменитый ученый,—во цвѣтѣ лѣтъ и одаренный юморомъ, — острилъ на своихъ лекціяхъ и заблаговременно отмѣчалъ на поляхъ тетрадки, гдѣ и при какомъ случаѣ острота казалась ему умѣстною. Пришла старость. Содержаніе остротъ исчезло изъ памяти, а указаніе на остроту, оставшееся еще на поляхъ тетрадки, передавалось аудиторіи добросовѣстнымъ профессоромъ.

Во время моего пребыванія въ Геттингенѣ я познакомился съ племянникомъ Лангенбека, тогда еще молодымъ докторантомъ, ассистентомъ дяди, а потомъ занимавшимъ мѣсто Диффенбаха и Грефе въ Берлинѣ.

Молодой Лангенбекъ мнѣ памятенъ не потому только, что

я видѣлъ его постоянно при дядѣ, но еще по отрывочнымъ воспоминаніямъ.

Въ операціонную залу къ старому Лангенбеку принесли больного съ некрозомъ бедра; профессоръ сталъ отыскивать секвестръ и сдѣлалъ знакъ племяннику, чтобы онъ подалъ что-то (вѣроятно, зондъ или корнцангъ и т. п.), и вдругъ, къ моему удивленію, я вижу, что молодой Лангенбекъ подаетъ ампутаціонный ножъ. „Noch zu früh!“ (еще рано),—замѣтилъ ему дядя.

Второе воспоминаніе совпадаетъ съ моею болѣзнью. Я занемогъ въ Геттингенѣ сильною жабою, перешедшею въ нарывъ. Но прежде, чѣмъ нарывъ вскрылся, ему суждено было, —противъ моего желанія,—пройти черезъ руки хирурга. Опухоль была очень сильная, и я, видѣвъ уже не разъ и въ Дерптѣ, и особливо въ Берлинѣ, леченіе жабы рвотнымъ, хотѣлъ уже принять его, какъ мой знакомый курляндецъ, струсивъ за меня, увѣдомилъ о моей болѣзни Лангенбека. Оба,—дядя и племянникъ,—были такъ любезны, что тотчасъ же пришли ко мнѣ на квартиру.

Старикъ Лангенбекъ, осмотрѣвъ мою пасть, тотчасъ же взялъ скальпель и всадилъ его почти на одинъ дюймъ въ опухоль; вышло нѣсколько крови, но матеріи не показалось. Ночью на другой день нарывъ лопнулъ самъ по себѣ, и я скоро выздоровѣлъ.

Странно: когда, въ 1864 году, я, по прошествіи 30 лѣтъ, въ первый разъ свидѣлся въ Берлинѣ съ моимъ старымъ знакомымъ (Лангенбековымъ племянникомъ), то онъ тотчасъ же припомнилъ мнѣ мою болѣзнь, но при этомъ настойчиво увѣрялъ, что онъ самъ вскрылъ мнѣ нарывъ и выпустилъ гной. Мнѣ кажется, что я обязанъ въ этомъ случаѣ вѣрить болѣе моей, чѣмъ чужой памяти. Воспоминаніе о причиненной мнѣ безполезной боли и о брани, которою я внутренно осыпалъ обоихъ Лангенбековъ и моего знакомаго курляндца за ихъ непрошенное вмѣшательство, сохранилось слишкомъ живо въ моей памяти, и я, испытавъ на себѣ хирургическій промахъ, старался потомъ, насколько могъ, предохранять другихъ людей отъ моихъ промаховъ.

Съ тѣхъ поръ рвотное служило мнѣ гораздо чаще ножа

къ вскрытію нарывовъ послѣ жабы. Изъ оперативныхъ способовъ, предложенныхъ Лангенбекомъ, весьма немногіе сохранились еще въ современной хирургіи. Справедливость требуетъ еще замѣтить, что операціи Лангенбека изумляли не только быстротою, но и чрезвычайною, въ то время еще неслыханною, вѣроятностью и точностью производства. Мойеръ сказывалъ мнѣ, что его учитель, старый Ант. Скарпа, услышавъ про вылущеніе матки, сдѣланное успѣшно (безъ поврежденія брюшины), сказалъ:

— „Если это правда, то я готовъ ползти на колѣняхъ въ Геттингенъ къ Лангенбеку“.

Ко второй категоріи нѣмецкихъ хирурговъ, то-есть къ защитникамъ медленнаго, по принципу, производства операцій, надо отнести, по преимуществу, Текстора въ Вюрцбургѣ.

У Текстора принципъ медленности доведенъ былъ до крайнихъ размѣровъ. Его аудиторія нерѣдко могла наслаждаться такого рода зрѣлищемъ. Больной лежитъ на операціонномъ столѣ, приготовленъ къ отнятію бедра. Профессоръ, вооруженный длиннѣйшимъ скальпелемъ, вкалываетъ его, какъ можно тише и медленнѣе, насквозь (спереди назадъ) чрезъ мышцы бедра. Вколотый ножъ оставляется въ этой позиціи, и профессоръ начинаетъ объяснять слушателямъ, какое направленіе намѣренъ онъ дать ножу, какую длину и т. п.

Потомъ, выкроивъ одинъ изъ лоскутовъ, по мѣркѣ и какъ можно медленнѣе, снова начинается сужденіе объ образованіи второго лоскута. При этомъ профессоръ обращается нѣсколько разъ къ своей аудиторіи съ наставленіемъ:

— „So muss mann operiren, meine Herren“.

И это все дѣлалось безъ анестэзированія, при воплях и крикахъ мучениковъ науки или, вѣрнѣе, мучениковъ безмозглаго доктринерства!

Что касается до меня, то мой темпераментъ и пріобрѣтенная долгимъ упражненіемъ на трупахъ вѣрность руки сдѣлали мнѣ, по истинѣ, противною эту злую медленность по принципу.

И впослѣдствіи, когда анестэзированіе, повидимому, дѣлало совершенно излишнимъ Цельсово „cito“,—и тогда, говорю, я остался все-таки того мнѣнія, что напускная медленность мо-

жетъ оказаться вредною: продолжительностью анестэзированія и травматизма.

Не одинъ механизмъ въ производствѣ операцій, не одна только техническая часть хирургіи рѣзко отличали клиники главныхъ представителей германской хирургіи.

Мы имѣли случай наблюдать, въ этихъ клиникахъ, и разные способы леченія ранъ. И именно, операторы по преимуществу: Лангенбекъ, Грефе и Диффенбахъ—всего болѣе ставили въ заслугу свои способы леченія ранъ.

Лангенбекъ терпѣть не могъ, когда иностранные и другіе врачи, посѣщавшіе его клинику, объясняли ему, думая сказать ему пріятное,—что они издалека пріѣхали посмотрѣть на его операціи. Тогда онъ нарочно ждалъ и не дѣлалъ.

— „Die Kerls wollen,—говаривалъ онъ потомъ,—dass er schneidet. Er schneidet aber nicht“.

Въ мое время въ клиникѣ Лангенбека почти всѣ раны,—и послѣ большихъ ампутацій,—лечились чрезъ нагноеніе, и когда вся полость раны была уже устлана мясными сосочками, края ея сближались и соединялись липкими пластырями.

У Диффенбаха можно было болѣе, чѣмъ гдѣ-нибудь, видѣть превосходные образцы заживленія ранъ первымъ натяженіемъ. Никто изъ современныхъ Диффенбаху хирурговъ не съумѣлъ такъ отлично вести этотъ способъ на дѣлѣ. Этому способствовали введенный Диффенбахомъ шовъ и сноровка въ принятіи мѣръ предосторожности противъ сильнаго натяженія частей. Притомъ самая рана не завязывалась ни пластырями, ни повязками.

Въ клиникѣ Грефе, отличавшейся отъ Рустовской счастливыми результатами леченія послѣ большихъ операцій, раны иослѣ такихъ операцій лечились своеобразно. За исключеніемъ англійскихъ хирурговъ, едва-ли кто изъ современныхъ Грефе хирурговъ въ Германіи и Франціи лечилъ эти раны такъ, какъ онъ. Можно безъ преувеличенія сказать, что Грефе болѣе всѣхъ приближался къ современнымъ герметическимъ способамъ леченія большихъ ранъ. Грефе тщательно перевязывалъ при операціи всѣ кровоточивые сосуды, тщательно соединялъ края раны (то швомъ, то множествомъ липкихъ пластырей) на-глухо, клалъ потомъ на закрытую уже рану корпію и по ширинѣ

маленькіе крестики, и все это тщательно укрѣплялъ нѣсколькими бинтами.

Повязки оставались большею частью нѣсколько дней и безъ нужды никогда не снимались до нагноенія.

Ассистентъ Грефе, д-ръ Ангельштейнъ, отличался искусствомъ въ наложеніи повязки. Онъ зорко слѣдилъ за тѣмъ, чтобы матерія не просачивалась чрезъ повязку.

Сидѣлки, двѣ чистокровныя нѣмки, знали это, но по неряшеству и лѣности попадали нерѣдко въ просакъ.

— „Komm, Grethe, her!“ —слышалось бывало: — „Angelstein macht Spectakl“.

И дѣйствительно, шелъ спектакль; Ангельштейнъ визитировалъ больныхъ и перемѣнялъ повязки съ бранью и крикомъ на растерявшихся сидѣлокъ.

— „Sau bist du!“ —ругалъ онъ, избѣгая мужескаго рода: Schwein, такъ какъ его ругань была обращена къ дамамъ.

Результатъ этого леченія ранъ въ клиникѣ Грефе былъ, дѣйствительно, весьма счастливый.

Тщательное прикрытіе и закрытіе большихъ и глубокихъ ранъ, съ методическимъ давленіемъ на окололежащія части, считались весьма важными условіями для усиленнаго заживленія раны. Случай съ извѣстнымъ тогда актеромъ (кенигштадтскаго театра) Бекманомъ доказалъ преимущество этого способа леченія ранъ и тѣмъ не мало причинилъ досады Диффенбаху.

Диффенбахъ принялъ огромную опухоль на бедрѣ Бекмана за злокачественный наростъ, и побоялся операціи, зная изъ опыта, съ какими опасностями и страхами для больного соединено обыкновенно леченіе глубокихъ междумышечныхъ ранъ. Грефе былъ другого мнѣнія: онъ опредѣлилъ опухоль какъ Lipomosteatom, вырѣзалъ ее и тотчасъ же послѣ операціи тщательно закрылъ глубокую рану, наложивъ методически на всю конечность ad hoc приготовленную компрессивную повязку.

Результатъ былъ блестящій: любимецъ берлинской публики Бекманъ скоро выздоровѣлъ.

Теперь трудно себѣ вообразить, какъ мало германскіе врачи и хирурги того времени были знакомы—а главное, какъ мало они интересовались ознакомиться—съ самыми основными патологическими процессами.

Между тѣмъ въ сосѣдней Франціи и Англіи въ это время извѣстны уже были замѣчательные результаты анатомо-патологическихъ изслѣдованій Крювелье, Тесье, Брейта, Бульо и друг.

Такъ, самый опасный и убійственный для раненыхъ и оперированныхъ патологическій процессъ — гнойнаго зараженія крови (pyaemia), похищающій еще и до сегодня значительную часть этихъ больныхъ,—былъ почти вовсе неизвѣстенъ германскимъ хирургамъ того времени. Во все время моего пребыванія въ Берлинѣ я не слыхалъ ни слова, ни въ одной клиникѣ, о гнойномъ зараженіи, и въ первый разъ узналъ о немъ изъ трактата Крювелье.

Изъ Крювелье и оперативной хирургіи Вельпо, только изъ чтенія этихъ книгъ, я получилъ понятіе о механизмѣ образованія метастатическихъ нарывовъ послѣ операціи и при поврежденіи костей. Правда, Фрике въ Гамбургѣ написалъ статью о травматической, злокачественной перемежающейся лихорадкѣ (febris intermittens perniciosa, traumatica), но не разъяснилъ сущности этой болѣзни, смѣшавъ настоящіе травматическіе пароксизмы съ пароксизмами піэмическими.

Изъ Геттингена я отправился пѣшкомъ чрезъ Гарцъ въ Берлинъ; побывалъ на Броккенѣ, не сдѣлавшемъ на меня особеннаго впечатлѣнія. Гораздо оригинальнѣе показались мнѣ и болѣе понравились: Роострактъ и сталактическая пещера Баумана; растительность на Ростренѣ представляетъ осенью – и поражаетъ глазъ - собраніе самыхъ яркихъ цвѣтовъ, начиная отъ ярко-краснаго до самаго темнаго.

Здоровье мое послѣ геттингенской жабы скоро поправилось, но признаки безкровія были еще такъ замѣтны, что проводникъ мой, весьма разговорчивый старичокъ, часто повторялъ мнѣ:

— „Herr, Sie haben eine schwache Constitution“.

Это онъ говорилъ каждый разъ, когда мы садились, хотя вовсе не я, а онъ самъ предлагалъ отдыхъ, и я каждый разъ опережалъ его при всходахъ и спускахъ.

Я полагаю, что старикъ часто повторялъ мнѣ о моей слабости только для того, чтобы показать мнѣ свое знакомство съ иностраннымъ словомъ, которое онъ произносилъ на разные лады: Constation, Constution, но всегда невпопадъ.

Я не помню уже, доѣхалъ ли я или дошелъ пѣшкомъ отъ Гальберштедта до Берлина; знаю только, что возвратился безъ гроша денегъ, не разсчитавъ, какъ всегда, аккуратно путевыхъ издержекъ.

Въ Берлинѣ въ то время публика, повидимому, вмѣстѣ съ королемъ, сочувственно относилась къ Россіи, то-есть не къ націи, а къ русскому государю. Портретъ его, сдѣланный Крогеромъ и изображавшій въ натуральной величинѣ государя и всю его свиту верхами, былъ выставленъ напоказъ, и вокругъ него всегда толпилась публика и слышались хвалебные отзывы объ осанкѣ, о мужественной твердости, о семейныхъ его добродѣтеляхъ, и проч.

Своимъ правительствомъ берлинцы, по крайней мѣрѣ молодое поколѣніе, не очень восхищались; впрочемъ одни хвалили скромную жизнь стараго короля и его двора, а другіе возлагали надежды на наслѣднаго принца.

Наслѣдный принцъ, впослѣдствіи король,—романтикъ и ученый, — угощалъ по временамъ будущихъ своихъ подданныхъ остротами, сходными съ тѣми, которыми насъ нѣкогда награждалъ одинъ изъ покойныхъ князей. Одну изъ остротъ наслѣднаго принца я запомнилъ, потому что она касалась косвенно насъ, русскихъ.

Когда прусскіе офицеры, приглашенные по случаю какого-то торжества въ С.-Петербургъ, возвратились въ Берлинъ, украшенные орденами и преимущественно модным тогда орденомъ Станислава, наслѣдный принцъ предложилъ своимъ придворнымъ вопросъ:

— „Чѣмъ отличаются теперь гвардейскіе офицеры отъ рядовыхъ? Хотите, вамъ скажу?—Der gemeine Soldat hat gewöhnliche Laüse, aber die Garde-Officieren haben jetzt Stanis-laüse“.

По части остротъ не оставались иногда въ долгу и прусскіе подданные.

Я помню, какъ однажды одинъ магазинъ Подъ-Липами выставилъ новую картину, имѣвшую, ничѣмъ впрочемъ не мотивированное, названіе: „Lügner und sein Sohn“ (лжецъ и его сынъ). Провисѣвъ въ витринѣ дня три, эта картина была замѣнена новыми эстампами. Выставлены были два новые портрета короля и наслѣднаго принца; но ихъ расположили такъ, что

они оба прикрывали прежнюю картину, за исключеніемъ только надписи подъ нею: „Lügner und sein Sohn“, красовавшейся теперь подъ портретами короля и наслѣдника. Это названіе имъ присвоивалось за то, что еще не дана была обѣщанная въ отечественную войну конституція.

Мы, русскіе того времени, имѣли почему-то невысокое мнѣніе о прусскомъ правительствѣ. Даже наши лифляндцы, эстляндцы и курляндцы, пріѣзжавшіе въ Германію, не называли себя нѣмцами, а все—русскими, разумѣя, конечно, подъ этимъ свое русское подданство. Слышалъ я нерѣдко и то, какъ пріѣзжавшіе въ Дерптъ изъ Германіи профессора, обжившись нѣсколько времени въ Дерптѣ, называли въ разговорѣ наше русское правительство и русскую армію—„unsere Regierung, unsere Armee“ (наше правительство, наша армія); когда же дѣло шло о наукѣ, мануфактурахъ и тому подобное, то „unsere Wissenschaft, unsere Fabrik“—значило у этихъ господъ: наша нѣмецкая наука, наши нѣмецкія фабрики.

Какъ и жившіе тогда въ Берлинѣ смотрѣли на прусское правительство—можно заключить изъ слѣдующаго случая.

Товарищъ мой, Гр. Ив. Сокольскій, посланный за границу изъ Петербурга, долго по прибытіи въ Берлинъ не получалъ изъ Москвы жалованья; нуждаясь, онъ обратился, конечно, прежде всего къ Кранихфельду; тотъ прочелъ ему нѣсколько душеспасительныхъ наставленій, но помощи никакой не далъ.

Сокольскій, узнавшій отъ какого-то нѣмца, что къ королю можно отнестись письмомъ по городской почтѣ, немного думая, взялъ, да и написалъ его величеству письмо, въ которомъ онъ просилъ обратить вниманіе на бѣдственное его положеніе. Положимъ, что Гр. Ив. Сокольскій былъ оригиналъ, но и онъ, вѣрно, не посмѣлъ бы и подумать въ Россіи о перепискѣ съ главою государства по частному дѣлу.

Я отговаривалъ Сокольскаго, но потомъ чрезвычайно удивился, когда услыхалъ, что на другой же день полученъ былъ чрезъ статсъ-секретаря отвѣтъ короля: Сокольскому предлагалось обратиться къ русскому посланнику, — что было испробовано имъ уже давно, но безъ успѣха.

Сравнивая теперь тогдашній до-конституціонный режимъ

прусскаго правительства съ нашимъ, напримѣръ, начала 1860-хъ годовъ, я нахожу, что нашъ режимъ того времени, въ одномъ отношеніи, стоялъ уже гораздо выше, чѣмъ прусскій въ 1833-мъ и 1834-мъ годахъ, а въ другомъ оставался по-прежнему далеко позади.

Такъ, въ 1833—1834-мъ годахъ правительственные органы увѣряли всѣхъ пруссаковъ, что „beschränkte Unterthanenverstand“ (ограниченный умъ подданныхъ) не можетъ имѣть надлежащаго понятія о цѣляхъ и намѣреніяхъ правительства, а потому и не долженъ разсуждать объ этихъ дѣлахъ.

У насъ же въ началѣ 1860-хъ годовъ разрѣшено было, въ извѣстной мѣрѣ и въ извѣстныхъ границахъ, говорить о правительственныхъ проектахъ и обсуждать ихъ. Зато, въ это же самое время, у насъ не было еще отмѣнено ни одно изъ тѣхъ мѣстныхъ стѣсненій свободы, которыя я сравниваю съ уколами булавокъ: между тѣмъ въ 1833 и 1834-мъ годахъ въ Берлинѣ никому не запрещалось носить бороду, усы, курить на улицѣ табакъ и жить дома безъ полицейскаго надзора.

Не могу еще не упомянуть о неслыханномъ мною кредитѣ, которымъ пользовались въ то время мы, русскіе, у нѣмецкихъ купцовъ и ремесленниковъ. Мнѣ покоя не давалъ одинъ портной, отпустившій всѣмъ нашимъ новаго платья въ кредитъ на нѣсколько тысячъ талеровъ. Этотъ портной, и вмѣстѣ содержатель магазина, непремѣнно хотѣлъ, чтобы и я у него заказалъ въ долгъ платья, хоть бы сотни на двѣ талеровъ; книжный продавецъ отпускалъ мнѣ также въ кредитъ, на нѣсколько сотъ талеровъ, различныхъ книгъ и журналовъ.

Время уплаты долга не опредѣлялось; векселя и гарантій никакихъ не требовалось...

Приближался срокъ нашего пребыванія за границею. Я, кажется, забылъ упомянуть, что вмѣстѣ съ нами (членами профессорскаго института) присланы были въ Берлинъ и юристы отъ Сперанскаго,—все семинаристы; къ юристамъ гр. Сперанскаго причислялись, впрочемъ, и двое изъ нашихъ: Калмыковъ и Рѣдкинъ (не-семинаристы).

Изъ нихъ (числомъ 21) были только трое—Сокольскій, Свандовскій и Филомафитскій—лица духовнаго происхож-

денія, но оба уже нѣсколько шлифованные университетскимъ образованіемъ, тогда какъ юристы Сперанскаго (за исключеніемъ Калмыкова и Рѣдкина) были все чистокровные бурсаки; изъ нихъ наиболѣе выдающеюся личностью былъ, въ моихъ глазахъ, Ник. Ив. Крыловъ. Я любилъ его угловатую оригинальность, и при случаѣ разскажу о немъ кое-что.

За нѣсколько времени до нашего отъѣзда мы получили отъ министерства Уварова запросъ: въ какомъ университетѣ каждый изъ насъ желалъ бы получить профессорскую каѳедру? Я, конечно, отвѣчалъ, не запинаясь: въ Москвѣ, на родинѣ; увѣдомилъ объ этомъ и матушку, чтобы она заблаговременно распорядилась съ квартирою и т. п.

Въ маѣ 1835 года я и Котельниковъ сѣли въ почтовый прусскій дилижансъ, отправлявшійся въ Кенигсбергъ и Мемель. На почтовомъ дворѣ къ намъ подошелъ какой-то господинъ, весьма порядочный на видъ, съ молодою дѣвушкою, и, узнавъ, что мы русскіе, обратился прямо ко мнѣ съ просьбою взять на свое попеченіе до Кенигсберга молодую швейцарку изъ Гренобля, отправлявшуюся на мѣсто гувернантки въ Кенигсбергъ.

Я принялъ съ охотою предложеніе. Дѣвушка не говорила по-нѣмецки и была еще почти ребенокъ, лѣтъ 16-ти, чрезвычайно наивная и разговорчивая.

Она всю дорогу развлекала насъ своими разсказами, и, вѣрно, понравилась бы мнѣ еще болѣе, еслибы я дорогою не занемогъ.

Еще дня два до моего отъѣзда изъ Берлина я почувствовалъ себя не совсѣмъ хорошо, и взялъ теплую ванну.

Полагая, что дорога (какъ это нерѣдко со мною случалось) благодѣтельно на меня подѣйствуетъ, я сѣлъ въ дилижансъ безъ всякихъ опасеній.

Но спертый воздухъ и духота дилижанса, въ которомъ сидѣло насъ шестеро, сильно разстроили меня; я не спалъ цѣлую ночь, утомился до крайности; сильная жажда мучила меня, и я едва-едва высидѣлъ въ дилижансѣ еще одну ночь, а на утро оказался вовсе несостоятельнымъ для продолженія пути. Меня высадили на станціи въ какомъ-то, не помню, городкѣ.

Всѣ пассажиры засвидѣтельствовали, что я дѣйствительно заболѣлъ на пути; это было необходимо для того, чтобы имѣть право на безплатный проѣздъ до мѣста назначенія, т.-е. за проѣздъ уплаченнаго уже мною въ Берлинѣ пространства. Котельниковъ не хотѣлъ оставить меня одного на дорогѣ, и высадился вмѣстѣ со мною. На станціи, для утоленія жажды, я просилъ Христомъ Богомъ дать мнѣ скорѣе чаю, и въ забытьи отъ утомленія и безсонной ночи съ нетерпѣніемъ жаждалъ промочить чашкою чая засохшее горло.

Принесли, наконецъ, чайникъ. Я бросаюсь налить себѣ чашку, съ жадностью пью, но не успѣлъ выпить и половины, какъ начинаю чувствовать тошноту и отвратительнѣйшій вкусъ во рту.

Оказалось, что вмѣсто настоящаго чая мнѣ подали какое-то снадобье, составленное изъ разныхъ травъ и извѣстное подъ именемъ аптекарскаго чая.

Хозяйка станціи, въ цѣлую свою жизнь ни разу не имѣвшая случая угощать чаемъ пассажировъ и имѣвшая вообще смутное понятіе о чаѣ, какъ напиткѣ, не могла, конечно, вообразить, что больной пассажиръ можетъ требовать другого чая, а не аптекарскаго. Желая быть человѣколюбивою, благодѣтельная хозяйка станціи, услышавъ мое требованіе, тотчасъ же и послала въ аптеку за чаемъ. Судя по отвратительному вкусу и по тошнотворному дѣйствію, это была смѣсь ромашки, бузины, липовыхъ цвѣтовъ, солодковаго корня и другихъ неразгаданныхъ мною веществъ.

Проклявъ это снадобье и замѣнивъ его, насколько позволяли средства и обстоятельства, теплымъ лимонадомъ, я, наконецъ, кое-какъ успокоился и крѣпко заснулъ послѣ двухъ безсонныхъ ночей. Сонъ нѣсколько возстановилъ меня, такъ что я рѣшился продолжать дорогу, на другой же день, съ проходившимъ чрезъ станцію почтовымъ дилижансомъ.

Мѣста для меня и Котельникова оказались, и мы добрались до Мемеля и, отдохнувъ тамъ еще разъ, наняли извозчика до Риги. Дорогу до Риги я перенесъ относительно не худо. Но получилъ, къ несчастію, кашель; я почувствовалъ утромъ на разсвѣтѣ какой-то нестерпимый зудъ въ одномъ ограниченномъ мѣстѣ гортани, съ позывомъ на кашель. Съ этой минуты ка-

шель, не переставая, началъ меня мучить день и ночь, притомъ сухой и нестерпимый. Въ такомъ состояніи я добрался до Риги.

Мы остановились въ какомъ-то заѣзжемъ домѣ за Двиною (за мостомъ). Отъ слабости я едва передвигалъ ноги; впрочемъ пульсъ мой не былъ лихорадочный. Я чувствовалъ, что далѣе мнѣ ѣхать невозможно, а между тѣмъ деньги и у меня, и у Котельникова вышли,—вышли всѣ до послѣдней копѣйки. Непредвидѣнныя обстоятельства, какъ извѣстно, не берутся въ соображеніе въ молодости, или только на словахъ берутся. Но въ Ригѣ жилъ попечитель дерптскаго университета и онъ же остзейскій генералъ-губернаторъ. Пишу письмо къ нему и посылаю съ письмомъ самого Котельникова. Не помню что̀, но, судя по результату, я, должно быть, въ этомъ письмѣ навалялъ что-нибудь очень забористое. Не прошло и часа времени, какъ ко мнѣ прилетѣлъ отъ генералъ-губернатора медицинскій инспекторъ, докторъ Леви, съ приказаніемъ тотчасъ принять всѣ мѣры къ облегченію моей участи.

Докторъ Леви привезъ деньги и тотчасъ же послалъ за каретою, для переѣзда въ большой загородный военный госпиталь. Тамъ велѣно было отвести для меня особое отдѣльное помѣщеніе, приставить ко мнѣ особаго фельдшера и служителей. Докторъ Леви былъ еврейскаго происхожденія и принадлежалъ къ тому высоко-классическому типу евреевъ, который далъ образы Леонарду да-Винчи для изображенія въ его „Тайной Вечери“ одиннадцати вѣрныхъ учениковъ Спасителя. Это была душа, рѣдко встрѣчающаяся и между христіанами, и между евреями. Холостой и уже пожилой, докторъ Леви, посвящая всю свою жизнь добру, помогалъ всѣмъ и каждому, чѣмъ только могъ. Кто видѣлъ хотя однажды этотъ черепъ, гладкій какъ мраморъ и какъ мраморъ сохранившій на себѣ черты, намѣченныя врожденною добротою души, тотъ, вѣрно, не забывалъ его никогда.

Даже баронетъ Виллье, увидѣвши однажды доктора Леви при посѣщеніи военнаго госпиталя (въ которомъ Леви служилъ ординаторомъ), не удержался и невольно повелъ рукою по гладко вышлифованному и блестящему, какъ солнце, черепу доктора. Погладить что-нибудь, а не ударить рукою, было у

грубаго баронета признакомъ удовольствія и благоволенія, и другіе ординаторы едва-ли не позавидовали тогда классическому черепу.

Меня помѣстили въ бель-этажѣ громаднаго госпитальнаго зданія, въ просторной, свѣтлой и хорошо вентилированной комнатѣ; явились и доктора, и фельдшеры, и служители. Еслибы я захотѣлъ, то, я думаю, мнѣ прописали бы цѣлую сотню рецептовъ не по госпитальному каталогу. Но я просилъ только, чтобы меня оставили въ покоѣ и дали бы только что-нибудь успокоительное, въ родѣ миндальнаго молока и лавровишневой воды, противъ мучительнаго сухого кашля.

Чѣмъ былъ я боленъ въ Ригѣ?

На этотъ вопросъ я такъ же мало могу сказать что-нибудь положительное, какъ и на то, чѣмъ я болѣлъ потомъ въ Петербургѣ, Кіевѣ и за границею.

Сухой, спазмодическій, сильный, съ мучительнымъ щекотаньемъ въ горлѣ, кашель; ни малѣйшей лихорадки; сильная слабость; полное отсутствіе аппетита, съ отвращеніемъ и къ пищѣ, и къ питью; безсонница—цѣлыя ночи напролетъ безъ сна нѣсколько недѣль сряду; запоры, продолжавшіеся по цѣлымъ недѣлямъ. Вотъ припадки. Болѣзнь длилась около двухъ мѣсяцевъ, а облегченіе началось тѣмъ, что кашель сдѣлался нѣсколько влажнѣе; въ ногахъ же появились нестерпимыя боли, такъ что малѣйшее движеніе ноги отзывалось сильнѣйшею болью въ подошвахъ; потомъ показался аппетитъ къ молоку и явились твердыя испражненія, послѣ простыхъ клистировъ, прежде вовсе не дѣйствовавшихъ. Съ каждымъ днемъ аппетитъ къ молоку началъ все болѣе и болѣе усиливаться и дошелъ до того, что я ночью вставалъ и принимался по нѣскольку разъ за молоко; аптекарскаго, выписываемаго по фунтамъ, уже не хватало; всѣ обитатели госпиталя, ординаторы, смотрителя и коммиссары начали снабжать меня молокомъ; къ нему я присоединилъ потомъ, также инстинктивно, миндальныя конфекты; но порой ѣлъ ихъ съ молокомъ по цѣлымъ фунтамъ. Наконецъ, дошелъ чередъ и до мяса. Мнѣ начали приносить кушанья изъ городского трактира. А однажды, когда я былъ уже на ногахъ, но еще кашлялъ (съ мокротою), посѣтилъ меня генералъ-губернаторъ.

Я искренно поблагодарилъ его; а онъ успокоилъ меня увѣреніемъ, что онъ обо мнѣ сносился уже съ министромъ, и чтобы я не торопился отъѣздомъ; къ этому прибавилъ—и самое главное — ассигновку на полученіе жалованья, назначеннаго всѣмъ намъ впредь до занятія профессорскихъ должностей.

Мой Котельниковъ уже тѣмъ временемъ давно уѣхалъ, получивъ также на проѣздъ; а я написалъ въ Дерптъ изъ госпиталя къ моей почтеннѣйшей Екатеринѣ Аѳанасьевнѣ (Протасовой), увѣдомивъ ее, что лежу больной какъ собака (не знаю, почему я написалъ такъ). Моя добрая Екат. Аѳанасьевна, вѣрно, подумала, что я лежу въ госпиталѣ какъ собака, и вскорѣ прислала мнѣ рублей 50 денегъ и бѣлья.

Какъ только я оправился, является ко мнѣ въ одно прекрасное утро безносый цирюльникъ и проситъ меня, чтобы я сдержалъ данное ему обѣщаніе.—Какое?—удивился я. И цирюльникъ припомнилъ мнѣ, что я обѣщался сдѣлать ему носъ. Дѣло было такъ: кто-то въ госпиталѣ рекомендовалъ мнѣ взять изъ города очень искуснаго клистирнаго мастера.

При моей болѣзненной раздражительности мнѣ, дѣйствительно, не всякій могъ угодить въ такомъ щекотливомъ дѣлѣ, какъ клистиръ, и я терпѣлъ по цѣлымъ недѣлямъ, и ни за что не согласился припускать къ себѣ госпитальныхъ фельдшеровъ.

Прибывшій же изъ города оказался дѣйствительно исполнявшимъ свою обязанность по Цельзу: „tuto, cito et jucunde“.

Вотъ ему-то, по его увѣренію, я, послѣ одного отлично поставленнаго клистира, и обѣщался сдѣлать носъ, когда выздоровѣю.

Но слабость силъ ослабила, вѣрно, и память; я совсѣмъ забылъ обѣщаніе и физіономію.

— Ну, что же? если обѣщалъ, такъ надо исполнить.

Носъ не существуетъ ex toto; но лобъ превосходный, гладкій, словно мраморный.

Безносый, плотный, здоровый мужчина, лѣтъ 40, семейный.

Но мнѣ неясно было, что̀ могло побудить человѣка женатаго и не совсѣмъ молодого принять такъ къ сердцу пущенныя на-вѣтеръ и въ шутку слова неизвѣстнаго больного.

Можетъ быть, предчувствіе, но вѣроятнѣе то, что этотъ

безносый брадобрѣй, однако-же, былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и содержателемъ публичнаго дома. А провалившійся носъ у хозяина такого заведенія—не приманка, а потрясающее memento mori для посѣтителей.

Изъ прекраснаго лба вышелъ прекрасный носъ; долго хранился у меня портретъ моего перваго и самаго удачнаго носа.

Второй носъ, сдѣланный вскорѣ послѣ перваго, въ Ригѣ же, у одной дамы, былъ гораздо неудачнѣе и накрывалъ дефектъ только отчасти. Затѣмъ начали слѣдовать оперативные случаи одинъ за другимъ: литотоміи, вырѣзыванія опухолей, изъ которыхъ одинъ—вылущеніе огромнаго оплотнѣвшаго (стеатоматическаго) жировика—произвелъ большую сенсацію въ городѣ.

Дама, страдавшая этою опухолью, была многимъ знакома въ городѣ. Опухоль росла у нея уже десятки лѣтъ, и нѣсколько лѣтъ тому назадъ одинъ туземный хирургъ взялся-было за операцію, но, убояхся бездны премудрости, возвратихся вспять;—онъ остановился съ вырѣзываніемъ, перевязалъ кусокъ опухоли почти по серединѣ и отрѣзалъ перевязанный кусокъ.

Мнѣ представилась застарѣвшая болѣзнь уже въ другомъ видѣ. У разжирѣвшей до громадныхъ размѣровъ женщины опухоль, имѣвшая нѣсколько этажей или доль, достигла величины огромной тыквы, занимая всю ягодную область и промежность правой стороны; но очевидно было, что наростъ шелъ далеко въ тазъ, между прямою кишкою, влагалищемъ и маткою, а старый рубецъ, послѣ недоконченной операціи, прикрѣплялъ къ ней кожу и мышцы. Для новичка это былъ хорошій пробный камень, и ни одна операція не радовала меня столько, какъ эта.

Приступивъ къ ней, я шибко боялся за глубокій рубецъ, лежавшій на дорогѣ; боялся еще болѣе средняго нароста въ глубинѣ въ тазу съ брюшиною.

Но все обошлось какъ нельзя лучше.

Почти половину опухоли, величиною также съ добрую тыкву, надо было вытаскивать изъ таза. Огромная, глубокая рана зажила еще задолго до отъѣзда моего изъ Риги.

Въ военномъ госпиталѣ также не оказывалось оператора. При мнѣ встрѣтились два случая: одинъ съ камнемъ мочевого

пузыря, а другой—требовавшій отнятія бедра въ верхней трети. Въ обоихъ случаяхъ никто не рѣшался въ госпиталѣ дѣлать операцію, и оба предоставлены были въ мое распоряженіе.

Ординаторы госпиталя, познакомившись со мною, стали просить меня показать имъ нѣкоторыя операціи на трупахъ и прочесть нѣсколько лекцій изъ хирургической анатоміи и оперативной хирургіи. Одинъ изъ старыхъ ординаторовъ, нѣмецъ, кончившій курсъ въ Іенѣ, сдѣлалъ мнѣ за мои лекціи слѣдующій комплиментъ, тогда очень польстившій почему-то моему самолюбію и потому оставшійся у меня въ памяти.

— „Вы насъ научили тому, чего и наши учителя не знали“.

Въ сентябрѣ мѣсяцѣ (1835 г.) я собрался, наконецъ, въ дорогу.

Мой добрѣйшій д-ръ Леви, бывшій во все время моего пребыванія въ Ригѣ моимъ геніемъ-хранителемъ, и теперь не хотѣлъ отпустить меня въ дорогу безъ теплой одежды; вечера уже были очень прохладны, и онъ притащилъ мнѣ свою еноговую шубу, хотя и старую, но еще довольно благовидную и для ношенія въ столицѣ, и требовалъ отъ меня, чтобы я ее непремѣнно взялъ и не обижалъ его присылкою назадъ изъ Петербурга.

Уговаривая меня, Леви такъ горячился и такъ неосмотрительно бѣгалъ за мною по комнатѣ, что, наконецъ, зацѣпился ногою за что-то и упалъ, растянувшись предо мною. Это было какъ-то такъ и смѣшно, и трогательно, что я бросился его поднимать, обнимать, цѣловать, и мы разстались оба со слезами на глазахъ.

Я отправился въ Петербургъ хотя и на почтовыхъ, но не спѣша. Ночевалъ ночи на станціяхъ и заѣхалъ на нѣсколько дней въ Дерптъ.

Надо было поблагодарить почтеннѣйшую Екатерину Аѳанасьевну (Протасову), повидаться съ Моейромъ и съ знакомыми.

Первая новость, услышанная мною въ Дерптѣ, была та, что я покуда остался за штатомъ и прогулялъ мое мѣсто въ Москвѣ. Я узналъ, что попечитель московскаго университета, Строгановъ, настоялъ у министра объ опредѣленіи на каѳедру хирургіи въ Москвѣ Иноземцева.

Первое впечатлѣніе отъ этой новости было, сколько помню, очень тяжелое. Недаромъ же у меня никогда не лежало сердце къ моему товарищу по наукѣ. Недаромъ въ моемъ дневникѣ разражался я противъ него разнаго рода жалобами и упреками и вмѣстѣ съ тѣмъ завидовалъ ему.

Это онъ назначенъ былъ разрушить мои мечты и лишить меня, мою бѣдную мать и бѣдныхъ сестеръ перваго счастія въ жизни! Сколько счастья доставляло и имъ, и мнѣ думать о томъ днѣ, когда, наконецъ, я явлюсь къ нимъ, чтобы жить вмѣстѣ и отблагодарить ихъ за всѣ ихъ попеченія обо мнѣ въ тяжкое время сиротства и нищенства! И вдругъ всѣ надежды, всѣ счастливыя мечты, все пошло прахомъ!

Но чѣмъ же тутъ виноватъ Иноземцевъ?

Да развѣ онъ не зналъ моихъ намѣреній и надеждъ? развѣ онъ не слыхалъ отъ меня, что старуха-мать и двѣ сестры ждутъ меня съ нетерпѣніемъ въ Москву? Развѣ ему не извѣстно было, что̀ я отвѣчалъ на послѣдній вопросъ въ Берлинъ изъ Москвы?

Но онъ не могъ устоять противъ требованія и желанія Строганова? Во-первыхъ, это, вѣрно, не такъ: Иноземцевъ умѣлъ сдѣлать себя пріятнымъ и отъ природы снабженъ былъ средствами для этой цѣли; а во-вторыхъ, развѣ совѣсть и долгъ чести не требовали отъ товарища, чтобы онъ отказался отъ предлагаемаго, если на это предложеніе имѣлъ гораздо болѣе правъ не онъ, а другой?

И какова заботливость начальства!

Оно само выбираетъ, само назначаетъ человѣка, само узнаетъ отъ него, что онъ желаетъ дѣйствовать именно въ томъ университетѣ, гдѣ онъ получилъ образованіе и гдѣ онъ былъ избранъ для дальнѣйшаго усовершенствованія,—и что же: лишь только пришла бѣда, болѣзнь, его забываютъ и спѣшатъ его мѣсто замѣнить другимъ! Да, этотъ другой понравился, имѣлъ счастіе понравиться его сіятельству; а кто знаетъ, понравился ли бы еще я? Пожалуй, могло быть и еще хуже,—могло быть, что мнѣ, и здоровому, и прибывшему въ Петербургъ, вліятельный графъ предпочелъ бы моего товарища.

„Слава Богу, что еще этого не случилось. Ну, пусть будетъ, что̀ будетъ.

„Всѣмъ управляетъ слѣпой случай; утѣшенія искать негдѣ, если не найдешь его въ самомъ себѣ. Вотъ сюда, къ себѣ, и обратись“.

Такъ я разсуждалъ въ то время. Провидѣнія для меня тогда не существовало. Идеала Богочеловѣка, поправшаго чрезъ воплощеніе юдоль человѣческихъ бѣдствій, также не существовало.

Оставалось, конечно, одно прибѣжище — собственное *я*. И хорошо еще, что это *я* было, по милости божіей, не дюжинное и не слишкомъ высокомѣрное. Оно знало себѣ мѣру.

Теперь спѣшить было некуда. Одно дѣйствіе на сценѣ жизни кончилось, занавѣсъ опустился. Отдохнемъ отъ испытанныхъ волненій и подождемъ терпѣливо другого.

Я помѣстился на квартирѣ стараго товарища, всегда ассистировавшаго мнѣ при опытахъ надъ животными, помощника прозектора Шульца.

Мойеръ въ это время былъ ректоромъ и плохо ладилъ со студентами. Они однажды пустили ему за что-то кирпичъ въ окно и сильно перепугали старушку Екатерину Аѳанасьевну.

Видно было по всему, что Мойеръ ждалъ съ нетерпѣніемъ срока 25-тилѣтія, чтобы уѣхать изъ Дерпта въ орловское имѣніе; клиники онъ, по служебнымъ занятіямъ ректора, не посѣщалъ и предоставилъ почти всецѣло своему ассистенту, молодому Струве (потомъ профессору въ Харьковѣ).

Я принялся посѣщать ее, и, какъ нарочно, къ этому времени собрались въ клиникѣ четыре интересные случая: мальчикъ съ камнемъ въ пузырѣ — рѣдкая птица въ Дерптѣ; огромный саркоматозный полипъ, застилавшій всю полость носа и зѣва; скорбутная опухоль подчелюстной железы, величиною съ кулакъ, и сухая гангрена, отъ обжога всего предплечія, у эпилептика.

Мойеръ поручилъ мнѣ распорядиться по моему усмотрѣнію съ этими больными, а самъ долженъ былъ рѣшиться на литотомію у одного толстаго-претолстаго старика-пастора, помѣстившагося также въ клиникѣ.

Операція шла не лучше той у дерптскаго богача Шульца,

о которой я уже говорилъ прежде. Пасторъ былъ еще толще Шульца и кричалъ безпрестанно: „wenn ich nur harnen könnte!“ Горжеретъ Скарпы, которымъ все еще, какъ и прежде, оперировалъ Мойеръ, оказался слишкомъ короткимъ для толстой (въ цѣлую ладонь) промежности; побѣжали, во время операціи, искать другого инструмента—не нашли; но, наконецъ, кое-какъ горжеретъ прошелъ-таки въ пузырь, и извлечены были три камня (ураты).

Чрезъ нѣсколько дней была моя операція (литотомія) у мальчика. Штраухъ, мой сожитель въ Берлинѣ, пріѣхавшій въ Дерптъ еще до мая для экзаменовъ, выдержалъ уже его и писалъ теперь диссертацію; онъ успѣлъ уже разсказать о нашихъ подвигахъ въ Берлинѣ и, между прочимъ, о необыкновенной скорости, съ которою я дѣлаю литотомію надъ трупами. Вслѣдствіе этого набралось много зрителей смотрѣть, какъ и какъ скоро сдѣлаю я литотомію у живого. А я, подражая знаменитому Грефе и его ассистенту въ Берлинѣ—Ангельштейну, поручилъ ассистенту держать на-готовѣ каждый инструментъ между пальцами по порядку. Зрители также приготовились, и многіе вынули часы. Разъ, два, три—не прошло и двухъ минутъ, какъ камень былъ извлеченъ.

Всѣ, не исключая и Мойера, смотрѣвшаго также на мой подвигъ, были видимо изумлены.

— „In zwei Minuten, nicht einmal zwei Minuten, das ist wunderbar!“ (въ двѣ минуты, даже менѣе двухъ, это удивительно!) — слышалось со всѣхъ сторонъ.

Я дѣлалъ операцію литотомомъ (lithotome caché), и именно тѣмъ самымъ, единственнымъ тогда въ Дерптѣ, который я привезъ Мойеру изъ Москвы. Но быстрота операціи зависѣла не отъ этого инструмента и ни отъ чего другого, какъ отъ формы и положенія камня въ пузырѣ. Это былъ уро-фосфатъ въ видѣ продолговатой сосульки, лежавшей однимъ концомъ прямо въ шейкѣ пузыря; камень тотчасъ же попалъ всею своею длиною между щечекъ щипцовъ и легко извлекся.

Не менѣе эффекта для посѣтителей клиники, уже давно не видавшихъ никакой серьёзной операціи, было извлеченіе громаднаго полипа вмѣстѣ съ костями (носовыми раковинами и стѣною верхнечелюстной пазухи) чрезъ большой разрѣзъ носа.

Диффенбаха шовъ (Insectennaht), наложенный потомъ на разрѣзанный носъ, былъ также новостью.

Съ этого времени начали почти ежедневно являться въ клинику оперативные случаи, всецѣло поступавшіе въ мое распоряженіе. Клиника—по словамъ студентовъ—ожила. Чрезъ нѣсколько дней Мойеръ приглашаетъ меня къ себѣ и дѣлаетъ мнѣ нѣчто, никогда не думанное и не гаданное мною и потому чрезвычайно меня поразившее.

— „Не хотите ли вы—предлагаетъ мнѣ Мойеръ—занять мою каѳедру въ Дерптѣ?“

Я остолбенѣлъ.

— Да какъ же это можетъ быть? да это немыслимо, невозможно!—или что-то въ этакомъ родѣ.

— „Я хочу только знать, желаете ли вы?“—повторяетъ Мойеръ.

— Что же,—говорю я, собравшись съ духомъ:—каѳедра въ Москвѣ для меня уже потеряна; теперь мнѣ все равно, гдѣ я буду профессоромъ.

— „Ну, такъ дѣло въ шляпѣ. Сегодня я предлагаю васъ факультету и извѣщу потомъ министра; а когда узнаю, какъ онъ посмотритъ на это дѣло, то предложеніе пойдетъ и въ совѣтъ, а вы покуда подождите здѣсь въ Дерптѣ, а потомъ поѣзжайте въ Петербургъ ждать окончательнаго рѣшенія“.

Въ это время домъ Мойера былъ очень привлекателенъ для молодого человѣка. Двѣ его племянницы (внучки Е. А. Протасовой), Екатерина и Александра Воейковы, и нѣсколько русскихъ молодыхъ дамъ, Марья Николаевна Рейцъ (урожденная Дирина), Екатерина Николаевна Березина (моя будущая теща) и др., составляли очень пріятное общество, подъ эгидою почтенной лѣтами, но чрезвычайно любезной, умной и интересной Екатерины Аѳанасьевны. Весело было проводить вечера и послѣобѣденное время въ этомъ привлекательномъ обществѣ. Являлись и другіе русскіе и нѣкоторые нѣмцы, и время шло какъ нельзя лучше.

Я написалъ о случившемся матушкѣ, стараясь ее утѣшить; но самъ я не получалъ ни отъ кого писемъ,—какъ будто меня уже и на свѣтѣ не было. Поѣхалъ, молъ, занемогъ на дорогѣ,

да такъ и сгинулъ—и концы въ воду. Жалованье, однако-же, хотя неаккуратно, а все-таки выдавалось.

Узнаю, наконецъ, что факультетъ выбралъ меня, по предложенію Мойера, единогласно въ экстраординарные профессоры.

Пришло потомъ извѣщеніе отъ министра народнаго просвѣщенія, что онъ не имѣетъ ничего противъ избранія меня на каѳедру хирургіи въ Дерптѣ.

Надо было теперь отправляться въ С.-Петербургъ, представиться министру и ждать тамъ окончательнаго рѣшенія объ избраніи меня совѣтомъ университета.

Я сшилъ себѣ на заказъ въ Дерптѣ какую-то фантастическую теплую фуражку, съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы она служила мнѣ и вмѣсто подушки. Это было нѣчто въ родѣ суконнаго шара, подбитаго ватою на шелковой подкладкѣ, съ длиннымъ и мягкимъ (суконнымъ же) козырькомъ и двумя наушниками, такъ прилаженными, что ихъ можно было ad libitum (по благоусмотрѣнію) и опускать внизъ на уши, и загибать вверхъ.

Я распространяюсь объ этой шапкѣ потому, что къ изобрѣтенію ея, какъ мнѣ кажется теперь (прежде я, вѣрно, не сознался бы въ этомъ и самому себѣ), послужилъ поводомъ зеленый картузъ, постоянно красовавшійся на головѣ Руста и почему-то мнѣ нравившійся; теперь, когда мнѣ предстояло избраніе въ профессора русско-нѣмецкаго университета, мнѣ казалось, — и шапка, подобная картузу Руста, будетъ весьма умѣстна на моей головѣ. И цвѣтъ этой шапки былъ также зеленый.

Впрочемъ это только предположеніе, пожалуй и не совсѣмъ вѣроятное; но почему-то мнѣ кажется теперь, что существовало что-то подобное этому предположенію въ моемъ воображеніи.

Уже былъ настоящій зимній путь, когда я отправился изъ Дерпта въ С.-Петербургъ. Въ Петербургъ пріѣхавъ ночью, я не зналъ, куда дѣваться. Ямщикъ возилъ меня по разнымъ заѣзжимъ домамъ и гостинницамъ часа три, и нигдѣ не находилось порожняго нумера. Я приходилъ въ отчаяніе уже, какъ наконецъ,—не знаю, въ какомъ-то захолустьи на Петербургской

Сторонѣ,—нашлась одна комната съ голою кроватью, прикрытою рогожей. Я, какъ вошелъ въ этотъ притонъ, такъ и повалился на кровать, не раздѣваясь, въ енотовой шубѣ Леви и въ моей зеленой оригинальной шапкѣ. Повалился и заснулъ. На другой день, съ помощью д-ра Штрауха, я отыскалъ себѣ комнату съ маленькою прихожею, вверху, въ 3-мъ этажѣ, въ домѣ Варварина, у Казанскаго собора. Помѣщеніе было довольно порядочное, но входъ съ улицы отвратительный: лѣстница узкая, грязная, залитая замерзлыми помоями и ночью темная.

Министръ Уваровъ принялъ меня утромъ одного у себя въ кабинетѣ и не заставилъ долго ждать. Онъ былъ ужъ совершенно одѣтъ, за исключеніемъ фрака, вмѣсто котораго былъ надѣтъ шелковый халатъ. Время моего представленія министру совпадало съ двумя событіями, составлявшими предметъ разговоровъ и сплетенъ въ Петербургѣ.

Въ это время былъ при смерти боленъ Шереметевъ, и по рукамъ ходили стихи Пушкина; читая ихъ, всякій узнавалъ въ умирающемъ Лукуллѣ Шереметева, а въ жадномъ наслѣдникѣ, крадущемъ дрова и накладывающемъ печати на наслѣдство,—С. С. Уварова.

Второе же составляло появленіе Уварова въ домѣ Фандеръ-Флита и основанная на этихъ посѣщеніяхъ связь съ красавицею-дочерью. Можетъ быть поэтому, а можетъ быть и напрасно, мнѣ показался министръ чѣмъ-то озабоченнымъ и какъ бы разсѣяннымъ. По крайней мѣрѣ рѣчи его, обращенныя ко мнѣ, были несвязны. Не сказавъ мнѣ ни полслова о томъ, почему я, воспитанникъ московскаго университета, объявившій, по его же требованію, о своемъ желаніи имѣть профессуру въ Москвѣ, остался за штатомъ,—министръ началъ хвалить меня, говоря, что слышалъ обо мнѣ съ разныхъ сторонъ хорошіе отзывы. Почему же бы, казалось, ему нельзя было нѣсколько повременить и не отдавать мнѣ назначеннаго мѣста другому? Потомъ Уваровъ началъ бранить студентовъ дерптскаго университета и превозносить профессоровъ.

Впослѣдствіи я узналъ причину и порицанія, и похвалы. Уваровъ, поступивъ на мѣсто кн. Ливена, отправился, едвали не прежде всего, въ Дерптъ, прикинулся другомъ нѣмцевъ, говорилъ, что и университетъ, и старая библіотека, и все въ

Дерптѣ напоминаютъ ему то незабвенное время, когда онъ штудировалъ классиковъ въ геттингенскомъ университетѣ. Вѣроятно, восхищенію его не было бы конца, и онъ съ нимъ такъ и уѣхалъ бы въ С.-Петербургъ, еслибы не приключился ночью того же дня студенческій скандалъ, впрочемъ весьма невиннаго содержанія.

Уваровъ остановился въ квартирѣ, назначенной для попечителя (котораго еще тогда не было), на рынкѣ. Ночью не спалось министру, и на разсвѣтѣ, услышавъ шумъ на улицѣ, онъ вышелъ на балконъ. Въ это время проходило по рынку нѣсколько подгулявшихъ на коммершѣ студентовъ, и двое изъ нихъ, увидѣвши стоящаго на балконѣ господина въ ночной одеждѣ съ лорнетомъ въ рукѣ, вынули ключи отъ дверей своихъ квартиръ, навели ихъ и стали смотрѣть на балконъ черезъ кольцо ключа, замѣнивъ имъ лорнетъ. Это ужасно не понравилось Уварову, полагавшему, что его пріѣздъ и расточаемыя имъ похвалы должны были привлечь къ нему всѣ сердца Dorpateuser'овъ.

Вотъ и причина, почему Уварову не нравились именно студенты.

А теперь вотъ и причина, почему онъ такъ возлюбилъ профессоровъ.

Этотъ разсказъ сообщилъ мнѣ впослѣдствіи (въ 1838 г.) Мойеръ.

Астрономъ Струве, знаменитый не по однимъ своимъ наблюденіямъ и открытіямъ въ области астрономіи, но и своими необыкновенно чуткими житейскими способностями, хлопоталъ въ началѣ министерства Уварова объ обсерваторіи въ Пулковѣ. Надо было, во что бы то ни стало, расположить Уварова въ свою пользу. Струве воспользовался для этого пріѣздомъ министра въ Дерптъ. Уваровъ посѣтилъ утромъ, по приглашенію Струве, дерптскую обсерваторію. Главнымъ дѣломъ былъ, конечно, знаменитый въ то время рефракторъ дерптской обсерваторіи.

— „Къ сожалѣнію,—говоритъ ему Струве,—все это время стоитъ погода плохая, и потому я не осмѣлился утруждать васъ посмотрѣть въ нашъ рефракторъ ночью; теперь же взглянуть въ него можно развѣ только для того, чтобы составить себѣ

понятіе о чрезвычайной чувствительности инструмента къ малѣйшему движенію“.

Уваровъ остановился и смотритъ.

— Позвольте, однако-же,—говоритъ онъ:—я что-то вижу; мнѣ кажется, звѣзду.

— „Не можетъ быть, Hohe Excellenz!“ —восклицаетъ Струве.

— Да, вотъ, посмотрите сами,—возражаетъ Уваровъ.

Струве, въ свою очередь, смотритъ, молчитъ, еще смотритъ, и, принявъ изумленный и восторженный видъ, громко взываетъ:

— „Позвольте принести вамъ мое поздравленіе, Hohe Excellenz: вы сдѣлали открытіе. Необыкновенно, непостижимо, какъ это случилось, что вамъ суждено было увидѣть въ первый разъ одну изъ неизвѣстныхъ еще неподвижныхъ звѣздъ; отнынѣ она будетъ включена въ списокъ ново-открытыхъ неподвижныхъ звѣздъ“.

И въ этотъ же вечеръ, въ собраніи профессоровъ на ученомъ вечерѣ, куда былъ приглашенъ и министръ, Струве читалъ о новооткрытой его высокопревосходительствомъ неподвижной новой звѣздѣ.

Не знаю только, окрестилъ ли ее Струве именемъ Уварова, какъ окрещенъ этимъ именемъ одинъ минералъ (уваровикъ), или новая звѣзда осталась безъимянною. Уваровъ, конечно, былъ на седьмомъ небѣ, и не воображалъ, да и не хотѣлъ воображать, что онъ вовсе не былъ случайнымъ открывателемъ, а звѣзда была уже прежде подмѣчена тонкимъ дипломатическимъ геніемъ Струве.

Послѣ разныхъ прелюдій о необходимости исправленія нравственнаго быта дерптскихъ студентовъ,—оказавшихся въ послѣднее время образцами нравственности для другихъ русскихъ студентовъ,—Уваровъ, ни съ того, ни съ сего, обращается ко мнѣ съ слѣдующей напутственной рѣчью:

— „Знайте, молодой человѣкъ, при вступленіи вашемъ на новое поприще, что министръ народнаго просвѣщенія въ Россіи — не я, не Серг. Сем. Уваровъ, а императоръ Николай Павловичъ. Знайте это и помните. До свиданія!

Вотъ тебѣ на! не онъ, а государь—министръ народнаго просвѣщенія! Что бы это значило? Къ чему это онъ мнѣ такую штуку всучилъ?

Однако-же, сидѣть сложа руки въ С.-Петербургѣ скучно, а придется не мало сидѣть у моря и ждать погоды,—и я отправляюсь посѣщать петербургскіе госпитали.

Всего болѣе я слыхалъ объ Обуховской больницѣ.

Беру Ваньку и ѣду туда.

Вдругъ, проѣзжая по Сѣнной площади, чувствую, что кто-то меня хватилъ преисправно кулакомъ по головѣ, то-есть по моей шаровидной зеленой шапкѣ à la Rust. Я былъ закутанъ въ поднятый воротникъ енотовой шубы Леви. Невольно вскрикиваю и оглядываюсь; вижу уже вдали бѣгущаго по троттуару мастерового парня въ затрепанномъ халатѣ и безъ шапки. На бѣгу,—я видѣлъ,—онъ, подпрыгивая, дѣлалъ разныя трели ногами и задѣвалъ прохожихъ. Что же—спрашиваю себя—заставило этого сорванца ударить по головѣ, и довольно внушительно, проѣзжаго незнакомца? А то же самое, я полагаю, что заставило нѣкогда баронета Виллье погладить ладонью лоснившуюся на солнцѣ и кругло выпяченную плѣшь д-ра, статскаго совѣтника Леви. Внѣшній видъ, круглость, цвѣтъ, блескъ, т. п., привлекли и обратили на себя глазъ баронета, а отъ глаза непроизвольно и безсознательно перешло рефлективное движеніе и на руку. А такъ какъ „рукамъ воли не давай“, „oculis, non manibus“ (глазами, а не руками) Лодера и „руки прочь“ Гладстона—были неизвѣстными для баронета правилами нравственнаго кодекса, то рука, побуждаемая рефлексомъ, и дотронулась до соблазнительной плѣши.

То же самое было причиною и нанесеннаго мнѣ удара кулакомъ. Выбѣжавшій изъ мастерской парень, какъ вырвавшійся изъ клѣтки звѣрь, пришедъ въ соприкосновеніе съ мнимою свободою, собственно же почувствовавъ на себѣ дѣйствіе одной только уличной (и то петербургской) свободы, заржалъ, запрыгалъ и, завидѣвъ на бѣгу шаровидный зеленый куполъ на головѣ проѣзжаго, непроизвольно и рефлективно сжалъ кулакъ и ударилъ имъ по куполу. „Не давай воли рукамъ“—мастеровому, конечно, было такъ же мало извѣстно, какъ и баронету.

Въ Обуховской больницѣ я радушно былъ встрѣченъ ординаторами, особливо же бывшими студентами дерптскаго университета. Изъ нихъ докторъ Гете, уже довольно извѣстный прак-

тикъ того времени, занимавшійся въ хирургическомъ отдѣленіи госпиталя, сблизился со мною, познакомилъ меня съ главнымъ докторомъ Карломъ Антоновичемъ Майеромъ (семитическаго происхожденія), а потомъ и съ главнымъ консультантомъ госпиталя, Н. Ф. Арендтомъ.

Съ каждымъ днемъ—новыя знакомства съ врачами и профессорами. Во-первыхъ, ex officio, надо было познакомиться съ Ив. Тим. Спасскимъ; онъ уже игралъ нѣкоторую роль у министра Уварова, впослѣдствіи же былъ членомъ отъ министерства по медицинской части въ медицинскомъ совѣтѣ. Добрѣйшая душа, расположенный ко мнѣ и цѣнившій меня, Иванъ Тимоѳеевичъ не имѣлъ твердыхъ убѣжденій и былъ притомъ разсѣянъ. О немъ придется мнѣ еще говорить впослѣдствіи.

Медицина и хирургія того времени въ С.-Петербургѣ имѣли весьма дѣльныхъ представителей: Буш, Арендтъ, Саломонъ, Буяльскій, Зейдлицъ, Раухъ, Спасскій пользовались заслуженною репутаціею и въ публикѣ, и между врачами того времени.

Конечно, въ полномъ смыслѣ научными врачами, то-есть знакомыми съ современною медицинскою литературою и современнымъ направленіемъ науки, были только немногіе изъ нихъ. Но въ то время слѣдить за современнымъ направленіемъ науки не такъ легко было, не только у насъ, но и на Западѣ. Я уже сказалъ объ отсталости медицины этого времени въ самой Германіи. Поэтому я ужасно удивился, когда узналъ, что въ С.-Петербургъ приглашенъ былъ ко двору ея императорскаго высочества Елены Павловны профессоръ (одного небольшого университета), докторъ Мандтъ.

Надо не забыть того, что годъ тому назадъ профессоръ Шлеммъ въ Берлинѣ привелъ на мою квартиру въ Dorotheen Strasse неизвѣстнаго мнѣ высокаго и худощаваго господина и, назвавъ его профессоромъ докторомъ Мандтомъ, объявилъ мнѣ, что этотъ господинъ, получивъ приглашеніе ѣхать въ Россію, желаетъ познакомиться со мною и проситъ меня сообщить ему нѣкоторыя свѣденія о Россіи.

У меня въ это время былъ какой-то анатомическій препаратъ подъ руками; я извинился предъ незнакомцемъ, вымылъ руки и предложилъ себя къ услугамъ. Мандтъ вынулъ запис-

ную книжку, и первый его вопросъ ко мнѣ былъ о чинахъ въ Россіи. Я могъ ему перечислить классное значеніе только нѣкоторыхъ чиновъ. Мандтъ записалъ.

— „Мнѣ предлагаютъ чинъ Hofrath'a,—спросилъ онъ:—имѣетъ ли онъ значеніе въ Россіи?“

— Какъ вамъ сказать?—отвѣчалъ я:—конечно, статскій совѣтникъ выше и почета больше.

— „Ну, а касательно содержанія?“

— Жизнь въ Петербургѣ мнѣ совсѣмъ незнакома, и я ничего не могу вамъ сообщить положительнаго объ этомъ дѣлѣ.

Потомъ, разсказавъ мнѣ нѣсколько о своей хирургической дѣятельности въ Грейфсвальдѣ, Мандтъ раскланялся и ушелъ.

Не прошло и года съ тѣхъ поръ, какъ я неожиданно для меня встрѣчаю Мандта за обѣдомъ у аптекаря Штрауха (брата доктора Штрауха). Мандтъ познакомилъ меня съ своею красивою женою, бывъ уже объявленъ лейбъ-медикомъ ея высочества великой княгини Елены Павловны, и за обѣдомъ, сидя возлѣ меня, имѣлъ безстыдство сказать во всеуслышаніе, что врачи въ Россіи гоняются за чинами; о своей записной книжечкѣ онъ уже забылъ, о нашемъ знакомствѣ въ Dorotheen Strasse — ни слова.

— „Представьте,—разглагольствовалъ онъ за обѣдомъ:—я сегодня пріѣзжаю къ доктору Арендту, спрашиваю у швейцара, дома ли докторъ, а онъ мнѣ въ отвѣтъ: „генерала нѣтъ дома“. Ха, ха, ха, генерала!“

Скоро послѣ того о подвигахъ Мандта узналъ Петербургъ. Еще не разъ придется говорить и объ этой, впрочемъ, недюжинной личности.

Н. Ф. Арендтъ былъ человѣкъ другого разбора. Образованіе Арендта было весьма недалекое. Онъ, кромѣ медико-хирургической академіи еще Павловскихъ временъ, не посѣщалъ никакого другого высшаго научно-медицинскаго учрежденія; почтительный, но, какъ нѣмецъ (собственно, финляндецъ), нелюбимый вздорнымъ баронетомъ Виллье, молодой Арендтъ прокладывалъ самъ себѣ дорогу на военно-медицинскомъ поприщѣ, во времена Наполеоновскихъ войнъ въ Россіи, 1812—1814 гг. Въ молодости и среднихъ лѣтахъ онъ былъ предпріимчивымъ и смѣлымъ хирургомъ; но искусство его, не основанное на

прочномъ анатомическомъ базисѣ, не выдерживало борьбы съ временемъ.

Стремленія ненаучнаго свойства еще задолго до старости взяли верхъ, и во время моего пребыванія въ Петербургѣ Н. Ф. Арендта уже никакъ нельзя было назвать научнымъ дѣятелемъ. Это былъ очень занятый практикъ, дѣйствовавшій на-лету и любимый за доброту души. Что касается до меня, то я, ни тогда, ни послѣ, ни разу не слыхалъ отъ Н. Ф. Арендта научно-дѣльнаго совѣта при постели больного.

По всему видно было, что Арендтъ не получилъ серьёзнаго научнаго образованія, и мысль всегда оставалась на поверхности. Иной разъ, видя его дѣйствія при постели больныхъ и выслушавъ нѣсколько его мнѣній, невольно приходило въ голову, что Арендтъ есть представитель врачебнаго легкомыслія.

Когда я былъ ему представленъ въ первый разъ въ Обуховской больницѣ, то онъ пользовался еще довѣріемъ государя какъ лейбъ-медикъ.

Извѣстно было, что этого довѣрія Арендтъ достигъ кровопусканіемъ, но недостаточно былъ хитеръ и пронырливъ, чтобы удержать до конца нравственную власть въ своихъ рукахъ. Мандтъ показалъ всѣмъ лейбъ-медикамъ, какъ они должны поступать, чтобы имѣть прочное и мощное вліяніе на коронованныхъ паціентовъ и ихъ царедворцевъ...

Въ Петербургѣ, какъ и въ Ригѣ, госпитальные врачи, при первомъ же нашемъ знакомствѣ, изъявили желаніе выслушать у меня курсъ хирургической анатоміи. Наука эта, у насъ и въ Германіи, была еще такъ нова, что многіе изъ врачей не знали даже ея названія.

— Что это такое, хирургическая анатомія?—спрашиваетъ одинъ старый профессоръ медико-хирургической академіи своего коллегу:—никогда-съ не слыхалъ-съ, не знаю-съ.

Но въ русскомъ царствѣ нельзя, бывало, прочесть и курса анатоміи при госпиталѣ, не доведя объ этомъ до свѣденія главы государства, и Н. Ф. Арендтъ взялся испросить разрѣшенія государя.

Оно было дано съ тѣмъ, чтобы употреблять для демонстраціи трупы только тѣхъ больныхъ, къ которымъ при жизни не

являлись никакіе родственники въ больницу. Это, конечно, разумѣлось само собою.

Лекціи мои продолжались недѣль шесть.

Слушателями были, кромѣ врачей Обуховской больницы, самъ Н. Ф. Арендтъ, не пропускавшій, къ моему удивленію, буквально ни одной лекціи, профессоръ медико-хирургической академіи Саломонъ, многіе практики-врачи. Обстановка была самая жалкая.

Покойницкая Обуховской больницы состояла изъ одной небольшой комнаты, плохо вентилированной и довольно грязной. Освѣщеніе состояло изъ нѣсколькихъ сальныхъ свѣчъ. Слушателей набиралось всегда болѣе двадцати. Я днемъ изготовлялъ препараты, обыкновенно на нѣсколькихъ трупахъ, демонстрировалъ на нихъ положеніе частей какой-либо области и тутъ же дѣлалъ на другомъ трупѣ всѣ операціи, производящіяся на этой области, съ соблюденіемъ требуемыхъ хирургическою анатоміею правилъ. Этотъ наглядный способъ особливо заинтересовалъ слушателей; онъ для всѣхъ нихъ былъ новъ, хотя почти всѣ слушали курсы и въ заграничныхъ университетахъ.

Изъ чистокровныхъ русскихъ врачей никто не являлся на мой курсъ. И я читалъ по-нѣмецки. Да въ то время въ с.-петербургскихъ больницахъ между ординаторами рѣдко встрѣчался русскій: всѣ были или петербургскіе, или остзейскіе нѣмцы. Да и откуда было взяться русскимъ? Русскіе студенты медико-хирургической академіи того времени (единственнаго, какъ и теперь, высшаго учебно-медицинскаго учрежденія) были почти всѣ казенно-коштные, бѣдняки и поповичи; окончивъ курсъ, они поступали тотчасъ на службу, въ полки, уѣздные города, и т. п. Въ Петербургѣ же оставались только сыновья петербургскихъ обывателей, а изъ петербургскихъ обывателей только нѣмцы посылали сыновей своихъ учиться въ академію, и это были дѣти докторовъ, чиновниковъ, учителей, ремесленниковъ, вообще изъ болѣе культурныхъ классовъ.

И между практиками-врачами въ С.-Петербургѣ того времени нельзя было насчитать болѣе дюжины извѣстныхъ русскихъ именъ, включая сюда и имена нѣкоторыхъ профессоровъ-практиковъ медико-хирургической академіи.

Время мое все уходило на посѣщеніе госпиталей и при-

готовленія къ лекціямъ. Не мало операцій въ госпиталяхъ Обуховскомъ и Маріи Магдалины было сдѣлано мною въ это время, и я, — какъ это всегда случается съ молодыми хирургами, — былъ слишкомъ ревностнымъ операторомъ, чтобы отказываться отъ сомнительныхъ и безнадежныхъ случаевъ. Меня, какъ и всякаго молодого оператора, занималъ не столько самъ случай, то-есть самъ больной, сколько актъ операціи, — актъ, несомнѣнно, дѣятельнаго и энергичнаго пособія, но взятый слишкомъ отдѣльно отъ слѣдствій.

Мнѣ казалось въ то время несправедливымъ и вреднымъ для научнаго прогресса судить о достоинствѣ и значеніи операціи и хирурговъ по числу счастливыхъ, благополучныхъ исходовъ и счастливыхъ результатовъ.

Что дѣлать, когда сужденіямъ молодыхъ людей суждено быть иными и отличными отъ сужденій зрѣлаго возраста и стариковъ!

Несмотря на усиленную дѣятельность съ ранняго утра до поздней ночи, меня не тяготила эта жизнь; мнѣ жилось привольно въ своемъ элементѣ. Цѣлое утро въ госпиталяхъ — операціи и перевязки оперированныхъ, потомъ въ покойницкой Обуховской больницы — изготовленіе препаратовъ для вечернихъ лекцій.

Лишь только темнѣло (въ Петербургѣ зимою между 3 — 4 час.), бѣгу въ трактиръ на углу Сѣнной и ѣмъ пироги съ подливкой. Вечеромъ, въ 7 — опять въ покойницкую и тамъ до 9-ти; оттуда позовутъ куда-нибудь на чай, и тамъ до 12-ти. — Такъ изо дня въ день.

Однажды кто-то изъ докторовъ (кажется, Задлеръ) пригласилъ меня посѣтить большой сухопутный военный госпиталь на Выборгской. И госпиталь, и, въ особенности, завѣдывавшій имъ главный докторъ представились мнѣ чѣмъ-то фантастическимъ, изъ „Тысячи и одной ночи“.

Старое зданіе госпиталя показалось мнѣ цѣлымъ городомъ; тутъ были и огромныя каменныя постройки, и деревянные дома, и домики, занимавшіе цѣлыя улицы, и все это было переполнено больными, фельдшерами, служителями; по корридорамъ каменныхъ зданій и изъ одного дома въ другой шмыгалъ безпрестанно этотъ многочисленный персоналъ, носилъ, приносилъ, переносилъ, шумѣлъ, бранился.

Но главный curiosum былъ самъ главный докторъ. Откуда у насъ выкопали такое допотопное,—нѣтъ, не допотопное, а просто невозможное животное, какимъ представлялся мнѣ докторъ Флоріо,—едва-ли кто рѣшитъ путемъ историческаго дознанія.

Мнѣ извѣстно было только, что Флоріо, родомъ итальянецъ, принятъ на русскую службу, вѣроятно, еще въ 1812—1813 гг. любимецъ баронета Виллье, дѣйствительный статскій совѣтникъ и кавалеръ.

Постороннія лица, входившія во время докторскаго визита въ одну изъ огромныхъ палатъ сухопутнаго госпиталя, нерѣдко могли быть свидѣтелями слѣдующей сцены.

Между рядами коекъ съ больными идетъ задомъ напередъ фельдшеръ, немного останавливается предъ каждою койкою и скороговоркою, на-распѣвъ, рапортуетъ названіе болѣзни и лекарство, въ такомъ родѣ, напримѣръ:

Pleuritis—Tartarus emeticus gr. jjj, infus... Unc. sex; febris cattarrhalis—Sles ammoniaci drach. unam, decocti altheæ unc. sex, и т. п.

Обращенный лицомъ къ лицу фельдшера (идущему, какъ сказано, задомъ напередъ), идетъ главный докторъ; онъ держитъ въ рукѣ палку; на палкѣ надѣта его форменная фуражка; докторъ вертитъ палкою, съ которою вертится и фуражка, ногою притопываетъ въ тактъ и припѣваетъ громкимъ голосомъ съ итальянскимъ акцентомъ: „Сѣю, вѣю, Катерина! Сѣю, вѣю, Катерина!“

При каждой встрѣчѣ съ ординаторами и съ посторонними, докторъ пускается въ разсказы разныхъ сальностей на ломаномъ русскомъ языкѣ, съ постояннымъ повтореніемъ крѣпкаго русскаго словца.

Къ намъ, новымъ посѣтителямъ, докторъ Флоріо былъ, по своему, очень любезенъ и безпрестанно старался выказать свои научныя знанія. „C'est une fièvre, une inflammation de la membrane gastrointestinale“. Это „inflammation de la membrane gastrointestinale“, долженствовавшее свидѣтельствовать о принадлежности доктора Флоріо къ бруссэистамъ, повторялось на каждомъ шагу, и на каждомъ шагу слышалась ордиnація: „venaesectio... ad libram unam, десять піявицъ“.

Проходитъ мимо старикъ-ординаторъ, въ мундирѣ и безъ носа.

— „Остановитесь!—кричитъ Флоріо:—вотъ, рекомендую вамъ, господа,—обращается онъ къ намъ:—статскій совѣтникъ Сим.....; думаетъ еще жениться и увѣренъ, что въ первую ночи исполнитъ свои обязанности; но это онъ, увѣряю васъ, напрасно такъ думаетъ. А! кстати, вотъ и другой, какъ видите, молодой, красивый человѣкъ, господинъ К....; этотъ ничего лучшаго не знаетъ, какъ проводить все время въ Большой Мѣщанской съ прекраснымъ поломъ“.

И все это скороговоркою на ломаномъ русскомъ языкѣ.

Приходитъ въ женское отдѣленіе Флоріо, подходитъ прямо къ одной женщинѣ, солдаткѣ.

— „Что, еще не выздоровѣла? а?“—и затѣмъ, обращаясь къ палатному дежурному (унтеръ-офицеру):—„а зачѣмъ ты съ нею ночью не спишь, а?... Сейчасъ выздоровѣетъ!“

Ничего подобнаго я, вѣрно, не увижу никогда и видѣлъ только разъ въ жизни; поэтому и считаю необходимымъ сохранить воспоминаніе о такомъ чудѣ-юдѣ въ моемъ дневникѣ.

Петербургскій климатъ и мои занятія не преминули-таки повліять на мой организмъ. И я опять занемогъ, но, слава Богу, другою, не рижскою, болѣзнью и не надолго. Это была навѣрное скрытая перемежающаяся лихорадка, продержавшая меня дня четыре въ постели.

И. Т. Спасскій, навѣщавшій меня съ другими врачами во время болѣзни, извѣстилъ меня отъ министерства, что чрезъ недѣлю назначено мнѣ чтеніе пробной лекціи въ академіи наукъ; я долженъ былъ самъ выбрать тэму. Я выбралъ ринопластику; купилъ у парикмахера старый болванъ изъ papier maché, отрѣзалъ у него носъ, обтянулъ лобъ кускомъ старой резиновой галоши и отправился съ этимъ сокровищемъ въ академическую залу, чтобы демонстрировать ринопластику по индѣйскому способу, модифицированному Диффенбахомъ.

Искусственный носъ былъ выкроенъ мною изъ резины на лбу и пришитъ lege artis. Я цитировалъ мои случаи въ Ригѣ и Дерптѣ, и ссылался на Диффенбаха.

Впечатлѣніе, произведенное моею лекціею на молодыхъ и

старыхъ посѣтителей, было, повидимому, различное. Молодые всѣ отзывались съ большимъ сочувствіемъ и похвалою; нѣкоторые же изъ старыхъ отнеслись, какъ мнѣ казалось, недовѣрчиво къ сообщеннымъ мною фактамъ.

Рѣшенія изъ Дерпта о выборѣ меня въ совѣтѣ все еще не было. Я началъ терять терпѣніе и написалъ къ Мойеру. Мойеръ долго не отвѣчалъ, а потомъ съ обычною своею флегмою объявилъ мнѣ, что „Gutes Ding will Weile haben“, и извѣщалъ, что скоро самъ пріѣдетъ въ Петербургъ. Онъ, дѣйствительно, вскорѣ пріѣхалъ, но этимъ дѣло не ускорилось.

Уваровымъ Мойеръ остался очень недоволенъ, и, странно, почему-то ему болѣе пришелся по сердцу Ширинскій-Шихматовъ, тогдашній директоръ департамента министерства народнаго просвѣщенія.

Впослѣдствіи я слышалъ, что и государь Николай Павловичъ былъ очень доволенъ направленіемъ Ширинскаго-Шихматова и за это сдѣлалъ его министромъ.

И Мойеръ сказалъ мнѣ однажды въ Петербургѣ, что Уваровъ „ist ein Katzen-Schvanz, mann kann sich nicht auf ihn verlassen“ (льстецъ, на него нельзя положиться); а про Ширинскаго сказалъ: „das ist ein positiver Mann, er ist reel“ (это человѣкъ положительный, человѣкъ дѣла).

Прошло еще два мѣсяца, и я началъ уже бомбардировать Мойера письмами, объявивъ ему, наконецъ, что рѣшаюсь принять каѳедру въ Харьковѣ, предложенную мнѣ черезъ Аренлта попечителемъ, гр. Головкинымъ.

Около этого времени (это было на масляницѣ) разыгралась въ Петербургѣ извѣстная катастрофа съ балаганомъ Лемана; я побѣжалъ въ Обуховскую больницу, куда свезли до 150 обгорѣлыхъ, большею частію, уже труповъ. Изъ нихъ сдѣлали выставку въ покойницкой и на дворѣ госпиталя, для родственниковъ погибшихъ. Привезенные въ больницу живыми были въ страшномъ видѣ. Ни прежде, ни послѣ мнѣ не приходилось видѣть у живыхъ еще людей ожоги, достигшіе такой степени разрушенія. Нѣкоторые, съ совершенно обуглившеюся отъ огня головою, жили еще по цѣлымъ недѣлямъ. У нѣкоторыхъ вся голова до самой шеи представляла громадный кусокъ угля; отъ

него можно было отнимать цѣлые пласты обугленныхъ тканей, и странно было слышать голосъ и произносимыя слова, выходившія изъ куска угля.

Между тѣмъ до меня доходили слухи, что выборъ меня въ совѣтѣ былъ бурею въ стаканѣ воды.

Противъ меня возстали преимущественно теологи. Говорили, что дерптскіе богословы открыли какой-то законъ перваго основателя дерптскаго университета, Густава-Адольфа шведскаго, по которому одни только протестанты могли быть профессорами университета.

Существовалъ ли такой законъ, или нѣтъ, Богъ его знаетъ; но при Николаѣ Павловичѣ на него нельзя было ссылаться. Это понимали, вѣроятно, не хуже другихъ и дерптскіе богословы.

Тѣмъ не менѣе, однако-же, яблоко раздора было кинуто, и совѣтскіе споры длились до конца февраля 1836 г. Наконецъ, въ мартѣ я получилъ извѣстіе о моемъ избраніи въ экстраординарные профессоры.

Матушку и сестеръ я не рѣшался перевезти изъ Москвы въ Дерптъ. Такой переходъ—мнѣ казалось—былъ бы для нихъ впослѣдствіи непріятенъ. И языкъ, и нравы, и вся обстановка были слишкомъ отличны, а мать и сестры слишкомъ стары, а главное, слишкомъ москвички, чтобы привыкнуть и освоиться.

Святую 1836 г. я уже встрѣчалъ въ Дерптѣ. Незадолго до моего прибытія прибылъ туда и вновь назначенный изъ Петербурга попечитель, гвардейскій генералъ-маіоръ Крафтштремъ. Я предсталъ предъ этого сына Марса и былъ имъ очень любезно принятъ. Онъ привѣтствовалъ меня, какъ перваго русскаго, избраннаго университетомъ въ профессоры чисто научнаго предмета. До сихъ поръ русскіе профессоры въ Дерптѣ избираемы были только для одного русскаго языка, и то за неимѣніемъ нѣмцевъ, знакомыхъ хорошо съ русскою литературою.

На этомъ указаніи, что я первый изъ русскихъ и что этотъ первый примѣръ совпадаетъ съ попечительствомъ его, Крафтштрема, все это и было предметомъ нашего разговора

въ теченіе добрыхъ получаса. Не надо было болѣе получаса, чтобы узнать, какого духа новый дерптскій попечитель...

Фронтовикъ до мозга костей, Крафтштремъ, вообще какъ попечитель, оказался не худымъ человѣкомъ; могъ бы быть гораздо хуже, поступивъ съ сѣдла на попечительство.

Онъ былъ поэтому и предметомъ постоянныхъ насмѣшекъ, въ видѣ юмористическихъ анекдотовъ, изобрѣтавшихся на его счетъ студентами и отчасти и профессорами. Міровоззрѣніе Крафтштрема было, дѣйствительно, невозможное. Наука въ его воззрѣніи была трехъ сортовъ: полезная до извѣстной степени, вредная,—если не унять, то пожалуй и очень вредная,—и годная, и даже необходимая, для препровожденія времени и для забавы людей со средствами.

Вотъ какъ однажды Крафтштремъ отнесся, съ-глазу-на-глазъ, объ астрономіи. Это было по дорогѣ изъ Дерпта въ Петербургъ; Крафтштремъ ѣхалъ вмѣстѣ съ профессоромъ русскаго языка Росбергомъ, къ которому имѣлъ особое довѣріе въ то время. Лунная, прекрасная ночь; Росбергъ смотритъ на луну, припоминаетъ видѣнное имъ чрезъ рефракторъ въ дерптской обсерваторіи и начинаетъ объяснять Крафтштрему видѣнныя имъ горы и пропасти на лунѣ.

Слушалъ, слушалъ его Крафтштремъ, да потомъ и говоритъ:

— Послушайте, любезный другъ: неужели вы вѣрите всѣмъ этимъ бреднямъ?

— „Какъ!—восклицаетъ удивленный Росбергъ:—да вѣдь это все неоспоримые факты, дознанные наукою!“

— Полноте, пожалуйста,—успокоиваетъ Крафтштремъ,—какіе тамъ факты, когда никто еще не бывалъ на небѣ, и никто поэтому ничего и знать не можетъ.

Росбергъ, видя, что съ научной стороны Крафтштрема не проймешь, началъ съ другого бока.

— „Да какъ же это, ваше превосходительство: сталъ бы самъ государь такъ заботиться о постройкѣ пулковской обсерваторіи и отпускать такія громадныя суммы, еслибы онъ не былъ увѣренъ, что астрономы дѣйствительно сдѣлали чрезвычайно важныя открытія?“

— Э, любезнѣйшій!—замѣтилъ на это Крафтштремъ:—развѣ

вы не знаете, что у государей, какъ и у насъ всѣхъ, есть свои забавы? У насъ—небольшія, по средствамъ, а у царей, конечно, не по нашему, дорогія. Почему же и нашему царю не потѣшить себя громадною, дорого стоющею обсерваторіею?

Обстановка моя въ Дерптѣ продолжалась недолго и обошлась мнѣ дешево. Рублей 200 за квартиру въ 4 комнаты въ годъ и по 10—12 рублей въ мѣсяцъ за столъ. Можно было за столъ платить и дороже, и я это дѣлалъ, но за увеличенную плату увеличивалось только количество отпускаемой пищи, а не качество. Для прислуги явилась ко мнѣ опять моя добрая латышка Лена, прослужившая мнѣ цѣлыхъ пять лѣтъ.

Вотъ я, наконецъ, профессоръ хирургіи и теоретической, и оперативной, и клинической. Одинъ, нѣтъ другого.

Это значило, что я одинъ долженъ былъ: 1) держать клинику и поликлинику, по малой мѣрѣ, $2^1/_2$—3 часа въ день; 2) читать полный курсъ теоретической хирургіи 1 часъ въ день; 3) оперативную хирургію и упражненія на трупахъ—1 часъ въ день; 4) офтальмологію и глазную клинику—1 часъ въ день; итого—6 часовъ въ день.

Но шести часовъ почти никогда не хватало; клиника и поликлиника брали гораздо болѣе времени, и приходилось 8 часовъ въ день. Положивъ столько же часовъ на отдыхъ, оставалось еще отъ сутокъ 8 часовъ, и вотъ они-то, всѣ эти 8 часовъ, и употреблялись на приготовленія къ лекціямъ, на эксперименты надъ животными, на анатомическія изслѣдованія для задуманной мною монографіи и, наконецъ, на небольшую хирургическую практику въ городѣ.

Въ теченіе пяти лѣтъ моей профессуры въ Дерптѣ я издалъ:

1) Хирургическую анатомію артеріальныхъ стволовъ и фасцій (на латинскомъ и нѣмецкомъ).

2) Два тома клиническихъ анналовъ (на нѣмецкомъ).

3) Монографію о перерѣзаніи ахиллесова сухожилія (на нѣмецкомъ).

И сверхъ этого—цѣлый рядъ опытовъ надъ живыми животными, произведенныхъ мною и подъ моимъ руководствомъ; до-

ставилъ матеріалъ для нѣсколькихъ диссертацій, изданныхъ во время моей профессуры, а именно:

1) О скручиваніи артерій.

2) О рапахъ кишекъ.

3) О пересаживаніи животныхъ тканей въ серозныя полости.

4) О вхожденіи воздуха въ венозную систему.

5) Объ ушибахъ и ранахъ головы.

Диссертаціи на послѣднія двѣ тэмы при мнѣ не были еще окончены.

Справедливость требуетъ замѣтить, что все сказанное совершено не въ 5 лѣтъ собственно, а въ 4 года, потому что я цѣлыхъ 9 мѣсяцевъ оставался (въ 1837—1838 гг.) въ Парижѣ и потомъ въ Москвѣ, и цѣлыхъ 3 мѣсяца проболтался, такъ что не могъ ничѣмъ серьёзно заняться.

Итакъ, неоспоримо, существуютъ доказательства моей научной дѣятельности съ самаго же начала вступленія моего на учебно-практическое поприще.

Но другое дѣло—вопросъ: былъ ли я тогда дѣйствительно тѣмъ, кѣмъ казался, или, вѣрнѣе, кѣмъ долженъ былъ быть, то-есть, былъ ли я настоящимъ, дѣйствительнымъ — не кажущимся—профессоромъ хирургіи?

У насъ, въ Россіи, кандидатами на каѳедру бываютъ только два сорта ученыхъ: во-первыхъ, заслуженные профессоры, то-есть, большею частію, старые или очень пожилые люди; во-вторыхъ, молодые люди, только-что окончившіе курсъ наукъ. Людей, подготовлявшихся довольно продолжительное время къ занятію каѳедръ, у насъ или вовсе нѣтъ, или они такъ рѣдки, что почти никогда не являются конкуррентами на занятіе каѳедръ.

О первомъ сортѣ кандидатовъ на каѳедры нечего распространяться; изъ 10-ти случаевъ въ 9-ти заслуженный профессоръ, остающійся на новое 5-тилѣтіе, дѣлаетъ это вовсе не изъ любви и не изъ привязанности къ наукѣ, а для полученія увеличеннаго вдвое оклада. Другой же сортъ кандидатовъ, къ которому принадлежалъ и я грѣшный, при вступленіи моемъ на каѳедру хирургіи въ Дерптѣ, по истинѣ не соотвѣтствуетъ, да и не можетъ соотвѣтствовать, своему призванію.

Откуда могла взяться та опытность, которая необходима для клиническаго учителя хирургіи? Правда, я за 4 года до вступленія на каѳедру перешелъ за хирургическій Рубиконъ, сдѣлавъ мои двѣ первыя операціи въ клиникѣ Мойера: вылущеніе руки и перевязку бедряной артеріи (въ одно и то же время). Но ловко сдѣланная хирургическая операція еще не даетъ права на званіе опытнаго клинициста, которымъ долженъ быть каждый профессоръ хирургіи. Мало того, что молодой человѣкъ, какъ бы онъ даровитъ ни былъ, не можетъ имѣть достаточныхъ знаній, ему еще труднѣе пріобрѣсти добросовѣстную опытность.

Молодость, и именно даровитая, еще болѣе, чѣмъ посредственная, заносчива, самолюбива, а еще чаще—тщеславна.

Она, выступая на практическое поприще жизни, заботится всего болѣе о своей репутаціи,—и это естественно и даже похвально,—но она заботится не такъ, какъ слѣдуетъ: не хлопочетъ пріобрѣсти имя и почетъ внутренними своими, настоящими достоинствами, а только внѣшнимъ образомъ, лишь бы хвалили и удивлялись, а за что́—это не главное.

Вотъ этотъ зудъ похвалы и тщеславія и портитъ все въ молодости.

Служеніе наукѣ, вообще всякой—не иное что́, какъ служеніе истинѣ.

Но въ наукахъ прикладныхъ служить истинѣ не такъ легко.

Тутъ доступъ къ правдѣ затрудненъ (для насъ) не одними только научными препятствіями, то-есть такими, которыя могутъ быть и удалены съ помощью науки. Нѣтъ, въ прикладной наукѣ, сверхъ этихъ препятствій, человѣческія страсти, предразсудки и слабости съ разныхъ сторонъ вліяютъ на доступъ къ истинѣ и дѣлаютъ ее нерѣдко и вовсе недоступною.

Бороться за истину съ предразсудками, страстями и слабостями людей невозможно. Можно только лавировать; но не менѣе трудно бороться и съ собственными страстями и слабостями, если мы въ юности, съ самаго дѣтства, не развили въ себѣ способности владѣть собою, а владѣть собою иначе нельзя, какъ чрезъ познаніе самого себя.

Итакъ, для учителя такой прикладной науки, какъ медицина, имѣющей дѣло прямо со всѣми аттрибутами человѣче-

ской натуры (какъ своего собственнаго, такъ и другого, чужого *я*), для учителя—говорю—такой науки необходима, кромѣ научныхъ свѣденій и опытности, еще добросовѣстность, пріобрѣтаемая только труднымъ искусствомъ самосознанія, самообладанія и знанія человѣческой натуры.

Дѣло ли это молодости? „Chirurgus debet esse adolescens“ (хирургомъ долженъ быть взрослый), по словамъ Цельза.

Конечно, старость, притупляющая чувства, дѣлаетъ хирурга неспособнымъ.

И ничто не препятствуетъ молодымъ людямъ быть хирургами, но не учителями хирургіи. Это не одно и то же, и напрасно думать, что всякій ловкій и искусный хирургъ можетъ быть и хорошимъ наставникомъ хирургіи.

Есть время для любви;
Для мудрости—другое.

Какъ самоѣдъ, я не могъ не видѣть и не чувствовать, какъ много мнѣ недостаетъ знанія, опытности и самообладанія, чтобы быть настоящимъ наставникомъ хирургіи. Я не былъ такъ недобросовѣстливъ, чтобы не понимать, какую громадную отвѣтственность предъ обществомъ и предъ самимъ собою (Бога и Христа у меня тогда не было) принимаетъ на себя тотъ, кто, получивъ, съ дипломомъ врача, нѣкоторое право на жизнь и смерть другого, получаетъ еще и обязанность передавать это право другимъ.

Но молодость легко устраняетъ нравственныя затрудненія и миритъ противорѣчія въ себѣ.

Я сознавалъ свои недостатки, но не могъ ихъ сознавать такъ, какъ теперь, когда я пережилъ ихъ и всѣ ихъ слѣдствія.

Да и теперь, анализируя, я сознаюсь, какъ трудно рѣшить, что́ было въ томъ или другомъ случаѣ главнымъ мотивомъ моихъ дѣйствій: суетность или истинное желаніе помочь и облегчить страданіе.

Ахъ, какъ это трудно рѣшить для человѣка, преданнаго своему искусству всею душою, когда вся цѣль этого искусства состоитъ въ леченіи и облегченіи людскихъ страданій!

Какъ ни мало вѣроятенъ успѣхъ операціи, какъ ни опасно для жизни ея производство, если оно васъ интересуетъ, какъ искусство, вы уже не можете совершенно безпристрастно взвѣ-

сить шансы и опредѣлить, что́ вѣроятнѣе въ данномъ случаѣ: успѣхъ или гибель.

И чѣмъ моложе, чѣмъ ревностнѣе дѣятель, чѣмъ болѣе приверженъ онъ къ своему искусству, тѣмъ легче онъ упускаетъ изъ виду цѣль искусства и тѣмъ болѣе расположенъ дѣйствовать искусствомъ для одного искусства.

Да, да, „ne nocerim veritus“ (да не повредимъ сознательно) Галлера, запрещавшее ему—опытнѣйшему анатому и физіологу—дѣлать операціи на живыхъ людяхъ,—это есть выраженіе во-очію нравственнаго чувства.

Каждый хирургъ долженъ бы былъ со своимъ „ne nocerim veritus“ приступать къ операціи.

Но это значило бы подчинить интересъ науки и искусства всецѣло высшему нравственному чувству.

Да, такъ должно бы быть; но тутъ являются другія соображенія, дѣлающія невозможнымъ рѣшеніе вопроса: какъ поступить въ сомнительномъ случаѣ; а такихъ случаевъ не десятки, а сотни.

Старикашка Рюль былъ правъ, когда онъ требовалъ отъ госпитальныхъ хирурговъ, чтобы они не иначе предпринимали операціи, какъ съ согласія больныхъ. Онъ раздосадовалъ меня однажды, явившись въ Обуховскую больницу въ тотъ самый моментъ, когда я приступалъ къ операціи аневризмы, и спросилъ больного, желаетъ ли онъ операціи.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ онъ.

— „Въ такомъ случаѣ, рѣшилъ Рюль,—нельзя оперировать противъ желанія“.

Всѣ мы, молодые врачи, смѣялись надъ пуританствомъ Рюля, называли его козодоемъ, caprimulgus europensis, на котораго онъ былъ дѣйствительно похожъ, hosentrompetr'омъ; говорили также про него, что онъ пріобрѣлъ себѣ почетъ въ петербургскомъ медицинскомъ мірѣ только тѣмъ, что умѣлъ ловко ставить промывательныя;—все это говорилось и болталось только потому, что отживши́й старикъ осмѣливается вмѣшиваться въ дѣла науки и искусства и вредитъ научнымъ интересамъ.

— Такъ,—говорили,—дойдетъ, пожалуй, до того, что у больныхъ въ госпиталяхъ надо будетъ испрашивать согласія на кровопусканіе, ставленіе банокъ и мушекъ.

Но всѣ понимали, однако-же, что никто бы изъ насъ не захотѣлъ, чтобы его безъ спроса подвергли какой-либо опасной процедурѣ, хотя бы и съ цѣлью спасти жизнь. А съ другой стороны, развѣ кто-нибудь былъ бы въ претензіи за то, что спасли ему жизнь безъ его спроса, подвергнувъ его опасной процедурѣ?

Я предвижу, что больной непремѣнно, не нынче—завтра, изойдетъ отъ кровотеченія изъ аневризмы, подвергаю его, не спрося его согласія, операціи—и спасаю.

Такъ я и разсуждалъ, приступая къ операціи, отмѣненной Рюлемъ за то, что не спросилъ сначала согласія больного.

Кто правъ, кто виноватъ?

Въ такихъ случаяхъ только голосъ собственной совѣсти можетъ рѣшить вопросъ для каждаго, и, конечно, для каждаго рѣшитъ по своему.

Рюль былъ несомнѣнно правъ, ибо дѣйствовалъ несомнѣнно по глубокому убѣжденію въ томъ, что никто—больше самого больного,—не имѣетъ права на его здоровье.

Я, можетъ быть, былъ также правъ. Можетъ быть,—говорю,—потому что не знаю теперь, былъ ли я тогда убѣжденъ въ неминуемой опасности для больного потерять жизнь отъ кровотеченія, и притомъ былъ ли я убѣжденъ, что опасность для жизни больного отъ кровотеченія изъ аневризмы превышаетъ опасность отъ операціи.

Да, собственная совѣсть—другого средства нѣтъ—должна рѣшать для истинно-честнаго хирурга вопросъ объ операціи, когда опасность, съ нею соединенная, для жизни кажется ему столько же значительною, какъ и опасность отъ болѣзни, противъ которой направлена операція. Но хирургъ въ этомъ случаѣ не всегда можетъ полагаться и на собственную совѣсть.

Научныя, не имѣющія ничего общаго съ нравственностью, занятія, пристрастіе и любовь къ своему искусству—дѣйствуютъ и на совѣсть, склоняя ее, такъ сказать, на свою сторону. И совѣсть, въ такомъ случаѣ, рѣшая вопросъ о степени опасности, становится на сторону научнаго предубѣжденія. Совѣсть играетъ тутъ роль судьи или присяжнаго, основывающаго свое сужденіе на мнѣніи эксперта, а экспертъ тутъ—научныя свѣденія того же самаго лица, совѣсть котораго призвана

быть судьею. Тутъ предубѣжденію дорога открыта съ разныхъ сторонъ.

Съ одной стороны, предубѣжденіе легко проникнетъ въ запасъ свѣденій; съ другой стороны, чрезъ это и самая совѣсть легко предубѣждается.

Современная наука нашла, какъ будто, болѣе надежное средство противъ предубѣжденій въ практической медицинѣ,— это медицинская статистика, основанная на цифрѣ. И совѣсти хирурга какъ будто сдѣлалось легче рѣшать безъ предубѣжденій.

Вотъ болѣзнь; отъ нея умираютъ, по статистикѣ, 60%; вотъ операція, уничтожающая болѣзнь; отъ нея умираютъ только 50%.

Совѣсти не трудно, значитъ, рѣшить по совѣсти, что́ опаснѣе: болѣзнь, предоставленная самой себѣ, или операція.

Но вотъ загвоздка.

Во-первыхъ, эта статистика не есть еще нѣчто вполнѣ опредѣленное и не подлежащее ни сомнѣнію, ни колебанію; а во-вторыхъ, почемъ же я буду знать, что въ данномъ случаѣ мой больной принадлежитъ именно къ числу 60 умирающихъ изъ 100, а не къ числу 40, остающихся въ живыхъ? И кто мнѣ сказалъ, что въ случаѣ операціи мой больной будетъ относиться къ числу 50% выздоравливающихъ, а не къ 50 умирающихъ?

Въ концѣ концовъ, не трудно убѣдиться, что и эта, повидимому такая вѣрная, цифра только тогда будетъ имѣть важное практическое значеніе, когда ей на помощь явится индивидуализированіе—новая, еще не початая отрасль знанія.

Когда изученіе человѣческихъ особей настолько подвинется впередъ, что каждую особь можно, по надежнымъ признакамъ, отнести къ той или другой рѣзко обозначенной категоріи, а свойства каждой категоріи противостоять внѣшнимъ и органическимъ (внутреннимъ) вліяніямъ будутъ извѣстны, — тогда и статистика съ ея цифровыми данными получитъ иное значеніе.

Могъ ли же я, молодой, малоопытный человѣкъ, быть настоящимъ наставникомъ хирургіи?!

Конечно, нѣтъ,—и я чувствовалъ это.

Но, разъ поставленный судьбою на это поприще, что́ я могъ сдѣлать?

Отказаться? Да для этого я былъ слишкомъ молодъ, слишкомъ самолюбивъ и слишкомъ самонадѣянъ.

Я избралъ другое средство, чтобы приблизиться, сколько можно, къ тому идеалу, который я составилъ себѣ объ обязанностяхъ профессора хирургіи.

Въ бытность мою за границей я достаточно убѣдился, что научная истина далеко не есть главная цѣль знаменитыхъ клиницистовъ и хирурговъ.

Я убѣдился достаточно, что нерѣдко принимались мѣры въ знаменитыхъ клиническихъ заведеніяхъ не для открытія, а для затемнѣнія научной истины.

Было вездѣ замѣтно стараніе продать товаръ лицомъ. И это бы еще ничего. Но съ тѣмъ вмѣстѣ товаръ худой и недоброкачественный продавался за хорошій, и кому?—Молодежи — неопытной, незнакомой съ дѣломъ, но инстинктивно ищущей научной правды.

Видѣвъ все это, я положилъ себѣ за правило, при первомъ моемъ вступленіи на каѳедру, ничего не скрывать отъ моихъ учениковъ, и если не сейчасъ же, то потомъ и немедля открывать предъ ними сдѣланную мною ошибку,—будетъ ли она въ діагнозѣ, или въ леченіи болѣзни.

Въ этомъ духѣ я и написалъ мои клиническіе анналы, съ изданіемъ которыхъ я нарочно спѣшилъ, чтобы не дать повода моимъ ученикамъ упрекать меня въ намѣреніи выиграть время для скрытія правды.

Описавъ въ подробности всѣ мои промахи и ошибки, сдѣланные при постели больныхъ, я не щадилъ себя, и, конечно, не предполагалъ, что найдутся охотники воспользоваться моимъ положеніемъ, и въ критическомъ разборѣ выставить снова на видъ выставленные уже мною грѣхи мои. Охотники, однакоже, нашлись. Мой хорошій петербургскій пріятель, д-ръ Задлеръ, написалъ огромную критическую статью въ одномъ нѣмецкомъ журналѣ.

Въ этой большой статьѣ нашлось для меня одно полезное замѣчаніе,—это русская пословица, приведенная Задлеромъ въ концѣ его критики:

„Терпи, казакъ,—атаманомъ будешь“.

Старикъ Хеліусъ въ 1862 году напомнилъ мнѣ объ этой

пословицѣ, переведенной Задлеромъ для нѣмцевъ такъ: Geduld, Kosak, wirst Ataman werden.

Черезъ годъ, вскорѣ послѣ выхода первыхъ выпусковъ моей „Хирургической анатоміи“, я былъ уже избранъ въ ординарные профессоры.

Для изданія этого труда мнѣ нужны были: издатель-книгопродавецъ, художникъ-рисовальщикъ съ натуры и хорошій литографъ.

Не легко было тотчасъ же найти въ Дерптѣ трехъ такихъ лицъ.

Къ счастію, какъ нарочно къ тому времени, явился въ Дерптѣ весьма предпріимчивый (даже слишкомъ, и послѣ обанкротившійся) книгопродавецъ Клуге. Ему—конечно, безденежно—я передалъ все право изданія, съ тѣмъ лишь, чтобы рисунки были именно такими, какіе я желалъ имѣть. Художникъ-рисовальщикъ — этотъ рисовальщикъ былъ тотъ же г. Шлатеръ, котораго нѣкогда я отыскалъ случайно для рисунковъ моей диссертаціи на золотую медаль. Это былъ не геній, но трудолюбивый, добросовѣстный рисовальщикъ съ натуры. Онъ же, самоучкою, работая безъ устали и съ самоотверженіемъ, сдѣлался и очень порядочнымъ литографомъ. А для того времени это была не шутка. Тогда литографовъ и въ Петербургѣ былъ только одинъ, и то незавидный. Первые опыты литографскаго искусства Шлатера и были рисунки моей „Хирургической анатоміи“. Они удались вполнѣ.

Съ попечителемъ Крафтштремомъ, вначалѣ ко мнѣ весьма благоволившимъ, я не долго жилъ въ ладу, впрочемъ не по моей винѣ.

То было время дуэлей въ Дерптѣ. Періодическія дуэли то усиливались (и едва-ли не тогда, когда ихъ преслѣдовали), то уменьшались.

Крафтштрему и ректору дуэли, разумѣется, были не по́ сердцу, особливо случившіяся вскорѣ одна послѣ другой: одна мнимая, другая—дѣйствительная.

Русскій студентъ, сорви-голова, Хитрово безнадежно влюбился въ одну пріѣзжую замужнюю женщину. Желая всѣми силами обратить на себя вниманіе этой дамы, Хитрово при-

думалъ такую штуку: увидѣвъ предметъ своей любви на одномъ концертѣ, онъ бросился стремглавъ къ ректору съ донесѐніемъ, что убилъ одного студента на дуэли въ лѣсу, и предаетъ себя произвольно въ руки правосудія.

Ректоръ отправилъ Хитрово въ карцеръ, а самъ съ фонарями, педелями и полиціей отправился въ лѣсъ отыскивать трупъ убитаго.

Проискали цѣлую ночь, и ничего не нашли.

На другой же день оказалось, что вся эта исторія—выдумка взбалмошнаго влюбленнаго.

Другая же, дѣйствительная, даже надѣлала много хлопотъ Крафтштрему.

Нашли, дѣйствительно, убитаго студента въ лѣсу и, несомнѣнно, убитаго на пистолетной дуэли. Разыскивали не мало, но все оставалось шитымъ и крытымъ.

Въ это самое время ѣхалъ чрезъ Дерптъ за границу государь Николай Павловичъ. Можно себѣ представить, какъ струсилъ Крафтштремъ! Онъ явился съ докладомъ государю на почтовую станцію; государь не выходилъ изъ кареты и когда Крафтштремъ донесъ ему о случившемся, то государь прямо объявилъ ему:

— „Ну, что же; такъ разгони факультетъ“.

Вотъ тебѣ разъ! Что тутъ подѣлаешь? Разгони факультетъ! да какой,—ихъ цѣлыхъ четыре,—и какъ его разгонишь?

Вотъ въ это-то тревожное время и случилась еще одна дуэль на студенческихъ геберахъ.

Рана была грудная и опасная. Меня позвали на третій день, когда уже развилось сильное воспаленіе плевры. Я дня два посѣщалъ раненаго, вскорѣ затѣмъ отдавшаго Богу душу.

Меня призываютъ къ Крафтштрему.

— „Вы лечили раненаго на дуэли?“ — спрашиваетъ онъ меня.

— Я.

— „Вы знали, что онъ былъ раненъ на дуэли?“

— Я могъ бы вамъ отвѣтить, что не зналъ, такъ какъ никто мнѣ не докажетъ, что я зналъ; но я не хочу вамъ лгать, и потому говорю: зналъ.

— „А когда знали, то почему не донесли по закону? Вы будете отвѣчать“...

— „Назначается судъ, не университетскій, не домашній, а уголовный. Затѣмъ, прощайте“,—прибавилъ онъ.

Судъ, дѣйствительно, начался, и меня притянули къ нему.

На судѣ я сказалъ то же самое, что мнѣ никто не докажетъ, что я зналъ о дуэли, но я сознаюсь, что зналъ; а не донесъ потому, что, во-первыхъ, твердо былъ увѣренъ въ существованіи доноса о дуэли и помимо меня; а во-вторыхъ, считалъ для раненаго вреднымъ судебное дознаніе, неизбѣжное, еслибы я донесъ при жизни больного, находившагося въ опасности; по смерти же я, дѣйствительно, доносилъ по начальству о приключившейся отъ грудной раны смерти, вслѣдствіе воспаленія въ плеврѣ.

Итакъ, эта дуэль разстроила меня съ Крафтштремомъ. Я пересталъ посѣщать его. Встрѣчаясь на улицѣ, мы не кланялись другъ другу. Я получилъ черезъ совѣтъ выговоръ отъ министра.

Натянутыя мои отношенія къ попечителю продолжались нѣсколько мѣсяцевъ.

Появленіе на свѣтъ 1-й части моихъ клиническихъ анналовъ доставило мнѣ, почти въ одно и то же время, пріятность и выгоду. Пріятны, чрезвычайно пріятны были для меня привѣтъ и дружеское пожатіе руки профессора Энгельгардта.

Энгельгардтъ (профессоръ минералогіи), цензоръ и ревностный піэтистъ, неожиданно является ко мнѣ, вынимаетъ изъ кармана одинъ листъ моихъ анналовъ, читаетъ вслухъ, взволнованнымъ голосомъ и со слезами на глазахъ, мое откровенное признаніе въ грубѣйшей ошибкѣ діагноза, въ одномъ случаѣ причинившей смерть больному; а за признаніемъ слѣдовалъ упрекъ своему тщеславію и самомнѣнію. Прочитавъ, Энгельгардтъ жметъ мою руку, обнимаетъ меня и, разстроганный донельзя, уходитъ.

Этой сцены я никогда не забуду; она была слишкомъ отрадна для меня.

Выгода, доставленная мнѣ анналами, получена съ другой, почти противоположной, стороны.

Въ то время, когда я писалъ свои анналы, въ Дерптѣ былъ

распространенъ сифилисъ въ значительныхъ размѣрахъ между студентами и бюргерскою молодежью.

Полицейскихъ санитарныхъ мѣръ не существовало. Я, въ статьѣ о сифилисѣ, настаивалъ на безотлагательномъ введеніи этихъ мѣръ, говоря, что если предохранить слабыхъ дѣтей отъ паденія, то надо, по крайней мѣрѣ, сдѣлать паденіе это какъ можно менѣе вреднымъ.

Пошли толки, и я услышалъ, что Крафтштремъ читалъ эту статью нѣкоторымъ изъ вліятельныхъ городскихъ людей, причемъ хвалилъ меня за правду и нелицемѣріе.

Это случилось, именно, въ то время, когда я намѣревался воспользоваться университетскою суммою, назначенною для ученыхъ экспедицій,—поѣхать въ Парижъ для осмотра госпиталей. Это дѣло должно было идти черезъ попечителя. Я и отправился къ нему, обнадеженный слухами о расположеніи его ко мнѣ.

Пріемъ былъ, дѣйствительно, очень радушный; Крафтштремъ обѣщалъ мнѣ полное содѣйствіе въ министерствѣ.

Въ январѣ 1837 г. я и отправился въ Парижъ, получивъ пособіе отъ университета на путевыя издержки.

Тринадцать дней и ночей я ѣхалъ, не отдыхая ни разу, изъ Дерпта до Парижа на Полангенъ, Франкфуртъ-на-Майнѣ, Саарбрюкенъ и Мецъ. И несмотря на 13 ночей, проведенныхъ въ экипажѣ, я, по пріѣздѣ въ Парижъ, тотчасъ же отправился осматривать городъ.

Парижъ не сдѣлалъ на меня особенно благопріятнаго впечатлѣнія въ хирургическомъ отношеніи. Госпитали смотрѣли угрюмо; смертность въ госпиталяхъ была значительная.

Самое пріятное впечатлѣніе произвелъ на меня изъ всѣхъ парижскихъ хирурговъ Вельпо. Можетъ быть, нравился онъ мнѣ и потому, что на первыхъ же порахъ сильно пощекоталъ мое авторское самолюбіе. Когда я пришелъ къ нему въ первый разъ, то засталъ его читающимъ два первые выпуска моей „Хирургической анатоміи артерій и фасцій“. Когда я ему рекомендовался глухо:—Je suis un médecin russe (я русскій врачъ),—то онъ тотчасъ же спросилъ меня, не знакомъ ли я съ le professeur de Dorpat, m-r Pirogoff, и когда я ему объявилъ, что

я самъ и есть Пироговъ, то Вельпо принялся расхваливать мое направленіе въ хирургіи, мои изслѣдованія фасцій, рисунки, и т. д., и тогда же познакомилъ меня съ англійскимъ спеціалистомъ въ наукѣ о фасціяхъ и, по мнѣнію Вельпо, весьма компетентнымъ въ этомъ дѣлѣ. Это былъ нѣкто Томсонъ, участвовавшій въ заговорахъ чарлистовъ и бѣжавшій изъ Англіи въ Парижъ.

Дѣйствительно, весьма дѣльный анатомъ, онъ называлъ себя, по своей спеціальности, „fascia Tom“, но чудакъ преоригинальнѣйшій. Всю жизнь свою въ Парижѣ онъ посвятилъ двумъ спеціальностямъ: изслѣдованію фасцій, съ изготовленіемъ превосходныхъ препаратовъ, и преслѣдованію профессоровъ. Для этой послѣдней цѣли онъ предпринялъ публикованіе разныхъ брошюръ, выходившихъ почти ежедневно въ свѣтъ съ литографскаго станка. Брошюры были составляемы самимъ Томсономъ и нѣкоторыми весельчаками-студентами и разносились ими же самими по знакомымъ.

Мнѣ онъ надавалъ ихъ цѣлую груду, одну забористѣе другой: „L'art d'engraisser les professeurs“ (искусство откармливать профессоровъ), „Soi pour soi et chacun pour soi“ (всѣ для себя и каждый тоже), etc. etc. Въ каждой изъ нихъ было собраніе скандаловъ, случившихся съ профессорами. Тутъ фигурировали особенно Бреттардтъ, анатомъ Бреше, молодой Шассеньякъ, получившій однажды пощечину отъ Томсона и судившійся съ нимъ въ police correctionnelle.

Послѣ Вельпó, нѣсколько молодыхъ хирурговъ (учениковъ Дюпюитрэна) могли считаться настоящими представителями современной хирургіи: Бландэнъ—Hôtel Dieu; Жоберъ—Hôpital St. Louis; Robert. Спеціалисты по литотрипсіи—Амюссá, Сивіаль и Леруа d'Etoile—составляли истинную славу тогдашней французской хирургіи (Heutereloup фигурировалъ въ то время въ Лондонѣ). Амюссà пригласилъ меня на свои домашнія хирургическія бесѣды. Онѣ были весьма интересны, но на французскій ладъ, какъ всѣ курсы въ Парижѣ: привлекательны, но фразисты и нерѣдко пустопорожни.

Услыхавъ на этихъ бесѣдахъ, куда приглашались Амюссà всѣ пріѣзжавшіе въ Парижъ иностранные врачи (между прочими Астл. Куперъ, Диффенбахъ), что Амюссà все еще под-

держиваетъ свое ложное мнѣніе о совершенно прямомъ направленіи мочевого канала (у мужчинъ), я заявилъ ему о результатѣ моего изслѣдованія направленія мочевого канала на замороженныхъ трупахъ, совершенно противорѣчащихъ мнѣнію его; и когда онъ голословно отвергъ результаты моихъ изслѣдованій, то я предложилъ ему состязаніе на слѣдующей лекціи, для которой я взялся и изготовить препараты, которые должны доказать справедливость моего убѣжденія. Я и притащилъ на слѣдующую лекцію разрѣзы таза, которыми я доказывалъ ему нелѣпость его воззрѣній на отношеніе мочевого канала къ предстательной железѣ.

Конечно, Амюссà, несмотря на всю наглядность моихъ доказательствъ, не соглашался. Люди, а особливо ученые и еще особливѣе тщеславные французы, съ предвзятымъ мнѣніемъ, никогда не сознаются въ ошибкахъ и заблужденіяхъ. Но для меня довольно было и того, что я видѣлъ, какъ новъ былъ для Амюссà мой способъ изслѣдованія. Я доволенъ былъ еще и тѣмъ, что остальная часть присутствовавшихъ на этомъ состязаніи молодыхъ врачей не была на сторонѣ его.

Не отрадное впечатлѣніе произвели на меня и двѣ другія хирургическія знаменитости—Ру и Лисфранкъ.

Лисфранкъ, какъ профессоръ, былъ, въ полномъ смыслѣ, французскій нахалъ и благёръ-крикунъ, рослый, плечистый, одаренный голосомъ такимъ, который можно слышать за версту. Лисфранкъ тѣмъ только и привлекалъ на свои клиническія лекціи, что кричалъ во все горло, въ самыхъ грубыхъ выраженіяхъ, противъ всѣхъ своихъ товарищей по ремеслу.

— „Ces per-r-roquets de la médecine“ (обезьяны медицины),—раздавалось безпрестанно въ его аудиторіи, когда онъ говорилъ не о себѣ, а о другихъ.—„Ce brigand du bord de l'eau“ (береговой разбойникъ),—это было прозваніе, данное имъ нѣкогда Дюпюитрэну.—„Ce chirurgien menuisier“ —это былъ Ру; Velpeau назывался на языкѣ Лисфранка „vil-peau“ (подлая шкура) и т. п.

Несмотря на все это, Лисфранкъ былъ, дѣйствительно, замѣчательный хирургъ и клиницистъ своего времени, хотя и скрывавшій зачастую свои промахи и ошибки.

Что касается до Ру,—данное ему Лисфранкомъ прозвище

„столяра“ было, надо сознаться, весьма мѣтко. Огромная, полувѣковая опытность не сообщала знаменитому оператору никакого строго-научнаго авторитета.

Гораздо выше стояла въ то время научная дѣятельность французскихъ діагностовъ и клиницистовъ по внутреннимъ болѣзнямъ: Андраль, Луи, Шомель, Рустэнъ, Крювелье и даже увлекавшійся до крайности Бульо — были истинными представителями научной медицины того времени.

Всѣ privatissima, взятыя мною у парижскихъ спеціалистовъ, не стоили выѣденнаго яйца, и я понапрасну только потерялъ мои луидоры.

Лица, дававшія privatissima, большею частію agrégés (адъюнктъ-профессоры), не имѣли никакого права на доставленіе своимъ слушателямъ разныхъ демонстративныхъ пособій—труповъ, препаратовъ, клиническихъ случаевъ, и всѣ лекціи ихъ заключались въ одномъ говореньи или нелѣпыхъ упражненіяхъ на какомъ-нибудь импровизированномъ фантомѣ, какъ, напримѣръ, у литотритэра Labut, на сухомъ бычачьемъ пузырѣ, со вложеннымъ въ него кускомъ мѣла; а одинъ изъ этихъ господъ (m-r Beaux) ухитрился читать мнѣ свое privatissimum о стэтоскопіи у себя на квартирѣ, предъ пылающимъ каминомъ. Я не докончилъ слушанія ни одного privatissimum и не имѣлъ терпѣнія выдержать болѣе половины назначеннаго числа лекцій.

Мои занятія въ Парижѣ состояли исключительно въ посѣщеніи госпиталей, анатомическаго театра и бойни для вивисекцій надъ больными животными (лошадьми).

Это былъ единственный privatissimum Амюссà съ демонстраціями на живыхъ животныхъ. Но самъ Амюссà рѣдко являлся на живодерню. И вотъ, чтобы воспользоваться рѣдкимъ у насъ случаемъ вивисекцій на больныхъ животныхъ, я и нѣсколько молодыхъ американскихъ врачей устроили между собою маленькое общество, съ тѣмъ, чтобы производить вивисекціи въ живодернѣ на общій счетъ.

Тутъ я имѣлъ случай, въ первый разъ въ жизни, присмотрѣться къ разнымъ, для насъ невѣдомымъ и чуждымъ, свойствамъ американцевъ.

Ѣдемъ мы, напримѣръ, вмѣстѣ на живодерню, мимо какой-

нибудь мясной лавки. „Стой!“ —кричать извозчику американцы, и выскакиваютъ смотрѣть на сегодняшнюю таксу на мясо, начинаютъ торговаться, спорить съ мясникомъ. Пріѣхали мы на бойню, начинается споръ изъ-за таксы съ извозчикомъ, и мнѣ никакъ не позволялось уплатить что-нибудь лишнее, лишь бы отдѣлаться поскорѣе отъ извозчика.

А вотъ однажды, такъ и со мной заводитъ исторію одинъ американецъ изъ-за кроваваго пятна, которое я нечаянно сдѣлалъ на рукавѣ его байковаго пиджака. Едва я могъ укротить взбѣшеннаго моею неосторожностью янки, клянясь ему, что не имѣлъ ни малѣйшаго намѣренія его оскорбить или причинить ему изъянъ, и готовъ тотчасъ же вознаградить его за причиненный ему убытокъ,—такъ называю я кровавое пятно на рукавѣ поношеннаго темно-бураго байковаго пиджака.

Кромѣ Парижа, я дѣлалъ нѣсколько разъ экскурсіи изъ Дерпта въ Москву (три раза), Ригу и Ревель.

Побывавъ въ Москвѣ, я имѣлъ случай сравнить мое дерптское житье-бытье съ житьемъ въ Москвѣ старыхъ товарищей.

Разумѣется, всего болѣе интересовала меня жизнь моего прежняго товарища по хирургіи, Иноземцева, тѣмъ болѣе, что ему суждено было занять назначенное для меня мѣсто. Оказалось, что Иноземцевъ пошелъ въ гору по практикѣ и дѣлался однимъ изъ первыхъ врачей-практиковъ Бѣлокаменной. Разсказывали потомъ, что онъ учредилъ у себя на Никитской (гдѣ онъ жилъ) товарищество изъ молодыхъ врачей, раздѣлявшихъ съ нимъ практику въ городѣ; а по случаю этого товарищества сказывали, какъ относилась къ нему публика гостинаго двора и Охотнаго ряда. Одинъ гостинодворецъ,—повѣствовали мнѣ,—страдавшій весьма упорною язвою на ногѣ, обратился въ клинику профессора Овера, который и отнесся съ вопросомъ къ больному, гдѣ онъ до сихъ поръ и какъ лечился, на что и получилъ весьма характерный отвѣтъ:

— „Да были у меня разъ нѣсколько молодцовъ съ Никитской, а потомъ и хозяинъ самъ былъ“.

Иноземцевъ не былъ научно-раціональный врачъ, въ современномъ значеніи, хотя онъ и толковалъ постоянно о раціонализмѣ, мыслящихъ врачахъ, и т. п.

Но Иноземцевъ отъ природы былъ хорошій практикъ, имѣлъ такъ, сноровку и смѣкалку. Иноземцевъ былъ терапевтическій діагностъ; я послѣ когда-нибудь скажу, что̀ подъ этимъ названіемъ разумѣю я.

Особливо одинъ, дѣйствительно, замѣчательный случай возвысилъ Иноземцева въ медицинскомъ практическомъ мірѣ. Это было всѣмъ извѣстное лицо, прошедшее черезъ руки всѣхъ петербургскихъ и большей части московскихъ врачей. Больной страдалъ кровавою рвотою, съ болями подъ ложечкою и слабостью.

Профессоръ Буш̀ъ и другіе врачи въ Петербургѣ считали болѣзнь за ракъ желудка. Иноземцевъ узналъ изъ тщательнаго анализа, что больной страдалъ прежде болями и припухлостью большого пальца ноги, принялъ болѣзнь за arthritis, поставилъ мушку на большой палецъ ноги, прежде болѣвшій, и хроническая рвота прекратилась; больной выздоровѣлъ.

Второй случай, доказавшій способность Иноземцева находить правильныя показанія къ употребленію того или другого способа леченія, встрѣтился у него въ клиникѣ и описанъ былъ въ нѣкоторыхъ журналахъ.

Это былъ громадный модулярный саркомъ глаза, постепенно атрофировавшійся при употребленіи амигдалина (?) (внутрь) въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ. Гипсовый слѣпокъ съ этого больного я видѣлъ при посѣщеніи мною клиники Иноземцева.

Въ первое время своей профессуры въ Москвѣ Иноземцевъ не былъ счастливъ. Спустя два года послѣ занятія этой каѳедры, Иноземцевъ проѣзжалъ за границу, черезъ Петербургъ, гдѣ мы и встрѣтились; онъ до такой степени показался мнѣ тогда жалкимъ и убитымъ, что я искренно пожалѣлъ о немъ, хотя въ глубинѣ души невольно думалось: „вотъ, ништо тебѣ, это за то, что отбилъ мѣсто и пошелъ не на свое!“

Право, мнѣ казалось тогда, что Иноземцевъ былъ не въ своемъ умѣ, — до того странны были его разсказы о причиняемыхъ ему каверзахъ; оперированные у него умирали въ клиникѣ оттого, что ассистенты нарочно портили раны и отравляли больныхъ, и т. п. Потомъ вся эта мономанія прошла безслѣдно, но онъ остался такимъ, какимъ и прежде былъ, — фанатикомъ разныхъ предположеній, и этотъ-то фанатизмъ онъ

и считалъ медицинскимъ раціонализмомъ. Этотъ фанатическій раціонализмъ и заставилъ Иноземцева быть періодическимъ приверженцемъ различнѣйшихъ способовъ леченія. Одно время онъ восторженно превозносилъ lapis haemostriticus противъ всѣхъ возможныхъ кровотеченій; а другое время—amygdalin (?) дѣлался панацеею противъ раковъ; а во время холеры нашлись капли, извѣстныя и до сихъ поръ подъ именемъ „Иноземцевскихъ", которыми онъ, по его мнѣнію, спасалъ всѣхъ больныхъ отъ холеры, если только успѣвалъ во-время захватить болѣзнь.

Этими знаменитыми каплями снабдилъ онъ и меня при нашемъ послѣднемъ свиданіи въ Москвѣ въ 1854 году.

Я заѣхалъ тогда къ Иноземцеву проѣздомъ черезъ Москву въ Севастополь; обѣдалъ у него, послѣ обѣда почувствовалъ схватки въ животѣ, вслѣдствіе чего и получилъ на дорогу драгоцѣнную панацею съ наставленіемъ, какъ ее употреблять противъ холеры. Иноземцева съ тѣхъ поръ я не видалъ уже болѣе ни разу, а бутылку съ его каплями привезъ нетронутою изъ-подъ стѣнъ Севастополя.

Однажды, въ бытность мою въ Москвѣ, товарищи посовѣтовали мнѣ сдѣлать визитъ попечителю Строгонову, увѣривъ меня, что это будетъ ему очень пріятно. Я рѣшился; но Строгоновъ принялъ меня, профессора другого университета, такъ, какъ будто онъ стоялъ предо мною на высотѣ трона,—стоя, не пригласивъ сѣсть,—за что я и самъ сталъ на дыбы, отвѣчалъ отрывисто, прекратилъ разговоръ почти на серединѣ, раскланялся и ушелъ.

Нашъ дерптскій Крафтштремъ, хотя и неотесанный фронтовикъ, не пріучилъ насъ къ такому пріему.

О моихъ ежегодныхъ экскурсіяхъ въ вакаціонное время въ Ригу и Ревель я долженъ упомянуть, что онѣ оставили у меня много разнаго рода воспоминаній. Одинъ изъ моихъ пріятелей называлъ эти экспедиціи, по множеству проливавшейся въ нихъ крови, Чингисханскими нашествіями. Но оставшіяся у меня воспоминанія вовсе не кровавыя,—кровавыя помѣщались въ хирургическихъ анналахъ,—а тихія и пріятныя.

Впрочемъ поѣздка въ Ригу могла бы сдѣлаться памятною на цѣлую жизнь; но тихою ли и пріятною, это одному Богу извѣстно.

Дѣло въ томъ, что въ Ригѣ, въ 1837 году, я чуть было не сдѣлалъ предложенія одной дѣвушкѣ, вовсе еще не расположенный такъ рано жениться. Тотчасъ по пріѣздѣ въ Ригу, я познакомился съ семействомъ главнаго доктора военнаго госпиталя (родомъ серба). Семейство его состояло изъ жены доктора, очень умной и образованной нѣмки, и трехъ дочерей.

Однажды, подгулявъ за обѣдомъ, данномъ мнѣ рижскими врачами, мы съ главнымъ докторомъ отправились къ нему въ госпиталь; расположенный послѣ шампанскаго къ болтовнѣ, я вдругъ задаю моему спутнику вопросъ: какъ онъ думаетъ, хорошо ли я поступлю, сдѣлавъ предложеніе одной мнѣ знакомой и ему извѣстной барышнѣ?

Конечно, онъ не могъ не замѣтить, о комъ шла рѣчь. Но отвѣчалъ весьма уклончиво, въ такомъ родѣ, что, молъ, такъ, чрезъ годъ, когда вы опять сюда пріѣдете, будетъ удобнѣе.

Я прикусилъ языкъ и тотчасъ же перемѣнилъ разговоръ.

Съ той минуты не было и помину о предложеніи.

На другой годъ, проѣзжая черезъ Ригу въ Парижъ, я сдѣлалъ визитъ этому семейству, и отецъ, старый докторъ, замѣтно употреблялъ разные маневры, чтобы снова возбудить во мнѣ охоту сдѣлать предложеніе. Но было поздно; я притворился, что ничего не замѣчаю, отобѣдалъ, распростился и уѣхалъ. Богъ знаетъ, кто изъ насъ двоихъ былъ глупѣе: отецъ невѣсты или я.

Мои лѣтнія экспедиціи въ Ревель продолжались и тогда, когда я переѣхалъ изъ Дерпта въ Петербургъ. Я любилъ Ревель; въ немъ и послѣ Дерпта, и послѣ Петербурга я отдыхалъ и тѣломъ, и душою.

Я цѣлыхъ 30 лѣтъ, не пропуская почти ни одного года, купался въ морѣ (прежде въ Балтійскомъ, потомъ въ Черномъ и, наконецъ, въ Средиземномъ), и чувствовалъ себя всегда укрѣпленнымъ и поздоровѣвшимъ послѣ купаній; только въ Сорренто, около Неаполя, морскія купанья подѣйствовали на меня неладно и взволновали мой кишечный катарръ, можетъ быть, и оттого, что они были соединены съ непривычнымъ режимомъ (горячительнымъ виномъ, пищею на прованскомъ маслѣ, съ разными итальянскими приправами).

Но, кромѣ купаній, Ревель оставилъ во мнѣ пріятныя воспоминанія на цѣлую жизнь тѣмъ, что я проводилъ въ немъ время и какъ женихъ съ невѣстою, при первой моей женитьбѣ, и съ молодою женою и дѣтьми, послѣ моего второго брака.

Въ Ревелѣ жило семейство моего хорошаго пріятеля по университету, д-ра Эренбуша. Мы проводили пріятно время вмѣстѣ въ его загородномъ домѣ (въ Екатериненталѣ); въ Ревелѣ знакомился я ежегодно съ интересными личностями, пріѣзжавшими изъ Петербурга.

Такъ, однажды, я познакомился въ Ревелѣ съ графиней Растопчиною (поэтомъ), и у нея же узналъ князя Вяземскаго и Толстого.

Это былъ весьма замѣчательный годъ наплывомъ разныхъ знаменитостей изъ Петербурга, между прочими одного богача-откупщика, страшно безобразнаго, съ какимъ-то жирнымъ, лоснящимся, отвратительнымъ лицомъ, и г-на Ш....., директора или инспектора одного изъ военныхъ учебныхъ заведеній и любимца Ростовцева, также пріѣзжавшаго въ тотъ годъ въ Ревель.

Растопчина весьма изумила меня своею привычкою жевать бумагу. Передъ нею на столѣ ставилась всегда коробка съ длинными полосками тонкой почтовой бумаги, и графиня, никѣмъ и ничѣмъ не стѣсняясь, постоянно несла одну бумажку въ ротъ вслѣдъ за другою. Мы разговорились за столомъ объ этой оригинальной страсти жевать бумагу, и каждый сталъ предлагать средства противъ этой страсти.

— Я вамъ скажу самое вѣрное,—замѣтилъ Толстой:—попросите откупщика NN, чтобы онъ вашею бумагою вытеръ себѣ лицо, и я увѣренъ, что тотчасъ же отвыкнете жевать ее.

Ш..... съ откупщикомъ не ладили; послѣ объяснилась причина: и Ш....., и откупщикъ были очень уродливы. И тотъ, и другой, взятые вмѣстѣ, составили бы одного порядочнаго Квазимоду.

Уроженецъ Кавказа, Ш..... усвоилъ себѣ тамъ нѣжное обращеніе съ мальчиками, и потому не любилъ женскаго пола. Откупщикъ, напротивъ, какъ телецъ упитанный, живущій себѣ въ сласть, постоянно болталъ о женскомъ полѣ и позволялъ себѣ всякаго рода сальности. Ему не могло не казаться стран-

нымъ это отвращеніе отъ женщинъ, и онъ вѣрно догадывался о причинѣ. Съ другой стороны, и Ш..... была не по нутру догадливость откупщика.

Могъ ли я, находясь ежедневно въ обществѣ этихъ двухъ господъ и проводя съ Ш..... цѣлые часы въ прогулкахъ, подозрѣвать, что этотъ умный, талантливый и весьма образованный уродъ чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ будетъ уличенъ въ самомъ безнравственномъ уголовномъ преступленіи!

Любимецъ Ростовцева, любимецъ вел. кн. Михаила Павловича, Ш..... въ одно прекрасное утро попался en flagrant délit и былъ уличенъ своими питомцами въ половыхъ сношеніяхъ съ ними, систематически имъ организованныхъ. Итакъ, родители будущихъ сыновъ Марса узнали въ одно прекрасное утро, что архипедагогъ учебныхъ заведеній, фаворитъ великихъ міра сего, посвящалъ, въ теченіе многихъ лѣтъ, цѣлыя поколѣнія своихъ питомцевъ въ мистеріи греческой любви.

И какъ обворожителенъ, остроуменъ, любезенъ онъ былъ въ обществѣ — только не дамъ; о чемъ вамъ угодно, о всѣхъ возвышенныхъ предметахъ говорилъ умно, отчетливо и горячо этотъ замѣчательный рахитикъ. У Ш....., кромѣ искривленія колѣнъ, и голова, и позвоночный столбъ носили на себѣ явные слѣды англійской болѣзни.

Дѣло Ш....., надѣлавшее столь много шума, вскорѣ заглохло...

При Николаѣ Павловичѣ не любили долго распространяться о скандалахъ съ участіемъ лицъ отъ правительства. Я долго послѣ этой исторіи вспоминалъ загадочныя циническія усмѣшки и подмигиванія откупщика при взглядѣ на Ш....., такъ зливпія его въ Ревелѣ.

Говоря о моихъ знакомствахъ въ Ревелѣ, я забѣгаю впередъ и кстати уже говорю и о тѣхъ, которыя я дѣлалъ потомъ, пріѣзжая въ Ревель изъ Петербурга. Къ такимъ я отношу одно интересное знакомство съ семействомъ Моллера и Глазенапа.

Федоръ Моллеръ (сынъ бывшаго морского министра), сначала военный (адъютантъ Паскевича), потомъ художникъ (живописецъ), замѣчателенъ былъ для меня тѣмъ, что правая рука, владѣвшая такъ прекрасно кистью, была поражена давно

костянымъ наростомъ (osteide), занявшимъ все запястье и всю пясть этой руки. Сверхъ этого, Моллеръ, впрочемъ крѣпкій на видъ, здоровый и красивый мужчина, пріѣхавъ изъ Италіи на сѣверъ, схватилъ сильную невральгію сѣдалищнаго нерва (ischias); я помогъ ему холодными душами, послѣ того какъ онъ перепробовалъ безъ пользы множество другихъ средствъ.

При этомъ-то случаѣ я познакомился и съ сестрою Моллера, Эмиліею Амосовною Глазенапъ. Въ этотъ годъ скончался старикъ Моллеръ, министръ,—и Эмилія Амосовна, очень любившая отца, впала въ нервно-истерическое состояніе, заставлявшее ее поминутно, безъ всякой видимой причины, плакать; сверхъ этого, это была особа отъ роду необыкновенно впечатлительная и притомъ увлекающаяся до-нельзя и разсѣянная. Примѣры ея увлеченій и разсѣянности встрѣчались на каждомъ шагу. То вдругъ, при самомъ обыкновенномъ разговорѣ, она вскакивала и вскрикивала: нѣтъ, „нѣтъ, c'est impossible, c'est plus qu'impossible!“, то восхищалась также неожиданно какимъ-нибудь выраженіемъ.

Э. А. Глазенапъ страстно любила музыку, сама играла и пѣла; но въ пѣніе она вкладывала, увлекаясь, столько чувства, что искусство ея казалось для посторонняго человѣка чѣмъ-то напускнымъ, неестественнымъ, пересоленнымъ.

Такъ во всемъ. Братъ ея мнѣ разсказывалъ, что Эмилія Амосовна однажды, на большомъ домашнемъ концертѣ, стоя за стуломъ піаниста, до того увлеклась гармоніею, что, забывшись, начала пальцами водить по головѣ артиста, потомъ зацѣпилась чѣмъ-то за длинные его волосы и, къ ужасу всѣхъ присутствующихъ, обнажила его плѣшивую голову. Приподнятый съ головы парикъ висѣлъ на крючкѣ платья Эмиліи Амосовны.

Прибывъ вмѣстѣ съ больнымъ еще братомъ въ Ревель, Эмилія Амосовна хотѣла полечить и себя отъ несносной истерической тоски; мужъ, капитанъ-лейтенантъ Богданъ Александровичъ Глазенапъ, былъ гдѣ-то при флотѣ за-границею. Я ей посовѣтовалъ морскія купанья и какъ можно болѣе движенія на чистомъ воздухѣ. А между пріѣзжими я считался знатокомъ по части ревельскихъ прогулокъ, и дѣйствительно, я исходилъ пѣшкомъ всѣ ближнія окрестности и зналъ всѣ хотя

сколько-нибудь живописныя мѣста. Такимъ образомъ мы и составляли ежедневно trio (Е. А. Глазенапъ, Федоръ Моллеръ и я) для прогулокъ за городомъ. Къ намъ присоединялся иногда и докторъ Н. Ф. Здекауеръ.

Прогулки приносили очевидную пользу: истерическіе припадки и грустное настроеніе духа прошли; а между тѣмъ ревельскіе и петербургскіе сплетники и сплетницы подсмѣивались надъ нашими прогулками, называя ихъ, въ насмѣшку, „ботаническими экскурсіями доктора Пирогова и м-те Глазенапъ“. Это глупое хихиканье дошло и до двора. Въ то время проѣзжала чрезъ Ревель одна изъ княгинь; встрѣтивъ Богдана Александровича на пароходѣ, она обратилась съ усмѣшкою къ нему и спрашивала: слышалъ ли онъ, что его жена занимается ботаническими экскурсіями съ докторомъ Пироговымъ? Хорошо, что Богданъ Александровичъ зналъ отлично нравы и обычаи жены, и потому, нисколько не сконфузясь, отвѣчалъ какою-то шуткою.

Семейство Глазенапъ (мужъ и жена) оставались долго нашими добрыми пріятелями все время, пока мы жили въ Петербургѣ; потомъ пространство раздѣлило насъ. Архангельскъ (гдѣ Глазенапъ былъ губернаторомъ) и Одесса или Кіевъ (гдѣ я былъ попечителемъ, потомъ Германія,- гдѣ я жилъ четыре года), Николаевъ, гдѣ Глазенапъ былъ военнымъ губернаторомъ; наконецъ, подольская губернія (мое имѣніе) и Петербургъ, гдѣ Глазенапъ и теперь еще (октябрь 1881 г.) служитъ,—это все такая даль, такія разстоянія, что давно уже, лѣтъ 15, мы не видались.

Въ Ревелѣ же, наконецъ, возобновилъ я старое знакомство съ моимъ товарищемъ по Берлину, и вмѣстѣ съ нимъ завелъ новое съ лицомъ не менѣе интереснымъ, какъ и мой старый товарищъ, но крайне подозрительнымъ.

Какъ-то нечаянно я встрѣчаю въ морскихъ купальняхъ знакомое лицо; всматриваюсь и узнаю, что это Н. Ив. Крыловъ, профессоръ римскаго права въ московскомъ университетѣ.

— Ба, ба, ба! ты зачѣмъ здѣсь очутился? — спрашиваю я его.

— „Да, вотъ, проѣздомъ изъ Петербурга, хочу попробовать выкупаться въ морѣ. Я чай, вода-то тутъ у васъ холодная,

прехолодная? А? (Эта частица „а“ прибавлялась Крыловымъ къ каждому періоду).

— А, вотъ, рекомендую моего друга, главнаго врача при морскихъ купальняхъ и ваннахъ, доктора Эренбуша. Познакомьтесь, господа: мой старый товарищъ—профессоръ Крыловъ.

— „Очень рады“.

— Ну что, Эренбушъ, сегодня вода въ морѣ:—спросилъ я, подмигнувъ Эренбушу,—холодна?

— „О, нѣтъ!—отвѣчаетъ Эренбушъ:—очень пріятная, въ самую пору“.

Мы раздѣваемся и идемъ купаться. Первый входитъ въ воду Крыловъ; но какъ только окунулся, такъ сейчасъ же благимъ матомъ назадъ; трясясь, какъ осиновый листъ, посинѣвъ, Крыловъ бѣжитъ изъ воды, крича дрожащимъ голосомъ:

— „Подлецы—нѣмцы!“

Мы хохотали до упаду при этой суетѣ. Это было такъ по-русски, и именно по-московски: „нѣмцы подлецы“—зачѣмъ вода холодна!—нѣмцы подлецы, жиды подлецы, всѣ подлецы, потому что я глупъ, потому что я неосторожень и легковѣренъ.

Потѣха продолжалась цѣлый день потомъ.

Съ Крыловымъ нельзя было не смѣяться. Онъ сталъ разсказывать намъ свое похожденіе съ генераломъ Дубельтомъ. Крыловъ былъ цензоромъ, и пришлось имъ въ этотъ годъ цензировать какой-то романъ, надѣлавшій много шума. Романъ былъ запрещенъ главнымъ управленіемъ цензуры, а Крыловъ вызванъ къ петербургскому шефу жандармовъ, Орлову. Вотъ объ этомъ-то дѣлѣ и надо было подсунуть представленіе. Крыловъ пріѣзжаетъ въ Петербургъ, разумѣется, въ самомъ мрачномъ настроеніи духа и является прежде всего къ Дубельту, а затѣмъ, вмѣстѣ съ Дубельтомъ, отправляются къ Орлову. Время было сырое, холодное, мрачное.

— Проѣзжая по Исаакіевской площади, мимо монумента Петра Великаго, Дубельтъ, закутанный въ шинель и прижавшись къ углу коляски, какъ будто про себя,—такъ разсказывалъ Крыловъ—говоритъ:

— „Вотъ бы кого надо было высѣчь, это Петра Великаго, за его глупую выходку: Петербургъ построить на болотѣ“.

Крыловъ слушаетъ и думаетъ про себя: „понимаю, понимаю, любезный, не надуешь нашего брата, ничего не отвѣчу“.

И еще не разъ пробовалъ Дубельтъ по дорогѣ возобновить разговоръ, но Крыловъ оставался нѣмъ, яко рыба. Пріѣзжаютъ, наконецъ, къ Орлову. Пріемъ очень любезный.

Дубельтъ, повертѣвшись нѣсколько, оставляетъ Крылова съ-глазу-на-глазъ съ Орловымъ.

— „Извините, г. Крыловъ,—говоритъ шефъ жандармовъ,—что мы васъ побезпокоили почти понапрасну. Садитесь, сдѣлайте одолженіе, поговоримъ“.

— А я,—повѣствовалъ намъ Крыловъ,—стою ни живъ, ни мертвъ, и думаю себѣ, что̀ тутъ дѣлать: не сѣсть—нельзя, коли приглашаетъ; а сядь у шефа жандармовъ, такъ, пожалуй, еще и высѣченъ будешь. Наконецъ, дѣлать нечего, Орловъ снова приглашаетъ и указываетъ на стоящее возлѣ него кресло. Вотъ я,—разсказывалъ Крыловъ, — потихоньку и осторожно сажусь себѣ на самый краешекъ кресла. Вся душа ушла въ пятки. Вотъ, вотъ, такъ и жду, что у меня подъ сидѣньемъ подушка опустится и—извѣстно что̀... И Орловъ, вѣрно, замѣтилъ, слегка улыбается и увѣряетъ, что я могу быть совершенно спокоенъ, что въ цензурномъ промахѣ виноватъ не я. Что̀ ужъ онъ мнѣ тамъ говорилъ, я отъ страха и трепета забылъ. Слава Богу, однако-же, дѣло тѣмъ и кончилось. Чортъ съ нимъ, съ цензорствомъ!—это не жизнь, а адъ.

Въ этотъ же день познакомилъ насъ мой пріятель Эренбушъ и еще съ двумя личностями, оставшимися у меня въ памяти. Почему?

Одна изъ этихъ личностей, германскаго происхожденія, обязана горошинѣ тѣмъ, что я ее еще помню, хотя другіе, болѣе меня интересующіеся классицизмомъ и царедворствомъ, вспоминаютъ о профессорѣ д-рѣ Гриммѣ по его, нѣкогда весьма извѣстной у насъ, учебно-придворной дѣятельности. Гриммъ былъ учителемъ вел. кн. Константина Николаевича, а потомъ и наслѣдника вел. кн. Николая Александровича; этотъ знатокъ древнихъ языковъ и біографъ покойной императрицы Александры Ѳеодоровны, глухой на одно ухо отъ роду (какъ онъ самъ полагалъ), пріѣхавъ съ государынею въ Ревель, обратился къ

доктору Эренбушу, боясь, чтобы не оглохнуть на другое ухо.

Но какъ же и Гриммъ, и всѣ мы были удивлены, когда, послѣ нѣсколькихъ спринцовокъ теплою водою, изъ глухого отъ роду уха выскочила горошина! А съ появленіемъ горошины на свѣтъ Гриммъ тотчасъ же вспомнилъ, какъ онъ, еще неразумный ребенокъ, играя въ горохъ, засадилъ себѣ одну горошину въ ухо.

Другая личность, такъ же болѣе или менѣе патологическая, только въ другомъ родѣ, былъ графъ Гуровскій, присланный въ Ревель изъ С.-Петербурга по распоряженію шефа жандармовъ, чего мы, однако-же, тогда еще не знали. Гуровскій съ жадностью, можно сказать, принялъ знакомство съ нами, и, частью на французскомъ, частью на ломаномъ русскомъ языкѣ. затянулъ съ нами нескончаемую канитель о могуществѣ Россіи. ея богатствахъ, открытыхъ соплеменникомъ Гуровскаго, Тенгоборскимъ, и т. п.

При этомъ онъ утверждалъ, что правительство наше не должно допускать слишкомъ интимнаго сближенія русской молодежи съ польскою. Были случаи, впослѣдствіи напомнившіе мнѣ это правило Гуровскаго.

Послѣ діарреи словъ, продолжавшейся нѣсколько часовъ сряду, мы разошлись, и первое, что̀ мнѣ и Крылову пришло въ голову—что съ Гуровскимъ намъ надо быть осторожнымъ. Одно только насъ озадачило: какъ полякъ Гуровскій, замѣшанный въ революціонной пропагандѣ, могъ сдѣлаться нашимъ русскимъ пресмыкающимся?

Впослѣдствіи это объяснилось: Гуровскій имѣлъ родственницу, чуть-ли не сестру, замужемъ за шталмейстеромъ Фридрихсомъ, очень приближенную къ государынѣ императрицѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ и очень ею любимую.

Ревель, вмѣсто или подъ видомъ ссылки, послужилъ Гуровскому мѣстомъ службы, да еще какой—основанной на обширной довѣренности къ вѣрноподданническимъ чувствамъ и патріотизму служащаго. Гуровскій, по-свойски, по-польски, позволялъ себѣ иногда зазнаваться.

Мнѣ, напримѣръ, и Крылову онъ прямо объявилъ, что писалъ уже о насъ, куда слѣдуетъ, въ Петербургъ и очень радъ былъ найти въ насъ людей вполнѣ благонадежныхъ.

„Вотъ шельма-то!“ —думаю я:— „сдва только самъ съ висѣлицы сорвался, а беретъ уже на себя смѣлость быть судьею другихъ, ничѣмъ не провинившихся предъ правительствомъ“.

И что́ же? Къ моему удивленію, Гуровскій получилъ предлинное посланіе отъ одного изъ главныхъ рептилій, въ которомъ, сверхъ благодарности Гуровскому, заключались еще отеческія наставленія разнаго рода. Письмо это Гуровскій показывалъ, и не оставалось никакого сомнѣнія у меня, что кривой, никогда не скидающій своихъ синихъ очковъ, польскій аристократъ-революціонеръ (впослѣдствіи родственникъ, если не ошибаюсь, испанской королевской фамиліи) принадлежалъ, по волѣ судебъ, къ классу пресмыкающихся нашего обширнаго государства.

А графъ Гуровскій покончилъ свое пребываніе въ Ревелѣ тѣмъ, что набралъ разныхъ вещей въ лавкахъ, за поручительствомъ Эренбуша, и въ одно прекрасное утро безъ вѣсти исчезъ.

Потомъ, какъ слышно было, этотъ высокорожденный авантюристъ и рептилія появился въ Испаніи.

Въ мою послѣднюю экскурсію въ Ревель я вдругъ занемогъ тогда непонятною еще для меня болѣзнью.

Однажды, сидя за обѣдомъ въ Екатеринеталѣ, я вдругъ почувствовалъ какую-то страшную, никогда небывалую, боль въ лѣвой чревной области. Сначала это была скорѣе какая-то неловкость при движеніи всего тѣла, чѣмъ боль; но потомъ непріятное чувство дѣлалось все сильнѣе и сильнѣе и превратилось въ нестерпимую боль, не позволявшую мнѣ разогнуться; кое-какъ я всталъ изъ-за стола и, въ сопровожденіи Эренбуша, поѣхалъ къ нему на квартиру; по дорогѣ мы заѣхали въ заведеніе ваннъ, поставили мнѣ сухія банки и положили на больное мѣсто горячіе компрессы.

На квартирѣ у Эренбуша я почувствовалъ тошноту, потомъ и рвоту; принялъ рицинное масло, положилъ теплую припарку, заснулъ и всталъ совершенно здоровый.

Но по пріѣздѣ въ Дерптъ боль по временамъ стала навѣщать меня и не давала мнѣ покоя тѣмъ, что я никогда не

моіъ быть увѣренъ, что не почувствую внезапно боли и не буду принужденъ бѣжать домой. Это мѣшало моимъ занятіямъ мѣсяца два и болѣе, пока я не слегъ отъ слабости.

Однажды ночью я просыпаюсь и чувствую, что боль прошла и въ то же самое время показался corpus delicti: чрезвычайно острый, величиною съ ячменное зерно, почечный камушекъ и, какъ показалъ анализъ, чистый оксалатъ.

Образованіе его я приписалъ тогда постоянному употребленію сквернѣйшаго поддѣльнаго французскаго вина. Воды эмбахской я не переносилъ, колодезная разстроивала также мой желудокъ, къ пиву я никогда не могъ привыкнуть, и поневолѣ пилъ прокислое, дешевое вино.

Не прошло и двухъ мѣсяцевъ послѣ моего выздоровленія, какъ началась другая напасть: это мой прежній кишечный катарръ, уже нѣсколько лѣтъ оставившій меня въ покоѣ.

Оттого ли, что я, опасаясь вина, началъ опять пить воду, или же отъ патологической связи страданій двухъ органовъ— почекъ и кишечнаго канала,—только никогда еще разстройство желудка не обнаруживалось у меня съ такою силою и упорствомъ, какъ послѣ страданія почекъ... Я пересталъ лечиться и держать діэту.

Научныя занятія мои продолжались по прежнему; имъ суждено было, однако-же, принять другое направленіе и другіе размѣры.

Отдаленною тому причиною былъ случившійся въ с.-петербургской медико-хирургической академіи казусъ, заставившій ее перевернуться верхъ дномъ.

Положеніе этого единственнаго въ С.-Петербургѣ учебно-медицинскаго высшаго учрежденія было весьма странное: оно состояло въ вѣдомствѣ министерства внутреннихъ дѣлъ; президентомъ его былъ главный военно-медицинскій инспекторъ, баронетъ Виллье, а назначеніе заключалось преимущественно въ приготовленіи военныхъ врачей. Вслѣдствіе этого назначенія, президентъ академіи Виллье счелъ даже ненужнымъ учрежденіе женской и акушерской клиникъ.

— „Солдаты не беременѣютъ и не родятъ, — говорилъ

баронетъ,—и потому военнымъ врачамъ нѣтъ надобности учиться акушерству на практикѣ".

Всѣ профессоры медико-хирургической академіи были изъ воспитанниковъ этой же академіи, что́, конечно, не могло не способствовать развитію непотизма между профессорами, и, какъ это нерѣдко случается, непотизмъ дошелъ до такихъ размѣровъ, что въ профессоры начали избираться исключительно почти малороссы и семинаристы одной губерніи.

За исключеніемъ нѣсколькихъ немногихъ профессоровъ, пріобрѣвшихъ себѣ почетное имя въ русской наукѣ, остальная, большая часть, ни въ научномъ, ни въ нравственномъ отношеніяхъ, ничѣмъ не опережала золотую посредственность.

Въ послѣднее время, однако-же, небольшая нѣмецкая партія профессоровъ медико-хирургической академіи, поддерживаемая немногими русскими, причислила въ профессоры терапевтической клиники завѣдывавшаго морскимъ госпиталемъ, доктора Зейдлица, ученика дерптскаго университета и бывшаго ассистента Мойера, сдѣлавшаго себя уже извѣстнымъ въ наукѣ весьма дѣльнымъ описаніемъ первой холеры въ Астрахани, монографіей о скорбутномъ воспаленіи околосердечной сумки и пріобрѣвшаго себѣ извѣстность въ медицинской петербургской публикѣ своими глубокими практическими свѣденіями. (Зейдлицъ первый въ Россіи началъ примѣнять перкуссію и аускультацію въ госпитальной и частной практикѣ).

Но одна—а я полагаю: и двѣ, и три—ласточка еще не дѣлаетъ весны.

Научный и нравственный уровень петербургской медико-хирургической академіи, въ концѣ 1830-хъ годовъ, былъ, очевидно, въ упадкѣ.

Надо было потрясающему событію произвести переполохъ для того, чтобы произошелъ потомъ поворотъ къ лучшему.

Какой-то фармацевтъ изъ поляковъ, провалившійся на экзаменѣ и приписывавшій свою неудачу на экзаменѣ притѣсненію профессоровъ, принявъ предварительно ядъ (а по другой версіи—напившись до пьяна), вбѣжалъ съ ножемъ (перочиннымъ) въ рукахъ въ засѣданіе конференціи и нанесъ рану въ животъ одному изъ профессоровъ.

Началось слѣдствіе, судъ; приговоръ вышелъ такого рода:

собрать всѣхъ студентовъ и профессоровъ медико-хирургической академіи и въ ихъ присутствіи прогнать виновнаго сквозь строй, а академію, для исправленія нарушеннаго порядка, передать въ руки дежурнаго генерала Клейнмихеля.

Вотъ этотъ-то генералъ, по понятіямъ тогдашняго времени, всемогущій визирь, и вздумалъ передѣлать академію по своему.

Какъ ученикъ и бывшій сподвижникъ Аракчеева, — Клейнмихель не любилъ откладывать осуществленіе своихъ намѣреній въ долгій ящикъ, долго умствовать и совѣщаться.

Несмотря на это, одна мысль въ преобразованіи академіи Клейнмихелемъ была весьма здравая. Онъ непремѣнно захотѣлъ внести новый и прежде неизвѣстный элементъ въ составъ профессоровъ академіи и замѣстить всѣ вакантныя и вновь открывающіяся каѳедры профессорами, получившими образованіе въ университетахъ.

Подсказалъ ли кто Клейнмихелю эту мысль, или она сама, какъ Минерва изъ головы Юпитера, вышла въ полномъ вооруженіи изъ головы могущественнаго визиря,—это осталось мнѣ неизвѣстнымъ. Только въ скоромъ времени въ конференцію вмѣсто одного профессора, получившаго университетское образованіе, явилось цѣлыхъ восемь, и это я считаю важною заслугою Клейнмихеля.

Безъ него академія и до сихъ поръ, можетъ быть, считала бы вреднымъ для себя доступъ чужаковъ въ составъ конференціи.

Но къ здравымъ понятіямъ такой начальнической головы учебнаго учрежденія, какъ Клейнмихеля, не могло не присоединиться и безсмысліе. Клейнмихель объявилъ, что въ самомъ цвѣтущемъ состояніи академія будетъ находиться тогда, подъ его начальствомъ, когда онъ сдѣлаетъ всѣхъ студентовъ казенно-коштными; чтобы ни одного своекоштнаго не было въ академіи. Задавшись этою мыслью, Клейнмихель разослалъ по всѣмъ семинаріямъ имперіи приглашеніе—высылать желающихъ вступить въ академію семинаристовъ, на казенный счетъ, съ тѣмъ, чтобы они подвергались при академіи пробному экзамену, а которые не выдержатъ его, то будутъ отсылаться, на счетъ же академіи, обратно.

Можно себѣ представить, изъ какихъ элементовъ состоялъ этотъ матеріалъ для казенно-коштныхъ студентовъ. Все, что только было плохого въ семинаріяхъ, монахи и попы сбывали съ рукъ въ академію, благодаря казеннымъ прогонамъ и суточнымъ. Мало этого: когда начальство академіи, — какъ оно дрябло ни было,—наконецъ, убѣдилось, что изъ наплыва семинарской дряни ничего не выйдетъ, если ее хотя сколько-нибудь не подготовятъ къ принятію человѣческаго образа, то рѣшено было учредить въ академіи приготовительный классъ для обученія семинарскихъ новобранцевъ грамматикѣ, ариѳметикѣ и, если не ошибаюсь, даже и закону божію.

Для такого новаго попечителя академіи, какимъ былъ сдѣланъ Клейнмихель, конечно, нуженъ былъ и другой президентъ. Профессоръ Бушъ, бывшій вице-президентомъ, вышелъ въ отставку; на мѣсто его, хотя и съ именемъ президента (которое носилъ Виллье), назначенъ былъ самимъ государемъ И. Б. Шлегель; а на каѳедру хирургіи, сдѣлавшуюся свободною по выходѣ въ отставку профессора Буша, Зейдлицъ пригласилъ меня.

Я не согласился занять каѳедру хирургіи безъ хирургической клиники, которою завѣдывалъ не Бушъ, а профессоръ Саломонъ. Но, отказываясь, я въ то же время предложилъ новую комбинацію, съ помощью которой я могъ бы имѣть соотвѣтствующую моимъ желаніямъ каѳедру въ академіи. Комбинацію эту я предложилъ въ видѣ проекта самому Клейнмихелю.

Я указалъ въ моемъ проектѣ на необходимость учрежденія при академіи новой каѳедры: госпитальной хирургіи.

Молодые врачи,—говорилъ я въ моемъ проектѣ,—выходящіе изъ нашихъ учебныхъ учрежденій, почти совсѣмъ не имѣютъ практическаго медицинскаго образованія, такъ какъ наши клиники обязаны давать имъ только главныя основныя понятія о распознаваніи, ходѣ и леченіи болѣзней. Поэтому наши молодые врачи, вступая на службу и дѣлаясь самостоятельными при постели больныхъ, въ больницахъ, военныхъ лазаретахъ и частной практикѣ—приходятъ въ весьма затруднительное положеніе, не приносятъ ожидаемой отъ нихъ пользы и не достигаютъ цѣли своего назначенія. Имѣя въ виду устранить этотъ важный пробѣлъ въ нашихъ учебно-медицинскихъ

учрежденіяхъ, я и предлагалъ, сверхъ обыкновенныхъ клиникъ, учредить еще госпитальныя.

Для казенно-коштныхъ воспитанниковъ, поступающихъ потомъ на военную службу, учрежденіе госпитальной клиники я считалъ уже совершенно необходимымъ.

Въ с.-петербургской медико-хирургической академіи я видѣлъ возможность тотчасъ же приступить къ этому нововведенію, такъ какъ при академіи, почти въ одной и той же мѣстности, находится 2-й военно-сухопутный госпиталь, и оба заведенія—и медико-хирургическая академія, и 2-й военно-сухопутный госпиталь—принадлежатъ одному и тому же военному вѣдомству. Весь госпиталь, съ его 2,000 кроватями, могъ бы. такимъ образомъ, обратиться въ госпитальныя клиники (терапевтическую, хирургическую, сифилитическую, сыпную, etc.).

Проектъ, какъ меня извѣстили, былъ принятъ Клейнмихелемъ.

Между тѣмъ наступали рождественскія вакаціи, и я рѣшился воспользоваться ими и отправиться чрезъ Петербургъ въ Москву, навѣстить матушку.

Пріѣхавъ въ Петербургъ, я первымъ дѣломъ отправился на поклонъ къ новому президенту академіи, Шлегелю.

Иванъ Богдановичъ Шлегель былъ человѣкъ нѣмецкаго происхожденія, вступившій въ русскую военную службу во времена Наполеоновскихъ войнъ. Когда я былъ въ Ригѣ, то русскій военный госпиталь былъ еще полонъ воспоминаніями объ энергической дѣятельности Ивана Богдановича. Въ Москвѣ, куда онъ былъ переведенъ изъ Риги, повторилось то же самое, и въ московскихъ госпиталяхъ онъ оставилъ по себѣ также хорошую память. Ему бы и оставаться тамъ главнымъ докторомъ большого военнаго госпиталя. Это было истинное призваніе Ивана Богдановича.

Шлегель состоялъ когда-то при сыновьяхъ Витгенштейна (Алексѣѣ и Николаѣ) врачемъ и гувернеромъ; онъ и привезъ обоихъ Витгенштейновъ и Тутолмина въ Дерптъ, когда мы были студентами профессорскаго института.

Къ несчастью для себя, И. Б. Шлегель перемѣнилъ свое призваніе и попалъ въ военно-учено-учебное болото. Аккуратнѣйшій изъ самыхъ аккуратныхъ нѣмцевъ, плохо говорившій

по-русски, И. Б. всегда былъ на-вытяжкѣ. Какъ бы рано кто ни приходилъ къ Шлегелю, всегда находилъ его въ военномъ вицмундирѣ, застегнутомъ на всѣ пуговицы, съ Владиміромъ на шеѣ. Въ такомъ нарядѣ и я засталъ его. Онъ и подѣйствовалъ на меня всего болѣе своею чисто-внѣшнею оригинальностью, военною выправкою, аккуратною прическою волосъ, еще мало посѣдѣвшихъ, огромнымъ носомъ и глазами, болѣе наблюдавшими, чѣмъ говорившими.

Шлегель былъ довольно сдержанъ со мною, и посовѣтовалъ непремѣнно представиться Клейнмихелю, что́ я и сдѣлалъ.

Клейнмихель былъ очень любезенъ со мною, уже слишкомъ, что́ къ нему не шло; сквозь ласковую улыбку на лицѣ, оловянные глаза такъ и говорили смотрящему на нихъ: „ты, молъ, смотри, да помни, не забывайся!“

Клейнмихель пригласилъ меня къ себѣ въ кабинетъ, посадилъ и очень хвалилъ мой проектъ. Потомъ прямо объявилъ, что все будетъ сдѣлано; препятствіе можетъ встрѣтиться только въ министерствѣ Уварова, которое онъ, Клейнмихель, надѣется, однако-же, уладить.

Я откланялся, вполнѣ довольный, и поѣхалъ къ Ив. Тимоѳ. Спасскому, въ это время весьма довѣренному лицу у С. С. Уварова.

Отъ Спасскаго я узналъ, что мои намѣренія уже извѣстны въ министерствѣ народнаго просвѣщенія, и что Уваровъ ни за что на свѣтѣ не отпуститъ меня. Я просилъ Ив. Тимоѳеевича содѣйствовать моему плану, объяснилъ ему мои главные мотивы и, казалось, довольно убѣдилъ его; но я узналъ, что эти убѣжденія непрочны. Между тѣмъ Спасскій, узнавъ, что я на другой день отправляюсь въ Москву, предложилъ мнѣ поѣхать оттуда въ тульскую губернію, въ одно имѣніе, адресъ котораго онъ мнѣ сообщитъ, для операціи у одной дѣвочки. Я согласился; мы уговорились о времени и поѣздкѣ.

Пробывъ въ Москвѣ около 9—10 дней, я отправился на сдаточныхъ въ имѣніе,—имени помѣщика теперь не помню навѣрное: Нащекина, Еропина или Полуэхтова, котораго-то изъ столбовыхъ; имѣніе находилось на границахъ тульской губерніи съ орловскою. Послѣ разныхъ продѣлокъ сдаточныхъ ям-

щиковъ, я къ вечеру на другой день въѣхалъ въ огромное, барское помѣстье.

Великолѣпный старинный дворецъ въ огромномъ паркѣ. Въ домѣ, гдѣ мнѣ отвели помѣщеніе, было 150 нумеровъ, въ каждомъ не менѣе 2-хъ комнатъ, и одна изъ нихъ съ большущею 2-хъ-спальною кроватью, изъ краснаго дерева, съ золотыми украшеніями.

Надъ кроватью — широкая кисейная розово-зеленоватаго цвѣта палатка; вмѣсто досокъ въ головахъ и ногахъ у кровати—по большому зеркалу.

Пара, ложившаяся въ постель, могла созерцать свои тѣлеса въ разныхъ положеніяхъ отраженными на зеркальныхъ поверхностяхъ и притомъ отсвѣченными зеленовато-розовымъ колеромъ.

Можно представить себѣ, что̀ творилось во времена о̀ны въ этихъ 150 нумерахъ, когда съѣзжались сюда на охоту и на барскія о̀ргіи разнаго рода па̀ры. Теперь, т.-е. не теперь, когда пишу, а когда посѣщалъ этотъ домъ, остались только нумера и кровати, но па̀ры уже не съѣзжались болѣе.

Я провелъ ночь въ этой, никогда еще не испытанной мною, обстановкѣ; признаюсь, мнѣ вовсе не было пріятно видѣть себя поутру отражающимся въ двухъ зеркалахъ.

Въ этотъ же день операція, вырѣзываніе миндалевидныхъ желѣзъ у 8-лѣтней дѣвочки, была сдѣлана, и я остался еще на одну ночь у гг... ...

Вечеромъ за чайнымъ столомъ насъ было только трое: хозяинъ (еще довольно бодрый господинъ), хозяйка (очень милая и пріятная дама, лѣтъ около 40) и я. Зашла рѣчь о старинѣ, о томъ, что̀ бывало и чего не стало. И тутъ услыхалъ я отъ хозяина два разсказа, памятные мнѣ и до сихъ поръ,—такъ были необыкновенны для меня тогда событія, составляющія предметъ этихъ разсказовъ.

Въ обоихъ дѣйствующимъ лицомъ былъ самъ разсказчикъ, и потому надо было ему вѣрить на-слово, что̀ я и сдѣлалъ.

— „У меня не было и ни у кого не будетъ такого вѣрнаго друга, каковъ былъ Толстой (американецъ),—передавалъ мнѣ разсказчикъ-хозяинъ.—Однажды, подгулявъ, я поссорился у него за обѣдомъ съ однимъ товарищемъ, дуэлистомъ

и забіякою; ссора кончилась вызовомъ. Толстой взялся быть нашимъ секундантомъ на другой день рано утромъ.

„Я не спалъ цѣлую ночь и, вставъ съ постели чѣмъ свѣтъ, пошелъ пройтись; а въ назначенный часъ отправился звать Толстого, по уговору.

„Къ удивленію, нахожу ставни и двери его квартиры запертыми; стучусь, вхожу, бужу моего секунданта. Насилу онъ просыпается.

„— Что тебѣ?

„— Какъ что мнѣ! развѣ забылъ? а дуэль?

„— Какой вздоръ!—отвѣчаетъ Толстой:—развѣ я могъ бы, какъ честный хозяинъ, позволить тебѣ драться, съ этимъ забіякою и ярыжникомъ! Я вчера же, какъ ты ушелъ, самъ вызвалъ его на дуэль, и вчера же вечеромъ мы дрались. Дѣло покончено.

„Съ этими словами Толстой повернулся отъ меня на другой бокъ и заснулъ.

„Такихъ людей, какъ Толстой, немного на свѣтѣ“.

Затѣмъ послѣдовалъ—уже не помню, à propos de quoi—второй разсказъ.

— „Мы стояли въ Персіи. Скука была смертная, а денегъ было много; придумывали разныя забавы. Я жилъ у одного персіянина, отца семейства, и, узнавъ, что у него есть дочь-невѣста, вздумалъ посвататься. Сначала, разумѣется, отецъ и слышать не хотѣлъ; но когда онъ провѣдалъ чрезъ одного армянина, что я—обладатель цѣлой груды червонцевъ, то мало-по-малу началъ сдаваться и торговаться.

„Наконецъ, дѣло сладили: уговорились, что я женюсь формально, по русскому обряду, при свидѣтеляхъ, и что невѣста сниметъ свое покрывало передъ вѣнчаніемъ. На этомъ въ особенности я настаивалъ, надѣясь покончить все дѣло вздоромъ, если окажется рожа. Я пригласилъ товарищей всего полка на свадьбу. Былъ между ними и подставной попъ, и подставные дьячки. Когда невѣста сняла покрывало, то оказалась такою восточною красавицею, какой никто изъ присутствующихъ никогда еще не видывалъ. Всѣ такъ и ахнули. Послѣ импровизированной свадьбы я зажилъ съ моею красавицею-женою въ домѣ тестя. Жили мы болѣе года, прижили ребенка. Вдругъ—

походъ. Жена моя собралась-было со мною, и ни за что на свѣтѣ не хотѣла оставаться у отца. Но я и товарищи, знакомые принялись такъ сильно ее уговаривать, что она, наконецъ, рѣшилась остаться дома и ждать, пока я самъ пріѣду за нею".

Въ это время разсказа я невольно посмотрѣлъ пристально на хозяйку, жену повѣствователя. Смотрю, — кажется, непохожа на персіянку, чисто русскій типъ. Повѣствователь замѣтилъ мой пристальный взглядъ, и сейчасъ же обратился ко мнѣ съ объясненіемъ:

— „Это не она, не она; та далеко, Богъ ее знаетъ гдѣ; съ тѣхъ поръ о ней—ни слуху, ни духу!"

А наша хозяйка спокойно продолжала въ это время разливать намъ чай...

Черезъ сутки я былъ уже въ орловскомъ имѣніи Мойера. Уже давно думалъ я, что мнѣ слѣдовало бы жениться на дочери моего почтеннаго учителя; я зналъ его дочь еще дѣвочкою; я былъ принятъ въ семействѣ Мойера какъ родной. Теперь же положеніе мое довольно упрочено, — почему бы не сдѣлать предложеніе?

Въ имѣніи Мойера я пробылъ дней десять. Екатерину Ивановну (дочь Мойера) нашелъ уже взрослою невѣстою, и рѣшился, по возвращеніи въ Москву, отнестись съ предложеніемъ письмомъ къ Екатеринѣ Аѳанасьевнѣ, всегда мнѣ благоволившей. Прощаясь со мною, и Екатерина Аѳанасьевна, и все семейство Мойера просили меня заѣхать въ Москвѣ къ племянницѣ ея, г-жѣ Елагиной.

Пріѣхавъ въ Москву и запасшись письмомъ къ Екатеринѣ Аѳанасьевнѣ (письмо было длинное, сентиментальное и, какъ я теперь думаю, довольно глупое), я отправился къ Елагиной. Домъ ея былъ извѣстенъ всей образованной Москвѣ. Я былъ принятъ очень любезно. Начались разспросы и разсказы о семействѣ Мойера, Буниной, Воейковыхъ и Жуковскомъ, и при этихъ-то разсказахъ я услышалъ отъ самой Елагиной ея чудное свиданіе съ женою Мойера. И Елагина, и жена Мойера (урожденная Протасова, дочь Екат. Аѳ.) были подругами дѣтства, необыкновенно привязанными другъ къ другу. Обѣ онѣ вышли почти въ одно время замужъ. У Елагиной

былъ грудной ребенокъ, и она только-что успѣла покормить его грудью и сдать на руки кормилицѣ, какъ увидала вошедшую къ ней жену Мойера. Елагина бросилась въ объятія нежданной гостьи и тутъ же почувствовала, что падаетъ въ обморокъ. Придя въ себя, она узнала, что никто не пріѣзжалъ и никто въ комнату не входилъ, а чрезъ нѣсколько дней узнала также, что жена Мойера на дняхъ скончалась, и, какъ оказалось по справкамъ Жуковскаго, скончалась именно въ этотъ день и часъ, когда ее видѣла у себя Елагина.

Прощаясь, я попросилъ Елагину на минуту переговорить со мною однимъ, безъ свидѣтелей, и тутъ же вручилъ ей мое письмо къ Екатеринѣ Аѳанасьевнѣ, объяснивъ притомъ и его содержаніе. Я замѣтилъ, что Елагина, принимая мое посланіе, улыбнулась, и улыбка ея мнѣ показалась, почему-то, сомнительною.

Черезъ мѣсяцъ я получилъ въ Дерптѣ отвѣтъ отъ Екатерины Аѳанасьевны и отъ самого Мойера.

И отецъ, и бабушка Екатерины Ивановны весьма сожалѣли, что должны отказать мнѣ.

Катя ихъ—объяснили они оба мнѣ—уже обѣщана давно сыну Елагиной. Всѣ обстоятельства и родственныя связи благопріятствовали этому браку.

Прочитавъ отказъ, я вспомнилъ про улыбку Елагиной.

Черезъ годъ послѣ этого отказа одна мною высокочтимая дама (Екат. Ник. Дагоновская),—никогда не лгавшая,—разсказывала мнѣ о разговорѣ, который она имѣла съ Екат. Иван. Мойеръ на пароходѣ, при отъѣздѣ за границу.

— „Женѣ Пирогова—говорила Е. И. Мойеръ, ѣхавшая за границу вмѣстѣ съ Елагиной—надо опасаться, что онъ будетъ дѣлать эксперименты надъ нею“.

Говоря это, Е. И. Мойеръ конечно, не знала, что черезъ годъ придется ей писать въ лестныхъ выраженіяхъ поздравительное письмо къ подругѣ своего дѣтства, Екатеринѣ Дмитріевнѣ Березиной, не побоявшейся мучителя дерптскихъ собакъ и кошекъ и выходившей за него безтрепетно замужъ.

Мѣсяцевъ десять прошло въ перепискѣ между министерствами народнаго просвѣщенія и военнымъ и между департаментами

военнаго министерства о моемъ перемѣщеніи и объ учрежденіи новой должности при военномъ госпиталѣ.

Я, между тѣмъ, переписывался съ министромъ Уваровымъ и директоромъ Спасскимъ. Наконецъ, наша взяла.

Уваровъ долженъ былъ уступить Клейнмихелю.

Тѣмъ временемъ произошло и еще новое преобразованіе въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ и въ министерствѣ народнаго просвѣщенія.

Въ первомъ изъ нихъ произошло перерожденіе медицинскаго совѣта, а во второмъ—учрежденіе особой коммиссіи по дѣламъ, касающимся медицинскихъ факультетовъ.

Прежній медицинскій совѣтъ министерства внутреннихъ дѣлъ былъ такое странное учрежденіе, что члены его имѣли право дѣлать докторами медицины, безъ экзамена, другъ друга и другихъ лицъ, имъ нравившихся.

Говорятъ, что при учрежденіи этого совѣта, когда его предсѣдателю удалось выхлопотать новыя права, происходилъ in pleno (въ полномъ засѣданіи) слѣдующій наивный обмѣнъ мыслей:

— „Василій Васильевичъ, честь имѣю васъ поздравить со степенью доктора медицины!“

— А вамъ, Ѳедоръ Ѳедоровичъ (примѣрно), желательно быть медико-хирургомъ?

— „Нѣтъ, еслибы угодно было вашему превосходительству выхлопотать мнѣ землицы, то я предпочелъ бы это награжденіе наградѣ ученою степенью“, и т. п.

Въ началѣ же 1840-хъ годовъ все перемѣнилось подъ нашимъ зодіакомъ.

Лейбъ-медикъ государыни императрицы сталъ предсѣдателемъ медицинскаго совѣта (Мерк. Алекс. Маркусъ), а совѣтъ, лишась прежняго своего права дарить (безъ экзамена) ученыя степени, сдѣлался чисто лишь административно-и судебно-врачебнымъ учрежденіемъ.

Въ это время и я былъ выбранъ въ члены медицинскаго совѣта.

Медицинская коммиссія при министерствѣ народнаго просвѣщенія состояла подъ предсѣдательствомъ также Маркуса, изъ

четырехъ членовъ: Спасскаго, лейбъ-медика Рауха, профессора Зейдлица и меня.

Всѣ дѣла и даже выборы медицинскаго факультета всѣхъ русскихъ университетовъ проходили чрезъ наши руки. Особливо же вновь учреждавшійся въ то время медицинскій факультетъ кіевскаго университета (св. Владиміра) почти всецѣло учреждался и избирался въ нашей коммиссіи. Наконецъ, самымъ важнымъ дѣломъ нашей коммиссіи былъ пересмотръ статута объ экзаменѣ на медицинскія степени.

Въ старомъ экзаменаціонномъ статутѣ допускались цѣлыхъ шесть медицинскихъ степеней: три степени лекаря (лекарь 1-го, 2-го и 3-го отдѣленія), докторъ медицины, докторъ медицины и хирургіи и медико-хирургъ.

Я предложилъ сокращеніе на двѣ степени: лекаря и доктора медицины; но мой проектъ не прошелъ, и вмѣсто двухъ приняты были три степени (лекарь, докторъ медицины, докторъ медицины и хирургіи).

Я настаивалъ, чтобы при факультетскихъ экзаменахъ на степень требовались отъ экзаменующихся—вмѣсто разныхъ дробей или отмѣтокъ въ родѣ: „удовлетворительно“, „посредственно“, „хорошо“, „отлично“ и т. п.—только двѣ отмѣтки или двѣ поправки: отвѣта „да“ и „нѣтъ“ на вопросы по каждому предмету: достоинъ степени, на которую экзаменуется, или недостоинъ?

Введеніе демонстративныхъ испытаній изъ анатоміи, терапіи и хирургіи предложено было также мною, и принято единогласно.

Новая каѳедра госпитальной хирургіи и терапіи, учрежденная по моему проекту въ с.-петербургской медико-хирургической академіи, была принята нашею коммиссіею и утверждена министерствомъ народнаго просвѣщенія для всѣхъ русскихъ университетовъ.

Вотъ мои заслуги по дѣламъ медицинской коммиссіи министерства народнаго просвѣщенія.

Время моего отъѣзда изъ Дерпта въ Петербургъ мнѣ памятно.

Я не могу назвать себя робкимъ, но есть случаи, повиди-

мому, весьма маловажные, которые могутъ привести въ сильнѣйшее волненіе мои нервы,—до того сильное, что я невольно начинаю трусить чего-то, самъ не понимая, чего. Это случалось со мною вообще рѣдко. Но два случая я живо помню.

Одинъ изъ нихъ былъ въ Дерптѣ. Когда я приготовился совсѣмъ къ отъѣзду и опорожнилъ мою квартиру (4 комнаты) отъ всей подвижной собственности, и остался совершенно одинъ, отъ скуки, предстоявшей мнѣ въ теченіе 2 — 3 дней, я началъ читать романы Гофмана; и лишь только начинался вечеръ, невыразимый страхъ овладѣвалъ мною, и до того сильно, что я не могъ преодолѣть себя, чтобы выйти въ другую комнату. Мнѣ все казалось, что тамъ кто-то сидитъ или стоитъ. Между тѣмъ я уже не разъ читалъ романы Гофмана и другія повѣсти въ этомъ родѣ, и никогда не замѣчалъ надъ собою ничего подобнаго.

Во второй разъ я замѣтилъ надъ собою невыразимый страхъ однажды при путешествіи по Швейцаріи. Я шелъ ночью, часовъ въ 10, въ Интерлакенъ.

Ночь была превосходная, лунная, тихая. На шоссе, по которому я шелъ, мнѣ не повстрѣчался ни одинъ человѣкъ; все было тихо и уединенно. Слышался только шелестъ листьевъ и журчаніе ручейковъ. Сначала я шелъ бодро и весело, но мало-по-малу меня началъ одолѣвать страхъ; мнѣ начало мерещиться, что кто-то идетъ сзади меня въ нѣкоторомъ разстояніи. Это казалось мнѣ до того ясно, что я невольно останавливался и ворочался назадъ. Наконецъ, не вытерпѣвъ, отъ страха почти побѣжалъ бѣгомъ, такъ что въ Интерлакенъ пришелъ запыхавшись и весь въ поту.

Пріѣхавъ послѣ праздника (1841 г.) въ Петербургъ, я долженъ былъ представиться, уже какъ подчиненный, Клейнмихелю.

Теперь онъ уже считалъ себя не въ правѣ быть любезнымъ со мною по прежнему, – и принялъ меня уже не въ кабинетѣ, а въ общей пріемной залѣ, вмѣстѣ со многими другими лицами. Оловянные глаза уже смотрѣли иначе, и когда я имѣлъ глупость напомнить имъ объ обѣщанной мнѣ, яко-бы, квартирѣ, то они посмотрѣли на меня не по прежнему. Съ этого

дня я уже не видалъ болѣе ни разу оловянныхъ глазъ моего начальника и, конечно, ни мало не сожалѣю объ этомъ.

По присланной мнѣ инструкціи, я назначался завѣдывать самостоятельно всѣмъ хирургическимъ отдѣленіемъ 2-го военно-сухопутнаго госпиталя, съ званіемъ главнаго врача хирургическаго отдѣленія.

Врачебныя и учебныя мои дѣйствія по этому отдѣленію госпиталя, заключавшему въ себѣ до 1,000 кроватей, были совершенно независимы отъ госпитальнаго начальства, и только по дѣламъ госпитальной администраціи я обязанъ былъ сноситься съ главнымъ докторомъ госпиталя.

Вмѣстѣ съ этимъ я назначался профессоромъ госпитальной хирургіи и прикладной анатоміи при медико-хирургической академіи.

Осмотрѣвъ все хирургическое отдѣленіе госпиталя, я убѣдился въ его по истинѣ ужасъ наводящемъ положеніи.

Вся вентиляція огромныхъ палатъ (на 60—100 кроватей) въ главномъ каменномъ корпусѣ основывалась на длинномъ корридорѣ, а вентиляція корридора—на ретирадникахъ. Дѣйствительно, въ корридоръ несло постоянно изъ ватерклозетовъ. Другія отдѣленія госпиталя, въ нѣкоторомъ отношеніи еще лучшія, помѣщались въ деревянныхъ отдѣльныхъ домахъ, въ каждомъ до 70 и болѣе кроватей. Вентиляція въ нихъ была натуральная, безъ корридоровъ; сырость неисправимая. Въ гангренозномъ отдѣленіи, содержавшемъ въ себѣ еще больныхъ, остававшихся послѣ леченій доктора Флоріо громадными меркуріальными втираніями, сердце надрывалось видомъ молодыхъ, здоровыхъ гвардейцевъ съ гангренозными бубонами, разрушавшими всю брюшную стѣнку. Палаты госпиталя были переполнены больными съ рожистыми воспаленіями, острогнойными отеками и гнойнымъ зараженіемъ крови.

Для операціонныхъ не было ни одного, хотя плохого, помѣщенія.

Тряпки подъ припарки и компрессы переносились фельдшерами, безъ зазрѣнія совѣсти, отъ ранъ одного больного къ другому. Лекарства, отпускавшіяся изъ госпитальной аптеки, были похожи на что угодно, только не на лекарства. Вмѣсто хинина, напримѣръ, сплошь да рядомъ отпускалась бычачья

желчь, вмѣсто рыбьяго жира—какое-то иноземное масло. Хлѣбъ и вся вообще провизія, отпускавшіеся на госпитальныхъ, были ниже всякой критики.

Воровство было не ночное, а дневное. Смотрители и коммиссары проигрывали по нѣскольку сотъ рублей въ карты ежедневно. Мясной подрядчикъ, на виду у всѣхъ, развозилъ мясо по домамъ членовъ госпитальной конторы. Аптекарь продавалъ на сторону свои запасы уксуса, разныхъ травъ и т. п. Въ послѣднее время дошло и до того, что госпитальное начальство начало продавать подержанные и снятые съ ранъ: корпію, повязки, компрессы, и проч., и для этой торговой операціи складывало вонючія тряпки, снятыя съ ранъ, въ особыя камеры, расположенныя возлѣ палатъ съ больными.

Главный докторъ госпиталя былъ ст. сов. Лоссіевскій, именуемый у своихъ товарищей Буцефаломъ или Букефаломъ. Хотя извѣстная французская поговорка: „grande tête, grande bête“—и грѣшитъ противъ физіологіи, но нѣтъ правилъ, даже и физіологическихъ, безъ исключенія. Въ отношеніи къ головѣ Лоссіевскаго, физіологія оказалась, дѣйствительно, неправою, какъ это окажется впослѣдствіи.

Такъ какъ госпиталь, вслѣдствіе новыхъ учрежденій, подчинился теперь въ учебномъ отношеніи медико-хирургической академіи, то и Лоссіевскій очутился между двухъ начальниковъ: между президентомъ медико-хирургической академіи (Шлегелемъ) и директоромъ военно-медицинскаго департамента (Дм. Клем. Тарасовымъ).

По осмотрѣ госпиталя, я нашелъ множество больныхъ, требовавшихъ разныхъ операцій, особенно ампутацій и резекцій, вскрытія глубокихъ фистулъ, извлеченія секвестровъ, и т. п.

Это были все застарѣлые, залежавшіеся въ худомъ госпиталѣ больные, зараженные уже піэміей или пораженные цингою отъ худого содержанія...

Я сдѣлалъ огромный промахъ и грубую ошибку, сильно отразившуюся потомъ на моей практической дѣятельности. Еще болѣе, чѣмъ промахъ, былъ проступокъ противъ нравственности. И промахъ, и проступокъ, состояли въ моемъ приступѣ къ энергическимъ хирургическимъ производствамъ, — не разсмотрѣн-

нымъ и не анализированнымъ достаточно ни съ научной, ни съ нравственной стороны,—множества изъ случаевъ, подвергнутыхъ мною операціи. Съ научной стороны былъ большой промахъ то, что я сообразилъ приняться съ нѣмецкимъ усердіемъ за этихъ больныхъ, не обративъ вниманія на ту неблагопріятную обстановку госпитальной конституціи, при которой я подвергалъ больныхъ операціи.

22-го октября 1881.

Ой, скорѣе, скорѣе! Худо, худо! Такъ, пожалуй, не успѣю и половины петербургской жизни описать...

Начну съ Букефаловой глупости. Это не по порядку.

Прошло уже года два моей госпитальной службы, какъ вдругъ однажды Букефалъ Лоссіевскій призываетъ моего ассистента и ординатора госпиталя, Неммерта, и спрашиваетъ его: не замѣтилъ ли онъ чего особеннаго въ моемъ поведеніи?

Неммертъ говоритъ, что—нѣтъ.

— А почему же онъ (т.-е. я) прописываетъ въ такихъ большихъ пріемахъ наркотическія средства; онъ однажды прописалъ: extract. Hyosciami до 5 гр. pro dosi?

— „Я не знаю“,—отвѣчаетъ Неммертъ:—„спросите сами у г. профессора“.

Тогда Лоссіевскій призываетъ Неммерта въ госпитальную контору и приказываетъ ему, какъ подчиненному, расписаться въ принятіи запечатаннаго пакета съ надписью: „секретно“, подъ №...

Неммертъ беретъ. Въ секретной бумагѣ значится:

„Замѣтивъ въ поведеніи г. Пирогова нѣкоторыя дѣйствія, свидѣтельствующія объ его умопомѣшательствѣ, предписываю вамъ слѣдить за его дѣйствіями и доносить объ оныхъ мнѣ. Гл. д-ръ Лоссіевскій“.

Но прежде, чѣмъ вся эта исторія произошла, я получилъ отъ Лоссіевскаго однажды бумагу, въ которой онъ мнѣ писалъ слѣдующее:

„Замѣтивъ, что въ вашемъ отдѣленіи издерживается огромное количество іодовой настойки, которою вы смазываете

напрасно кожу лица и головы, я предписываю вамъ пріостановить употребленіе столь дорогого лекарства и замѣнить его болѣе дешевыми. Лоссіевскій.“

Я взялъ эту бумагу, да и отправилъ ее назадъ Лоссіевскому съ слѣдующимъ объясненіемъ:

„На ваше отношеніе №..... честь имѣю увѣдомить ваше высокородіе, что вы не въ правѣ дѣлать мнѣ никакихъ предписаній относительно моихъ дѣйствій при постели больныхъ.

„Если же вы находите, что я расходую лекарства не по госпитальному каталогу, то вамъ слѣдуетъ обратиться съ извѣщеніемъ о томъ къ нашему общему начальнику, г. президенту медико-хирургической академіи.“

Вотъ эта-то бумага, а не экстрактъ бѣлены, и была причиною секретнаго предписанія Неммерту. А про extractum Hyosciami я сказалъ Лоссіевскому: „велите-ка ваши экстракты приготовлять дѣйствительно изъ наркотическихъ средствъ, а не изъ золы разныхъ растеній“.

Когда Неммертъ получилъ бумагу, то онъ принесъ ее ко мнѣ и спрашивалъ: что́ дѣлать? Я отвѣчалъ: „ступайте къ президенту Шлегелю и спросите его“.

Шлегель же, по словамъ Неммерта, спросилъ его, улыбаясь: — „Вѣдь вы, однако, ничего не замѣтили?—Ну, любезнѣйшій, такъ оставьте бумагу при васъ и никому не показывайте“.

Когда я узналъ этотъ отвѣтъ, то я просилъ Неммерта одолжить мнѣ бумагу на одинъ часъ времени, обѣщаясь ему, что это нисколько не повредитъ его служебной дѣятельности.

Неммертъ мнѣ далъ, и я съ этою бумагою въ рукахъ тотчасъ же отправился къ нашему попечителю, дежурному генералу Веймарну, объявивъ ему, что я подаю сейчасъ просьбу объ отставкѣ, если всему этому вопіющему дѣлу не будетъ дано хода.

Веймарнъ былъ видимо смущенъ, но успокоилъ меня обѣщаніемъ, что завтра же будетъ имъ все улажено, и если я и тогда останусь недоволенъ, то могу дать всему законный ходъ.

Сейчасъ за моимъ уходомъ Веймарнъ послалъ фельдъегеря за Лоссіевскимъ, и его, раба божія, привезъ фельдъегерь съ собою въ штабъ. На другой день въ госпиталѣ была получена

бумага, въ которой предписывалось Лоссіевскому, въ присутствіи президента Шлегеля, ординатора Неммерта, писаря, писавшаго бумагу, и всѣхъ видѣвшихъ ее членовъ госпитальной конторы—просить у меня прощенія въ убѣдительнѣйшихъ выраженіяхъ, и если я (Пироговъ) не соглашусь извинить дерзкій поступокъ Лоссіевскаго, то всему дѣлу будетъ данъ законный ходъ.

На другой день, утромъ, меня пригласили въ контору госпиталя, и тамъ разыгралась истинно позорная, и притомъ дѣтски-позорная, сцена.

Лоссіевскій, въ парадной формѣ, со слезами на глазахъ, дрожащимъ голосомъ и съ поднятіемъ рукъ къ небу, просилъ у меня, извиненія за свою необдуманность и дерзость, увѣряя, что впредь онъ мнѣ никогда не дастъ ни малѣйшаго повода къ неудовольствію.

Тутъ же, въ присутствіи президента, я ему показалъ на мерзѣйшій хлѣбъ, розданный больнымъ, и замѣтилъ, что это его прямая обязанность въ госпиталѣ—наблюденіе за порядкомъ, пищею и всею служебною администраціею.

Тѣмъ дѣло о моемъ умопомѣшательствѣ и кончилось.

Съ тѣхъ поръ Лоссіевскій сдѣлался тише воды, ниже травы, да впрочемъ чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ онъ былъ перемѣщенъ въ Варшаву.

Друзья Лоссіевскаго, такіе же, какъ и онъ, protégés баронета Виллье, упросили этого медицинскаго сановника замолвить слово о Лоссіевскомъ у фельдмаршала Паскевича.

Когда Паскевичъ пріѣхалъ въ Петербургъ, то ему выслали на показъ двухъ главныхъ докторовъ для Варшавы. Паскевичъ, проходя чрезъ пріемный покой, мимоходомъ указалъ на Лоссіевскаго, сказавъ: „вотъ этого“.

Лоссіевскій угостилъ за это своихъ протекторовъ хорошимъ обѣдомъ, на который позванъ былъ и баронетъ. За обѣдомъ Виллье сидѣлъ возлѣ Лоссіевскаго и, во время медицинской бесѣды о трудности въ прощупываніи зыбленія, подставилъ свою заднюю часть тѣла Лоссіевскому, съ громкимъ вызовомъ: „ну-ка, ты, прощупай-ка здѣсь зыбленіе“.

Всѣ, разумѣется, засмѣялись остротѣ баронета, а Лоссіевскій уѣхалъ на лучшее мѣсто въ Варшаву.

Въ Варшавѣ, однако-же, не посчастливилось Буцефалу. Вѣрно, онъ слишкомъ разворовался.

Императоръ Николай, разъ наѣхавъ въ варшавскій госпиталь ненарокомъ, разомъ открылъ цѣлую массу злоупотребленій и дневного воровства. Лоссіевскаго засадили на гауптвахту и отдали подъ судъ. Потомъ онъ, разжалованный въ ординаторы, окончилъ жизнь въ Кіевѣ, какъ я слышалъ, отъ запоя.

Моему ассистенту Неммерту пригрозилъ-было при мнѣ Шлегель, послѣ того какъ Лоссіевскій извинился. Но я остановилъ президента словами: „Профессоръ Неммертъ поступилъ тутъ какъ честный и благородный человѣкъ, и я не вижу, за что вы такъ несправедливо относитесь съ выговоромъ къ Неммерту; я могъ бы принять вашъ неумѣстный выговоръ на мой счетъ—и не согласиться, въ такомъ случаѣ, на извиненіе Лоссіевскаго“.

Шлегель прикусилъ языкъ, и съ тѣхъ поръ я не замѣчалъ никакихъ притѣсненій по службѣ.

Неммерта Лоссіевскій звалъ даже ѣхать въ Варшаву!

Кстати скажу нѣсколько словъ о моемъ свиданіи, единственномъ и непродолжительномъ, съ баронетомъ Виллье.

По случаю изданія моей прикладной анатоміи (на русскомъ и на нѣмецкомъ языкахъ—изданіе Ольхина, не окончившееся по причинѣ его банкротства), я въ одинъ и тотъ же день посѣтилъ двухъ нужныхъ людей: министра Канкрина, у котораго надо было испросить разрѣшеніе на ввозъ безпошлинно веленевой бумаги для литографіи, и у Виллье, который могъ способствовать распространенію изданія въ военныхъ библіотекахъ.

Для обоихъ этихъ господъ я принесъ иллюминованные экземпляры атласа.

Графъ Канкринъ, поглядѣвъ на нихъ, тотчасъ же разрѣшилъ безпошлинный провозъ бумаги, замѣтивъ только о моихъ анатомическихъ рисункахъ: „Es sind sehr schöne, aber auch sehr traurige Dinge“.

Это замѣчаніе было если и не умно, то, по крайней мѣрѣ, не глупо.

Виллье же, посмотрѣвъ на мои рисунки, началъ что-то тараторить скороговоркою, чего я никакъ понять не могъ; слышалъ только на ломаномъ русскомъ языкѣ слова: „оксигенъ, артеріальная и венозная кровь“, и т. д.

Что́ хотѣлъ выразить своимъ страннымъ діалогомъ баронетъ, того я ни тогда, ни послѣ, никакъ не могъ себѣ объяснить. Тѣмъ дѣло и кончилось.

Я, видя, что конца не будетъ этой болтовнѣ, поблагодарилъ баронета за его привѣтствіе и ушелъ.

Согласіе на покупку атласа для военныхъ библіотекъ послѣдовало.

А о баронетѣ Виллье самое послѣднее извѣстіе, полученное мною, состояло въ томъ, что кто бы къ нему въ послѣднее время ни являлся, всѣ заставали его, вмѣстѣ съ однимъ старымъ ординаторомъ, читающимъ послужной списокъ баронета, причемъ всякій разъ, при прочтеніи какой-либо награды, Виллье заставлялъ это мѣсто прочесть еще нѣсколько разъ, приговаривая при этомъ:

— Это удивительно! Какъ, напримѣръ, Анну 2-й степени за сраженіе подъ Аустерлицемъ? Прочитай-ка мнѣ еще разъ. Это удивительно!

Что старики удивляются и хотятъ удивить другихъ полученными ими орденами, это вовсе неудивительно. Когда, въ 1838 г., я навѣстилъ (вмѣстѣ съ докторомъ Амюссà) стараго Ларрея въ Парижѣ, то онъ намъ также тотчасъ показалъ свой орденъ съ золотомъ вышитыми на лентѣ словами: „Bataille d'Austerlitz“.

Но Ларрей скрылъ, по крайней мѣрѣ, свое удивленіе, а сказалъ только: „vous voyez, m-r, ce n'est pas dans les antichambres que j'ai reçu mes décorations“, намекая этимъ, разумѣется, на современные гражданскіе ордена Франціи.

Въ теченіе цѣлаго года, по прибытіи моемъ въ Петербургъ, я занимался изо дня въ день въ страшныхъ помѣщеніяхъ 2-го военно-сухопутнаго госпиталя, съ больными и оперированными, и въ отвратительныхъ до невозможности, старыхъ баняхъ этого же госпиталя; въ нихъ, за неимѣніемъ другихъ помѣщеній, я производилъ вскрытія труповъ, иногда по 20 въ

день, въ лѣтніе жары; а зимою, во время ледохода (ноябрь, декабрь), переѣзжалъ ежедневно по два раза на Выборгскую, пробиваясь иногда часа по два между льдинами.

Въ концѣ лѣта я началъ замѣчать небывалыя прежде явленія послѣ каждаго госпитальнаго визита. Я сталъ чувствовать то головокруженіе или легкую лихорадочную дрожь, то схватки въ животѣ, съ желчнымъ, жидкимъ испражненіемъ.

Такъ длилось до февраля 1842 г. Въ этомъ мѣсяцѣ я вдругъ такъ ослабѣлъ, что долженъ былъ слечь въ постель.

Что́ ни дѣлали д-ра Лерхе, Раухъ и Зейдлицъ—ничто не помогало. Никто изъ нихъ не могъ опредѣлить мою болѣзнь. Одинъ Раухъ еще болѣе другихъ, должно быть, угадалъ, приписавъ ее моимъ госпитальнымъ и анатомическимъ занятіямъ. Трудно, въ самомъ дѣлѣ, сказать, что́ это было за страданіе и какого органа.

Жара почти не было. Пульсъ былъ скорѣе медленный, чѣмъ учащенный; полное отвращеніе къ пищѣ и питью; продолжительные запоры, безсонница, продолжавшаяся цѣлый мѣсяцъ, слабость.

Вся болѣзнь продолжалась ровно шесть недѣль. Я лежалъ, не двигаясь, безъ всякихъ лекарствъ, потерявъ къ нимъ всякое довѣріе.

Наконецъ, хотя не имѣя бреда, но съ головою не совершенно свободною, я потребовалъ теплую ароматическую ванну. Мои домашніе не посмѣли мнѣ отказать, а дѣло было уже вечеромъ.

Послѣ ванны со мною сдѣлалась какая-то пертурбація во всемъ организмѣ; бреда настоящаго не появилось, но мнѣ казалось, что я леталъ, и что-то постоянно говорилъ. Черезъ нѣсколько часовъ у меня сдѣлался необыкновенно сильный ознобъ. Я чувствовалъ, какъ меня во время сотрясательной дрожи всего приподнимало съ кровати. Затѣмъ вдругъ и сердце начало замирать; я почувствовалъ, что обмираю, и закричалъ, что есть силы, чтобы на меня лили холодную воду. Вылили ведра три и очень скоро. Обморокъ прошелъ и съ тѣмъ вмѣстѣ послѣдовало непроизвольное и чрезвычайно сильное желчное испражненіе, послѣ котораго явился потъ, продолжавшійся

цѣлыхъ 12 часовъ. Тогда наступило быстрое выздоровленіе при помощи хинина и хереса.

Нѣсколько времени послѣ этой болѣзни, когда я купался уже для укрѣпленія въ морѣ (въ Ревелѣ), у меня появился мой прежній (дерптскій) черножелчный поносъ, причемъ ни аппетитъ, ни общее здоровье нисколько не были нарушены.

Какъ только наступило выздоровленіе, такъ появился вдругъ позывъ къ куренію табаку. До 30-ти лѣтъ я ни разу ничего не курилъ; цѣлые часы проводилъ въ анатомическомъ театрѣ, и ни разу не чувствовалъ позыва къ куренью. А тутъ, вдругъ, захотѣлось, и я началъ курить тотчасъ же довольно крѣпкія сигары.

Во время этой болѣзни мнѣ въ первый разъ въ жизни пришла мысль объ упованіи въ Промыселъ.

Что-то вдругъ, во время ночныхъ безсонницъ, какъ-будто озарило сознаніе, и это слово —„упованіе“—безпрестанно у меня вертѣлось на языкѣ.

И вмѣстѣ съ упованіемъ зародилась въ душѣ какая-то сладкая потребность семейной любви и семейнаго счастія. И все это при концѣ моей болѣзни.

Я счелъ это за призывъ свыше, и какъ только совсѣмъ оправился, то и поспѣшилъ освѣдомиться, гдѣ живетъ теперь пріятельница дѣтства Екатерины Мойеръ, ея однолѣтка Екатерина Березина. Въ Дерптѣ я видѣлъ семью Березиныхъ—мать, дочь и сына (Сережу)—почти еженедѣльно у Мойера. Дѣти приходили играть, взрослые—говорить. Потомъ, черезъ нѣсколько лѣтъ, я встрѣтилъ Екатерину Николаевну (мать) съ дочерью въ С.-Петербургѣ. Онѣ жили уединенно на Васильевскомъ Острову и потомъ уѣхали въ деревню. Съ тѣхъ поръ прошло уже нѣсколько мѣсяцевъ. Я узналъ, наконецъ, что онѣ обѣ въ деревнѣ у брата Екатерины Николаевны, графа Татищева.

Я сдѣлалъ письменное предложеніе. Получилъ согласіе, но съ тѣмъ, чтобы я испросилъ также согласіе отца, Дмитрія Сергѣевича. Его я вовсе не зналъ. Это былъ человѣкъ особенной породы. Вышедъ въ отставку гусарскимъ ротмистромъ послѣ Отечественной войны, Дмитрій Березинъ страстно влю-

бился въ свою кузину, графиню Екатерину Николаевну Татищеву, и женился на ней тайно и незаконно. Страстная любовь продолжалась, пока не вышло на свѣтъ двое дѣтей (Катя и Сережа). Послѣ этого началась какая-то уродливая борьба съ любовью. Березинъ сталъ сильно ревновать къ женѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ вести жизнь игрока.

Онъ просадилъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ три большихъ имѣнія: 2,000 душъ, доставшихся ему отъ отца, и 4,000 душъ, доставшихся отъ двухъ братьевъ. (Куда дѣвалось все это состояніе?) Кромѣ картежныхъ имѣлъ онъ еще и другіе долги, но самъ жилъ менѣе чѣмъ роскошно, а жену и дѣтей содержалъ менѣе чѣмъ пристойно. Жена и дочь занимали квартиру въ три комнаты, съ одною служанкою. Правда, сыну, когда онъ подросъ и учился въ школѣ, Березинъ позволялъ дѣлать долги у пирожниковъ, пряничниковъ и у другого люда, навѣщавшаго съ своимъ товаромъ школу; но это дѣлалось изъ какого-то страннаго тщеславія и, именно, когда послѣднее, третье имѣніе не было еще прокучено. И это все дѣлалось человѣкомъ вовсе не худымъ и не злымъ въ сущности. Жену же онъ имѣлъ какую-то манію преслѣдовать и прижимать безъ всякой къ тому причины.

Екатерина Николаевна Березина была женщина добрая, любившая сына болѣе дочери; а между тѣмъ мужъ ея полагалъ, напротивъ, что она, на зло ему, любитъ дочь болѣе сына.

Отъ этого терпѣла всего болѣе дочь, особливо въ послѣднее время, когда здоровье матери сильно разстроилось, и раздражительность доходила до того, что она толкала и пихала бѣдную дѣвушку, считая ее причиною, почему отецъ не даетъ имъ приличнаго содержанія. Дочь же, напротивъ, не хотѣла оставлять мать.

Существовали забавные разсказы про разныя выходки ревнивца. Жилъ-былъ въ Дерптѣ Александръ Дмитріевичъ Хрипковъ. Кто изъ жившихъ въ наше время въ Дерптѣ не зналъ Хрипкова? Это былъ человѣкъ, въ извѣстномъ отношеніи, не отъ міра сего. Онъ—орловскій помѣщикъ, роздалъ свое имѣніе родственникамъ, сдѣлался артистомъ; уѣхалъ въ Дерптъ на нѣсколько времени и оставался тутъ 20 лѣтъ; доходилъ иногда

до того, что нуждался въ мелочахъ, но былъ со всѣми знакомъ, всѣми любимъ, хотя ни у кого не заискивалъ и всѣмъ за взятое отплачивалъ или своими артистическими произведеніями, или своею дружескою компаніею.

Правда, все это не удержало такого с—та, какимъ былъ Ѳаддей Булгаринъ, показывать на улицѣ пальцемъ на Хрипкова, говоря: „посмотрите, вотъ идетъ господинъ, котораго я, начиная съ шапки, всего экипировалъ, а онъ и ту шапку, которую я ему сшилъ, снимать не хочетъ“.

Но всѣ знали, что это Булгаринскія враки, и что Булгаринъ даромъ ничего не сдѣлаетъ. Но всего страннѣе было въ низкомъ, некрасивомъ и калмыкообразномъ Хрипковѣ то, что онъ влюблялся поголовно во всѣхъ ему знакомыхъ дамъ. Любовь же эта была выше платонической, какая-то уже совершенно отвлеченная, даже не артистическая.

Иногда Хрипковъ былъ влюбленъ и въ нѣсколькихъ въ одно и то же время; а когда изъ города бо́льшая часть ему знакомыхъ уѣзжала, то говорили, что, за неимѣніемъ другихъ, онъ снова влюбленъ въ Екатерину Николаевну.

Вотъ съ этимъ-то невиннымъ любовникомъ всѣхъ дамъ вообще и суждено было сразиться Дм. Серг. Березину.

Екатерина Николаевна поѣхала съ дѣтьми къ одной изъ родственницъ своихъ гостить въ губернію (кажется, псковскую); туда же отправился и Хрипковъ, и засталъ тамъ самого Березина. Это уже было для послѣдняго непріятно.

А за ужиномъ маленькій Сережа, почти всегда сонный къ вечеру, вышедъ изъ-за стола, простился сначала съ матерью, а потомъ съ Хрипковымъ. Это былъ ножъ острый для Дм. Серг. Онъ разсвирѣпѣлъ, велѣлъ сыну сначала проститься съ нимъ самимъ,—и началась баталія. Она могла бы, пожалуй, кончиться и дуэлью, но, къ счастію, благоразумная родственница-хозяйка облила Сергѣя Дмитр. водою, а Хрипкова увели въ другую комнату, и тѣмъ покончили войну.

Къ этому-то господину, отцу моей будущей невѣсты, я долженъ былъ ѣхать, испрашивать его согласія. Онъ жилъ у себя въ лужскомъ имѣніи, заложенномъ и перезаложенномъ.

Принялъ онъ меня очень любезно, потому что не ожидалъ отъ меня пріѣзда, а думалъ, что только напишу. Онъ упро-

силъ меня ночевать, для того,—говорилъ онъ,—чтобы „я могъ распорядиться по денежнымъ дѣламъ, касающимся вашего брака“.

Это было время, когда Дмитрію Сергѣевичу слѣдовало получить остальныя деньги отъ братнина наслѣдства изъ банка.

На другой день мой будущій тесть, давшій полное свое согласіе на бракъ съ его дочерью, сверхъ того преподнесъ мнѣ еще роспись слѣдующаго за нею приданаго и деньгами.

Выходило болѣе 150 тысячъ рублей, съ условіемъ, однако-же, чтобы мать невѣсты отказалась отъ слѣдуемой ей части изъ мужнина капитала.

Это, очевидно, была пика противъ жены; съ какой стати ей, слабой, хилой и постоянно больной женщинѣ, ожидать, что мужъ умретъ прежде?!

Невѣста моя и мать проживали въ деревнѣ у дяди, верстъ за двадцать. Посланъ былъ нарочный, чтобы онѣ ѣхали въ имѣніе Березина, и чтобы на срединѣ дороги встрѣтились въ одной корчмѣ съ нами.

А мы выѣхали утромъ къ нимъ на-встрѣчу и застали ихъ въ корчмѣ.

Я, по настоянію Березина, долженъ былъ прочесть вслухъ роспись, услышавъ которую, Екатерина Николаевна ахнула отъ удивленія, а можетъ быть и невѣрія. Березинъ опредѣлилъ. что жена и дочь останутся съ нимъ до свадьбы дочери. Но всѣ знали, что не пройдетъ и двухъ дней безъ ссоры.

Я предложилъ отправиться моей невѣстѣ съ матерью въ Ревель, на морскія купанья, куда и я долженъ былъ прибыть черезъ мѣсяцъ. Березинъ согласился.

Этотъ мѣсяцъ разлуки былъ для меня тѣмъ замѣчателенъ, что я въ первый разъ въ жизни почувствовалъ грусть о жизни. Въ первый разъ я пожелалъ безсмертія —загробной жизни. Это сдѣлала любовь. Захотѣлось, чтобы любовь была вѣчна,—такъ она была сладка. Умереть въ то время, когда любишь, и умереть навѣки, безвозвратно, мнѣ показалось тогда, въ первый разъ въ жизни, чѣмъ-то необыкновенно страшнымъ. Потомъ это грустное чувство, это желаніе безпредѣльной жизни, жизни за гробомъ, постепенно исчезло, несмотря на то, что я про-

должалъ любить жену и дѣтей. Со временемъ я узналъ по опыту, что не одна только любовь составляетъ причину желанія вѣчно жить...

Вѣра въ безсмертіе основана на чемъ-то еще болѣе высшемъ, чѣмъ самая любовь. Теперь я вѣрю, или, вѣрнѣе, желаю вѣрить въ безсмертіе не потому только, что люблю жизнь за любовь мою—и истинную любовь—ко второй женѣ и дѣтямъ (отъ первой); нѣтъ, моя вѣра въ безсмертіе основана теперь на другомъ нравственномъ началѣ, на другомъ идеалѣ.

Шесть — семь недѣль, проведенныхъ нами въ Ревелѣ, скоро пролетѣли. Но Березинъ такъ распорядился, что моя невѣста съ матерью остались въ лѣтней маленькой квартирѣ до поздней осени, отчего Екатерина Николаевна еще болѣе ослабѣла и заболѣла, чѣмъ . . . . . .

. . . . . .

КОНЕЦЪ.

ПРИЛОЖЕНІЯ:

I. Домъ, въ которомъ жилъ и скончался Николай Ивановичъ Пироговъ въ селѣ Вишнѣ, близъ г. Винницы, въ Подольской губ.

II. Часовня на могилѣ Николая Ивановича Пирогова въ г. Винницѣ, Подольской губ.

II